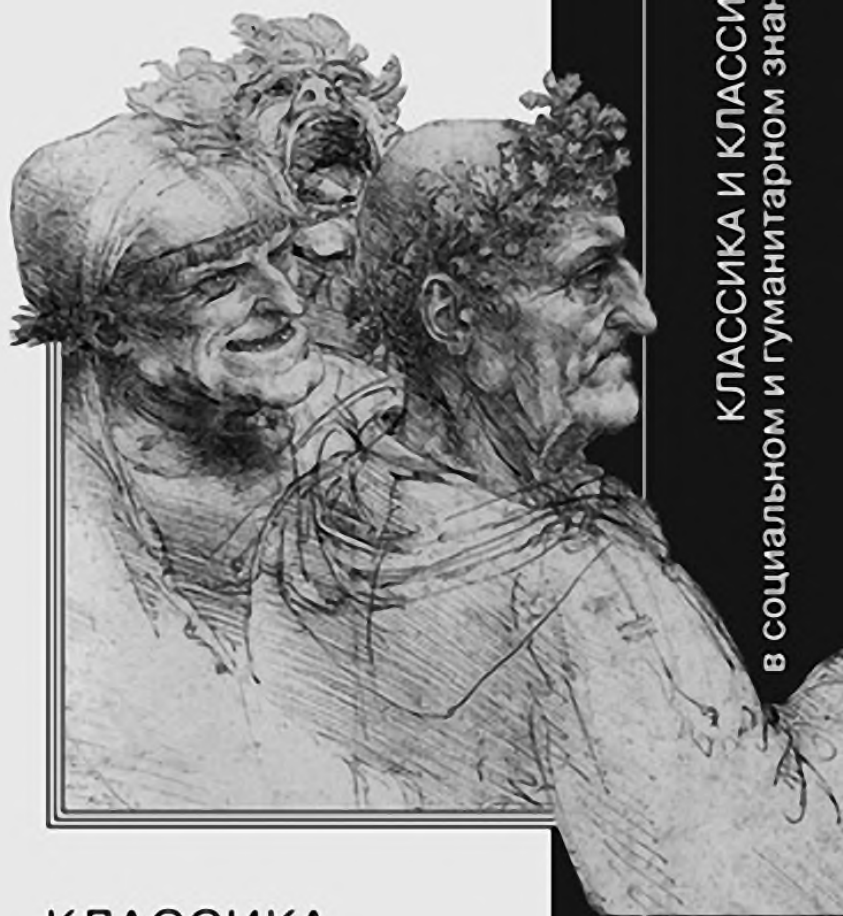


НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА



КЛАССИКА И КЛАССИКИ
в социальном и гуманитарном знании

КЛАССИКА
И КЛАССИКИ

Научное приложение. Вып. LXXVII

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Государственный университет — Высшая школа экономики
Институт гуманитарных историко-теоретических исследований

КЛАССИКА И КЛАССИКИ В СОЦИАЛЬНОМ И ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ

Москва
Новое литературное обозрение
2009

УДК 009:001.1

ББК 60в06

К 47

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Научное приложение. Вып. LXXVII

Ответственные редакторы *И.М. Савельева, А.В. Полетаев*

Ответственный секретарь *И.М. Каспэ*

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ
в рамках исследовательского проекта 06-03-00292а

«Классика и классики в социогуманитарном знании:
формирование и функции»

В оформлении обложки использованы рисунки
Леонардо да Винчи

К 47 Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. М.: Новое литературное обозрение, 2009. — 536 с.

Монография представляет собой первое междисциплинарное теоретическое исследование феномена классики в социальных и гуманитарных дисциплинах — социологии, экономике, политологии, психологии, истории, филологии и лингвистике, философии, — а также в сфере массовой культуры. В работе рассматриваются и анализируются такие проблемы, как понятие классики, механизмы трансляции «классического наследия» и самих представлений о классическом, способы рецепции и стратегии «присвоения» классических идей, типы и мотивы апелляции к определенным классическим именам и работам и, наконец, роль и функции классики в социально-гуманитарном знании.

УДК 009:001.1

ББК 60в06

ISBN 978-5-86793-701-0

© Авторы. 2009

© Художественное оформление. «Новое литературное обозрение», 2009

Введение

Должны ли ученые общаться с призраками?

В современной американской культуре под влиянием постмодернизма, мультикультурализма и гендеризма/феминизма для обозначения классиков широко используется пейоративное выражение «мёртвые белые мужчины» (Dead White Men или Dead White Males — DWM). Особенно часто это выражение применяется для обозначения классики в социологии, где акроним DWM одновременно расшифровывается как Durkheim, Weber, Marx.

Появление такого ярлыка отражает факт существенной модификации отношения к классическим теориям и текстам на протяжении XX в. и усиление различий в роли классики и статусе классиков в разных формах социогуманитарного знания даже на уровне отдельных субдисциплин. Изменение познавательных установок в последние десятилетия XX в. привело к созданию принципиально новых интеллектуальных генеalogий современных авторитетов, а тем самым и к ревизии корпуса классики. Высказывается мнение, что классика постепенно перестает быть живым ресурсом научного поиска и сводится к списку фигур, заслуживающих ритуально-уважительного упоминания, а также узкоспециальных исследований и публикаций. Некоторые исследователи полагают, что классика ныне все реже инспирирует теоретическую дискуссию. Наконец, существенно изменились и ослабли функции официальных канонов (интеллектуальных, эстетических, стилистических и т. д.), игравших ключевую роль в европейской науке Нового времени, философии и искусстве. Учитывая влияние всех этих процессов на развитие современного социогуманитарного знания, изучение их самих и их последствий представляется более чем своевременным.

Слово «классик», как известно, восходит к существовавшему в Древнем Риме делению граждан на шесть групп по имущественному признаку, в соответствии с которым формировались так называемые центуриатные комиции. Первые пять групп именовались «классами», а члены первой, наиболее состоятельной группы — «классиками» (лат. *classici*). Шестая группа (неимущие) назывались «пролетариями» (отсюда — «деклассированные граждане»). В переносном смысле (применительно к философам и писателям) эти градации использовали в I в. до н. э. Цицерон, во II в. н. э. (согласно Авлу Геллию) — римский грамматик и ритор Марк Корнелий Фронтон.

После длительного перерыва метафоры «классик», «классика», «классический» снова появляются лишь в конце XV в. в Италии (у Филиппо Бериальдо Старшего), во французском языке они впервые зафиксированы в 1548 г., в английском — в 1599 г. Лишь в XVII в. эти метафоры получают относительно широкое распространение, и тогда же «классика» начинает использоваться в том числе и для обозначения античных текстов. Одновременно возникает термин «класс» в значении учебной группы (т. е. исходно «учебный класс» — это группа, которая изучает «классику», а не наоборот, как обычно принято считать). Особое распространение термин «классика», и в первую очередь в применении к античности, получает во второй половине XVIII в. в Германии, а в XIX в. этот термин впервые прилагается к научным и философским текстам Нового времени.

Применительно к социальным и гуманитарным наукам «классикой» мы считаем работы, которые *одновременно* удовлетворяют трем условиям: 1) считаются/называются классическими в научном сообществе; 2) изучаются в процессе обучения, т. е. в классах; 3) в явном виде используются в исследованиях современных авторов. В основном из этого определения исходило и большинство авторов данной работы.

Монография «Классика и классики в социальном и гуманитарном знании», подготовленная Институтом гуманитарных историко-теоретических исследований (ИГИТИ ГУ-ВШЭ), является первым в мировой практике междисциплинарным комплексным исследованием статуса и роли классики в современных науках о человеке. Представленные статьи, охватывающие разные области гуманитарного знания, объединяет аналитический интерес к следующим взаимосвязанным проблемам:

- изменения в механизмах формирования классики, т. е. корпуса текстов, считающихся классическими в той или иной области социального и гуманитарного знания, и списка авторов, признанных классическими;

- способы рецепции и трансформации, в том числе и «запоздлой», классических концепций и идей в других временах и пространствах (не только географических, но и дисциплинарных);

- типы классичности и построение моделей развития науки как новая тема в русле старой дискуссии о специфике гуманитарного знания;

- изменения функций классики, т. е. роли в современной науке теорий и авторов, которым присвоен статус классических.

Общее поле исследования построено с учетом следующих дистинкций, заданных априорными конвенциями авторов и определяющими способ рассуждения.

Прежде всего, мы различаем понятия «классика» (корпус работ, получивших статус классических) и «классики» (свод имен) — в

английском это одно и то же слово — *classics*. Первичным здесь является классика, т. е. классические тексты. Обычно (хотя не всегда) авторы таких текстов в свою очередь получают статус классиков, но при этом не все работы классиков считаются классическими. В то же время в некоторых случаях статус классической сначала получает работа, затем ее создатель, а впоследствии понятие классики может распространиться на все сочинения данного автора.

Дополнительно в работе вводится различие классических идей и классических текстов, которое особенно наглядно проявляется при сравнении естественных наук и наук о человеке. Вопреки распространенному заблуждению, в естественных науках тоже есть классики, равно как и классические идеи (теории, модели, концепции, теоремы), которые изучают «в классах» и активно используют в современных научных исследованиях. Но в естественных науках нет (или почти нет) «классических текстов».

В то же время необходимым условием развития социогуманитарного знания считается процесс непрерывного перечитывания, переосмысления и переоценки классических текстов. Кроме того, в гуманитарной науке классик — это и социальная функция ученого, а не имманентная оценка его трудов как таковых. Ведь нередко особенно продуктивным оказывается сомнение в тезисах, которые до поры представлялись неколебимыми, — таковы споры классиков между собой и позднейшие споры с классиками.

Понятие классики в науках о человеке существенно отличается и от представлений о классике в искусстве. Об этом свидетельствует, в частности, активное использование в дискурсе об искусстве понятия «канон», предполагающего (в отличие от науки) задание образцов и их рецепцию, интерпретацию и воспроизводство.

Монография включает исследования ведущих специалистов в основных областях социально-гуманитарного знания. Специфическое сочетание интереса к институциональным рамкам различных дисциплин с постановкой общей для этих дисциплин проблемы нашло отражение в особенностях структуры монографии. Первый раздел *Social Sciences* включает в себя подразделы «Социология», «Экономика», «Политология», «Психология»; второй раздел *Humanities* — подразделы «История», «Философия», «Филология и лингвистика». В третьем разделе монографии — *Arts & Culture* — мы обращаемся к проблеме классики и канона в современных массовых культурных практиках. Здесь исследуется проблема формирования и трансформации общекультурных представлений о классике, а также институтов, производящих и транслирующих эти представления.

Долгое время концепт «классика» имел характер само собой разумеющегося основания новоевропейской научной культуры и искусства, и лишь последние полвека историко-социологическая

критика все глубже проблематизирует феномен классического. Авторы монографии используют новейшие подходы, разработанные в социологии знания и истории идей в целом, а также социологии и истории науки в частности. Поскольку предметом исследования в данном случае являются прежде всего идеи, с методологической точки зрения существенно было акцентировать взаимодействие эволюционной и революционной моделей развития знания.

Таково в целом дисциплинарное и теоретическое пространство предпринятого исследования. Для авторов книги чрезвычайно важны были многочисленные внутритекстовые тематические параллели, связывающие статьи из разных разделов книги, и в ходе работы над книгой сформировалось общее — междисциплинарное — поле взаимодействия его участников. Комплексный анализ функционирования института классики в различных дисциплинах позволил осветить такие проблемы, как понятие классики (в философском, историческом, социологическом аспектах), механизмы трансляции «классического наследия» и самих представлений о классическом, способы рецепции и стратегии «присвоения» классических идей, типы и мотивы апелляции к определенным классическим именам и работам (их использование, признание авторитетности или, напротив, опровержение), процессы формирования и смены канонов, феномен «канонизации при жизни» и др.

Анализ современного статуса классики выводит нас на более общие проблемы. Это модели развития науки и структура научного знания, включая различия между естественными, общественными и гуманитарными дисциплинами. По существу со времен Вильгельма Дильтея, Генриха Риккерта и Вильгельма Виндельбанда, которые обосновали противопоставление наук объясняющих и наук понимающих, продолжается дискуссия о характере наук о человеке (они же — науки о духе, о культуре и т. д.).

И еще одно вводное замечание. Книга эта написана в России, чем объясняется ошутимое присутствие в ней отечественных классиков, будь то русские формалисты, психологи Выготский и Лурия или историк Карсавин.

Вернемся к вопросу о «призраках». На страницах этой монографии читатель обнаружит их в несметном количестве. Одни из них оказываются предметом исследования, имена других входят в топилисты и прочие списки классиков, чьи идеи остаются актуальными и для отдельных наук, и для всего гуманитарного поля в целом. Помимо того что разговора с классиками современному гуманитарю в рамках профессии избежать невозможно, надо сказать, что читать классику, думать и писать о ней доставляет удовольствие.

Thou art a scholar — speak to it, Horatio (Shakespeare. Hamlet, I, 1).

I. SOCIAL SCIENCES

Андрей Полетаев

КЛАССИКА В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ

1. ПОНЯТИЕ КЛАССИКИ В ОБЩЕСТВОЗНАНИИ

Хотя исторически термин «классика» начал использоваться в науке по аналогии с искусством, я исхожу из того, что понятия классики в этих двух разных типах культурной деятельности и символических системах полностью различны. Применительно к нашей теме отметим только три принципиальных отличия: во-первых, в науке, в отличие от искусства, содержание классической работы может быть отдельно от первоначальной формы (в данном случае текстовой)¹; во-вторых, наука в значительной своей части является кумулятивной символической системой (подробнее об этом см. ниже); в-третьих, в науке отсутствует идея подражания², соответственно, отсутствует понятие канона³.

В рамках рассматриваемой нами темы необходимо проводить различие между понятиями «классика» и «классики» (в английском это одно и то же слово — *classics*). Первичным здесь является

¹ Что не исключает попыток отделения содержания классических произведений искусства от их первоначальной формы, например в современных театральных постановках.

² Чтобы не втягиваться в дискуссию о соотношении символических универсумов и реальности и о конструкционизме научного (прежде всего социально-научного) знания, в данном случае я оставляю в стороне проблему подражания (*мимесиса*) в ауэрбаховском смысле.

³ Подробнее о (не)применимости понятия канона в общественных науках см.: *Baehr*, 2002 [1994]: 142—146, 151—182. О каноне в искусстве см.: *Kennedy*, 2001.

классика, т. е. работы и идеи, получившие статус классических. Обычно (хотя не всегда) авторы таких работ в свою очередь получают статус классиков, но при этом не все работы классиков считаются классическими. В то же время в некоторых случаях статус классической сначала получает работа, затем ее создатель, а впоследствии понятие классики может начать распространяться на все сочинения данного автора.

При этом в науке термин «классик» может использоваться в качестве синонима эпитетов «выдающийся», «известный», «крупный» ученый, термин также может ассоциироваться с понятиями «основоположник», «основатель» (теории, направления исследований, школы и т. д.).

Упомянем еще об одном употреблении термина «классика»: в качестве обозначения некоего комплекса работ, идей, теорий и их авторов. Обычно при этом подразумевается и определенный период времени, в течение которого создавались эти работы (эта установка также идет от искусства)⁴. Например, в естествознании укоренились такие понятия, как «классическая механика» (основанная Галилео Галилеем и Исааком Ньютоном и формализованная Уильямом Гамильтоном и Жозефом Лагранжем), «классическая электродинамика», формализованная Джеймсом Максвеллом, и некоторые другие. В общественных науках наиболее известным примером является классическая экономическая теория (*classical economics*) (подробнее об этом см. ниже). Этот подход применяется и в других типах знания, например: классический либерализм в идеологии, классическая школа (уголовного) права, классическая немецкая философия и т. д. Но в целом рассматриваемый вариант использования термина «классика» в науке не получил широкого распространения.

Учитывая, что термин «классика» употребляется в самых разных значениях, включая обыденные⁵, введем более жесткие крите-

⁴ Ср.: «...С возникновением исторической рефлексии... из того, что было признано классическим, выделилось историческое понятие некоего времени или некоей эпохи, обозначавшее в плане содержательном определенный стилистический идеал и одновременно в плане историко-дескриптивном — время или эпоху, осуществившую этот идеал» (*Гадамер*, 1988 [1960]: 342).

⁵ Ср.: «*classic* I. *n* 1. классик (*особ. об античных писателях*)... 2. специалист по античной филологии... 3. 1) классическое произведение; 2) «классика», что-л. пользующееся неизменным успехом... 4. классицизм, приверженец классицизма... 5. *pl.* классика; классические, античные языки; классическая, преим. античная литература... 6. *амер. сл.* одежда простых и строгих линий. *classic* II. *a* 1. классический, античный... 2. 1) классический; 2) образцовый... 3. придерживающийся классицизма... 4. исторический, освященный историей... 5. знаменитый, всемирно известный... 6. *амер.* простой, строгий (об одежде)» (*Новый большой англо-русский словарь*, 1993, 1: 384).

рии, позволяющие выделить «классику» в науке. «Классическими» я считаю работы, которые *одновременно* удовлетворяют трем условиям: 1) считаются/называются классическими в научном сообществе; 2) изучаются в процессе обучения, т. е. «в классах»; 3) явным образом используются в исследованиях современных авторов.

Среди обществоведов и гуманитариев существует устойчивое убеждение в том, что в естественных науках нет классиков. Это убеждение основано на упоминавшемся выше смешении понятий классики в науке и искусстве. На самом деле в естествознании три предложенных нами критерия классики выполняются едва ли не более полно, чем в обществознании. Классические работы (идеи, теории, концепции) очевидным образом встроены в современное естественнонаучное знание и активно фигурируют как в учебном, так и в исследовательском процессе⁶.

Здесь важно подчеркнуть, что в науке использование каких-либо работ (точнее, содержащихся в них идей) не тождественно чтению/изучению первоисточников, т. е. оригинальных текстов. Обращение к первоисточникам представляет самостоятельную проблему для общественных наук, и к ней я вернусь чуть ниже.

В данной работе я опираюсь в основном на результаты обсуждения проблемы классики в социологии и экономической науке, причем в социологии эта проблема дискутируется в последние десятилетия очень активно⁷, в то время как в экономической науке к ней обращаются довольно редко⁸. Но подобная ситуация определяется конкретными особенностями развития этих двух дисциплин.

Повышенное внимание к теме классики в социологии объясняется несколькими причинами. Во-первых, это относительная молодость данной науки. Как отмечает Питер Баер,

«примечательной чертой “классических” социологических текстов является их молодость. Классики социологии, контрастируя с долголетием своих двойников в философии или политической теории, в темпоральном смысле остаются всего лишь парвеню (как, в сущности, и сама дисциплина). Но при этом социологи обычно не

⁶ О классике в естествознании см., например: *Kerckhove*, 1992; *MacMullin*, 1994. О роли классики в естественнонаучном образовании см.: *Cole*, 1983: 132—134.

⁷ В качестве основных работ по проблеме классики (прежде всего в социологии) я выделяю следующие: *Mépton*, 2006 [1968]; *Stinchcombe*, 1982; *Alexander*, 1987; *Baehr*, 2002 [1994].

⁸ К числу наиболее интересных работ, связанных с проблемой экономической классики, я отношу следующие: *Stigler*, 1969; *Boulding*, 1971; *Boettke*, 2000; *Blaug*, 2001; *Leijonhufvud*, 2006.

именуют работы Маркса, Вебера, Дюркгейма, Зиммеля и других «современной» классикой; их считают просто «классикой» *per se*⁹.

Во-вторых, интерес к проблеме классики был стимулирован «антипарсоновским» бунтом. Считается, что Толкотт Парсонс в своей работе «Структура социального действия» (1937)¹⁰ задал список основоположников современной социологии, определив на несколько десятилетий набор классиков в американской, а отчасти и в европейской науке. На самом деле это не вполне верно. С одной стороны, из четырех авторов, чьи идеи анализировал Парсонс (Эмиль Дюркгейм, Макс Вебер, Вильфредо Парето и Альфред Маршалл), в число бесспорных классиков социологии вошли только двое — Дюркгейм и Вебер. Маршалл, как известно, был чистым экономистом, а Парето, хотя писал работы и по социологии, и по экономике, получил гораздо большую известность в экономической науке — «оптимум по Парето» является одним из ключевых понятий теории общего равновесия, в то время как в социологии о Парето вспоминают в основном при обсуждении проблемы элит. С другой стороны, в число классиков социологии во многом благодаря влиянию франкфуртской школы был включен Карл Маркс.

Но так или иначе набор классиков, сформировавшийся в середине прошлого века (Маркс, Дюркгейм, Вебер), оказался во многом связан с именем Парсонса и подкреплялся популярностью его собственных теорий. Однако по мере разочарования социологического сообщества в структурно-функциональном анализе, начиная с 1980-х годов, стали появляться работы, в которых демонстрировался субъективизм парсоновского выбора классиков¹¹ и делались попытки пересмотра его списка, в частности за счет включения в него Георга Зиммеля, а также некоторых более поздних авторов — Джорджа Герберта Мида (1863—1931), Чарльза Кули (1864—1929), Альфреда Шюца (1899—1959) и др.¹²

Наконец, активизация обсуждения классики в социологии в последние десятилетия была отчасти инспирирована атакой со

⁹ Baehr, 2002 [1994]: 111.

¹⁰ Отдельные главы из этой работы переведены на русский язык: Парсонс, 2000 [1937].

¹¹ См., например: Camic, 1992.

¹² В данном случае я говорю только о почивших авторах, не затрагивая проблему формирования корпуса «современных» классиков, хотя понятно, что целый ряд социологов стали классиками при жизни, помимо самого Толкотта Парсонса (1902—1979) в числе очевидных примеров можно назвать Роберта Мёртона (1910—2003), Гарольда Гарфинкеля (р. 1917), Ирвинга Гофмана (1922—1982), Никласа Лумана (1927—1998), Юргена Хабермаса (р. 1929), Пьера Бурдьё (1930—2002), Энтони Гидденса (р. 1938) и др.

стороны «политкорректоров» (гендеристов, мультикультуралистов и прочих постмодернистов), обнаруживающих в работах классиков сексизм, колониализм, империализм и т. д.¹³ Как пишет тот же Питер Баер,

«согласно этим критикам, классические тексты воплощают все зло западной интеллектуальной традиции: ее неоправданные научные претензии, ее исключаящую [женщин] маскулинность и отсутствие приверженности к угнетенным. Чрезмерное увлечение классическими работами тем самым означает поклонение текстам, давно выброшенным на свалку истории, представляющим собой допотопное, элитистское и “гегемонистское” принижение знания и “жизненного опыта” подчиненных групп, особенно меньшинств и женщин»¹⁴.

Заметим, что различные попытки ревизии социологической классики позволяют еще раз продемонстрировать различие между понятиями и функциями классики в общественном знании и искусстве. Как отмечает Алан Хоу,

«социология — не первая дисциплина, которая почувствовала себя отягощенной своим классическим канонem. В английском литературоведении происходила длительная внутренняя борьба между критиками и защитниками литературной классики, как в Великобритании, так и в США. Но проблемы не идентичны в двух дисциплинах, отчасти потому, что объектом анализа для изучающего литературу является классический литературный текст, который составляет канон, в то время как для социолога канон является посредником, с помощью которого рассматривается объект — общество. В результате для критиков литературного канона теория стала средством освобождения дисциплины от мертвой руки классических авторов, для критиков социологического канона теория и есть мертвая рука классических авторов»¹⁵.

В экономической науке ситуация складывалась иначе. Во-первых, как самостоятельная дисциплина экономика намного старше социологии — даже если не апеллировать к трудам Аристотеля, дискуссиям схоластов о проценте и справедливой цене и идеям

¹³ См., например: *Parker, 1997; Connell, 1997*. Заметим, что раньше Р. Коннелл был мужчиной, но затем сменил пол и имя (стал Раевин вместо Роберта) и в 1997 г. уже был женщиной.

¹⁴ *Baehr, 2002 [1994]: 108.*

¹⁵ *How, 1998: 830.*

меркантилистов XV—XVII вв., экономическая наука Нового времени ведет свою родословную по меньшей мере от Уильяма Петти (1623—1687), Пьера де Буагильбера (1646—1714) и Ричарда Кантильона (1680?—1734)¹⁶.

Во-вторых, среди всех общественных и гуманитарных дисциплин экономическая наука оказалась в наименьшей степени чувствительна к идеям мультикультурализма, гендеризма, политкорректности и постмодернизма, что, безусловно, говорит в пользу ее зрелости и «научности».

В-третьих, отсутствие дискуссий о «классике» в экономике отчасти объясняется терминологическими причинами, обусловленными историей формирования понятий «классическая теория», «классика» и «неоклассика». Понятие «классическая экономическая теория» утвердилось во многом благодаря Марксу, который, правда, использовал словосочетание «классическая буржуазная политическая экономия», которую он противопоставлял «вульгарной буржуазной политической экономии». Впервые это понятие он ввел в «Нищете философии» (1847), т. е. обсуждение классики в экономической науке началось на 100 лет раньше, чем в социологии. Впоследствии Маркс применял термин «классическая буржуазная политэкономия» еще в нескольких работах, по-разному определяя ее состав, но обычно считается, что к ее представителям он относил Уильяма Петти, Адама Смита и Давида Рикардо в Англии, Пьера де Буагильбера, Франсуа Кене, Анна Тюрго и Жана-Шарля Сисмонди во Франции. Предложенная Марксом идея «классической экономической теории» в целом получила признание¹⁷, хотя впоследствии набор персоналий подвергся существенной модификации.

Ныне в список представителей классической экономической теории обычно включают Адама Смита, Давида Рикардо, Томаса Мальтуса и Джона Стюарта Милля. В этом случае она оказывается чисто английской, но часто к перечисленным классикам присоединяют также Жана-Батиста Сэ (Сэя) и самого Маркса¹⁸. В результате возникла ситуация, когда утвердилось относительно общепринятое представление о наборе представителей классической экономической теории, которые тем самым автоматически попадают в разряд классиков экономической теории. При этом, ес-

¹⁶ О ранних этапах развития экономической теории см.: *Шумпетер*, 2001 [1954 посм.], т. 1.

¹⁷ Заметим попутно, что попытка Маркса и Энгельса внедрить понятие «классическая немецкая философия» (от Канта до Фейербаха) оказалась не столь успешной (см.: *Резвых*, наст. изд.).

¹⁸ См., например: *Hollander*, 1987.

тественно, набор классиков экономической науки не ограничивается упомянутыми авторами (достаточно вспомнить Леона Вальраса, Джона Мейнарда Кейнса, Джона Хикса и многих и многих других), но во избежание недоразумений всех остальных стараются не именовать классиками, используя термины «выдающиеся», «великие», «крупнейшие» и т. д.

Путаница дополнительно усиливается и из-за неопределенности понятия «неоклассика»¹⁹. В 1890 г. Альфред Маршалл опубликовал учебник «Принципы экономической науки» («Principles of Economics»), в котором он попытался синтезировать идеи Смита, Рикардо и Милля с работами маржиналистов (Карла Менгера и Уильяма Джевонса), а также малоизвестных в то время Антуана Курно и Иоганна фон Тюнена. Десятилетие спустя Торстен Веблен опубликовал критическую работу «Предубеждения экономической науки» («The Preconceptions of Economic Science», 1899—1900), в которой он назвал Маршалла неоклассиком. В этом смысле (т. е. применительно только к Маршаллу) термин использовался в первые десятилетия XX в. целым рядом известных экономистов: Уэсли Митчеллом, Джоном Хобсоном и Эриком Роллом.

В начале 1930-х гг. Джон Хикс (в статьях «Marginal Productivity and the Principle of Variation», 1932, и «Leon Walras», 1934), а позднее — Джордж Стиглер (в книге «Production and Distribution Theories», 1941) стали называть неоклассиками всех, кто занимался теорией предельной производительности, предельной полезности и относительными ценами (начиная с Менгера, Джевонса и Джона Бейтса Кларка).

«Как было отмечено рядом авторов, в то время как использование термина “неоклассика” имеет некоторый смысл применительно к Маршаллу, который подчеркивал связь своего подхода с Классическим подходом, оно намного менее осмысленно для других экономистов, таких, как Джевонс, который подчеркивал различие между своими взглядами и взглядами Классиков. Некоторые полагают, что термин “анти-Классический” был бы более предпочтительным»²⁰.

В свою очередь Джон Мейнард Кейнс в «Общей теории занятости, процента и денег» (1936) назвал классиками всех предшествующих экономистов начиная с Рикардо (включая маржиналистов), которые считали, что сбережения равны инвестициям, а

¹⁹ См.: *Aspromourgos*, 1986; *Colander*, 2000.

²⁰ *Colander*, 2000: 131.

неоклассиками — тех, кто считает, что они не обязательно равны (т. е. Джона Хикса, Ральфа Хоутри и себя).

Наконец, в 1955 г. Пол Самуэльсон в 3-м издании своего учебника «Economics» предложил свой собственный «неоклассический синтез», объединяющий теорию Кейнса с маржинализмом. «Такое использование термина “неоклассический”, выражающее альтернативу кейнсианской модели, добавляет еще одну точку референции и создает дополнительную путаницу»²¹.

Но, конечно, главная причина отсутствия интереса к обсуждению классики в экономике — это особенности развития самой экономической науки и методики ее преподавания, о чем мы поговорим ниже.

Несмотря на то что в данной работе рассматривается ситуация в социологии и экономике, концептуальное сходство проблем, обсуждаемых применительно к двум указанным дисциплинам, позволяет распространить некоторые выводы на все общественные науки с учетом вариаций в конкретных судьбах классики в каждой отдельной дисциплине. С несколько большей осторожностью можно также предположить, что многое из сказанного ниже применимо и к гуманитарным наукам, равно как и к философии (а некоторые тенденции в отношении классики проявляются в этой области знания даже более выпукло, чем в общественных науках)²². Что касается естественных наук, то, учитывая очевидные различия между ними и общественными науками, я коснусь проблемы классики в естествознании лишь в самом общем виде. Наконец, я полностью исключаю из рассмотрения сферу искусства²³, а также религию/теологию, применительно к которой проблема классики и канона заслуживает специального обсуждения.

2. КЛАССИКА И ИСТОРИЯ НАУКИ

Проблема классики прежде всего связана с исследованиями в области истории науки. У истоков современной дискуссии по этой проблеме лежит небольшая статья Роберта Мёртона (точнее, его комментарий к докладу Парсонса, прочитанному на ежегодном съезде Американской социологической ассоциации в 1947 г.), опубликованная в 1948 г., в которой он предложил различать (и разде-

²¹ *Ibid.*: 132.

²² Подробнее о классике в гуманитарных науках см.: *Зенкин*, наст. изд.

²³ Об истории понятия и о концепциях классики в литературе см.: *Levin*, 1957; *Luck*, 1958; *Дубин*, *Зоркая*, 1983; *Компаньон*, 2001 [1998]: 261—296; *Porter*, 2005.

лять) два способа описания развития научной дисциплины: систематику и историю²⁴. По его мнению, для действующих ученых интерес представляет только систематика, а собственно история науки важна лишь для специалистов в этой области, но несущественна для всех остальных исследователей.

Эта идея по существу осталась незамеченной даже в социологическом сообществе, и популярность она получила только после выхода в свет известной работы Томаса Куна «Структура научных революций» (1962), в которой он сформулировал аналогичное различие применительно к истории естественных наук. Кун обозначил это различие как «антиисторический» и «исторический» подходы к истории развития науки. В естествознании данное различие окончательно укоренилась благодаря Имре Лакатосу (1971), который обозначил его как внутреннюю (рациональная реконструкция) и внешнюю историю науки. При этом Кун был сторонником второго («исторического») подхода, а Лакатос — первого (рациональной реконструкции), т. е. по сути следовал Мёртону²⁵.

После выхода работы Куна проблема альтернативных способов описания развития науки начинает активно дискутироваться и обществоведами. В социологии она получила известность после второго издания книги того же Мёртона «Социальная теория и социальная структура» (1968), в которой он напомнил о своей статье 1948 г. и опубликовал ее существенно расширенный и обновленный вариант²⁶. Затем дилемма стала обсуждаться социологами и представителями других общественных наук, которые обозначали ее как противостояние презентистского/эмпирицистского и историцистского подходов. К сторонникам первого подхода к истории социологической мысли можно отнести Стивена Сидмана и Джеффри Александера, второго — Роберта Джоунса и Чарльза Камика²⁷. Заметим попутно, что если применительно к естествознанию существенный импульс развитию историцистского подхода придала книга Томаса Куна, то в общественных науках особую роль сыграли работы Квентина Скиннера²⁸.

В экономике ту же дилемму впервые сформулировал Джордж Стиглер в 1969 г. (прямо отсылаясь к работе Куна), позднее она была обозначена Полом Самуэльсоном как противопоставление

²⁴ Merton, 1948.

²⁵ Кун, 1977 [1962/1970]: 17 и след.; Лакатос, 1978 [1970].

²⁶ Мёртон, 2006 [1968], гл. I «Об истории и систематике социологической теории».

²⁷ Seidman, 1983; 1985a; 1985b; Alexander, 1987; Jones, 1977; Camic, 1979, 1986. Краткие обзоры этой дискуссии см. в: Алуева, 1995; How, 1998.

²⁸ Skinner, 1969.

«вигской» и «антикварной» истории экономической мысли²⁹. В экономике два рассматриваемых подхода обозначаются также как ретроспективный и ретроактивный (хронологический) (Аксель Лейонхувуд), инструментальный и антикварный (Питер Бёттке), рациональная реконструкция vs. историческая реконструкция или история экономического анализа vs. история экономической мысли (Марк Блауг)³⁰.

Дискуссия по данной проблеме во всех дисциплинах идет по нескольким направлениям: являются ли эти два подхода конкурирующими или взаимодополняющими, какой из них следует использовать в учебном и исследовательском процессе и т. д. Соответственно, выделяются разные модели анализа и оценки роли классики в развитии науки.

Эта дискуссия, продолжающаяся уже много лет, имеет теоретический, институциональный и образовательный аспекты. Теоретический аспект связан с проблемой кумулятивности научного знания в целом и общественно-научного в частности (эту тему мы обсудим ниже). Институциональный аспект был связан с борьбой за сферы влияния и самоутверждение отдельных групп ученых — соответственно, «чистых теоретиков» и специалистов по истории мысли. Но наиболее существенным оказался третий, прикладной аспект, связанный с проблемами образования. Как справедливо заметил Пол Самуэльсон, «студенты старших курсов должны спать по крайней мере четыре часа в день: это универсальная константа. Поэтому в образовательной программе экономистов чем-то надо жертвовать»³¹. И этим чем-то в итоге оказалась история (науки, но не только).

Поэтому, хотя многие участники дискуссии не отрицают важность изучения собственно истории идей (мысли, науки и т. д.) или говорят о необходимости сбалансированного подхода к ее изложению, на практике большинство учебников или используемых в процессе обучения книг по истории каждой общественной дисциплины приближаются к первому (презентистскому) варианту.

Особенно наглядно презентистский (ретроспективный) подход проявляется в учебном изложении истории экономической науки — см., например, известные учебники Марка Блауга «Эконо-

²⁹ Stigler, 1969; Samuelson, 1987. Говоря о вигской истории, Пол Самуэльсон отсылается (*Op. cit.*: 53) к работам английского историка Томаса Бабингтона Маколея (1800—1859), активного апологета вигов, но сам термин был введен в оборот английским историком Гербертом Баттерфилдом в его широко известной критической работе «Вигская интерпретация истории» (*Butterfield*, 1931).

³⁰ Leijonhufvud, 1986; 2006; Boettke, 2000; Blaug, 2001.

³¹ Samuelson, 1987: 52.

мическая мысль в ретроспективе» (1962, 5-е изд., 1997) и Такаши Негиши «История экономической теории» (1989). В одном из наиболее популярных современных учебников — Роберта Экелунда и Роберта Эберта «История экономической теории и метода» (1975, 5-е изд., 2007) — делается попытка внести в изложение элементы историцизма, но в целом учебник также сближается с презентистским подходом. А главный образец историцистской истории экономической мысли — работа Йозефа Шумпетера, которая по иронии называется «История экономического анализа» (1954 посм.), хотя и включается в списки рекомендуемой студентам-экономистам литературы, но обычно лишь в качестве дополнительного материала³².

Если на уровне учебных программ и пособий выбор в целом был сделан в пользу презентистского представления истории общественных дисциплин, то в научной литературе оба направления продолжают существовать и развиваться параллельно.

В принципе презентистская история науки является гораздо более селективной, чем историцистская. В презентистском изложении многие работы, теории и ученые прошлого вообще не упоминаются, поскольку считается, что они не актуальны для современной науки. В отличие от этого историцисты уделяют внимание не только главным, но и второстепенным фигурам, равно как и бывшим властителям дум и «ошибочным взглядам мертвецов» («wrong opinions of dead men»)³³.

Но если говорить о классике, то между двумя способами написания истории науки нет существенных различий с точки зрения набора работ и имен (оставляя в стороне естественные различия во взглядах отдельных исследователей). Разница заключается не столько в «списках», сколько в обосновании и объяснении состава этих списков, равно как и в языке описания идей классиков. В рамках нашей темы можно выделить несколько существенных различий между двумя подходами — презентистским и историцистским, — которые могут быть обозначены как история идей и интеллектуальная история (не могу удержаться, чтобы не поучаствовать в терминотворчестве).

³² Ср.: Блауг, 1994 [1962, 4th ed. 1991]; Негиши, 1995 [1989]; Ekelund, Hébert, 2007 [1st ed. 1975]; Шумпетер, 2001 [1954 посм.].

³³ Авторство этого выражения, часто цитируемого в экономической литературе (Boulding, 1971: 229; Блауг, 1994 [1962, 4th ed. 1991]: 1; Moggridge, 1992: xvi и др.), обычно приписывается Альфреду Пигу (1877—1959). В различных формулировках тезис о том, что экономисты не должны изучать «ошибочные взгляды мертвецов», можно обнаружить также в работах Жана-Батиста Сэ (1767—1832) и Фрэнка Найта (1885—1972). См.: <http://eh.net/atp/answers/0797.php> (30.11.2007).

1. В презентистской (инструментальной) истории объектом анализа в первую очередь являются сами идеи, содержащиеся в классических работах, причем излагаются и оцениваются они прежде всего с позиций сегодняшней науки. В историцистской истории концепции, содержащиеся в классических работах, анализируются в историческом контексте, который может варьироваться в широких пределах. Это может быть и интеллектуальный контекст, и социальный, и политический — от «духа времени» до идеологических установок.

2. Отсюда возникают различия в трактовке генезиса тех или иных классических теорий или идей. Если в презентистской истории просто фиксируется связь с теми или иными предшествующими концепциями, то в рамках историцистского подхода большое внимание уделяется факторам, влиявшим на формирование теорий. Речь идет, в частности, о мотивах выбора тем или иным автором определенного набора своих «предшественников». Например, в социологии типичным примером могут служить работы Джеффри Александера и Чарльза Камика, в которых анализируются причины, обусловившие выбор своих интеллектуальных предшественников Толкоттом Парсонсом³⁴. Наконец, наряду с интеллектуальными и институциональными факторами возникновение разных концепций иногда связывается с психологическими характеристиками их авторов³⁵.

3. В рамках историцистского подхода пристальное внимание уделяется процессу распространения научных идей, истории их пропаганды и рецепции (признания). Как показано во многих работах, большую роль в популяризации тех или иных теорий часто играют усилия бывших коллег и учеников, а также наследников почивших авторов. К этому же разряду относятся истории распространения классических работ в других странах, которое также происходит благодаря деятельности разных энтузиастов: людей, учившихся за границей, переводчиков, издателей и т. д.

В последние десятилетия прошлого века возникло еще одно направление изучения причин популярности классических работ и концепций — филологический анализ. Его сторонники связывают популярность и «классикализацию» в первую очередь с поэтикой

³⁴ Alexander, 1987; Camic, 1992.

³⁵ Подробнее об этом см.: *Вахштайн*, наст. изд., где анализируются соответствующие примеры из области истории самой психологии. Но психологические объяснения активно используются и в истории других дисциплин — см., например, работу Уолтера Вайскопфа «Психология экономической науки» (Weisskopf, 1955). Особенно многочисленны работы такого рода в области истории философии: библиографию см., например, на: <http://www.autodidactproject.org/bib/philbia.html> (30.11.2007).

соответствующих текстов и риторическими способностями их авторов³⁶. Впрочем, этот подход не вышел за рамки курьеза, поскольку, как известно, многие классические работы отнюдь не блещут изяществом стиля, а, наоборот, написаны очень тяжелым языком и трудны для восприятия (достаточно вспомнить тексты Карла Маркса или Макса Вебера!).

В принципе, исследования процессов распространения и рецепции различных текстов могут включать истории не только признания тех или иных произведений, авторов или теорий в качестве классических, но и истории непризнания или выпадения из списка классиков отдельных концепций или авторов. На основе многочисленных исследований такого рода Питер Баер предложил обобщенную модель классикализации научных текстов (или ее отсутствия), включающую четыре компонента: культурный резонанс; текстуальную пластичность; читательское восприятие; передачу и распространение (*cultural resonance, textual suppleness, reader-appropriation, transmission and diffusion*)³⁷.

4. Существенные различия между подходами наблюдаются и в оценке роли и значения тех или иных работ, концепций и их авторов. В презентистской историографии науки в первую очередь акцентируется вклад (*impact*) в современную науку (ср. *impact factor*, широко используемый в библиометрике для оценки значимости публикаций). В историцистской историографии науки на первый план выходят характеристики, связанные с научным приоритетом, основанием школы или направления мысли; ключевым термином в рамках этого подхода становится «основоположник» (*founder*)³⁸. Историцисты здесь в некотором смысле следуют традиционной для историографии в целом установке на изучение «деяний» (*res gestae*).

5. Историцисты, как и любые историки, много внимания уделяют деталям: точности интерпретации отдельных положений и теорий в целом, установлению приоритета тех или иных авторов, проблеме заимствования и развития идей и другим традиционным темам истории науки. В рамках презентистского подхода, наоборот, часто возникает много фактологической путаницы — в качестве классических фигурируют идеи, которые их мнимые авторы не высказывали, или принадлежащие не тем, кому их приписывают,

³⁶ Типичные примеры такого подхода см. в: *Yaitm*, 2002 [1973] (историография и философия истории); *McCloskey*, 1983 (экономика); *Davis*, 1986 (социология). Как и в описанном выше случае с Р. Коннеллом, Д. Макклоски сменил пол и имя (став Дьерде вместо Дональда), но в момент написания указанной работы он (она) еще был(а) мужчиной.

³⁷ *Baehr*, 2002 [1994]: 135—136.

³⁸ О соотношении «основоположников» и «классиков» см.: *Baehr*, 2002 [1994].

и проч., поскольку рецепцией и развитием идей в этом случае в основном занимаются не специалисты (классический пример — «невидимая рука» Смита)³⁹. Но «историческая истина» в данном случае оказывается не так существенна для развития самой науки.

6. Презентистское и историцистское направления отличаются и способами прочтения и изложения классических работ. Как отмечает Алан Хоу,

«с вопросом о том, должна ли социология иметь классические тексты, тесно связана длительная дискуссия о том, как их следует читать. Здесь существуют два основных подхода, “презентистский” и “историцистский”. “Историцисты”, которые в значительной мере и инициировали эту дискуссию, иногда проявляют антипатию к идее классических текстов *per se*, но чаще они возражают против их “презентистского” прочтения. Их возражения концентрируются на наивном, по их мнению, предположении, что наши нынешние проблемы не отличаются от тех, которые заботили отцов-основателей. Для оправдания своего существования история социологии должна научиться понимать, что эти авторы хотели выразить в своих текстах в свое время. В этом плане на историцистов сильно повлияли работы Квентина Скиннера в области истории идей, который подчеркивает решающее значение исторического контекста в определении смысла текста»⁴⁰.

В рамках презентистского подхода идеи классиков обычно излагаются на современном научном языке и с использованием современной терминологии, в свою очередь, историцисты пытаются понять и объяснить смысл классических концепций в культурном контексте соответствующей эпохи, анализируя исторические значения и смыслы отдельных терминов и текстов в целом.

Презентистская интерпретация классических работ особенно распространилась в экономической науке, и решающую роль в этом сыграл выдающийся экономист Пол Самуэльсон (р. 1915). В 1941 г., т. е. в возрасте 25 лет, Самуэльсон защитил в Гарварде диссертацию «Основания экономического анализа», которая была издана в виде монографии в 1947 г. В качестве эпиграфа к этой работе Самуэльсон взял высказывание Джозая Уилларда Гиббса (1839—1903): «Математика — это язык». Как пишет сам Самуэльсон (который никогда не страдал от избыточной скромности) в предисловии к русскому переводу своей работы,

³⁹ Этот и другие примеры из области экономической науки, свидетельствующие о неточности общепринятых трактовок идей классиков, см. в: *Blaug*, 2001.

⁴⁰ *How*, 1998: 829.

«великое значение книги “Основания экономического анализа” состоит в том, что она дала толчок запоздалой математизации магистрального направления экономической науки»⁴¹.

Идею «перевода» классических работ прошлого на математизированный язык современной экономической науки Самуэльсон реализовал и в целом ряде своих статей, посвященных отдельным классическим работам (Кене, Рикардо, фон Тюнена и представителей классической экономической теории в целом)⁴². В результате этот подход стал активно реализовываться как в научных исследованиях (см. например, математизированное изложение теории Рикардо в известной работе Пьеро Сраффы «Производство товаров посредством товаров», 1960)⁴³, так и в учебниках по истории экономической мысли⁴⁴.

7. Последнее по счету, но не по важности различие связано с трактовкой таких базовых для обществознания концептов, как «современность» и «историзм». Истористы (в социологии — Квентин Скиннер, Роберт Джоунс, Джон Пил, Дэвид Паркер и др.)⁴⁵ полагают, что социальная реальность меняется относительно быстро. Отсюда следует, что «современность» охватывает лишь небольшую, самую близкую к нам часть минувшего, а всё находящееся за пределами этого короткого периода следует рассматривать как прошлое. «Историзм» трактуется ими прежде всего как идея исторической изменчивости и прерывистости. Это означает, что не только социальный и культурный контекст написания классических работ, но и анализируемую в них социальную реальность следует рассматривать исторически, т. е. как «иные» по сравнению с современностью.

«Каждый вновь появляющийся социальный контекст во всей своей неповторимости расширяет предметную сферу социологии и создает не только новый предмет исследования, но и новые возможности для теоретизирования. Поэтому в некотором важном смысле Маркс и Дарендорф, Спенсер и Парсонс, Вебер и Бендикс не являются ни соперниками, ни партнерами в создании теоретического знания. Очень часто теории социологов-классиков не являются ни истинными, ни ложными в свете проблем, побуждающих к теоретизированию нас, потому что они в значительной мере

⁴¹ Самуэльсон, 2002 [1947/1983]: X.

⁴² Библиографию этих работ см. в: Samuelson, 1987.

⁴³ Сраффа, 1999 [1960].

⁴⁴ См., например: Негизиш, 1995 [1989].

⁴⁵ Skinner, 1969; Peel, 1971; Jones, 1977; Parker, 1997.

являются попытками решить проблемы другой реальности, найти ответы на другие вопросы, прийти к заключениям с другими целями»⁴⁶.

Презентисты (в социологии — Алан Дэйв, Стивен Сидман, Дэвид Эшли, Дэвид Оренштайн и др.)⁴⁷, наоборот, считают, что социальная реальность в основных своих характеристиках меняется относительно медленно. «Современность» в этом случае охватывает значительно больший период прошлого, а «историзм» трактуется прежде всего как концепция исторической преемственности. В результате классические работы оказываются до сих пор актуальны прежде всего благодаря тому, что остаются актуальными анализируемые в них характеристики и проблемы общества.

«Когда Вебер говорит нам о бюрократическом кошмаре своего общества, он также говорит нам о нашем мире... *Созидательная* сила их [классиков] мысли... выявляет историческую и социальную преемственность, что делает их опыт *репрезентативным* для нас... До тех пор пока они продолжают говорить о *нашем* опыте, о *нашей* жизни и *нашем* времени, они остаются живыми»⁴⁸.

* * *

Подводя некоторые итоги данного раздела, замечу, что при обсуждении я акцентировал в первую очередь *различия* двух подходов к анализу классики — презентистского и историцистского. Но, конечно, очень часто можно обнаружить совмещение этих подходов в рамках одного исследования или их взаимное влияние и взаимодополнение в разных работах. Как пишет Алан Хоу, «Я полагаю... что “презентистский” и “историцистский” полюса онтологически связаны в идее классического текста»⁴⁹.

Два выдающихся экономиста XX в., лауреаты премии им. Альфреда Нобеля по экономике Пол Самуэльсон и Джордж Стиглер, которые выступали как ярые презентисты и сторонники систематики, доказывавшие ненужность знания истории экономической мысли для развития современной теории, сами были одними из крупнейших специалистов и знатоков истории мысли и превосходно знакомы с работами классиков. Приведенная нами немного выше цитата Самуэльсона из предисловия к русскому изданию его «Оснований экономического анализа» продолжается следующими словами:

⁴⁶ Peel, 1971: 264; цит. по: Seidman, 1985: 14.

⁴⁷ Dawe, 1978; Seidman, 1985a; 1985b; Ashley, Orenstein, 1995.

⁴⁸ Dawe, 1978: 366; цит. по: Seidman, 1985b: 133.

⁴⁹ How, 1998: 830.

«В ее [книги] основе лежат достижения великих предшественников: Антуана Огюстена Курно (1838), Уильяма Стэнли Джевонса (1871), Леона Вальраса (1874—1877, 1889, 1896), Вильфредо Парето (1892, 1898, 1906—1907), Фрэнсиса Исихора Эджурта (1881, 1925), Альфреда Маршалла (1879, 1890, 1920), Кнута Викселя (1900, 1934) и Гарольда Хотеллинга (1925, 1931, 1936)»⁵⁰.

В скобках, как легко догадаться, — годы выхода в свет главных работ перечисляемых авторов, которые Самуэльсон действительно изучил самым тщательным образом.

Тот же Пьеро Сраффа, который в духе презентизма «перевел» теорию Рикардо на математизированный язык современной экономической науки, одновременно осуществил гигантскую историческую работу, подготовив и издав собрание трудов и переписки Давида Рикардо в 11 томах (1951—1973), что в не меньшей степени способствовало возрождению интереса к работам и идеям этого классика.

Еще один характерный пример — история классикализации трудов Георга Зиммеля, который, как известно, довольно долго не входил в состав классиков социологии. Начало этому процессу положили работы исторического направления, в которых были выявлены некоторые интеллектуальные и институциональные причины невключения Зиммеля в число классиков в первой половине XX в. Эти исследования привлекли интерес к Зиммелю и стимулировали появление работ презентистского толка, в которых его идеи начали соотноситься с современными социологическими теориями. В результате объединенных усилий историков и презентистов Зиммель к настоящему времени уже практически вошел в число «основных» классиков социологии⁵¹.

3. КЛАССИКА И МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ НАУКИ

Для того чтобы представить спектр существующих мнений о роли научной классики, целесообразно обратиться к рассмотрению основных моделей развития науки, фигурирующих в современной литературе. Эти модели отражают разное видение процесса развития науки и ее нынешнего и будущего состояния, разные представления о науке как форме знания и социальном институте⁵². Эволю-

⁵⁰ Самуэльсон, 2002 [1947/1983]: X.

⁵¹ См.: Levine et al., 1976; Levine, 1991; Camic, 1992; Aronowitz, 1994; Рамшедт, 1994; Филиппов, наст. изд.

⁵² Анализ разных моделей развития науки см. также в: Mulkey, 1975; В научных теории развития науки, 1982; Callon, 1994.

ция моделей развития науки отражает не только объективные изменения в самом ее характере и способах организации и функционирования, но и «дух времени», когнитивные и социальные установки разных групп исследователей и, наконец, представления о роли и функциях научной классики.

1) Классическая кумулятивная модель

В основе этой возникшей еще в эпоху античности модели лежит традиционная философская эпистемология, в соответствии с которой процесс аккумуляции знания состоит в добавлении новых неизменных истин к массиву накопленного ранее. Истиной/знанием при этом считаются суждения, относящиеся к определенному классу объектов и полученные по определенным правилам⁵³. В Новое время область применения этой традиционной концепции развития знания была ограничена в первую очередь появившимся в этот период естествознанием (ограничение по предмету), а в качестве критериев истинности были введены эмпирицизм и рационализм — открытие фактов и их теоретическое обобщение (ограничение по методу).

Поскольку в этой модели учитывается вклад в существующий запас знания всех, кто когда-либо участвовал в этом процессе, роль классиков в ней была необычайно велика. Хорошо известна метафора Бернара Шартрского (XII в.), сравнившего себя и своих современников с карликами, стоящими «на плечах гигантов», и весьма характерно, что спустя пять столетий именно эта метафора была использована одним из основоположников науки Нового времени — Исааком Ньютоном⁵⁴. Но само знание («корпус знания») представлялось скорее как башня из камней, каждый из которых важен для существования целого. Значимость вклада определялась, во-первых, «размерами камня», во-вторых — его местоположением: камни, лежащие в основании, были важнее верхних, т. к. на первых покоилось все здание.

2) (Нео)позитивистские кумулятивные модели

В XIX в. под влиянием идей прогресса, позитивистских установок и дарвиновской эволюционной теории традиционная кумулятивная концепция накопления знания претерпевает существенные изменения. В явном виде новая модель развития науки впервые была сформулирована уже в конце XIX — начале XX в. в работах французского философа и историка науки Пьера Дюзма (1861—1916), но законченный вид она получила в середине XX в.

⁵³ См.: *Савельева, Полетаев*, 2003—2006, I: 117—120.

⁵⁴ Подробнее см.: *Merton*, 1965.

Неопозитивистская модель состоит из двух относительно самостоятельных, но по существу тесно взаимосвязанных частей — эпистемологической и институциональной⁵⁵. Эпистемологическую составляющую в основном разрабатывал Карл Поппер⁵⁶, институциональную — Роберт Мёртон⁵⁷.

Прежде всего, неопозитивистская модель задает эволюционистскую картину развития науки (в работах Карла Поппера этот подход реализуется путем прямых аналогий с дарвиновской теорией)⁵⁸. Эволюционный подход допускает появление заблуждений, конкурирующих теорий и т. д., но все эти явления рассматриваются как временные, не меняющие общий эволюционно-поступательный характер развития науки в целом.

Второй отличительной чертой данной модели является прогрессизм. Вместо накопления неизменных истин, постулируемого «классической» кумулятивной моделью, используется идея прогресса: новые теории, концепции, методы превосходят предыдущие. Представления о прогрессивном характере развития науки формулировались по меньшей мере в трех постепенно усложняющихся вариантах.

Первый вариант — последующие работы превосходят предыдущие (Макс Вебер):

«...Каждый из нас знает, что сделанное им в области науки устареет через 10, 20, 40 лет. Такова судьба, более того, таков смысл научной работы, которому она подчинена и которому служит, и это как раз составляет ее специфическое отличие от всех остальных элементов культуры... Научные работы могут, конечно, долго сохранять свое значение, доставляя “наслаждение” своими художественными качествами или оставаясь средством обучения научной работе. Но быть превзойденным в научном отношении — не только наша общая судьба, но и наша общая цель»⁵⁹.

Второй вариант — последующие работы превосходят и объединяют предыдущие (Карл Поппер):

«...Когда я говорю о росте научного знания, я имею в виду не накопление наблюдений, а повторяющееся ниспровержение научных

⁵⁵ Некоторые исследователи рассматривают эти подходы как самостоятельные модели (Callon, 1994), но, на наш взгляд, их можно объединить.

⁵⁶ Поппер, 1983 [1959/1934]; 1983 [1963].

⁵⁷ Мертон, 1957, и его последующие работы о социологии науки, например: Мертон, 2006 [1968], часть IV.

⁵⁸ Поппер, 2000 [1984]; 2000 [1990].

⁵⁹ Вебер, 1990 [1918/1917]: 712.

теорий и их замену лучшими и более удовлетворительными теориями... Теории Кеплера и Галилея были объединены и заменены логически более строгой и лучше проверяемой теорией Ньютона; аналогичным образом теории Френкеля и Фарадея были заменены теорией Максвелла. В свою очередь теории Ньютона и Максвелла были объединены и заменены теорией Эйнштейна»⁶⁰.

Третий вариант — последующие работы превосходят и в неявном виде включают в себя предыдущие. Эту идею можно найти в работах Роберта Мёртона, который обозначил ее как «забвение через включение» (*obliteration by incorporation*)⁶¹, но наиболее четко она была выражена Джорджем Стиглером:

«Современный экономист-теоретик, который имеет дело со все более формальным, абстрактным и систематическим корпусом знания, редко сочтет необходимым обратиться к работам даже конца XIX в. Подобно математике или химии, он будет исходить из допущения, что все полезное и эффективное, что содержалось в более ранних работах, присутствует — причем в более отчетливой и элегантной форме — в современной теории»⁶².

В любом случае, в неопозитивистской модели вообще нет места для классики, и в этом вопросе позиция сторонников данной модели по существу сводится к известному и часто цитируемому высказыванию Альфреда Уайтхеда, сделанному почти сто лет назад: «Наука, которая не решается забыть своих основателей, обречена»⁶³.

3) Парадигмальные модели

В 1960—1970-е годы колоссальную популярность приобрела модель развития науки, предложенная американским историком науки Томасом Куном в работе «Структура научных революций» (1-е изд. вышло в 1962 г., 2-е дополненное издание — в 1970 г.). Успех концепции Куна, среди прочего, во многом был предопределен общими «революционными» настроениями, охватившими западных интеллектуалов в 1960-е — начале 1970-х годов.

Куновская концепция «парадигм» и чередования периодов «нормальной» и «революционной» науки стала использоваться не только применительно к истории развития отдельных научных

⁶⁰ *Popper*, 1983 [1963]: 325, 332.

⁶¹ *Merton*, 1965: 218—219; *Мёртон*, 2006 [1968]: 50—51.

⁶² *Stigler*, 1969: 217.

⁶³ *Whitehead*, 1917: 115.

дисциплин, но и для оценки их современного состояния. Поиски парадигм активно велись практически во всех социальных науках: психологии, экономике и особенно в социологии⁶⁴. Как правило, во всех дисциплинах обнаруживалось несколько разных «специальностей», «школ» или «исследовательских направлений», которые и назывались парадигмами. При этом, с одной стороны, полностью элиминировался динамический аспект куновской модели, с другой — возникали различные спекуляции по поводу статуса и уровня развития общественных наук.

Поскольку концепция Куна сформулирована им крайне нечетко и допускает самые разные трактовки⁶⁵, попытаемся выделить в ней только те элементы, которые связаны с проблемой классики. Как писал Кун, «парадигма — это то, что объединяет членов научного сообщества, и, наоборот, научное сообщество состоит из людей, признающих парадигму»⁶⁶. В каждой научной дисциплине парадигма включает три основных элемента⁶⁷:

1) разделяемые научным сообществом критерии (Кун называет их «ценностями»), по которым оцениваются результаты научной деятельности;

2) принятые и используемые модели (теории, концепции, в терминологии Куна — «законы природы» и «концептуальные модели»), описывающие и объясняющие функционирование объекта данной дисциплины;

3) существующие образцы решения научных проблем (эта составляющая в наибольшей степени интересовала Куна, и именно она является парадигмой в точном смысле слова — от греч. *παράδειγμα*, «пример, образец»).

Конкретный набор этих трех элементов в каждый период времени образует дисциплинарные парадигмы.

Очевидно, что в этой концепции классические работы играют очень важную роль. Именно в них формируются основные модели, используемые в данной дисциплине, и именно они создают «образцы» (*exemplar*) решения научных проблем. Например, работа Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» представляет собой не только модель устройства и развития социального мира в определенный период (тем более что по ряду критериев — см. п. 1 — она не может считаться идеальной), но прежде всего она дает образец или пример решения проблем

⁶⁴ Обзоры работ, посвященных парадигмам в социологии, см. в: *Eckberg, Hill*, 1979; *Алиева*, 1995.

⁶⁵ См., например: *Masterman*, 1970.

⁶⁶ *Кун*, 1975 [1970/1962]: 229.

⁶⁷ *Указ соч.*: 236—244.

(головоломок, используя выражение Куна), возникающих при изучении социального мира.

Заметим, что книгу самого Куна, несмотря на ее противоречивость и путаное изложение (опять-таки см. выше п. 1)⁶⁸, также можно считать классической, поскольку она предложила новую «модель» развития науки. Но при этом, на наш взгляд, она не стала «образцом» решения проблем, о чем свидетельствует тот факт, что Куну пришлось написать по меньшей мере три разъясняющих дополнения к ней, которые он последовательно публиковал в 1970—1974 гг.

Наконец, в рамках представлений о «многопарадигмальности» социальных наук каждая парадигма обычно связывается с трудами ее «создателей» (хотя, как отмечалось выше, на самом деле обычно речь идет не о парадигмах, а скорее о научных или исследовательских направлениях и т. д.). Так или иначе, как показано во многих работах, для каждой парадигмы формируется свой набор классических работ и их авторов, которые выступают как маркеры этого направления и как авторитетная инстанция для его представителей⁶⁹.

4) Наукометрические модели

Наукометрия, т. е. количественный анализ научной деятельности, стала активно развиваться после Второй мировой войны и очень быстро оказалась весьма популярной областью исследований⁷⁰. Возникновение наукометрии было обусловлено, с одной стороны, быстрым увеличением объема научной продукции, выразившимся в колоссальном росте числа журналов и публикаций, с другой — появлением ЭВМ, давших возможность создания и использования различных баз данных, в том числе показателей, характеризующих научную деятельность.

Правда, подавляющая часть наукометрических работ представляет собой, пользуясь выражением Револьда Энтова, просто «трясение статистики», однако ряд эмпирических результатов, по-

⁶⁸ Как писал Кун в дополнении ко 2-му изданию, «я теперь думаю, что недостаток внимания к таким ценностям, как внутренняя и внешняя последовательность в рассмотрении источников кризиса и факторов в выборе теории, представлял собой слабость моего основного текста» (*Указ. соч.*: 241). Заметим, что в оригинале эта фраза звучит почти так же коряво, как и в русском переводе (что, впрочем, можно отнести ко всему куновскому тексту).

⁶⁹ См об этом, в частности: *Вахштайн*, наст. изд.; *Юревич*, наст. изд.; *Авдашева и др.*, наст. изд.

⁷⁰ Обзоры наукометрической литературы первых послевоенных десятилетий см. в: *Налимов, Мухаченко*, 1969; *Хайтун*, 1983.

лученных в этой области, позволяет выявить некоторые важные характеристики развития современной науки.

В качестве основных объектов количественного анализа в наукометрии фигурируют научные публикации и ссылки, содержащиеся в этих публикациях. (Заметим, что в русскоязычной литературе обычно используется термин «цитаты», представляющий собой кальку с англ. citations, но на самом деле это английское слово обозначает «ссылки», а не «цитаты» — англ. quotations.)

Прежде всего, на эмпирическом материале было доказано, что любая научная дисциплина не является единым целым, которое можно анализировать как однородный объект. Каждая дисциплина состоит из более узких «специальностей», которые представляют собой относительно самостоятельные научные структуры⁷¹. Кроме того, наряду со специальностями в каждой дисциплине существуют и более мелкие структуры — «исследовательские области»⁷². Развитие научных исследований (измеряемое числом публикаций) в рамках отдельных специальностей или исследовательских областей, как правило, описывается экспоненциально-логарифмической моделью, которую первым предложил использовать Дерек де Солла Прайс (1922—1983)⁷³. Модель характеризуется последовательной сменой начального периода ускоряющегося (экспоненциального) роста и последующего периода замедляющегося (логарифмического) роста, соответствующего периоду насыщения⁷⁴.

Одной из центральных тем в наукометрических исследованиях является, с подачи того же Прайса, анализ временной структуры ссылок⁷⁵. Здесь можно выделить два основных подхода.

Во-первых, изменения во временной структуре ссылок могут рассматриваться как составная часть модели развития отдельных специальностей или исследовательских областей: в период быстрого (экспоненциального) роста образуется так называемый исследовательский фронт и увеличивается доля ссылок на последние, новейшие работы в указанной области. Для периода насыщения, в свою очередь, должно быть характерно более равномерное распределение ссылок во времени.

⁷¹ Small, Griffith, 1974; Griffith et al., 1974; Small, Crane, 1979 (сокр. пер. см.: Смолл, Крейн, 1981 [1979]).

⁷² Whitley, 1974; Gieryn, 1978.

⁷³ Дерек Джон Прайс добавил «де Солла» к своей фамилии Прайс в 1950-е годы в знак уважения к своей матери, певице Фанни де Солла. В библиографических ссылках его фамилия обычно указывается просто как Прайс, а первая часть фамилии приписывается к имени.

⁷⁴ Price, 1951; Прайс, 1966 [1963]; обзор эмпирических проверок этой модели см. в: Fernández-Cano et al., 2004.

⁷⁵ Прайс, 1966 [1965]; Price, 1970 (сокр. пер.: Прайс, 1971 [1970]).

Во-вторых, различия во временной структуре ссылок могут анализироваться в статике, при сопоставлении различных исследовательских областей и специальностей. В этом случае можно выделить быстро и медленно развивающиеся направления исследований.

Оставляя в стороне вопрос о сопоставлении разных исследовательских областей и специальностей, не говоря уже о дисциплинах в целом, и тем более попытки установления их иерархии по степени «научности», отметим лишь некоторые содержательные результаты, интересные с точки зрения нашей темы.

Немногочисленные корректно проведенные эмпирические исследования ссылок в научных изданиях выявили, что механически рассчитываемые количественные показатели среднего «возраста» ссылок, доли ссылок с возрастом менее пяти или десяти лет и другие агрегированные меры не могут характеризовать структуру научного знания в той или иной области. Во всех специальностях и исследовательских областях, как в естественных, так и в общественных науках, можно выделить небольшое число классических работ (книг или статей), которые имеют постоянный высокий уровень ссылок, практически не меняющийся во времени. В то же время подавляющая часть работ в каждой области, и особенно это относится к статьям, действительно является «эфмерной» (терминология Ричарда Бёртона и Ричарда Кеблера), с коротким «сроком жизни», т. е. быстро убывающей частотой ссылок на них.

Иными словами, при грамотном эмпирическом анализе в каждом научном направлении, в том числе и в естествознании, можно выделить несколько классических работ, которые в течение многих лет продолжают служить основой для исследований в данной области и частота ссылок на которые почти не убывает со временем⁷⁶. Сам Прайс, анализирувавший временные структуры ссылок в одной из исследовательских областей физики (так называемая проблема N-лучей), с удивлением констатировал:

«Любопытно отметить, что все классические работы... цитируются примерно с одинаковой частотой и образуют в связи с этим довольно симметричное расположение. Это обстоятельство может иметь определенное теоретическое значение (! — А. П.)» (Прайс. 1966 [1965]: 357).

5) Типологические модели

Распространение после Второй мировой войны различных моделей развития научного знания, ориентированных в первую

⁷⁶ Burton, Kebler, 1960; Cawkell, 1976; McCain, 1987; Anderson et al., 1989; Lindholm-Romantschuk, Warner, 1996. См. также: Савельева, наст. изд.

очередь на естественные науки, стимулировало в 1960-е годы ответную реакцию со стороны гуманитариев. По существу речь шла о развитии идей, высказанных в конце XIX в. Вильгельмом Дильтеем, Вильгельмом Виндельбандтом, Генрихом Риккертом и другими апологетами «наук о духе» (культуре, человеке и т. д.) как самостоятельной области научного знания, отличающейся от естествознания не только предметом, но и методами исследования своего объекта.

Новый импульс дискуссия о разных типах наук получила в конце 1950-х годов благодаря появлению известных работ Карла Дёйча и Чарльза Сноу⁷⁷, а во второй половине 1960-х она была актуализирована Юргеном Хабермасом, который в ходе полемики с Хансом-Георгом Гадамером разделил науки на «эмпирико-аналитические» и «историко-герменевтические»⁷⁸. Тогда же получило популярность деление наук на «твердые» и «мягкие», введенное в библиометрических работах Нормана Сторера и Дерека де Солла Прайса⁷⁹.

Строго говоря, во всех этих случаях речь шла не столько о моделях развития, сколько о типологии наук, но такого рода деление приобрело известную популярность, в частности, в работах сторонников «организационно-сетевой» концепции науки (см. ниже). Одно из ключевых различий между двумя «прототипическими научными структурами» (выражение Лоувелла Харгенса) исследователи видят как раз в соотношении между классическими (основополагающими) и текущими работами.

«В первой [прототипической структуре] ученые концентрируют внимание на недавно опубликованных исследованиях и склонны игнорировать основополагающие работы... Здесь принцип “забвения через включение”, при котором текущие исследования столь основательно включают научные достижения прошлого, что не возникает нужды в отсылке к исходным источникам, проявляет себя в полной мере. В областях, которым присуща такая структура, ученые сознательно опираются на самые новейшие результаты и процедуры, и интервалы между сообщением о новом откры-

⁷⁷ Deutsch, 1958; Сноу, 1985 [1959].

⁷⁸ Хабермас, 2007 [1965]; Habermas, 1968. На самом деле к традиционному двучленному делению Хабермас добавляет еще и третью категорию — «критические науки», к которым он относит критику идеологии, психоанализ и свои собственные исследования, но эта часть его схемы не получила широкого признания.

⁷⁹ Storer, 1967; Price, 1970 (сокр. пер.: Прайс, 1971 [1970]). Подробнее см.: Савельева, наст. изд.

тии и его инкорпорацией в последующие работы достаточно коротки...

Во второй прототипической структуре ученые концентрируют внимание на ранних трудах и склонны игнорировать текущие публикации. Подобная структура существует там, где ученые занимаются проблемами, поставленными в классических текстах, или где интерпретация считается почетным занятием. В областях, которым присуща такая структура, ученые конкурируют друг с другом, предлагая новые трактовки давних проблем или демонстрируя, как с помощью идей, содержащихся в классических текстах, можно прояснить новые дискуссионные вопросы»⁸⁰.

«Герменевтическая» установка, явно или неявно присутствующая в размышлениях многих видных экономистов и социологов о своих дисциплинах, постоянно приводит их к мысли о важности перечитывания классических текстов. При таком перечитывании всегда удастся найти в этих текстах новые, не замеченные ранее или забытые идеи, которые могут служить импульсом для развития современной науки (см. Вставку 1).

Вставка 1. О пользе перечитывания общественнонаучной классики

Роберт Мёртон: «...То, что сообщает печатная страница, отчасти меняется в результате взаимодействия между покойным автором и живым читателем. Точно так же, как бывает разной “Песнь песней”, когда ее читаешь в 17 лет и в 70, так и “Wirtschaft und Gesellschaft” Вебера, “Le suicide” Дюркгейма или “Soziologie” Зиммеля различны, когда их читают в разные времена. Ибо точно так же, как новые сведения имеют обратное воздействие, помогая распознать предвидение и предвосхищение в ранних работах, так и изменения в современной социологической науке, проблемах и круте интересов социологов позволяют найти *новые* идеи в работе, которую мы уже читали»⁸¹.

Кеннет Боулдинг: «Сочинения, подобные “Богатству народов”, безусловно, принадлежат протяженному настоящему, которое не обнаруживает признаков приближающегося конца в том смысле, что после неоднократных перечитываний все еще можно обращаться к Адаму Смиту и находить у него не замеченные прежде прозрения, которые могут заметно повлиять на наши мысли»⁸².

⁸⁰ Hargens, 2000: 846—847.

⁸¹ Мёртон, 2006 [1968]: 62.

⁸² Boulding, 1971: 231.

Толкотт Парсонс: «...Вы никогда не исчерпаете их [классических текстов] значение и значимость для вашей работы, прочитав их единожды. Возвращаясь к ним, вы *всегда* найдете что-то новое, чего не понимали прежде»⁸³.

Гэри Андерсон, Дэвид Леви и Роберт Толлисон: «С одной стороны, правдоподобной характеристикой научной деятельности является то, что вследствие стремления к минимизации транзакционных издержек старое знание полностью включено в современное. Эта гипотеза, которую мы назовем моделью эффективного рынка научных исследований, говорит нам, что чтение старых текстов столь же малоперспективно для получения научных результатов, как рысканье по букинистическим лавкам в поисках раритетов, продающихся за бесценок. Вероятность найти заслуживающую внимания, но неизвестную теорему в “Богатстве народов” сравнима с возможностью обнаружить первое издание “Принципов” Мальтуса по цене 25 долл. Такое может случиться на протяжении одной жизни, но вряд ли более чем однажды...

С другой стороны, работы многих экономистов, живших до XX века, имеют впечатляющее количество ссылок. Означает ли это, что, например, у Давида Рикардо еще есть теоремы, которые до сих пор не были использованы? Это выглядит маловероятным. Однако в работах Давида Рикардо, Карла Маркса и Адама Смита могут быть поставлены *проблемы*, которые мы все еще пытаемся разрешить...»⁸⁴

Марк Блауг: «В конце концов, как только у кого-то появляется новая идея, как только у кого-то возникает страстное желание основать новое направление или научную школу, что в первую очередь делает он или она? Конечно же, тщательно обследует чердак со старыми идеями, чтобы создать достойную родословную новому направлению. Все великие экономисты прошлого именно так и поступали: Смит, Рикардо, Маркс, Маршалл и Кейнс — все обращались к истории экономической мысли, чтобы показать, что у них были предшественники; даже Милтон Фридман, начав монетаристскую контрреволюцию против Кейнса, не смог воспротивиться искушению снова и снова цитировать Дэвида Юма»⁸⁵.

Питер Бёттке: «Зачем, в самом деле, читать классиков экономической теории? На то есть резоны, связанные с антикварным интересом, — чтение работ великих политэкономов прошлого позволяет уловить отблеск мысли гения минувших веков. Однако чтение старых работ по экономике не похоже на просмотр немного фильма или старого репортажа о бейсбольном матче... Были в прошлом работы, из которых и ныне

⁸³ Parsons, 1981: 189—190; цит. по: Parker, 1997: 126.

⁸⁴ Anderson et al., 1989: 174, 182.

⁸⁵ Blaug, 1991: x.

мы можем черпать важные идеи, полезные для решения сегодняшних неотложных проблем»⁸⁶.

Ян Керр: «Разрабатывать вышедшие из употребления [экономические] теории/идеи столь же прибыльно, как возвращаться к отвалам заброшенных золотых приисков, когда новые поколения овладевают технологией, позволяющей извлекать оставшееся золото, добыча которого прежде была экономически невыгодна»⁸⁷.

б) Организационно-сетевые модели

Если наукометрические модели в первую очередь отражали количественный рост научной продукции, то появление организационных моделей можно рассматривать как реакцию на быстрое увеличение затрат на науку, числа исследовательских организаций и научных сотрудников. Организационные модели науки продолжали традиции анализа деятельности организаций, круг которых до этого в основном ограничивался коммерческими и государственными структурами. Одновременно при построении организационных моделей была сделана попытка учесть разные подходы, предлагавшиеся в рамках кумулятивных, парадигмальных, наукометрических и типологических моделей.

Традиционные типологии организаций были разработаны Артуром Стинчкомбом и Чарльзом Перроу в 1950—1960-е годы⁸⁸. В 1970—1980-е они были применены к научным организациям — в первую очередь речь идет о работах Рэндалла Коллинза и Ричарда Уитли, а немного позднее эту же тему начал разрабатывать Стефан Фукс⁸⁹. Заметим, что организационно-сетевым моделям присущ отчетливый экономизм — одним из основных факторов, определяющих развитие научных организаций (как формальных, так и неформальных), является конкурентная борьба за ресурсы (денежные средства, оборудование и т. д.). Кроме того, эти модели являются в первую очередь статическими, и динамический аспект в них учитывается только в форме типологических изменений.

В моделях такого типа деятельность организаций (в том числе и научных) характеризуется двумя основными параметрами: уровнем внутренней координации (взаимосвязей) и уровнем неопределенности деятельности и ее результатов. Сочетание этих двух параметров задает четыре типа деятельности организаций или их состояния (см. Схему 1).

⁸⁶ Boettke, 2000.

⁸⁷ Kerr, 2002: 94.

⁸⁸ Stinchcombe, 1959; Perrow, 1967.

⁸⁹ Collins, 1975; Whitley, 1984; Fuchs, 1992; 1993. В последние десятилетия организационно-сетевые модели (правда, весьма специфические) активно пропагандируют Брюно Латур, Стивен Вулгар и Мишель Каллон.

Схема 1. Типы научной деятельности

		Неопределенность результатов	
		Высокая	Низкая
Взаимозависимость участников	Высокая	1. «Исследовательский фронт»	2. «Нормальная наука»
	Низкая	3. «Герменевтическая наука»	4. «Стагнация»

Модифицированный вариант схемы из: *Fuchs*, 1993: 240.

Заметим, что речь в этой модели идет не только и не столько о формальных организациях, сколько о неформальных организационных структурах, т. е. не о научных организациях, а об организации научной деятельности и разных ее типах.

1-й тип (высокая неопределенность результатов деятельности и высокий уровень взаимозависимости между участниками) — соответствует понятию исследовательского фронта в наукометрических моделях;

2-й тип (низкий уровень неопределенности и высокий уровень взаимозависимости) — соответствует понятию нормальной науки в парадигмальных моделях;

3-й тип (высокий уровень неопределенности и низкий уровень взаимозависимости) — соответствует «герменевтической науке» в типологических моделях;

4-й тип (низкий уровень неопределенности и низкий уровень связей) — определяется как «стагнационный» и практически не встречается в науке. В качестве примера такого типа деятельности Рэндалл Коллинз приводит лишь философию (схоластику) в период позднего Средневековья, т. е. в XVI—XVII вв., хотя это мнение тоже можно оспорить (равно как и его конъюнктурно-публицистическое утверждение о стагнации философии в конце XX в.)⁹⁰.

В этой модели роль классики возрастает от первого к четвертому типу деятельности. Для участников «исследовательского фронта» классика вообще не нужна; для «нормальной науки» — почти не нужна, поскольку в основном речь идет о рутинных исследованиях. Но в тех областях, где существует низкий уровень связей и высокий уровень неопределенности, классика становится важным средством интеграции научного сообщества и координации исследований. Наконец, при низком уровне связей и низкой неопределенности результатов классика начинает играть центральную роль, т. к. деятельность исследователей в этом случае в основ-

⁹⁰ Коллинз. 2002 [1998]: 655—680.

ном сводится к комментированию и техническому уточнению классических работ.

Сторонники этой модели обычно полагают, что естественные науки в основном относятся к первому и второму типу, а социальные и гуманитарные дисциплины — к третьему или даже к четвертому. Правда, при этом признаётся, что на уровне отдельных специальностей или исследовательских областей социальные и гуманитарные науки иногда также могут действовать по типу «нормальной» науки и даже образовывать «исследовательские фронты».

7) Модель «дерева решений/целей»

Первые «древовидные» модели развития науки появились в начале 1970-х годов — речь идет о книге Стивена Тулмина «Коллективное использование и эволюция понятий» (1972) и двух статьях Майкла Малкея (1973, 1975)⁹¹. Тулмин предложил «эволюционно-популяционную» модель развития естествознания, в которой описывались разные варианты эволюции системы научных понятий и соответствующих им институциональных «популяций» (дисциплин и научных специальностей). Малкей же назвал свою модель «моделью ветвления» (*branching model*), сделав акцент на процессе дробления одного научного направления на все большее число относительно самостоятельных «специальностей» или тем исследований.

В обеих моделях «ветвление» структуры понятий, исследовательских направлений и соответствующих институциональных форм организации науки (от «невидимых колледжей» до журналов, лабораторий и кафедр) выступает как способ разрешения возникающих научных проблем и как альтернатива «революционному» способу их разрешения в форме радикальной смены парадигм; одновременно смягчается постулированное Куном жесткое противопоставление «нормального» и «революционного» состояния науки. При этом, хотя и Тулмин, и Малкей придерживаются «эволюционной» концепции, они противопоставляют свои подходы (нео)позитивистской эволюционной кумулятивной модели развития науки (Тулмин возражает против линейной и неизменной во времени попперовской модели рационального отбора и накопления научных знаний, а Малкей оспаривает социологическую составляющую этой модели, представленную в работах Мёртона).

⁹¹ Тулмин, 1998 [1972], особ. гл. 3; Mulkey, Edge, 1973; Mulkey, 1975. Работа Тулмина обычно фигурирует под названием «Человеческое понимание», но на самом деле речь идет лишь о первом томе этой работы, озаглавленном «Коллективное использование и эволюция понятий». Два других тома, которые должны были быть посвящены индивидуальному пониманию и проблеме рациональности, не были им написаны.

Модели Тулмина и Малкея, как и оспариваемые ими модели Поппера—Мёртона и Куна, были ориентированы на естественные науки. По этой причине, в частности, в этих моделях не затрагивалась проблема научной классики (так, хотя Тулмин и анализировал проблему научных авторитетов, он ограничивался рассмотрением только роли современников). Но как только «древовидная» модель стала применяться к социальным и гуманитарным наукам, проблема классики сразу вышла на первый план.

Первой работой такого рода, видимо, можно считать статью социолога Артура Стинчкомба (1982). Показательно, что его статья посвящена именно проблеме классики в социологии, и «древовидная» модель возникает как продукт анализа этой проблемы, т. е. как относительно формализованное представление роли и функций классики в социально-гуманитарных науках.

«Если мы вообразим развитую науку в виде древа эволюции, каким мы привыкли его видеть в десятом классе школы, мы сможем более четко представить эту функцию. Обычно мы работаем на конце одной из ветвей и, когда сталкиваемся с проблемой, чтобы понять, в чем дело, возвращаемся только к первому разветвлению. Но Эйнштейн вернулся к стволу, к Лоренцу и Ньютону, и даже решительно отверг экспериментальные результаты, полученные на одной из ветвей, в надежде, что между стволом и кончиком ветки обнаружится что-то, объясняющее противоречие... Не все из нас способны игнорировать факты подобно Эйнштейну. Но именно потому, что открытие Эйнштейна столь радикально, его пример прекрасно иллюстрирует процесс пренебрежения ветвями ради ствола»⁹².

Как можно заметить, описание Стинчкомба имеет слабо формализованный характер и отчасти напоминает метафору. Несколько более формализованный (хотя тоже достаточно метафоричный) вид эта модель приобрела в работах экономиста Акселя Лейонхуфвуда⁹³, но известность она получила в основном лишь среди специалистов по истории экономической мысли⁹⁴. В отличие от

⁹² *Stinchcombe*, 1982: 8.

⁹³ *Leijonhufvud*, 1994; 2006. По словам Лейонхуфвуда, впервые эту модель он сформулировал в 1987 г. в докладе на конференции в Гарвардском университете, который не был опубликован.

⁹⁴ См.: *Blaug*, 2001; *Boettke*, 2002; *De Vroey*, 2004. Заметим, что в работах Марка Блауга и Питера Бёттке дается неверная ссылка: говоря о предложенной Лейонхуфвудом модели «дерева решений», оба ссылаются на его публикацию 1999 г. (перепечатка статьи, впервые опубликованной в 1998 г.: *Leijonhufvud*, 1998), но там эта модель не рассматривается. На самом деле данную модель Лейонхуфвуд изложил в статье, опубликованной в 1994 г. (*Leijonhufvud*, 1994).

«эволюционной» метафоры, использовавшейся предшествующими авторами, Лейонхуфвуд использует для описания развития экономической науки привычную для экономистов модель «дерева решений» (decision tree).

«Имеет смысл представить себе наш предмет в виде “дерева решений”. Ведущие экономисты ставили своих предшественников перед проблемой выбора — выбора, о чем спрашивать, что предполагать, что рассматривать в качестве свидетельств и какие методы и модели использовать — и убеждали коллег по профессии или хотя бы часть из них следовать тому выбору, который предлагали. Путь, которым следует любая научная школа, представляет собой череду таких решений. Многие решения, принятые на этом пути, не были превосхищены основателем направления, а были сделаны последователями. Некоторые из этих решений задним числом мы можем оценить как “неверные”»⁹⁵.

Как справедливо отмечается многими авторами, подавляющему большинству исследователей, работающих в рамках «нормальной» науки, а тем более занимающихся прикладными исследованиями, обращение к классике абсолютно не требуется, причем не только на уровне текстов, но даже на уровне идей. Потребность в обращении к более ранним работам (идеям), в том числе имеющим статус классических, возникает только при необходимости выхода за рамки рутинного кумулятивного процесса накопления знания.

Чтобы избежать биологических аналогий и перевести обсуждение этой концепции с уровня метафоры на уровень модели, я попытаюсь представить развитие науки, используя стандартный аппарат теории графов (граф — это совокупность из множества «вершин» и множества «рёбер»)⁹⁶. Такой условный граф является «взвешенным», т. е. каждому «ребру» может быть приписано некое условное значение («вес»). Классики обычно задают новые «вершины» этого графа, от которых отходят «рёбра» с большими «весами», по которым далее движется нормальная наука (конечно, не все создатели новых направлений являются классиками, поскольку в этом графе от большинства «вершин» отходят «рёбра» с относительно небольшими «весами»). Данный граф не обязательно является полностью «связанным», т. е. в нем могут существовать изолированные части. В большинстве случаев этот граф является «ориентированным», т. е. движение от «вершин» происходит только в од-

⁹⁵ Leijonhufvud, 1994: 148.

⁹⁶ Популярное введение в теорию графов см., например, в: Оре, 1965 [1963].

ном направлении. Однако в нем существует возможность вернуться назад, к одной из предшествующих «вершин», чтобы попытаться создать новое отходящее от нее «ребро» или начать двигаться по какому-то заброшенному «ребру». В этом случае мы и возвращаемся к «вершинам», сформированным в классических работах.

Литература

Ашчева Д. Я. Историографическая саморефлексия в современной социологии // *Социологический журнал*. 1995. № 4. С. 50—68.

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / Пер. с англ. М.: Дело, 1994 [1962, 4th ed. 1991].

В поисках теории развития науки (Очерки западноевропейских и американских концепций XX века) / Ред. С. Р. Микулинский, В. С. Черняк. М.: Наука, 1982.

Вебер М. Наука как призвание и профессия [1918/1917] // Вебер М. Избранные работы / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. С. 707—735.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1988 [1960].

Дубин Б. В., Зоркая Н. А. Идея «классики» и ее социальные функции // Проблемы социологии литературы за рубежом: Сб. обзоров и рефератов. М.: ИНИОН АН СССР, 1983. С. 40—82.

Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения / Пер. с англ. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002 [1998].

Компанийон А. Демон теории / Пер. с франц. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001 [1998].

Кун Т. С. Структура научных революций / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1977 [1970, 1st ed. 1962].

Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции [1970] // Структура и развитие науки / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1978. С. 203—269.

Мёртон Р. К. Об истории и систематике социологической теории [1968] // Мёртон Р. К. Социальная теория и социальная структура / Пер. с англ. М.: АСТ, 2006 [1968]. С. 19—63.

Нахимов В. В., Мульченко З. М. Наукометрия: Изучение развития науки как информационного процесса. М.: Наука, 1969.

Негиси Т. История экономической теории / Пер. с англ. М.: Аспект Пресс, 1995 [1989].

Новый большой англо-русский словарь: В 3 т. / Ред. Э. М. Медникова, Ю. Д. Апресян. М.: Русский язык, 1993.

Оре О. Графы и их применение / Пер. с англ. М.: Мир, 1965 [1963].

Парсонс Т. Э. Ф. Структура социального действия [1937] (главы из книги) // Парсонс Т. О структуре социального действия / Пер. с англ. М.: Академический проект, 2000. С. 43—328.

Поппер К. Р. К эволюционной теории познания [1990] // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики / Пер. с англ. М.: Эдиториал УРСС, 2000. С. 194—209.

Поппер К. Р. Логика научного исследования [1959/1934] (сокр. пер.) // Поппер К. Логика и рост научного знания. Избранные работы / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1983. С. 33—235.

Поппер К. Р. Предположения и опровержения. Рост научного знания [1963] (сокр. пер.) // Поппер К. Логика и рост научного знания. Избранные работы / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1983. С. 240—378.

Поппер К. Р. Эволюционная эпистемология [1984] // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики / Пер. с англ. М.: Эдиториал УРСС, 2000. С. 57—74.

Прайс Д. Дж. Квоты цитирования в точных и неточных науках, технике и не-науке (сокр. пер.) [1970] // *Вопросы философии*. 1971. № 3. С. 149—155.

Прайс Д. Дж. Система научных публикаций [1965] // *Успехи физических наук*, октябрь 1966. Т. 90. Вып. 2. С. 349—359.

Прайс Д. Дж. Малая наука, большая наука [1963] // Наука о науке. М.: Прогресс, 1966. С. 281—384.

Рамшедт О. Актуальность социологии Зиммеля // *Социологический журнал*. 1994. № 2. С. 53—64.

Савельева И. М., Полетаев А. В. Знание о прошлом: теория и история: В 2 т. Т. 1: Конструирование прошлого. Т. 2: Образы прошлого. СПб.: Наука, 2003—2006.

Самуэльсон П. А. Основания экономического анализа / Пер. с англ. СПб.: Экономическая школа, 2002 [1947/1983].

Смолл Г. Дж., Крейн Д. Специальности и дисциплины в естественных и социальных науках: исследование их цитирования посредством цитирования [1979] // Научная информация и система научных коммуникаций: Сборник рефератов. М.: ИНИОН АН СССР, 1981. С. 160—179.

Сноу Ч. П. Две культуры и научная революция [1959] // Сноу Ч. П. Портреты и размышления / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1985. С. 195—226.

Сраффа П. Производство товаров посредством товаров: Прелюдия к критике экономической теории / Пер. с англ. М.: Юнити, 1999 [1960].

Тулмин С. Э. Человеческое понимание. Т. 1: Коллективное употребление и эволюция понятий / Пер. с англ. Благовещенск: БГК, 1998 [1972].

Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века / Пер. с англ. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002 [1973].

Хабермас Ю. Познание и интерес [1965] // Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология» / Пер. с нем. М.: Праксис, 2007 [1968]. С. 167—191.

Хайтун С. Д. Наукометрия: Состояние и перспективы. М.: Наука, 1983.

Шумпетер Й. А. История экономического анализа: В 3 т. / Пер. с англ. СПб.: Экономическая школа, 2001 [1954 посм.].

Alexander J. C. The Centrality of the Classics // *Social Theory Today* / Eds. A. Giddens and J. Turner. Cambridge: Polity Press, 1987. P. 11–57.

Anderson G. M., Levy D. M., Tollison R. D. The Half-Life of Dead Economists // *The Canadian Journal of Economics*. February 1989. Vol. 22. No. 1. P. 174–183.

Aronowitz S. The Simmel Revival: A Challenge to American Social Science // *The Sociological Quarterly*. August 1994. Vol. 35. No. 3. P. 397–414.

Ashley D., Orenstein D. M. *Sociological Theory: Classical Statements*. Boston: Allyn and Bacon, 1995.

Aspromourgos T. On the Origins of the Term Neoclassical // *Cambridge Journal of Economics*. September 1986. Vol. 10. No. 3. P. 265–270.

Baehr P. *Founders, Classics, Canons: Modern Disputes Over the Origins and Appraisal of Sociology's Heritage*. New Brunswick; London: Transaction Publishers, 2002 [1994].

Blaug M. Introduction // *The Historiography of Economics* / Ed. M. Blaug. 2 vols. Aldershot (England): Edward Elgar, 1991. Vol. 1. P. iii–xi.

Blaug M. No History of Ideas, Please, We're Economists // *The Journal of Economic Perspectives*. Winter 2001. Vol. 15. No. 1. P. 145–164.

Boettke P. J. The Use and Abuse of the History of Economic Thought within the Austrian School of Economics // *History of Political Economy*. 2002. Vol. 34. Annual Supplement. P. 337–360.

Boettke P. J. Why Read the Classics in Economics? // *The Library of Economics and Liberty*. February 24, 2000. <http://www.econlib.org/library/Features/feature2.html>.

Boulding K. After Samuelson, Who Needs Adam Smith? // *History of Political Economy*. Fall 1971. Vol. 3. No. 2. P. 225–237.

Burton R. E., Kebler R. W. The 'Half-Life' of Some Scientific and Technical Literatures // *American Documentation*. January 1960. Vol. 11. No. 1. P. 18–22.

Butterfield H. *The Whig Interpretation of History*. L.: G. Bell & Sons, 1931.

Callon M. Four Models for the Dynamics of Science // *Handbook of Science and Technology Studies* / Ed. Sh. Jasanoff et al. London; Thousand Oaks (CA): SAGE, 1994. P. 29–63.

Camich Ch. The Utilitarians Revisited // *The American Journal of Sociology*. November 1979. Vol. 85. No. 3. P. 516–550.

Camich Ch. The Matter of Habit // *The American Journal of Sociology*. 1986. Vol. 91. No. 5. P. 1039–1087.

Cawell A. E. Citations, Obsolescence, Enduring Articles, and Multiple Authorships // *Journal of Documentation*. January 1976. Vol. 32. No. 1. P. 53–58.

Colander D. The Death of Neoclassical Economics // *Journal of the History of Economic Thought*. June 2000. Vol. 22. No. 2. P. 127–143.

Cole S. The Hierarchy of the Sciences? // *The American Journal of Sociology*. July 1983. Vol. 89. No. 1. P. 111–139.

Collins R. *Conflict Sociology. Toward an Explanatory Science*. Academic Press. 1975.

Connell R. W. Why is Classical Theory Classical? // *The American Journal of Sociology*. May 1997. Vol. 102. No. 6. P. 1511–1557.

Davis M. S. «That's Classic!» The Phenomenology and Rhetoric of Successful Social Theories // *Philosophy of the Social Sciences*. September 1986. Vol. 16. No. 3. P. 285–301.

Dawe A. Theories of Social Action // *A History of Sociological Analysis* / Eds. T. Bottomore and R. Nisbet. New York: Basic Books, 1978. P. 362–417.

De Vroey M. The History of Macroeconomics Viewed Against the Background of the Marshall-Walras Divide // *History of Political Economy*. 2004. Vol. 36. Annual Supplement. P. 57–91.

Deutsch K. W. Scientific and Humanistic Knowledge in the Growth of Civilisation // *Science and the Creative Spirit* / Ed. H. Brown. Univ. of Toronto Press, 1958. P. 3–51.

Eckberg D. L., Hill L. The Paradigm Concept and Sociology: A Critical Review // *American Sociological Review*. December 1979. Vol. 44. No. 6. P. 925–937.

Ekelund R. B. Jr., Hébert R. F. A History of Economic Theory and Method. 5th ed. Long Grove (Ill.): Waveland Press, 2007 [1st ed. 1975].

Fernández-Cano A., Torralbo M., Vallejo M. Reconsidering Price's Model of Scientific Growth: An Overview // *Scientometrics*. November 2004. Vol. 61. No. 3. P. 301–321.

Fuchs S. A Sociological Theory of Scientific Change // *Social Forces*. June 1993. Vol. 71. No. 4. P. 933–953.

Fuchs S. The Professional Quest for Truth. A Social Theory of Science and Knowledge. New York: SUNY Press, 1992.

Gieryn T. F. Problem Retention and Problem Choice in Science // *The Sociology of Science: Problems, Approaches, and Research* / Ed. J. Gaston. San Francisco, CA: Jossey Bass, 1978. P. 96–115.

Griffith B. C., Small H. G., Stonehill J. A., Dey S. The Structure of Scientific Literatures II: Toward a Macro- and Microstructure for Science // *Science Studies*. October 1974. Vol. 4. No. 4. P. 339–365.

Habermas J. Erkenntnis und Interesse. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1968.

Hargens L. L. Using the Literature: Reference Networks, Reference Contexts, and the Social Structure of Scholarship // *American Sociological Review*. December 2000. Vol. 65. No. 6. P. 148–163.

Hollander S. Classical Economics. Oxford: Blackwell, 1987.

How A. That's Classic! A Gadamerian Defence of the Classic Text in Sociology // *The Sociological Review*. November 1998. Vol. 46. No. 4. P. 828–848.

Jones R. A. On Understanding a Sociological Classic // *The American Journal of Sociology*. September 1977. Vol. 83. No. 2. P. 279–319.

Kennedy G. A. The Origin of the Concept of a Canon and Its Application to the Greek and Latin Classics // *Canon vs. Culture: Reflections on the Current Debate* / Ed. J. Gorak. London; New York: Garland, 2001. P. 105–115.

Kerckhove D. de. What Makes the Classics Classic in Science? // *Bulletin of the American Society for Information Science*. February–March 1992. No. 18. P. 13–14.

Kerr I. A. The Value of the History of Economic Thought // *Journal of Economic and Social Policy*. Winter 2002. Vol. 6. No. 2. P. 88–99.

Leijonhufvud A. Hicks, Keynes, and Marshall // *The Legacy of Hicks* / Eds. H. Hagemann and O. F. Hamouda. London: Routledge, 1994. P. 147–162.

Leijonhufvud A. Mr. Keynes and the Moderns // *European Journal of the History of Economic Thought*. 1998. Vol. 5. No. 1. P. 169–188.

Reprinted in: The Impact of Keynes on Economics in the 20th Century / Eds. L. L. Pasinetti and B. Schefold. Cheltenham: Edward Elgar, 1999. P. 16–35.

Leijonhufvud A. The Uses of the Past. Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Economia. Discussion Paper No. 3, 2006.

Levin H. Contexts of the Classical // Levin H. Contexts of Criticism. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1957. P. 38–54.

Levine D. N. Simmel and Parsons Reconsidered // *The American Journal of Sociology*. March 1991. Vol. 96. No. 5. P. 1097–1116.

Levine D. N., Carter E. B., Gorman E. M. Simmel's Influence on American Sociology. I à II // *The American Journal of Sociology*. 1976. Vol. 81. No. 4. P. 813–845; No. 5. P. 1112–1132.

Lindholm-Romantschuk Y., Warner J. The Role of Monographs in Scholarly Communication: An Empirical Study of Philosophy, Sociology, and Economics // *Journal of Documentation*. December 1996. Vol. 52. No. 4. P. 389–404.

Luck G. Scriptor Classicus // *Comparative Literature*. Spring 1958. Vol. 10. No. 2. P. 150–158.

MacMullin E. Scientific Classics and Their Fate // *PSA: Proceedings of the Biannual Meeting of the Philosophy of Science Association*. 1994. Vol. 2. P. 266–274.

Masterman M. The Nature of a Paradigm // Criticism and the Growth of Knowledge / Eds. I. Lakatos and A. Musgrave. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1970. P. 59–89.

McCain K. W. Citation Patterns in the History of Technology // *Library and Information Science Research*. January–March 1987. Vol. 9. No. 1. P. 41–59.

McCloskey D. N. The Rhetoric of Economics // *Journal of Economic Literature*. June 1983. Vol. 21. No. 2. P. 481–517.

Merton R. K. Discussion on Parsons' «The Position of Sociological Theory» // *American Sociological Review*. April 1948. Vol. 13. No. 2. P. 164–168.

Merton R. K. On the Shoulders of Giants. New York: Harcourt Brace, 1965.

Merton R. K. Priorities in Scientific Discovery: A Chapter in the Sociology of Science // *American Sociological Review*. December 1957. Vol. 22. No. 6. P. 635–659.

Moggridge D. E. Maynard Keynes: An Economist's Biography. London and New York: Routledge, 1992.

Mulkay M. J., Edge D. O. Cognitive, Technical and Social Factors in the Growth of Radio Astronomy // *Social Science Information*. December 1973. Vol. 12. No. 6. P. 25—61.

Mulkay M. J. Three Models of Scientific Change // *The Sociological Review*. August 1975. Vol. 23. No. 3. P. 509—526.

Parker D. Why Bother with Durkheim? Teaching Sociology in the 1990s // *The Sociological Review*. February 1997. Vol. 45. No. 1. P. 122—146.

Parsons T. Revisiting the Classics Throughout a Long Career // *The Future of the Sociological Classics* / Ed. B. Rhea. London: Allen and Unwin, 1981. P. 183—194.

Peel J. D. Y. Herbert Spencer: The Evolution of a Sociologist. New York: Basic Books, 1971.

Perrow Ch. A Framework for the Comparative Analysis of Organizations // *American Sociological Review*. April 1967. Vol. 32. No. 2. P. 194—208.

Porter J. I. What Is «Classical» about Classical Antiquity? // *Classical Pasts: The Classical Traditions of Greece and Rome* / Ed. J. I. Porter. Princeton: Princeton Univ. Press, 2005. P. 1—67.

Price D. J. de Solla. Citation Measures of Hard Science, Soft Science, Technology, and Nonscience // *Communication among Scientists and Engineers* / Eds. C. E. Nelson, D. K. Pollock.. Lexington, MA: D.C. Heath and Company, 1970. P. 3—22.

Price D. J. de Solla. Quantitative Measures of the Development of Science // *Archives Internationales d'Histoire des Sciences*. January 1951. Vol. 4. No. 14. P. 85—93.

Samuelson P. A. Out of the Closet: A Program for the Whig History of Economic Science // *Bulletin of the History of Economics Society*. Fall 1987. Vol. 9. No. 1. P. 51—60;

Samuelson P. A. The Canonical Classical Model of Political Economy // *Journal of Economic Literature*. December 1978. Vol. 16. No. 4. P. 1415—1434.

Seidman S. Beyond Presentism and Historicism: Understanding the History of Social Science // *Sociological Inquiry*. Winter 1983. Vol. 53. No. 1. P. 79—94.

Seidman S. Classics and Contemporaries: The History and Systematics of Sociology Revisited // *History of Sociology*. Fall 1985b. Vol. 6. No. 1. P. 121—135.

Seidman S. The Historicist Controversy: A Critical Review with a Defence of a Revised Presentism // *Sociological Theory*. Spring 1985a. Vol. 3. No. 1. P. 13—16.

Sherman L. W. Uses of the Masters: Weber, Marx, and Durkheim // *The American Sociologist*. November 1974. Vol. 9. No. 4. P. 176—181.

Skinner Q. Meaning and Understanding in the History of Ideas // *History and Theory*. 1969. Vol. 8. No. 1. P. 3—53.

Small H. G., Crane D. Specialties and Disciplines in Science and Social Science: An Examination of their Structure Using Citation Indexes // *Scientometrics*. August 1979. Vol. 1. No. 5/6. P. 445—461.

Small H. G., Griffith B. C. The Structure of Scientific Literatures. I. Identifying and Graphing Specialties // *Science Studies*. January 1974. Vol. 4. No 1. P. 17—40.

Stigler G. J. Does Economics Have a Useful Past? // *History of Political Economy*. Fall 1969. Vol. 1. No. 2. P. 217—230.

Stinchcombe A. L. Should Sociologists Forget Their Mothers and Fathers? // *The American Sociologist*. February 1982. Vol. 17. No. 1. P. 2—11.

Stinchcombe A. Bureaucratic and Craft Administration of Production: A Comparative Study // *Administrative Science Quarterly*. September 1959. Vol. 4. No. 2. P. 168—187.

Storer N. W. The Hard Sciences and the Soft: Some Sociological Observations // *Bulletin of the Medical Library Association*. January 1967. Vol. 55, No 1. P. 75—84.

Webster's Third International Dictionary. Springfield (MA): Merriam-Webster Inc., 1968.

Weisskopf W. A. The Psychology of Economics. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1955.

Whitehead A. N. The Organization of Thought, Educational and Scientific. London: Williams and Norgate, 1917.

Whitley R. Cognitive and Social Institutionalization of Scientific Specialties and Research Areas // *Social Processes of Scientific Development* / Ed. R. Whitley. London: Routledge and Kegan Paul, 1974. P. 69—95.

Whitley R. The Intellectual and Social Organization of the Sciences. New York: Clarendon, 1984.

Социология

Александр Ф. Филиппов

ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМА СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИКИ. ГЕОРГ ЗИММЕЛЬ КАК КЛАССИК СОЦИОЛОГИИ

Многообразие социологии не очень благоприятно для самой дисциплины. Существуют разные попытки преодолеть, во всяком случае, редуцировать это многообразие, затрудняющее нормальное профессиональное общение и критику. Одной из широко используемых возможностей установить взаимопонимание между социологами, задать стандарты образования и каноны аргументации является, как известно, переориентация с современных авторов на *классическую* традицию. Вот пример типичной аргументации в пользу такого рода процедуры. Классическими, говорит Джеффри Александер, называются те более ранние работы, которым придается привилегированный статус по сравнению с более поздними трудами в той же области:

«Понятие привилегированного статуса означает, что современные представители той же самой дисциплины считают, что они могут узнать о своей области деятельности столько же, изучая эти ранние сочинения, сколько они узнают благодаря трудам своих современников»¹.

Но классическая традиция — это то, что определяется как классика сегодня, с позиций современной социологии. Поэтому и шансов достичь полноценного успеха на этом пути не так уж много.

¹ *Alexander, 1987: 12.*

Понятие классики меняется от эпохи к эпохе², и, кроме того, соперничество современных теоретиков переносится на уровень рецепции и интерпретации классических текстов. В свою очередь, реакцией на это становятся так называемые «ренессансы»: к тому или иному теоретику обращаются не просто как к безусловному авторитету, но именно для того, чтобы представить его во всей полноте концепции и биографии. Выходят полные собрания сочинений, организуются международные общества, конференции, журналы. «Ренессансы» приводят к важным результатам, но мало способствуют единству дисциплины. Другое дело, что само это «ренессансное» движение в социологии ограничивается малым количеством имен и школ. Существует что-то вроде *социологического корпуса классики*. Но статус «классичности» разных авторов — не один и тот же. Когда речь идет о Максе Вебере или Эмиле Дюркгейме, их могут поднимать на щит или подвергать тотальному сомнению любое их понятие, положение, методологию, результат исследования. Не оспари-

² О том, что в эпоху, которую мы теперь называем классической, у социологи были совсем другие классики, см.: *Connel*, 1997: 1512 ff, 1542 ff. См. также полемику: *Collins*, 1997.

Вот только два примера того, какую оценку получали труды Макса Вебера со стороны его именитых коллег. Вебер, говорит еще в 1923 г. Оттмар Шпанн, намеревался соединить историю и систематику, но методологически был плохо оснащен для такой работы (см.: *Spann*, 1923: 22). Фердинанд Тённис в 1904 г., прочитав работу Вебера о кальвинизме и капитализме, замечает в своей записной книжке: «Цепляется за внешнее» (цит. по: *Zander*, 1986: 338). Научные и академические позиции Вебера были очень прочны, и значение приведенных мнений (особенно Тённиса, в своей последней книге «Введение в социологию» (1931) частично усвоившего веберовскую терминологию) не стоит переоценивать. Однако отсюда куда как далеко до статуса бесспорного классика. В свою очередь, сам Вебер дистанцировался от социологии, не желая отождествлять себя с той наукой, которую в его время репрезентировали Конт, Спенсер и даже Тённис (о позиции раннего Вебера см.: *Schluchter*, 1991a: 25 ff).

Еще более показательен случай Дюркгейма. Вольф Лепениес пишет о сложной идеологической и политической ситуации, в которой Дюркгейму удалось создать свою школу и утвердить место социологии вообще и своей социологии в частности в системе французского высшего образования (см.: *Lepenies*, 1988: 77 ff, 84 ff, 88 ff). В утверждении позиций дюркгеймовской школы и вообще социологии важной оказалась, по мнению Лепениеса, принадлежность Дюркгейма к «дрейфусарам»: общая позиция социологов-дюркгеймианцев и многих их критиков-социалистов в отношении дела Дрейфуса стала причиной того, что атаковать социологов стало, говоря современным языком, «политически некорректно». Впрочем, аргументы Лепениеса безупречны, как пишет Раймон Будон, он не учитывает собственно научных вкладов, так что в результате получается даже не по пословице «выплеснуть вместе с водой и ребенка», тут ребенка выплескивают *без* воды (см.: *Boudon*, 1995: 549). Как мы увидим ниже, это и есть проблема социологизма, примененного к себе самому.

вается лишь то, что ими вообще имеет смысл заниматься. Применительно к Веберу и Дюркгейму возможна *ориентация на классика*, при том что сам характер ориентации может быть очень разным — от полного приятия до полного неприятия. В эту же категорию (с некоторыми ограничениями и сравнительно более поздно) попадает и Карл Маркс. Что же касается других классиков, то самые интенсивные усилия, самые многочисленные попытки показать их непреходящее значение в известном смысле демонстрируют только то, что статус их еще нуждается в утверждении.

Пожалуй, сложнее всего обстоит дело с Георгом Зиммелем, который представляет собой явное *исключение*. В слове «исключение» очевидна двусмысленность. Прежде всего, мы говорим о том, что Зиммель отличается от других классиков социологии некоторым числом примечательных особенностей, в том числе и следующей: он специально исследует проблему пространства. Но, кроме того, мы знаем, что исключение есть *исключение из ряда* — в данном случае из ряда классиков. Зиммель — это *почти* бесспорный классик, который одновременно классичен и неклассичен. Это положение дел можно сопоставить с теми ситуациями, которые особо привлекали внимание самого Зиммеля: быть одновременно и внутри, и вне, принадлежать к... и быть посторонним для... постоянно проживать вместе и все-таки быть пришлым, чужим — эта амбивалентность оказывается также и уделом его социологии.

Конечно, не социология пространства Зиммеля как таковая — причина того, что диада Вебер—Дюркгейм в общем более бесспорна в мировой социологии, чем куда более естественная по историко-содержательным основаниям триада Вебер—Дюркгейм—Зиммель. Зиммелевская версия социологии не заняла того места в социологических канонах, какое заняли версии Дюркгейма и Вебера, из-за множества очень разных констелляций, составляющих историю социологии. Положение Зиммеля особое, несмотря на «зиммелевский ренессанс»³. Содержательно это не говорит ни в его

³ Случай Зиммеля наглядно демонстрирует всю относительность, неустойчивость даже самой блестящей репутации. Еще в 1931 г. Ханс Фрайер утверждал, что зиммелевская программа формальной социологии представляет собой господствующее в Германии теоретическое направление (Freyer, 1931: 99). А в 1957 г. Михаэль Ландман, очень много сделавший для возрождения интереса к Зиммелю, с горечью писал о том, что имя его редко упоминается, когда перечисляют выдающихся мыслителей начала века, а собственные достижения Зиммеля приписывают другим философам, многим ему обязанным. Характерно при этом, что и Ландмана Зиммель интересует прежде всего как философ (см.: Landman, 1957: V ff). Ситуация начинала меняться как раз тогда, в середине пятидесятых, и за последние сорок лет сильно изменилась. И все-таки тень почти полувекового забвения все еще омрачает репутацию Зиммеля. В не-

пользу, ни против него. Это лишь помогает более адекватно оценить фактическую роль того текста, анализу которого посвящена данная глава, — текста классического, но обойденного вниманием социологов.

Если оставаться на формальной позиции «классик есть *признанный классик*, а мера признанности — мера классичности», то большего и не скажешь. Эта формальная позиция, однако, необ-

малой мере это связано с ролью Толкотта Парсонса в формировании социологического корпуса классики. Парсонс исключил рассмотрение концепции Зиммеля из «Структуры социального действия» прежде всего потому, что считал его версию социологии фундаментально ошибочной. Но к этому добавлялось еще и чисто внешнее обстоятельство: Парсонс соперничал с Говардом Беккером в борьбе за признание со стороны академического сообщества США. Оба они стремились выступить представителями наиболее плодотворной новейшей европейской, прежде всего немецкой социологии. Беккер выдвигал на передний план имена и идеи Зиммеля и Леопольда фон Визе. Парсонс демонстративно не удостоивал должным вниманием Зиммеля и настаивал на исключительном значении Вебера (см.: Levine, 1991: 1099 ff). Зиммеля нет и в неопарсонсианских версиях классического канона, будь то у Джеффри Александера или Рихарда Мюнха. Нет раздела о Зиммеле и в «Теории коммуникативного действия» Юргена Хабермаса. Совершенно иначе на это смотрят деятели «зиммелевского ренессанса». Их содержательные аргументы в данной связи можно опустить, поскольку речь у нас не идет ни о проникновенности Зиммеля, ни о его оригинальности, ни о его подлинном значении для последующей, в том числе современной социологии. К большинству *содержательных* аргументов в пользу Зиммеля мы готовы присоединиться.

Ср. о «классичности» Зиммеля рассуждения одного из лучших знатоков немецкой духовной истории конца XIX в. Клауса Кристиана Кёнке. В объемном труде о «молодом Зиммеле» Кёнке, говоря о разных аспектах классичности как таковой, отмечает, что «подлинная классичность состоит, быть может, в... том, что некоторому лицу и его произведениям сообщается как бы надындивидуальное значение, так что [этот человек] одновременно оказывается типом и репрезентантом чего-либо, но при этом ничуть не теряет своей личностной значимости» (Köhnke, 1996: 15). Классик, продолжает Кёнке, оказывается либо «живым участником дискуссий», либо «безусловным, не подлежащим критике авторитетом». В случае Зиммеля это контрастирует с неудачами в его университетской карьере. Позиция аутсайдера, продолжает Кёнке, появилась у Зиммеля не сразу. Возможно, она была как следствием, так и причиной формирования того особого *профиля* Зиммеля, благодаря которому он — в отличие от своих коллег, благополучно занимавших в университетах места ординарных профессоров, — и оказался в конце концов классиком (см.: Köhnke, 1996: 21). Несмотря на всю уникальность исследования Кёнке, речь у него идет о привычных вехах: Зиммель — аутсайдер в университетской среде в Германии своего времени, но при этом — классик. Классик чего? Кёнке говорит не о социологии, но о «классике наук о духе и социальных наук» (Köhnke, 1996: 23), и притом именно немецкой, сформировавшейся на рубеже веков. Мы же акцентируем то обстоятельство, что все еще небесспорна репутация Зиммеля как классика *нынешней* социологии.

ходима в начале фундаментального исследования. На этом этапе каждое понятие, каждый ход мысли представляют собой результат не столько теоретического вывода, сколько теоретического решения. Как таковое теоретическое решение, разумеется, обусловлено самыми разными факторами. Но оно получает последующее обоснование в архитектуре теории. До построения теории оно не обоснованно. Поэтому выбор в пользу социологии как дисциплины — это еще *не* обоснованный выбор. Выбор в пользу социологии пространства — еще *не* обоснованный выбор. Выбор теоретической стратегии, предполагающий опору на некоторые понятия и концепции, обусловлен только выбором социологии как дисциплины и социологии пространства как ее фундаментальной составляющей. Вот почему к многообразию современной социологии мы изначально подходим так, *как будто* у нас нет предпочтений. У нас — теоретически — еще нет критерия для различения предпочтительных и неpreferchitelnykh концепций, т. е. критерия содержательной оценки. Поэтому первое описание оказывается формальным: мы ограничиваемся наблюдением статуса и фиксируем то очевидное обстоятельство, что научный статус есть производное самой науки. Как говорил Луман, «классики суть классики, потому что они классики. В современном употреблении для них характерна самореференция»⁴.

Теперь, минуя несколько важных ступеней, реконструировать которые при желании в принципе несложно, допустим, что возможно прилагать мерки социологии к ней самой: мы определяем состав группы, параметры членства, условия признания статуса и изменения статуса членов группы. Сталкиваясь с проблемой определения статуса, мы обнаруживаем, что группа неоднородна, условия членства не формализованы и т. д. Группа не является *организацией*, во всяком случае, *только* организацией. Принципы определения принадлежности к группе далеко не очевидны. Статус определяется (в данном случае, т. е. применительно к Зиммелю) не для действующего члена группы, а для жившего в прошлом автора текстов, которые каноничны, но не совсем обычным образом, ибо текст, определяемый как научный, может и должен подвергаться сомнению и опровергаться, но при этом он остается классическим. В некоторых отношениях классики напоминают ритуальные фигуры: признание их статуса в формах, о которых мы говорили выше, есть позитивный ритуал; регулярные попытки поставить под сомнение ту или иную классическую работу или группу идей — негативный ритуал; попытки утвердить нового классика — ритуал оплакивания, но не безвременно ушедшего, а безвременно забы-

⁴ Luhmann, 1984: 7.

того члена группы. Это можно рассматривать также как попытку поиска нового тотема — мифического предка, некогда (возможно) умерщвленного группой. Самоидентификация членов группы совершается путем возведения своей (научной) генеалогии к мифическому предку, выступающему как тотем клана. Изучение классических текстов, сложных, запутанных, изложенных архаичным по нашим меркам языком (представления о хорошем научном стиле сильно меняются со временем), часто посвященных полемике с теми, чьи имена давно вышли из научного оборота, — все это проявления научной аскезы (воздержания от критики, понимающего усвоения, чтения более доступных, современных и непосредственно полезных источников и т. п.)⁵ — ритуал инициации, позволяющий стать полноправным членом племени социологов. Все это, как говорит Дюркгейм, выделивший эти формы ритуала в «Элементарных формах религиозной жизни», служит укреплению солидарности, чувства взаимной принадлежности к единой группе, а значит, и сохранению группы как таковой.

Признание статуса обусловлено, однако, не одним лишь произволом группы. Точнее говоря, группа не может удовлетвориться одним актом признания в качестве достаточного основания для признания. Произвол не может иметь форму произвола. Дело не просто в том, что функция ритуала должна быть скрыта от тех, кто ему следует. Дело еще и в том, что конвенция, не считая редких случаев (например, «идеального дискурса»), не может быть исключительным содержанием конвенции. Вопрос этот в общем довольно сложен, но простого примера достаточно, чтобы обозначить существо проблемы. Спортсмен может, например, пробежать быстрее всех определенную дистанцию, причем условия признания его достижений являются результатом конвенции (дистанция, место и время проведения состязаний, спортивная форма и т. д.). Но согласиться на то, чтобы победитель в соревнованиях по бегу определялся соглашением экспертов безотносительно к самому факту бега, невозможно; спринтер не получит медали за марафон и т. д., разве что сменит квалификацию. Так и в науке. То, что именно считается значимым результатом, имеет социальное происхождение: его должно признать таковым сообщество ученых, как бы ни трактовать это последнее понятие. Но представить себе собрание ученых, большинством голосов решающих, что только так определяется, что есть научная истина, невозможно. Когда в науке происходит радикальное изменение основополагающих критериев, то

⁵ Эта аскеза, например в случае Вебера, есть продолжение его собственной аскезы, сознательного отказа от занимательного, доступного изложения. См. об этом: *Lepenies*, 1988: 297 ff.

и тогда *социальная сторона* этого процесса остается чаще всего скрытой для ученых, полагающих, что они не просто изменили критерии признания статуса (высказываний и высказывающих), но действительно приблизились к истине. Социологизм, релятивирующий истину применительно к согласию, должен быть некоторым образом трансцендирован — например, через различение формы предмета и согласия.

Мы не вторгаемся здесь в область философии и социологии науки, в том числе и того, что может быть названо «социологией социологии». Известно, что социальный механизм научного признания куда более сложен. Но появление специфического, с другими науками не сходного феномена классики в социологии позволяет говорить не только о более простых механизмах, но и об одной дополнительной сложности. Социолог, объясняющий этот феномен, должен считаться с тем, что классики его дисциплины и объяснительные схемы появления классиков относятся к той же самой дисциплине. Сугубо социологическое объяснение того, почему классичны классики, означает признание *социологизма* как основной объяснительной схемы⁶, но именно это и позволяет без применения дополнительных критериев развести форму и содержа-

⁶ Напротив, попытки сослаться на собственно содержательные аспекты, на *достижения* классика всегда сомнительны. Если Макс Вебер постоянно говорит о том, что научный результат не может не быть превзойден, а теперь мы узнаем, что результаты Вебера не превзойдены (ср. хотя бы у Шлюхтера утверждение, что Вебер и сегодня не превзойден в соединении конкретно-исторического анализа и систематики понятий: *Schluchter*, 1991a: 15), то отсюда следует, что они не являются научными. Если же они превзойдены, то почему ими надо заниматься иначе, кроме как в силу исторического интереса? Конечно, и на это можно ответить: во-первых, могло быть ошибочным только мнение Вебера о научных результатах, особенно применительно к социальным наукам, в остальном же он безупречен; во-вторых, непреходящую ценность имеет не результат как таковой, а способ его получения; в-третьих, даже и превзойденный результат оказывается классическим достижением, положившим начало современным тенденциям, которые мы лучше поймем, обратившись к истокам; в-четвертых, даже не превзойденный до сих пор результат может быть превзойден со временем, потому что темпы эволюции идей в социальных науках невелики. Все это может быть вполне справедливо, но трудно избавиться от впечатления, что «ренессансы» классиков постепенно захлебываются. Они состоялись как теоретическая новация прошедших десятилетий, но по прошествии времени занятия классикой приобрели характер особой профессии: историки социологии, издатели полных собраний начали работать с филологической скрупулезностью и узнали о классиках много такого, что не было известно до сих пор. Но когда страничка из дневника, чудом найденная открытка или анонимная рецензия начинают играть главную роль, а исследование систематической взаимосвязи идей отступает на задний план, теоретическая продуктивность подобных занятий резко уменьшается.

ние. Возведение статуса к условиям признания⁷ — это социологизм, а позиция социологизма есть самоидентификация с определенным образом понимаемой социологией, у которой именно такие классики. Конкретизируем это пока следующим образом.

Социологизм, как уже было сказано, отнюдь не сводит все к конвенции и не предполагает прозрачность конвенции как конвенции для ее участников. Он представляет собой объяснение социального социальным, без привлечения дополнительных факторов, будь то климат, расовые особенности, генетика и физиология человека, психология и т. д. «Идеальные факторы» принимаются в расчет, но не так, как в идеалистических концепциях, когда за ними признаются одновременно и собственная логика, и безусловный приоритет. Скорее они рассматриваются как относительно автономный, но все-таки социальный фактор, составляющая социальной мотивации.

Каким бы сложным и изощренным ни было социологическое объяснение, оно не выходит за пределы социального. Именно так и выглядят основополагающие схемы классиков социологии, которые с большей или меньшей определенностью доказывают, что социальное имеет свою собственную причинность.

Обратимся к тем, кого мы выше назвали «бесспорными классиками». Достаточно напомнить, как, например, Дюркгейм в «Самоубийстве» последовательно исключает все несоциальные факторы из области значимого каузального объяснения: сюда попадают и индивидуальные психопатии, и расовые и наследственные факторы, а также то, что он именует факторами «космическими», к которым прежде всего относятся климатические и температурные изменения. В результате мы выясняем, говорит Дюркгейм,

«что для каждой социальной группы существует специфическая тенденция к самоубийству, которую не объясняют ни физико-органическая конституция индивидов, ни природа физической среды. Путем исключения получается, что она необходимым образом должна зависеть от социальных причин и сама по себе быть коллективным феноменом...»⁸

Макс Вебер не может считаться столь же жестким приверженцем социологизма. И все-таки его последовательный антипсихологизм в обосновании понимающей социологии хорошо известен, хотя из-за известных сложностей менее показателен, чем его отношение к расовой теории. В 1912 г. в дискуссиях на Втором съезде

⁷ Подчеркнем еще раз: куда более сложным, чем те, что мы описали выше.

⁸ *Durkheim*, 1976 [1897]: 139.

немецких социологов, посвященном исследованиям национального вопроса, Вебер резко выступает против расовой теории, не находя ей применения ни в исторических, ни в социологических исследованиях⁹. В 1913 г. в работе «О некоторых категориях понимающей социологии» он более осторожно, но очень определенно отказывается признавать за наследственными факторами большее значение, нежели то, какое имеют для социологии, например, последовательность «типичных возрастных ступеней или, скажем, смертность человека»¹⁰. Социолог принимает эти факты как данность, но его работа начинается именно с уяснения *субъективно значимого смысла* поведения человека с такими-то наследственными качествами — смысла действия, значимого как для него самого, так и для других людей. Позже, незадолго до смерти, готовя к печати первый том «Собрания сочинений по социологии религии», Вебер, правда, говорит: «Автор признает, что сам он субъективно склонен высоко оценивать значение биологического наследственного материала»¹¹. Вебер, однако, и здесь не видит реальной возможности непосредственно использовать результаты работы этнографов и антропологов. Ссылаться на «наследственный материал» сегодня (т. е. в его время) — значит для Вебера отказаться от познания в той мере и в тех объемах, которые возможны благодаря истории и социологии¹².

Приведенные примеры суть не более чем примеры, хотя и достаточно характерные. Подробное исследование существа дела увело бы нас слишком далеко, а различия в подходах Вебера и Дюркгейма важны не меньше, чем некоторые легко прослеживаемые параллели. Конечно, Дюркгейм настаивает на особой *природе* исследуемого феномена (общества и социальных фактов), тогда как Вебер говорит о тех познавательных средствах, которые имеются в распоряжении ученого и могут принести значимый результат. Конечно, Дюркгейм говорит о социальном происхождении *всех* верований человека, тогда как у Вебера по меньшей мере для редких харизматиков и религиозных виртуозов оказывается возможным чисто личное, не объяснимое ни эпохой, ни средой, ни социальным положением отношение к высшим ценностям. В отличие от Дюркгейма Вебер не выводит из социальных причин возникновение новых смысловых элементов культуры. Но каузальные ряды в его объяснениях связывают социальные действия людей, а не людей и смыслы. Смыслы не имеют каузального действия.

⁹ См.: *Verhandlungen*, 1913: 49 ff, 75 ff, 188 ff.

¹⁰ *Weber*, 1988a: 431.

¹¹ *Weber*, 1988b: 15.

¹² См.: *Ibid.*: 16.

Вот это — повторим еще раз — и есть классика. Что может быть более классического в науке, нежели подлинное вычленение ее как автономной дисциплины, объяснительные конструкции которой не нуждаются в дополнительных подпорках со стороны принятых в других дисциплинах понятий, схем и принципов? Социологизм Дюркгейма и Вебера классичен, а статус их, так сказать, вдвойне бесспорен: он принят сообществом социологов потому, что именно эти авторы, как считается (даже если это знание и не артикулируется в такой форме), сумели самым плодотворным, убедительным для науки образом продемонстрировать состоятельность автономной социологии, не заимствующей аргументы ни из биологии, ни из психологии¹³.

А что же Зиммель, еще в 1894 г. в статье «Проблема социологии» обосновавший автономный статус новой дисциплины, Зиммель, почти два десятка лет (начиная с «Социальной дифференциации» 1890 г. и кончая монументальной «Социологией» 1908 г.) посвятивший написанию множества первоклассных социологических работ? Конечно, и в его сочинениях мы можем легко обнаружить тот самый социологизм, плодотворность которого (в сочетании со способностью и склонностью к яркой эссеистике) сделала Зиммеля чуть ли не самым популярным, всемирно известным социологом своего времени. В этом смысле Зиммель в полной мере вписывается в ряд классиков. Вместе с тем у Зиммеля мы находим также примечательную особенность. Если Вебер не очень охотно и сравнительно поздно идентифицирует себя с социологией как особой дисциплиной, то, во всяком случае, он проявляет большую решительность в борьбе за обоснование собственной логики каузального объяснения для социальных наук как таковых. Вебер также не намерен смешивать науку и философию. Его рассуждения имеют значение для философии, но характер их, равно как и сознательные намерения автора (исключая некоторые специальные случаи), не философский. Дюркгейм, в отличие от Вебера, вполне отождествляет себя именно с социологией, обосновывает ее высокий статус и даже при рассмотрении философских вопросов настаивает на возможности социологического их решения. Между тем Зиммель в одно и то же время обосновывает необходимость социологии как особой научной дисциплины и учебного предмета в уни-

¹³ Мы опять-таки не обсуждаем вопрос о том, не было ли среди современников или предшественников Вебера и Дюркгейма других авторов, применительно к которым характеристика «социологизм» показалась бы не менее, если не более справедливой. Мы не пишем историю социологии. Мы делаем систематические выводы из характеристик ее нынешнего состояния, апеллируя к наиболее очевидным, бесспорным примерам.

верситетах и пишет работы, в которых понятия «психология», «социология» и «философия» кажутся вполне взаимозаменяемыми. Например, одна из статей 1895 г. называется «К психологии моды. Социологическое исследование», в 1899 г. выходит статья «К психологии и социологии лжи», а вышедшую первым изданием в 1900 г. «Философию денег», которую многие исследователи считают его главным социологическим трудом, он еще в 1895 г. намеревался назвать именно «Психология денег»¹⁴. Второе (1905) и третье (1907) издания «Проблем философии истории» полны рассуждений о доступности психики одного человека для психики другого, и ниже мы еще увидим, насколько это важно для нашей темы. В это же время пишутся работы «Отрывок из психологии женщин» (1904), «Философия полов. Фрагменты» (1906), «Психология такта» (1906), «К философии господства. Отрывок социологии» (1907)¹⁵. И еще в конце 1899 г. он пишет известное письмо Селестену Бугле, в котором подчеркивает, что он не столько социолог, сколько философ¹⁶. Все это поверхностные, но красноречивые свидетельства принципиальной неопределенности Зиммеля. Существо расхождений между Зиммелем, Вебером и Дюркгеймом только с нашей сегодняшней точки зрения и только в том аспекте, который важен в данном случае, мы могли бы сформулировать следующим образом: Вебер в полной мере отдает себе отчет в ограниченных возможностях той науки (или наук), которую он представляет, будь то национальная экономия или «науки о культуре». Он знает, что его построения не исчерпывают всех возможностей познания, но его методы состоятельны в рамках дисциплины, а дисциплина состоятельна потому, что ее ограниченное, но полученное с методической строгостью знание не менее значимо, чем столь же ограниченное, но полученное иначе знание, доставляемое другими дисциплинами. Интегрирующего все частные познания синтетического философско-социологическо-психологическо-биологическо-естественнонаучного пути познания он не видит. Дюркгейм

¹⁴ Джанфранко Поджи предлагает не обращать внимания на «этикетки»; достаточно и того, говорит он, что в «Философии денег» обсуждаются темы, значимые для социальной теории (см.: *Poggi*, 1993: 69). Однако вряд ли можно считать это совсем уж неважным для самоидентификации Зиммеля и последующей судьбы его концепции.

¹⁵ Мы уже не говорим о позднейших, после «Социологии» написанных сочинениях Зиммеля. Достаточно только напомнить, что в «Философской культуре» (1912) один из разделов называется «К философской психологии», а помещенные в нем «Приключения» и «Мода» имеют также и социологическое значение.

¹⁶ Об обстоятельствах, сопутствовавших этому письму, см., напр.: *Rammstedt*, 1992: 884.

считает, что социологическое знание имеет достаточно универсальный характер, т. е. что общество — не просто реальность *sui generis*, но именно высшая реальность. Именно исходя из тезиса об обществе как высшей реальности, он и дает характеристики в том числе и психической жизни человека. Что же касается Зиммеля, то, даже обосновывая состоятельность социологии как особой дисциплины, имеющей особый предмет — исследование социальных форм, — он пишет буквально следующее:

«...Она [социология. — А. Ф.] как раз и вычленила сугубо общественный момент из тотальности человеческой истории, т. е. происходящее в обществе для специального рассмотрения; формулируя с несколько парадоксальной краткостью, можно сказать, что она исследует то, что в обществе есть "общество".

Методы, которыми изучаются проблемы обобществления, те же, что и во всех сравнительных психологических науках. Основу составляют определенные психологические предпосылки...»¹⁷ (Курсив мой. — А. Ф.).

Итак, Зиммель обосновывает социологию как специальную науку, он достаточно решительно отграничивает ее от философии истории¹⁸ и куда менее решительно — от психологии. В его работах, впрочем, даже это не очень четкое дисциплинарное членение соблюдается плохо, что, в частности, вызывает критику и Вебера, и Дюркгейма¹⁹. Он завершает работу над своей большой «Социо-

¹⁷ *Simmel*, 1992 [1908]: 57—58.

¹⁸ См.: *Ibid.*: XI, 59.

¹⁹ Лишь попутно упомянем о сопутствующих обстоятельствах. Вебер, как известно, старался не осложнять и без того неудачную университетскую карьеру Зиммеля публичной критикой. Однако в неоконченной работе «Георг Зиммель как социолог» он высказывается о своем коллеге более критически. Впрочем, и позитивные оценки, которые Вебер дает Зиммелю в опубликованных работах, свидетельствуют, как показывает Бригитта Недельман, скорее о критическом к нему отношении: Вебер хвалит у Зиммеля то, что, уж во всяком случае, не характерно для ученого. И конечно, критика Вебером психологизма, который он находит у Зиммеля в трактовке проблемы понимания, имеет весьма принципиальный характер. Впрочем, Недельман с Вебером не согласна. Она полагает, что упреки в психологизме по отношению к Зиммелю — предрассудок, тогда как в действительности он был зачинателем социологии эмоций (см.: *Nedelmann*, 1988).

Отдельной и до сих пор, кажется, не исследованной темой является понятие целевой рациональности у Зиммеля и Вебера. Можно было бы показать, что ранние методологические сочинения Вебера не только написаны под влиянием «Философии денег», но и прямо обращены против некоторых ключевых положений Зиммеля. Что касается Дюркгейма, то Зиммель поначалу на-

логией» в 1908 г., когда социология уже перестает иметь для него большое значение. Он действительно становится философом по преимуществу (хотя многие его сочинения имеют значение также и в социологии), и только за год до смерти выпускает еще маленькую брошюру «Основные вопросы социологии. Индивид и общество», в которой отчасти пересматривает свои прежние взгляды. Колебания и идейная эволюция Зиммеля важны потому, что косвенно подтверждают: он не случайно стал менее бесспорным классиком. Стоят ли за этим его неспособность или нежелание жестко обозначить границы дисциплины и либо «ужать себя» до размера этих рамок, как Вебер, либо (имея в виду претензии социолога) раздвинуть эти рамки крайне широко, как Дюркгейм, — вопрос особый. И собственная эволюция Вебера и Дюркгейма, и современное состояние социологии, в том числе и повышенный интерес к Зиммелю, свидетельствуют, возможно, что несистематичный, увлекающийся, философствующий и эстетствующий Зиммель в чем-то ушел намного дальше своих великих современников.

Литература

Alexander J. C. The Centrality of the Classics // *Social Theory Today* / Eds. A. Giddens and J. Turner. Cambridge: Polity Press, 1987. P. 11—57.

Boudon R. Le juste et le vrai. Études sur l'objectivité des valeurs et de la connaissance. Paris: Fayard, 1995.

Collins R. A sociological guilt trip. Comment on Connel // *American Journal of Sociology*. 1997. Vol. 102. No. 6. P. 1558—1564.

Connel R. W. Why is classical theory classical? // *American Journal of Sociology*. 1997. Vol. 102. No. 6. P. 1511—1557.

Durkheim É. Le Suicide. Etude de sociologie. Paris: PUF, 1976 [1897].

Freyer H. Einleitung in die Soziologie. Leipzig: Quelle & Meyer, 1931.

Köhnke K. C. Der junge Simmel in Theoriebeziehungen und sozialen Bewegungen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1996.

Landmann M. Einleitung // Georg Simmel. Brücke und Tür. Stuttgart: Koehler, 1957. S. V—XXIII.

Lepenies W. Die drei Kulturen. Soziologie zwischen Literatur und Wissenschaft. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988.

ходится в контакте с ним и публикуется в его «Année sociologique». Однако затем наступает разрыв. вызванный, в частности, неадекватной, по мнению Дюркгейма, реакцией Зиммеля на дело Дрейфуса. В 1900 г. Дюркгейм публикует негативную рецензию на «Философию денег», в которой отмечает именно дисциплинарную нестрогость Зиммеля, написавшего философский, а не социологический труд. Снова подчеркнем: правота или неправота Вебера и Дюркгейма в отношении Зиммеля не являются предметом рассмотрения. Важно, что оба они, ныне бесспорные классики, предъявляют в некотором роде сходные претензии Зиммелю.

Levine D. N. Simmel and Parsons Reconsidered // *American Journal of Sociology*. 1991. Vol. 96. No. 5. P. 1097—1116.

Nedelmann B. «Psychologismus» oder Soziologie der Emotionen? Max Webers Kritik an der Soziologie Georg Simmels // *Simmel und die frühen Soziologen. Nähe und Distanz zu Durkheim, Tönnies und Max Weber* / Hrsgg. v. Otthein Rammstedt. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1988. S. 11—35.

Poggi G. Money and the Modern Mind: Georg Simmel's Philosophy of Money. Berkeley and Los Angeles, Cal.: University of California Press, 1993.

Rammstedt O. Editorischer Bericht // *Georg Simmel Gesamtausgabe*. Bd. 11. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1992. S. 877—905.

Schluchter W. Religion und Lebensführung. Bd. 1. Studien zu Max Webers Kultur— und Werttheorie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1991.

Simmel G. Philosophie des Geldes [1900] // *Georg Simmel Gesamtausgabe*. Bd. 6. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1989.

Simmel G. Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung [1908] // *Georg Simmel Gesamtausgabe*. Bd. 11. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1992.

Spann O. Gesellschaftslehre. Zweite, neubearbeitete Auflage. Leipzig: Quelle & Meyer, 1923.

Verhandlungen des Zweiten Deutschen Soziologentages vom 20.—22. Oktober in Berlin. Reden und Vorträge. Tübingen: Mohr (Siebeck), 1913.

Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen: Mohr (Siebeck), 1988a.

Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Bd. 1. Tübingen: Mohr (Siebeck), 1988b.

Zander J. Pole der Soziologie: Ferdinand Tönnies und Max Weber // *Ordnung und Theorie. Beiträge zur Geschichte der Soziologie in Deutschland*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchhandlung, 1986. S. 335—350.

Виктор Вахштайн

«НЕУДОБНАЯ» КЛАССИКА: ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ИРВИНГА ГОФМАНА *

И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы восходят и нисходят по ней...

Быт. 28: 12

...Фигуры ангелов выделяются на фоне виртуозно написанного ночного пейзажа. Интересно, что по замыслу заказчика пейзажные фоны должен был писать Игнасио Ириарте. Однако художники стали спорить о том, кто должен к кому приспосабливаться, и Мурильо все написал сам, что позволяет оценить его высокое мастерство пейзажиста.

*Комментарий к картине
Бартоломе Эстебана Мурильо
«Сон Иакова»*

Данная работа посвящена феномену «неудобной классики» — текстам, признанным классическими, но не находящим себе места в каноне социологии, стоящим в стороне от распространенного понимания классичности и потому не имеющим конвенциональ-

* Я признателен Борису Дубину и коллегам из Института гуманитарных историко-теоретических исследований за обсуждение представленных в настоящей статье соображений о природе «неудобной классики». Без этой дискуссии мои представления о социологизме остались бы неполными, а сама статья — незавершенной.

ного прочтения. Существование таких «неклассически классических» текстов порождает ряд трудностей — *неудобств* — в их использовании, создает предпосылки для многочисленных реинтерпретаций, ни одна из которых в итоге не получает статуса истинной.

История социологии изобилует примерами неудобной классики. Можно ли на основании их рассмотрения делать выводы о неудобной классике как универсальном феномене? Или, напротив, неудобная классичность некоторых признанных авторов является атрибутом исключительно социологической науки? Мы оставляем открытыми эти вопросы. Чтобы ответить на них, необходимо знать границы, в которых правомерно использование понятия «неудобная классика». Если границы эти совпадают с границами дисциплины, значит, мы говорим о специфическом для социологии феномене. Следовательно, примеры неудобной классики, почерпнутые из социологии, обречены оставаться иллюстрациями, отдельными «неувязками», не имеющими отношения к зрелым дисциплинам. Даже наиболее убедительные случаи «неудобств» классического наследия, заимствованные из истории социологии, ничего не скажут о правомерности сходной постановки проблемы в психологии, экономике, филологии или антропологии. И если бы наше исследование включало в себя рассмотрение — наряду с работами неудобного классика социологии Ирвинга Гофмана — трудов неудобных классиков смежных дисциплин, мы и тогда вряд ли могли бы с уверенностью говорить о междисциплинарной природе неудобной классичности.

Собственно, поэтому вопрос, являются ли анализируемые в этом тексте примеры специфичными для социальной теории или в них проявляется некая общая закономерность усвоения, признания и последующего использования классических работ в повседневном обиходе науки, мы выносим за скобки. Важно другое: различение удобной/неудобной классики позволяет поставить ряд проблем, значимых как для самой социологической дисциплины (периодически пополняющей пантеон своих классиков за счет экспансии на новые предметные территории), так и для междисциплинарной дискуссии о классике, послужившей поводом к написанию этого текста.

1. МОДЕЛИ КЛАССИЧНОСТИ

Обсуждение природы социологической классики возникает, как правило, в контексте самопрезентации социологии. Самопрезентация науки — элемент ее самоописания, своего рода проекция

«вовне» дисциплины конвенциональных представлений о ее предмете, методологии и категориальном аппарате. Закономерно, что осмысление положения социологии в ряду других дисциплин требует «инвентаризации» имеющихся в ее распоряжении теоретических ресурсов и особенно — ресурсов классических. Классические концепции в перспективе дисциплинарной самопрезентации выполняют ориентационную функцию: ответ на вопрос «Что есть социологическая классика?» связан с ответами на вопросы «Что есть предмет социологии?», «Каковы границы социологической дисциплины?», «Чем социологический способ рассуждения отличается от экономического, исторического, юридического или психологического?»¹. Так формируется конвенциональная *модель классичности*.

Модель классичности — это совокупность аксиоматических допущений, на которых основывается ответ на вопрос «Что есть классика?». Выбор в пользу той или иной модели классичности означает представление социологии либо в облике «нормальной науки» (то есть области знания, скроенной по лекалу естественнонаучных дисциплин), либо в качестве образцовой «науки о духе», предназначение которой — истолковывающее понимание социальной жизни, либо в образе некоей «третьей культуры», элиминирующей само различие гуманитарного и естественнонаучного знания. Моделей классичности существует столько же, сколько логик определения классики и ее места в корпусе дисциплины.

Роберт Мёртон, один из наиболее авторитетных апологетов естественнонаучной модели классичности в социологии, в 1947 г. положил начало очередному «спору о классике». Следуя известной уайтхедовской максиме («Наука, которая не решается забыть своих основателей, обречена»), Мёртон предостерегает от «сползания социологии в историческую систематику»². Экзегеза классических текстов, стремление сохранить их в качестве элементов «живого», непосредственного опыта современной науки, по мнению Мёртона, препятствуют кумулятивному накоплению знания, лишая социологию подлинной научности.

¹ Всего лишь один пример — стремительное развитие экономической социологии в последнее десятилетие как своего рода «контрнаступление» в ответ на экспансию экономических теорий потребовало: а) срочной реканонизации «своих» классиков (Макса Вебера, Георга Зиммеля) в новом статусе — статусе зачинателей экономсоциологического мышления; б) приниссения дани памяти и уважения авторам, чьи работы еще десять лет назад вряд ли бы заинтересовали социолога в силу чуждости проблематики (см.: *Западная экономическая социология: хрестоматия современной классики*, 2004). Таким образом, обращение к классике актуализируется возникновением каждого нового самоописания дисциплины.

² Мёртон, 2006 [1968]: 28—30.

Естественнонаучная модель классичности, вопреки максиме Уайтхеда, отнюдь не предполагает неперменного забвения классики. Однако в ней корпус классических работ составляют «экземпляры»: исследования и эксперименты, примеры успешных решений эмпирических задач. «Хоуторнский эксперимент», «“Янки-Сити”», «парадокс Лапьера» — вот лишь несколько конвенциональных экземпляров, закрепившихся в каноне социологических изысканий как свидетельства родства социологии и естественных наук. Стоит добавить, что время в такой модели линейно, а потому «классика экземпляров» не знает возвращения, перечитывания и толкования канонизированных текстов. Экземпляры требуют от исследователя не воспроизводства, а преодоления.

После атаки Мёртона спор о классике в социологии движется по накатанной колее противопоставления естественнонаучной и гуманитарной моделей классичности. В свете этой бинарной оппозиции вопрос о специфичности социологической классики не поднимается: либо классика социологии — это «классика экземпляров», и тогда место социологии в ряду «нормальных наук», либо это «классика экзегезы», и тогда социология являет собой разновидность герменевтики. Собственно, ни одна из двух этих логик определения классичности не является для социологии «своей», укорененной в культуре социологического мышления. А потому спор о классике ведется в рамках универсалистских конвенций, на «метадисциплинарном» языке — традиционные концепты социологии («статус», «роль», «институт») остаются в стороне, когда речь заходит о самой социологии.

Вряд ли сегодня можно с точностью определить, кому именно принадлежит сомнительная честь перевода проблемы социологической классики на язык социологии и разоблачения «подлинно социальной» природы классичности. Этот ход — обнаружение за исследуемым предметом скрытых, детерминирующих его социальных факторов — столь характерен для социологического теоретизирования, что сам вопрос об авторстве подобной постановки вопроса кажется неуместным. Джеффри Александер, чья работа³ подвела своеобразный итог спору о классике в 1980-е годы, далеко не самый радикальный (но весьма авторитетный) сторонник такого переопределения. Он определяет классику через понятие «привилегированного статуса», которым наделяются «более ранние исследования»⁴. В таком прочтении классика — это результат процессов классикализации и валоризации (наделения привилегированным статусом). Причина «живучести» классики — в ее функционально-

³ Alexander, 1987.

⁴ Ibid.: 11–12.

сти. Ориентация на классику позволяет сохранить единство дисциплины, задать рамки взаимодействия и каноны аргументации. Классики признаются классиками, потому что такое признание отвечает «потребности» научного сообщества оставаться сообществом (т. е. организованной группой людей, поддерживающих необходимый минимум общих, разделяемых всеми членами группы верований и ритуалов)⁵. Данная интерпретация помещает проблему классики в контекст социальных институтов и механизмов поддержания солидарности, статусов и функций, норм и иерархий.

У социологизма (как наиболее социологического из всех способов рассуждения о классичности) есть предельно конкретный ответ на вопрос о природе классики. *Классичность* — это конвенция, результат соглашения. Основания конвенции следует искать в первую очередь в социальных обстоятельствах рецепции идей и наделения их статусом классических.

2. ЛОГИКА РЕЦЕПЦИИ

Многие распространенные сегодня определения социологической классики включают в себя отсылку к механизмам рецепции и последующей классикализации канонических работ. Данная логика (далее мы будем называть ее *логикой рецепции*) представлена в большинстве академических споров о природе классичности в социологии⁶. Среди объемных монографий, посвященных жизни и творчеству признанных авторитетов социологии, трудно найти такие, в которых не была бы задействована подобная логика анализа.

Отличительный признак рецепционистской перспективы — аргументация «от социальных обстоятельств», т. е. наделение чрезвычайным значением самих обстоятельств усвоения идей будущего классика. Так, становление школы Эмиля Дюркгейма (и вместе с ней — успешная институционализация социологии во Франции) объясняется политической близостью Дюркгейма к лагерю «оппортунистов», занимавших промежуточные позиции между «либеральными прогрессистами» и «консервативными католическими кругами»⁷. Не менее характерным для данной логики анализа представляется аргумент Вольфа Лепениеса: Дюркгейм сумел занять

⁵ Более подробно о социологистском определении классичности см.: Филиппов, наст. изд.

⁶ Например, см. статью Раевин Коннел (Connel, 1997) и комментарий Рэндалла Коллинза (Collins, 1997).

⁷ Wagner, 1995.

выгодную позицию в деле Дрейфуса, и это в немалой степени способствовало росту популярности социологизма⁸.

Логика рецепции одинаково хорошо объясняет успехи и неудачи классикализации. Например, труды Георга Зиммеля, отмечает Дональд Левин, не были усвоены американским академическим сообществом из-за досадного недоразумения: Толкотт Парсонс намеренно исключил из своей «Структуры социального действия» фрагмент, целиком посвященный разбору зиммелевской концепции. Виною тому послужило соперничество Парсонса с Говардом Беккером — апологетом социологических идей Зиммеля. Таким образом, успешная классикализация самого Парсонса означала для Зиммеля забвение⁹. Можно предположить, что, если бы вместо Парсонса канонизировали Беккера, пантеон классиков социологии сегодня выглядел бы совершенно иначе.

Основная трудность подобного решения «проблемы классики» состоит в том, что за скобками остается само содержание классических работ. Все внимание уделяется их прочтению, признанию и валоризации. Исследование классики подменяется в данной логике изучением «институтов классикализации» и «механизмов валоризации» — своего рода подпольной индустрии конвенций. (Подпольной потому, что конвенциональная природа классичности должна быть скрыта от участников научных ритуалов подобно тому, как социальная функция жертвоприношения скрыта от членов племени.)

Социологизм в исследованиях науки так же релятивировал классичность, как социологизм Дюркгейма релятивировал ритуалы и верования аборигенов. Брюно Латур в этой связи замечает:

«Обществоведы без особого труда убедили себя: чтобы объяснить ритуалы, верования, видения или чудеса (т. е. трансцендентные объекты, каковым акторы приписывают свойство быть первопричиной какого-либо действия), вполне допустимо (хотя и не всегда легко) *заместить* содержание этих объектов функциями общества, которые были скрыты в этих объектах и имитированы ими. Как только произошла *подмена* ложных объектов, относящихся к верованиям, истинными объектами, относящимися к обществу, ничего больше в религии не заслуживает внимания, кроме социальных сил, которые она умело скрывает»¹⁰.

Так же и классичность деконструируется логикой рецепции: теоретики прошлого стремятся убедить нас в непреходящей ценно-

⁸ Lepenies, 1988.

⁹ Levine, 1991.

¹⁰ Латур, 2003 [2000].

сти своих работ, сообщить им статус трансцендентных, неподвластных времени объектов, но мы-то знаем, что за этим стоят скрытые социальные силы, поддерживающие существование науки как социального института.

Поиск скрытых социальных сил, стоящих за исследуемым предметом и определяющих его подлинную (т. е. социальную) сущность, — это визитная карточка социологии, отличительная черта социологического рассуждения. Социологизм, укорененный в социологическом мышлении, позволил утвердиться в социологии *замкнутой модели классичности*.

Основанием такого «замыкания» послужил дюркгеймовский императив «объяснения социального социальным». Можно предположить, что «замыкание» модели классичности, которое мы наблюдаем в социологии, не уникально — существуют и иные разновидности этого способа рассуждения. Проведем мысленный эксперимент и представим, что могла бы представлять собой замкнутая модель классичности в смежной дисциплине — психологии.

3. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАМКНУТЫХ МОДЕЛЕЙ КЛАССИЧНОСТИ: ПСИХОЛОГИЗМ

В первую очередь, нам пришлось бы допустить — в качестве аксиомы дальнейшего анализа — «психическую природу классики психологии» (аналогично социологистскому тезису о социальной природе классики социологической). Соответственно, взгляд исследователя, направленный на классические психологические труды, должен обнаруживать в них проявления психологических особенностей автора, порождение выдающегося разума, сформировавшегося, очевидно, в процессе особого, нестандартного воспитания или специфических обстоятельств жизни. Именно этими факторами — воспитанием, детскими переживаниями, особенностями мышления и памяти классика, его семейными отношениями, неврозами, комплексами, характером и темпераментом — должны объясняться не только созданные им классические тексты, но и его собственная персональная классичность. Таково требование последовательного психологизма («объяснение психического психическим»), мыслимого здесь по аналогии с социологизмом.

Если две эти аксиомы принимаются в качестве исходных посылок, если классика включается в реестр «психически детерминированных феноменов» и подлежит психологическому объяснению, то ничего не стоит «объяснить» классичность Фрейда его незаурядным талантом, а талант — патологической тревожностью и невро-

тическими комплексами. Подобные суждения весьма распространены¹¹, впрочем, есть и более изощренные примеры психологической логики в анализе психологической классики.

Так, бурное развитие объективистской психологии в начале XX в., способствовавшее утверждению образа психологии как «экспериментальной науки о поведении», традиционно связывается с классической концепцией бихевиоризма и именем Джона Уотсона. Классичность теории Уотсона может быть легко объяснена психологически. Дело тут даже не в образе «человека-механизма», который бихевиоризм сделал своей базовой метафорой и который оказался столь востребован в стремительно индустриализующемся американском обществе (подобный тезис сформулировал бы социолог), а в личности самого Уотсона.

Классичность Уотсона с психологической точки зрения объяснима его выдающимся характером:

«...Он был умен, умел хорошо говорить, его мужественная красота и легендарное обаяние сделали его знаменитостью. Большую часть своей жизни он был на глазах у широкой публики и с удовольствием принимал знаки внимания. Его одежда всегда была элегантно и стильно. Он принимал участие в гонках на скоростных катерах. Он общался со сливками общества Нью-Йорка и гордился тем, что может на спор выпить больше, чем любой другой»¹².

Следует добавить, что обращение Уотсона к объективным методам экспериментальных исследований поведения тоже находит психологическое объяснение — оно продиктовано его патологической неспособностью к самоанализу и интроспекции (ведущим

¹¹ Яркой иллюстрацией подобной психолого-исследовательской установки является работа Леона Шертока и Раймона де Соссюра «Рождение психоаналитика». В ней увлеченность Фрейда психологией становится неотличимой от увлеченности его Анной О., научные контакты с доктором Брейером — от их личных взаимоотношений. Характерный пассаж: «...Он изучал гистологию мозга, но история Анны О. побудила его заняться психологией... Фрейд находился под сильным впечатлением от истории Анны О. и чувствовал, по-видимому, насколько интересной она может оказаться в научном отношении. Возможно, также, что в силу его личного «сексуального темперамента» эта история в каком-то смысле «испеляла» его. Известно, что Фрейд отличался суровыми моральными правилами. Пережив в шестнадцать лет первое и, несомненно, платоническое увлечение Гизеллой Флюсс, он, по-видимому, до женитьбы не имел никаких любовных историй». В итоге Фрейд приходит в психологическую науку, движимый «мощными вытеснениями», и, если бы не сублимация, одним классиком у психологии было бы меньше. См.: Соссюр, Шерток, 1991: 99—101.

¹² Buckley, 1989: 177. Цит. по: Шульц Д., Шульц С., 1998: 281.

исследовательским практикам того времени). Зоопсихология с ее экспериментальными методами была ему «характерологически» ближе: «Работая с животными, я чувствовал себя как дома, — писал Уотсон. — Изучая животных, я стоял ближе к биологии, я стоял обеими ногами на земле»¹³.

В отличие от стоящего обеими ногами на земле (в науке и жизни¹⁴) классика-бихевиориста Джона Уотсона, классик психоанализа Карен Хорни росла невротичным ребенком — ее мать явно предпочитала ей старшего брата, которому «...Карен жестоко завидовала за то, что он мальчик. Отец часто унижал ее, пренебрежительно отзываясь о ее уме и наружности, вызывая чувства неполноценности, бесполезности и враждебности»¹⁵. Закономерно, что в основе разработанной Хорни психоаналитической концепции лежит понятие «базальной тревожности». Характер Хорни — если верить исследователям ее творчества¹⁶ — воплощает в себе все то, что психоанализ силился диагностировать в характере современного человека; в сообщество психоаналитиков Хорни вписалась так же легко, как ее концепция — в канон социально-психоаналитической классики.

Серия характерологических объяснений классичности может быть продолжена. Отдельные события биографии классика — столкновение с великим мыслителем (Гордон Оллпорт), роман с замужней женщиной (Генри Мюррей), годы, потраченные на изобретение вечного двигателя (Бёррес Фредерик Скиннер), участие в военных действиях (Курт Левин) — обладают немалым объяснительным потенциалом.

Апелляции к личным особенностям классика в объяснении его классичности — элемент распространенного среди психологов профессионального мифа о патологической природе психологического гения. Этот миф позволяет всю историю психологии представить как парад сменяющих друг друга диагнозов, а классический канон — как череду биографических обстоятельств. (Именно так он представлен в цитировавшемся выше учебнике Дуэйна и Синди Шульц «История современной психологии»: описания характерологических особенностей классиков и событий их биографий занимают более половины книги.)

¹³ Указ соч.: 275.

¹⁴ Примечание «в науке и жизни» характерно для психологистского рассуждения так же, как социологистскому анализу свойственны ссылки на «*атмосферу того времени*». Указание на единство «науки и жизни» призвано подчеркнуть неразрывную связь личности классика и результата его трудов.

¹⁵ Указ соч.: 452.

¹⁶ Яркий пример см.: Sayers, 1991.

Однако вряд ли кто-то из читателей всерьез воспринял приведенный выше аргумент: основание классичности — личная гениальность автора, истоки классики следует искать в характере классиков. Машиноподобная гениальность классика-бихевиориста Уотсона и невротичная гениальность классика-психоаналитика Хорни смакуются исследователями их творчества и нередко отмечаются на страницах учебников, но практически не претендуют на роль полноценных факторов объяснения их классичности.

Почему же то, что в одном случае воспринимается как забавный профессиональный миф (учебник Дуэйна и Синди Шульц остается скорее исключением, нежели правилом), в другом становится доминирующей логикой рассуждения о классике? Почему психологизм кажется крайне неубедительным способом аргументации (вряд ли бихевиористская теория завоевала ведущие позиции в американской науке благодаря личному обаянию Уотсона), а социологизм остается естественной для социологии науки исследовательской оптикой? Почему работа «Социология философий» Рэндалла Коллинза признается фундаментальным трудом по социологии знания, но трудно даже представить себе сегодня работу с названием «Психология философий» (хотя такие труды легко найти в анналах психологической науки)¹⁷.

Содержательных различий между социологизмом и психологизмом в анализе классичности гораздо меньше, чем сходств. В одном случае природа классики помещается в контекст «социальных структур», «институтов», «легитимаций» и «рецепций», а в другом — в контекст «характерологических особенностей», «биографий» и «способностей». И психологистская, и социологистская аргументация строится от обстоятельств: либо от биографических обстоятельств жизни автора-классика, либо от социальных обстоятельств рецепции его работ.

Отметим еще одно сходство. Так же как и социологизм, психологизм *экспансивен*: он не делает различий между классичностью в науке, в литературе, в кинематографе или в живописи. Тем самым стирается граница между наукой и иными формами творческой человеческой деятельности. И наука, и искусство — лишь «подмостки», где находит свое выражение персональный гений классиков. Классичность в науке и искусстве должна подчиняться одинаково жестким требованиям характерологических описаний. Вот классический пример психологистского описания классика:

«...Он был высок, строен, прекрасен лицом и необыкновенной физической силы, обворожителен в обращении с людьми, хоро-

¹⁷ Укажем лишь на один такой пример — классическое исследование Карла Густава Юнга психологии восточных философий: Юнг, 1994.

ший оратор, веселый и приветливый. Он и в предметах, его окружающих, любил красоту, носил с удовольствием блестящие одежды и ценил утонченные удовольствия».

Звучит как несколько архаичный перифраз приводившегося выше пассажа о Джоне Уотсоне: упоминание элегантной одежды, мужественной красоты и незаурядных способностей. Однако этот фрагмент посвящен Леонардо да Винчи и взят он с первых страниц известной работы Зигмунда Фрейда¹⁸.

Дальнейшее сопоставление двух текстов — цитировавшейся работы Керри Бакли о Джоне Уотсоне и работы Зигмунда Фрейда о да Винчи — обнаруживает множество сходных движений мысли и аналогичных умозаключений. Так, если Уотсон, по версии Бакли, отказался от интроспекции, потому что был психологически не способен к самонаблюдению, то Леонардо

«не мог сродниться с рисованием *al fresco*, которое требовало быстроты работы, пока еще не высох грунт; поэтому он избрал масляные краски, высыхание которых давало ему возможность затягивать окончание картины, считаясь с настроением и не торопясь»¹⁹.

Причина подобных совпадений — отнюдь не в хорошем знании психоаналитической теории современными историками психологии, а в воспроизведении заложенной Фрейдом психологистской схемы анализа применительно к самой психологической науке. Как мы попытаемся показать далее, знание источника не обязательно для развернутого и почти рефлекторного использования подобных схем в исследовательской практике.

Автор-психологист не делает различий в изучении классичности Леонардо да Винчи или Джона Уотсона: классичность объясняется незаурядностью индивидуальных психологических особенностей, а специфика творческого наследия — особенностями характера. Впрочем, чем это принципиально отличается от социологистской экспансии?

И наука, и искусство интересуют исследователя-социологиста прежде всего как социальные институты, нуждающиеся в классиках для поддержания и упорядочивания своего существования. В рамках института различаются способы, которыми конструируется и утверждается классичность, но реальность подобных способов находится за гранью сомнения, в противном случае социолог утрачивает свой специфический предмет изучения. Борис Дубин в тезисах о «стратегиях легитимации культурного авторитета» замечает:

¹⁸ Фрейд, 1997: 371.

¹⁹ Указ. соч.: 374.

«Важно с самого начала подчеркнуть, что авторитетом назначают, что его конструируют — “короля играет свита”. Моя задача — не историческая, а социологическая. Для меня дело не в “самих” текстах, а в институтах, задающих, поддерживающих и тиражирующих их значение в качестве символических посредников социальной коммуникации»²⁰.

Речь в работе Дубина идет о текстах литературных, но ничего не мешает произвести рефокусировку и аналогичным образом рассмотреть «стратегии легитимации научного авторитета». Замена слова «культурный» словом «научный» («политический»? «религиозный»? «военный»?) ничего не меняет в самом способе рассуждения: стратегии легитимации будут описаны разные, но это будут именно стратегии легитимации.

Всякая редукция, аналогичная социологистскому или психологистскому способам рассуждения, в исследованиях науки неудовлетворительна, поскольку подчиняет классичность «внешним» факторам детерминации — будь то «социальное бытование идей» или «психотип автора». Это экстернализация классики. Однако неудовлетворительной в социологизме оказывается не только экстермальность. Вряд ли интерналистская перспектива анализа, в которой причины классикализации того или иного автора атрибутируются исключительно содержанию его трудов, окажется достойной альтернативой социологизму.

Несостоятельной нам представляется любая *замкнутая модель классичности*, постулирующая: «Классика — это X, X должно объясняться через X». Подобная «петля в объяснении» исключает какую бы то ни было возможность построения «моста» между миром идей и миром их социального обращения. Однако прежде, чем перейти к обоснованию необходимости такого «моста», следует вернуть в спор о классике содержание классических работ, отвлекаясь от обстоятельств рецепции, трансцендировать социологизм. Одним словом, нужно вернуться к «самим» текстам».

Для этого необходима иная — *социологическая, но не социологистская* — логика анализа классического наследия. И, следовательно, другая — *консистентная, но не замкнутая* — модель классичности.

4. ЛОГИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

До определенной степени альтернативой логике рецепции является *логика репрезентации*. Если социологизм акцентирует «со-

²⁰ Дубин, 2006.

циальное происхождение» классики, то логика репрезентации подчеркивает знаковую, репрезентативную ее природу. Описывая различные аспекты классичности, немецкий историк Клаус Кёнке сформулировал основной тезис этой логики следующим образом:

«Подлинная классичность состоит, быть может, в том, что некоторому лицу и его произведениям сообщается как бы надындивидуальное значение, так что этот человек оказывается одновременно типом и репрезентантом чего-либо, но при этом ничуть не теряет своей личной значимости»²¹.

Утверждая, что имя классика в повседневном обиходе науки есть «знак», мы указываем на связь этого имени с некоторым комплексом идей, включенных в корпус наличного знания социологического теоретизирования, а также с другими именами. Наличное знание (*knowledge in hand*) означает в данном случае знание не проблематичное, очевидное. Это «общие места» социологического рассуждения. Чем очевиднее и не проблематичнее такое знание, тем авторитетнее классик. Поэтому «исследователи» (те, кого Джеффри Александер называет *practitioners*) редко читают и перечитывают авторитетного классика. Его концепты не требуют дополнительного переосмысления и новой операционализации, они уже составляют общее место рассуждения.

Этот парадокс частично объясняет то, каким образом значительная часть советского социологического сообщества, не читая Парсонса, оказалась в числе правоверных парсонсианцев. Имя Парсонса не только репрезентировало привычные понятия «социальной стратификации», «институтов», «систем» и «функций», но «было олицетворением социологии как таковой» (Александр Филиппов). Аналогичным образом дело обстоит со многими классическими ходами мысли, включенными в запас наличного знания социологического рассуждения: «классоцентричные» объяснительные модели формулируют те, кто никогда не читал Маркса, к ценностно-рациональной мотивации экономического поведения апеллируют те, кто никогда не читал Вебера. Знание первоисточников не требуется для развития заложенных в них тезисов, если тезисы эти уже пущены в «обращение» и обладают высокой «ликвидностью» в регулярных научных коммуникациях.

Классик в повседневном обиходе оказывается не создателем, а репрезентантом определенной совокупности теоретических установок, дотеоретических интенций, фундаментальных различий, моделей рассуждения, типов используемых данных и методов ра-

²¹ Köhnke, 1996: 15. См.: Филиппов, наст. изд.

боты с ними. Имя классика может выступать и в качестве *символа* (тогда имеет место отсылка к «надындивидуальному значению», о котором пишет Кёнке), и в качестве *индекса* (и тогда это ассоциативная связь: говорим Мосс — подразумеваем Дюркгейм).

5. «УДОБСТВО» КЛАССИКИ

Не задаваясь пока вопросом о причинах установления такой репрезентативности, попытаемся выделить необходимый минимум связей, которые обеспечивают имени классика непроблематичное хождение в мире социологического дискурса.

Поддержание «классической репрезентативности» зависит от трех типов связей. Во-первых, от *внутренней согласованности*. Создателям теоретических систем, в которых каждое понятие связано с каждым другим, схема рассуждений ясна и непротиворечива, а аргументация выстроена по правилам формальной логики (Эмиль Дюркгейм), проще войти в пантеон классиков, нежели выдающимся эмпирикам, добившимся заметных результатов в наблюдении социальной реальности, но не выстроившим с использованием этого материала никакой фундаментальной теоретической конструкции (Пол Лазарсфельд).

Во-вторых, «классическая репрезентативность» зависит от *внешней согласованности*, то есть от встроенности предложенного теоретического аппарата в корпус социологического знания и, что особенно важно, от его согласованности с аксиоматическим ядром дисциплины. Так, теоретические конструкции Макса Вебера, Толкотта Парсонса и Карла Маркса до сих пор успешно применяются в исследованиях социальной стратификации. При том что предлагаемые в этих подходах интерпретации исследуемого предмета противоположны и взаимоисключающи, ни один из них не подвергает сомнению основную аксиому стратификационных изысканий — существование социального неравенства как такового.

Не меньшее значение имеет третий тип связи — связи хорошо распознаваемого и встроеного в корпус социологии комплекса идей с *именем* классика. Имена Дюркгейм, Вебер, Парсонс становятся маркерами теоретических комплексов «социологизм», «понимающая социология», «структурный функционализм» и ассоциированных с ними построений. Эта связь делает излишним чтение самих классиков, их имена лишь маркируют общие места в научной дискуссии.

Наличие всех трех типов связности (внутренней, внешней и ассоциативной) делает автора той или иной концепции «удобным» классиком. Его имя недвусмысленно отсылает к определенной ло-

гике рассуждения, сама эта логика внятно распознается на фоне иных теоретических конструкций, и, что не менее важно, не возникает противоречия между данной логикой и фундаментальными аксиомами социологического мышления.

Напротив, признание классическими работ, не удовлетворяющих этим условиям, создает неудобства для их интерпретации: невозможность идентификации всех идейных источников и задействованных теоретических ресурсов, разрозненность и фрагментарность исследований, трудности развития тезисов, не соотнесенных с традиционной аксиоматикой. Таковы отличительные черты неудобной классики.

6. НЕУДОБНАЯ КЛАССИКА И НАСЛЕДИЕ ИРВИНГА ГОФМАНА

Существование неудобной классики бросает вызов истории дисциплины, затрудняя классификации «парадигм» и «подходов». По сей день неудобная классика остается слепым пятном метатеоретизирования, не вписываясь в конвенциональные бинарные оппозиции («реализм» — «номинализм», «объективизм» — «субъективизм» и т. д.). Она стоит в стороне от процесса накопления научного знания, каким он описывается, например, в концепции Томаса Куна: неудобная классика как таковая не опрокидывает прежних конвенций и ничего не предлагает взамен устоявшейся картины мира. Ее предназначение — стимулирование социологического воображения, повышение чувствительности к тонким различиям (сенсибилизация науки), обозначение пределов социологического теоретизирования.

Именно поэтому неудобная классика не укладывается в различие «старого» и «нового» классического наследия. Для теоретической социологии Георг Зиммель (некогда записавший в своем дневнике: «Наследство, которое я оставлю, похоже на разменный чек; деньги распределены, и каждый вкладывает свою часть в то дело, которое соответствует его натуре, забывая, чем он обязан этому наследству»²²) так же удобен в качестве классика, как и Ирвинг Гофман — вероятно, самый противоречивый из современных теоретиков, вошедших в пантеон социологической классики.

Практически все работы Гофмана, посвященные скрупулезным наблюдениям повседневных социальных взаимодействий, вызвали неоднозначную реакцию академического сообщества. Основной вопрос разгоравшихся споров — можно ли считать Гоф-

²² *Simmel*, 1958: 195.

мана социологом, и если да, то является ли его подход, «балансирующий на грани между публицистикой, философией и этнографией», органической частью социологической традиции?

В 1972 г. в одном из обзоров «New York Times Book Review» Гофман был назван «самым видным из ныне живущих писателей», имеющим наибольшие основания называться «Кафкой нашего времени». Другой рецензент из «The Sociological Quarterly» утверждал, что Гофман «просто сочиняет романы, в которых гротеск переводится на уровень китча». Сходным образом Клиффорд Гирц отнес теорию Гофмана к «мутным жанрам» общественной мысли, которая более не полагает концептуальную ясность своим идеалом. Эксцентричный стиль гофмановского повествования привел к росту популярности Гофмана-писателя, но поставил под сомнение научность его концепции.

По сути, подозрения в «несоциологичности» с Гофмана были сняты только к моменту избрания его на пост президента Американской социологической ассоциации в 1981 г. (Хотя и после этого теоретическим построениям социальной драматургии нередко отказывали в праве называться теоретическими.) Сам Гофман старательно уклонялся от навешивания на его теорию легко распознаваемых ярлыков и относил свои работы поочередно к «городской этнографии Эверета Хьюза» и «социальной психологии Джорджа Герберта Мида», периодически заявляя о приверженности символическому интеракционизму, структурному функционализму, чикагской традиции и теории игр. Описав и проанализировав процесс «лейблинга» (навешивания ярлыков) в повседневной социальной жизни, он отказывался давать определения своему подходу, опасаясь стать жертвой «лейблинга» в повседневном обиходе науки. Почитатели и биографы после смерти Гофмана с прискорбием констатировали, что «никакой “-изм” или “-логия” не связывает с его именем».

Таким образом, теоретические построения Гофмана оказались лишены тех устойчивых связей, которые позволили бы говорить о бесспорной классичности их автора. Самое очевидное: отсутствие *ассоциативной связи* между именем Гофмана и теми яркими, но разрозненными концептуализациями повседневной социальной жизни, которые сегодня становятся общими местами социологического теоретизирования. Понятия «стигмы», «тотального института», «фрейма» находят широкое применение в теоретических изысканиях, но не отсылают к имени Гофмана, не репрезентируют его классичность.

Вторая «несогласованность» — теоретические построения Гофмана с трудом допускают *возведение к аксиоматическим основаниям социальной науки*. Гофман сознательно превращает аксиомы в

проблемы, подвергает сомнению то, что для блага дисциплины должно находиться «вне подозрений». Так, в картине мира, нарисованной Гофманом, люди руководствуются отнюдь не стремлением к достижению собственных целей и не вбитыми в них социализацией императивами, а легкомысленным желанием произвести хорошее впечатление на других (так называемая экспрессивная интенция социального действия). Социолог может допустить, что человек по природе своей корыстен или, напротив, альтруистичен, добр или зол, рефлексивен или запрограммирован воспитанием, и ни одно из этих априорных предположений не помешает построить собственно социологическую теорию, потому что каждый из этих выборов встроен в одну из традиционных логик понимания социальной жизни. Однако утверждение идеи «производства впечатлений» как основания общественного порядка не вписывается в ряд аксиом социологического мышления.

Впрочем, и само существование общественного порядка проблематизируется Гофманом. Если для столь разных авторов, как Огюст Конт, Эмиль Дюркгейм, Карл Маркс, Толкотт Парсонс, Пьер Бурдьё, признание социального порядка представляет собой отправную точку анализа, то для Ирвинга Гофмана наличие «Общества» — искомое решение, а не условие задачи. Задача же состоит в том, чтобы найти в кажущемся хаосе повседневных взаимодействий *основания* этого порядка. «Общество», со всеми его «институтами», «системами деятельности» и «социетальными структурами», более ничего не объясняет, оно само должно быть объяснено в перспективе реальности повседневного мира.

Наконец, третья отличительная характеристика творческого наследия Гофмана — *«внутренняя несогласованность»* его работ. Теоретические построения Гофмана не образуют в своей совокупности никакой стройной системы. Концептуальные различия привлекаются им из антропологии, лингвистики, психологии, этнологии, теории музыки, театрального искусства и кинематографа для описания частных случаев повседневных интеракций.

В то же время есть очевидная связь между «внутренней несогласованностью», «гипертрофированным вниманием к частностям» и тем, что используемые Гофманом теоретические различия не являются исконно социологическими. Подобный эклектичный на первый взгляд импорт концептов обуславливает одно из самых серьезных неудобств использования результатов гофмановских исследований в последующих теоретических изысканиях. Развитие отдельных, предложенных Гофманом тем, с опорой на его же концептуальный аппарат, приводит к загадочной «миграции» понятий: импортированные из некоторой смежной области, обогащенные

теоретическими ресурсами социологии, они обнаруживают тенденцию к экспорту в другие дисциплины.

Например, понятие «фрейма», заимствованное из теории коммуникации психолога Грегори Бейтсона, экспортируется затем в когнитивно-ориентированные исследования речевого поведения, когнитивную психологию и когнитивную лингвистику (Роджер Шенк и Роберт Абельсон). Комплекс понятий «стратегического взаимодействия», разработанных Ирвингом Гофманом с привлечением аппарата теории игр, возвращается в экономические работы, под влиянием которых и был некогда создан (Томас Шеллинг). Концепты, закрепленные Гофманом в языке социологии, пролиферируют, не только переключаясь в области своего прежнего обитания, но захватывая новые ареалы в лингвистике, психологии, когнитивистике. Даже те понятия гофмановской теории, которые не покидают границ социологической дисциплины, более всего оказываются востребованными в «приграничных» областях: концепция «стигмы» становится теоретическим ресурсом социологии этничности, понятие «тотального института» (не без влияния Мишеля Фуко) закрепляется в исследованиях пенитенциарных систем, идеи фрейм-анализа активно используются в социологии времени (Эвиатар Зерубавель) и анализе разговоров (Эммануэль Шеглофф).

Такая «мобильность концептов» гофмановской теории, их частая миграция между дисциплинарными и предметными областями заставляет вспомнить правило, некогда сформулированное Гофманом применительно к организации повседневной жизни: *наибольшим потенциалом трансформации обладают те формы взаимодействия, которые сами являются результатами трансформации*²³. Социологам повседневности это правило позволяет понять, почему превращению, моделированию и симулированию чаще подвергаются уже «превращенные» формы активности.

Так, спортивным состязанием скорее станет бег или бокс (трансформация погони и драки), нежели мытье посуды. В компьютерной игре с большей вероятностью будет смоделирована гонка «Формулы-1» или битва из «Звездных войн», а не переход улицы на зеленый сигнал светофора. В студенческих капустниках чаще обыгрываются ритуализованные элементы учебы (общение с преподавателем на экзамене) и значимая атрибутика (зачетная книжка, диплом), нежели обыденное содержание студенческой жизни (конспектирование лекций). Эти разновидности трансформации Гофман называет «переключениями». Там, где уже имеет место переключение, повторная трансформация более вероятна. Применительно к научной коммуникации данное правило означает: те

²³ Гофман, 2003 [1974]: 140–142.

концепты, которые не являются «исконно социологическими», а заимствованы из других «словарей описания» — например, из словаря обыденной речи или из словаря других дисциплин, — более подвержены пролиферации (расширению ареала использования), становясь предметом последующих трансформаций. Почему? На примере терминологического импорта в работах Гофмана можно попытаться проследить истоки этого аспекта неудобной классичности.

7. МЕТАФОРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ «ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ»

Наша гипотеза состоит в том, что причина описанной выше «мобильности концептов» в работах неудобного классика кроется в механизме *метафорической концептуализации* — используемые классиком понятия приобретают терминологическую нагрузку за счет метафорической соотнесенности с понятиями из других «словарей». Так, категориальный аппарат социальной драматургии, изложенный в первой книге Ирвинга Гофмана «Представление себя другим в повседневной жизни», выстроен на фундаменте театральной метафоры. Благодаря этой работе понятия «исполнение», «реквизит», «труппа», «передний и задний план», «вера в исполняемую партию», «выход из роли» стали инструментами социологического анализа повседневного «управления впечатлениями» (*impression management*). В других работах (например, в популярной статье «Там, где действие») Гофман активно эксплуатирует метафорику азартных игр, встраивая в свою аналитическую схему концепты: «ставка», «шанс», «пари», «джек-пот», «блеф»²⁴. В дополнение к этому во всех своих текстах Гофман активно заимствует слова обыденного языка, отчего теоретическими концептами становятся понятия «лицо» (*face*), «притворство» (*make-believe*), «жертва» (*mark*), «прикид» (*put-on*), «манера» (*demeanor*) и т. д.

В итоге уличные мошенничества, театральные представления и азартные игры оказываются не только (и, может быть, не столько) предметом исследований Гофмана, но источниками метафор, задающих наше видение повседневной социальной жизни, конституирующих оптику ее изучения. Поэтому, вероятно, следует сделать поправку к приведенному выше поспешному выводу: не «концептуальные различия привлекаются им из антропологии, лингвистики, теории музыки и кинематографа для описания частных слу-

²⁴ Goffman, 1967.

чаев повседневных интеракций», а изучение частных случаев повседневных интеракций позволяет Гофману предложить метафоры, развитие которых можно лишь с привлечением концептуальных различий из перечисленных областей. Например, обращение Гофмана к категориальному аппарату теории игр было стимулировано сериями наблюдений, проведенных им в казино Лас-Вегаса. Именно метафора — в данном случае метафора «повседневная жизнь как азартная игра» — становится каналом терминологического импорта.

Всякий терминологический импорт представляет собой перевод из одной области значений в другую. И неудобный классик — это плохой переводчик, не находящий (или не ищущий) нужных слов в языке социологии, прибегающий к кальке, тем самым обогащая (или засоряя) социологический словарь. Только что мы использовали весьма затертую метафору «перевода» для прояснения смысла терминологического импорта в текстах неудобного классика. Гофман предпочел бы уже приводившееся нами понятие «переключение». В повседневной жизни переключение обнаруживает себя в том, как погоня становится бегом, охота — спортом, война — учениями, учения — документальным фильмом об учениях, фильм — компьютерной игрой, игра — демонстрацией игры, а демонстрация игры — кульминацией выставки компьютерных новинок. Терминологический импорт в работах неудобного классика — тоже переключение, т. е. перенесение концепта из одной контекстуализирующей его системы координат (по Гофману, «системы фреймов») в другую. Говоря это, мы сами предпринимаем попытку переключения, переключаем концепт «переключение» из словаря гофмановской социологии повседневности в словарь социологии науки.

Впрочем, мы уже проделали нечто подобное выше, когда сформулированное Гофманом правило *«наибольшим потенциалом трансформации обладают те формы взаимодействия, которые сами являются результатами трансформации»* перевели как «концепты, которые заимствованы из других “словарей описания”, более подвержены пролиферации и чаще становятся предметом последующих трансформаций». Таким образом, мы подвергли «последующей трансформации» (переключению) концепт «переключение». Именно последующей, потому что этот концепт уже является результатом переключения — он заимствуется Гофманом из словаря теории музыки. Музыкальным «прототипом» переключения является понятие «транспонирование»: перевод музыкальной фразы из одной тональности в другую²⁵.

²⁵ См.: Гофман, 2003 [1974]: 104—105.

Метафорическая концептуализация отчасти позволяет увидеть истоки «миграции понятий» гофмановской социологии, частое пересечение ими границ предметных и дисциплинарных областей. Отсюда некоторая «маргинальность» неудобной классики: метафорическая концептуализация имеет вид «X как Y», где собственно социологическим предметом, требующим осмысления, является X, а Y, благодаря которому X становится доступным социологическому исследованию, не принадлежит множеству социологических концептов. Отсюда смещение внимания — уход в теорию игр («социальная жизнь как азартная игра»), в теорию кинематографа («социальная жизнь как совокупность скадрированных и смонтированных отрезков деятельности»), в театральное искусство («социальная жизнь как управление впечатлениями») и т. д. Возможно, поэтому неудобная классика вызывает сомнения не только в классичности автора, но и в его дисциплинарной принадлежности.

8. НЕУДОБНАЯ КЛАССИКА КАК ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС: СТРАТЕГИИ ПРОЧТЕНИЯ

Выше мы описали три типа связей, наличие которых делает классика удобным, а отсутствие — создает ряд специфических неудобств в повседневном обиходе науки: имя неудобного классика не отсылает к предложенным им концептам, концепты не отсылают друг к другу и не репрезентируют традиционных стилей социологического мышления. Неудобного классика трудно назвать «ярким представителем» традиции, школы, направления или подхода. Неудобная классика — это классика без выраженной репрезентации.

Таким образом, неудобная классика социологии, игнорировать которую невозможно (уже в силу ее канонизации), а рассматривать в связи с другими классическими концепциями затруднительно, оказывается исключительно затратным теоретическим ресурсом. Ее использование ставит теоретика перед выбором: или встраивание неудобных работ в корпус социологического знания, запоздалое восстановление связи с той или иной традицией (а через нее — с аксиоматическим ядром дисциплины), или, напротив, сознательное революционизирование неудобной классики. В этом и состоят две основные стратегии прочтения работ неудобного автора: *революционизирование и ассимиляция*.

Революционизирование как стратегия интерпретации неудобного наследия связано с акцентированием его критического потенциала. Неудобная классика переживает ренессанс всякий раз, когда

под сомнение ставится достигнутый прежде теоретический консенсус. Она оказывается источником новой метафорики, механизмом переосмысления всего классического наследия. Попытки революционизирования неоднократно предпринимались в отношении неудобных работ Георга Зиммеля²⁶ и Джорджа Г. Мида²⁷. Другим показательным в этом отношении примером является стремление Брюно Латура преодолеть наследие классического социологизма, противопоставив ему работы неудобного классика социологии Габриэля Тарда (якобы несправедливо вытесненного с социологического Олимпа удобным классиком Эмилем Дюркгеймом²⁸).

Революционизирование — это всегда определенное насилие над текстами классика и, более того, над его образом в глазах потомков. Интерпретаторы настойчиво доказывают: классик Z остался непонятым, потому что опередил свое время, в его работах скрыто знание, к принятию которого наука готова только сейчас, новое прочтение Z позволит отринуть укоренившиеся в социологическом мышлении ложные предпосылки. Так, Зиммель становится «постмодернистом» (в силу последовательного релятивизма своей концепции), а Тард (благодаря своей критике социологизма) — провозвестником нового теоретического консенсуса. При этом не только работам классика сообщается революционное звучание, но и сам классик предстает теперь перед нами как «человек вне времени», «пророк и провидец», скорее всего, не понятый современниками.

Неудобная классика все же дает интерпретаторам некоторые преимущества. Во-первых, у неудобных классиков нет прямых наследников (получив по завещанию разменный чек, не претендуют на фамильный особняк), а следовательно, всякая новая трактовка потенциально истинна. Во-вторых, не встроенные в корпус социологического знания работы действительно могут стать точкой опоры для ревизии традиционных социологических аксиом. Каким бы ни был критический потенциал неудобной классики, в ходе последующего революционизирования он заметно прирастает.

9. СТРАТЕГИЯ АССИМИЛИРУЮЩЕЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Работы Ирвинга Гофмана крайне редко использовались в качестве инструмента теоретической ревизии и предмета револю-

²⁶ Weinstein, 1993.

²⁷ Joas, 1991.

²⁸ Latour, 1999.

ционизирования²⁹. Чаще к ним применялась другая стратегия — стратегия *ассимиляции*. Ассимиляция предполагает «обустройство» неудобной классики, превращение ее в классику удобную. Для этого необходимо восстановление трех типов согласованности, упомянутых нами выше.

Прежде всего, от интерпретаторов-ассимиляторов требуется увязывание разрозненных работ в единую теоретическую схему. Применительно к исследованиям Гофмана такую попытку предпринял Энтони Гидденс:

«Следует детально проанализировать и возразить некоторым неверным толкованиям Гофмана. Он настоятельно нуждается в защите от докучливых притязаний его поклонников. Зачастую Гофман воспринимается как идиосинкразический наблюдатель социальной жизни, чья чувствительность в отношении того, что мы называем практическим и дискурсивным сознанием, происходит скорее от комбинации высокого интеллекта и игривого стиля, нежели является производной согласованного подхода к социальному анализу. Это весьма обманчивая и неопределенная причина, по которой Гофман *в большинстве случаев* (курсив мой. — В. В.) не причисляется к разряду социальных теоретиков, заслуживающих особого внимания. В любом случае подчеркнем, что работы Гофмана представляются нам в высшей степени систематичными, и именно это серьезно определяет их интеллектуальное могущество»³⁰.

Здесь есть любопытное противоречие, характерное в целом для всех попыток ассимиляции неудобной классики: с одной стороны, констатация интеллектуального могущества автора, с другой — акцентирование его социальной непризнанности коллегами. Назвать Ирвинга Гофмана «непризнанным» довольно трудно — он был одним из самых популярных авторов-социологов, чьи работы распродавались огромными тиражами, а также одним из самых высокооплачиваемых профессоров-социологов за всю историю Американской социологической ассоциации (президентом которой и стал в конце жизни). Но таково требование жанра ассимилирующей интерпретации: необходимо указать коллегам на ошибочность их истолкований («защитить от докучливых притязаний

²⁹ Один из немногих примеров — апелляция Алвина Гоулднера к Гофману как к «предвестнику кризиса социологической науки». Другой пример: рассмотрение Пьером Бурдьё микросоциологической теории Гофмана в качестве вызова консервативному позитивизму академического истеблишмента (см.: Bourdieu, 1983).

³⁰ Гидденс, 2003 [1984]: 123. Подробнее см.: Giddens, 1988.

поклонников»), а уже затем привлечь внимание к «обновленному и дополненному Гофману», который теперь предстает в качестве систематичного и последовательного — то есть *удобного* — автора.

Вторая связь, которая должна быть восстановлена ассимилирующей интерпретацией, — связь с классической традицией. Для этого сначала необходимо указать на зависимость неудобных работ от фундаментальных проблем дисциплины, а затем и от традиционных решений этих проблем, предложенных другими классиками.

Так, описанная нами выше идея экспрессивной интенции в работах Гофмана влечет за собой ряд неудобств в использовании — она плохо согласуется с фундаментальными социологическими аксиомами рациональности действующего. Следовательно, нужно попытаться связать эту идею с классической постановкой проблемы, с базовой социологической концептуализацией, показать, что картина мира, в которой людьми больше не движут расчет и стремление к достижению поставленных целей, не лишает нас возможности рассуждать об этом мире социологически.

Подобную попытку восстановления *аксиоматической релевантности* гофмановских работ предпринимает теоретик постмарксистского толка Алвин Гоулднер.

«Драматургическая модель, — пишет он, — отражает новый мир, в котором средний класс более не верит в пользу прилежного труда или в то, что успех зависит от прилагаемых усилий. В этом новом мире остро чувство иррациональности отношения между достижениями человека и получаемым вознаграждением, между действительными заслугами и социальной репутацией. Это мир дорогих голливудских звезд и рынка акций, цены которых слабо связаны с приносимой ими прибылью... Люди теперь производят не вещи, а впечатления»³¹.

Для последовательной постмарксистской интерпретации подмена «производства вещей» «производством впечатлений» абсурдна (особенно если в ее фокусе находится идея «утилитаризма»), но лишь до тех пор, пока производство впечатлений не начинает анализироваться по тем же критериям, что и производство вещей:

«Гофмановская драматургия, таким образом, “антиутилитаристична” только в смысле противопоставления исторически угасающей форме утилитаризма. Отстраняясь от этого “старого” утилитаризма, полагающего, что люди могут и должны быть полезны во всем, что делают, социальная драматургия открывает новый “маркетинговый утилитаризм”, оперирующий явными види-

³¹ Gouldner, 2000: 247.

мостями, опирающийся на управление впечатлениями и самопрезентациями»³².

Благодаря такой переформулировке предложенное Гофманом описание социальной реальности как «мира сценической игры» более не выглядит карикатурой на классические образы мира в социальной теории, а встраивается в ряд этих образов: «мир игры» — это своего рода апгрейд «мира производства», социологическая модель исторически новой формы утилитаризма.

Впрочем, восстановления одной лишь аксиоматической релевантности недостаточно. Для успешной ассимиляции необходимо восстановить связь неудобных работ с существующими традициями социологического теоретизирования. Одно лишь перечисление таких попыток применительно к работам Гофмана заняло бы несколько страниц: «яркий представитель современного американского структурализма», «выдающийся символический интеракционист», «семиотик от социологии», «создатель новой феноменологической социальной науки», «провозвестник этнометодологического поворота», «наследник традиций чикагской школы», «представитель американского неопрагматизма» и т. д.³³

Каждая следующая контекстуализация неудобной классики — помещение ее в очередной теоретический контекст — прельщает интерпретаторов перспективой обнаружения нового ресурса теоретизирования. Неудобная классика всегда окружена ореолом «недопонятости», поэтому поиски скрытых связей между недооцененным классическим наследием и уже оцененными по достоинству теоретическими построениями не прекращаются.

Таким образом, восстановление аксиоматической релевантности и выбор традиции — это два приема встраивания имени неудобного классика в ряд классиков удобных. В совокупности с «систематизацией наследия» эти приемы нацелены на восстановление двух типов связей: внутренней концептуальной связности неудобной классической теории (каждое понятие отсылает к каждому другому) и внешней связности (связи с аксиоматическим ядром дисциплины и легитимными традициями рассуждения).

Наконец, последний тип отношений, который должен быть восстановлен для того, чтобы ассимиляция неудобной классики состоялась, — отношения репрезентации между именем классика и предложенными им концептами. Это своего рода попытка вновь собрать все суммы, истраченные по разменному чеку небережливыми наследниками. Такая «забота об имени» часто связана с вос-

³² *Ibid.*

³³ Попытка обобщения и анализа таких интерпретаций была сделана нами в: Вахштайн, 2004.

становлением авторитета неудобного классика («...понятие стигмы, столь востребованное в современной социальной психологии, уже почти не связано с именем Гофмана, а ведь именно он...» или «...в действительности понятие тотального института, которое сегодня привычно ассоциируется с именем Мишеля Фуко, закрепилось в обиходе социологии благодаря Ирвингу Гофману»). Но, как правило, ассоциативная связь «имя — понятие» восстанавливается очень избирательно, опять же в контексте многочисленных интерпретаций. В зависимости от выбранной перспективы ассимиляции с именем Гофмана удобней ассоциировать либо понятие «самопрезентация» (интеракционистская перспектива), либо понятие «фрейм» (структуралистская перспектива).

Что происходит с неудобной классикой после ассимиляции? Можно ли сказать, что она перестает быть неудобной и занимает почетное место в корпусе социологического знания? Или «сопротивление материала» оказывается сильнее, интерпретируемые тексты противятся интерпретациям, каждый раз обнаруживая новые, не поддающиеся ассимиляции аспекты? Эти вопросы требуют более детального исследования. Отметим пока, что само понятие успешной ассимиляции проблематично. Окончательное обустройство неудобного классического наследия, его канонизация и признание истинности одной из перспектив его интерпретации подрывают фундамент неудобной классичности — ее сенсibiliзующий потенциал и возможность проблематизации аксиом дисциплины. Становясь удобной, неудобная классика теряет основания называться классикой.

10. ПРОБЛЕМА РЕФЕРЕНЦИИ И ЗНАКОВАЯ ПРИРОДА КЛАССИЧНОСТИ

Вопрос, на который у выбранной нами логики рассуждения нет ответа в непротиворечивой и законченной форме, — это вопрос «Почему концепции, подобные гофмановской, все же признаются классическими?». Логика рецепции вообще не делает различий между удобными и неудобными текстами (классичность теорий здесь в наименьшей степени связана с их содержанием), но она по крайней мере отвечает на основной вопрос спора тезисом «классика — это конвенция». Логика репрезентации возражает: «классика — это репрезентация». И, казалось бы, тут же опровергает свой собственный тезис, указывая на существование нерепрезентативной классичности.

Конечно, здесь есть соблазн сказать, что неудобная классика, лишенная всех упомянутых типов связности, — это как раз то са-

мое исключение, которое только подтверждает правило. В *норме* классика основывается на императивах внутренней и внешней согласованности, но есть отдельные случаи канонизации авторов, чьи работы не удовлетворяют этим требованиям. Отсюда все неудобства их прочтения, использования, интерпретации. Впрочем, такое решение лежит на поверхности и больше напоминает отговорку.

Вернемся к исходной точке рассуждения — к повседневному обиходу социологии. В чем причина популярности Ирвинга Гофмана и неугасающего внимания к его работам?

Имя Гофмана редко упоминается в связи с его теоретическими построениями. (К сходному выводу приходят и некоторые современные исследователи творчества Гофмана. Например, Чарльз Лемерт в своей статье «Гофман» замечает: «Слово “Гофман” в памяти теоретика пробуждает рассуждения столь особые, что он вряд ли знает, как с ними поступить»³⁴.) Значительно чаще имя Гофман употребляется в контексте обсуждения предмета его исследований. Гофман выступает в роли первооткрывателя новых исследовательских областей, ссылка на его имя служит для легитимации интереса к проблемам, традиционно остававшимся за рамками социологических концептуализаций, — от исследования расстановки книг на полках в библиотеке до изучения пауз и понижений голоса в повседневных диалогах.

То же можно сказать и о работах Георга Зиммеля — они значительно лучше известны социологам, чья проблематика далека от традиционных вопросов социологии. Например, неудобным текстам Зиммеля обязаны своим возникновением теоретические программы «социологии пространства» и «социологии вещей», с трудом вписывающиеся в канон дисциплины (поскольку далеки от базовой социологической концептуализации: о пространстве, как и о вещи, трудно говорить на языке социологии).

Отсюда возникающая в научном обиходе синонимия имени неудобного классика с неудобным предметом исследования: говорим «Гофман», подразумеваем «производство впечатлений», «психиатрические клиники» и «театральные представления». Имя Гофман в отличие от имен Парсонс, Гидденс или Бурдьё отсылает не к теоретическим конструкциям и связанным с ними стилям социологического теоретизирования, а к самой проблемной области, исследование которой теперь легитимизируется.

Таким образом, неудобная классика, хотя и лишена репрезентативности (классик признается классиком не потому, что за ним — подход, школа или теоретическая система), тем не менее не лишена *референциальности*. Ее референция — это некоторая область

³⁴ Lemert, 1997: IX.

исследований. Гофман признается классиком не столько потому, что современниками актуализируется его теория, сколько потому, что само исследование повседневных порядков взаимодействия без ссылки на работы Гофмана выглядит необоснованным.

Идея репрезентативности дает нам возможность сформулировать ответ на исходный вопрос «Почему классика классична?». Идея референциальности позволяет понять, почему имя Гофман укоренено в повседневной научной коммуникации, хотя и лишено репрезентативности в том смысле, в каком ее не лишены имена Дюркгейм, Вебер, Парсонс. И репрезентация (лежащая в основании удобной классики), и референция (отражающая специфику классики неудобной) — суть свидетельства знаковой природы классичности, проявления процесса означания, сигнификации.

Противопоставляя логику рецепции логике репрезентации (сейчас, конечно, правильнее было бы назвать ее логикой сигнификации, поскольку репрезентацией «знаковость» классики не исчерпывается), мы противопоставили социологизму иной, не социологистский способ рассуждения о классике. Но является ли такой способ социологическим? Не «выносит» ли он исследование в смежную дисциплинарную область? Не противопоставляем ли мы социологическому редукционизму другую форму редукционизма, применение которого в перспективе может оказаться для исследователя-социолога еще более неудовлетворительным?

До определенной степени эти опасения оправданны. Если логика рецепции распознает классику только в ее «социальном существовании» и редуцирует содержание классических работ к социальным обстоятельствам их усвоения, то логика означания от признания знаковой природы классичности легко переходит к изучению классики исключительно в ее текстуальном аспекте и редуцирует классичность к употреблению «имен» в коммуникации. Тогда «удобство» и «неудобство» того или иного классика оказываются просто разными модусами бытования знака — его имени.

Логика, названная нами первоначально «логикой репрезентации», получает солидное подкрепление при использовании теоретических ресурсов аналитической философии истории и многочисленных исследований семантики имени собственного в научных текстах. Однако подобный уход в «исследования текстов» и подмена одного редукционизма другим (редукция «к текстуальному» вместо редукции «к социальному») менее всего способствуют решению поставленной выше задачи: сформулировать *социологический, но не социологистский* способ рассуждения о природе классичности.

Логика репрезентации, таким образом, оказывается маргинальным (буквально: «приграничным») способом рассуждения — ее теоретические основания далеки от социологистского мейнстрима,

и в то же время они не могут покинуть пределов дисциплины, оставаясь социологическими (а не филологическими, семиотическими или какими-либо иными) основаниями. В силу специфической дисциплинарной маргинальности логика репрезентации так же неудобна для социологии, как и описанный с ее помощью феномен неудобной классики. Перспектива, позволяющая различить «удобное» и «неудобное» классическое наследие, сама неудобна — она с трудом вписывается в традиционный социологический способ разговора о природе классичности.

Такое «неудобство второго порядка» — неудобство исследования неудобств — не случайно. Это не совпадение и не «игра в самореферентность» в духе Никласа Лумана («Классики суть классики, потому что они классики. В современном употреблении для них характерна самореференция»³⁵). Дело в том, что предложенная в настоящей работе логика исследования классичности выстроена на теоретическом фундаменте «приграничной» и крайне «неудобной» области социологической науки — *социологии повседневности*.

II. ФЕНОМЕН АППРЕЗЕНТАЦИИ И СОЦИОЛОГИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО ОБИХОДА СОЦИОЛОГИИ

Вероятно, никого из читателей не ввела в заблуждение неумелая маскировка «логики репрезентации» под семиотическую перспективу анализа³⁶. Выражения «референция», «бытование знака», «означение имени», «семантика и прагматика имени классика» не открывают дороги новому междисциплинарному синтезу: исследованию социологической классики средствами «науки о знаках». Категориальный аппарат предложенного здесь анализа — «повседневный обиход науки», «стратегии самопрезентации», «рутинизация» классического наследия, «наличное знание» социологического теоретизирования — заимствован из социологических концепций Ирвинга Гофмана и Альфреда Шюца. Именно их теоретические разработки легли в основу логики репрезентации.

Вернемся к различению двух логик, проведенному нами на первом этапе анализа. Логика рецепции — неизменный атрибут социологистского препарирования науки. Что является исходной аксиомой данного способа рассуждения? Имплицитное представ-

³⁵ См.: Luhmann, 1984: 7.

³⁶ Во всяком случае, она не ввела в заблуждение участников семинара Института гуманитарных историко-теоретических исследований, на котором впервые были изложены приведенные выше аргументы.

ление о науке как о *социальном институте*. Что составляет его основной методологический императив? Требование объяснения «социального социальным». Классика конвенциональна, потому что наука — лишь разновидность социального института наряду с церковью, политической системой и вооруженными силами. Социологизм в исследовании науки предлагает нам линию аргументации «от институтов», чем и обусловлен весь категориальный аппарат этого способа рассуждения.

Что является аксиомой логики репрезентации? Анализ научного знания в перспективе *повседневного обихода науки*, определенным образом фреймированной коммуникации, в которой разворачиваются стратегии презентации и самопрезентации, происходит контекстуализация и реконтекстуализация теоретических ресурсов. Основной методологический императив данной логики — *объяснение социального как связи неповседневных и повседневных «миров»*, мира идей и мира их социального обращения. Для исследования этой связи нами и привлекается тезис о знаковой природе классичности: имя классика понимается как «заместитель» его концепций в повседневном обиходе науки, сами же концепции принадлежат не повседневным порядкам коммуникации, а миру научной теории.

В основе такого понимания знаковой природы классичности лежит гуссерлевская идея «аппрезентации», введенная Шюцем в обиход социологии повседневности. Аппрезентация — феномен образования пар: «две или более данности интуитивно даются в единстве сознания, которое, по этой самой причине, конституирует два отличных друг от друга феномена как единство, независимо от того, направлено ли на них внимание»³⁷. В шестом «Логическом исследовании» и в первой главе «Идей» Гуссерль доказывает аппрезентативный характер всякого знакового отношения. Чем понятие «аппрезентация» может помочь в исследовании природы классики?

Классичность, конститутивным признаком которой является «надындивидуальное значение, приписываемое некоторому лицу и его произведениям» (Кёнке), представляет собой аппрезентативное соотнесение высшего порядка — *символическую аппрезентацию*. Высшего потому, что апелляция к классику связывает актуальные ситуации научной коммуникации и трансцендентный мир научной теории.

«Всем аппрезентативным соотнесениям, — пишет Шюц, — свойственна специфическая трансцендентность аппрезентируемого объекта по отношению к “здесь и сейчас” интерпретатора. Однако во всех случаях, за исключением символической аппрезентации,

³⁷ Шюц. 2004 [1967]: 464.

все три члена аппрезентативного соотношения — аппрезентирующий и аппрезентируемый члены пары и интерпретатор — принадлежат одному и тому же уровню реальности, а именно верховной реальности повседневной жизни. Символическое же соотношение характеризуется тем, что выходит за пределы конечной области значения повседневной жизни таким образом, что к ней относится только аппрезентирующий член соответствующей пары, тогда как аппрезентируемый член локализован в другой конечной области смысла, или, по терминологии Джемса, в другом субуниверсуме³⁸.

Этот «другой субуниверсум» в нашем случае и есть «мир идей», аппрезентативно связанный с повседневным обиходом науки. Ситуация «здесь и сейчас», о которой идет речь, не тождественна ни ситуации написания текста, ни актуальному моменту и месту его прочтения. Научная коммуникация, опосредованная текстом, протекает, по выражению Шюца, в «квазинастоящем». Таким образом, «здесь и сейчас» автора трансцендентно ситуации «здесь и сейчас» читателя, но это не трансцендентность «высшего порядка». Нас связывает этот текст. Ситуация его написания и ситуация его прочтения вплетены в разные временные перспективы (перспективы автора и читателя), но эти перспективы могут быть синхронизированы, они обе берут начало в пересечении «живого настоящего» и космического времени.

Однако для «мира идей» (в частности, идеи феноменологической социологии повседневности) указания на временные перспективы автора и читателя данного текста нерелевантны. «Идея феноменологической социологии» — аппрезентируемый член пары, трансцендентный актуальным ситуациям повседневного обихода науки и доступный нам только благодаря символическому соотношению. Что является аппрезентирующим членом данного отношения? «Метки», расставленные в тексте: «*живое настоящее*», «*квазинастоящее*», «*космическое время*», «*аппрезентация*», «*конечная область смысла*». Данные концепты соотносимы как с аппрезентируемым объектом («идея феноменологической социологии»), так и друг с другом и с именем Альфреда Шюца. Даже если бы со ссылки на это имя не начиналось настоящее рассуждение, «метки» недвусмысленно указали бы компетентному читателю на то, какой именно теоретический ресурс здесь задействован и какое имя его маркирует.

Выше мы сформулировали кредо логики рецепции в исследованиях классичности: «теоретики прошлого стремятся убедить нас в непреходящей ценности своих работ, сообщить им статус транс-

³⁸ Указ. соч.: 513.

цендентных, неподвластных времени объектов, но мы-то знаем, что за этим стоят скрытые социальные силы, поддерживающие существование науки как социального института». Логика репрезентации исходит из того, что «...классические имена суть аппрезытанты, представляющие идеи в повседневном обиходе науки; сами же эти идеи трансцендентны ситуациям коммуникации и несводимы к аппрезытирующим их именам, поскольку принадлежат иной конечной области смыслов». Соответственно, оба порядка — и порядок аппрезытируемых объектов («мир идей»), и порядок аппрезытантов («мир их социального обращения») — разные конечные области смысла, они автономны, самозаконны и не могут быть объяснены друг через друга. Отсюда неприемлемость всякой замкнутой модели классичности, основанной на формуле «Классика — это X, X должно объясняться через X».

Для логики репрезентации трансцендентность классических идей — не мнимая величина, не результат заговора наследников, ритуала классикализации или прихотливой игры «королевской свиты». Это необходимое условие существования классичности как таковой. В основании классичности лежит связь двух несводимых друг к другу, но некоторым образом связанных порядков. Каким образом связанных?

Проблема возникает именно с определением характера этой связи. Шюц радикально разводит мир научной теории и верховную реальность повседневной жизни, указывая на символическую аппрезытацию как на способ их соотнесения. Однако соотнесение это «односторонне»: социальная теория создаст референцию повседневного мира, превращая социальные феномены в теоретические конструкторы. Так, например, теоретическими конструкторами социологии становятся модели «социально действующих лиц», искусственно созданных теоретиком «гомункулов».

«Марionетка, — пишет Шюц, — и ее вымышленное сознание не подчиняются онтологическим условиям человеческого существования. Гомункул не родился, он не взрослеет и не умрет. Он не свободен в том смысле, что не может выйти за рамки, предопределенные его создателем, социальным ученым»³⁹.

Это неизбежная схематизация, свойственная всякому моделированию, в том числе и научному. В то же время конструкторы социального ученого — это «конструкторы второго порядка», поскольку социально действующие индивиды сами типизируют собственный мир. Конструкторы социолога — суть конструкторы конструкторов.

³⁹ Шюц. 2004 [1953]: 41.

Феномены повседневного мира аппрезентативно отображаются в мире социальной теории. Однако, выдвигая этот тезис, Шюц исключает возможность обратной референции — аппрезентативного отображения теоретических конструкторов социальной науки в повседневном обиходе. В шюцевском проекте «мост» между миром идей и миром обыденных коммуникаций допускает движение только в одну сторону, и это движение от повседневных взаимодействий — к символическим конструктам. Изучая «теоретизацию рутины», Шюц не рассматривает «рутинизацию теории» — процесс, в котором происходит инкорпорирование теоретического знания в обыденную научную практику, превращение его в «наличное знание» социологической коммуникации.

Однако именно такая «рутинизация теории» лежит в основании повседневного обихода науки. Классические идеи обладают высокой «ликвидностью» и «свободным хождением» в социологическом дискурсе благодаря своей рутинизированности, приобретенной обыденности. Для социолога *естественно* объяснять ритуалы необходимостью поддержания солидарности, девиацию — сбоем в системе социального контроля, а знание о мире — социальной структурой сообщества, в котором это знание произведено. «Естественность» и самоочевидность подобных рассуждений — результат рутинизации классических теорий.

Рутинизация теории, так же как теоретизация рутины, предполагает некоторое упрощение, схематичность отображения. Однако конструкторы повседневного обихода науки не вписываются в шюцевское различие конструкторов первого и второго порядков. Ни обыденные представления «людей с улицы», ни референции этих представлений в мире социальной теории (социологические концепты) не дают нам представления о том, что происходит с теоретическими построениями по мере их рутинизации. Социальный ученый, создающий аналитическую схему повседневного социального взаимодействия, вынужденно работает с упрощенными моделями «социально действующих лиц» (шюцевских «гомункулов»). Но как только схема эта входит в плоть и кровь теоретического дискурса, становится классической и закрепляется в повседневном обиходе социологической коммуникации, ее ждет новая трансформация — она рутинизируется, упрощается. (Что остается от сложной аргументации Макса Вебера о связи протестантской этики и духа капитализма в работах многочисленных practitioners, рефлексивно апеллирующих к веберовской аналитической схеме? Что — кроме упрощенной социологической логики — остается в повседневном обиходе науки от многочисленных концептуализаций Эмиля Дюркгейма?) И теперь уже классик начинает существовать в роли «гомункула»: он присутствует в повседневном обиходе на-

учной коммуникации как маркер собственной теоретической схемы: для коммуницирующих не релевантны онтологические условия его человеческого существования, для них он не взрослеет и не стареет. «Оповседневленный» классик — такая же референция теории в обиходе социологии, как шюцевский «гомункул» — референция «обычного человека» в мире социальной теории. (Отсюда, в частности, следует, что участие «живого классика» в повседневных научных коммуникациях не идет на пользу его классичности. Канонизированному при жизни предписано уйти из мира повседневности.)

Итак, рутинизация теории и теоретизация рутины во многом симметричны: «мост» между миром идей и миром их социального обращения допускает движение в обе стороны. Мы вынуждены признать, что повседневный обиход науки создает такие же схематичные «отображения» теоретических конструкторов (и вместе с ними схематичные отображения классичности), как и мир науки; это реципрочное соотношение. Но теоретическая логика исследовательской программы Альфреда Шюца исключает подобную возможность. Такой вывод угрожает сразу двум аксиоматическим допущениям феноменологической социологии: постулату о «замкнутости» конечных областей смысла и постулату об их иерархичности (мир повседневности образует верховную реальность, мир научной теории иллюзорен и в этом сравним с миром фантазмов, сновидений и галлюцинаций).

«Относительно конечной области смысла, именуемой наукой, — пишет Шюц, — напомним утверждение Уайтхеда, что необходимой предпосылкой развития современных естественных наук было создание “идеально изолированной системы”»⁴⁰.

Социальные науки следуют тем же путем, стремясь к самореферентности, замкнутости, изолированности.

Связь двух изолированных конечных областей смысла — это не связь сообщающихся сосудов. В противном случае о них нельзя было бы говорить как о *конечных* областях. «Конечность областей смысла, — отмечает Шюц в другой своей работе, — предполагает, что не существует возможности соотношения одной из этих областей с другой путем введения формулы трансформации»⁴¹. Соотношение это, по Шюцу, носит характер односторонней символической аппрезентации, но нет никакой «формулы преобразования», допускающей взаимное соотношение, устанавливающей симмет-

⁴⁰ Шюц, 2004 [1967]: 515.

⁴¹ Шюц, 2004 [1945]: 426.

ричность процессов теоретизации рутины и рутинизации теории. Для Шюца даже понятие повседневного обихода науки сомнительно — либо это повседневный обиход, и тогда он принадлежит миру повседневности, либо это мир науки, и тогда его содержание составляют символические конструкции и отстраненные созерцания. Шюцевская социология повседневности немного может сказать о повседневности социологии.

Как сохранить тезис о двух не сводимых друг к другу, но связанных между собой конечных областях смысла (без которого теряет опору основное наше суждение о знаковой природе социологической классики) и в то же время не ограничиваться утверждением об одностороннем схематизирующем движении — от повседневных феноменов к теоретическим конструктам? Как связать теоретизацию рутины и рутинизацию теории в единой аналитической схеме исследования социологической классики?

В первую очередь, следует обратиться к иному теоретическому ресурсу социологии повседневности и переписать эту проблематичную соотнесенность.

Если для Альфреда Шюца всякий поиск «формулы трансформации», устанавливающей двустороннее отношение между миром науки и миром повседневности, — априорно бессмысленное предприятие, то для Ирвинга Гофмана — это фундаментальная теоретическая задача. Задача, которую Гофман решает с помощью описывавшегося выше понятия переключения. Содержание повседневной рутины трансформируется (преобразование, аналогичное музыкальному транспонированию) в содержание научной теории, а содержание научной теории — в содержание повседневного обихода науки. Понятие переключения — в отличие от понятия символической аппрезентации — допускает двустороннюю транспозицию.

Однако теперь неясно, что из транспонируемого является «моделью», а что «оригиналом»? Схематизация повседневного мира в теоретической модели симметрична схематизации теоретической модели в повседневном обиходе науки. Для Шюца безусловным онтологическим статусом обладает лишь мир повседневности, тогда как научная теория — его символическая имитация: Гофман же в итоге своего исследования приходит к радикально релятивистскому выводу: «Любое из изображений может быть в свою очередь создано путем копирования чего-то такого, что само является макетом, и это наводит нас на мысль, что суверенным бытием обладает *отношение*, а отнюдь не субстанция». Какое отношение?

Грегори Бейтсон вслед за Альфредом Кожибским назвал это отношение «отношением карты и территории» или структурно-метафорическим отношением. (Здесь мы опять сталкиваемся с

метафорической конструкцией «Х как Y».) Какой из двух субуниверсумов теперь является «картой», а какой — «территорией», уже не столь важно. Повседневные взаимодействия картографируются ученым и схематично отображаются на «карте» социальной теории; социальная теория становится достоянием регулярных коммуникаций в повседневном обиходе науки, которые оставляют от нее лишь «остов» (инкорпорирующуюся в наличное знание последующего теоретизирования логику аргументации). Формула трансформации в данном случае — это формула «двойного переключения». И двойной схематизации. Фигура классика в результате оказывается одновременно и условием, и объектом такого двойного переключения-картографирования.

Подобным образом устанавливаются отношения репрезентации между именем классика и приписываемой ему теоретической схемой. Во всяком случае, так выглядит это отношение «в норме», а потому нарушение принципа «двойного переключения» (которое мы наблюдаем в результате канонизации неудобных авторов) пробуждает к жизни многочисленные революционизирующие и ассимилирующие прочтения.

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной теоретический мотив предпринятого выше рассмотрения классичности весьма далек от интенции «возвращения науки жизненному миру». Наша задача скромнее — указать на то, как классичность поддерживает, охраняет и цементирует симметричное отношение двух этих универсумов, делая возможной транспозицию их: содержаний. До тех пор пока классичность справляется с данной задачей, вопросам об «удобстве» и «неудобстве» классического наследия места не остается, его репрезентативный характер оказывается в положении «видимого, но незамечаемого». Лишь когда имя классика «пробуждает в памяти теоретика рассуждения столь особые, что он вряд ли знает, как с ними поступить» (Чарльз Лемерт об Ирвинге Гофмане), знаковая природа классичности становится проблематичной и, следовательно, зримой, доступной исследованию. В этом проявляется специфика неудобной классики как «классики сенсibilизации»: повышение чувствительности науки к своим собственным основаниям, экспликация аксиом и превращение их в проблемы.

Впрочем, обратная сторона подобной сенсibilизации — неизбежная метафоричность теоретических описаний, несогласованность аналитических схем, отсутствие внятной дисциплинарной локализации. На фундаменте неудобной классики невозможно

выстроить ясное самописание дисциплины, представив ее на ее же собственном «языке».

Неудобные тексты не выполняют «функций ориентации», не демонстрируют, чем социологический способ мышления отличается, например, от психологического или экономического. Неудобная классика маргинальна, и отсюда ее популярность в «приграничных» предметных областях, далеких от социологического мейнстрима. До самого момента своей окончательной ассимиляции (или полного забвения) она остается «классикой фронта».

Литература

Вахштайн В. С. Социологическая теория Ирвинга Гофмана: два прочтения // *Социологическое обозрение*. 2004. Т. 4. № 1. С. 21—43.

Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структуризации / Пер. с англ. М.: Академический проект, 2003 [1984].

Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Под ред. Г. С. Батыгина и Л. А. Козловой; вступ. статья Г. С. Батыгина. М.: Институт социологии РАН, 2003 [1974].

Дубин Б. В. Классик — звезда — модное имя — культовая фигура: О стратегиях легитимации культурного авторитета // *Синий диван*. 2006. № 8. С. 100—110

Западная экономическая социология: хрестоматия современной классики / Пер. с англ., франц., нем. Сост. и науч. ред. В. В. Радаев. М.: РОССПЭН, 2004.

Латур Б. Когда вещи дают сдачи: возможный вклад «исследований науки» в общественные науки [2000] // *Вестник МГУ. «Философия»*. 2003. № 3. С. 12—28.

Мёртон Р. Социальная теория и социальная структура / Пер. с англ. М.: АСТ, 2006 [1968].

Соссюр Р. де, Шерток Л. Рождение психоаналитика. От Месмера до Фрейда / Пер. с франц. Вступ. ст. Н. С. Автономовой. М.: Прогресс, 1991.

Фрейд З. Психоаналитические этюды / Пер. с нем. Сост. Д. И. Донской, В. Ф. Круглянский. Мн.: Попурри, 1997.

Шульц Д. П., Шульц С. Э. История современной психологии / Пер. с англ. СПб.: Евразия, 1998.

Шюц А. О множественных реальностях [1945] // *Избранное: Мир, священный смысл* / Пер. с нем. и англ. М.: РОССПЭН, 2004. С. 401—455.

Шюц А. Обыденная и научная интерпретация человеческого действия [1953] // *Избранное: Мир, священный смысл* / Пер. с нем. и англ. М.: РОССПЭН, 2004. С. 7—50.

Шюц А. Символ, реальность и общество [1967] // *Избранное: Мир, священный смысл* / Пер. с нем. и англ. М.: РОССПЭН, 2004. С. 456—532.

Юнг К.-Г. О психологии восточных философий и медитаций / Пер. с нем. Сост. В. Бакусев. М.: Медиум, 1994.

Alexander J. C. The Centrality of the Classics // *Social Theory Today* / Ed. by A. Giddens, J. Turner. Cambridge: Polity Press, 1987. P. 9—35.

Bourdieu P. Erving Goffman: Discoverer of the Infinitely Small // *Theory, Culture and Society*. 1983. Vol. 2. No. 1. P. 5—18.

Buckley K. Mechanical man: John Broadus Watson and the Beginnings of Behaviorism. NY.: Guilford, 1989.

Collins R. A Sociological Guilt Trip. Comment on Connel // *American Journal of Sociology*. 1997. Vol. 102. No. 6. P. 1558—1564.

Connel R. W. Why is Classical Theory Classical? // *American Journal of Sociology*. 1997. Vol. 102. No. 6. P. 1540—1557.

Giddens A. Goffman as a Systematic Theorist // Erving Goffman: Exploring the Interaction Order / Ed. by P. Drew, A. Wootton. Cambridge: Polity Press, 1988.

Goffman E. Where the Action Is // *Interaction Ritual: An Analysis of Ritual Elements in Social Interaction*. NY.: Doubleday Anchor, 1967. P. 149—270.

Gouldner A. Other Symptoms of the Crisis: Goffman's Dramaturgy and Other New Theories // *Sage Masters of Modern Social Thought* / Ed. by G. A. Fine, G. Smith. Vol. 1. London: Sage Publications, 2000. P. 35—59.

Joas H. Rollen- und Interaktionstheorien in der Sozialisationsforschung // *Neues Handbuch der Sozialisationsforschung* / Hrsg. K. Hurrelman, D. Ulich. Weinheim: Beltz, 1991. S. 137—152.

Köhnke K. Der junge Simmel in Theoriebeziehungen und sozialen Bewegungen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1996.

Latour B. Gabriel Tarde and the End of the Social // *The Social in Question* / Ed. by P. Joyce. London: Routledge, 1999. P. 36—64.

Lemert Ch. «Goffman» // *The Goffman Reader* / Ed. by Ch. Lemert, A. Branaman. Malden: Blackwell, 1997. P. 27—64.

Lepenies W. Die Drei Kulturen. Soziologie zwischen Literatur und Wissenschaft. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988.

Levine D. N. Simmel and Parsons Reconsidered // *American Journal of Sociology*. 1991. Vol. 96. No. 5. P. 1023—1071.

Luhmann N. Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1984.

Sayers J. Mothers of Psychoanalysis: Helene Deutsch, Karen Horney, Anna Freud, Melanie Klein. NY.: Norton, 1991.

Simmel G. 1858—1918 / Ed. by K. H. Wolff. Columbus: Ohio State Univ. Press Smith AD, 1958.

Wagner G. Emile Durkheim und Der Opportunismus // *Jahrbuch für Soziologiegeschichte*. 1995. S. 191—205.

Weinstein M., Weinstein D. Postmodernized Simmel. London: Rotledge, 1993.

Экономическая теория

*Светлана Авдашева, Леонид Тутов,
Андрей Шаститко*

КЛАССИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ЭКОНОМИКА КЛАССИКИ

«Классика» и «классики» — широко используемые понятия не только среди специалистов, но и на бытовом уровне. Что стоит за отношением к тому или иному ученому как классику и, соответственно, той или иной работе — результату интеллектуальной деятельности — как классической? Почему одни работы считаются классическими, а другие нет? С чем это связано? Только ли с профессионализмом классика? Известностью работы, которая вовсе не обязательно связана с уровнем профессионализма? И вообще, какая польза от определения множества классических работ в рамках той или иной дисциплинарной области? Насколько правомерна постановка вопроса о псевдоклассиках? И есть ли универсальные каноны у понятия «классика»?

Уже этот перечень вопросов заставляет задуматься о той дистанции, которая существует между представлением о том, что такое классическое в той или иной сфере — в данном случае в экономической теории, и операциональной концепцией классики, рассчитанной на практическое приложение последней. Другой важный вопрос: имеет ли значение время в экономической истории, в интеллектуальной истории? Ответы на поставленные вопросы являются важной теоретической базой для содержательного обсуждения классики в экономической теории.

1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

В истории экономической теории условно можно выделить несколько этапов: доклассический, классический, неоклассический и современный («постнеоклассический»).

В доклассический период знания об экономике представляли собой, в сущности, знания о принципах ведения хозяйства, были преимущественно нормативными, а не позитивными и не были отделены от знаний о деятельности человека в принципе. В свою очередь, деятельность человека рассматривалась в телеологическом контексте, и вопрос об объективных законах этой деятельности, существующих вне промысла Бога или нравственных законов либо деятельности просвещенного государства, не ставился в принципе.

На следующем, классическом этапе экономика из системы императивных взглядов превратилась в систему объективных законов. При этом классики экономики во многом заимствовали свой метод из естествознания. Например, Франсуа Кене — из анатомии, а Адам Смит — из физики. Это заимствование частично объяснялось самой постановкой задачи первыми классиками экономики — обнаружить и описать объективно существующие законы данной сферы жизни, а также верой в то, что универсальные законы природы должны распространяться также и на экономику.

Лидер неоклассического направления экономической теории Альфред Маршалл придерживался неопозитивистских установок, прежде всего в области методологии экономической науки. Он осознавал, что никакие два экономических события не являются полностью тождественными, поэтому обобщающие знания в сфере экономической теории не имеют значительных познавательных перспектив. Выход из такой ситуации Маршалл видел в том, чтобы снизить уровень притязания экономического знания и лишить экономическую теорию онтологического аспекта, рассматривая ее не как совокупность конкретных истин и знаний об объекте, а лишь как способ получения знания, инструмент познания.

С момента признания за экономической наукой возможности не претендовать на описание универсальных законов начинается активный процесс развития отдельных теоретических направлений, каждое из которых не притязает на универсальные знания даже в рамках экономической науки и использует свой собственный метод. В рамках каждой конкретной школы, развивающей собственный аналитический метод, возникли свои приёмы анализа и в некоторой степени — свои собственные классики. Для неоклассического периода экономики как науки характерно стремление к соблюдению чистоты метода анализа. В известном смысле главным

критерием оценки любого исследования становится именно чистота метода, а не значимость полученного результата. Наконец, развитие мейнстрима в экономике (в части базовой структуры модели принятия решений) на протяжении последних пятидесяти лет отражает возродившееся стремление к универсальному знанию. Инструменты анализа и выводы школ, не входящих в мейнстрим, инкорпорируются путем создания новых моделей и адаптации ранее используемых (феномен «обволакивания», по Владимиру Автономову)¹. Один из примеров такого обволакивания — история исследования транзакционных издержек и оппортунистического поведения в контрактных отношениях. Еще пятьдесят лет назад эти проблемы лежали вне мейнстрима. Появление моделей управления поведением исполнителя (*principal-agent models*) изменило ситуацию в корне: стал возможен анализ в рамках мейнстрима тех проблем, которые в доклассический период считались предметом науки о морали и нравственности либо религиозных убеждений, но ни в коем случае не экономики. В целом для современной экономической теории характерен расцвет междисциплинарных исследований, большая часть которых не оказывает заметного воздействия на жесткое ядро школы, но некоторые приводят к созданию весьма важных направлений.

2. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ РАБОТ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Описательные характеристики классики в экономике похожи на аналогичные характеристики в других дисциплинарных областях. О классиках знают, их работы упоминают и используют в других работах, за понимание идей, сформулированных классиком, идет борьба среди учеников (если классик — основатель). Однако выхватывание одного-двух признаков не позволяет составить более или менее целостной картины. Вот почему первый вопрос, который необходимо разрешить, — это выявление набора условий квалификации работы как классической (а того или иного исследователя как классика).

Один из вариантов набора критериев для выявления классических работ в экономической теории был предложен Ричардом Гифтом и Джозефом Крисловом². В предложенном ими перечне шесть пунктов.

¹ Автономов, 1993: 64.

² Gift, Krislov, 1991: 29—30.

(1) Классическая работа должна содержать разработанную методологию, которая применена в той же работе для получения нового знания.

(2) Данная работа должна отражать, синтезировать либо критически переосмысливать прежнее понимание исследуемых проблем.

(3) Данная работа должна использоваться как источник по экономическим проблемам неэкономистами.

(4) Работа должна использоваться как источник для экономистов и специалистов из других дисциплин по широкому кругу вопросов методологии, философии и политики.

(5) Работа должна оказывать влияние на формирование программы исследований за пределами экономической теории.

(6) Воздействие работы должно быть кросскультурным и долговременным (непреходящим), предполагающим перечитывание.

Важность и содержательность перечисленных критериев отрицать сложно. Рефлексия по поводу предшественников — важный способ оставаться в контексте развития теории. Фактически классические работы оказываются в этом смысле узловыми точками в развитии экономической мысли. Когда строят разного рода классификации теорий, генеалогические древа их развития, корнем служат работы вполне определенных авторов. Марк Блауг вслед за Акселем Лейонхувудом сравнивает развитие экономической теории с деревом решений: чтобы разобраться в выявленных ошибках, приходится возвращаться назад к узловым точкам — развитие экономической теории зависит от траектории предшествующего развития³. Следуя логике предложенных критериев, от себя добавим, что классическая работа остается актуальной и после того, как происходит смена парадигмы, в рамках которой она оказывала влияние на модель постановки и способы решения проблем, поскольку содержит идеи и принципы, имеющие универсальный характер. Кроме того, для классической работы, как правило, свойственны целостность, теоретическая зрелость и академическая строгость.

Согласно перечисленным критериям в разряд классических работ, безусловно, попадают «Исследование о природе и причинах богатства народов» Адама Смита, «Трактат о населении» Томаса Мальтуса, «Капитал» Карла Маркса, «Теория праздного класса» Торстена Веблена, с небольшой натяжкой работа Альфреда Маршалла «Принципы экономической теории». Представленный перечень указывает, что по мере развития знания, его специализации классические работы все с большей вероятностью являются скорее прошлым, чем будущим или настоящим. Особенно если использо-

³ *Blaug*, 2001: 156.

вать принцип строгой дополняемости указанных критериев. В таком случае не является ли анализ проблемы классики в экономической теории прерогативой историков экономической мысли? Для ответа на данный вопрос необходимо прояснить, насколько инвариантно применение понятия классики для разных школ и исторических периодов, а также в какой мере данные критерии пригодны для использования в интерсубъективных, или межличностных, оценках. А именно такие оценки предполагают формирование конвенции по поводу того, что такое классика в экономической теории и кто из экономистов может быть причислен к категории классиков. Наконец, в какой именно области тот или иной экономист классик? Время трактатов по экономической теории, когда один исследователь был в состоянии охватить практически все поле экономических исследований с учетом основных разработок его современников и предшественников, давно прошло (или еще не настало). Общие сведения по основным вопросам, которые изучает экономическая теория, можно почерпнуть из учебников и экономических энциклопедий, но к продвижению научного знания это уже не имеет прямого отношения.

В настоящее время исследователь может считаться классиком экономической теории, если он:

- (1) своими работами создает предпосылки для изменения представлений о предмете экономической теории;
- (2) создает или по крайней мере закладывает основы нового направления в рамках экономической теории.

Однако эти условия являются необходимыми, но недостаточными для квалификации того или иного исследователя как классика. Действительно, в России одним из оснований присуждения ученой степени доктора экономических наук является разработка нового направления исследований. Но многие ли из тех докторов, кто имеет такую запись в решениях квалификационных инстанций, могут быть квалифицированы как классики?..

Обозначенные выше критерии не позволяют говорить о классике применительно к экономической теории второй половины XX — начала XXI в. Требуются критерии менее жесткие, но зато более операциональные. Их наличие позволит если и не переосмыслить вопрос о классике в экономической науке, то по крайней мере серьезно задуматься об упорядочении представлений о современной экономической теории, которая напоминает скорее «расширенный порядок» по Фридриху Хайеку, чем замкнутый мир узкого круга специалистов, знакомых друг с другом и придерживающихся одних и тех же правил постановки и решения теоретических вопросов.

Переосмысление обозначенных выше критериев дает основание сделать вывод о том, что:

— классик должен предложить универсальный метод анализа и решения широкого круга экономических проблем — как правило, далеко выходящего за рамки первоначального предмета исследований⁴;

— работа классика должна быть неоднозначна и допускать широкую вариативность интерпретаций;

— сам классик должен стоять «над схваткой», редко (или никогда) выступая в качестве рефери в научном споре;

— тот автор, у которого мало учеников, но много последователей, имеет при прочих равных условиях большие шансы стать классиком.

Возникает вопрос: все ли направления экономической теории находятся в равном положении с точки зрения возможности появления в них классических работ, отвечающих перечисленным выше критериям?⁵ Рискнем высказать предположение, что представленный список является дискриминационным, поскольку отдает предпочтение работам, написанным на стыке дисциплинарных областей, в которых предлагается использование модернизированной методологии. Например, таким, как исследования представителей новой институциональной школы: Рональда Коуза, Дагласа Норта, Оливера Уильямсона. Это в общем отражает тенденции развития постнеоклассической теории. Возможен ли недискриминационный подход при использовании столь строгих критериев «классичности» работы по экономике?

⁴ Вспомним кинофильм «Игры разума» («Beautiful Mind»), когда Нэш испытывает потрясение, узнав, что его идеи используются при применении антимонопольного законодательства. Мы не можем судить, насколько эта коллизия реальна, однако выглядит она вполне правдоподобной. В том же ряду стоят неоднократные замечания Коуза о том, что он не знает ни первого, ни второго закона Коуза. Вообще классиком обычно становится тот, кто в момент озарений не догадывается, что он будет классиком.

⁵ Экономическое знание с точки зрения его содержания определяется разнообразием научно-исследовательских программ и сложившихся на их основе научных направлений, школ, традиций. Например, «классическая буржуазная политическая экономия» по Марксу (Уильям Петти, Пьер де Буагильбер, Франсуа Кене, Анн Тюрго, Адам Смит, Давид Рикардо); сам марксизм как направление классической политической экономии; историческая школа (Фридрих Лист, Вильгельм Рошер, Бруно Гильдебранд, Карл Книс, Густав Шмоллер); неоклассическая школа (Уильям Джевонс, Фрэнсис Эджуорт, Альфред Маршалл, Артур Пигу, Карл Менгер, Фридрих фон Визер, Ойген фон Бём-Баверк, Леон Вальрас, Джон Б. Кларк, Кнут Викселль) или новая институциональная теория, базирующаяся на неоклассической теории (Рональд Коуз, Даглас Норт, Оливер Уильямсон) и т. д.

3. ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И КЛАССИКА

При обсуждении проблемы классики в экономической теории нельзя не принимать во внимание такой феномен, как спрос на классику. В каждый конкретный исторический момент экономисты нуждаются в наборе концепций, в той или иной степени востребованных хозяйственной практикой.

Приведем лишь очевидные примеры. Экономические кризисы остро поставили проблему инструментов, с помощью которых государство может способствовать улучшению экономической конъюнктуры. Ответом на эту потребность стало бурное развитие макроэкономических исследований. Это сыграло немаловажную роль в появлении таких классиков, как, например, Джон Мейнард Кейнс или Василий Леонтьев. Они смогли предложить методы, применение которых позволяло найти хорошие ответы на поставленные практикой вопросы.

В свою очередь, работы Йозефа Шумпетера становились популярными тогда, когда на первый план выдвигались отрицательные эффекты активной политики государства, все более актуальными оказывались вопросы о механизмах экономического развития.

Работы Карла Маркса не уступают в теоретическом плане (тем более если говорить о глубине и детальности проработки теории) произведениям Рональда Коуза, но Маркс для XXI в. выглядит неактуальным⁶, а Коуз — актуальным. По крайней мере, сложившиеся тенденции и масштабы использования и упоминания идей двух авторов в конце XX — начале XXI в. не в пользу Маркса. Работы Маркса выглядят как обращенные в прошлое (действительно, лучше него, видимо, никто не описал процесс зарождения капитализма), в то время как работы Коуза — вполне современными. На наш взгляд, это объясняется феноменом спроса на определенную систему теоретических взглядов как инструмент объяснения и принятия решений в современном контексте, включая соответствующий категориальный аппарат.

Идея Маркса о прибавочной стоимости неплохо объясняла отношение между нанимателем и работником в тот период, когда труд как ресурс не обладал свойством специфичности, что давало предпринимателю, в терминах современной институциональной традиции, значительную переговорную силу. Отсюда — теория

⁶ Авторы статьи понимают, данный тезис (или данное положение) может выглядеть спорным, что, собственно, подтверждается периодически дискуссиями, возникающими на страницах журналов — зарубежных и российских.

формального и реального принуждения труда капиталом. Развитие технологической основы производства, усложнение содержания труда, углубляющееся разделение труда привело к превращению односторонней зависимости работника от нанимателя в двустороннюю зависимость, при резком росте резервной ставки заработной платы. Регулирование условий труда и занятости в развитых странах также сыграло свою роль. В результате тема присвоения прибавочной стоимости утратила свою актуальность, во всяком случае, в качестве реальной основы социальных противоречий и социальной нестабильности. В то же время с усложнением экономической жизни проблемы, связанные с заключением и обеспечением выполнения контрактов, становились все более и более актуальными и многообразными, что требовало все больших явных и неявных затрат для их решения. Поскольку эта тенденция продолжает действовать и в настоящее время, роль Рональда Коуза в качестве классика и его классических работ⁷ не только сохраняется, но и возрастает.

Проблемы глобальной конкурентоспособности развитых экономик сделали актуальными исследования в области стимулов и стимулирования. «Вопросом дня» стали работы, посвященные взаимодействию доверителя (принципала) и исполнителя (агента), возможным методам стимулирования и отрицательным внешним эффектам стимулирующих контрактов⁸. Таким образом, (1) всякой эпохе присущ свой набор классиков; (2) «эпохи» в экономике наслаиваются друг на друга; (3) классиком становится тот, чья методология имеет перспективное значение, то есть подходит для решения и описания не только уже существующих, но и потенциальных проблем. Классик предлагает такую модель, с помощью которой в поле рассмотрения экономической теории попадают вопросы, до этого не поддающиеся теоретическому рассмотрению.

Кстати, частично отсюда и вытекает междисциплинарность работ классиков. Они действительно выглядят «непривычно» для большинства уже существующих в экономической науке школ. Поскольку экономическая теория с собственным предметом выделилась из учений о справедливости еще в XVII в., то в формате небольшой статьи речь не может идти о классиках за всю более чем трехсотлетнюю историю экономической науки. К тому же вопрос о классической школе в политической экономии, хорошо извест-

⁷ В первую очередь речь идет о двух системообразующих для современных экономических исследований статьях: «Природа фирмы» (1937) и «Проблема социальных издержек» (1960), см., например: Коуз, 1993: 33–53, 87–141.

⁸ Обзор одного из направлений этих исследований содержится в: Дзагурова, 2006.

ной нашим современникам, получившим высшее экономическое образование в классических университетах, рассмотрен достаточно подробно в большом количестве публикаций. Гораздо больший интерес представляет вопрос о современной классике, под которой здесь подразумеваются работы XX в., многие авторы которых еще не отошли от дел. Очевидно, что это не классики в смысле подходов, которые использовали представители той или иной школы двести или даже сто лет назад.

Сложность определения статуса «классичности классического» возрастает в связи с увеличением объема дисциплинарного знания. Если во времена Адама Смита и Давида Рикардо и в меньшей степени Карла Маркса общий взгляд на все поле экономических исследований еще был по силам одному автору, то во второй половине XX в. и тем более в начале XXI в. это стало поистине сверхчеловеческой задачей. (В частности, несмотря на то, что в четвертом томе «Капитала» Маркса — «Теории прибавочной стоимости»⁹ — нашли отражение практически все значимые экономические концепции, даже в его работах нет упоминаний о тех направлениях исследований, которые впоследствии привели к маржиналистской революции последней трети XIX в. — в первую очередь, к появлению концепций Карла Менгера и Ойгена фон Бём-Баверка.) Таким образом, описание феномена классики в экономической теории потребует как минимум двух ограничительных оговорок.

Временные рамки мы ограничим второй половиной XX — началом XXI в. Как утверждал Жан-Батист Сэй, чем более совершенна наука, тем более короткой является ее история¹⁰. Используя данную идею, высказанную около 200 лет назад, мы будем исходить из того, что говорить об актуальности классики экономической науки имеет смысл, рассматривая период длиной менее чем одна человеческая жизнь.

Правда, есть еще один аргумент, который связан с экономикой самой экономической теории, в соответствии с которым ограниченные возможности аудиторного времени и просто физических возможностей студентов являются основанием для концентрации внимания на математике и статистике. Но вот является ли это достаточным основанием для того, чтобы считать классиками экономистов-статистиков, на основе чьих работ создавались многочисленные учебники? Думаем, что нет. Не случайно ни один статистик великим классиком не стал. Имя Ирвинга Фишера не ставилось рядом с именами Кейнса и Коуза ни в одном из известных обзоров истории экономической мысли. Все-таки классик — это тот,

⁹ Маркс, 1978.

¹⁰ Цит. по: *Blaug*, 2001: 146.

чья идея может овладеть разнородными массами исследователей. Именно вклад Фишера в макроэкономическую теорию более известен, хотя его работы в области статистики оказали гораздо более существенное воздействие на эту область знаний.

Второе ограничение рамок данного исследования обусловлено существованием значительного подмножества исследовательских программ. Классиком может стать только тот автор, чьи идеи представляют собой тот «корень», из которого вырастет куст исследовательских подпрограмм.

Особенно хорошо это видно на примере таких направлений, как марксизм или традиционный институционализм. В рамках этих исследовательских традиций по крайней мере формально почтение к классикам несоизмеримо выше¹¹, чем в таком космополитичном направлении, как неоклассическая экономическая теория. Позиция неоклассики в этой связи в значительной мере соответствует попперовскому подходу, согласно которому кумулятивного приращения знания не происходит, и исследователям приходится каждый раз все начинать с нуля, фальсифицируя при этом прежнее знание, что вместе с тем компенсируется совершенствованием техники исследования.

В качестве идентификационного признака классики (ее базовых идей) можно рассматривать также влияние на реальную экономическую жизнь. Так, по мнению Джона Мейнарда Кейнса, политик, даже не подозревая об этом, является невольным рабом той или иной теории, а зачастую и тех заблуждений, с которыми связано ее применение. Тогда возникает вопрос: будет ли по-прежнему политик настойчив в своих решениях и действиях, если он окажется обладателем информации о сути данной теории и ограничениях на ее использование? Закономерен ответ: нет, не будет. Потому что институт уважения к «безусловным истинам» экономит издержки при принятии решений.

В то же время он противоречит тезису о том, что сообщество экономистов подобно рынку совершенной конкуренции, на котором идеи настолько эффективно передаются в коммуникационной сети журналов, книг, семинаров и конференций, что значимая потеря содержания отсутствует и все то, что представляет определенную ценность, содержится в программе текущих исследований. О нереалистичности такого рода сценария высказывался один из

¹¹ Формальным показателем в данном случае является частота цитирования или упоминания в работах. Отметим, что цитирование или упоминание вовсе не равнозначно использованию идей соответствующего автора. Не случайно высказывание Коуза по поводу своих статей: их часто цитировали, но редко использовали.

наиболее известных специалистов в области истории экономической мысли Марк Блауг¹².

Изменение спроса на теорию и, соответственно, спроса на классику, так же как и изменения в самой теории, — процессы связанные, но не жестко детерминированные. С этой точки зрения ценность той или иной теории даже при наличии потенциального спроса не всегда и не сразу соответствует степени и масштабам ее использования в решении прикладных вопросов.

4. МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ И КЛАССИКА ЭКОНОМИКИ

Одна из фундаментальных методологических проблем любой общественной научной дисциплины — выбор инструментария для изучения самой себя как некоторого объекта. Может ли быть использован инструментарий самой теории для изучения ее (или других теорий) как объекта? В данной работе предпринимается попытка использовать элементы современной экономической теории (определение предмета которой основано на аналитическом подходе Лайонела Роббинса¹³) для объяснения феномена классики в экономике.

Выбор инструментов во многом зависит от используемой модели развития научного знания: кумулятивизм, парадигмальный подход, фальсификационизм, пролиферационизм¹⁴.

С точки зрения кумулятивистской модели развития науки, с приходом новой теории старая теория не отбрасывается, а сохраняется и определенным образом включается в новую. Однако новым в теории будет лишь то, что связано с объяснением новых фактов, а в отношении старой эмпирической области теории совпадают. Следовательно, каждый последующий шаг в развитии науки состоит в обобщении предшествующих результатов: нет концептуальных переворотов, нет потерь знания. Таким образом, на статус классической претендует теория (и, соответственно, ее автор на статус классика), которая в определенный момент времени была обоснована эмпирическим путем и давала истинные эмпирические результаты. Однако возникают трудности с определением момента появления классики. На первый взгляд с позиции кумулятивистского подхода легко можно объяснить модель развития

¹² *Blaug*, 2001: 148.

¹³ *Роббинс*, 1993.

¹⁴ См., соответственно: *Карнап*, 1959; *Кун*, 1983; *Поппер*, 1983; *Фейерабенд*, 1986.

экономической науки, при которой существуют классическая экономическая теория и современная неоклассика как развитие идей классического периода на основе оптимизационных моделей принятия индивидуальных решений.

С точки зрения парадигмального подхода модель развития науки выглядит следующим образом: сначала — нормальная наука, развивающаяся в рамках общепризнанной парадигмы; затем — рост числа аномалий, приводящий к кризису; и наконец, научная революция, означающая смену парадигм. Накопление знания, совершенствование методов и инструментов, расширение сферы практических приложений, т. е. все то, что можно назвать прогрессом, совершается только в период нормальной науки. Однако научная революция приводит к отказу от всего того, что было получено на предыдущем этапе, работа науки начинается заново. Таким образом, развитие науки дискретно: периоды прогресса и накопления отделены революционными разрывами ее ткани. При таком подходе можно говорить о классике лишь в период нормальной науки для конкретной парадигмы. В целом же понятие классического знания теряет смысл.

Фальсификационизм не признает никакого накопления знания. Напротив, научной признается такая теория, которая в принципе может быть опровергнута опытом, поскольку если система опровергается с помощью опыта, значит, она приходит в столкновение с реальным положением дел, что как раз и свидетельствует о том, что она что-то говорит о мире. С позиции фальсификационизма отвергается существование какого-либо критерия истины, который позволял бы обнаружить истину. Даже если бы мы в процессе познания случайно встретились с истиной, мы не смогли бы с уверенностью знать, что это истина. Единственное, на что мы способны, — это обнаружить ложь в наших воззрениях и отбросить ее. Постепенно выявляя и отбрасывая ложь, мы тем самым можем приблизиться к истине. Следовательно, абсолютна лишь ложь. В такой ситуации выявить каноны классического знания представляется затруднительным. Мы можем сказать лишь, что *не* является классическим знанием.

Принцип пролиферации (размножения) теорий предполагает создание теорий, альтернативных по отношению к существующим, даже если эти последние в высокой степени подтверждены, являются общепризнанными и претендуют на статус классических. При этом теория не может быть опровергнута с помощью одних только фактов. Нужна по меньшей мере еще одна — конкурирующая — теория, которая придаст этим фактам теоретическую значимость и будет способна заменить существующую. Если новая теория побеждает, то ее альтернативы, в частности предшествующая теория,

должны быть отброшены. Однако, по мнению Пола Фейерабенда, старые теории определенным образом сохраняются в новой постольку, поскольку они своей критикой внесли вклад в ее уточнение и совершенствование. Опровержение же прежней теории явилось косвенным подтверждением истинности новой.

Именно подход пролиферации в сочетании с кумулятивизмом наилучшим образом объясняет развитие экономической теории. Возьмем простой пример современной теории фирмы. Сначала она исходила из предпосылки, в соответствии с которой фирмы в моделях были представлены как производственные функции. Альтернативные направления развития теории фирмы создавались на основе раскрытия проблемы, которая оставалась бы незамеченной в рамках подхода «черного ящика». В ряде случаев эти альтернативные направления лишь постфактум были объединены теорией управления поведением исполнителя. Этот пример показывает сочетание кумулятивности и пролиферации в развитии современной экономической науки.

Принцип пролиферации в философии науки сосуществует с принципом прочности, согласно которому можно и нужно разрабатывать теорию, не обращая внимания на трудности, которые она встречает. Идея «нормальной науки» — «классики» во многом верна. Ошибка состоит лишь в том, что две одновременно сосуществующие в науке тенденции — стремление к устойчивости и стремление к пролиферации — рассматриваются как разные этапы в развитии теории. В реальности источником движения науки как раз и является противоборство двух стремлений: сохранить существующее, классическое знание и ввести новое. Такой подход дает определенные перспективы для принятия понятия «классика» в науке.

5. КЛАССИКИ НЕОИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА: КОУЗ ИЛИ УИЛЬЯМСОН?

Поясним высказанные теоретические положения, обратившись к рассмотрению классикализации двух крупнейших представителей нового институционализма — Рональда Коуза и Оливера Уильямсона.

Для ответа на вопрос, в какой степени Рональд Коуз и Оливер Уильямсон — классики новой институциональной экономики, использовались критерии, предложенные Гифтом и Крисловом: новый разработанный метод с примером применения, критическое переосмысление взглядов, использование метода неэкономистами и кросскультурное использование, а также критерий новой моде-

ли взглядов на актуальные для современников проблемы. Мы хотим понять, почему большинство экономистов готовы удостоить высокого звания классика Рональда Коуза и гораздо меньшее число — Оливера Уильямсона. Является ли единственной причиной этого присуждение Коузу Нобелевской премии? Или, напротив, это решение отражает консенсус, сложившийся в профессиональной среде совершенно объективно?

Наша задача состоит в том, чтобы показать, работают ли данные критерии применительно к различным направлениям в рамках экономической теории, и пролить свет на вопрос об их «дискриминационности». Причем речь идет именно о направлениях в экономической теории, которые покрывают широкое поле проблем, составляющее предмет экономической теории в целом, а не отдельные сферы ее рассмотрения (конкуренция, экономика общественного сектора, корпоративные финансы или банковское дело).

Вряд ли кто-то будет оспаривать утверждение, что Рональд Коуз — основатель новой институциональной экономической теории, оказавший значительное влияние на развитие экономической теории второй половины XX — начала XXI в. Однако гораздо менее очевиден ответ на вопрос: является ли он классиком? И если да, то почему? Ведь строгих формулировок ключевых понятий, которые используют современные исследователи, применяющие инструментарий новой институциональной экономической теории, в его работах не найти.

Предложенный и примененный Коузом для анализа границ фирмы метод, основанный на идее о положительных трансакционных издержках, кардинальным образом изменил «координатную сетку», в которой экономисты ставили и решали исследовательские проблемы. Именно работы Коуза по сути дела стали основанием для развития теории, в которой произошел переход от использования в явной или неявной форме предпосылки о нулевых (положительных) трансакционных издержках как гипотезы *ad hoc* к систематическому позитивному анализу всех экономических явлений на основе предпосылки о ненулевых трансакционных издержках. Сказанное не означает, что все модели в экономической теории теперь в явной форме включают издержки заключения и обеспечения выполнения контрактов. Однако теперь использование моделей с нулевыми издержками контрактации для объяснения проблем, стоящих перед экономическими агентами, становится всё более и более редким. В широком контексте результатом работ Коуза стало усиление внимания к воздействию на принятие решений неявных издержек, в отличие от явных.

В то же время собственно метод неoinституциональной экономики в явной и структурированной форме был сформулирован не

Коузом, а Уильямсоном, а также рядом других исследователей (в частности, Рудольфом Рихтером, Эриком Фуруботном, Траунином Эггертссоном, Клодом Менаром¹⁵). Причем в работах Уильямсона¹⁶ раскрыта методология именно теории транзакционных издержек, а не всей новой институциональной экономической теории. В свою очередь, для Коуза результаты формализации его метода выглядели в значительной степени инородными — вспомним его довольно скептическое отношение к распространенным модификациям первой и второй теоремы Коуза.

Классик должен предложить универсальный метод решения широкого круга экономических проблем, но вот вопрос о том, в какой форме должен быть предложен (разработан) данный метод, чтобы были достаточные основания дать положительный ответ по поводу «классичности» работы и исследователя, не решен однозначно. При такой постановке вопроса Оливер Уильямсон — безусловный лидер одной из исследовательских традиций в рамках новой институциональной экономической теории — многими исследователями вряд ли будет рассматриваться как классик. В частности, для тех, кто объясняет те же явления, что и Уильямсон, но с применением инструментария теории управления поведением исполнителя, в которой институты также имеют значение, но уже с точки зрения настройки стимулов и эффективности окончательного размещения ресурсов. Аналогичным образом можно было бы предложить комментарии с позиции экономической теории прав собственности.

Таким образом, в данном случае первый критерий Гифта и Крислова при сопоставлении Коуза и Уильямсона выполняется скорее с точностью до наоборот: классиком становится не тот, кто предлагает разработанную методологию, а тот, кто предлагает новый подход, пусть даже и недостаточно формализованный. Более того, именно слабая формализация идей Коуза в его работах может рассматриваться как сравнительное преимущество. Коуз как автор не ограничен необходимостью хранить методологическую верность конкретной исследовательской парадигме, и именно поэтому значение его работ выходит далеко за пределы неоинституциональной школы, принадлежа современной экономической теории в целом.

Ни в одной работе Коуза не удастся обнаружить привычных алгоритмов изложения результатов исследований, в которые включены описание предшествующих работ, описание модели и результатов ее эмпирического тестирования с последующей интерпрета-

¹⁵ См.: *Фуруботн, Рихтер, 2005; Эггертссон, 2001; Menard, 2001.*

¹⁶ См., например: *Уильямсон, 1996.*

шей результатов. Само определение метода анализа Коуза до сих пор остаётся объектом теоретической дискуссии.

Критерий критического переосмысления предшествующего развития экономической теории в работах Рональда Коуза, безусловно, выполняется. На наш взгляд, об Уильямсоне этого сказать нельзя. Скорее его работа содержит целостную интерпретацию и развитие идей Коуза в позитивном ключе и поэтому исключительно важна для развития неинституциональной экономики как отдельного направления. Напротив, именно Коузу принадлежит постановка идей неинституциональной экономики в полемике со сформировавшимся на тот момент мейнстримом.

При этом Коуз существенно выигрывает по сравнению с Уильямсоном по критерию возможности критического переосмысления работ. История нового институционализма показывает, что работы Коуза допускали различные интерпретации, что выразилось, в частности, в широкой полемике по проблемам социальных издержек и связанной с ней проблеме структурных альтернатив интернализации внешних эффектов¹⁷. Известно, что внешние эффекты, представляя собой выгоды и издержки, которые не отражены в системе цен (а в более общем плане — в условиях контрактов), соответствуют ситуации неспецифицированности прав собственности. В рамках пигувианской традиции исследований считалось, что такого рода обстоятельства являются достаточным основанием для вмешательства государства посредством налогообложения (для отрицательных экстерналий) и субсидий (для положительных экстерналий). Между тем дальнейшие разработки показали, что в зависимости от специфики внешнего эффекта возможно применение таких структурных альтернатив интернализации внешних эффектов, как правило собственности и правило ответственности, вертикальная интеграция или вертикальные ограничения и т. д.

Другой пример — это определение фирмы как дискретной структурной альтернативы координации действий экономических субъектов, которой некоторые авторы по сути дела отказывали в праве на существование (замена на особый тип контрактов), а другие считали дискретной структурной альтернативой, основанной на иерархическом механизме управления транзакциями, которому соответствует особая область права. В свою очередь, рамки применения метода, предложенного Уильямсоном, фактически ограничены объектом исследования.

Идеи Коуза в гораздо более сильной степени являются объектом развития и критического осмысления. Они активно использовались не только экономистами с разными объектами исследова-

¹⁷ См., например: Коуз, 1993; а также Шаститко, 2002: 339—377.

ния, относящимися как к микро-, так и к макроэкономике (теория фирмы, теория рынков и конкуренции, теория финансов, теория государства и государственной экономической политики), но и авторами, работающими за пределами данной дисциплинарной области в смежных областях знания: праве, социологии, политологии.

На наш взгляд, столь широкая сфера использования взглядов Коуза связана с тем, что они позволили ответить на ряд актуальных практических вопросов — от управления персоналом внутри фирмы до дизайна государственной экономической политики.

Метод анализа, предложенный Коузом, обладает свойством кросскультурности, как, пожалуй, ни одна другая концепция, появившаяся в экономической науке в XX в. Отметим лишь, что именно концепции социальных издержек, неявных затрат и дискретных институциональных альтернатив легли в основу новой сравнительной экономики и новой экономической истории. Идеи Коуза плодотворно используются для объяснения феноменов рыночной экономики не только в развитых, но и в развивающихся странах и в переходных экономиках.

Итак, складывается впечатление, что Коуз, в отличие от Уильямсона, выступает классиком современной экономической теории, поскольку:

1) очевидно, что идеи, сформулированные в нескольких (по большому счету всего в двух) статьях, получили развитие во множестве направлений экономической теории;

2) в экономической теории вот уже в течение нескольких десятилетий не утихают дискуссии по поводу идей, высказанных Коузом;

3) результаты исследований Коуза используются не только в разных направлениях экономической теории, но и за пределами собственно экономической науки;

4) подход Коуза позволил существенно переосмыслить предшествующее развитие экономической теории и показать ее возможности, сделав более пригодной для решения практических вопросов. Ревизия традиционных представлений мейнстрима не сделала его методологически более стройным, зато позволила разрешить проблемы, тесно связанные с объяснением принимаемых экономическими агентами решений.

Признание Коуза в качестве классика современной экономической науки позволяет вернуться к вопросу о траектории развития экономической науки. В данном случае наблюдаемые тенденции скорее укладываются в схему комбинации кумулятивизма и пролиферации. С одной стороны, «традиционная» теория, не учитывающая трансакционных издержек, безусловно, присутствует в

современной новой институциональной экономике в качестве оппонента и отправной точки. С другой стороны, разработки новой институциональной экономической теории подвергаются операции «обволакивания», о которой уже упоминалось. Вообще говоря, не зная традиционную неоклассическую теорию производства и установления цен, невозможно оценить эпохальный вклад Коуза в развитие современной экономической теории. В то же время, не зная сути концепций, разработанных или привнесенных в экономический анализ Уильямсоном (в числе которых неполные контракты, ограниченная рациональность, отношенческие контракты, механизмы управления транзакциями, включая проблему адаптации к изменяющимся обстоятельствам *ex post*), достаточно сложно понять последующие разработки в данной области на основе «гибридных» моделей с избирательным применением предпосылки об ограниченности информации.

* * *

Цель данной работы состояла в том, чтобы обсудить вопрос о закономерностях появления классиков в экономической теории. Как, когда и почему появляются классические работы, а их авторы становятся признанными авторитетами и меняют траекторию накопления знаний? Можно ли удовлетвориться критериями выделения классических концепций и отделения их от неклассических? Могут ли такие критерии использоваться для выделения классики в принципе? И если да, то могут ли эти критерии основываться только на признаках, связанных с самой теорией?

Далеко не все из этих вопросов имеют однозначные ответы. Вычленение классических работ в экономической теории — это не результат давно угасшего процесса, а постоянно возобновляющийся и усложняющийся процесс, который является важным элементом саморефлексии в экономической теории, так же как, видимо, и в других дисциплинах.

Можно лишь отметить, что квалификация взглядов или работ в качестве классических редко связана с потребностями, рождающимися только внутри самой теории. Более того, классические работы на современном этапе развития экономической науки редко — почти никогда — являются образцами применения метода анализа во всей его полноте. Не претендуя на методологическую полноту, классические работы должны отвечать на актуальные вопросы, которые ставит перед экономистами хозяйственная практика. На наш взгляд, именно спрос на классиков является главным фактором признания новой системы взглядов в качестве важного компонента экономики как совокупности концепций и методов анализа.

Литература

Автономов В. Человек в зеркале экономической теории. М.: Наука, 1993.

Дзагурова Н. Контрактный дизайн в условиях множественности задач, выполняемых агентом // *Экономическая школа: аналитическое приложение*. 2006. № 3.

Карнап Р. Значение и необходимость. Исследования по семантике и модальной логике. М.: Изд-во иностр. лит., 1959.

Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993.

Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975.

Маркс К. Теории прибавочной стоимости. М.: Политиздат, 1978.

Поппер К. Наука: предположения и опровержения // Поппер К. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983.

Роббинс Л. Предмет экономической науки // *THESIS*. 1993. Т. 1. Вып. 1. С. 10—23.

Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996.

Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986.

Фуруботи Э., Рихтер Р. Институты и экономическая теория. Достижения новой институциональной экономической теории. СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2005.

Шаститко А. Новая институциональная экономическая теория. М.: Теис, 2002.

Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001.

Blaug M. No History of Ideas, Please, We are Economists // *The Journal of Economic Perspectives*. Winter 2001. Vol. 15. No. 1. P. 145—164.

Gift R. E., Krislov J. Are there Classics in Economics? // *The Journal of Economic Education*. Winter 1991. Vol. 22. No. 1. P. 27—32.

Menard C. Methodological Issues in the New Institutional Economics // *Journal of Economic Methodology*. 2001. Vol. 8. No. 1. P. 85—92.

Ростислав Капелюшников

ДЕКОНСТРУИРУЯ «КЛАССИКА» (заметки на полях «Великой трансформации»)

Этот текст возник из импровизированного выступления на симпозиуме, посвященном 60-летию выхода в свет книги Карла Поляни «Великая трансформация» (Высшая школа экономики, 2004)¹. Большинство представленных на нем докладов, как и подобает на юбилее классика, было выдержано в почтительно-восторженной тональности. Высказывалась мысль, что идеи Поляни могли бы составить реальную альтернативу ортодоксальной экономической теории с ее «имперскими» притязаниями по отношению к смежным социальным дисциплинам. У меня же их популярность среди социологов и части экономистов всегда вызывала недоумение, о чем я и попытался сказать.

«Великая трансформация» — *opus magnum* знаменитого австро-американского антрополога, историка и экономиста Карла Поляни (1886—1964) — впервые увидела свет в 1944 г.² Она принадлежит к жанру, получившему на Западе широкое распространение в критический период 30—40-х годов прошлого века. Лучшие умы того времени считали своим долгом попытаться понять, в чем истоки глубочайшего кризиса, поразившего западную цивилизацию, сможет ли она его преодолеть и каковы вероятные пути ее дальнейшего развития. В этом смысле книга Поляни встраивается в один ряд с такими классическими работами, как «Исследова-

¹ Вместе с другими материалами симпозиума «60-летие “Великой трансформации” Карла Поляни» оно было размещено под названием «Карл Поляни и многообразие институционального мира» на сайте: <http://www.eecsoman.edu.ru>.

² *Polanyi*, 1944; русский перевод: *Поляни*, 2002 [1944]. Чтобы не отступать слишком далеко от оригинала, перевод некоторых мест из «Великой трансформации» я привожу в скорректированном виде, не оговаривая эти случаи особо.

ние принципов достойного общества» (1937) Уолтера Липпмана, «Человек и общество в век реконструкции» (1940) Карла Манхейма, «Революция управляющих» (1941) Джеймса Бёрнхейма, «Капитализм, социализм и демократия» (1942) Йозефа Шумпетера, «Дорога к рабству» (1944) Фридриха фон Хайека, «Национализм и после него» (1945) Эдварда Карра, «Открытое общество и его враги» (1945) Карла Поппера³.

Своеобразие позиции Карла Поланьи состояло в том, что кризис современной цивилизации он объяснял забвением тех принципов, на которых строились человеческие сообщества начиная с самых древнейших времен. Только возвращение к ним было способно, по его мнению, спасти западный мир от разрушительного действия рыночной системы и окончательного погружения в хаос. Грандиозный процесс перевода индустриальной цивилизации на новую, нерыночную основу был назван им «Великой трансформацией». Ее первые признаки он усматривал в таких явлениях, как Новый курс Франклина Рузвельта в США, коллективизация крестьянства в СССР, победа фашизма в Германии. В свете исходных интенций Поланьи становится понятным, почему в своей книге он так часто обращается к опыту первобытных обществ и почему столь значительное место занимает в ней обсуждение данных антропологии.

Главным научным достижением Карла Поланьи по праву считается разработанная им в «Великой трансформации» типология альтернативных систем аллокации ресурсов, которые использовались человечеством на различных этапах истории. На мой взгляд, именно этот аспект его творческого наследия представляет наибольший интерес, и именно ему посвящены мои комментарии.

Начну с того, что построение идеально типических схем представляется мне чрезвычайно полезной и нужной частью аналитической работы, поскольку оно обеспечивает первичное упорядочивание, начальную классификацию разрозненных феноменов социального мира. Как известно, схема Поланьи включает три с половиной, если можно так выразиться, идеальных типа: реципрокность, редистрибуцию, обмен (рынок) и стоящую несколько особняком автаркию⁴. Пользуясь этим понятийным аппаратом, он

³ Lippman, 1937; Манхейм, 1994 [1940]; Burnham, 1941; Шумпетер, 1995 [1942]; Хайек, 1992 [1944]; Carr, 1945; Поппер, 1992 [1945].

⁴ Нетрудно заметить, что при выделении автаркии Поланьи использует иные критерии, чем при выделении трех остальных систем. Спросим: как регулируются взаимодействия внутри автаркий? Ответ (в терминах Поланьи): либо реципрокностью, либо редистрибуцией, либо рынком. Можно также спросить: в соответствии с какими принципами начинают строиться отношения между отдельными автаркиями, когда они постепенно перестают ими быть? Ответ оказывается сходным.

рисует грандиозную панораму институциональной эволюции человечества — от самых примитивных сообществ до современной цивилизации.

Многие фундаментальные наблюдения Поланьи невозможно оспорить. Нельзя не согласиться с его выводами о том, что на протяжении большей части человеческой истории рынок был не единственной и далеко не главной аллокационной системой; что расцвет «рыночного общества» (в ведущих странах Запада) пришелся на середину XIX в.; что вскоре после этого во всем мире началось возвратное движение и рынок повсеместно стал подвергаться все более жесткому и всеохватывающему государственному контролю (эта тенденция продолжала действовать вплоть до последних десятилетий XX в., когда она была частично обращена вспять или по меньшей мере приостановлена).

Отсюда, однако, не следует, что с помощью разработанной Поланьи классификации альтернативных регулятивных принципов можно получить адекватную картину институциональной эволюции человеческого общества. Мне она представляется неполной, непоследовательной и недоопределенной. В своих комментариях я коснусь лишь некоторых, на мой взгляд, наиболее серьезных проблем, с которыми сталкивается предложенный им подход.

1. Осью — как аналитической, так и нормативной — рассуждений Поланьи можно считать дихотомию «естественного» и «искусственного». Понятно, что «естественное» — это, как правило, хорошо, а «искусственное» — это, как правило, плохо (поскольку от «неестественного» всего лишь один шаг до «противоестественного»). Казалось бы, в этом Поланьи наследует интеллектуальной традиции, восходящей к физиократам, Адаму Смиту, классическим либералам и экономистам австрийской школы, в которой «естественность» свободного рынка противопоставляется «искусственности» государственного интервенционизма. Уникальность Поланьи состоит, однако, в том, что он как бы выворачивает эту позицию наизнанку.

Обычно аргументация в пользу «естественности» рынка встречается в двух версиях. В первой, более упрощенной, утверждается, что естественно то, что укоренено в природе самого человека (это можно считать просвещенческой, или «натуралистической», установкой). Если склонность к обмену присуща природе человека, то рынок — естественен и все ограничения, налагаемые государством на его свободное действие, должны быть сняты. На это Поланьи возражает, что подобную склонность невозможно обнаружить ни в природе человека, ни в природе человеческого общества. Из его анализа примитивных и традиционных обществ следует, что чело-

век никогда не отличался склонностью к обмену, которой можно было бы приписать универсальный характер.

Вторую, более сложную, версию аргумента в пользу «естественности» рынка можно назвать эволюционной: естественно то, что вырастает спонтанно как непреднамеренный результат взаимодействия и взаимоприспособления множества людей; искусственно то, что конструируется сначала в виде определенного плана в голове отдельного человека, а потом навязывается силой всем остальным. (Наиболее подробно этот подход развивается в работах экономистов австрийской школы.) На это Поланьи возражает, что как раз всевозможные ограничения, нормы, запреты, регуляции, табу рождаются в процессе спонтанного взаимодействия людей, тогда как система саморегулирующихся рынков была навязана обществу сверху силой государства (которое руководствовалось утопическими идеалами классического либерализма). По Поланьи, история человечества свидетельствует, что подобная система нигде и никогда не вырастала и не могла вырасти спонтанно. В этом смысле у него есть одно совершенно поразительное место, где он по существу утверждает, что *рынок — это такой же артефакт, как любая машина*⁵. (Интересно, сколько современных исследователей были бы готовы подписаться под столь сильным заявлением?)

Если вообразить диалог между Смитом и Поланьи, то он мог бы выглядеть так:

Смит. Вот простая и незамысловатая система естественной свободы!

Поланьи. Трудно себе представить что-либо более противоестественное, чем ваша система так называемой «естественной» свободы!

2. Не приходится удивляться, что отправным пунктом «Великой трансформации» оказывается развернутая критика представления Смита о том, что человеку присуща естественная склонность к обмену, бартеру, торгу (см. Вставку 1), которую Поланьи отождествляет со стремлением к извлечению выгоды. Эта критическая атака занимает в аргументации Поланьи исключительно важное место и ведется с большим напором.

⁵ «...Соединение отдельных рынков в саморегулирующуюся систему громадной силы явилось не итогом какой-либо внутренне присущей рынкам тенденции к разрастанию, но скорее результатом действия весьма возбуждающих средств, которые были назначены социальному организму, чтобы помочь ему в ситуации, созданной не менее искусственным феноменом машины» (Поланьи, 2002 [1944]: 70). Машинообразность присутствует также в ключевой метафоре, используемой Поланьи для характеристики рыночной системы, — «сатанинская мельница».

Вставка 1. Адам Смит о склонности к обмену.

В «Богатстве народов» высказывается предположение, что «склонность меняться, выменивать, обменивать один предмет на другой» есть следствие определенной особенности «человеческого естества» («Богатство народов», кн. I, гл. II). Но здесь важно уточнить, какой смысл вкладывал сам Смит в понятие человеческой природы. По Смиуту, это качества, которые, с одной стороны, являются общими для всех представителей человеческого рода и которые, с другой стороны, не встречаются ни у какого другого вида животных. Современная антропология подтверждает справедливость по меньшей мере второй части смитовской интуиции. Обмен материальными объектами действительно является чертой, присущей исключительно человеку. Хотя, например, приматы способны использовать примитивные орудия и даже усовершенствовать их, никому, как говорится в «Богатстве народов», не приходилось видеть, чтобы какое-либо животное криками или жестами показывало другому: это — мое, то — твое; ты — мне, я — тебе. (В животном мире мы обнаруживаем лишь обмен услугами, но не обмен физическими предметами.)

Смит, по-видимому, был прав и в другом своем предположении, что первые более или менее систематические акты обмена заключались в обменивании орудий и оружия на мясо убитых животных (а значит, торговля появилась раньше, чем скотоводство или земледелие). Можно также предположить, что, поскольку у детей способность обмениваться предметами начинает проявляться уже в самом раннем возрасте, она, скорее всего, была также присуща и первобытным людям — по крайней мере потенциально.

Вместе с тем Смит был исключительно осторожен и не утверждал, что склонность к обмену относится к числу первичных, наиболее фундаментальных свойств человеческой природы. По его мнению, более вероятно, что она является производной от «способности рассуждать и дара речи» («Богатство народов», кн. I, гл. II). В этом смысле трактовка смитовских взглядов, предложенная Поланьи, является упрощенной. Отмечу также, что поланьевское отождествление склонности к обмену со стремлением к собственной выгоде (т. е. эгоистическим поведением как таковым) было, возможно, навеяно теми местами из «Богатства народов», где Смит рассуждает о том, как обмен направляется соображениями выгоды и «собственными интересами» его участников.

По его убеждению, смитовская идея — это не просто заблуждение, но опасное заблуждение. Она не только сделала экономистов слепыми по отношению к наиболее фундаментальным и важным формам организации экономической жизни, которые доминировали на протяжении большей части человеческой истории, и застави-

ла их сосредоточить свое внимание на эфемерном феномене саморегулирующегося рынка. Хуже того: она послужила оправданием и обоснованием утопической системы *laissez-faire*, которая и смогла то просуществовать в чистом виде от силы полвека. По Поланьи, склонность к обмену не коренится ни в природе человека, ни в природе человеческого общества, а была насильственно навязана им извне в результате случайного стечения обстоятельств.

И здесь в его рассуждениях обнаруживается забавное противоречие. С одной стороны, он настаивает, что смитовская склонность к обмену не присуща природе человека. С другой стороны, он посвящает десятки страниц детальному описанию многочисленных запретов, предписаний, рестрикций, санкций, ограничений, табу, которые на протяжении человеческой истории практиковались в обществах самого разного типа — как ранних, так и современных. Возникает вопрос: это какой же силы и степени универсальности должна быть эта «не присущая природе человека» склонность к обмену, чтобы для ее сдерживания и подавления нужно было веками использовать столь мощную и разветвленную институциональную машинерию?!

На мой взгляд, это противоречие является для Поланьи фатальным. Стоящая перед ним дилемма такова: либо согласиться, что «склонность», для борьбы с которой приходится пускать в ход весь арсенал доступных институциональных средств, действительно дана человеку изначально и в этом смысле ее можно считать «естественной» (но тогда захлебывается его атака на Адама Смита и классический либерализм); либо признать полную бессмысленность всех и всяческих институциональных ограничений (но тогда от его аргументации вообще ничего не остается). Поэтому чаще всего Поланьи либо уходит от обсуждения вопроса, почему ни одно человеческое сообщество не может обходиться без выработки и утверждения тех или иных общих «правил игры», либо отделяется тавтологиями наподобие того, что целью социальных принципов и норм поведения является просто «сохранение» самих себя⁶.

⁶ Поланьи, 2002 [1944]: 114. И все же в нескольких местах он «проговаривается»: «Натуральный обмен обставлялся всевозможными табу, цель которых состояла в том, чтобы из-за этого типа человеческих взаимоотношений не были извращены подлинные функции экономической организации» (Поланьи, 2002 [1944]: 75); «Сдерживающие факторы прорастают из всех пор социального пространства: обычай и право, религия и магия в равной мере способствуют... ограничению актов обмена в отношении лиц и предметов, времени и поводов» (Поланьи, 2002 [1944]: 74); «Отсюда — повсеместный запрет трансакций, ориентированных на получение выгоды в отношении еды и продуктов питания в первобытных и древних обществах» (Поланьи, 2002 [1957a]: 72).

3. Интерпретация Поланьи не только уязвима с логической точки зрения — она не слишком хорошо согласуется с доступными эмпирическими фактами. Своеобразным естественным экспериментом, идеально подходящим для ее опытной проверки, можно считать процесс экономической модернизации развивающихся стран. Во всех них попытки модернизации неизменно сопровождались возникновением в городах массивного неформального сектора⁷, и везде его развитие протекало полностью спонтанно, без какого-либо навязывания рыночных отношений «сверху» — напротив, это государство делало все возможное, чтобы ограничить их, вводя многочисленные регуляции и запреты.

По имеющимся свидетельствам, экономическая активность в неформальном секторе вся насквозь пронизана обменными сделками. Здесь все меняется со всеми; участие в торговле является неперенным занятием (основным или дополнительным) практически каждого; острота конкуренции оставляет далеко позади остроту конкуренции в формальном секторе; отдельные транзакции достигают высокой степени сложности и могут складываться в обширные и разветвленные сети обменных связей. И что примечательно: попадая в малознакомую городскую среду, большинство вчерашних выходцев из традиционного общества, имеющих, согласно Поланьи, весьма смутные представления о товарном обмене, сразу же и на большой скорости включаются в рыночную деятельность. Им не требуется много времени, чтобы ей обучиться, и не похоже, чтобы от участия в ней они испытывали сильный культурный шок.

4. Атака на Смита (и шире — всю традицию классического либерализма) прямо вытекает из общей теоретической схемы, подробно разрабатываемой в «Великой трансформации» и составляющей ее смысловое ядро. В самом сжатом изложении эта схема выглядит так.

Сначала выделяются четыре базовых принципа поведения (principles of behavior): реципрокность, редистрибуция, обмен и домохозяйство. Затем устанавливается их соответствие специфическим «паттернам» (они именуются также «формами интеграции»), представляющим различные варианты «социальной геометрии»: это симметрия, центричность, рыночный паттерн (так у Поланьи) и автаркия. Каждый паттерн, как утверждается, формирует свой особый набор институтов. (Например, на основе рыноч-

⁷ В данном случае я употребляю этот термин в его исходном значении — для обозначения сектора, промежуточного между современным и традиционными секторами экономики развивающихся стран. См.: *Hart, 1973.*

ного паттерна возникает институт рынка.) Лишь при наличии институтов соответствующего типа тот или иной принцип поведения может стать социально укорененным, приобретя, по выражению Поланьи, «институциональную оформленность».

Хотя на первый взгляд эта трехуровневая объясняющая схема — паттерн \Rightarrow институт \Rightarrow поведенческий принцип — может показаться логичной и стройной, при ближайшем рассмотрении она тут же начинает рассыпаться. Поланьи вводит ее без какого-либо обоснования и сам не проявляет ни малейшей готовности строго ей следовать. Так, нам сообщают, что симметрия никаких новых самостоятельных институтов вообще не создает, что центричность может их порождать, а может и не порождать и что авторитария — это всего лишь «второстепенная характеристика уже сформировавшейся замкнутой группы»⁸. Один только рыночный паттерн формирует специфический, характерный для него институт — институт рынка.

Но и в этом случае никакого заявленного взаимно-однозначного соответствия между паттерном, институтом и поведенческим принципом обнаружить не удастся. Во-первых, термины «обмен» и «рынок» используются Поланьи в нескольких разных значениях и можно только догадываться, что же именно он имеет в виду в каждом отдельном случае. Во-вторых, что такое «рыночный паттерн», нигде внятно не разъясняется. В-третьих, оказывается, что принцип обмена прекрасно уживается не только с рыночным, но и с другими паттернами — скажем, реципрокностью, в рамках которой он приобретает «нерыночный» характер. В-четвертых, выясняется, что рынок — далеко не единственный институт, где задействован принцип обмена. Например, воплощением того же принципа является институт торговли, который, как предостерегает Поланьи, ни в коем случае не следует смешивать с институтом рынка (к этому противопоставлению нам еще предстоит вернуться).

Вопрос (скорее всего, риторический): может ли аналитическая схема с такими исходными характеристиками быть сколько-нибудь операциональной?

5. Поланьи признает, что в реальности выделенные им идеальные типы никогда не встречаются в чистом виде и что любое более или менее крупное человеческое сообщество вынуждено прибегать одновременно к различным транзакционным механизмам, используя сразу несколько взаимодополняющих систем аллокации ресурсов. Но он, похоже, полагал, что отдельные институциональ-

⁸ Поланьи, 2002 [1944]: 69—70.

ные и организационные формы можно однозначно классифицировать как опирающиеся на принципы либо реципрокности, либо редистрибуции, либо рынка. В действительности же любая сколько-нибудь сложная институциональная или организационная форма неизбежно сочетает в себе характеристики альтернативных транзакционных механизмов. Попробуем однозначно определить: кассы взаимопомощи — это реципрокция, редистрибуция или рынок? По-видимому, корректный ответ: и то, и другое, и третье.

6. Что, пожалуй, более всего удивляет в типологии Поланьи, так это то, что в ней не находится места для такой фундаментальной формы межличностного взаимодействия, как альтруизм, когда ресурсы передаются в одностороннем порядке на добровольной основе⁹. В обществах любого типа (в том числе современных) огромный массив ресурсов распределяется в соответствии с нормами и правилами альтруистического поведения (в Приложении я привожу некоторые количественные оценки, показывающие, какое важное место они занимали в экономической жизни примитивных сообществ). Однако Поланьи не считает нужным выделять их в качестве особого идеального типа. Правда, некоторые из его последователей попытались восполнить этот очевидный пробел, подведя акты альтруизма под общую рубрику реципрокности (я имею в виду Маршалла Салинза). Но подобное решение едва ли можно признать удачным, поскольку оно все равно оставляет за скобками все акты однонаправленного (невзаимного) альтруизма.

7. Мы не находим на страницах «Великой трансформации» строгих критериев, которые позволяли бы проводить сколько-нибудь четкие границы между альтернативными системами аллокации ресурсов. Где рынок, где реципрокность, где редистрибуция — во многих случаях остается неясным. По-видимому, сам Поланьи не видел необходимости в однозначном определении выделенных им идеальных типов, полагая различия между ними самоочевидными. Но это далеко не так.

Обратимся к примеру, которому в его рассуждениях придается исключительно важное значение, — практике обмена дарами между жителями Тробрианских островов в Меланезии (кольцо Кула). Он описывает ее как систему с жестко закрепленными социальными позициями, в рамках которой акты дарения соверша-

⁹ Я вынужден пользоваться понятием альтруизма, несмотря на присущую ему сильную моралистическую окраску, поскольку в русском языке нет хорошего эквивалента для передачи английского термина *sharing*, который был бы более уместен в настоящем контексте.

ются без всякой внешней (утилитарной) цели. Дарение является благом само по себе, обеспечивая дарителю одобрение и уважение окружающих¹⁰.

Однако другие антропологи на том же самом этнографическом материале рисуют несколько иную картину¹¹. В их описании кольцо Кула предстает как система с подвижными социальными статусами, что открывает широкое поле для формирования политических альянсов, маневрирования, ходов и контрходов. Дело в том, что дарение возлагает на того, кто его принял, известные обязательства, требуя от него совершения ответного дара (правда, в кольце Кула это происходит не напрямую, а круглым путем — через цепочку последовательных дарений в рамках определенного альянса). Поэтому участник с исходно низким статусом (и, соответственно, группа, которую он представляет) посредством удачных дарений более состоятельным и обладающим большим престижем группам может очень быстро продвинуться с низших ступеней социальной лестницы до самых высоких. Подобное стратегическое (в терминах теории игр) поведение, направленное на завоевание престижа, не слишком хорошо вписывается в интерпретацию Поланьи, согласно которой дарения никак не связаны с соображениями выгоды¹².

Вообще же, как считают некоторые антропологи, в современных терминах значительная часть реципрокных отношений может быть описана как система взаимных взяток¹³. В этом смысле отличный пример дает советская практика блата. Допустим, некий актер известного театра X регулярно навещает руководителя местного торгового предприятия Y; на этих встречах он сообщает, когда на имя Y в кассе теат-

¹⁰ Любопытно, что другой классик современной антропологии — Марсель Мосс — смотрел на реципрокность прямо противоположным образом, чем Поланьи. По Моссу, для членов первобытных обществ дарение — это худший акт агрессии, какой только можно себе представить, поскольку он направлен на завладение душой другого человека. Любая вещь сохраняет интимную связь со своим хозяином (создателем), и потому тот, кто принимает ее в дар, оказывается через нее во власти дарителя. Отдаваться нужно просто для того, чтобы из-под этой власти выйти, вернув себе свою собственную душу. В результате для Мосса (в отличие от Поланьи) движение от реципрокного обмена к рыночному — это движение от предельно агрессивных к более нейтральным и рациональным формам социального взаимодействия. См.: Мосс, 1996 [1925].

¹¹ Belshaw, 1965.

¹² Представлению Поланьи о полностью бескорыстном характере отношений реципрокности противоречит практика, распространенная в некоторых примитивных сообществах, где молодые члены отказывались делать дарения пожилым, понимая, что в силу преклонного возраста последних они могут так никогда и не дожидаться от них ответного дара. (См.: Holmberg, 1969: 151—153.)

¹³ Belshaw, 1965.

ра будут оставлены билеты на дефицитные спектакли, и узнает, когда и в какой магазин ему следует прийти, чтобы приобрести дефицитные продукты; встречи сопровождаются беседами о жизни и, возможно, застольем; всеми такие взаимные «дарения» воспринимались как социальная норма, и если, обратившись в назначенный день в кассу театра, Y вдруг не обнаружит там билетов на свое имя, то это навлечет на X единодушное осуждение окружающих. На мой взгляд, этот пример идеально подходит под поланьевское понятие реципрокности. Однако, думаю, всякий, кто был знаком с советской системой блата не понаслышке, согласится, что подобные «дарения» представляли собой специфический класс обменных сделок и имели мало общего с идиллическими описаниями реципрокности в «Великой трансформации»¹⁴.

8. Настаивая на внеэкономической природе реципрокных отношений, Поланьи ссылается на два обстоятельства. Во-первых, отдаваемые и получаемые в ответ дары очень часто оказываются абсолютно идентичными, ничем не отличаясь друг от друга: «партнеры дарят друг другу одни и те же предметы, лишая тем самым сделку какой-либо мыслимой ценности или значения»¹⁵. Во-вторых, точный срок совершения ответных даров обычно не фиксируется и остается открытым. Пусть так, но достаточно ли этих характеристик реципрокного поведения, чтобы считать его заведомо неутилитарным, то есть не способным приносить никакой «материальной» пользы?

¹⁴ Или вот колоритная зарисовка с натуры об обычаях преподнесения даров у племени ик в Уганде (этой ссылкой я обязан Андрею Полетаеву): «Эти обычаи — не выражение глупой убежденности в возможности и желательности альтруизма. Это острое и наступательное оружие, которое дарящий может использовать в своих интересах. <...> Целью, конечно, является создание системы обязательств, позволяющих во время кризиса вспомнить о целом ряде должников и надеяться, что кто-то из них вернет долг... Мы сталкиваемся здесь со странным явлением: люди, обычно активно преследующие свои личные интересы, отдают все силы тому, чтобы “помочь” другим. На самом деле они помогают себе, и, чтобы их помощь не была отклонена, они оказывают ее таким образом, что от нее нельзя отказаться, ибо она уже оказана. Кто-то может без спроса в отсутствие хозяина вспахать его поле, или поправить часток, или помочь в постройке жилья, хотя хозяин вполне управился бы с помощью жены. Однажды я видел столько людей, чинивших крышу, что в любой момент она могла рухнуть, но никто не обращал внимания на протесты хозяина. Если вам оказана услуга, вы становитесь должником... Туземец Локалеа снижал особую неприязнь своих соплеменников тем, что сразу же расплачивался за помощь продуктами (старый лис знал, что отказаться нельзя) и тем самым возвращал долг немедленно» (Turnbull, 1972: 146; цит. по: Эльстер, 1993 [1989]: 84—85).

¹⁵ Поланьи, 2004 [19576]: 23.

Вполне естественно, что, как и любой другой значимый социальный институт, за многотысячелетнюю историю своего существования практика обмена дарами постепенно «обрастала» все новыми функциями и во многих случаях начинала использоваться в целях, не имевших прямого отношения к ее исходному предназначению. И все же есть веские основания полагать, что в самых ранних человеческих сообществах она выступала прежде всего как неформальная страховочная сетка. Скорее всего, в этом и заключалась ее первоначальная и наиболее важная роль.

Воспользуемся характеристикой базовых параметров экономической жизни первобытных обществ, предложенной Ричардом Познером¹⁶. Согласно Познеру, важнейшими из них можно считать: 1) общую нестабильность условий существования, порождавшую сильные временные колебания в уровнях потребления и, следовательно, постоянный риск голода; 2) ограниченность набора доступных потребительских благ и их качественную однородность; 3) отсутствие возможностей для длительного хранения потребительских благ; 4) ограниченность потенциальных участников экономического взаимодействия; 5) низкую мобильность; 6) высокие транспортировочные и транзакционные издержки; 7) отсутствие государства. Резонно предположить, что в подобных условиях преобладающим типом транзакций должны были становиться не меновые, а страховые сделки, направленные на сглаживание резких колебаний в объемах потребления: «В простейших обществах главным благом, приобретаемым в ходе обмена, является страховка»¹⁷.

Приведем условный пример, иллюстрирующий эту мысль. Предположим, некий человек (семья, клан) в какой-то период времени получил излишек продуктов сверх «нормального» уровня потребления. Если он делится этим излишком с другими, то почти ничего не теряет. Ведь полученные им «избыточные» продукты не поддаются хранению; его соплеменники не производят непохожие продукты, на которые имело бы смысл поменять излишек; наконец, издержки обмена с чужаками, у которых могут найтись непохожие продукты, находятся на запретительно высоком уровне. Зато приобретает он ни много ни мало как шанс на выживание — реальную гарантию, что при возникновении критической ситуации, грозящей голодной смертью, ему будет оказана необходимая поддержка в виде ответных «дарений» со стороны всех тех, кто пользовался его щедростью раньше.

Если согласиться, что в ранних обществах отношения реципрокности выступали прежде всего как неформальная система страхования, то тогда выделенные Поланьи «странности» получают

¹⁶ Posner, 1981.

¹⁷ Ibid.: 158.

вполне осмысленное «экономическое» истолкование. Они свидетельствуют всего лишь о том, что

«обмен дарами не является тем же типом торговых сделок, который возникает в более сложных обществах благодаря специализации и разделению труда. Его цель — сглаживание колебаний потребления во времени, а не получение выгод от разделения труда, и он утратил бы всякий смысл, если бы дары переходили из рук в руки в одно и то же время»¹⁸.

В самом деле, специфика сделок страхования в том и заключается, что они представляют собой обмен не в пространстве, а во времени. В современных экономиках при совершении страховых сделок точно так же используются не различные, а идентичные блага (деньги за деньги), и «возвратные» платежи точно так же производятся не в заранее установленные сроки, но лишь при возникновении особых обстоятельств (наступление страховых случаев)¹⁹.

9. Возможно, одним из препятствий, мешающих увидеть экономический смысл отношений реципрокности, является сама сложившаяся терминология. При буквальном прочтении словосочетание «обмен дарами» подразумевает существование некоей «безвозмездной возмездности» или «невзаимной взаимности», а кроме того, как показывает пример Поланьи, невольно наводит на мысль о полной несовместимости реципрокного поведения с получением выгод «для себя». На самом же деле в условиях первобытных обществ эти выгоды оказываются исключительно велики — настолько, что способны ставить под угрозу само существование действующей в них неформальной системы страхования, так как из-за отсутствия государства она оказывается уязвима для любых проявлений оппортунистического поведения. И именно для того, чтобы защитить ее от этой опасности, ответные дарения повсеместно признаются обязательными и жестко регулируются с помощью доступных дисциплинирующих средств (таких, как угроза ostracism и др.)²⁰.

¹⁸ *Ibid.*: 160.

¹⁹ Отсюда, конечно, не следует, что между неформальным и формальным страхованием не существует фундаментальных различий.

²⁰ Как ни удивительно, среди некоторых видов животных встречается очень похожая система неформального «страхования». Примером могут служить летучие мыши-вампиры (см.: *Wilkinson*, 1984). Если в течение 48–60 часов им не удастся напиться крови, они погибают. Однако у них существует эффективная система взаимопомощи: мыши, которые возвращаются после удачной охоты, «делятся» с мышами-неудачницами, которым грозит голодная смерть, отрывая им часть добытой крови. При этом они способны четко отличать тех, кто оказывал им такую же помощь раньше, от тех, кто уклонял-

Иначе подобная неформальная страховочная сетка просто не смогла бы работать:

«В данном контексте сам термин “дар” оказывается ложным обозначением (a misnomer). Дарения, беспроцентные займы (подчас принудительные), устройство праздников, щедрость и другие “редистрибутивные” механизмы не являются продуктом альтруизма... Это не что иное, как страховые выплаты. Принцип реципрокности обеспечивает... необходимую степень защиты от проблем безбилетника и морального риска, которые иначе подрывали бы действие такой всеохватывающей неформальной системы страхования, которую мы обнаруживаем в первобытных обществах»²¹.

10. Стремление во что бы то ни стало доказать внеутилитарный характер реципрокности нередко подводит Поланьи, и тогда выдвигаемые им аргументы оборачиваются против него самого. Так, одна из его опорных идей заключается в том, что обмен дарами не предполагает эквивалентности передаваемых предметов и вместо этого регулируется принципом «адекватности», не имеющим ничего общего с «утилитарными ценностями»²². В подтверждение он ссылается на встречающийся среди жителей Тробрианских островов церемониальный обмен рыбы на ямс, при котором принято, чтобы более удачливые и состоятельные участники шли на уступки менее удачливым и состоятельным: «при небогатом улове или плохом урожае дар потерпевшей стороны уменьшается»²³.

Однако в соответствии с экономической логикой (и элементарным здравым смыслом) именно так все и должно происходить. Если в нынешнем году улов рыбы по сравнению с предыдущим годом выдался плохим, а урожай ямса, напротив, необычайно хорошим, то это означает сокращение предложения рыбы и увеличение предложения ямса. Соответственно, мы вправе ожидать, что за прежнее количество рыбы в качестве ответного «дара» можно будет получить большее количество ямса либо за меньшее количество рыбы — прежнее количество ямса. По сути, приводимый Поланьи пример доказывает прямо обратное тому, что ему хотелось бы доказать, а именно что в первобытных обществах соотношения, в которых одни блага обменивались («дарились») на другие, тоже

ся от ее предоставления, и отказываются делиться добычей с «оппортунистами». Объем головного мозга у вампиров намного больше, чем у остальных летучих мышей, и некоторые биологи полагают, что его развитие могло быть обусловлено как раз необходимостью участия в сложной системе реципрокных отношений.

²¹ Posner, 1981: 159—160.

²² Поланьи, 2004 [19576]: 23.

²³ Указ. соч.: 23—24.

определялись их относительной редкостью. И в данном случае не так важно, в какой конкретной форме экономическая логика пробивала себе дорогу — сознательно ли руководствовались ею участники обмена или же она воплощалась в нормах и традициях, которым они должны были следовать, потому что «так принято».

Очевидно стремление Поланьи расширить границы реципрокности, насколько это только возможно. Однако при ближайшем рассмотрении многие из приводимых им примеров могут быть вполне адекватно описаны либо как акты чистого альтруизма, либо как специфические обменные сделки, либо как сложные комбинации, в которых сочетаются элементы того и другого²⁴. В этом смысле оправданность ее выделения в качестве одного из базовых регулятивных принципов оказывается не вполне очевидной²⁵.

11. Напротив, рынок Поланьи понимает чрезвычайно узко. В его представлении рынок предполагает регулярный обмен с множеством продавцов и множеством покупателей, разнообразный набор обмениваемых благ, использование общепринятой меры стоимости, сделки, совершаемые преимущественно здесь и сейчас, а также четко специфицированные и надежно защищенные права собственности²⁶. Так и хочется сказать, что, по мнению Поланьи, рынком можно считать только рынок совершенной конкуренции, хотя, разумеется, подобная терминология ему совершенно чужда²⁷. (Скорее всего, реальным образцом, от которого он отталкивался, служил местный сельский рынок («базар»), куда для покупки и продажи продуктов регулярно съезжаются окрестные жители.)

В результате огромное количество обменных сделок выводится Поланьи за пределы рынка просто по определению. Монополия, монопосония, нерегулярные акты купли-продажи, сделки без явных денежных цен, долговременные контракты, поддержание устойчивых отношений между постоянными продавцами и покупателями, производство по регулируемым государством ценам и многое-многое другое — все это он отказывается признать рынком. Отметим, однако, что многие из подобных форм обмена являлись предметом

²⁴ На синкретическом характере реципрокности настаивал Марсель Мосс. По его словам, она «не относится ни к сугубо свободной и необязательной поставке, ни к корыстному участию в производстве и обмене полезных благ. Здесь расцвело нечто вроде гибрида» (Мосс, 1996 [1925]: 210).

²⁵ Это, конечно, не значит, что на следующем уровне анализа понятие реципрокности не может использоваться для выделения и продуктивного изучения определенного класса социальных взаимодействий.

²⁶ North, 1977.

²⁷ Более того, как мы вскоре убедимся, идея совершенной конкуренции в принципе несовместима с поланьевскими представлениями о рынке.

самого пристального изучения не только в современной, но и в традиционной экономической науке и экономисты никогда не считали их выходящими за ее границы. Так что стоит только отказаться от намеренно зауженного определения, используемого Поланьи, как границы рынка раздвигаются и массив ресурсов, распределявшихся через него во многих обществах прошлого, перестает казаться таким уж ничтожным²⁸.

12. Вообще говоря, разобраться, какой смысл вкладывал Поланьи в понятие «рынок» и как он определял его границы, не так-то просто.

Казалось бы, лейтмотив «Великой трансформации» — мысль о том, что «в экономической деятельности людей склонность к обмену вещами (barter) <...> представляет собой не общераспространенную, а исключительно редко встречающуюся установку»²⁹. Но в то же самое время Поланьи утверждает, что «институт рынка... довольно широко распространен начиная с позднего каменного века»³⁰, что «истории и этнографии известны разные типы экономик, большинство из которых включают в себя институт рынка»³¹, и что «акты [бартера или обмена. — Р. К.] присущи почти всем типам первобытного общества»³².

Многочисленные уточнения и пояснения еще больше запутывают ситуацию. Так, сначала нам дают понять, что «рынок» и «обмен» — это жестко сцепленные понятия, необходимо предполагающие друг друга: «Под обменом [exchange] подразумеваются встречные перемещения из рук в руки в условиях рыночной системы»³³. Но затем мы узнаем, что рыночным может считаться только обмен на основе «торга» и что помимо него существуют еще несколько нерыночных форм обмена — «операциональный» и «решенческий» (на основе фиксированных ставок)³⁴. Попутно выясняется немало других неожиданных вещей. Оказывается, напри-

²⁸ Скажем, во многих ранних обществах существовала практика выкупа жен, и, значит, отношения обмена распространялись на такой ключевой «производственный актив», как женщины. Поскольку же в качественных характеристиках этого «актива» неизбежно наблюдались сильные вариации, его цена не могла быть строго фиксированной. Как следствие, размер выкупа становился предметом того самого «торга», который, как полагал Поланьи, служит отличительным признаком «настоящего» рынка (подробнее об этом см. ниже).

²⁹ Поланьи, 2002 [1944]: 270.

³⁰ Указ. соч.: 55.

³¹ Указ. соч.: 56.

³² Указ. соч.: 74.

³³ Поланьи, 2002 [1957a]: 68.

³⁴ Указ. соч.: 72.

мер, что «торговля не обязательно предполагает рынок»³⁵; это два самостоятельных и раздельных института³⁶; они имеют «не только разные локализации в пространстве, статус и персонал», но отличаются также «целями, нравами и организацией»³⁷; «в то время, когда торговля была уже известна повсюду и использование денег как мерила стало повсеместным, число рынков было небольшим»³⁸.

Наверное, догадываемся мы, речь идет о рынке в первичном, узком значении этого термина — как месте регулярных встреч участников обмена. И вроде бы эта догадка не лишена оснований, поскольку в «Великой трансформации» он характеризуется как «место, где люди встречаются с целью натурального обмена или купли-продажи»³⁹. Но чуть ниже ему дается гораздо более широкое «эмпирическое» определение, согласно которому рынком следует считать любые «фактические контакты между продавцами и покупателями»⁴⁰, а не только в специально выделенных для этого местах. Не является ли в таком случае необходимым квалифицирующим признаком рынка наличие эксплицитных денежных цен? Однако постоянное употребление словосочетания «ценообразующие рынки» явно подразумевает, что они могут быть также и «неценообразующими».

Наконец, можно предположить, что о рынке в понимании Поланьи мы вправе говорить только тогда, когда активно действует тенденция к саморегулированию: «Саморегулирующаяся система рынков — вот что мы понимаем под рыночной экономикой»⁴¹. Но как тогда быть с утверждением, что «в известном смысле рынки всегда являются саморегулирующимися, поскольку они имеют тенденцию устанавливать цены, которые расчищают рынок; это... так для любых рынков, независимо от того, являются ли они свободными или нет»⁴²?

Боюсь, нам не остается ничего другого, как признать, что поланьевский «рынок» — это понятие с блуждающим смыслом, легко меняющее его в зависимости от контекста.

13. Нельзя, впрочем, не упомянуть одну характеристику «настоящего» рынка, к которой Поланьи постоянно возвращается и которая, по его собственному выражению, «совершенно справедли-

³⁵ Поланьи, 2002 [1944]: 72.

³⁶ Поланьи, 2004 [1957]: 40, 45.

³⁷ Указ. соч.: 41.

³⁸ Указ. соч.: 37—38.

³⁹ Поланьи, 2002 [1944]: 69.

⁴⁰ Указ. соч.: 86.

⁴¹ Указ. соч.: 53.

⁴² Указ. соч.: 222.

во считается основой поведения в сфере заключения сделок»⁴³. Это возможность торговаться и рядиться из-за цены (*higgling and haggling*). Ее он, похоже, считал определяющим признаком «рыночного» обмена с колеблющимися ценами, которого были лишены более ранние формы «нерыночного» обмена по фиксированным ставкам.

Однако такой суженный подход наталкивается на очевидные возражения. Начнем с того, что торг из-за цены — занятие не бесплатное, чреватое серьезными затратами и потерями, и поэтому он может отсутствовать не только при жестко контролируемых, но и при полностью свободных ценах, если выгоды, ожидаемые от *higgling and haggling*, недостаточны, чтобы компенсировать возникающие при этом издержки. Нет также оснований полагать, что фиксированные цены, поддерживаемые властью или обычаем, и цены, устанавливаемые в результате двустороннего торга, соответствуют двум исторически разным фазам развития меновых отношений — более ранней и более поздней. Вопреки представлениям Поланьи, они в равной мере характерны для наиболее примитивных, элементарных, начальных форм товарного обмена. (Можно сказать, что фиксация обменных пропорций на длительное время — это самый грубый и самый архаичный способ избежать трансакционных издержек, связанных с двусторонним ценовым торгом.)

В условиях сложно организованных рынков «нащупывание» цен осуществляется с помощью иных механизмов. Достаточно указать на то, как организована работа бирж, как в одностороннем порядке назначаются и пересматриваются цены на потребительские товары в крупных торговых сетях и т. д. Во всех этих случаях персональный *face-to-face* торг по поводу цен оказывается исключен и его заменяют различные формы «непереговорного» участия рыночных агентов в процессе ценообразования, чем достигается существенная экономия трансакционных издержек. Вытеснение личных форм обмена безличными неизбежно означает постепенное сужение пространства для *higgling and haggling*. Конечно, никакой реально существующий рынок не может обходиться без столкновения мнений его участников об условиях обмена. Однако в современной экономике прямой двусторонний торг по поводу цен в том виде, в каком его описывал Поланья, чаще всего ограничивается самыми несложными, наименее зрелыми, нерегулярными типами рыночных трансакций (разовые сделки, сельские рынки и т. п.).

Еще важнее, что Поланья, по-видимому, не осознавал, что чем больше участников действует на обеих сторонах рынка и чем пол-

⁴³ Поланья, 2002 [1957a]: 72.

нее доступная им информация, тем меньше остается у них возможностей для ведения торга по поводу цен. Теоретически можно ожидать, что потенциальный выигрыш от него будет оказываться максимальным в ситуации двусторонней монополии и стремиться к нулю в ситуации, приближающейся к условиям совершенной конкуренции⁴⁴. Говоря иначе, расширение конкурентного поля должно вести не к усилению, как представлялось Поланьи, а к ослаблению интенсивности *higgling and haggling*.

14. Я уже замечал, что Поланьи фактически отождествляет склонность к обмену со стремлением к извлечению выгоды (эгоистическим поведением как таковым). Упоминания о склонности к обмену и о стремлении к выгоде (*gain*) следуют у него, как правило, через запятую. Не случайно и то, что при описании рыночной конкуренции он охотно прибегает к биологическим метафорам, следуя в этом за некоторыми ранними экономистами, уподоблявшими мир людей миру животных. Так, он в подробностях пересказывает историю про коз и собак из «Диссертации» Джозефа Таунсенда, оставленных на необитаемом острове у берегов Чили⁴⁵. Равновесие, складывающееся между различными классами в человеческих обществах, Таунсенд был склонен трактовать по аналогии с равновесием между популяциями коз и собак, которое установилось на этом острове в результате борьбы за выживание.

Хотя Поланьи подвергает этот упрощенный натуралистический подход уничтожающей критике за искажение истинной природы человеческого общества, он находит его вполне адекватным для понимания сути конкурентного порядка, который воспринимался им как отрицание едва ли не всех мыслимых форм социальности: «Новые принципы превосходно соответствовали формировавшемуся тогда [рыночному. — Р. К.] обществу»⁴⁶. Уже само его формирование фактически протекало по законам природного мира: «Порыв к рынку приобрел неудержимость природного процесса»⁴⁷. В изображении Поланьи конкурентная система предстает как хаотичная, бессистемная и неэффективная⁴⁸ и уподобляется джунглям, где сильнеешие пожирают слабейших: «Конкурентное общество было

⁴⁴ В идеальной ситуации совершенной конкуренции для такого торга в принципе не оставалось бы места: цены воспринимались бы экономическими агентами как «данные» и не поддающиеся никаким манипуляциям с их стороны. Здесь можно вспомнить знаменитое высказывание Оскара Ланге о «параметрической функции цен».

⁴⁵ Поланьи, 2002 [1944]: 129—134.

⁴⁶ Указ. соч.: 131.

⁴⁷ Указ. соч.: 143.

⁴⁸ Указ. соч.: 273.

поставлено под защиту закона джунглей»⁴⁹; «почти всегда экономическое превосходство сильнейшего вынуждает капитулировать слабейшего»⁵⁰. Так создается образ рыночной конкуренции как боев без правил, по сути — как гоббсовской войны всех против всех. Поэтому не думаю, что будет большой несправедливостью сказать, что автор «Великой трансформации» не вполне адекватно понимал ее природу и смысл.

В поведенческих терминах экономическую конкуренцию можно было бы определить как *борьбу двух за внимание третьего*. В подобной ситуации необходимым предварительным условием получения доступа к ресурсу оказывается завоевание расположения этого «третьего». Специфика экономической конкуренции заключается в том, что, во-первых, последнее слово всегда остается за ним (то есть в конечном счете все определяется предпочтениями «третьего») и что, во-вторых, роли в этом процессе не являются жестко фиксированными (тот, кто сегодня пытается добиться внимания «третьего», завтра может сам оказаться на его месте)⁵¹. По известному выражению Георга Зиммеля, современная рыночная конкуренция представляет собой не только и не столько борьбу всех против всех, сколько борьбу всех *ради* всех. Но это оказывается возможно лишь в рамках строго определенных общих «правил игры».

Вопреки впечатлению, которое Поланьи пытается создать у читателей своей книги, рынок (даже рынок *laissez-faire*) вовсе не предполагает безраздельного господства ничем не ограниченных эгоистических интересов; это не борьба на взаимное уничтожение и не схватка с целью физического оттеснения от ресурса. Как и другие транзакционные механизмы, он нацелен на ограничение и канализирование эгоистического поведения. Можно сказать, что первую линию обороны образуют здесь институты частной собственности и контракта — предмет постоянной заботы классического либерализма. И ограничения, налагаемые на эгоистическое поведение этими институтами, зачастую воспринимаются как гораздо более нестерпимые и обременительные, чем многие другие. (Как писал Фридрих фон Хайек, человек видит вокруг себя множество манящих вещей и не имеет возможности протянуть руку, чтобы взять их себе.)

Вторую линию обороны образует сама рыночная конкуренция. Идея социальных мыслителей XVII—XVIII вв. состояла не в том,

⁴⁹ Указ. соч.: 142.

⁵⁰ Указ. соч.: 176.

⁵¹ Если проводить параллели с природным миром, то отдаленным аналогом экономической конкуренции мог бы служить выбор брачных партнеров у некоторых видов животных.

чтобы снять все препоны на пути безудержного эгоизма, а в том, чтобы, направив одни частные интересы против других (при условии соблюдения определенных «правил игры»), ограничить его более надежно и эффективно, чем это можно сделать посредством административного контроля или давления окружающих⁵². И еще неизвестно, чем в большей мере была обусловлена начавшаяся со второй половины XIX столетия антирыночная реакция, захватившая постепенно весь мир, — то ли тем, что рынок свободной конкуренции слишком широко открыл шлюзы для корыстных эгоистических устремлений (как думал Поланьи), то ли тем, что он, напротив, оказался слишком сильным их ограничителем.

15. Антирыночная реакция, заявившая о себе в последней трети XIX в., остается, по-видимому, одним из самых трудных для интерпретации эпизодов последних столетий. Она захватила почти одновременно практически все ведущие страны Запада и положила начало устойчивому вековому тренду к эскалации государственного вмешательства в экономику. До сих пор не существует развернутого объяснения этого системного сдвига, которое можно было бы назвать общепринятым.

Сторонники классического либерализма были склонны связывать начавшийся отход от принципов свободного рынка с двумя обстоятельствами — во-первых, с резко возросшей активностью различных групп со специальными интересами и, во-вторых, с подъемом социализма и национализма, стремительно входивших в интеллектуальную моду того времени. Разумеется, оба эти аргумента были прекрасно известны автору «Великой трансформации», но он находил их неубедительными и квалифицировал как «мифы».

В принципе Поланьи не отрицал значения факторов, к которым отсылали эти традиционные объяснения. В своей книге он рисует впечатляющую картину, как под давлением многочисленных групп со специальными интересами европейская экономика конца XIX — начала XX в. все глубже увязала в неразрешимых перераспределительных конфликтах:

«Протекционизм внутренний и внешний, социальный и национальный обнаруживали тенденцию к слиянию. Рост стоимости жизни, вызванный хлебными законами, побуждал фабрикантов требовать введения покровительственных тарифов, которые они почти всегда использовали как инструмент картельной политики.

⁵² Эти «внешние» механизмы контроля дополняются разнообразными встроеными ограничителями в виде интериоризированных установок и норм, вырабатываемых и поддерживаемых практикой рыночного взаимодействия (таких, как честность, взаимное доверие, обязательность и др.).

Профсоюзы, естественно, добивались повышения заработной платы, чтобы компенсировать рост стоимости жизни, и им нечего было возразить против таких таможенных пошлин, которые позволили бы хозяевам выплачивать своим рабочим резко подскочившую заработную плату. Но поскольку бухгалтерия социального законодательства основывалась на уровне заработной платы, определявшейся тарифами, то нельзя было всерьез рассчитывать, что предприниматели согласятся нести бремя подобного законодательства, если не будет в дальнейшем гарантирована защита их собственных интересов»⁵³.

Однако, полагал Поланьи, в доводах сторонников либерализма перепутаны причины и следствия. Реальные события развивались не так, что сначала в обществе произошли изменения в экономических интересах, идеологических позициях или расстановке политических сил и уже затем под их действием перестала нормально работать рыночная система, а ровно наоборот: сначала ее развитие стало затрагивать жизненно важные стороны существования самых различных слоев общества, и только затем они начали обращаться за помощью к государству, чтобы оно обеспечило защиту их коллективных или национальных интересов⁵⁴. Отсюда вывод Поланьи, что поворот к государственному регулированию был не случайной аберрацией, обусловленной давлением групп со специальными интересами, или распространением антилиберальных идеологий, а отражением объективных потребностей индустриальной цивилизации на новом этапе ее развития: «Законодатели ока-

⁵³ Поланьи, 2002 [1944]: 225.

⁵⁴ Указ. соч.: 163, 167. Взгляды Поланьи на внутренние механизмы социальных катаклизмов лучше всего иллюстрирует его трактовка другого поворотного момента всемирной экономической истории — промышленной революции в Великобритании в конце XVIII — начале XIX в. Сначала он подробно излагает «традиционную» интерпретацию (во многом восходящую к работе Фридриха Энгельса «Положение рабочего класса в Англии»), согласно которой процесс индустриализации принес трудящимся массам неисчислимы бедствия — обнищание, голод, рост смертности и т. д., хотя и не солидаризируется с ней (Указ. соч.: 51—54). Позднее речь заходит о неких (анонимных) историках-ревизионистах и следует саркастический пересказ их выводов о том, что в действительности промышленная революция сопровождалась ростом реальных доходов населения и снижением показателей смертности (Указ. соч.: 174—175). Не имея возможности оспорить эти выводы, Поланьи выдвигает альтернативную интерпретацию, которую можно назвать «антропологической» и смысл которой сводится к тому, что, даже если в ходе промышленной революции материальное благосостояние низших классов и выросло, она все равно обернулась для них катастрофой (говоря более конкретно — «культурной катастрофой»), поскольку означала крушение привычного образа жизни и кризис традиционных поведенческих норм (Указ. соч.: 175—178).

зались просто неспособны противостоять неумолимому действию вполне объективных и весьма серьезных причин»⁵⁵.

В этих рассуждениях есть момент, безусловно заслуживающий внимания. Во второй половине XIX в. перед «рыночной цивилизацией» (выражение Поланьи) стали одна за другой возникать принципиально новые социальные и экономические проблемы, с которыми она не сталкивалась раньше и которые становились для нее серьезным вызовом. Однако либералы того времени часто даже не пытались предлагать своего варианта их решения, ограничиваясь повторением общих формул о недопустимости государственного интервенционизма. Тем самым они сами расчищали ему дорогу, поскольку у их противников всегда были наготове рецепты, в конечном счете неизменно сводившиеся к одному и тому же знаменателю — наделению государства все новыми и новыми регулирующими и регламентирующими функциями.

И все-таки одно хронологическое совпадение представляется неслучайным. Поланьи сам упоминает о беспрецедентных по размаху социальных и политических реформах в большинстве стран Запада, пришедшихся приблизительно на 1870—1880-е годы. Их результатом стало значительное расширение политических и социальных прав множества групп, прежде не имевших эффективных рычагов давления на государство; зависимость государственной политики от конкурирующих групп со специальными интересами резко возросла, поскольку увеличилось их число и усилилась неоднородность; активизировалась борьба за голоса избирателей, которая вела к тому, что преимущества, выторгованные одними группами, через какое-то время приходилось уравнивать преимуществами, предоставляемыми другим группам; как следствие, конкуренция в сфере экономики стала постепенно уступать место конкуренции в сфере политики. С достаточно высокой степенью вероятности можно предполагать, что начальный толчок к отказу от принципов свободного рынка был связан именно с этим — с выходом на широкую политическую арену многочисленных групп с разнонаправленными интересами, видевших в государственном вмешательстве главный инструмент достижения своих целей.

16. Экономическая теория традиционно исходит из того, что при совершении добровольных сделок их участники отдают то, что они ценят меньше, в обмен на то, что они ценят больше. Поскольку в итоге обе стороны остаются в выигрыше, в терминах теории игр такое взаимодействие может быть описано как игра с положительной суммой. Не только рыночный обмен в узком смысле слова, но

⁵⁵ Указ. соч.: 165.

и многие другие виды межличностных взаимодействий строятся по сходному принципу (хотя, конечно же, далеко не все).

Пожалуй, наиболее ярким примером мыслителя, органически неспособного представить, как в результате обмена могут выигрывать одновременно обе стороны, был Карл Маркс. Трактовка товарных отношений, развитая в его теориях ценности и прибавочной ценности, допускает только две возможности: либо оба участника должны оставаться «при своих» (случай эквивалентного обмена), либо один должен выигрывать за счет другого (случай неэквивалентного обмена)⁵⁶. По существу любые рыночные сделки мыслились им как игра с нулевой суммой (когда выигрыш одного — если он имеется — равняется проигрышу другого).

Достаточно странно, но Карл Поланьи воспринимал мир рыночных взаимодействий во многом сходным образом. (Это вдвойне удивительно, учитывая, что он был превосходно знаком с идеями австрийской школы предельной полезности и в «Великой трансформации» неоднократно к ним отсылается.) Акты рыночного обмена неизменно описываются им в терминах выигрыша для одной стороны и проигрыша для другой: цены, устанавливаемые в результате торга, приносят выгоду «одной стороне за счет другой»⁵⁷: «обмен на основе колеблющихся цен имеет целью выгоду, которую можно получить только на основе выраженно антагонистических отношений между партнерами»⁵⁸.

Трактовка рыночных сделок как приносящих односторонние выгоды вполне органично вписывается в общую теоретическую конструкцию Поланьи⁵⁹. Ведь в случае признания их обоюдовыгодного характера ему было бы трудно избежать вывода, что обмен

⁵⁶ Особое место в теоретических построениях Маркса, как известно, принадлежало обмену, эквивалентному по видимости, но неэквивалентному по сути, — купле-продаже товара «рабочая сила».

⁵⁷ Поланьи, 2004 [19576]: 44.

⁵⁸ Поланьи, 2002 [1957а]: 72. Этическим предпочтениям Поланьи больше отвечал обмен по фиксированным ценам. Он также способен давать преимущества одной стороне за счет другой, но эти преимущества являются преходящими (Поланьи, 2004 [19576]: 46—47; Поланьи, 2002 [1957а]: 72). Из-за колебаний во внешних условиях положение участников постоянно меняется, и поэтому сделки с фиксированной ценой оказываются выгодными то для одного, то для другого. В конечном счете такие сделки никому не приносят выгоды, так как выигрыши и проигрыши, полученные в разное время, имеют тенденцию уравниваться: «При таком обмене выигрыша нет; блага имеют свои собственные цены, установленные заранее» (Поланьи, 2004 [19576]: 31).

⁵⁹ До логического конца (то есть до абсурда) эту тенденцию доводит Маршалл Салинз, который под общей рубрикой негативной реципрокности объединяет рыночный обмен с воровством и иными формами насильственного присвоения ресурсов.

дарами и обмен товарами являются ближайшими «родственниками», представляя собой *различные формы реципрокных отношений* (в широком смысле). Показательно уже то, что при обсуждении рыночного обмена Поланьи никогда не называет его «взаимным».

Понимание рыночных отношений как игры с нулевой суммой естественным образом влечет за собой их оценку как морально небезупречных и социально опасных. По убеждению Поланьи, они служат источником нарастающей враждебности между людьми: «Элемент антагонизма... непременно сопутствует данному типу обмена»⁶⁰. Культивируемая рынком враждебность ведет к разрушению органических социальных связей и в перспективе угрожает распадом общества. Поэтому у общества нет другого способа защитить себя от этой угрозы, кроме как жестко ограничить сферу рыночного обмена: «Ни одно общество, стремящееся сохранить чувство солидарности в своих членах, не может позволить развиваться скрытой враждебности между ними»⁶¹.

Взаимосвязь между экономикой и состоянием нравов — слишком обширная и сложная тема, чтобы входить в ее детальное обсуждение. Напомню только, что многие мыслители XVII—XVIII вв. думали иначе, чем Поланьи. Им было с чем сравнивать: у них перед глазами был опыт религиозных войн между католиками и протестантами, растянувшихся более чем на столетие и охвативших почти всю Европу; войн, которые велись с предельным ожесточением и при активном участии армий наемников. Отталкиваясь от этого опыта, они приходили к выводу, что «этос торговцев» (преследование собственного интереса мирными средствами) предпочтительнее «этоса священнослужителей» (бескомпромиссного раядения о благе ближних) или «этоса солдат» (достижения целей с помощью насилия). Как говорил Шарль Монтескьё, «где торговля, там нравы кротки».

17. Критически важное значение в концепции Поланьи придается понятию «рынков фиктивных товаров», формирование которых, как он полагал, привело к появлению полностью саморегулирующейся рыночной системы и подчинению общества диктату рынка. С их возникновением он связывал всеобщий распад социальных связей и тяжелейшие катастрофы, выпавшие на долю человечества в XIX—XX столетиях. По Поланьи, труд, землю и деньги надлежит считать фиктивными товарами, потому что никто не создавал их специально для целей купли-продажи⁶².

⁶⁰ Поланьи, 2002 [1957a]: 72.

⁶¹ Там же.

⁶² Поланьи, 2002 [1944]: 90.

Однако на протяжении всей своей истории человечество только тем и занималось, что непрерывно приспосабливало к собственным нуждам блага, никем для этого не предназначавшиеся, или начинало использовать их в целях, не имевших никакого отношения к их первоначальному предназначению. Следуя Поланьи, нам, по-видимому, следовало бы считать все такие блага «фиктивными» и ждать от этого неисчислимых бедствий. (Скажем, предназначение молотка — забивание гвоздей; поэтому если его вдруг начинают использовать при проведении аукционов, то он тут же превращается в некий «фиктивный подаватель сигналов участникам аукциона».)

Что касается фиктивного товара «труд», то здесь будет уместно заметить, что, вопреки Поланьи, в рыночной системе он-то как раз и перестает быть предметом прямых сделок купли-продажи. В ее рамках допускается только сдача человеческого капитала в аренду, но не допускается его купля-продажа в качестве актива. Этим современные общества принципиально отличаются от многих первобытных и традиционных обществ, в которых торговля людьми, как показано в позднейших исследованиях самого Поланьи, широко практиковалась. По поводу же другого фиктивного товара — земли — достаточно сказать, что она не была создана не только для купли-продажи. Она не была создана также и для того, чтобы на ней сеяли, возводили жилища, строили заводы и т. д. Даже несколько странно встретить столь наивную эссенциалистскую установку у мыслителя ранга Поланьи.

18. Парадоксально, но мышлению Поланьи практически полностью чужда идея институциональной эволюции⁶³. В его работах даже не ставится вопроса о том, почему на смену одним институтам могут приходить другие, какие закономерности могут здесь действовать и какие факторы могут быть для них определяющими. В его описании различные институциональные и организационные формы предстают по существу как вечные и неизменные. И потому едва ли есть какие-либо основания записывать Поланьи с его статическим видением в предшественники современной неоинституциональной теории⁶⁴.

⁶³ North, 1977.

⁶⁴ Сам Поланьи видел в статическом характере своей концепции скорее достоинство, чем недостаток: «Природные способности [человека. — Р. К.] проявляются в обществах всех времен с поразительным постоянством, а предпосылки, необходимые для выживания человеческого общества, всюду оказываются совершенно тождественными» (Поланьи, 2002 [1944]: 58); «формы интеграции не предполагают никакой последовательности во времени» (Поланьи, 2002 [1957a]: 73).

19. Завершая разбор теоретической конструкции Карла Пола-ны, стоит заметить, что предложенная им типология общих регулятивных принципов — лишь одна из возможных и фактически существующих. В качестве примера сошлюсь на классификацию различных систем «социальной этики», предложенную известным американским экономистом Джексом Хиршлейфером⁶⁵.

Ссылаясь на результаты, полученные биологами, он замечает, что уже у определенных видов животных обнаруживаются встроенные ограничители на чисто эгоистическое поведение, то есть зачаточные элементы социальной этики. Эти элементы получают дальнейшее развитие в ходе культурной эволюции человека и вырастают в разветвленные, сложно структурированные системы правил и норм (как встроенных, так и внешних), упорядочивающих и регулирующих жизнь человеческого общества. Именно благодаря им даже в самых примитивных сообществах достигается высокая степень кооперативного взаимодействия, которая была бы невозможна, если бы человек по своей сущности был беспримесным эгоистом.

Хиршлейфер выделяет три принципа, три системы социальной этики, которые соответствуют различным структурам социальности и которые в тех или иных сочетаниях встречаются в любом человеческом обществе (в зачаточном виде их можно наблюдать уже у некоторых видов «общественных» животных). Смысл первого выражается Золотым правилом, требующим делиться тем, что у тебя есть, с окружающими (*communal sharing*), смысл второго — Серебряным правилом уважения и соблюдения частных прав (*private rights*), смысл третьего — Железным правилом господства и подчинения (*dominance*). Круг, на который распространялось действие этих принципов, расширялся постепенно, в процессе культурной эволюции. Первоначально это были лица, связанные между собой кровным родством; затем — малые группы, состоящие из соседей, союзников и т. д.; еще позднее — более широкие группы, общие по языку, происхождению и культуре; наконец, в некоторых мировых религиях они приобрели универсальный характер.

Как легко убедиться, Золотое правило, предполагающее, что человек должен делиться тем, что у него есть, с окружающими, представляет собой обобщенное выражение норм альтруистического поведения. Важно, однако, отметить, что две другие выделенные Хиршлейфером системы точно так же направлены на ограничение эгоистических устремлений и точно так же исходят из определенных этических принципов⁶⁶. Так, Серебряное правило не

⁶⁵ *Hirshleifer*, 1980.

⁶⁶ Впрочем, ни одна из систем социальной этики не обходится без «эгоистического» компонента. К примеру, важным дисциплинирующим средством,

только признает за человеком право на сферу «приватности», защищенную от каких бы то ни было вторжений извне, но и требует от него встречного отказа от вторжения в сферы «приватности» других людей. Это оказывается той почвой, на которой впоследствии вырастают институты частной собственности и рынка⁶⁷. (Понятно, что никакой обмен, включая обмен дарами, был бы невозможен без предварительного признания — эксплицитного или имплицитного — прав собственности на соответствующие ресурсы.) Аналогичным образом Железное правило не сводится к прямому применению одной только голей силы. Оно налагает на тех, кто господствует, определенные обязательства по защите тех, кто подчиняется, и требует от тех, кто подчиняется, определенной лояльности по отношению к тем, кто господствует⁶⁸.

Что касается соотношения между альтернативными регулятивными принципами, то здесь интересно отметить, что такие, казалось бы, непохожие социальные исследователи, как Фридрих фон Хайек и Маршалл Салинз, признавали первичной Золотую этику коммунитарности и связывали основной тренд в истории развития человеческой цивилизации с постепенным сдвигом в направлении Серебряной этики рынка и частной собственности (с той только разницей, что Хайек его поддерживал, тогда как Салинз осуждал)⁶⁹. В отличие от них Хиршлейфер склонен считать наиболее фундаментальной Железную этику господства и подчинения (что, по-видимому, более оправданно).

Разумеется, классификация аллокационных систем, координирующих межличностные взаимодействия и регулирующих доступ к ограниченным ресурсам, может производиться исходя из иных, чем у Хиршлейфера, критериев в зависимости от конкретных

способствующим соблюдению норм альтруистического поведения, служат такие малопривлекательные эмоции, как зависть и страх перед завистью. Не следует также забывать, что в мире, полностью свободном от эгоизма, альтруизм был бы по существу лишен смысла. Пусть тот, кто оказывает помощь нуждающимся, поступает так из чисто альтруистических побуждений. Но ведь те, кто ее принимает, с очевидностью действуют, исходя из своих собственных интересов, то есть вполне «эгоистически».

⁶⁷ Практически все известные первобытные общества обладали относительно развитыми структурами частных прав собственности. Хотя способы определения частных прав могли варьироваться, посягательство на них везде жестко пресекалось. (Hirshleifer, 1980: 658.)

⁶⁸ Понятно, что ни одна из этих систем не в состоянии функционировать без использования внешних санкций. Таким образом, механизмы контроля и принуждения становятся продолжением и дополнением внутренних (интернализированных) норм и ограничений, вырабатываемых на основе Золотого, Серебряного и Железного принципов социальной этики.

⁶⁹ См.: Хайек, 1991 [1988]; Салинз, 2000 [1972].

аналитических задач. Тем не менее в его подходе: а) эксплицитно оговаривается, на сдерживание какого типа поведения направлена большая часть известных социальных институтов; б) альтруизм выделяется в качестве особого регулятивного принципа; в) рыночные взаимодействия описываются как базирующиеся на определенной системе правил и норм, а не как хаос безудержных, ни с чем не считающихся эгоистических интересов.

Так что, выбирая между схемой Поланьи и схемой Хиршлейфера, я, конечно же, отдал бы предпочтение последней.

20. Наиболее полное представление о политических и этических взглядах автора «Великой трансформации» дает последняя глава книги — «Свобода в сложном обществе»⁷⁰. Его высказывания на эти темы настолько красноречивы, что едва ли нуждаются в каких-либо специальных разъяснениях и комментариях.

Как известно, Карл Поланьи был сторонником гильдейского социализма. Разработанная им в 1920-е годы схема переустройства общества, строившаяся на гильдейских принципах, во многом представляла собой ответ на знаменитый тезис Людвига фон Мизеса о невозможности рациональных экономических расчетов при социализме⁷¹. Ее центральный пункт — объединение всех производителей, действующих в каждой отрасли, в региональные или общенациональные ассоциации (по существу — в региональные или общенациональные монополии). По такому же принципу должны были быть организованы ассоциации потребителей. Отдельные ассоциации формировали бы Конгресс, главная функция которого должна была заключаться в координации экономических отношений между его членами. Параллельно с этой производственной иерархией предполагалось создание политической иерархии (Коммуны), призванной, по замыслу Поланьи, устанавливать социальные стандарты, регулировать заработную плату и т. д. Поскольку ортодоксальная марксистская идея централизованного планирования отвергалась (ассоциации должны были выступать как независимые центры принятия экономических решений), описанную схему можно рассматривать как одну из ранних версий модели рыночного социализма.

В «Великой трансформации» Поланьи не отказывается от своих социалистических убеждений, хотя его практические предложения

⁷⁰ К сожалению, в русском издании эта заключительная глава представлена в сильно усеченном виде. Поэтому некоторые наиболее важные места, отсутствующие в русском переводе, я буду приводить также и на языке оригинала.

⁷¹ Chaloupek, 1990.

становятся менее конкретными, а бывшие гильдейские пристрастия не проступают в явном виде. Он по-прежнему уверен, что под современную индустриальную цивилизацию должен быть подведен новый, нерыночный фундамент и что это потребует все возрастающего государственного планирования, регулирования и контроля. Среди наиболее ярких примеров движения в правильном направлении он упоминает Новый курс Франклина Рузвельта и коллективизацию крестьянства в СССР. Отсюда, однако, никак не вытекает необходимость полного демонтажа всех рыночных институтов. Речь идет лишь о резком сужении сферы их действия и в первую очередь — о замене стихийного рыночного саморегулирования сознательным государственным регулированием по отношению к рынкам фиктивных товаров (труда, земли и денег).

Различные политические течения по-разному рисуют пути дальнейшего развития индустриальной цивилизации. Поланьи отмечает, что в вопросах экономической организации общества социализм и фашизм в равной мере противостоят либерализму, занимая во многом идентичные позиции («they profess identical economics»). И социализм, и фашизм видят «реальность общества» (состоящую в необходимости использовать для сохранения целостности социума силу, власть и принуждение), тогда как либерализм, склонный к иллюзионистскому восприятию мира, предпочитает от нее отворачиваться⁷². Они сознают, что без активного государственного вмешательства современное сложное общество не сможет нормально функционировать; иначе, как наглядно демонстрирует опыт развития рыночной системы, оно обречено на самоуничтожение. Однако при этом социализм и фашизм исповедуют противоположные нравственные принципы. Если фашизм полностью отвергает идею свободы, то для социализма свобода является безусловной ценностью и он пытается совместить ее с «реальностью общества».

Как сохранить свободу в условиях современного сложного общества — вот фундаментальный вопрос, ответ на который и пытается найти Поланьи в «Великой трансформации». С социальными правами, полагает он, все достаточно ясно: в обществе, избавившемся от диктата рынка, принуждение будет иметь целью более справедливое распределение доходов, социальных гарантий и досуга («compulsion is suggested to more justly spread out income, leisure and security»), а значит, в результате такого принуждения свободы

⁷² В этом отношении либерализм оказывается близок к христианству, которое также не видело «реальности общества» и также проповедовало свободу, не достижимую в индустриальном обществе. Но сейчас западная цивилизация уже вступила в новую, постхристианскую эру (Поланьи, 2002 [1944]: 276).

станет не меньше, а больше: на смену свободе для немногих придет свобода для всех. Сложнее обстоит дело с личными свободами. Поланьи признает, что гражданские свободы, частное предпринимательство и система наемного труда сформировали такой образ жизни, который благоприятствовал выработке нравственной свободы и независимости духа. («Civic liberties, private enterprise and wage-system fused into a pattern of life, which favored moral freedom and independence of mind».) И все же рыночное общество являлось мнимым царством свободы, так как стремление к ней было не сознательной целью, а всего лишь побочным продуктом его деятельности: свобода в этих условиях оставалась «неинституционализированной».

Соответственно, главная задача, стоящая перед новым, формирующимся на наших глазах обществом, заключается в том, чтобы обеспечить институционализацию свободы. Для этого необходимо покончить с врожденным пороком рыночной системы — институциональным отделением политики от экономики. Подчинение экономики политике даст наконец возможность превратить достижение свободы в сознательную цель всего общественного развития: выход за узкие пределы рынка положит начало эре беспрецедентной свободы.

Конечно, соглашается Поланьи, опасения, что планирование и контроль могут создать угрозу для существования личной свободы, не вполне беспочвенны. Однако их не стоит преувеличивать, поскольку в обществе, построенном на нерыночной основе, она будет ограждена надежными институциональными средствами защиты. Какими же? Во-первых, основные гражданские права будут закреплены в законе, включая право на неконформистский образ мыслей. Принуждение не будет абсолютным; для несогласных с властью будут сохранены ниши, куда при желании они всегда смогут укрыться. («Compulsion should never be absolute; the "objector" should be offered a niche to which he can retire, the choice of a "second-best" that leaves him a life to live».) Во-вторых, на страже свободы будут стоять суды, куда за защитой своих прав при необходимости сможет обращаться любой. И вообще у всякого, кто станет искренне стремиться к большей свободе для всех, не будет ни малейших оснований бояться, что власть или планирование вдруг обернутся против него, лишив свободы его самого. («As long as he is true to his task of creating more abundant freedom for all, he need not fear that either power or planning will turn against him and destroy the freedom he is building by their instrumentality».) Венчает рассуждения Поланьи ссыла на «вдохновенное» высказывание Роберта Оуэна, из которого следует, что, если в условиях регулируемого общества свобода все-таки окажется недостижимой, с этим необходимо бу-

дет просто смириться, прекратив «все глупые ребяческие жалобы на этот счет»⁷³. «Таков, — заверяет нас Поланьи, — смысл свободы в сложном обществе»⁷⁴.

* * *

Свои заметки на полях «Великой трансформации» мне хотелось бы закончить несколькими общими и, надеюсь, достаточно очевидными выводами.

Первое: крайне маловероятно, что концепция Поланьи с ее многочисленными неясностями и недоговорками может послужить источником новой теоретической парадигмы, которая была бы способна охватить все многообразие институционального мира и составить надежную методологическую основу для продуктивного синтеза различных социальных дисциплин.

Второе: нет достаточных оснований видеть в Поланьи предшественника современной неинституциональной теории, ибо в его системе координат центральный вопрос этой теории — о внутренних механизмах институциональной эволюции — не может быть даже поставлен.

Третье: хотя модель смешанной экономики, сформировавшаяся в развитых странах после Второй мировой войны, казалось бы, подходит под некоторые описания грядущего общества «с рыночной основой», которые мы встречаем на страницах «Великой трансформации», реально в ней оказалось на порядок меньше государственного планирования и больше рыночного саморегулирования, чем предполагал и чем, вероятно, хотел бы видеть Поланьи.

И последнее: «Великая трансформация» служит выразительным примером того, какими абберациями чревата ностальгия по мнимой бесконфликтности, цельности и упорядоченности первобытного общества, если даже такому мыслителю с глубоко демократическими и гуманистическими убеждениями, как Карл Поланьи, не удалось избежать восхищения сталинской коллективизацией, проектирования «ниш для нонконформистов» и вариаций на тему свободы как осознанной необходимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В известной работе Фредерика Прайора систематизированы доступные этнографические и исторические данные об особенностях организации экономической жизни в различных «первобыт-

⁷³ Указ. соч.: 277.

⁷⁴ Там же.

ных» и «крестьянских» обществах (терминология автора). Нижеследующая таблица дает представление о степени распространенности альтернативных способов распределения ресурсов в пятнадцати экономически наименее развитых и пятнадцати экономически наиболее развитых обществах, попавших в выборку Прайора. Из нее отчетливо видно, как с повышением уровня экономического развития *sharing* и реципрокный обмен постепенно уступают место альтернативным транзакционным механизмам — редистрибуции и рыночному обмену.

**Степень распространенности альтернативных способов
распределения ресурсов на различных уровнях
экономического развития***

Способы распределения ресурсов	15 обществ из выборки Прайора, находящихся на самом низком уровне экономического развития	15 обществ из выборки Прайора, находящихся на самом высоком уровне экономического развития
Товары		
Рыночный обмен	7	14
<i>Sharing</i>	13	3
Реципрокный обмен	13	3
Централизованное перераспределение	3	10
Труд		
Рыночный обмен	2	14
Реципрокный обмен	10	9
Централизованное перераспределение	0	5
Другое		
Взимание процентов по займам	2	9

* Данные в настоящей таблице обозначают число обществ, использующих соответствующие способы распределения ресурсов.

Источник: *Pryor*, 1977: 309.

Литература

- Манхейм К., фон.* Человек и общество в эпоху преобразования [1940] // Манхейм К. Диагноз нашего времени / Пер. с нем. и англ. М.: Юрист, 1994. С. 227—411.
- Мосс М.* Очерк о даре [1925] // Мосс М. Общества. Обмен. Личность / Пер. с франц. М.: Восточная литература, 1996. С. 83—222.

Поланы К. Аристотель открывает экономику [19576] // Истоки: экономика в контексте истории и культуры. М.: Издательский дом ГУ—ВШЭ, 2004. С. 9—51.

Поланы К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени / Пер. с англ. СПб.: Алетейя, 2002 [1944].

Поланы К. Экономика как институционально оформленный процесс [1957a] // *Экономическая социология*. 2002. Т. 3. № 2. С. 62—73.

Поппер К. Р. Открытое общество и его враги: В 2 т. / Пер. с англ. М.: Феникс, 1992 [1945].

Сализ М. Экономика каменного века / Пер. с англ. М.: ОГИ, 2000 [1972].

Хайек Ф. А., фон. Дорога к рабству / Пер. с англ. М.: Экономика, 1992 [1944].

Хайек Ф. А., фон. Пагубная самонадеянность / Пер. с англ. М.: Новости, 1991 [1988].

Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия / Пер. с англ. М.: Экономика, 1995 [1942].

Эльстер Ю. Социальные нормы и экономическая теория [1989] // *THESIS*. 1993. Вып. 3. С. 73—91.

Belshaw C. Traditional Exchange and Modern Markets. Englewoods Cliffs: Prentice-Hall, 1965.

Burnham J. The Managerial Revolution: What Is Happening in the World Right Now. New York: John Day, 1941.

Carr E. H. Nationalism and After. London: Macmillan, 1945.

Chaloupek G. K. The Austrian Debate on Economic Calculation in a Socialist Society // *History of Political Economy*. 1990. Vol. 22. No. 4. P. 659—675.

Hart K. Informal Urban Income Opportunities and Urban Employment in Ghana // *Journal of Modern African Studies*. 1973. Vol. 11. No. 1. P. 61—90.

Hirshleifer J. Privacy: Its Origin, Function, and Future // *Journal of Legal Studies*. 1980. Vol. 9. No. 4. P. 649—664.

Holmberg A. C. Nomads and the Long Bow: The Siriono of Eastern Bolivia. Garden City: Natural History Press. 1969.

Lippman W. An Inquiry into the Principles of the Good Society. Boston: Little, Brown & Co., 1937.

North D. C. Markets and Other Systems in History: The Challenge of Karl Polanyi // *Journal of European Economic History*. 1977. Vol. 6. No. 3. P. 703—716.

Polanyi K. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. New York: Farrar & Rinehart, 1944.

Posner R. A. A Theory of Primitive Society // Posner R. A. Economics of Justice. Cambridge (Mass.): Harvard University Press. 1981.

Pryor F. L. The Origins of the Economy: A Comparative Study of Distribution in Primitive and Peasant Economies. New York: Academic Press, 1977.

Turnbull C. The Mountain People. New York: Simon and Schuster, 1972.

Wilkinson G. Reciprocal Blood Sharing in Vampire Bats // *Nature*. 1984. Vol. 308. P. 1181—1184.

Политическая теория

Тимофей Дмитриев

КЛАССИКА И ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ: СЛУЧАЙ ЛЕО ШТРАУСА¹

Лео Штраус (1899—1973) по праву считается одним из крупнейших политических философов XX в. Родившись в небольшом немецком городке, значительную часть жизни он прожил в эмиграции, в Соединенных Штатах, ставших его второй родиной. Лео Штраус является автором более двадцати книг и множества статей, посвященных ключевым проблемам истории западной политической философии, а идеи, сформулированные им, продолжают активно обсуждаться, причем не только в рамках академического сообщества², но и в средствах массовой информации. Без особой натяжки можно сказать, что после смерти Штраусу посчастливилось получить второе, и притом весомое признание современников. Споры по поводу его идейного наследия, впрочем, не утихавшие после его смерти, разгорелись с новой силой в конце 1990-х — начале 2000-х годов, когда ряд его бывших слушателей стали видными членами республиканской администрации Дж. Буша-младшего, а на Штрауса стали смотреть — кто с одобрением, а кто с осуж-

¹ Автор выражает глубокую признательность Александру Ф. Филиппову и Виталию Куренному за ценные советы и замечания, позволившие существенно улучшить качество рукописи.

² Примечательным свидетельством академического признания заслуг Штрауса на его первой родине, в Германии, может служить начало публикации в 1996 г. его собрания сочинений в шести томах на немецком языке (Strauss, 1996—...). К настоящему моменту издано уже несколько томов. Правда, следует оговориться, что в США издание подобного рода академического собрания сочинений Штрауса пока еще не состоялось; как правило, американские издатели и исследователи ограничиваются переизданием его ранее опубликованных работ, переводом на английский язык ранних работ Штрауса, опубликованных первоначально по-немецки, а также изданием архивных материалов, в том числе и ранее не публиковавшихся лекционных курсов.

дением — как на их идейного гуру. Эта посмертная история, которую можно обозначить как «случай Штрауса», не только крайне показательна, но и весьма важна для понимания как философской эволюции самого Штрауса, так и особенностей формирования в Соединенных Штатах современной политической философии в качестве одной из ведущих академических дисциплин.

Фигура Штрауса в контексте истории политической философии интересна прежде всего тем, что его интеллектуальные искания в этой области были тесно связаны с актуализацией и проблематизацией классики политической мысли, в роли которой для него выступали сочинения и идеи древнегреческих историков и философов: Фукидида, Ксенофонта, Сократа, Платона и Аристотеля. Во многом именно благодаря последовательной ориентации на новое прочтение и реактуализацию классики, многократно проверенной практикой исследований в немецкой академической среде, Штраусу удалось «вписать» свою мысль как в академический, так и в политический контекст американской интеллектуальной жизни. В данной статье мы предполагаем рассмотреть те стратегии интерпретации и актуализации классики политической философии, которые были использованы Штраусом в ходе его исследований и получили широкий резонанс в интеллектуальной жизни Соединенных Штатов. Необходимость решения этой задачи определяется и структурное построение нашего очерка.

В первой части мы рассмотрим те моменты философских воззрений, подходов и стратегий Штрауса, которые были связаны с интерпретацией классики политической философии и обеспечили ему совершенно особое место в политической философии XX в. Во второй части предметом рассмотрения станет ряд теоретически и практически значимых аспектов развития американской философии и политической науки в 1950-е — начале 1960-х годов, в полемике с которыми происходила институционализация политической философии Штрауса в Соединенных Штатах. Наконец, третий, заключительный раздел нашей работы будет посвящен рассмотрению тех практико-ориентированных стратегий интерпретации классики политической мысли, при помощи которых Штраус пытался отвести своей философии совершенно особое место в силовом поле американской политики, философии и политической науки в послевоенный период.

I

Путь мыслителя к статусу властителя дум консервативного крыла американской интеллектуальной и политической элиты был непростым. Он был эмигрантом, приехавшим в Америку уже в

достаточно зрелом возрасте, что отнюдь не способствовало интеграции Штрауса в американское академическое сообщество³. Правда, стоит отметить, что к своим тридцати девяти годам, когда Штраус попал в США, он был уже вполне состоявшимся «исследователем»⁴ в области политической философии, со своими сложившимися и рефлексивно выверенными воззрениями на ее место и роль в современном мире.

Их своеобразие заключалось в том, что свою политическую философию Штраус развивал в форме исторического исследования, в котором философы прошлого и современности вели друг с другом своего рода заочный диалог. Одним из следствий подобного рода стратегии стало то, что сочинения Штрауса посвящены в основном интерпретации произведений крупнейших политических мыслителей Запада: Платона, Аристотеля, Макьявелли, Гоббса, Локка, Спинозы, Руссо и др. Таким образом, в качестве исследователя Штраус выступал прежде всего как историк политической

³ Штраус перебрался в Соединенные Штаты из Англии в 1937 г. по рекомендации известного английского политического теоретика Гарольда Ласки, гражданином же США он стал в 1944 г. С 1939 по 1948 г. Штраус работает на факультете политической науки в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке, где ему удалось получить плохо оплачиваемое место преподавателя, и подрабатывает публичными лекциями, читанными им в различных американских университетах. Затем, начиная с 1949 г., когда Штраус занял кафедру профессора политической науки в Чикагском университете, на которой он работал до 1968 г., наступает пора более стабильного и обеспеченного существования. Именно в этот период к Штраусу приходит академическое признание на его второй родине и вокруг него начинает постепенно складываться группа учеников и последователей, которую впоследствии назовут «школой Штрауса». После 1968 г. Штраус переехал в Аннаполис, где преподавал в колледже Св. Иоанна вплоть до своей кончины в 1973 г.

⁴ Противопоставление фигур «философа» или «великого мыслителя», с одной стороны, и «исследователя» — с другой, занимает важное место в осмыслении Штраусом своего философского призвания и своего места в западной философии XX в. Он всегда придерживался того мнения, что истинные философы — явление для современного мира крайне редкое, несмотря на существование в нем множества мыслителей, с большим или меньшим правом претендующих на это звание. В годы своей юности и учебы в университетах Германии Штраус был готов предоставить этот статус четырем европейским мыслителям: Анри Бергсону, Альфреду Норту Уайтхеду, Эдмунду Гуссерлю и Мартину Хайдеггеру. С годами его суждения на этот счет стали еще более непреклонными и взыскательными: в 1950-е годы, единственным из здравствующих философов, действительно заслуживающим имени «великого мыслителя», он считал Мартина Хайдеггера. Самого себя Штраус без колебаний причислял к исследователям, то есть к тем, кто скорее стоит на плечах гигантов, нежели сам принадлежит к их числу, и замечал при этом не без сарказма, что «большинство людей, которые называют себя философами, в лучшем случае являются исследователями» (Strauss, 1989: 29).

философии. Однако в понимании Штрауса история политической философии не исчерпывается простым рассмотрением идей великих философов прошлого. Стратегия интерпретации их основополагающих произведений была подчинена у Штрауса реализации более амбициозного замысла. На пути возвращения к классической традиции политического мышления, сложившейся в учениях Сократа, Платона и Аристотеля, он искал преодоление кризиса современного западного мира, который, по его мнению, был связан с кризисом политической философии модерна.

Сама идея преодоления кризисных тенденций на основе возвращения к классике, будь то наследие античной философии или же немецкого классического идеализма, была не нова для философии XX в. Делая ставку на возвращение к классике, Штраус ориентировался на хорошо известные из истории немецкой философии второй половины XIX — начала XX в. исторические прецеденты и использовал многократно опробованные в немецкой академической философии стратегии «возвращения назад к» — к Платону и Аристотелю, как предлагал Адольф Тренделенбург (1802—1872) в качестве реакции на кризис системы объективного идеализма Гегеля, или же к Канту, к чему призывал зачинатель неокантианского движения в немецкой философии Отто Либман (1840—1912), главы книги которого «Кант и эпигоны» начиная со второй части заканчивались призывом: «Also muss auf Kant zurückgegangen werden». — «Итак, следует вернуться назад к Канту»⁵.

Привлекательность подобного подхода была обусловлена прежде всего тем, что он предоставлял философу возможность для легитимации собственной деятельности — через обращение к классике, через ее новое «прочтение» и подведение своего собственного интеллектуального поиска под освященную многовековой историей традицию мысли. Кроме того, Штраус, судя по всему, имел в виду еще одно соображение, скорее практического, чем теоретического свойства, которое также заставляло его делать шаги в направлении возрождения классического политического рационализма. А именно он был твердо убежден, что в моменты острых кризисов, когда речь идет в буквальном смысле о ее жизни и смерти, либеральная демократия, при всех своих недостатках, хорошо известных как ее сторонникам, так и противникам, способна выдвигать из рядов правящего класса политических деятелей, по своему величию и опыту сравнимых с великими государственными мужами древности. В качестве примера он указывал на явление Авраама Линкольна и Уинстона Черчилля. В этом плане история политической философии Штрауса чем-то напоминает «монументальную историю» Ниц-

⁵ *Liebmann*, 1865: 110, 139, 156, 203.

ше, историю, предназначенную «деятельному и мощному, тому, кто ведет великую борьбу, кто нуждается в образах, учителях, утешителях и не может найти таковых между своими современниками и в настоящем»⁶. Штраус полагал, что такая история политической философии в качестве «монументальной истории» должна была иметь не только чисто историческое, но и политическое значение для современного западного мира. Поэтому Штраус крайне отрицательно смотрел на свойственную многим его коллегам по академическому миру склонность непочтительно относиться к великим государственным мужам прошлого и настоящего; он всеми силами противодействовал стараниям тех, кто стремился любой ценой принизить и приуменьшить значение политической истории и считал замыслы и поступки простых граждан и великих государственных деятелей всего-навсего парадным фасадом, за которым скрываются подлинные и притом безличные движущие силы современного мира — экономические, социальные и психологические⁷.

Единственно законным материалом для исследования истории политической философии для Штрауса служили тексты самих политических философов. «Мы можем знать мысль человека, — подчеркивал он, — только посредством его речей, устных или письменных»⁸. Он считал, что существуют вечно актуальные философские проблемы, общие для всех учений и школ, различия между которыми определяются подходами к интерпретации и решению этих проблем. С этой точки зрения политические сочинения, к примеру, Макьявелли представляли как ответ на сочинения политических философов древности, и в особенности на произведения «Киропедия» и «Гиерон» Ксенофонта. Локк отвечал Гоббсу, а Гоббс — Макьявелли. Соответственно, Руссо истолковывался Штраусом в свете ответа, данного Локком и Гоббсом Макьявелли и классической политической философии. Таким образом, с точки зрения Штрауса, вся история политической философии вплоть до Ницше и Вебера складывалась из прочтения, осмысления и ответной реакции на великие произведения западной политической традиции. Единственные мыслители, сочинения которых Штраус не рассматривает в контексте предшествующих политических учений, — это древнегреческие историки Фукидид и Ксенофонт и философы Сократ, Платон и Аристотель, поскольку им не приходилось иметь дела с интерпретацией идей, высказанных предшествующими

⁶ Ницше, 1990 [1874]: 168—169.

⁷ На это, в частности, справедливо обращает наше внимание один из ведущих современных исследователей политической философии Лео Штрауса Томас Пэнгл (Pangle, 2006: 82).

⁸ Strauss, 1978 [1964]: 50.

политическими философами. Объясняется это тем, что до Сократа, Платона и Аристотеля в греческом мире традиции политической философии просто-напросто не существовало. В действительности именно они и были теми самыми философами, чьи учения наряду с сочинениями Фукидида и Ксенофонта легли в основу классической политической философии и оказали решающее влияние на формирование западной идейно-политической традиции⁹.

История политической философии, находившаяся в центре исследовательских интересов Штрауса, одновременно служила для него средством для интеграции комментариев к классическим текстам в более масштабный политический проект. Для этого он предложил определенную стратегию интерпретации классических текстов по истории политической философии, основанную на выявлении в них двух уровней письма — «эзотерического», рассчитанного на немногих «посвященных», действительно достойных заниматься философией, и «экзотерического», рассчитанного на более широкие круги публики. Штраус считал, что классики политической философии, опасаясь преследований со стороны сограждан (не стоит забывать, что перед их глазами всегда стояла трагическая судьба Сократа), прибегали к эзотерической манере письма, которая позволяла им скрывать свои мысли от непосвященной толпы и добиваться тем самым «мирного сосуществования» философов и политического сообщества¹⁰. Одной из форм проведения подобной философской политики выступало написание комментариев к произведениям признанных мыслителей прошлого, которое давало философам возможность выражать свои мысли, не высказываясь при этом напрямую от своего собственного имени. Так, интерпретируя сочинения средневекового мусульманского мыслителя аль-Фараби, Штраус подчеркивал, что для мыслителя наилучший шанс завуалировать свои спорные политические суждения заключается в том, чтобы выдать их за комментарии к трудам других мыслителей. Именно так поступал Фараби, когда рассуждал об учении «божественного Платона». По словам Штрауса,

«Фараби пользовался особым иммунитетом комментатора или историка, для того чтобы откровенно высказываться относительно важных вопросов в своих “исторических” сочинениях, а не в сочинениях, непосредственно посвященных изложению его собственной точки зрения»¹¹.

⁹ Штраус, 2000 [1954/1955]: 25—26; 2000 [1945]: 51—52.

¹⁰ Об этой особенности учения Штрауса см.: Strauss, 1988 [1952]; Strauss, 1959 [1954].

¹¹ Strauss, 1988 [1952]: 14.

Этой же стратегии письма придерживался и сам Штраус. Следуя сложившейся еще в Средние века герменевтической традиции, он облачал свои мнения по тем или иным актуальным политическим вопросам в форму комментария к произведениям величайших политических философов древности и современного мира. Тем самым Штраус, помимо всего прочего, способствовал распространению в американской политической мысли особого жанра — осмысления политических проблем, облеченного в форму герменевтического толкования важнейших текстов из истории политической философии Запада. Во многом именно благодаря успешному использованию этой стратегии Штраусу удалось добиться *двойной легитимации*, как своей собственной, так и своего труда в интеллектуальном и институциональном пространствах американской философии¹². С одной стороны, он зарекомендовал себя блестящим знатоком и тонким толкователем классических произведений, составляющих гордость и славу западной политической традиции, даже несмотря на то, что, по мнению многих комментаторов, его толкования сами зачастую носили чересчур «эзотерический» характер¹³. С другой стороны, пользуясь формой комментария как возможностью высказаться по актуальным политическим вопросам, Штраус смог представить себя в качестве философа, которому есть что сказать об актуальных вопросах современности. Благодаря сочетанию всех этих факторов Штраусу удалось не только найти свое место в академических кругах американской философии, но и создать вокруг себя группу верных учеников и последователей (Алан Блум, Джозеф Кропси, Кэрнс Лорд, Харви Мэнсфилд, Томас Пэнгл и др.), немало сделавших как для признания своего учителя в качестве политического философа «первой величины», так и для распространения его идей¹⁴.

¹² Понятие «двойной легитимации» заимствовано мною из классической статьи Мишель Ламонт «Как стать ведущим французским философом: Случай Жака Деррида» (*Lamont, 1987*).

¹³ Впрочем, сама «эзотеричность» предлагавшихся Штраусом прочтений произведений классиков политической философии Запада сослужила ему отнюдь не только плохую — безусловно, прежде всего в глазах его оппонентов, — но и хорошую службу, поскольку она стала прекрасной почвой для постоянно возобновлявшихся дискуссий о «правильной», или «адекватной», интерпретации его воззрений, что также способствовало как распространению его идей, так и интеллектуальному признанию его философии в Соединенных Штатах.

¹⁴ Характерным образцом штрауссианства применительно к истории политической философии является монументальная «История политической философии», написанная Штраусом, его непосредственными учениками, а также учениками учеников Штрауса и выполненная в методологическом и проблемно-теоретическом плане в духе его установок в области истории политической философии. Стандартное, третье издание этого коллективного

Таким образом, одной из важнейших стратегий, использованных Штраусом для легитимации своего творчества в Соединенных Штатах, стала своеобразная интерпретация классики. Вступая в заочный диалог с классиками, Штраус, в частности, переносил на себя тот престиж, который был связан с классической западной политической традицией, с авторами и произведениями, ее составляющими. Правда, здесь возникала другая проблема: как сделать чтение и комментирование «старых книг» (Штраус), написанных «великими умами» прошлого, респектабельным занятием в глазах коллег? Достижение этой цели предполагало такое соотнесение классического наследия и современности, которое могло бы убедить как коллег Штрауса по философскому цеху, так и более широкие круги американской общественности в том, что досовременному политическому мышлению, характерному для классиков политической философии, есть что поведать об актуальных проблемах современного западного мира. Вопрос о том, какого рода стратегии обращения с наследием классиков политической философии были предложены Штраусом для решения этой проблемы, мы более подробно рассмотрим в третьей части нашей статьи.

II

Несмотря на то что на протяжении всего своего пребывания в США Штраус был профессором политической науки, его деятельность на этом посту была связана с защитой и утверждением в американской интеллектуальной жизни академической дисциплины, которая была скорее антиподом политической науки. Речь в данном случае идет о политической философии и ее важнейшей составляющей — классическом учении о политике. Своим распространением в Соединенных Штатах в качестве легитимной формы исследований политического в 1950-е годы эта дисциплина была обязана деятельности таких европейских мыслителей-эмигрантов,

труда, доступное и в настоящее время, вышло еще в 1987 г. (*History of Political Philosophy*, 1987). При этом характерно то, что как построение этого *opus magnum*, созданного в рамках школы Штрауса, так и вносимые в него изменения посредством включения в последующие издания статей о новых авторах (например, об Эдмунде Гуссерле и Мартине Хайдеггере) и обновления статей о классиках политической философии (например, об Аристотеле, Бёрке, Бен-тэме и Джеймсе Милле) имели своим основанием практику написания и публикации с изменениями и дополнениями историко-философских обзоров в немецкой академической традиции. Конкретный пример: именно подобным образом строится классический курс по истории философии Фридриха Убервега (1826—1871), выдержавший начиная с XIX в. множество переизданий. В период с 1863 по 1928 г. вышло 12 переработанных изданий этого учебника. В современной форме это традиционное историко-философское издание выходит с 1980 г. и включает более 30 томов (*Ueberweg*, 1980—...).

как Ханна Арендт, Лео Штраус и Эрик Фёгелин¹⁵. Их деятельность не только способствовала тому, что специалисты, работающие в американских университетах, стали более восприимчивы к учету нормативно-ценностных моментов при исследовании политического, но и благоприятствовала изменению проблемного поля их исследований — с социально-психологических вопросов поведения масс и политических лидеров к вопросам о формах политического правления. Важную роль в утверждении академической политической философии в кругу дисциплин, ориентированных на изучение мира политического, сыграло также то, что философы-эмигранты подвергли критике теоретические и методологические посылки американской «политической науки», полагавшей, что принцип различения между фактами и ценностями есть методологическое ядро всякого научного исследования, проводимого в рамках дисциплинарной матрицы современной социальной науки. По мнению Штрауса, сама популярность этой идеи строгого различения между фактами и ценностями служила ярким примером далеко зашедшего морального упадка западной цивилизации. Именно в этом он усматривал одну из важнейших причин победы тоталитарных и фашистских диктатур в Европе в 1920—1930-е годы, равно как и потенциальных шансов на победу советского коммунизма над западным миром в «холодной войне». Чтобы этого не случилось, необходимо было «моральное перевооружение» Запада перед лицом угрозы, которую в годы «холодной войны» американские политики и интеллектуалы называли «притязаниями коммунизма на мировое господство». Штраус и другие защитники политической философии в США подчеркивали, что неспособность американской «политической науки» 1950-х — начала 1960-х годов. дать адекватный ответ на вызовы времени была во многом обусловлена методологическими изъянами, не только сужавшими ее теоретические горизонты, но и уводившими из поля ее зрения такие важнейшие аспекты классического учения о политике, как формы политического правления, характер современных тиранических режимов в их отличии от тираний Древнего мира и вопросы о природе общего блага и справедливости. В результате, как справедливо отмечает Джон Маккормик, имея в виду прежде всего уже упомянутых выше Ханну Арендт, Лео Штрауса и Эрика Фёгелина,

«эти философы превратили <...> западную историю в ресурс для изучения этих вневременных вопросов политического исследования. По их мнению, исследование природы тирании или статуса авторитета все еще сохраняло свое, и притом основополагающее,

¹⁵ См. об этом: *Kateb*, 1968.

значение. Тем самым они способствовали включению другими политическими исследователями этих тем в свою практику»¹⁶.

Таким образом, для деятельности Штрауса в качестве политического исследователя в Соединенных Штатах характерно то, что она была тесно связана с защитой и утверждением им в академическом поле Соединенных Штатов новой философской дисциплины — политической философии. При этом, вероятно, успеху этого предприятия, которое было первоначально воспринято многими американскими интеллектуалами без особого энтузиазма, способствовало то обстоятельство, что Штраус был не одинок на поприще внедрения политической философии в академическое пространство и интеллектуальную жизнь Соединенных Штатов 1950-х — начала 1960-х годов; в том же направлении действовали и многие другие ученые-эмигранты из Старого Света. Именно благодаря их совместным усилиям в Соединенных Штатах политическая философия смогла занять свое пусть не центральное, но достаточно почетное место в кругу изучающих политическое дисциплин.

Вводя политическую философию в академический обиход Америки, Штраус, как и многие его коллеги-эмигранты, оказался в весьма двусмысленном положении. Дело в том, что интеллектуальный и политический климат, сложившийся в Соединенных Штатах в конце 1940-х — начале 1950-х годов, скорее препятствовал, нежели благоприятствовал реализации их философского проекта. Речь идет об антикоммунистической кампании, получившей впоследствии название «маккартизма» по фамилии ее инициатора, сенатора Джозефа Рейнда Маккарти (1908—1957), председателя сенатского Комитета по вопросам деятельности правительственных учреждений и его постоянного Подкомитета по расследованиям. На первый взгляд подобный вывод может показаться парадоксальным¹⁷. Штраус, как и большинство других его коллег-эмигрантов, особенно тех из них, кто внес решающий вклад в создание современной политической философии в Соединенных Штатах, был последовательным антикоммунистом. Недаром Ханна Арендт в своей известной работе «Происхождение тоталитаризма», ставшей своего рода Библией «холодной войны» для интеллектуальных кругов Запада, изобразила немецкий тоталитаризм

¹⁶ McCormick, 2000: 195.

¹⁷ О феномене «маккартизма» и его роли в американской политической и интеллектуальной жизни см., в частности: McCumber, 2001; Schrecker, 1994; McCarthyism, 1973; Feuerlicht, 1972.

литаризм и сталинский коммунизм в качестве двух наиболее ярких и зловещих образцов тоталитарных обществ в политической истории XX в. В этом плане антикоммунистическая кампания, развернувшаяся в Соединенных Штатах с момента старта «холодной войны» и принявшая особый оборот с началом войны в Корее (1950—1953), могла скорее помочь, чем помешать Штраусу в реализации его замысла.

В действительности, однако, дела обстояли не столь благополучно. Как показывают современные исследования, одним из важнейших последствий маккартистской кампании начала 1950-х годов в Соединенных Штатах стало лишение американской философии ее ценностно-нормативного измерения, тесно связанного с морально-практическим отношением к обществу и политике. Не случайно, что именно в этот период с философской сцены США сходит прагматизм, то есть та самая школа мысли, которая на протяжении предшествующих пятидесяти лет не без основания считалась в Европе специфически «американским товаром» и которая всегда гордилась своей доступностью для широких кругов образованной публики и связью с практическими сторонами жизни американского общества. Также вовсе не случайно, что именно на этот период приходится подъем аналитической философии, которая в 1950-е годы становится господствующим философским течением в Соединенных Штатах. Как покажет время, осуществленное философами-аналитиками смещение исследовательского интереса в плоскость анализа языка в его приложении к различным областям философского знания на долгие годы лишит американскую философию того практического значения, на которое она с самого начала претендовала в своих отношениях с американским обществом¹⁸. Как справедливо замечает Джованна Боррадори, резюмируя критику в адрес аналитической философии¹⁹,

«аналитическим философам Венский кружок оставил в наследство несокрушимую уверенность в том, что они разрабатывают область, которая сохраняет устойчивость во времени и имеет четкие дисциплинарные очертания. Результатом явилось общее стремление разрабатывать тонкие логические проблемы, а не выдвигать новые воззрения на мир. Вся эта изощренная техника экспликации и аргументации, породившая стилистически бесцветные сочинения, стремившиеся быть как можно более объективными, оборвала

¹⁸ См. об этом: *McCumber*, 2001: 8—11, 13, 30—31 особенно.

¹⁹ Боррадори имела в виду прежде всего Ричарда Рорти, Стэнли Кейвла и Хилари Патнисма, к которым она, судя по всему, была готова добавить еще и Аласдера Макинтайра.

эпоху общедоступности американской философии. Эта эпоха началась в середине XIX в. благодаря Ральфу Уолдо Эмерсону — поэту, писателю, проповеднику унитаристской церкви, наставнику философского движения трансцендентализма — и достигла своего высшего расцвета в первые десятилетия XX в. в многогранном прагматизме Джона Дьюи»²⁰.

В области политических исследований эта тенденция к освобождению философского и социально-научного знания от всяких нормативно-ценностных аспектов находит свое выражение в формировании новой политической науки, основанной на позитивистских установках. Именно она в 1950-е годы в Соединенных Штатах завоевывает интеллектуальную гегемонию в тех областях социально-научного знания, которые были связаны с исследованием политического. Под «политической наукой» принято понимать подход к исследованию проблем политики, берущий свое начало от так называемой бихевиористской революции, произошедшей в Соединенных Штатах после Второй мировой войны²¹. В последующем этот подход не только утвердился в самих США, но и получил широкое распространение в Европе, в частности в Англии, ФРГ и скандинавских странах. Главными особенностями этой новой политической науки в том виде, в каком она сформировалась прежде всего в англоязычных странах в 1950-е — начале 1960-х годов, было то, что она представляла собой тип исследования политического поведения, институтов и процессов, ориентированный на естественнонаучные модели знания, т. е. прежде всего на объяснение и предсказание «наблюдаемого» поведения политических деятелей и масс и функционирования политических систем посредством подведения их под общие законы. Помимо принципа подведения под общие законы эта политическая наука, возникшая в США и ряде других стран под сильным влиянием логического позитивизма, основывалась также на методологических принципах эмпирической проверяемости и объективности научных теорий и положений, на признании возможности точного количественного описания и интерпретации эмпирических данных, а также их систематического накопления, что в глазах приверженцев новой политической науки служило подтверждением ее научного статуса.

²⁰ Боррадори, 1999 [1991]: 17.

²¹ При рассмотрении американской «политической науки» я опираюсь прежде всего на исследование немецкого специалиста в области политических наук Юргена Фальтера (Falter, 1982), в котором прекрасно документированы основные этапы развития этой науки, равно как и систематизированы основные положения лежащей в ее основе научно-исследовательской программы.

Этот же критерий прогрессивного прироста знания был призван отделять политическую науку от традиционной политической философии, которая, по мнению приверженцев новой политической науки, страдала от отсутствия четко установленных положений и бесконечных споров между сторонниками различных подходов к познанию политического. Наконец, главный критерий отличия новой политической науки от традиционной политической философии должен был заключаться в ее принципиально безоценочном, т. е. ненормативном характере. Согласно этому подходу, объяснение и предсказание политических событий и процессов на основе подведения их под общие законы на могло иметь ничего общего с оценкой политических явлений с точки зрения должного. Поэтому специалисты в области политической науки в соответствии со своим профессиональным кодексом обязаны были воздерживаться от вынесения каких-либо идеологических или этических суждений о мире политического. Согласно представлениям отцов-основателей американской политической науки (Габриэль Алмонд, Карл Дойч, Дэвид Истон, Дэвид Трумен), подобное «воздержание» было призвано служить одним из главных условий научного и интересубъективного характера положений новой науки. В этом плане новая политическая наука отводила себе роль бескомпромиссного оппонента традиционной политической философии, которая, по ее мнению, никогда не проводила каких-либо различий между фактическими и оценочными суждениями и потому представляла собой скорее форму нормативно-оценочного, а не объективного научного познания.

Правда, в отличие от академической аналитической философии, специалисты которой в значительной мере сознательно изолировали себя от общества и сосредоточили свое внимание на рассмотрении ограниченного круга проблем, требовавших логического и лингвистического анализа, новая политическая наука вовсе не стремилась отгородиться от политической практики «великой китайской стеной». Тем не менее сам способ связи теории и практики в рамках новой политической науки разительно отличался от того подхода к политическому, который традиционно практиковала классическая политическая философия. В рамках новой политической науки теория рассматривалась как совокупность суждений, формулирующих действующие в политике законы коллективного поведения, зная которые можно объяснить и предсказать те или иные политические события и процессы. Тем самым на место идеи морально-практического руководства человеком, свойственной классической политической философии, в современной социально-политической науке приходит мысль о необходимости применения научно обоснованной политической

теории для целенаправленного создания таких политических условий, в рамках которых можно будет добиться желаемых реакций индивидов в соответствии с объективным знанием социально-психологических законов их поведения. При таком «онаученном» подходе к сфере политического она оказывается поглощенной сферой технического²². Одним из следствий господства этой тенденции в новой политической науке становится устранение нормативно-ценностных элементов не только из нее самой, но и из политической теории, где они сохраняются лишь в завуалированной форме в виде размышлений о человеческой природе и природе человеческих институтов.

Таким образом, в отношении политической философии новая политическая наука выступила в роли своеобразной «антидисциплины»²³, не только потому, что она претендовала на монополизацию всех исследований политического, но еще и потому, что она отрицала право политической философии на существование, мотивируя это «ненаучностью» последней. Штраус, напротив, связывал обновление политической философии, которое должно было осуществляться на путях переосмысления и актуализации классики политической философии, с открытием для нее новых мировоззренческих перспектив. Поэтому нет ничего удивительного в том, что для Штрауса, в глазах которого подлинное политическое знание, воплощенное в традиции классического политического рационализма, всегда содержит в себе не только описательные, но и нормативно-оценочные моменты, достигающие своей кульминации в идее совершенного политического строя, американская политическая наука стала одним из главных идейных противников. «Дискуссия о догмах позитивизма в социальных науках, — писал Штраус, — сегодня неизбежна при объяснении значения политической философии»²⁴. При этом избранная Штраусом стратегия делегитимации притязаний новой политической науки на статус высшей, и притом единственной, легитимной формы политического знания была направлена как на дискредитацию ее теоретических притязаний, так и на выявление ее негативного влияния на политическую практику либерально-демократических обществ. В 1954 г. Штраус писал, что в современном американском обществе «потенциальные опасности для интеллектуальной свободы»

²² По поводу «онаучивания» отношений между политической теорией и практикой в условиях современной научно-технической цивилизации см., в частности: *Хабермас*, 2007 [1968]; *Schelsky*, 1963; *Gehlen*, 1957.

²³ По поводу понятия «антидисциплины» в современной социологии философии и социально-научного знания см.: *Куш*, 2002: 109 особенно; *Wilson*, 1977; *Lepenies*, 1978.

²⁴ *Штраус*, 2000 [1954/1955]: 17.

исходят не только от «людей, подобных сенатору Маккарти», но и от абсурдного догматизма академических «либералов», равно как и от позитивизма и релятивизма новой социальной науки²⁵. Таким образом, Штраусу, по сути дела, приходилось бороться на два фронта — как против адептов позитивистской социальной науки в США, так и против тех, кто подобно сенатору Маккарти под видом борьбы с «подрывной коммунистической деятельностью» разрушал в Соединенных Штатах интеллектуальную свободу и угрожал лишить исследования политического в этой стране всякой мировоззренческой перспективы, если только не считать таковой риторику воинствующего антикоммунизма.

В своих работах Штраус подверг новую политическую науку и лежащие в ее основе позитивистские установки всесторонней критике. Современные социальные науки, основанные на позитивистских принципах, писал он, считают себя «свободными от оценок» и «морально нейтральными»; они сознательно отказываются от обсуждения и решения вопроса о том, что такое добро, а что зло в политике. Быть специалистом в области социальных наук означает для их адептов соблюдать ценностной нейтралитет и наблюдать мир объективно, как бы со стороны. Тем самым для них «моральная бесчувственность выступает необходимым условием научного анализа»²⁶. Однако даже специалисты в области социальных наук не могут избежать ценностного выбора. Поэтому они ищут выход из этой щекотливой ситуации, отождествляя себя и свою деятельность с единственной из всех релевантных для ученого ценностей — с истиной.

Подобный выбор заставляет задаться вопросом о том, насколько искренне исследователи, специализирующиеся в области социальных наук, преданы идеалу ценностной нейтральности социально-научного знания. Как с известной долей иронии пишет Штраус, ему не доводилось встречать специалистов по социальным наукам, которые, будучи искренне преданы истине, не были бы в то же самое время столь же искренне преданы демократии. Утверждая, что демократия не есть само собою разумеющаяся ценность более высокого порядка, чем ее антипод, современные специалисты вовсе не хотят тем самым сказать, что обе эти ценности являются для них одинаково привлекательными. «Этическая нейтральность» специалиста в области социальных наук далека от нигилизма; скорее она исполняет для него роль алиби, призванного скрыть вульгарность и отсутствие мыслей. Утверждая, что истина и демократия пред-

²⁵ *Strauss*, 1959 [1954]: 223.

²⁶ *Штраус*, 2000 [1954/1955]: 17.

ставляют собой ценности, он вовсе не стремится побудить своего собеседника задуматься о том, почему они хороши; он хочет тем самым всего-навсего сказать, что «он, как и любой другой, склоняется перед ценностями, принятыми и уважаемыми в его обществе»²⁷. По словам Штрауса, позитивизм в социальных науках поощрял не столько нигилизм, сколько конформизм и филистерство.

Критикуя позитивистскую установку «свободы от ценностей», Штраус доказывал, что попытка изъять из политической философии ценностные суждения является не только пагубной, но и самопротиворечивой. С одной стороны, позитивизм в социальной и политической науках отвергает классическую политическую философию на том основании, что она является ненаучной, поскольку содержит определенные оценочные суждения, тогда как современная политическая наука должна быть свободной от оценок. С другой стороны, современная политическая наука делает ясный и недвусмысленный выбор в пользу определенной формы демократического правления, а именно в пользу либеральной демократии в ее американской, неякобинской версии. На этом основании последователи новой политической науки отвергают классическую политическую философию из-за ее негативного отношения к демократическому образу правления. Действительно, классическая политическая философия, признавая отдельные достоинства демократии, никогда не считала ее наилучшим политическим строем и потому предпочитала ей смешанную форму правления, сочетающую в себе отдельные черты монархического, аристократического и демократического строя. Проблема, однако, заключается в том, что эти два подхода, которых придерживается современная политическая наука, плохо согласуются друг с другом; более того, они находятся в противоречии. Действительно, если современная политическая наука, согласно своим позитивистским установкам, не в состоянии обосновывать и не вправе употреблять ценностные суждения, то она не имеет права отвергать какое-либо политическое учение на том основании, что оно является недемократическим.

Единственное средство избавления исследований политического от конформизма, догматизма и филистерства, поощряемых новой политической наукой, Штраус видел в возвращении к классическому политическому рационализму, вдохновляющемуся идеей поиска наилучшего политического строя, основанного на добродетели. Достижение классическим политическим рационализмом своей главной цели — наилучшего политического строя — ориентируется на идею человеческого совершенства и невозможно без вынесения оценочных суждений. Поэтому классический

²⁷ Указ. соч.: 19.

политический рационализм в понимании Штрауса безоговорочно отвергает идею аналитической и свободной от оценок политической науки. В отличие от нее классический политический рационализм, искренним поклонником которого Штраус был всю свою сознательную жизнь, достигал своей кульминации в формулировке оценочных суждений. Как врач не может лечить больного, не принимая во внимание различие между состоянием здоровья и болезни, так и политический философ не может способствовать улучшению жизни своих сограждан, не проводя различия между хорошим и плохим политическим строем. Более того, политическое знание в его классическом понимании не просто всегда включает в себя принципы оценки; сами эти принципы оценки должны носить не контекстуальный, а универсальный характер. Это означает, что они должны быть применимы не только к конкретным политическим режимам, существующим в определенном пространстве в определенное время, но к политическому строю как таковому. Тем самым Штраус связывает свое видение политической философии с идеей возрождения классического естественного права. На различии этих двух подходов к миру политического основана коренная противоположность аристотелевской политической науки, с одной стороны, и новой политической науки — с другой.

«Аристотелевская политическая наука, — подчеркивал Штраус, — обязательно оценивает политические вещи; знание, в котором она достигает своей кульминации, имеет характер категорического совета и увещевания. Новая политическая наука, с другой стороны, считает принципы действия “ценностями”, которые просто “субъективны”; знание, которое она передает, имеет характер предсказания и уже только во вторую очередь — характер гипотетического совета»²⁸.

В свою очередь, тезис Штрауса о необходимости возврата к точке зрения аристотелевской политической науки на политическое подводит нас к вопросу о том, как при помощи нового прочтения и интерпретации классики Штраус в 1950—1960-е гг. доказывал практическую значимость своей политической философии для американского общества и политики.

III

Главной темой социальной науки в эпоху «холодной войны» Штраус считал современную либеральную демократию в ее аме-

²⁸ Штраус, 2000 [1962]: 141.

риканской форме²⁹. Осмысление либеральной демократии как современной политической формы *par excellence*, перспектив ее развития в направлении универсального и гомогенного государства свободных и равных граждан, а также угроз, направленных на нее со стороны других всемирно-исторических сил XX в., главной из которых Штраус считал советский коммунизм, занимает одно из центральных мест в его творчестве.

Защита Штраусом идеалов либеральной демократии тесно связана с критикой теории и практики коммунизма. При том что многие исследователи считают эту критику неоригинальной и восходящей к аристократическим и антиэгалитарным выпадам против социализма, характерным для сочинений Ницше³⁰, в чем они, безусловно, были в известном смысле правы, сама эта критика проливает свет как на особенности политического мышления Штрауса, так и на избранные им стратегии легитимации своих занятий политической философией.

Штраус считал, что опыт коммунизма преподает западному миру тяжелый, но необходимый урок. Он заставляет западных интеллектуалов задуматься не только о порочности теории и практики коммунизма, но и о состоятельности самого западного проекта современности. Штраус возражал тем критикам советского коммунизма, которые утверждали, что он, представляя собой одну из конкретно-исторических форм проекта современности, расходится с либеральными демократиями Запада только в средствах его реализации, тогда как саму цель этого проекта — достижение универсального и гомогенного государства свободных и равных граждан — и либералы, и коммунисты понимают одинаково. На это Штраус отвечал, что противоборство коммунизма и либеральной демократии ни в коем случае нельзя сводить к вопросу о выборе средств. В действительности спор о средствах был только проявлением намного более фундаментальных разногласий между либералами и коммунистами относительно глубочайших и определяющих аспектов человеческого опыта и человеческого существования. С точки зрения коммунизма, «цель, т. е. общее благо человеческого рода в целом, будучи самой священной целью, оправдывает любые средства». Поэтому все, что «способствует достижению этой священной цели, оказывается причастным этому ореолу священности и потому само становится священным». Напротив, все, что «препятствует дости-

²⁹ Согласно Штраусу, современная демократия — это «демократия, которая функционирует в рамках индустриального массового общества и характеризуется партийной системой» (*Strauss*, 1959: 306).

³⁰ См.: Уэйт, 1991: 195; Drury, 2005: IX и др.

жению этой цели, является дьявольским». Понимание этого обстоятельства, по мысли Штрауса, заставляет осознать, что «существует различие не только в степени, но и в принципе между западным движением и коммунизмом, и это различие, по всей видимости, касается морали, выбора средств». Более того, расхождения между коммунизмом и либеральной демократией лежат намного глубже. Штраус считал, что в отличие от коммунизма цивилизационный выбор Запада не может определяться исключительно ответом на вопрос о том, какие средства являются адекватными для создания «универсального и процветающего государства свободных и равных мужчин и женщин». Претензии коммунизма на мировое господство бросают зловещий отблеск и на саму эту цель, и заставляют усомниться в ее универсальности. Эти выводы, к которым приходит Штраус в итоге своего анализа идейных аспектов противоборства между коммунизмом и либеральной демократией, были выдержаны строго в духе консервативной политической теории, одним из ярких представителей которой в XX в. являлся и он сам. Тот приговор, который он выносил коммунизму, был совершенно четким и недвусмысленным и обжалованию для него не подлежал. Опыт коммунизма, писал Штраус, подсказывает нам, что

«никакие кровавые или бескровные изменения общества не в силах уничтожить зло в человеке: пока будут существовать люди, будет существовать злоба, зависть и ненависть. <...> По той же самой причине больше уже нельзя отрицать, что коммунизм, до тех пор пока он будет оставаться коммунизмом не на словах, а на деле, будет железным правлением тирана, смягченным или усиленным страхом перед дворцовыми переворотами. Единственное ограничение, к которому Запад может питать определенное доверие, — это страх тирана перед колоссальной военной мощью Запада»³¹.

Безусловно, сама по себе антикоммунистическая риторика составляла неотъемлемую черту американской интеллектуальной жизни 1950—1960-х годов, точно так же, как антиимпериалистическая и антиамериканская риторика была средоточием советской пропаганды этого периода. Отдал должное духу времени и Штраус, тем более что в его устах инвективы против мирового коммунизма были не данью политической моде, но искренне выношенным убеждением³². Тем не менее в условиях маккартизма 1950-х годов

³¹ *Strauss*, 1978 [1964]: 5.

³² Вкрапления подобного рода риторики можно встретить во многих его работах 1950—1960-х годов, однако наиболее ярким ее образцом может служить введение, написанное Штраусом к своей работе «Город и человек», опублико-

и советско-американского соперничества 1960-х годов, когда только ленивый или же нестигаемый сторонник Москвы из числа многочисленных американских коммунистов не позволял себе антикоммунистических выпадов, этого было явно недостаточно для того, чтобы доказать не только теоретическую, но и практическую значимость своей философии для американской интеллектуальной элиты. Развернутая Штраусом довольно абстрактная критика теории и практики коммунизма, будучи своего рода свидетельством лояльности и благонадежности в той напряженной политической атмосфере, в которой жили как простые американцы, так и политическая и интеллектуальная элита США в 1950-е годы, не могла служить автоматическим пропуском для вхождения в ее ряды. В этих условиях Штраус избрал иную, более эзотерическую стратегию утверждения политической значимости своего философского проекта. А именно, он выдвинул казавшийся на первый взгляд достаточно спорным тезис о том, что между древним и современным либерализмом существует пусть отдаленное, но родство, которое обусловлено исторической преемственностью республиканского идеала. Если в древности республиканским идеалом служила смешанная форма правления, или аристократическая республика, то либеральная демократия в ее американской форме является ее законной, хотя и дальней родственницей в условиях современности. Несмотря на то что либерализм древних, основанный на идее человеческого совершенства, существенно отличался от современного либерализма, основанного на идее универсальной свободы, между ними сохранилось и много общего, прежде всего потому, что сами идеи современных либералов вели свое происхождение от западной политической традиции, а также потому, что, как писал Штраус, «существует прямая связь между понятием смешанного государственного строя и современным республиканизмом»³³. Обосновывая правомерность подобных параллелей, Штраус писал, что для таких отцов-основателей современной демократии, как Спиноза, Монтескьё, Руссо и Джефферсон, демократия с ее ориентацией на свободу для всех была тесно связана с идеей политического строя, основанного на добродетели, и даже с «идеей аристократии, расширившейся до универсальной аристократии»³⁴.

ванной в 1964 г., т. е. всего спустя два года после знаменитого Карибского кризиса, спровоцированного соперничеством двух сверхдержав, когда мир стоял на грани термоядерного уничтожения. Быть может, именно этими воспоминаниями о едва не состоявшемся Армагеддоне объясняется подчеркнутую патетический тон, выбранный Штраусом для разоблачения «коммунистической угрозы» (Strauss, 1978 [1964]: 1–12).

³³ Strauss, 1968 [1962]: 15–16.

³⁴ Strauss, 1968 [1961]: 4.

По мнению Штрауса, именно на этой общей почве и могли бы сойтись аристотелевская политическая наука и современная либеральная демократия.

Таким образом, актуальность классического учения о политике для теории и практики современной либеральной демократии Штраус связывал с преемственностью, существующей между идеей смешанного образа правления в древности и идеей либеральной демократии в современном мире³⁵. Основой легитимации занятий классическим наследием была мысль о том, что античный идеал смешанного строя и современная либеральная демократия являются конкретно-историческими воплощениями одной республиканской идеи, от жизнеспособности которой зависит жизнеспособность западного мира в его противостоянии коммунизму.

Однако, по мнению Штрауса, те услуги, которые классическое учение о политике способно оказать современной либеральной демократии, этим не ограничивались. Оно отличается умеренностью, продиктованной пониманием того, что политика не всемогуща, что она очень редко достигает своих целей, что только крайне маловероятное стечение обстоятельств может привести к воплощению в жизнь совершенного политического строя и что высшее благо достижимо только в той по существу своему аполитичной форме, которую классики именовали теоретическим или созерцательным образом жизни (*bios theōretikos*). Поэтому классическая политическая философия, будучи «свободна от всякого фанатизма, так как она знает, что зло не может быть искоренено и потому ожидания от политики должны быть умеренными»³⁶, способна служить превосходным противовесом от стремления раз и навсегда решить все человеческие проблемы при помощи сугубо политических средств. Штраус полагал, что именно такая форма консервативной политической теории, в основе которой лежат отрицание всемогущества политики и идея принципиальной ограниченности тех целей, которых можно достичь с ее помощью, крайне важна для американского общества периода «холодной войны». Это давало ему право утверждать, что в рамках его философского проекта защита

³⁵ Безусловно, для проведения подобного рода параллелей у Штрауса были определенные основания. Идеал республиканского образа правления, основанный на сбалансированной конституции и восходивший к римскому идеалу свободного государства и свободного гражданина, пользовался в Новое время большой популярностью. Как отмечает Квентин Скиннер, после реставрации британской монархии и Палаты лордов в 1660 г. «идеал смешанной и сбалансированной конституции оставался в центре проектов так называемых республиканцев XVIII в. и в конце концов был воплощен и освящен в конституции Соединенных Штатов Америки (с той только разницей, что монархический элемент был заменен здесь президентским)» (Скиннер, 2006 [1998]: 41).

³⁶ Штраус, 2000 [1954/1955]: 26.

современного республиканизма в форме либеральной демократии американского, то есть неякобинского образца является неотъемлемым моментом возрождения аристотелевской политической науки³⁷. В то же самое время, характеризуя себя как защитника либеральной демократии с консервативных позиций, Штраус вовсе не собирался превращаться в ее бездумного апологета; напротив, он полагал, что защита ценностей либеральной демократии должна сопровождаться четкой и недвусмысленной диагностикой тающихся в ней опасностей³⁸. «Именно потому, — писал Штраус, — что мы являемся друзьями и союзниками демократии, нам непозволительно быть ее лъстцами»³⁹.

Это настроение критической лояльности, практиковавшееся Штраусом по отношению к конституции и политической системе США, переняли у него его ученики и последователи, которые, оставаясь верными духу политической философии Штрауса, внесли тем не менее важные содержательные коррективы в его понимание политической философии как истории политической философии. Если для Штрауса как историка политической философии статус классики имели прежде всего идеи и сочинения отцов-основателей классического учения о политике — Фукидида, Ксенофонта, Сократа, Платона и Аристотеля, — то многие его ученики и ученики его учеников, разделяя его подходы к исследованию истории политической философии, перенесли центр тяжести своих интересов на исследование американской политической мысли, придавая при этом первостепенное значение идеям отцов-основателей Соеди-

³⁷ В подчеркивании неякобинского характера либеральной демократии в Америке у Штрауса можно найти много общего с идеями его соотечественницы Ханны Арендт, которая в книге «О революции» (1963) усматривала превосходство Американской революции 1776 г. над Французской революцией 1789 г. в том, что первая избежала искушения, поддавшись которому совершила «грехопадение» вторая, а именно: американская революция была нацелена исключительно на решение политического вопроса, т. е. на учреждение политической свободы посредством создания новой конституции, в основе которой лежала идея разделения властей, предложенная Монтескье, и не смешивала его с «социальным вопросом». Именно подобное смешение привело к «грехопадению» Французской революции, тогда как, напротив, «социальный вопрос в форме ужасающего пауперизма масс едва ли играл какую-либо роль в американской революции» (Arendt, 1963: 24).

³⁸ Согласно Штраусу, опасности, тающиеся в современной демократии, — это опасности двоякого рода: во-первых, опасности для самой демократии, связанные с угрозой ее перерождения в тиранию, и опасности для человеческого совершенства, исходящие от угрозы существенного понижения в условиях массовой демократии представлений о том, что собой должен представлять высший человеческий тип (Strauss, 1959: 306).

³⁹ Strauss, 1968 [1962]: 24.

ненных Штатов Америки, послужившим основой как Конституции США, так и политической системы этой страны. Подобный поворот от классики «древних» к классике «новых» в лице отцов-основателей США был инициирован еще самим Штраусом, о чем свидетельствуют его работы 1960-х годов⁴⁰. Этому способствовала не только критическая лояльность Штрауса к американской конституции и политической системе США, но и растущее политическое влияние Америки в мировой политике, которое становилось всё более очевидным после окончания Второй мировой войны. В центре же американской политической жизни, согласно Штраусу, как раз и стояли Конституция США и ценности, лежащие в ее основе. Выявление значения конституции как основного закона, определяющего основополагающие параметры не только американской политической системы, но и жизни всего американского общества в целом, вело в данном случае к выяснению тех моральных целей, образа жизни и человеческих типов, которые полагались конституцией как высшие стандарты человеческой жизни вообще и американского общества в частности и могли быть использованы для оценки перспектив развития Америки в настоящем и будущем. Изучение эпохи основания государства вообще является для историка политической мысли довольно плодотворным занятием, потому что позволяет ему понять архитектуру государственного здания в момент его закладки. Однако в случае с Конституцией США это обстоятельство подкреплялось еще и тем, что основание США и создание их основного закона осуществлялось людьми недюжинного ума и проницательности, хорошо знакомыми как с классической, так и с современной им политической мыслью. Все эти обстоятельства, вместе взятые, позволяют, по мнению Штрауса и его учеников, видеть в отцах-основателях США не только выдающихся государственных мужей, но и своего рода классиков американской политической мысли современной эпохи⁴¹. Более того, в такого рода повороте к истолкованию и актуализации политической мысли отцов-основателей США, связанном с довольно радикальным переосмыслением самого понятия классики применительно к истории политической мысли, нашли свое отражение и особенности развития политической науки в Соединенных Штатах. Как справедливо отмечал известный немецкий политолог Пауль Ноак, в отличие от европейской политической науки, центрированной на истории идей, американская политическая наука с са-

⁴⁰ См., в частности: *Strauss*, 1962.

⁴¹ В данном случае я опираюсь на оценку значения американского конституционализма и сочинений отцов-основателей США для исследований Штрауса и его учеников, данную Томасом Пэнглом (*Pangle*, 2006: 104—105).

мого начала представляла собой учение о правлении и уделяла первостепенное внимание Конституции США и ее роли в основании американского общества и порядка правления⁴². Этому духу остались верны и ученики, и последователи Штрауса, которые посвятили целый ряд работ политической мысли отцов-основателей США: Александра Гамильтона, Джеймса Мэдисона и Джона Джея. Иными словами, ценности, заложенные в Конституции США и сочинениях ее авторов, стали исходным пунктом трансформации штрауссианского проекта политической философии как истории политической философии; они же послужили для его учеников и последователей базисными предпосылками исследований в области истории политической мысли. В этом ученики Штрауса, безусловно, сохранили верность его собственным установкам, в основе которых всегда находилось отрицание возможности и плодотворности нейтрального в ценностном отношении подхода к исследованию истории политической мысли. Тем самым были созданы условия для укоренения и глубокой трансформации философского проекта Штрауса на американской академической почве и одновременно — для еще одного переосмысления понятия «классика» на почве истории политической философии.

Литература

Боррадори Дж. Американский философ: Беседы с Куайном, Дэвидсоном, Патнэмом, Нозиком, Данто, Рорти, Кейвлом, МакИнтайром, Куном / Пер. с англ. М.: Дом интеллектуальной книги: Гнозис, 1999 [1991].

Куш М. Социология философского знания: конкретное исследование и защита // *Логос*. 2002. № 5/6. С. 104—134.

Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни [1874] // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. / Пер. с нем. М.: Мысль, 1990. Т. 1. С. 168—169.

Скиннер К. Свобода до либерализма / Пер. с англ. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2006 [1998].

Уэйт Дж. Политическая онтология // *Философия* Мартина Хайдеггера и современность. М.: Наука, 1991.

Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология» / Пер. с нем. М.: Практикс, 2007 [1968].

Штраус Л. О классической политической философии [1945] // Штраус Л. Введение в политическую философию / Пер. с нем. М.: Практикс, 2000.

Штраус Л. Что такое политическая философия? [1954/1955] // Штраус Л. Введение в политическую философию / Пер. с нем. М.: Практикс, 2000.

Штраус Л. Эпилог [1962] // Штраус Л. Введение в политическую философию / Пер. с нем. М.: Практикс, 2000.

⁴² Noack, 1978: 21.

Arendt H. On Revolution. N. Y.: Penguin Books, 1963.

Drury S. The Political Ideas of Leo Strauss. Updated ed. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2005.

Falter J. W. Der Positivismusstreit in der amerikanischen Politikwissenschaft. Köln-Opladen, 1982.

Feuerlicht R. S. Joe McCarthy and McCarthyism: the Hate that Haunts America. N. Y.: McGraw-Hill, 1972.

Gehlen A. Die Seele im technischen Zeitalter. Sozialpsychologische Probleme in der industriellen Gesellschaft. Hamburg: Rowolt, 1957.

History of Political Philosophy / Eds. L. Strauss, J. Cropsey. 3rd, rev. ed. Chicago: Chicago University Press, 1987.

Kateb G. Political Theory: Its Nature and Uses. N. Y.: St. Martin's Press, 1968.

Lamont M. How to Become a Dominant French Philosopher: The Case of Jacques Derrida // *The American Journal of Sociology*. November. 1987. Vol. 93. No. 3. P. 584—622.

Lepenies W. Wissenschaftsgeschichte und Disziplinengeschichte // *Geschichte und Gesellschaft*. 1978. No. 4. S. 437—451.

Liebmann O. Kant und die Epigonen: Eine kritische Abhandlung. Stuttgart: Carl Schoeber, 1865.

McCarthyism / Ed. T. Reeves. Hinsdale (Ill.): Dryden Press, 1973.

McCormick J. P. Political Science and Political Philosophy: Return to the Classics. No. Not Those! // *Political Science and Politics*. June 2000. Vol. 33. No. 2. P. 194—197.

McCumber J. Time in the Ditch: American Philosophy and the McCarthy Era. Chicago: Northwestern University Press, 2001.

Noack P. Was ist Politik? Eine Einführung in ihre Wissenschaft. München; Zürich: Knaur, 1978.

Pangle T. L. Leo Strauss: An Introduction to His Thought and Intellectual Legacy. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006.

Schelsky H. Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation. Köln-Opladen, 1961.

Schrecker E. The Age of McCarthyism: A Brief History with Documents. N. Y.: St. Martin's Press, 1994.

Strauss L. An Introduction to Heideggerian Existentialism // Strauss L. The Rebirth of Classical Political Rationalism, ed. by T. L. Pangle. Chicago: The University of Chicago Press, 1989.

Strauss L. Gesammelte Schriften, hrsg. von H. Maier. Bd. I—... Stuttgart; Weimar, 1996—...

Strauss L. Liberal Education and Responsibility [1962] // Strauss L. Liberalism Ancient and Modern. New York: Basic Books, 1968.

Strauss L. On a Forgotten Kind of Writing [1954] // Strauss L. What is Political Philosophy? Chicago: Chicago University Press, 1959.

Strauss L. Persecution and the Art of Writing. Chicago; L.: Chicago University Press, 1988. [1st ed. 1952].

Strauss L. The City and Man. Chicago: The University of Chicago Press, 1978 [1st ed. 1964].

Strauss L. What is Liberal Education? [1961] // Strauss L. Liberalism Ancient and Modern. New York: Basic Books, 1968.

Strauss L. What is Political Philosophy? Chicago: Chicago University Press, 1959.

Ueberweg F. Grundriß der Geschichte der Philosophie. Völlig Neubearb. Ausg. Basel: Schwabe, 1980—...

Wilson E. O. Biology and Social Science // *Daedalus*. 1977. No. 2. P. 127—140.

Александр Ф. Филиппов

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМА КЛАССИКИ

Классические понятия социологии, будь то понятие общества, государства или действия, имеют давнее философское происхождение. Социология возникла в лоне практической (моральной и политической) философии, которую лишь сравнительно недавно начали называть социальной. Политическая философия и в наши дни является важным теоретическим ресурсом социологии. Пытаясь разобраться в ней более глубоко, социологи нередко выходят за границы дисциплины и снова обращаются к философским источникам. Философская разработка категорий чаще всего привлекает их тем, что более внятно представляет работу с понятиями как таковую, а не только в связи с осмыслением конкретных обстоятельств социальной жизни. Понятия предполагают определенные логические возможности, которые, конечно, по-разному используются философами, социологами и политическими теоретиками. Основные, классические понятия позволяют задать область производства значимых высказываний. Но как быть, если сами эти понятия — философские? Конечно, можно сказать, что на самом деле они не одни и те же, что генеалогия понятия не определяет в полной мере его дальнейшую судьбу в рамках другой науки. Однако такое суждение было бы чрезмерно поспешным. Не только происхождение социологических понятий является философским, но и последующая работа с этими понятиями именно социологов до известной степени является философской работой. Деление дисциплин по рубрикам в соответствии с привычным отнесением к тому или иному разряду авторитетных теоретиков вряд ли существенно поможет прояснить суть дела: скорее наоборот: правильное понимание крупных мыслителей

потребуется более свободного отношения к границам дисциплин, чем это бывает принято в рамках устоявшихся представлений, влиятельной историографии науки и привычных учебных курсов. Обычно именно здесь, в сфере устоявшегося, — место классики и классиков. Но, возможно, не менее продуктивным было бы исследование концепций тех мыслителей, которых *сейчас*, как правило, не считают социологами, но которые *в свое время* находились в одном интеллектуальном поле, в одной коммуникативной среде с будущими классиками социологии и по-своему участвовали в ее становлении. Несмотря на то что эти авторы могли бы считаться без дальнейших уточнений классиками политической науки и политической философии, в другой исследовательской перспективе они оказываются более сложными фигурами, в немалой мере представляющими и социологический интерес. К таким авторам относятся Карл Шмитт и Лео Штраус. В сочинениях Шмитта мы находим любопытные суждения о классических понятиях, но в полной мере оценить их значение мы можем только в связи с более широкой теоретико-социологической проблематикой. Сочинения Штрауса позволяют увидеть весь комплекс политико-социологических понятий и тем в совершенно ином — но также по-своему классическом! — философском ракурсе.

Изложение делится на две части. В первой мы рассматриваем роль *политического* в социологической теории; во второй — опираясь преимущественно на политическую философию Карла Шмитта и Лео Штрауса, выясняем особое значение классических политических понятий. Обе части связаны между собой исследованием ключевой проблемы: что такое социальная жизнь и социальный порядок, в каких понятиях они могут быть описаны и что сообщает этим понятиям и высказываниям статус классических? Таким образом, в первой части сделана попытка в развернутом виде представить то, что образует исходную позицию нашего изложения: дисциплинарные членения условны, фундаментальная проблематика социологии и фундаментальная проблематика политической философии в значительной степени одна и та же. Во второй части мы проясняем статус классических понятий, задающих это единство социологической и политико-философской тематики. Мы опираемся на сочинения крупных политических мыслителей, которые могут быть названы классиками политической философии и которые, в свою очередь, стремятся содержательно определить статус классики. В той перспективе, которую мы избрали, их рассуждения оказываются актуальными именно для прояснения классической проблематики теоретической социологии.

1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ И ОБЩАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Распространенная точка зрения на структуру социологии состоит в том, что в ней вычленяют общую социологическую теорию, отраслевые социологии и прикладные социологические исследования¹. Сколь бы ни было это членение неудовлетворительно по существу, сколь бы ни были смутны представления о том, где и как провести разграничительные линии между разными сферами этой дисциплины, одно, кажется, не подвергается сомнению: социология семьи, социология науки, социология права, социология культуры и т. п. суть *самостоятельные и равноправные* отрасли научного знания. В этот ряд было бы соблазнительно поставить и социологию политики. Действительно, подобно тому, как люди вступают в брак, занимаются научными исследованиями, ведут судебные тяжбы, усваивают и творят ценности культуры, они также вступают в политические партии и движения, голосуют на выборах или некоторым иным образом проявляют свою политическую волю. Таким образом, политическая социология должна была бы оказаться одной из многочисленных особых социологий, уступаю-

¹ В советские времена эта трехчленная схема была предметом одной из самых острых дискуссий в отечественной науке. Подлинным ее источником был американский структурный функционализм, один из крупнейших представителей которого, Толкотт Парсонс, отстаивал значение общей теории, а другой видный теоретик, Роберт Мёртон, обосновывал значение теорий «среднего радиуса действия» (или, как у нас было принято переводить прежде, «среднего уровня»), т. е. вот этих самых отраслевых социологий (Merton, 1967). Структурный функционализм был в 1960-е годы успешно усвоен в нашей науке и адаптирован для местных условий. Но всякие поползновения социологов сделать более широкие теоретические выводы из своих исследований встречали отпор. Дело в том, что «общей социологической теорией» тогда официально был объявлен исторический материализм. Вопрос стоял достаточно жестко: кому именно будет позволено интерпретировать «истмат» применительно к социологии и могут ли в социологии использоваться понятия и ходы мысли, не встречающиеся у классиков марксизма и в советской философской литературе? Именно поэтому такое внимание было привлечено к трехчленной схеме и значению каждого ее компонента. Сейчас эта дискуссия может показаться малоинтересной, но только потому, что марксизм перестал быть официальной идеологией. Сами же по себе аргументы, касающиеся взаимоотношения общей теории и отраслевых социологий, а также правомерности всей схемы как таковой не потеряли смысла. Вопрос о том, может ли общая социологическая теория развиваться «в чистом виде», безотносительно к конкретике (отраслевых и прикладных) исследований, широко обсуждается в западной литературе. В отечественной литературе с начала 1990-х годов дискуссии практически сошли на нет. Подробнее см.: Филиппов, 1997; 2006.

шей по уровню генерализации более общим теориям, представленным в современной социальной науке².

Дело в том, что современный человек, кроме, разве что, профессиональных политиков в узком смысле слова, не отдает себя политической деятельности целиком. Рабочее время он проводит там, где протекает его неполитическая профессиональная деятельность, а свободное время — гораздо чаще в кругу семьи, в местах развлечений, в путешествиях, в церкви, нежели на избирательных участках и партийных собраниях. Его отношение к политике и поведение в ней действительно являются далеко не первостепенными в ряду возможных занятий. Отсюда и определения политической социологии, подобные тому, которое предлагал в авторитетном «Словаре социальной мысли XX века» Томас Боттомор:

«Предметом этой дисциплины первоначально было изучение политических партий, электоральных систем и электорального поведения, социальных движений, политического лидерства и элит, бюрократии, национализма и формирования национальных государств, типов политических систем и политического изменения»³.

Разделение социологии на общую теорию и теории среднего радиуса действия соответствует разделению самих сфер социальной жизни, единство которых может быть постигнуто только на уровне теоретических абстракций.

Получается, что в идеальном случае *сначала* следовало бы обратиться к общей социологии, рассмотреть основополагающие характеристики социальных действий, взаимодействий и групп, т. е. основные черты того социального, которое *затем* более специальным и ограниченным образом изучала бы социология политики. Однако выстроить такое изложение — от общей социологии к частной, от общих характеристик взаимодействия к характеристикам взаимодействия политического — значит слишком быстро оказаться в области упрощенных теоретических решений. Даже если мы не будем обращаться к общей социологии, а только предположим, что социология политики должна рассматриваться как «одна из» социологий, это также не будет вполне удовлетворительным подходом.

² О том, что «социальная наука» и «социология» понятия далеко не тождественные, см.: Терборн. 1994. Тем не менее мы вынуждены исходить из того, что в настоящее время, несмотря на повсеместную институционализацию социологии, ее границы как дисциплины чрезвычайно размыты. Отнесение тех или иных концепций или понятий к социологии или к более широко понимаемой социальной науке — дело в значительной степени конвенциональное.

³ Bottomore, 1993: 486. Ср. также весьма сходные суждения Нейла Смелзера в популярном руководстве по социологии: Smelser, 1968: 27—28.

Ведь политика, как и религия, относится к тем сферам социальной жизни, которые отнюдь не всегда поддаются столь ограниченному истолкованию. Правда, в наши дни для множества людей религия и политика не являются всепоглощающими областями действия и взаимодействия, однако, во-первых, некогда они такими все-таки *были*, а во-вторых, они и до сих пор сохраняют способность такими *стать*, более того, то и дело действительно такими *становятся*. В нашей стране в последнее десятилетие прошлого века мы не раз переживали такое состояние, когда то и дело приходилось слышать о высокой *политизации* населения. А что это значит, если не придирается к далеко не самому удачному слову обиходного словаря публицистики? Только одно: политика, политические вопросы в какой-то момент становятся для многих людей более важными, несравненно более значительными, чем их неполитическая профессиональная деятельность, семья, развлечения и вера. Когда мы слышим, что «пошел брат на брата», то понимаем, что политика оказалась сильнее семейных уз, а «вперед пролетарий за дело свое» значит совсем не то, что наемному работнику предлагают встать наконец к станку.

Отличие религии и политики от других сфер социальной жизни можно сначала самым поверхностным образом охарактеризовать как противоположность (*потенциально*) основополагающего, сквозного жизнеустройства и отдельных, особенных занятий. При этом именно политика есть способ *совместной* жизни людей большими общностями *par excellence* (тогда как религиозное ведение жизни в современном обществе не исключает ни сугубо индивидуальной религиозности, ни малых общин). И если сейчас политика представляется нам лишь отдельным, ограниченным родом занятий, то известны ведь и другие социальные устройства, как те, что ставят человека в полную зависимость от верховной политической власти, не допуская его деятельного участия в ней, так и те, что востребуют его целиком именно для активной политической деятельности. Должна ли социология принимать в расчет такие типы социальности?

Известно, что существуют сравнительные социологические исследования, социология тесно переплетена с социальной антропологией, есть историческая социология, ориентированная именно на досовременные общества⁴. И все-таки базовая социологическая концептуализация происходит изначально на материале современного Запада, причем она выстраивается именно для осмысления отличий современного Запада от досовременного.

⁴ См., например, классическое исследование по политической антропологии: Эванс-Причард, 1985.

«Социология, — говорит Юрген Хабермас, — возникает как теория буржуазного общества: на ее долю выпадает задача объяснить протекание и аномические формы проявления капиталистической модернизации добуржуазных обществ»⁵.

Именно социология, по словам Хабермаса, есть в первую очередь наука о кризисе перехода от традиционных к современным обществам, именно она, единственная из социальных дисциплин, сохранила связь с проблемами всего общества. Иными словами, социология становится социологией одновременно с тем, как современность становится модерном⁶, она представляет собой совершенно новую попытку постигнуть общество как общество, а не только его экономику, политику, искусство или религию. Она претендует на особое место в ряду установившихся дисциплин. Какова бы ни была в разных обществах и в разные исторические периоды роль политики как объемлющей сферы, основные понятия политической социологии и социологии вообще изначально привязаны именно к разделению сфер социальной жизни, к современному дифференцированному обществу. Но достаточно ли нам этой простой констатации?

Ведь если *современное* общество в значительной степени сформировалось *также и* под воздействием политических теорий, то они, в свою очередь, в значительно большей степени отягощены грузом традиции, чем это явлено в социальных структурах и формах политической организации. Для социологической теории, безусловно, важны, например, исследования политической организации в так называемых примитивных обществах или высоко-развитых, но в высшей степени «незападных» политических системах Дальнего Востока. Однако сейчас мы хотим акцентировать иное: в теориях, в описаниях общества привычный многим поколениям (и даже многим десяткам поколений) словарь политических описаний продолжает нередко использоваться непосредственно в качестве того неотчуждаемого достояния, совместное распоряжение которым позволяет гуманитариям если и не договариваться, то хотя бы разумно дискутировать между собой. Социология отнюдь не исключена из этого, как принято теперь говорить, дискурса. Она наследует политической философии Запада и в ретроспективе обнаруживает свои непосредственные истоки у Платона и Аристотеля, у Гоббса и Руссо, Локка и Юма, Кондорсе и Сен-Симона, не говоря уже о Канте, Фихте и

⁵ Habermas, 1981: 21.

⁶ См.: Рамштаedt, 1994: 55—56.

Марксе⁷. Таким образом, понятия современной политической социологии, изначально создаваемой для описания современного западного общества, многослойны. Их нельзя ни правильно изложить, ни правильно применить вне широкой теоретической традиции⁸.

Но что значит «поместить в контекст традиции»? Это значит связать современные теории с наследием классиков мысли. Тогда о какой классике может идти речь? О классике собственно социологической? Однако в собственно социологической классике нет *отдельной* политической социологии, а те образцовые труды по политической социологии, которые в наши дни могут называть классическими, безусловно, заслуживают внимания, но несопоставимы по основательности с социологической классикой как таковой. Сформулируем это еще раз: если мы будем исходить из того, что политика — одна из сфер жизни общества, тогда ей должна соответствовать «политическая социология» *среднего уровня*, а лучшие работы по праву должны называться классическими. Если мы будем исходить из того, что *политическое* некоторым образом равно социальному, тогда может получиться, что вся социологическая классика, классика общей теории, будет переинтерпретирована как классика политической социологии. Однако такое предприятие нельзя свести просто к переименованию — хотя бы потому, что политическое переставало быть равным всему социальному еще до того, как социология дифференцировалась в качестве отдельной науки. Небольшой философский экскурс поможет нам более адекватно рассмотреть часть возникающих здесь проблем.

Человек, говорит Аристотель в «Политике», «по природе своей есть существо политическое» (1253a3)⁹, и он понимает это со-

⁷ Характерны сочинения одного из самых влиятельных политических социологов Габриэля Олмонда, в которых автор стремится связать свою концепцию «гражданской культуры» с тысячелетней традицией политической философии. См., напр., его вступительную главу в кн.: *The Civic Culture Revisited*, 1989. Напротив, концепции, авторы которых намерены решительно размежеваться с «древнеевропейской традицией», оказываются маргинальными. Термин «древнеевропейский» принадлежит известному немецкому историку философии Йохиму Риттеру. Он широко использовался Никласом Луманом.

⁸ В цитированной выше словарной статье Боттомор в конце концов замечает, что после Второй мировой войны политическая социология все больше сближается с политической теорией. Если мы еще добавим, что и линии разграничения политической теории и политической философии, политической философии и социальной философии, социальной философии и общей социологической теории более чем условны (несмотря на все антифилософские филиппики многих современных социологов-теоретиков), то наше нежелание принимать слишком уж всерьез это членение на дисциплины будет еще более оправданным.

⁹ «Политика» цитируется по изд.: *Аристотель*, 1984.

вершенно буквально: только тот — человек в полном смысле слова, кто является гражданином, государство же представляет собой некоторое «общение», к которому гражданин не может не быть некоторым образом «приобщен» (1260b40). Оно «появляется лишь тогда, когда образуется общение между семьями и родами ради благой жизни (eu dzen), в целях совершенного и самодовлеющего существования» (1280b34—35). Не всякий, кто находится на территории государства и необходим ему, является гражданином, но «по преимуществу... тот, кто обладает совокупностью гражданских прав» (1278a36). Разумеется, в разных государствах при различных типах государственного устройства права распределены по-разному, так что в одних случаях понятия «гражданин» и «хороший гражданин» совпадают, а в других расходятся. Но в наибольшей степени государство соответствует своей природе тогда, когда оно «представляет собой общение родов и селений ради достижения совершенного самодовлеющего существования, которое... состоит в счастливой и прекрасной жизни» (1281a2). Общение в нем «основано на взаимной дружбе, потому что именно дружба есть необходимое условие совместной жизни» (1280b38). Таким образом, при описании любых форм государственного устройства, часто сильно различающихся между собой, Аристотель имеет в виду вот этот образец: дружба добродетельных, хотя и несовершенных граждан, составляющих большинство среди тех, кто в принципе может претендовать на участие в управлении, и образующих самодостаточное общение ради благой жизни.

Не вдаваясь более подробно в характеристику его воззрений¹⁰, мы можем, однако, зафиксировать некоторые принципиально важные для нас моменты. *Во-первых*, политическое может мыслиться (и до известной степени этому соответствует определенный род реальности) как то, что забирает человека целиком, — не потому,

¹⁰ Мы вычленим лишь одну линию взаимосвязанных рассуждений, которые, как известно, куда более сложны и дают намного более детальную картину и реальной жизни греческих полисов, и политических предпочтений философа. См. об этом: *Давыдов*, 1995. В анализе Ю. Н. Давыдова очень важно исследование собственно теоретико-социологической составляющей в политической философии Аристотеля. Здесь следует особо обратить внимание на: (1) проблему дивергенции и взаимообусловленности дружбы и государственности; (2) акцентирование того обстоятельства, что властные отношения понижают, по Аристотелю, все виды человеческого общения, а (3) политическая природа человека должна пониматься так, что именно в политическом общении природа человека развертывается в полной и окончательной мере; (4) наконец, вычленение у Аристотеля развернутой концепции социальной манипуляции, необходимой для устройства наилучшего государственного устройства (которое Аристотель именовал «политией»). Ср. также более раннюю публикацию: *Давыдов*, 1968.

что здесь между людьми возникает наивысшая степень единства¹¹, но потому, что именно политическое общение является для человека наиболее полноценным, здесь разворачиваются его наивысшие потенции, здесь возможны самая полная реализация высших этических добродетелей и достижение совместной счастливой жизни. Во-вторых, политическое есть то, что в известном смысле надстраивается над дружбой, т. е. таким общением равных, разумных, свободных людей, которое невозможно целиком свести ни к родственной привязанности, ни взаимному соседскому благорасположению, ни к подчинению подвластных своим господам. Подчеркнем: попыткой полноценной интерпретации Аристотеля это считать не следует; речь идет только о том, что у него также есть и что представляет первостепенный интерес для нашей темы.

Есть еще одна важная сторона дела, которую мы должны подчеркнуть, чтобы впоследствии правильно понять характер социологической теории. Политика есть дело свободных граждан. Свобода есть возможность, предполагающая способность самостоятельного целеполагания. Раб не способен к целеполаганию, он служит средством для выполнения тех целей, которые ставит свободный. Политическое и свобода, таким образом, должны были бы предполагать друг друга. Обладающий способностью свободного размышления и выбора человек действует не так, как неодушевленный предмет, испытывающий внешнее воздействие. Он действует не под влиянием внешних импульсов, но на основании соображений о благе. Кто свободно размышляет или привычно действует, когда-то свободно рассудив, что именно он считает для себя благом, тот и есть свободный человек, гражданин, член политического сообщества. «Быть политическим, жить в полисе, — говорит Ханна Арентс, — означало, что все дела улаживаются посредством слов, способных убедить, а не принуждением или насилием»¹². То, что человек, по Аристотелю, есть политическое существо, может быть правильно понято, продолжает она, только если сюда добавляется вторая характеристика: человек обладает логосом. А это, в свою очередь, предполагает, что «человеческую способность к

¹¹ Такое единство скорее свойственно семье, а что политическое единство нельзя мыслить подобным образом, это Аристотель доказывает, критикуя Платона. Вместе с тем нельзя недооценивать буквально «поглощенность политикой» по меньшей мере афинских граждан. Уже применительно к реформам Клисфена (кон. VI в. до н. э.), т. е. ко времени задолго до Аристотеля, современный исследователь констатирует: «В конечном счете не только политика должна была стать тем, что есть дело граждан, но и делом граждан должна была стать именно политика». Иными словами, политика стала преимущественным занятием гражданина как гражданина. См.: *Meier Ch.*, 1983: 126—127.

¹² *Арендс*, 2000: 37.

политической организации надо не только отделять от природного общежития... но даже подчеркнуто противопоставлять ему»¹³. Разумеется, так понимаемое свободное и политическое действие разумного человека оказывается в значительной степени привязанным к историческим обстоятельствам. Тем, кто живет в эпохи, следовавшие за расцветом свободного полиса, трудно бывает понять самый смысл подобных высказываний, не говоря уже о том, чтобы обнаружить нечто, соответствующее им в реальной политической жизни. И все-таки представление о человеке как разумном существе, рассудительно выбирающем благо и стремящемся своими действиями достигнуть этого блага, глубоко укоренено в западной политической философии. Этому противоречит, однако, возможность правления, или режима, при котором гражданин, так сказать, не вполне реализует потенциал свободы. Тем самым образуется фундаментальное напряжение: человек подлинно соответствует своей природе, когда он социален и свободен, но политическая свобода присутствует лишь в некоторых режимах, да и то не в полной мере. Между тем политическое здесь равно социальному. Подлинное общение людей, социальность как таковая возможны лишь через политическое действие.

Другой пример — философия Томаса Гоббса¹⁴, который резко противопоставляет свою точку зрения аристотелевской:

«Большинство из тех, кто писал когда-либо о государстве, исходят так или иначе из предположения... о том, что человек есть животное, способное от природы к жизни в обществе. Греки говорят *ζῷον πολιτικόν* (существо, живущее в государстве). На этом основании они строят учение о государстве таким образом, что, по их представлениям, для сохранения мира и управления всем родом человеческим нужно только, чтобы люди согласились на некоторые условия договора, которые они называют законами. Эта аксиома, хотя и принимаемая большинством, тем не менее ложна, и ошибочность ее исходит из слишком несерьезного отношения к человеческой природе. ...По природе мы ищем не сотоварищей, а уважения или выгоды, которые они нам могут дать...» (О гражданине, I, 2).

Самое простое было бы заключить, что для Аристотеля человек по природе скорее «добр», ибо природа его находит завершение в основанной на дружбе счастливой «политии», тогда как для Гоббса он скорее «зол», ибо ищет выгоды, а не дружбы. Однако все сложнее. «Человек ведь является не только физическим телом; он представляет собой также часть государства, иными словами, часть

¹³ Указ. соч.: 34.

¹⁴ Работы Гоббса цитируются по изд.: Гоббс, 1989—1991.

политического тела. И по этой причине его следует рассматривать как человека и как гражданина» (О человеке. Посвящение). Вот этот момент — самый важный. Человек есть тело в мире тел. Как тело он связан с универсумом, при этом его разум (*recta ratio*) не обманывает его (хотя и не страхует от ошибок). В мире «неразумных» тел человек движется достаточно уверенно. Однако разум удивительным образом отказывает ему в попытке преодолеть естественное состояние разобщенности. Точнее говоря, люди могут покончить с войной, но не путем *постоянного творения*¹⁵ мирного состояния, преодолевая опасные разногласия. Ведь помимо разума в человеке заложены и страсть к соперничеству, и недоверие к другим, и любовь к славе, а все это, по Гоббсу, причины войны. Если некто приходит к правильному выводу о том, что лучше всего — мирное совместное общежитие¹⁶, то здравый разум подсказывает ему также, что другой человек может ошибиться в своих выводах, поддаться действию страстей и прийти к иным заключениям. Тогда тот, кто будет рассчитывать на мирную жизнь, на соблюдение договоров и т. п., окажется в невыгодном положении перед нарушителем. Подобные мысли должны посещать каждого, кто заботится о самосохранении. Между тем именно на самосохранение нацелен здравый разум.

Естественно для Гоббса, как мы видим, не то, в чем человек наиболее полно разворачивает свою природу. Разум самосохранения тела, естественно свойственный каждому человеку, сам по себе ведет к войне при взаимодействии людей. Разумные, *естественные* законы не действуют в *естественном* состоянии. Естественное состояние заставляет стремиться к миру, поскольку опасность побуждает к самосохранению; но, едва будучи достигнут, мир снова оказывается под угрозой, потому что исчезает угроза для каждого. Само по себе общежитие неустойчиво.

¹⁵ Теологическая концепция постоянного творения (*creatio continua*), т. е. непрерывного творения мира Богом, в это же время уступает место деистическому воззрению, согласно которому сотворенный Богом мир живет далее по собственным законам, не нарушаемым божественным произволом. О сопряжении политических и богословских воззрений см.: Шмитт, 2000.

¹⁶ Разум диктует человеку: следует искать мира. Это положение Гоббс называет «естественным законом» (Левинафан, гл. XIV) и отличает его от *естественного права*, которое есть «свобода всякого человека использовать собственные силы по своему усмотрению для сохранения своей собственной природы, т. е. собственной жизни, и, следовательно, свобода делать все то, что, по его суждению, является наиболее подходящим для этого» (там же). Право состоит в свободе делать или не делать что-либо, а закон обязывает к тому или иному члену этой альтернативы. Из первого естественного закона следует, по Гоббсу, и второй: если другие люди с ним согласны, то человек должен отказаться от такой части своей свободы по отношению к ним, от какой отказываются и они по отношению к нему.

Выход, который предложил Гоббс, — общественный договор как источник мирного гражданского состояния — не был на первый взгляд новинкой для тех времен. Идея договора была хорошо известна в Средние века, на ней строилось множество концепций государства. Чаще всего средневековые авторы писали о том, как народ заключает договор с государем относительно правления. Народ, таким образом, уже предполагался как нечто существующее (как раз потому, что человек считался существом общественным). Но, согласно Гоббсу, народ только и возникает через договор, а не просто соглашение относительно права и справедливости, как писали древние авторы. Общество возникает через договор людей друг с другом. Однако в таком виде оно, как мы видели, неустойчиво; даже если предположить, что все в какой-то момент договорятся о мирной совместной жизни, оно снова рассыплется, вернется в «естественное состояние». Оно нуждается в чем-то, что удерживало бы его от распада. А это должен быть страх: не страх перед будущей войной, но страх каждого перед той силой, которая заведомо превосходит любые индивидуальные или коллективные силы и способна на неотвратимую санкцию. Друг перед другом люди такого страха испытывать не могут: ведь все они, в сущности, одинаковы. Поэтому они создают государство, «смертного Бога», Левиафана, с мощью которого ничто не может сравниться. Заключая *общественный договор* друг с другом, люди договариваются совместно отдать право карать смертью (неотчуждаемое право самосохранения!) кому-то «третьему», кто и называется сувереном (Левиафан, гл. XVII). Так физические тела — люди, выступая в качестве граждан, образуют политическое тело, верхушкой которого является суверен, гарант всех остальных договоров, а значит, и мирного общежития.

У этих рассуждений Гоббса есть два аспекта, вплотную относящихся к нашей проблематике. Если бы речь шла только о том, что суверен всех сильнее, это было бы не интересно. Во-первых, легко обнаружить, что, даже обладая огромными возможностями принуждения, он не может обладать столь же безусловными возможностями *надзора*. Суверен не может не разграничивать области, значимые для надзора, и все остальные. А во-вторых, если граждане уже живут в мире и способны договариваться, то что мешает им спокойно передоговориться относительно полномочий суверена или вообще поставить под сомнение таковые?¹⁷

¹⁷ Как известно, этот вывод в свое время сделали сначала Джон Локк, который доказывал правомерность возвращения власти обществу, а затем, куда более радикально, Жан-Жак Руссо, обосновавший идею неотчуждаемого народного суверенитета и положивший начало, с одной стороны, теориям революционного террора, с другой — всему современному социализму. О Руссо подробнее см.: Филиппов, 1998.

Сначала о первом замечании. Гоббс указывает на то, что в государстве существуют обширные сферы самодеятельности граждан, которые никак не затрагиваются сувереном, ибо он озабочен только сохранением мира и поддержанием существования государства. Обмен и торговля, образование групп, высказывание мнений — все это наталкивается только на одно ограничение: оно не должно иметь значимых последствий для сохранения государства. Второй вопрос более сложен. Гоббс отвечает на него, казалось бы, скорее декларативно. Договоры, говорит он, должны соблюдаться, и этот изначальный договор не может быть пересмотрен. Он высказывает, по видимости, уже совершенно неубедительные суждения, вроде того, что при определенных обстоятельствах пойти против суверена можно, но все равно это будет не по праву, а *что* есть право, определяет опять-таки суверен. На самом деле его доказательства отнюдь не поверхностны. Гоббс показывает, что важнейшим условием существования общества является *признание* политической власти со стороны граждан. Если в государстве, как он говорит, здравым разумом считается разум суверена, то можно спросить: считается кем? Очевидно, только гражданами. Суверен не может физическим насилием принудить их к мнениям, он способен только ограничить свободу высказывания мнений и обсуждения идей. Значит, граждане действительно должны считать, что определенные действия им не просто не под силу, но они еще и не по праву, потому что сила права не сводится к праву силы. При этом Гоббс, разумеется, попадает в ловушку: здравый разум человека есть разум самосохранения его индивидуального тела. В государстве же здравым разумом считается разум суверена, что имеет отношение к «телу государства» и его сохранению. Когда потребности самосохранения индивида вступают в противоречие с самосохранением государства, он волей-неволей пускает в ход все потенции своего интеллекта. Другое дело, что он может и в нормальной ситуации додуматься до чего-то такого, что не совпадает с «разумом суверена». В этом случае, полагает Гоббс, нужно только, чтобы это индивидуальное мнение оставалось частным, потому что, будучи высказано публично, оно может быть вредным для государства. Вместе с тем поскольку он признает, что в государстве могут появиться неразрешенные группы, то в них могут циркулировать неодобряемые мнения, в том числе и мнения, прямо опасные для государства. Чтобы государство не рухнуло, здесь опять не обойтись без добровольного признания. Но если бы речь шла только о признанности суверена, то не пришлось бы так акцентировать его чисто физическое превосходство. Итак, насилие не держится без признания, но признания недостаточно без насилия.

Мы, таким образом, оказываемся в центре проблематики политической социологии. Для Аристотеля гражданин (по крайней

мере в идеальном случае) есть гражданин лишь постольку, поскольку политика является его основным делом, а дружба граждан хотя и необходима, но далеко не исчерпывает собой их возможных взаимодействий¹⁸. У Гоббса появляется идея *преимущественно неполитического* взаимодействия граждан (то, что впоследствии у Дэвида Юма, Адама Смита, Адама Фергюсона оформится в известную концепцию *гражданского общества*), которые, однако, имеют к политике в виде верховной власти в государстве тройное отношение.

Во-первых, граждане предполагают, что государство и, следовательно, полновластие суверена, носят характер одновременно *имманентный*, ибо они были конституированы свободным человеческим решением, и *трансцендентный*, ибо это решение не может быть изменено даже совокупной волей всех.

Во-вторых, граждане, как мы видели, *признают* полновластие суверена и в то же время *склоняются* перед его физическим и интеллектуальным превосходством.

В-третьих, граждане обнаруживают, что Левиафан не только подавляет их, но и позволяет свободно и своекорыстно действовать и взаимодействовать во всех тех сферах, которые не относятся к области собственно политического решения и управления. Иными словами, поскольку само существование Левиафана также зависит от их готовности признавать полновластие суверена, постольку сама их неполитическая активность также имеет негативный политический характер. Они готовы воздерживаться от нового конституирования суверена, и в этом смысле их аполитичность носит политический характер, ибо они воздерживаются от политического решения.

Рассмотрев две альтернативные модели социального взаимодействия, сыгравшие большую роль в становлении социологии и во многом принципиально важные и сейчас для всех, кто исследует ее фундаментальные понятия, мы находим, что *общая социология* — это политическая социология, рассматриваемая и излагаемая под определенным углом зрения, поскольку она трактует основополагающие моменты социальной жизни, которые в известном смысле оказываются политическими даже тогда, когда носят откровенно неполитический характер. Политическая социология касается фундаментальных аспектов социальной жизни. Она совпадает с общей социологией, пока речь идет о ситуациях, образцовую мо-

¹⁸ Еще раз подчеркнем, что в этих рассуждениях Аристотеля нет никакого благодушия. Политическая философия греков, в первую очередь Платона и Аристотеля, — это реакция на политическое крушение Афин и исчерпание прежних духовных ресурсов единства народа. См. об этом: *Йегер*, 1997: 5–11.

дель которых мы находим у Аристотеля (человек как существо политическое, а *политическое*¹⁹ — конститутивный момент подлинно человеческого). Политическая социология безусловно совпадает с общей социологией и тогда, когда «гоббсова проблема», как это называют в социологии²⁰, решается в основном именно так, как это внешним образом и происходит у Гоббса, т. е. верховной политической власти как сверхнасилию отдается приоритет в обеспечении гарантий для мирного и, в сущности, неполитического взаимодействия граждан. Наконец, политическая социология в значительной части совпадает с общей социологией и тогда, когда на передний план выходит другой момент предложенного Гоббсом решения. Действительно, непосредственным образом значительная часть активности людей в современном обществе не связана с политикой. Но политическая власть держится тем, что она *признана*. А это признание, в свою очередь, не может быть простой функцией страха. Человек далеко не всегда боится смерти настолько, чтобы под страхом неминуемой кары сделать что угодно. Иначе говоря, чтобы понять, почему человек признает политическую власть, почему он активен в одних случаях и ограничивает свою активность в других, следует разобраться в том, чему он вообще верит, чему подчиняется, чего боится, чего желает, как взаимодействует с другими людьми и при каких условиях готов командовать и подчиняться. Общая социология перерастает политическую социологию по объему, но по-прежнему совпадает с ней в ряде фундаментальных моментов. Ибо точно так же можно сказать, что мы ничего не поймем в совокупности верований, желаний, взаимодействий людей, если вынесем за скобки их отношение к политике — сколь бы ограниченным образом оно ни проявляло себя в конкретных обстоятельствах современной социальной жизни, — если власть, признание, солидарность и прочее мы объявим лишь одной частной составляющей социальности.

¹⁹ «Политическое» здесь следует читать как субстантивированное прилагательное. Более полувека назад этот термин изобрел Карл Шмитт (см.: *Шмитт*, 1992). Полная версия знаменитого сочинения — в последнем прижизненном издании: *Schmitt*, 1987 [1963]. См. также известные работы: *Freund*, 1965; *Meier Ch.*, 1983.

²⁰ Эта формула принадлежит Толкотту Парсонсу, попытавшемуся синтезировать в своей теории действия ряд классических социологических подходов (см.: *Parsons*, 1937). «Гоббсова проблема» расшифровывается следующим образом: «Как возможен социальный порядок» (если дано множество своекорыстных изолированных индивидов)? А это, в свою очередь, неявным образом отсылает к известной формулировке классика социологии Георга Зиммеля: «Как возможно общество?» (*Зиммель*, 1996). Впрочем, Энтони Гидденс полагает, что формулировка Парсонса должна быть отвергнута, а Зиммеля — сохранена (*Giddens*, 1993: 105).

2. КАРЛ ШМИТТ И ЛЕО ШТРАУС: КЛАССИКИ О КЛАССИКЕ

Если мы представим результат предыдущего раздела в самом упрощенном виде, можно будет сказать, что в политической философии обнаруживаются две важнейшие линии аргументации, которые так или иначе находят продолжение в теоретической социологии. Одну из них мы связываем с философией Аристотеля, а другую — с философией Гоббса. Ниже мы покажем, как преобразованы эти линии аргументации в работах двух выдающихся авторов, каждый из которых, в частности, пытался разобраться в том, что такое классика и классические понятия. Карл Шмитт до известной степени может считаться продолжателем Гоббса, переключая его трудов с теоретической социологией достаточно внятно. Лео Штраус — это философ, который столь же условно может быть назван продолжателем Аристотеля. Штраус был младшим современником и оппонентом Шмитта, он известен своей резкой критикой социологического подхода к политической жизни, в частности критикой Макса Вебера. Штраус много писал о классической политической философии²¹. Собственно, можно было бы сказать, что только о ней он и писал, если бы не особенный характер того, что он считал классическим.

Изучение истории философии диктовалось у него отнюдь не историческим интересом как таковым. Штраус, говорит современный исследователь Генрих Майер, был убежден в возможности философского диалога поверх любых исторических барьеров, с философами всех эпох²², и этот диалог велся с позиций, позволяющих критически оценить современность и современное состояние социальных наук, воздерживающихся от ценностных суждений²³. По мнению Штрауса, произошло вот что:

«Проект модерна возникал как то, что востребовано природой (естественное право), *то есть* создали его философы; проект, как считалось, самым совершенным образом удовлетворяет самым сильным потребностям людей: следовало завоевать природу во имя человека, который, как предполагалось, тоже обладает природой, неизменной природой; родоначальники проекта считали самоочевидным, что наука и философия тождественны. Но через некоторое время оказалось, что завоевание природы нуждается в завоевании человеческой природы и, следовательно, в первую очередь

²¹ Подробнее об этом см.: *Дмитриев Т.*, наст. изд.

²² См.: *Meier H.*, 1996: 32.

²³ *Strauss*, 1978: 6—7.

в том, чтобы поставить под вопрос неизменность природы человека — ведь неизменная человеческая природа могла поставить абсолютные границы прогрессу. Соответственно, естественные потребности людей уже не могли больше направлять завоевание природы; направление ему должен был давать разум, отличающийся от природы, рациональное. Должно, отличающееся от нейтрального. Есть»²⁴.

Так возникает разделение философии и науки, причем позже философия вырождается в идеологию. Именно за идеологией остаются ценностные суждения, тогда как наука считается свободной от ценностей. Однако это разделение может быть поставлено под вопрос. Ведь оно, хотя и означает разрыв с донаучным пониманием политической жизни, однако продолжает быть зависимым от него. Независимо от того, можно ли доказать превосходство научного знания над знанием донаучным, первое по отношению ко второму остается вторичным и производным. Социальная наука не сможет достигнуть ясности относительно себя самой, если не будет обладать внятным и последовательным пониманием обыденных представлений о делах политических, как они даны в опыте граждан или государственных деятелей²⁵. Только тогда станет ясно, как и почему первичные представления модифицировались таким образом, что возникло научное понимание политических дел. Образцовой политической философией Штраус считает «Политику» Аристотеля, потому что это сочинение содержит в себе «изначальную форму политической науки» — форму совершенно сознательного выражения здравого смысла в понимании политических дел. «Классическая политическая философия — это первичная форма политической науки, потому что основанное на здравом смысле понимание политических дел первично»²⁶. Что означает в данном случае определение «классический»?

Штраус стремился определить классическое как таковое и выделял несколько аспектов «классичности». Один из них он акцентировал почти назойливо, повторяя раз за разом в одной и той же формулировке: «Классическая политическая философия отличается своим непосредственным отношением к политической жизни»²⁷.

²⁴ *Ibid.*: 7.

²⁵ См.: *Ibid.*: 11.

²⁶ *Ibid.*: 12.

²⁷ Штраус, 2000a: 51. Ср. также: С. 52, 53, 57, 61, 64. В другом сочинении Штраус говорит, что классическая политическая философия характеризуется «благородной простотой и спокойным величием», а также что «классические философы видят политические вещи со свежестью и непосредственностью, не имеющими себе равных» (Штраус, 2000b: 26).

В этой связи Штраус делал, в частности, следующее важное разъяснение:

«Классическая политическая философия пыталась достичь своей цели, принимая основные различия, сделанные в политической жизни, именно в том смысле и с той ориентацией, которые были им в этой политической жизни присущи, продумывая их до конца, понимая их настолько совершенно, насколько это было возможно»²⁸.

Такая политическая философия не была теорией, то есть незаинтересованным бездейтельным созерцанием. Она была *практической философией*. Поэтому ей были неинтересны те различия, которых нет в политической жизни как таковой, будь то различие между «естественным» и «гражданским состоянием», «фактом» и «ценностью», «реальностью» и «идеологией». В дофилософской политической жизни, по Штраусу, происходят споры, а поскольку такие споры предполагают политическое сообщество уже существующим, «для классиков не играл первостепенной роли вопрос о том, существует или должно существовать политическое сообщество и почему»²⁹. И это при том, что спор может стать источником гражданской войны, — значит, надо исследовать не надобность порядка вообще, а то, какой порядок был бы наилучшим.

Таким образом, для Штрауса классическими политическими философами оказываются великие греки, в первую очередь Платон и Аристотель, тогда как политическая философия Нового времени, и в особенности наследующая ей политическая наука, не подпадают под это определение. Обратим особое внимание на то, что классическая философия, по Штраусу, не ставит «гоббсовский вопрос», то есть она нечувствительна к ключевой для социологии проблеме возможности социального порядка. Порядок предполагается уже существующим, внешние отношения государства не так важны, вопрос наилучшего устройства данного сообщества как основной вопрос самой жизни — вот что определяет классическую философию политики. Если мы упростим аргумент Штрауса до *pes plus ultra*, то получится, что классическая философия политики есть улучшенный, утонченный за счет философского ресурса способ здравого обыденного рассуждения о делах самоуправления.

Но тогда чем политические вопросы отличаются от административно-технических? При том что отделение этих двух сфер друг от друга — тема вообще очень сложная, а исторически — более

²⁸ Штраус, 2000а: 52.

²⁹ Указ соч.: 54.

поздняя, некоторые суждения Штрауса помогут нам внести ясность.

«...Жизнь, — пишет он, говоря о понятии политики, — есть деятельность, направленная на определенную цель; социальная жизнь есть деятельность, направленная на такую цель, к которой может стремиться только общество; но для того, чтобы преследовать какую-либо особую цель как всеобъемлющую, общество должно быть организовано, приведено в порядок, выстроено и составлено способом, находящимся в соответствии с этой целью...»³⁰

На общество падает отсвет вечности. Забвение вечности и отчуждение от первичных вечных вопросов — вот что характеризует современного человека и современную политическую науку.

В классической политической философии лучшее политическое устройство не просто более технологично, оно всегда предполагает возможность наилучшего. Наилучшее — это такое, которое более всего универсально, всеобще. При наилучшем устройстве возможно наилучшее решение вопроса о добродетельной жизни. Но самая добродетельная жизнь — не политическая, а философская, созерцательная. Политическая философия размыкается на проблему добродетели — и здесь кончается область собственно политической философии. Классической политической философией оказывается не только самая ранняя и наиболее непосредственно относящаяся к политической жизни, но именно та, что не может быть ограничена самой собой, выводит на проблематику, которую не может сама решить.

Теперь мы можем обратиться к рассуждениям Шмитта в его чуть ли не самой известной работе «Понятие политического». Эта работа может рассматриваться как сочинение, в котором трактовка социальности как *политической реальности* выходит на передний план. Кроме того, в разъяснениях к этому сочинению Шмитт формулирует свою позицию относительно классики. Вправе ли мы называть «Понятие политического» социологической работой? Вопрос этот отчасти перекликается с тем, что было сказано в начале нашей статьи о той особой перспективе взгляда на социологию, которую мы обретаем благодаря обращению к политическим философам, но удовлетвориться этим, конечно, мы можем лишь отчасти. Требуются дополнительные резоны для того, чтобы говорить здесь не вообще о политических мыслителях, но именно о тех двух знаменитых авторах, которым посвящен данный раздел. Оче-

³⁰ Штраус, 2000b: 31.

видным образом, мы должны ближе связать их с собственно социологической тематикой.

Биография Шмитта не дает оснований для причисления его к социологам: он всю жизнь был профессиональным юристом и акцентировал свою принадлежность к цеху юристов даже тогда, когда вел жизнь, как называют это немцы, частного ученого. Многочисленные работы Шмитта были написаны для профессиональной публики, то есть для правоведов, и даже в тех случаях, когда они вызывали широкий интерес в среде социологов, Шмитт считал нужным специально определить их юридический характер. Это относится, в частности, и к «Понятию политического». Его понимали и понимают, писал Шмитт, готовя последнее прижизненное переиздание своей брошюры, лишь специалисты по европейскому международному праву, лишь для них оно и было первоначально предназначено. Наконец, в течение многих десятилетий Шмитта не только не упоминали в качестве классика, но и чаще всего вообще не цитировали ведущие, самые авторитетные социологи.

Эти возражения, если только представить себе попытку объявить Шмитта классиком социологии, лежат на поверхности, и точно так же на поверхности лежат очевидные ответы на такие возражения. Да, профессиональная принадлежность очень важна. Но старший современник Шмитта Макс Вебер был профессором национальной экономики и специализировался изначально по истории торгового права, начинал свою деятельность в адвокатской конторе и, будучи профессиональным юристом, выступал в качестве эксперта-правоведа вплоть до последних лет жизни. Это не мешает называть его почти единодушно классиком современной социологии. То же относится и к субъективным намерениям автора, предназначающего текст лишь для определенного круга читателей. Конечно, они имеют значение. Но об этих намерениях мы узнаем в данном случае из деклараций *post festum*, когда Шмитт считает необходимым высказаться об истории влияния, которое оказал его текст. При этом сам он признает, что автор уже не может контролировать характер этого влияния и, самое большее, способен сделать все, дабы работа предстала перед читателями в наиболее полном и адекватном виде. Социологическое значение его текста, таким образом, можно оценивать не только независимо, но и вопреки явно выраженным намерениям. Наконец, цитирование Шмитта и даже упоминание его имени — это отдельная история. Годы активного сотрудничества с нацистами погубили репутацию Шмитта — долгое время казалось, что навсегда. Это было если не причиной, то, во всяком случае, поводом замолчать его реальное значение. Для господствовавшей в послевоенные годы социологии были неприемлемы его антилиберализм и антипозитивизм. Для

конкурирующей с мейнстримом *критической теории* глубинное родство левой и правой консервативной критики капитализма было сокровенным знанием, которым отцы-основатели, будь то Лукач, Адорно или Маркузе, не спешили делиться с поколением своих последователей. Так или иначе, но именно с идеями Шмитта связана, например, ранняя социально-философская концепция Юргена Хабермаса, нашедшая свое выражение, в частности, в его знаменитой книге о становлении и изменении общественности³¹. Позже Хабермас неоднократно инкриминировал прямое заимствование некоторых ключевых идей Шмитта Никласу Луману³². Шмитту были многим обязаны и более ранние социологи, в частности, социология знания Карла Мангейма сформировалась под существенным влиянием Шмитта, которое сильно ощутимо в работах Мангейма 1920-х годов, прежде всего в таких, как «Консервативное мышление» и «Идеология и утопия».

Однако это не отменяет того простого обстоятельства, что широко признанного места в истории социологии или даже более узко — в истории политической социологии — у Карла Шмитта нет. Для социологов он не является не только «неудобным классиком»³³, но и классиком как таковым. Положение начинает меняться лишь постепенно, последние полтора-два десятка лет, когда переиздаются и переводятся многие работы Шмитта, а количество посвященных ему статей и книг становится уже совершенно необозримым. Подчеркнем, что речь не идет о «воскресении из забвения». Шмитта никогда не забывали. Речь идет о существенном изменении качества внимания к Шмитту, становящемуся, чего не было раньше, не просто политически приемлемым автором, но теоретически продуктивным ресурсом для влиятельных в академическом мире *левых*. Показательны в этом смысле, например, известный американский журнал *Telos* и одноименное издательство, за последние полтора десятка лет превратившиеся в важнейший центр пропаганды наследия Шмитта. Однако все это происходит *за пределами* основного течения академической социологии. Шмитта для нее по-прежнему не существует, и основной канон, в который в качестве бесспорных классиков входят Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм, а также, с большей или меньше несомненностью, Карл Маркс, Джордж Герберт Мид или Толкотт Парсонс, остается неизменным.

Поэтому Шмитт важен не в качестве *признанного* классика. Он важен постольку, поскольку мы высказываем некое суждение о

³¹ *Habermas*, 1990 [1962]. Сопоставление Шмитта и Хабермаса в связи с критикой парламентаризма см. в кн.: *Becker*, 2003.

³² Начиная с их знаменитой полемики; см.: *Habermas, Luhmann*, 1971.

³³ О «неудобных классиках» см.: *Vahstain*, наст. изд.

предмете политической социологии и с точки зрения, выраженной в этом суждении, он является классическим автором. Он важен также постольку, поскольку мы находим у него принципиальные рассуждения о природе классических политических понятий. Опираясь на рассуждение Шмитта о классике (хотя и модифицируя его), мы формулируем такие критерии классического, которые, будучи применены к его творчеству, позволяют именно его определить как подлинно классическое. В отличие от Штрауса, для которого, как мы видим, политическая жизнь, по идее, и составляет всю полноту социальной жизни, Шмитт исходит из тех разделений, которые застают в современной ему социальной науке и до известной степени политической практике. Это разделения *самостоятельных* сфер социальной жизни. В сущности, этими же разделениями до сих пор охотно оперируют многие социологи. Вот что пишет Шмитт:

«Определить понятие политического можно, лишь обнаружив и установив специфически политические категории. Ведь политическое имеет свои собственные критерии, своеобразный эффект которых проявляется в противоположность различным относительно самостоятельным предметным областям человеческого мышления и действия, особенно в противоположность моральному, эстетическому, экономическому. Поэтому политическое должно быть заключено в собственных последних различениях, к которым может быть сведено все в специфическом смысле политическое действие. Примем, что в области морального последние различения суть “доброе” и “злое”; в эстетическом — “прекрасное” и “безобразное”; в экономическом — “полезное” и “вредное” или, например, “рентабельное” и “нерентабельное”. Вопрос тогда состоит в том, имеется ли также особое различение как простой критерий политического, правда, не того же рода, что и другие различения, и не аналогичное им, но все-таки от них независимое, самостоятельное и как таковое уже очевидное, и в чем это различение состоит»³⁴.

Как известно, такое политическое различение, по Шмитту, — это различение друга и врага³⁵. На первый взгляд оно вполне может рассматриваться как продолжение, «еще одно» различение в том наборе, который он сам предложил, — или в любом другом, какой, например, мы легко обнаружим у социологов, рассуждающих о социальных системах. Есть системы экономики, науки,

³⁴ Schmitt, 1987 [1963]: 26.

³⁵ См.: *Ibid.*

религии, почему бы не быть и системе политики? А поскольку для каждой системы (или поля, если вспомнить о другой теоретической традиции) существует свое специфическое средство переноса и кодирования информации, будь то деньги, вера или истина, почему бы и политике не иметь такого же средства, различения «друг — враг»? Такое чтение, в принципе, возможно и даже иногда встречается, но идет вразрез с основной установкой Шмитта.

Прежде всего, Шмитт отмечает, что политическое не имеет собственной субстанции — любое различие, противостояние может стать политическим, если достигнет определенной степени интенсивности:

«Политическое может черпать силу в различных сферах человеческой жизни, извлекая ее из религиозных, экономических, моральных и иных противоположностей; оно означает не какую-то собственную предметную область, но только степень интенсивности ассоциации или диссоциации людей, мотивы которых могут быть религиозными, национальными (в этническом или в культурном смысле), хозяйственными или же иного рода, и в разные периоды они вызывают разные соединения и разделения»³⁶.

Но дело не только в этом.

«Смысл различения друга и врага состоит в том, чтобы обозначить высшую степень интенсивности соединения или разделения, ассоциации или диссоциации: это различие может существовать теоретически и практически, независимо от того, используются ли одновременно все эти моральные, эстетические, экономические или иные различения»³⁷.

Это получает также следующее разъяснение:

«Политическое единство именно по своей сущности есть основополагающее единство, все равно, какими силами питаются его последние психические мотивы. Оно существует, или оно не существует. Если оно существует, то оно есть высшее, т. е. в решающем случае определяющее единство»³⁸.

Наконец, Шмитт говорит:

³⁶ *Ibid.*: 38.

³⁷ *Ibid.*: 27.

³⁸ *Ibid.*: 43.

«В действительности же нет никакого политического “общества” или “ассоциации”, есть лишь политическое единство, политическая “общность”»³⁹.

Эти высказывания нуждаются в социологическом истолковании. С точки зрения социолога Шмитт использует важные понятия теоретической терминологии того времени: «ассоциация», «общность», «общество», «мотив». «Ассоциация» — один из старейших и устойчивых терминов в социологии. В 1895 г. на первой странице первого номера первого в мире профессионального социологического журнала американский социолог Альбион Смолл писал:

«В нашу эпоху факт человеческой ассоциации являет себя более навязчиво, имеет большее влияние, чем в любую предшествующую эпоху. Современные люди куда более разнообразными способами, чем люди предшествующих поколений, вынуждены осознать воздействие на них существования других людей»⁴⁰.

Слово «ассоциация» означало примерно то же самое, что немецкое «Vergesellschaftung» («обобществление») или даже «Genossenschaft» («товарищество») ⁴¹, то есть процесс и результат образования некоторой связи между индивидами, в том числе и теми, кто соединился ради достижения некоторой цели. Понятие общества, таким образом, родственно понятию ассоциации и противоположно понятию общности. Это значит, что Шмитт имеет в виду знаменитую дихотомию «общность/общество», которую впервые обосновал Фердинанд Тённис⁴². Общество и ассоциация — это именно то, что возникает в силу воздействия индивидов друг на друга: они особые, отдельные, каждый — словно бы атом, в сочетании с другими атомами образующий материю социальной жизни. Общность — дело другое, она неделима, цельна, словно бы организм, который можно разять на части, только умертвив каждую из них и его в целом.

Объявляя политическое единство политической общностью, Шмитт таким образом занимает вполне определенную социологическую позицию. Он становится на сторону общности против общества, обобществления и ассоциации как соединения обособленных индивидов. Он также объявляет общность политической. Что это значит? Дело в том, что общность у Тённиса может иметь три

³⁹ *Ibid.*: 45.

⁴⁰ *Small*, 1895: 1.

⁴¹ См.: *Lexikon zur Soziologie*, 1994: 64.

⁴² См.: Тённис, 2002.

вида: по крови (между родными), по местоположению (между соседями) и по духу (между согражданами). Это членение отвечает старому членению, которое мы находим в «Политике» Аристотеля, различавшего домохозяйство, соседство и город-государство, собственно «телос» природы человека, завершение, в котором сказывается его природа⁴³. Но Шмитт обращает внимание на то, что не сильно акцентировано у Аристотеля⁴⁴ и что совсем не получает развития у Тённиса. Для Шмитта политическое единство есть общность, противостоящая другим общностям, оно находится в состоянии напряжения, и это экзистенциальное напряжение в борьбе с врагом, перед лицом смертельной угрозы определяет характер его сплоченности.

Обратим, однако, внимание на то, что в одной из приведенных выше цитат Шмитт говорит о высшей степени интенсивности ассоциации, а в другой — о том, что политическая общность — вообще не ассоциация. Можно трактовать это как легкую терминологическую небрежность. Но можно посмотреть и по-другому. Шмитт говорит ведь не о той общности, которая существовала во времена Аристотеля! Эта общность — самоочевидная, вне этой общности невозможно, по природе, существование человека. Напротив, общность современная — та, что может и должна сложиться из ассоциирующихся индивидов. Но, сложившись, она не является уже ассоциацией. Говоря в предыдущем разделе об Аристотеле, мы заметили, что политическое может мыслиться как то, что забирает человека целиком. Эта высшая степень единства может трактоваться по-разному, и Шмитт трактует ее так, что в какой-то момент, когда противостояние с врагами становится в высшей степени интенсивным, то есть тогда, когда оппоненты, иноверцы, конкуренты становятся подлинно врагами, политическое единство становится собственно политическим единством, той общностью, которая несравнимо сильнее всех прочих видов человеческого общения-ассоциации. Таким образом, происходит преобразование хозяйственных, моральных, эстетических и прочих мотивов в собственно политический мотив. Политическое, не имеющее собственной субстанции, оказывается областью автономной мотивации, в которой наивысшим образом реализует себя межчеловеческое единство как таковое. Если бы Шмитт не рисковал (терминологически) поставить под сомнение смысл своего аргумента, он мог бы сказать, что здесь социальное в подлинном смысле явлено как социальное.

⁴³ См.: Филиппов, наст. изд.

⁴⁴ В отличие, например, от Платона.

Шмитт, таким образом, находится в поле основной проблематики классической социологии. Он отвечает на вопрос о том, что есть социальное. Социальное он называет политическим, фиксирует его — в «Понятии политического» — внутри политического единства, т. е. по преимуществу государства, и рассматривает мир не как объемлющее социальное (мировое общение, глобальное общество), но как место противостояния политических единств. В высшей степени формальный характер такого рассмотрения (форма противостояния и напряжения важнее, чем все содержательные наполнения) является дополнительным аргументом в пользу глубинного родства этой концепции и классической социологии.

Тем больший интерес представляют разъяснения, сделанные Шмиттом в последнем прижизненном издании «Понятия политического». Здесь он объявляет, что его труд был по большей части понят неправильно. Он был написан только для узкой категории знатоков истории европейского международного права. А поскольку важный период европейской истории, для которого было релевантно это знание, подошел к концу, интенцию сочинения не понимает уже никто. Этот важный период — эпоха господства классических понятий.

«Эпоха государственности приходит теперь к завершению. Больше здесь не о чем говорить. Вместе с ней приходит конец и всей той надстройке связанных с государством понятий, которую четыре века воздвигала работой мысли европоцентрическая наука о государстве и праве народов. Государство как модель политического единства, государство как носитель самой удивительной из всех монополий, а именно монополии на политическое решение, этот блестящий образец европейской формы и западного рационализма, низводится с престола. Но его понятия еще сохраняются, причем даже как *классические* понятия. Правда, слово «классический» звучит сегодня по большей части двусмысленно и амбивалентно, если не сказать иронично»⁴⁵.

Вот что произошло, говорит Шмитт. Было время, когда в Европе *классическое* государство сумело сделать нечто небывалое: оно прекратило распри внутри и смогло обеспечить покой, безопасность и порядок. Политика, то есть война, осталась вне государства, а внутри ее не было, там была *полиция* (и «*политика*», и «*полиция*» — производные от «*полиса*», напоминает Шмитт). Что же здесь классического?

⁴⁵ Schmitt, 1987 [1963]: 10.

«Классическое — это возможность однозначных, ясных различий. “Внутри” и “вне”, “война” и “мир”, а во время войны — “военное” и “гражданское”, “нейтральность” или “не-нейтральность” — все эти разделения можно распознать, никто не собирается их затушевывать. Также и во время войны у всех, по обе стороны, вполне ясный статус. Также и враг во время войны [в рамках] межгосударственного права народов признается суверенным государством на том же самом уровне [что и воюющее с ним государство]»⁴⁶.

Итак, классическое понимается у Шмитта как предельно *ясное*. Ясность имеет характер не просто интеллектуального результата: ясность классического государства находит выражение в ясности классических понятий. Классические политические понятия, однако, любопытным образом появляются в ту эпоху, которую мы выше обозначили как эпоху основоположения классической социологии. Мы бы сказали, что государство нового времени с его ясными различиями — это социально-политическая система координат для формирования основного корпуса социологических понятий, и позднейшие рассуждения социологов о том, что, говоря об обществе, чаще всего имеют в виду государство в его границах, становятся в этой связи хорошо понятными.

Шмитт считал, наблюдая за политическими процессами в современном ему мире, что уже к началу 1960-х гг. ни о каких ясных различиях старого стиля говорить не приходится, государство перестало быть преимущественным политическим единством, классические понятия более не работают. Прошло еще немало времени, пока социологи в полной мере и очень по-своему осознали это обстоятельство. Вряд ли кто-то из теоретиков сейчас решится считать основным контекстом социальности классическое государство с его отчетливыми границами. Мы же, оглядываясь на историю политико-социологических понятий, явственно различаем в ней не одну, но две эпохи, в разное время начавшиеся, но подошедшие к концу почти одновременно: это эпоха классики, как ее понимал Штраус, эпоха политической науки, погруженной в жизнь своего народа как очевидного, высшего единства; и это эпоха классики, как понимал ее Шмитт: время политической науки, связанной с нейтральным и формальным аппаратом, возникшим во времена наибольшего и наилучшего, как казалось Шмитту, замирения внутривнутриполитической сферы и потому — парадоксальным образом! — оказавшегося особенно пригодным для описания самых

* Ibid.: 11.

радикальных противостояний минувшего века. Классика политической науки действительно является классикой социологии, она, как говорят немцы, держится и падает вместе с ней.

Литература

Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни / Пер. с англ. СПб.: Алетейя, 2000.

Аристотель. Политика / Пер. С. А. Жебелева // Аристотель. Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 4. С. 345—644.

Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1989—1991.

Давыдов Ю. Н. Искусство как социологический феномен. К характеристике эстетико-политических взглядов Платона и Аристотеля. М.: Наука, 1968.

Давыдов Ю. Н. Социальная философия Аристотеля // История теоретической социологии: В 5 т. Т. 1: От Платона до Канта. М.: Наука, 1995. С. 48—76.

Зиммель Г. Как возможно общество? // Зиммель Г. Избранное: В 2 т. М.: Юрист, 1996. Т. 2. С. 509—526.

Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека / Пер. с нем. М.: Греко-латинский кабинет, 1997. Т. 1.

Рамшtedт О. Актуальность социологии Г. Зиммеля // Социологический журнал. 1994. № 2. С. 53—64.

Теннис Ф. Общность и общество / Пер. с нем. СПб.: Владимир Даль, 2002.

Терборн Г. Принадлежность к культуре, местоположение в структуре и человеческая деятельность: Объяснение в социологии и социальной науке // THESIS. № 4. 1994. С. 97—118.

Филиппов А. Ф. Теоретическая социология в России // Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений / Пол ред. В. А. Куренного. М.: Наследие Евразии, 2006. С. 185—200.

Филиппов А. Ф. О понятии «теоретическая социология» // Социологический журнал. 1997. № 1—2. С. 5—37

Филиппов А. Ф. Систематическое значение политических трактатов Руссо для общей социологии // Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре / Пер. с франц. М.: Канон-Пресс-Ц, 1998. С. 325—340.

Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 35—67.

Шмитт К. Политическая теология / Пер. с нем. М.: Канон-Пресс, 2000.

Штраус Л. О классической политической философии // Штраус Л. Введение в политическую философию / Пер. с англ. М.: Праксис, 2000а. С. 50—67.

Штраус Л. Что такое политическая философия? // Штраус Л. Введение в политическую философию / Пер. с англ. М.: Праксис, 2000b. С. 9—49.

Эванс-Причард Э. Э. Нуэры / Пер. с англ. М.: Наука, 1985.

Becker H. Die Parlamentarismuskritik bei Carl Schmitt und Jürgen Habermas. 2. Aufl. Berlin: Duncker & Humblot, 2003.

Bottomore T. Political sociology // The Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Thought / Eds. W. Outhwaite, T. Bottomore. Oxford: Blackwell, 1993. P. 486–487.

The Civic Culture Revisited / Eds. G. A. Almond, S. Verba. London etc.: SAGE, 1989.

Freund J. L'essence du politique. Paris: Sirey, 1965.

Giddens A. New Rules of Sociological Method. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 1993.

Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1990 [1962].

Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1981. Bd. 1.

Habermas J., Luhmann N. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie — was leistet die Systemforschung? Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1971.

Lexikon zur Soziologie / Hrsgg. v. W. Fuchs-Heinritz, R. Lautmann, O. Rammstedt, H. Wienold. 3. Aufl. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1994.

Meier Ch. Die Entstehung des Politischen bei den Griechen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1983.

Meier H. Die Denkbewegung von Leo Strauss. Stuttgart, Weimar: J. B. Metzner, 1996.

Merton R. On Sociological Theories of the Middle Range // Merton R. On Theoretical Sociology. New York: The Free Press, 1967. P. 39–72.

Parsons T. The Structure of Social Action. New York: McGraw-Hill, 1937.

Schmitt C. Der Begriff des Politischen. Berlin: Duncker & Humblot, 1987 [1963].

Small A. The Era of Sociology // *American Journal of Sociology*. July 1895. Vol. 1. No. 1. P. 1–15.

Smelser N. Sociology and the Other Social Sciences // The Uses of Sociology / Eds. P. F. Lazarsfeld, W. H. Sewell, H. L. Wilensky. London: Weidenfeld and Nicolson, 1968. P. 3–44.

Strauss L. The City and Man. Chicago and London: University of Chicago Press, 1978.

Психология

Андрей Юревич

ПАРАДИГМЫ И КЛАССИКИ В ПСИХОЛОГИИ

КРИТЕРИИ ДЕМАРКАЦИИ ПАРАДИГМ

Методологическое самоопределение психологической науки, как правило, осуществляется в терминах парадигм, а это введенное Томасом Куном понятие получило в ней намного более широкое распространение, нежели такие его «конкуренты», рожденные на территории философской методологии науки, как исследовательская программа (Имре Лакатос), исследовательская традиция (Ларри Лаудан) и др.

Существуют три основные позиции относительно парадигмального статуса психологии. Согласно первой, которой придерживался сам Томас Кун, психология представляет собой *до*парадигмальную дисциплину, в которой единая парадигма, способная интегрировать различные «психологии» в единую науку, еще не сложилась, что и отличает ее от более развитых — естественных — наук. Согласно второй, психология — это *мульти*парадигмальная наука, обреченная на сосуществование различных парадигм, а значит, и принципиально различных вариантов понимания психического, подходов к его изучению, способов производства знания, критериев его верификации и т. д. Согласно третьей позиции, психология — *вне*парадигмальная научная дисциплина, а представления о парадигмальной логике развития науки, наработанные на материале изучения истории естественных наук, главным образом физики (напомним, что Кун был по образованию физиком), к ней не применимы.

В психологическом сообществе доминирует вторая позиция, при этом понятие парадигмы используется достаточно вольно, за что, если рассматривать это как недостаток методологической рефлексии психологии, можно возложить ответственность не только на психологов, но и на самого Куна, который не определил введенное

им понятие достаточно четко. В результате уже в начале 70-х годов прошлого века Маргарет Мастерман насчитала 35 различных пониманий парадигмы¹, количество которых с тех пор, естественно, не уменьшилось. Все основные подходы к изучению психического, такие, как бихевиоризм, когнитивизм, психоанализ и др., принято именовать парадигмами. В то же время психологи, видимо, ощущают некоторую несоразмерность подобных подходов этому понятию, в результате чего в последние годы обозначилась тенденция считать парадигмами в психологии лишь наиболее глобальные и «классические» исследовательские направления, такие, как естественнонаучная и гуманитарная психологии², разделение на которые тоже является «классическим» для психологии и сопровождает эту дисциплину с ее первых шагов.

Борис Ломов отмечал, что «с самого начала развития психологии как самостоятельной области научного знания в ней возникли две главные линии: одна — ориентированная на *естественные науки*, другая — на *общественные*»³. А Джон Пайнел прослеживает истоки их расхождения еще дальше — к обострившемуся в XVII в. конфликту между католической церковью и наукой, разрешенному Рене Декартом с помощью дуалистического разделения человека на физическую, подчиненную законам природы, и духовную, имеющую божественное происхождение, субстанции⁴. Подобное «раздвоение» в значительной мере характерно для большинства социогуманитарных дисциплин, что, впрочем, служит слабым утешением для психологии. «В XX в. в социальных науках сформировались две методологические установки анализа — сциентистская и герменевтическая», — пишет Марина Гусельцева⁵. Их расхождение

¹ Masterman, 1970.

² Возможно, эти виды психологического исследования лучше обозначить как *метапарадигмы*, ибо дифференцирующих возможностей понятия «парадигма» явно не хватает для различения основных видов психологического исследования, а дополняющий его термин «метапарадигма» с успехом используется в смежных с психологией науках. Например, в социологии, где Владимир Ядов определяет его следующим образом: «Метапарадигма в социологии есть такое системное представление о взаимосвязях между различными теориями, которое включает: а) принятие некоторой общей для данных теорий философской («метафизической») идеи о социальном мире с ответом на критериальный вопрос: что есть социальное?, б) признание некоторых общих принципов, критериев обоснованности и достоверности знания относительно социальных процессов и явлений и, наконец, в) принятие некоторого общего круга проблем, подлежащих или, напротив, не подлежащих исследованию в рамках данной парадигмы» (Ядов, 2006: 11).

³ Ломов, 1984: 342.

⁴ Pinel, 1993.

⁵ Гусельцева, 2005.

воплощено в таких терминах, как «объективизм» и «культурная аналитика»⁶ и др. Однако такой дуализм не выражает универсальной характеристики человеческого мышления, а относится преимущественно к западной интеллектуальной культуре, которой Марсель Гране, в частности, ставит в пример китайскую мысль: «Главное достоинство китайской мысли состоит в том, что она никогда не отделяла человеческое от природного и всегда концептуализировала человеческое в социальном контексте»⁷.

Провести строгую разграничительную линию между естественнонаучной и гуманитарной парадигмами в психологии едва ли возможно. Значительная часть психологических трудов включает как естественнонаучные (например, в виде количественных данных), так и гуманитарные (например, в виде достаточно свободной интерпретации этих данных) элементы, а многие психологи попеременно прибегают то к одному, то к другому дискурсу, скажем, свои тексты оформляя в соответствии с естественнонаучными канонами, а свои устные выступления строя в рамках гуманитарной традиции. Тем не менее более мягкие различительные признаки парадигм сформулированы достаточно четко. Так, вычленяются шесть ключевых характеристик гуманитарной парадигмы, отличающих ее от парадигмы естественнонаучной: 1) отказ от культа эмпирических методов; 2) признание научным не только верифицированного знания, подтвержденного «внесубъектным» эмпирическим опытом; 3) легализация интуиции и здравого смысла исследователя; 4) возможность обобщений на основе изучения частных случаев; 5) единство исследования и практического воздействия; 6) изучение целостной личности, включенной в «жизненный контекст»⁸. Однако подобные критерии дифференциации парадигм подвергаются вполне заслуженной критике. Ирина МIRONENKO, например, констатирует, что «образ естественнонаучного направления здесь оказывается карикатурно искаженным»⁹. И создается впечатление, что при подобной трактовке естественнонаучная парадигма отождествляется с ее позитивистским вариантом, а к гуманитарной психологии причисляется все, что не вписывается в его прокрустово ложе.

Предлагаются и другие хотя и менее строгие, но вызывающие меньшие возражения критерии демаркации. Скажем, Татьяна Марцинковская основное различие между естественнонаучным и гуманитарным подходами в психологии связывает с разницей между

⁶ Ионин, 2000.

⁷ Granet, 1961: 1101.

⁸ *The Social Psychology of Knowledge*, 1988.

⁹ МIRONENKO, 2006b: 107.

«жестким» естественнонаучным детерминизмом и социокультурной» детерминацией, «управляющей продуктивной деятельностью людей»¹⁰. А Дмитрий Леонтьев отмечает, что человека можно одновременно рассматривать, с одной стороны, как природный объект, индивидуальность, с другой — как личность, которая имеет внутренний мир, характеризующийся через его содержание и через те взаимодействия, в которые надо вступать с этим миром, чтобы позволить таким содержаниям раскрыться. Он констатирует, что первый способ рассмотрения представляет собой традиционный, классический, естественнонаучный подход, второй способ — гуманитарный или неклассический¹¹. При этом, правда, не учитывается, что естественнонаучный подход тоже может быть классическим, неклассическим и даже постнеклассическим¹². Отождествление неклассической и гуманитарной составляющих психологии представляется не вполне адекватным и потому, что последняя существовала со времен Вильгельма Дильтея и тоже выглядит достаточно классической.

К перечисленным критериям демаркации парадигм можно добавить и такие: ориентация естественнонаучной парадигмы преимущественно на объяснение психологических феноменов, а гуманитарной — на их понимание; доминирование в первой каузальных объяснений, а во второй — телеологических; более тесная связь гуманитарной парадигмы с психологической практикой; ее соответствие постмодернистскому образу науки; отсутствие в ней методологического ригоризма, характерного для естественнонаучной парадигмы, которая ориентирована на позитивистские стандарты проведения исследований и др. Вместе с тем отмечается и релятивность таких различительных признаков. Например, Ирина Мироненко пишет:

«В периоды проявления подобных кризисов, периоды борьбы естественнонаучной и гуманитарной парадигм в психологии, ярлык естественнонаучности или гуманитарности используется лишь условно — для обозначения и объединения под общим знаменем неких вступивших в борьбу на территории психологии сил, которые в данный исторический момент в большей степени сосредоточены в области либо гуманитарного направления, либо естественнонаучного»¹³.

¹⁰ Марцинковская, 2004: 80.

¹¹ Леонтьев, 2006.

¹² Стёпин, 2000.

¹³ Мироненко, 2006b: 106.

Нетрудно заметить и то, что перечисленные критерии демаркации парадигм носят преимущественно *когнитивный, а не социальный характер*, будучи отнесенными к характеру производимого в их рамках научного знания и способов его производства (а также верификации и др.), а не к характеристикам соответствующих локусов психологического сообщества, что свойственно философской методологии науки, которая, в отличие от социологии науки, сфокусирована на когнитивных, а не на социальных компонентах научной деятельности. Здесь уместно в очередной раз вспомнить Томаса Куна, которого систематически обвиняли в том, что он допускал «логический круг», определяя научное сообщество «через парадигму», а парадигму — «через научное сообщество», описывая первую как систему исследовательских приемов, применяемых научным сообществом, а второе — как сообщество, объединенное на основе парадигмы. Позиция Куна может быть оправдана тем, что все существующее и происходящее в науке имеет двойную — когнитивную и социальную — детерминацию и за «логическим кругом» стоит соответствующая реальность — «круг онтологический». Научное сообщество в целом, равно как и тот или иной его локус, например сообщества сторонников естественнонаучной и гуманитарной парадигм в психологии, конституированы принадлежностью к соответствующим парадигмам, но существует и обратное влияние: социальные характеристики этих локусов оказывают воздействие на разрабатываемые ими парадигмы¹⁴.

Социогуманитарное научное сообщество обладает набором характеристик, отличающих его от сообщества естественнонаучного. В частности, как отмечает Дерек Прайс, коммуникативные паттерны в естественных и технических науках существенно отличаются от коммуникативных структур, характерных для социогуманитарных дисциплин, где коммуникативные сети формируются как социальные, внедисциплинарные сообщества. Паттерны цитиро-

¹⁴ В этой связи следует отметить немалое сходство методологического состояния различных социогуманитарных дисциплин. Владимир Ядов, например, констатирует «методологический анархизм и произвол как принцип постнеклассического развития социологии» (Ядов, 2006: 6) — характеристика, очень похожая на те, которые дают своей дисциплине психологи. Ядов также описывает состояние современной социологической теории как «многообразие школ, направлений и парадигмальных “созвездий”» (Указ. соч.: 19) и добавляет, что «различие теоретических подходов в социологических “гранд-теориях”, а тем более обилие частных теорий порой вызывают сомнение в том, могут ли социальные исследователи быть причисленными к благородному сословию ученых в классическом понимании подлинной науки» (Указ. соч.: 9). Любой читатель теоретико-методологических текстов в области психологии наверняка уловит в этих словах что-то очень знакомое.

вания в этих дисциплинах носят диффузный, тематически недифференцированный характер, но при этом приобретают вид «социальных солидарностей» — альянсов и клик¹⁵. Нечто подобное наблюдается и применительно к «кругу чтения», характерному для различных дисциплинарных сообществ. В естественных науках он имеет точечный и концентрированный характер, в то время как в социогуманитарных дисциплинах — дисперсный и расплывчатый¹⁶. При этом социогуманитарии отличаются и более низкими показателями использования научной периодики, в отличие от представителей естественных наук, предпочитая ей монографические издания¹⁷. Существуют также различия в «возрасте» наиболее цитируемых источников в естественных и социогуманитарных науках, состоящие в том, что в последних «старые» работы, труды «отцов-основателей» цитируются чаще, чем «молодые», а наиболее цитируемые источники сменяются чаще¹⁸. А Иван Климов, основываясь на результатах проведенного им исследования, пишет:

«Сообщество специалистов, занимающихся социальной проблематикой, оказывается крайне разнообразным с точки зрения социально-биографических ситуаций. Это позволяет предположить, что профессионального сообщества как внутренне интегрированной, устойчивой и воспроизводимой системы коммуникативных действий не существует. Говоря точнее, сегодня имеются определенные «сетевые совокупности» или профессиональные корпорации, и связи между ними, научный обмен и взаимодействие оказываются довольно-таки случайными»¹⁹.

Перечисленные характеристики в полной мере распространены на социогуманитарную часть психологического сообщества, и их тоже можно считать отличительными признаками социогуманитарной парадигмы в психологии, но в данном случае не когнитивными, а социальными. Ну и, разумеется, к числу отличительных социальных признаков каждой из парадигм можно отнести и их *классиков*. Среди классиков естественнонаучной парадигмы — первые психологи-экспериментаторы: Герман Гельмгольц, Густав Фехнер, Герман Эббингауз и др. с их многочисленными последователями, в то время как у сторонников гуманитарной парадигмы совсем другие авторитеты: Карл Роджерс, Абрахам Маслоу, Виктор Франкл и др.

¹⁵ Прайс, 1966 [1963].

¹⁶ Арефьев, 2005.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Hargens, 2000.

¹⁹ Климов, 2005: 215.

Парадигмальные различия сказываются также на общих образах психологической науки, сложившихся в психологическом сообществе. Как показывают опросы психологов, она классифицируется и как биологическая, и как медицинская, и как поведенческая, и как социальная, и как образовательная, и как гуманитарная наука, и как наука особого типа²⁰, причем психология по-разному характеризуется в разных странах и в различных университетах одной страны. Как констатирует Марк Розенцвейг,

«в разных странах и университетах существует практика либо классифицировать психологию как особую науку, находящуюся между биологическими и социальными науками, либо расценивать ее как дисциплину, объединяющую биологические, поведенческие и социальные категории»²¹.

При этом наблюдается любопытная связь между уровнем развития страны и отношением к психологии: в развитых странах ее чаще, чем в менее развитых, характеризуют как биологическую науку, в то время как в менее развитых она чаще воспринимается как наука социальная²².

ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ ДЕБАТЫ

Предпринимаются, впрочем, и попытки примирения естественнонаучной и гуманитарной парадигм, открывающего путь к «воссоединению» психологической науки и ее объекта — психологической реальности. Например, Наталья Чуприкова пишет:

«Если деятельность мозга — это отражение действительности и регуляция на этой основе поведения и деятельности, то *это и есть психика* (курсив мой. — А. Ю.) и не остается никакого места для двух разных сущностей — психики и отражательной деятельности мозга. Это одна и та же сущность, одна и та же реальность. (Не следует умножать сущности без необходимости) <...> там, где долгое время видели две разные сущности, две разные реальности, на самом деле существует одна сущность, одна реальность <...> психика — это такие уникальные, единственные в природе материальные процессы, которые имеют двойное бытие»²³.

²⁰ Rosenzweig, 1992.

²¹ Ibid.: 71—72.

²² Ibid.

²³ Чуприкова, 2006: 186.

Однако далеко не новая идея о том, что «деятельность мозга — это и есть психика», традиционно вызывала идиосинкразию представителей гуманитарной парадигмы, воспринимаясь ими как один из худших видов редукционизма, а идея «двойного бытия» единой реальности неизбежно приводит к удвоению самой реальности и тоже не выглядит адекватным основанием ее «воссоединения», равно как и объединения парадигм.

Попытки преодолеть «великий раскол» сознания на «нейрофизиологию и феноменологию»²⁴ еще более характерны для философии, где эта проблема, собственно, и зародилась. Рудольф Карнап сформулировал «тезис физикализма», согласно которому так называемые психологические высказывания подлежат переводу на физический язык, и настаивал на том, что каждое психологическое высказывание следует соотносить с физическими событиями, происходящими в организме человека, что, по его мнению, должно сделать психологию частью единой науки, основанной на физике²⁵. Карл Гемпель подчеркивал, что психологические высказывания могут быть верифицированы только в случае их перевода в предложения, в которых отсутствуют ментальные категории психологии и содержатся только категории физики. Уиллард Куайн выделил три уровня объяснения человеческого поведения — менталистский, поведенческий и физиологический, объявив первый из них тупиковым, а последний — наиболее перспективным и близким к идеальному — физическому — объяснению²⁶. Герберт Фейгл и Джек Сمارт выдвинули «теорию тождества», основная идея которой состоит в том, что, хотя ментальные и физические термины семантически различаются между собой, они по сути обозначают одно и то же²⁷.

Позицию, близкую естественнонаучной парадигме в психологии, занимает Дэниел Деннет, который считает, что объяснять ментальное из ментального, реализуя провозглашенный Эдуардом Шпрангером принцип *psychologica — psychological* (объяснять психическое через психическое), — значит топтаться на месте. Деннет утверждает, что сознание надо описывать на «нейтральном» языке, не являющемся ни физикалистским, ни менталистским, а аналогичным компьютерным программам, в результате чего получится, что «мысли сами себя мыслят»²⁸, а «ментального посредника» между нейрофизиологией и содержанием сознания не существует.

²⁴ Юлина, 2004: 148.

²⁵ Carnap, 1959.

²⁶ Quine, 1979.

²⁷ Feigl, 1958; Smart, 1959.

²⁸ Dennet, 1982.

Предлагаемый Деннетом «нейтральный язык», впрочем, не так уж нейтрален. Он считает, что все ментальные события в конечном счете являются не чем иным, как физическими событиями²⁹. А то, что мы субъективно воспринимаем как сознание, есть лишь глобальная доступность информации в «глобальном нейронном рабочем пространстве» головного мозга. Близкой позиции придерживаются также Пол Черчленд, Ноам Хомский, Джерри Фодор и др., которых Ричард Рорти обвинил в том, что их больше интересует то, что связывает нас не с Платоном, а с шимпанзе, в попытках «прорваться к природе», «выпрыгнув» за пределы культуры, и т. п.³⁰ И вообще, как ни парадоксально, в трактовке взаимоотношения тела и духа многие философы оказались более радикальными «физикалистами», чем психологи естественнонаучной ориентации.

В целом же в философии эта проблема выглядит столь же далекой от разрешения, как и в психологии, а более современный «физикализм с человеческим лицом»³¹ обнаруживает такую же несостоятельность в объяснении сложного психологического мира человека, как и физикализм более примитивного типа, «дуализм, устранившийся в одном месте, возрождается в другом»³².

«В настоящее время у нас нет концептуальных средств, которые позволили бы нам понять, каким образом субъективные и физические свойства могут быть одновременно существенными сторонами единой сущности или процесса»³³, — сетует Томас Нагель.

Ему вторит Нед Блок: «Ни одно из имеющихся сегодня в наличии нейрофизиологических или компьютерных понятий не в состоянии объяснить, что же это такое — быть феноменально осознанным, т. е. испытывать боль или видеть красное... Это хорошо известная пропасть в объяснении»³⁴.

А Джон Сёрл констатирует, что для современных материалистов, опирающихся на физическую, физиологическую и т. п. парадигмы, характерна «боязнь сознания» как обладающего «ужасной» для научного объяснения чертой — субъективностью, — и формулирует задачу «вернуть сознание в предмет науки в качестве биологического феномена»³⁵.

²⁹ *Dennet*, 1986.

³⁰ *Rorty*, 1972.

³¹ *Юлина*, 2004: 283.

³² *Там же*.

³³ *Нагель*, 2001: 105.

³⁴ *Block*, 1993: 182.

³⁵ *Сёрл*, 2002: 99.

В результате в разрешении дуализма тела и духа философия едва ли может помочь психологии, а последняя по-прежнему разделена на две конфликтующие парадигмы, воспроизводя восходящий к Рене Декарту дуализм³⁶. При этом ряд психологов гуманитарной ориентации с удовлетворением констатирует «победу» гуманитарной парадигмы над естественнонаучной, что не соответствует общей статистической картине современной психологической науки³⁷. Подобный победный тон напоминает пир во время чумы. Со времен Льва Выготского, считавшего сосуществование «двух психологий» главным симптомом кризиса³⁸, отсутствие единства психологической науки удручает многих ее представителей, которые видят в нем «своего рода уродство методологического тела психологии»³⁹, сожалеют о том, что «современный период стал и временем распада прежде единой отечественной психологии»⁴⁰ (хотя о том, была ли она единой прежде, можно поспорить). Вместе с тем в современной психологии сформировалась не только традиция сетовать на ее перманентный кризис, но и своеобразная «поэтика кризиса», восходящая к идее Выготского⁴¹ и других классиков психологии оживительной роли кризисов. Как это ни парадоксально, восприятие происходящего в психологической науке в терминах противостояния двух парадигм тоже можно воспринимать в позитивном свете — как признак ее *прогресса*, а понятие парадигмы — если не спасительным для нее, то по крайней мере способствовавшим упорядочению царящего в ней хаоса исследовательских подходов. Если раньше говорили о двух *психологиях*⁴², то теперь — о противоборстве двух парадигм, существующих в *одной* науке, что выглядит шагом вперед в ее развитии.

Констатация *противостояния* естественнонаучной и гуманитарной парадигм тоже не является единственным способом восприятия их взаимоотношений, которые не всегда расцениваются как антагонистические. Ирина Мироненко, например, считает, что

³⁶ Одни психологии считают «обращение к категории души глубоко неверным шагом, не только бесполезным, но и весьма опасным для развития отечественной психологической науки» (Мироненко, 2006а: 163), другие, напротив, очень приветствуют такой шаг. Владимир Шадриков, например, пишет: «Понятие “душа” вполне достойно того, чтобы его восстановить в правах как научное понятие. И предметом психологии может стать душа в ее научном понимании» (Шадриков, 2006: 25).

³⁷ См.: Александров, 2005.

³⁸ Выготский, 1982 [1927].

³⁹ Цит по: Аллахвердов, 2006: 101.

⁴⁰ Мироненко, 2006: 161.

⁴¹ Выготский, 1982 [1927].

⁴² Выготский, 1982 [1927] и др.

«в психологии всегда существовали и, наверное, будут существовать естественнонаучное и гуманитарное направления в их традиционном понимании; первое связано с естественными науками, второе — с гуманитарными. Неизбежно между ними будет сохраняться и определенная разница в методологии и — в большей степени — в методах исследования. Однако никакого антагонизма между этими направлениями в сфере науки ожидать, на мой взгляд, не следует»⁴³.

Высказывается и представление о полипарадигмальности психологии, ее обреченности на сосуществование различных парадигм, которое не расценивается как проявление ее раскола и разобщенности⁴⁴.

Правда, и вокруг этого представления ведутся ожесточенные дебаты, в результате чего психологическое сообщество переживает еще один «раскол» — на методологических плюралистов, признающих за разными парадигмами и глобальными психологическими теориями равные права на существование, и методологических монистов⁴⁵, убежденных в том, что в науке может существовать только одна «единственно правильная» парадигма. Дискуссии между ними ведутся в довольно жесткой форме, подчас даже более агрессивной, чем споры между сторонниками самих парадигм. Скажем, «монист» Елена Соколова обвиняет плюралистов в «методологической беспечности и безграмотности»⁴⁶, в «убийственной критике монизма»⁴⁷, а взаимоотношения между монистами и плюралистами характеризует так: «Не думаю, что в психологии дело обстоит менее драматично (чем в исторической науке, где каждый отстаивает собственное видение истории. — А. Ю.), разве что пока за стремление к научной объективности еще не додумались стрелять через дверь»⁴⁸. Обличительно и при этом интригующе звучат

⁴³ МIRONENKO, 2006: 110.

⁴⁴ Смирнов, 2006 и др.

⁴⁵ Вообще же современных психологов по критерию их общеметодологических ориентаций можно разделить на: 1) методологических нигилистов, 2) методологических ригористов (или методологических монистов), 3) методологических либералов, 4) методологических плюралистов (Смирнов, 2006).

⁴⁶ Соколова, 2006b: 107.

⁴⁷ Соколова, 2006a: 16.

⁴⁸ Соколова, 2006b: 111. Отдавая дань способности этого автора драматизировать ситуацию, обозначая ее чуть ли не в криминальном свете, а плюралистов изображать в образе своего рода «методологических террористов», которые «разве что не стреляют через дверь», следует отметить, что, как это ни парадоксально, дискуссии, ведущиеся в подобной тональности, иногда больше служат на благо науке, нежели более спокойные обсуждения. Они содействуют привлечению внимания к методологическим проблемам психологиче-

и отнесенные к «плюралистам» слова Соколовой о том, что ей «...не безразлично, каковы ценности занятого наукой человека: рассматривает ли он науку исключительно как средство заработка, признавая научной лишь ту картину мира, которая приносит ему доход...»⁴⁹. (Интересно, как можно заработать с помощью картины мира и сколько платят плюралистам за исповедуемый ими образ психологии?⁵⁰)

Достаточно жестко отвечает Елене Соколовой и «плюралист» Татьяна Корнилова, которая хотя и не «стреляет через дверь» (хочется надеяться, что до этого монисты и плюралисты все же не дойдут), но пишет:

«С моей точки зрения, недопустима подмена эмоциональным контекстом неприятия той или иной позиции размышления на выбранную (автором же) тему. Это несовместимо с бытием в психологии (как в научном сообществе) тех авторов, которые вслед за Мерабом Мамардашвили принимают доводы в пользу возвращения уважения человеку думающему и “додумывающему свои мысли”»⁵¹.

В общем, вопреки сделанному Геннадием Батыгиным наблюдению, что «склонные к деконструированию дискурса постмодернисты ведут себе по привычке вызывающе, но и уравновешенные “позитивисты” чувствуют себя немного стрейнджерами»⁵², в данном случае весьма агрессивно ведут себя обе стороны.

Таким образом, попытки примирения психологических парадигм на уровне общих методологических представлений оборачиваются еще более жаркими баталиями и реанимируют один из «вечных» вопросов психологической науки — о том, существуют ли в ней вообще представления, по поводу которых психологическому сообществу удалось бы достичь согласия. Впрочем, в методологический плюрализм, в отличие от методологического монизма, органично вписывается и отсутствие согласия *на всех уровнях*: если различные парадигмы, глобальные психологические теории, воз-

ской науки и превращению этой области, еще совсем недавно считавшейся одной из наиболее скучных и безжизненных, в одну из ее наиболее «горячих точек».

⁴⁹ Указ. соч.: 112.

⁵⁰ В этой связи можно с удовлетворением отметить, что, как отмечает Сергей Рапопорт, «социальная наука относится к сферам социальной жизни относительно некоррупционного типа (то есть коэффициент коррупционности в них ниже, чем в других)» (Рапопорт, 2005: 173).

⁵¹ Корнилова, 2006: 99.

⁵² Батыгин, 2005: 336.

зрения на природу психического и т. д. равноправны, то аналогичное можно сказать и в отношении общих представлений о путях развития психологической науки.

Остроту парадигмального противостояния несколько не снижает то обстоятельство, что парадигма, считающаяся в психологии естественнонаучной, по сути является *квазиестественнонаучной*. «Естественнонаучность» обеспечивается в этой дисциплине преимущественно двумя способами: 1) путем соблюдения позитивистских стандартов проведения исследований, ассоциирующихся с естественными науками, 2) с помощью «привязки» психологических процессов к физиологическому субстрату. Доминирует, за исключением биологических⁵³ направлений психологии, первый способ. При этом позитивистские стандарты проведения исследований — использование репрезентативных (и не очень) выборок, вычисление коэффициентов корреляции, применение более сложных математических процедур, попытки фиксации независимых переменных и т. п. — выглядят как *имитация* исследовательской методологии, характерной для естествознания, и дают «на выходе» знание, существенно отличающееся от естественнонаучного, не отвечающее критериям универсальности, воспроизводимости и т. п. В частности, как подчеркивает Джон Пайнел, для психологии характерны «*квазиэкспериментальные исследования*, выглядящие как эксперименты, однако не являющиеся подлинными экспериментами ввиду отсутствия контроля над переменными»⁵⁴. Все это, естественно, прекрасно известно психологам, претендующим на «естественнонаучность» своих исследований (для многих из которых она выступает аналогом *научности*), однако они предпочитают либо не замечать отличий психологии от естественных наук, либо делать вид, что эти отличия не слишком существенны и не принципиальны. В то же время квазиестественнонаучный характер психологических исследований очевиден, и то, что считается в психологии естественнонаучной парадигмой, характеризуется *ориентацией* на естественные науки как на образец «научности», а не реальным соблюдением принятых в них исследовательских стан-

⁵³ Совокупность этих направлений, объединенных «биологическим подходом к изучению психологических феноменов», Джон Пайнел называет «био-психологией», которую характеризует как «одну из наиболее стремительно прогрессирующих отраслей науки», включающую пять основных разделов: 1) физиологическую психологию, 2) психофармакологию, 3) нейропсихологию, 4) психофизиологию и 5) сравнительную психологию (Pinel, 1993: XI, 4).

⁵⁴ Pinel, 1993: 10. При этом, как свидетельствуют расчеты, примерно 40% психологических исследований основаны именно на экспериментах, в то время как на опросах — 36%, на контролируемом наблюдении — 16%, на изучении отдельных случаев — 4% и на кросскультурных методах — 3% (Rosenzweig, 1992).

дартов. Но недостижимость «естественнонаучной мечты» делает делеющих ее психологов не более, а менее толерантными к сторонникам гуманистической парадигмы, отвергающим естественнонаучные стандарты, — возможно, потому, что именно последние воспринимаются как одна из причин этой недостижимости.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ И СУДЬБЫ КЛАССИКИ

Успехи биологической науки, породившие прогноз о том, что XXI в. станет «веком биологии»⁵⁵, сказались и на ожиданиях в отношении психологии, которые основаны главным образом на прогрессе в изучении ее биологических основ. Так, например, в США 1990-е гг. были провозглашены «десятилетием мозга» — на том основании, что в эти годы о его структуре, функциях, организации и функционировании удалось узнать больше, чем за сотню предшествующих лет⁵⁶. В результате возникло ожидание, что расширение знаний о мозге вскоре позволит решать основные социальные и психологические проблемы:

«После 2000 г. принципиальные социальные, моральные и экологические проблемы будут, по всей вероятности, окрашены в “биологические тона”, а в жизнь общества, как из рога изобилия, посыпятся биотехнологические новинки. Биомышление станет информационной базой общества и определит наше видение самих себя»⁵⁷.

Был сформулирован также прогноз о том, что в начале XXI в. «технологии мозга» выйдут далеко за пределы лекарственных препаратов. В результате по крайней мере в «Первом мире» шизофрении и депрессии станут историей.

«Технологии мозга помогут людям слишком вспыльчивым, лишенным чувства юмора, чрезмерно эмоциональным и найдут очень широкий рынок. А в более отдаленном будущем открывается перспектива улучшения мнемических и умственных способностей человека, изменения его характера в сторону большей щедрости, доброты, меньшей гордости или лени»⁵⁸.

⁵⁵ *Наука и общество на рубеже веков*, 2000.

⁵⁶ *The Next Twenty-Five Years...*, 1998.

⁵⁷ Цит. по: *Наука и общество на рубеже веков*, 2000: 109.

⁵⁸ *The Next Twenty-Five Years...*, 1998: 36.

Предсказана и «психоневрологическая революция», возвещающая наступление «биоинженерной эры», в частности, то, что познания в области биохимии мозга сделают возможными искусственную память, основанную на вживлении в человеческий мозг электродов, стимуляцию мозговых «центров удовольствия» и т. п.⁵⁹ А накануне XXVII Всемирного психологического конгресса журнал «European Psychologist» опросил 30 крупных европейских психологов, которым было предложено назвать основные тенденции в развитии психологической науки, обещающие определить ее облик в XXI в. Практически все опрошенные в качестве одной из важнейших тенденций назвали достижения генетики и их огромное влияние на психологию⁶⁰.

Не оценивая степень реалистичности и обоснованности подобных прогнозов, отметим, что все они предрекают психологической науке большое влияние на человечество, но связывают это влияние не с доминирующими в ней направлениями, а с изучением головного мозга. Такая перспектива развития предполагает постепенное «испарение» не только гуманитарной составляющей психологии, подобное постепенному отмиранию философских заменителей естественных наук, сопровождавших их развитие, но и «испарение» квазиестественнонаучной составляющей самой естественнонаучной парадигмы, опору последней на исследования физиологического субстрата психических процессов, а не на сомнительные корреляции их феноменологических проявлений.

Обрисованная перспектива может особенно круто изменить облик психологии, особенно в сочетании с тенденцией в ее развитии, которую ряд исследователей называет «практическим поворотом»⁶¹. Марк Розенцвейг на основе опроса психологов из разных стран пришел к выводу: «Одна из главных закономерностей в развитии психологии во многих индустриальных странах, наблюдаемая с 1950-х годов, состоит в росте психологической практики в области здравоохранения и сервиса при относительном упадке традиционных академических исследований»⁶². Розенцвейг подчеркивает, что эта закономерность, которую он тоже называет «поворотом к практике» (*shift to practice*), проявляется в самых различных странах: в США, Австралии, Канаде, Финляндии, Германии, Норвегии, Португалии и Испании⁶³. При этом практическая

⁵⁹ *Ritchie-Calder*, 1976. Автор данного прогноза предрекает и то, что станет возможным развитие телепатических способностей, коммуникация посредством которых потеснит средства массовой информации.

⁶⁰ *Tele-interviews*, 2000.

⁶¹ *Polkinhorne*, 1994 и др.

⁶² *Rosenzweig*, 1992: 32.

⁶³ *Ibid.*: 33. Он также предостерегает, что в результате нарастания этой тенденции мы рискуем получить «психологию без науки» (*Ibid.*: 37).

составляющая психологии тоже не остается неизменной, а переживает, говоря словами Кеннета Гергена, «технологическое продвижение»⁶⁴, т. е. переход от «мягких» и дающих неопределенные результаты психологических *ноу-хау*, таких, как психоанализ, к более «жестким», допускающим тиражирование и приносящим более однозначные, «механические» результаты психологическим *технологиям*.

Отметим в данной связи, что в сфере практических приложений любой науки прибыль нарастает в направлении: *ноу-хау* — технологии — промышленные изделия, ибо в данном направлении существенно расширяется рынок их потенциальных потребителей. Если *ноу-хау* — это штучный товар, привязанный к «личному знанию» их носителей, не допускающий отчуждения от него и поэтому имеющий довольно узкий ареал распространения, то технологии предполагают тиражирование, отсутствие привязки к их конкретному носителю и в результате распространяются на более широком ареале, принося большую прибыль, а промышленные изделия имеют практически неограниченный рынок и обеспечивают многократное возрастание прибыли. Поэтому в условиях рыночной экономики любая наука стремится превратить создаваемые ее представителями *ноу-хау* в технологии, а их воплотить в промышленные изделия, и психология не является исключением. Этим обусловлено ее «технологическое продвижение», которое констатирует Герген. Возможно, не за горами и появление новой отрасли индустрии — *психоники* (по аналогии с электроникой) как наиболее перспективного вида психологической инженерии.

Наиболее известными примерами промышленных изделий, воплощающих созданные психологами технологии, являются дестекторы лжи, кресла и кушетки для психологической разгрузки, психологические приборы, которые почти неизбежно присутствуют на наших нынешних выставках научно-технических изобретений, и т. п. При всех различиях этих психологических изделий и воплощенных в них видов психологического знания (или псевдознания, особенно характерного для психологических изделий «народных умельцев») их объединяет стремление воплотить это знание в нечто осязаемое, материализованное⁶⁵, представленное в виде промышленного образца. Внешний вид таких изделий, их физическая осязаемость и др. создают у потенциального потребителя ощущение надежности и гарантированности результатов, сопоставимое с ощущениями, порождаемыми бытовой техникой, например те-

⁶⁴ Gergen, 1994.

⁶⁵ Популярность энерготерапевтов и их с ними тоже во многом обусловлена тем, что они изображают *физическое* воздействие на психику.

левизорами или холодильниками. В результате, скажем, детекторы лжи имеют широкое распространение на нашем рынке, продаются за несколько тысяч долларов при многократно меньшей себестоимости и обеспечивают их распространителям впечатляющую прибыль. Подобные причины, связанные и с рыночными механизмами, и со спросом на различные виды психологического знания⁶⁶, делают технологическую траекторию наиболее прибыльным и перспективным направлением развития прикладной психологии.

Эта траектория, при всей ее кажущейся удаленности от академической — исследовательской — психологии, со временем может оказать на нее большое влияние, породив новую — *технологическую* — парадигму ее развития. Уместно вспомнить, что практически все ученые, с именами которых связано формирование науки Нового времени, — Исаак Ньютон, Иоганн Кеплер, Галилео Галилей и др. — наряду с фундаментальными научными открытиями делали и практически полезные изобретения, находившие выражение в таких приборах, как, например, сконструированный Галилеем телескоп, что закономерно, поскольку в те годы фундаментальная наука была неотделима от практики. А в современной науке, которой свойственно дистанцирование фундаментальных исследований от инженерных разработок, одновременно наблюдается и их на первый взгляд парадоксальное сближение. В частности, наряду с категориями «фундаментальные исследования» и «прикладные исследования» все чаще используется такое понятие, как «прикладные фундаментальные исследования». Например, в прогнозе развития науки и техники в XXI в., совместно разработанном рядом научных организаций США, подчеркивается, что «фундаментальные технологические исследования» — это новая категория, необходимая для дополнения категории «фундаментальные научные исследования» и выражающая новое явление в развитии науки, которое не следует путать с прикладной наукой⁶⁷.

Можно предположить, что фундаментальные технологические исследования со временем займут видное место и в психологии, возможно, послужив основой новой, технологической парадигмы, в рамках которой противостояние естественнонаучной и гуманитарной составляющих психологии будет попросту лишено смысла, как лишено смысла противопоставление физической составляющей телевизора или холодильника способам их использования или

⁶⁶ Отметим в этой связи, что традиционное психологическое знание, вырабатываемое академической психологией, существующее в виде коэффициентов корреляции между переменными и т. п., за пределами науки мало востребовано.

⁶⁷ *Preparing for the 21st Century...*, 1997.

тем ощущениям, которые эти бытовые приборы у нас вызывают. Соответственно, есть основания связывать перспективы примирения естественнонаучной и гуманитарной парадигм, а значит, и объединение психологии с развитием только нарождающейся, но открывающей многообещающие перспективы технологической парадигмы.

Существуют и другие варианты примирения парадигм. Так, например, перспективы превращения психологии в точную науку обычно связывают с ее ориентацией на *естественные науки*. Однако «точные науки» и «естественные науки» не являются эквивалентными понятиями. К числу «точных наук» принадлежит, на наш взгляд, экономика, не являющаяся естественнонаучной дисциплиной. Данный прецедент «точной науки» куда ближе психологии и реалистичнее для нее, чем такие естественные науки, как физика, химия и даже биология. Остается лишь удивляться тому, что психология в своем стремлении походить на «точные науки» избрала образцы, столь от нее далекие и для нее неприемлемые, что попытки следования им порождают «позитивистское перенапряжение»⁶⁸ и другие негативные последствия.

Следует упомянуть и еще одно «родовое» методологическое заблуждение психологии — представление о том, что исследовательская дисциплина обретает статус науки лишь тогда, когда она, в духе известного высказывания Михаила Ломоносова, «начинает пользоваться математикой», активно культивирует количественные измерения и т. п. Люди научились считать задолго до появления науки, и сама по себе способность подсчитать что-либо не является критерием «научности». Для «точных наук» характерны не просто количественные подсчеты, а выявление *количественных закономерностей*. В этом плане экономика способна быть не менее авторитетным образцом «научности» для психологии, чем весьма далекие от нее естественные науки. Экономическая наука давно научилась фиксировать количественно измеримые проявления изучаемых ею феноменов и устанавливать между ними количественные соотношения. Психология же «ломится к открытую дверь» — давно и безуспешно пытается «материализовать» психические феномены, тем самым сделав их похожими на объекты изучения естественных наук, причем «материализует» их в виде абстрактных лабораторных конструкций. В то же время их проявления *уже материализованы*, причем самой жизнью, а не искусственными лабораторными условиями, и к тому же в форме, не только допускающей количественные измерения, но и делающей их естественными. Таковы, например, такие проявления психологического состояния

⁶⁸ Юревич, 2005.

личности и общества, как самоубийства, психические расстройства, заболевания нервной системы и др., количественный анализ которых позволяет психологии стать «точной наукой», двигаясь по пути, проложенному экономикой.

Еще одна перспектива парадигмального синтеза в психологии открывается в связи с распространяющимися в ней новыми методологическими настроениями, в частности с новым пониманием причинности. Постмодернистскому⁶⁹ узакониванию различных взглядов на природу психического, разнообразных подходов к его изучению и объяснению как равно адекватных, обернувшегося оправданием и их «сепаратизма», пришли на смену постпостмодернистские настроения⁷⁰, выразившиеся, в частности, в стремлении, узаконив разнообразие подходов к познанию психики, попытаться их интегрировать. Один из магистральных путей такой интеграции видится в *комплексном понимании психологической причинности* как не сводимой к какой-либо одной категории причин — феноменальных, нейрогуморальных, социальных или каких-либо еще, а представляющей собой их взаимоналожение — суперпозицию⁷¹. Как подчеркивает Гилберт Готлиб, психологическая причинность — это совместное действие различных структурно-функциональных отношений, а психологическое объяснение должно принимать во внимание взаимные влияния, проходящие через все уровни — гены, нейроны, поведение и среду⁷². И действительно, комплексные, многополярные психологические объяснения, в которых нашлось бы место и нейронам, и смыслу жизни, могли бы послужить одним из главных средств преодоления противостояния естественнонаучного и гуманитарного изучения психики.

⁶⁹ Четко объяснить, что представляет собой постмодернизм вообще, и тем более постмодернизм в психологии, очень не просто. На наш взгляд, среди отечественных психологов это лучше всего удалось Марине Гусельцевой (*Гусельцева, 2005*, и др.).

⁷⁰ В начале 1990-х Владимир Зинченко констатировал: «Все устали от монизма, идущего то ли от проекта Козьмы Пруткова о введении единомыслия в России, то ли от марксизма, то ли от православия» (*Зинченко, 1993: 50*). Однако сейчас наблюдаются все основные симптомы «усталости» и от пришедшего на смену монизму постмодернизма. Дэниел Деннет сравнивает постмодернизм с безвредным вирусом, представляющим особую опасность для стран третьего мира, не имеющих рационалистического иммунитета к нему. А Нина Юлина пишет: «Формируется своего рода фронт для отпора постмодернистскому вызову Западной Рационалистической Традиции, на которой возводилась Западная цивилизация и без которой невозможно Образование как Просвещение» (*Юлина, 2004: 363*). К «бойцам» этого фронта она относит Томаса Нагеля, Эдварда Уилсона, Жана Брикмона и некоторых других известных современных философов (*там же*).

⁷¹ *Юревич, 2006*.

⁷² *Gottlieb, 1997*.

Перечисленные новые тенденции в развитии психологической науки дают основание предположить, что она отнюдь не обречена на извечное противостояние естественнонаучной и гуманитарной парадигм, которые при определенном взгляде на психологическую реальность могут выглядеть не только не антагонистичными, но и, в терминах Томаса Куна, вполне «соизмеримыми» друг с другом и друг в друге нуждающимися.

Эти тенденции сказываются и на отношении к классикам психологической науки, а также к тому, что в системе принципов производства психологического знания и в самом этом знании принято считать классикой. Распространение постмодернистских методологических принципов, представлений о том, что не существует «правильных» и «неправильных» психологических теорий, что любая теория адекватно объясняет соответствующий аспект психологической реальности и т. п., формирование неклассической, а вслед за ней — постнеклассической науки⁷³ уравнивают в правах не только различные концепции и разные виды психологического знания, но и то, что было принято считать классикой, с тем, что к таковой не относилось. Все это, однако, не означает полной «всеядности» психологического сообщества и рассмотрения им *любых* теорий или представлений о психологической реальности в качестве равноправных и равноценных. Речь идет лишь о тех концепциях или взглядах, которые прошли *селекцию* в этом сообществе, признаны им научными и адекватными и обрели достаточную известность, преодолев, таким образом, «порог классичности». Вопрос о том, какая из психологических теорий более «верна» или более адекватна, для представителей постнеклассической психологии лишен смысла, ибо каждая из них рассматривается как верная и адекватная на своей области значений. Однако это не означает, что любая теория, например предложенная неким малоизвестным автором, будет автоматически зачислена в ту же когорту и начнет рассматриваться как равноправная с ними. Так что «пороги классичности», различия между классикой и не классикой сохраняются и в постнеклассической науке.

Отсутствие «единственно правильных» истин в постнеклассической науке, возможность выбора между различными концепциями и моделями исследования, признаваемыми равноправными, снижает шансы любой из них оказаться в роли некоего общепризнанного «абсолюта», что ставит и классику, а вместе с нею и классиков, в непростое положение. Однако это, разумеется, не следует воспринимать как «приговор классике».

Во-первых, без классики, т. е. без общеизвестных и разделяемых хотя бы большей частью научного сообщества истин, не мо-

⁷³ Стёпин, 2000.

жет развиваться ни одна наука, а эти истины, как правило, «персонифицированы», будучи связанными с именами сформулировавших их ученых, так что и «слухи о смерти» классиков в современной науке явно преувеличены. Как отмечает Геннадий Батыгин,

«“республика ученых” приобрела вполне демократический вид, где на фоне перманентного гражданского конфликта идет интенсивный поиск канона, классики, форм солидарности, институциональной поддержки и трансмиссии культурного образца — создаются “нормальная наука” и соответствующие институциональные реквизиты профессии»⁷⁴.

При этом местонахождение «банка классических истин» и его источников может перемещаться. Так, в советской социогуманитарной науке по понятным причинам было принято опираться преимущественно на «своих», отечественных классиков. Сейчас в силу общей вестернизации нашего общества, крушения «железного занавеса», который существовал и в науке, возрастания мобильности наших ученых и студентов, распространения Интернета и т. п. «эпицентр классичности» у нас явно сместился на Запад, пророки ищутся в чужом отечестве, многие наши студенты-психологи лучше знают работы зарубежных исследователей, нежели труды Льва Выготского, Сергея Рубинштейна и Алексея Леонтьева. Это неизбежно ведет и к смене исследовательских ориентаций. В частности, как подчеркивает Харли Балзер, для советской и российской науки всегда были характерны такие отличительные особенности, как склонность к теоретическим разработкам («область доски и мела»), закрытость и затрудненность коммуникаций («низкая диффузия результатов»), иерархичность и тенденция к следованию тематике патриархов («менторизм»)⁷⁵. Эти ее традиционные характеристики постепенно стираются в условиях размывания статусных иерархий, возрастающей мобильности ученых и их переориентации на западные стандарты.

Во-вторых, постмодернизм в науке, будучи конгломератом не только идей, но и настроений, со временем порождает и другие настроения, а «усталость от позитивизма», облегчившая путь постмодернизму, начинает сменяться «усталостью от постмодернизма», порождающей постпостмодернистские установки. Среди таких установок постепенно вырисовывается и «спрос на классику», которая могла бы укрепить весьма зыбкий корпус социогуманитарного знания.

⁷⁴ Батыгин, 2000: 12.

⁷⁵ Balzer, 1989.

В-третьих, в научном сообществе широко распространены такие феномены, как своего рода «импринтинг». Некоторые авторитеты и знания иногда «впечатываются» в сознание ученого на всю его жизнь, и вся его исследовательская деятельность оказывается озарена их светом. В таких случаях отказ от них означает измену самому святому, что есть у ученого, на что исследователи определенного и широко распространенного в науке психологического типа не способны. Нейл Эгню и Сандра Пайк сравнивают отказ от однажды принятой теории с отвержением любимой девушки, подчеркивая, что и то и другое требует большего, нежели просто негативная информация об обожаемом объекте⁷⁶.

Наконец, в-четвертых, при всей огромной роли социальных факторов в развитии науки их не следует абсолютизировать. Роль когнитивных факторов тоже велика, а значит, и любой релятивизм тоже релятивен, в каждой науке существует некоторое множество идей и фактов, которые трудно не признать, вне зависимости от ориентации исследователя в системе монизм—плюрализм, его принадлежности к какой-либо научной школе и т. п.

Так что «игры в классики» лишь отчасти представляют собой социальные «итры», правила которых часто изменяются. В значительной мере это и «игры с природой», т. е. познание объективного мира, которое неизбежно порождает как релятивное, так и «абсолютное» знание, в корпусе которого классика занимает вполне заслуженное ею место.

Литература

Александров Ю. И. О «затухающих» парадигмах, телеологии, «каузализме» и особенностях отечественной науки // *Вопросы психологии*. 2005. № 5. С. 155—158.

Аллахвердов В. М. Предмет психологии сквозь призму единой теории психологии // *Методология и история психологии*. 2006. № 1. С. 100—104.

Арефьев П. Г. Российские интеллектуальные элиты в компьютерных сетях: проблемы интеграции в структуру глобального взаимодействия // *Социальные науки в постсоветской России*. М.: Академический проект, 2005. С. 262—301.

Батыгин Г. С. «Социальные ученые» в условиях кризиса: структурные изменения в дисциплинарной организации и тематическом репертуаре социальных наук // *Социальные науки в постсоветской России*. М.: Академический проект, 2005. С. 6—107.

Батыгин Г. С. Невидимая граница: грантовая поддержка и реструктурирование научного сообщества в России // *Социальные науки в постсоветской России*. М.: Академический проект, 2005. С. 323—340.

⁷⁶ Agnew, Pyke, 1969.

Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кризиса [1927] // Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1. М.: Педагогика, 1982. С. 291—436.

Гусельцева М. С. Культурная психология и методология гуманитарных наук // *Вопросы психологии*. 2005. № 5. С. 3—18.

Ионин Л. Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М.: Логос, 2000.

Зинченко В. П. Культурно-историческая психология и психологическая теория деятельности: живые противоречия и точки роста // *Вестник МГУ. Сер. 14: Психология*. 1993. № 2. С. 41—50.

Климов И. А. Социальный состав и профессиональные ориентации российских обществоведов // *Социальные науки в постсоветской России*. М.: Академический проект, 2005. С. 203—227.

Корнилова Т. В. К проблеме полипарадигмальности психологических объяснений (или о роли редукционизма и пристрастиях в методологии психологии) // *Психологический журнал*. 2006. № 5. С. 92—100.

Кун Т. Структура научных революций / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1975.

Леонтьев Д. А. Личность как преодоление индивидуальности: основы неклассической психологии личности // *Психологическая теория деятельности: вчера, сегодня, завтра*. М.: Смысл, 2006. С. 134—147.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М.: Наука, 1984.

Марцинковская Т. Д. Междисциплинарность как системообразующий фактор современной психологии // *Методологические проблемы современной психологии* / Под ред. Т. Д. Марцинковской. М.: Смысл, 2004. С. 61—81.

Мироненко И. А. Континуум или разрыв? // *Вопросы психологии*. 2006а. № 6. С. 105—111.

Мироненко И. А. О концепции предмета психологической науки // *Методология и история психологии*. 2006б. № 1. С. 160—173.

Нагель Т. Мыслимость невозможного и проблема духа и тела // *Вопросы философии*. 2001. № 8. С. 101—112.

Наука и общество на рубеже веков: Реф. сб. / Под ред. А. М. Кулькина. М.: ИНИОН РАН, 2000.

Прайс Д. Дж. Малая наука, большая наука [1963] // *Наука о науке*. М.: Прогресс, 1966. С. 281—384.

Рапопорт С. С. Социокультурная компетенция интеллигента и здравый смысл // *Социальные науки в постсоветской России*. М.: Академический проект, 2005. С. 157—180.

Сёрл Дж. Открывая сознание заново / Пер. с англ. М.: Идея-Пресс, 2002.

Смирнов С. Д. Чем грозит психологии отсутствие общепринятого определения ее предмета? // *Методология и история психологии*. 2006. № 1. С. 73—84.

Соколова Е. Е. Апология системного монизма // *Вопросы психологии*. 2006а. № 4. С. 15—23.

Соколова Е. Е. К проблеме соотношения значений и смыслов в научной деятельности (опыт равнодушного прочтения книги А. А. Леонтьева «Деятельный ум» // *Психологический журнал*. 2006б. № 1. С. 107—113.

Стёпин В. С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2000.

Чуприкова Н. И. Теория отражения, психическая реальность и психологическая наука // *Методология и история психологии*. 2006. № 1. С. 174—192.

Шадриков В. Д. Мир внутренней жизни человека. М.: Логос, 2006.

Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки / Пер. с англ. и нем. М.: Прогресс, 1986.

Юлина Н. С. Головоломки проблемы сознания: концепция Дэниела Деннета. М.: Канон+, 2004.

Юревич А. В. Объяснение в психологии // *Психологический журнал*. 2006. № 1. С. 97—106.

Юревич А. В. Психология и методология. М.: Ин-т психологии РАН, 2005.

Ядов В. А. Современная теоретическая социология как концептуальная база исследования российских трансформаций: Курс лекций. СПб.: Интерсоцис, 2006.

Agnew N. M., Pyke S. W. The Science Game: An Introduction to Research in the Behavioral Sciences. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall, 1969.

Balzer H. D. Soviet Science on the Edge of Reform. Boulder (CO): Westview, 1989.

Block N. On Daniel Dennett's «Consciousness explained» // *Journal of Philosophy*. April 1993. Vol. 90. No. 4. P. 193—205.

Carnap R. Psychology in Physical Language // Logical Positivism / Ed. A. J. Ayer. New York: Free Press, 1959.

Dennett D. How to Study Human Consciousness Empirically, or Nothing Comes to Mind // *Synthese*. November 1982. Vol. 2. P. 159—179.

Dennett D. Brainstorms. Philosophical Essays on Mind and Psychology. Cambridge: MIT Press, 1981.

Feigl H. The «Mental» and the «Physical» // *Minnesota Studies in Philosophy of Science*. Minneapolis: University of Minnesota Press. 1958. Vol. 3. P. 370—457.

Gottlieb G. Synthesizing Nature-Nurture: Prenatal Roots of Instinctive Behavior. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 1997.

Hargens L. Using the literature: Reference Networks, Reference Contexts, and the Social Structure of scholarship // *American Sociological Review*. 2000. Vol. 65. P. 148—163.

Gergen K. J. Toward a Postmodern Psychology // Psychology and Postmodernism / Ed. S. Kvaal. L.: Sage Publications, 1994. P. 17—30.

Granet M. The Tao / Trans. by J. Pitts // Theories of Society. Vol II. New York: The Free Press, 1961. P. 1098—1101.

Masterman M. The Nature of a Paradigm // Criticism and the Growth of Knowledge / Eds. I. Lakatos, A. Musgrave. Cambridge: Cambridge University Press, 1970. P. 33—61.

The Next Twenty-Five Years of Technology: Opportunities and Risks // 21-st Century Technologies: Promises and Perils Of Dynamic Future. Paris: OECD, 1998. P. 33—46.

Pinel J. P. J. Biopsychology. Boston: Allyn & Bacon, 1993.

Polkinhorne D. E. Postmodern Epistemology of Practice // Psychology and Postmodernism / Ed. S. Kvaes. L.: Sage Publications, 1994. P. 146—165.

Preparing for the 21st Century: Science and Technology Policy in a New Era Statement from the presidents of the National Academy of Science, National academy of Engineering and the Institute of Medicine. October 1997. <http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=s10231997>

Ritchie-Calder P. The Next Billion Years Start Now // The Future / Ed. G. Leinwand. N. Y.: Pocket Books, 1976. P. 206—214.

Rorty R. Functionalism, Machines and Incorrigeability // *Journal of Philosophy*. 1972. Vol. 69. P. 203—220.

Rosenzweig M. R. What is Psychological Science // International Psychological Science: Progress, Problems, And Prospects. Washington: American Psychological Association, 1992. P. 1—16.

Quine W. O. Facts of the Matter // Essays on the Philosophy of W. O. Quine / Eds. R. W. Shahan, C. Swoyer. Norman: Univ. of Oklahoma Press, 1979. P. 155—169.

Smart J. J. C. Sensations and Brain Processes // *Philosophical Review*. 1959. Vol. LXVII. P. 141—156.

The Social Psychology of Knowledge / Eds. D. Bar-Tal, A. W. Kruglanski. New York: Cambridge University Press, 1988.

Tele-interviews // *European Psychologist*. 2000. Vol. 5. No. 2.

Вадим Руднев

ФРЕЙД И ЭВОЛЮЦИЯ ПСИХОАНАЛИЗА

Можно без преувеличения сказать, что XX в. — это век Фрейда. Он вошел даже в повседневную жизнь. Его «Психопатология обыденной жизни» (1901)¹ с анализом «ошибочных действий» — оговорок, опечаток и забываний слов — по сей день чрезвычайно популярна. Когда люди оговариваются или забывают какое-то слово, они говорят: «Ну вот, опять оговорка по Фрейду».

Фрейд вошел в литературу и искусство, в частности, его приняли на шит сюрреалисты, которые метод свободных ассоциаций преобразовали в технику автоматического письма, когда художник, совершенно не заботясь о результате, записывал холст «как попало».

В массовом сознании Фрейд, бесспорно, является классиком. Однако в психотерапевтических кругах отношение к Фрейду было весьма неоднозначным, в том числе и среди его учеников. История идей и влияния Фрейда подчиняется законам не естественной, а гуманитарной науки, поэтому здесь нет закономерных смен одной парадигмы другой. Это история не только идей, но людей и их судеб.

Психоанализ не был нормальной наукой в смысле Томаса Куна, не был он и ненормальной наукой, он вообще, строго говоря, не был наукой. Он был чем-то средним между наукой и искусством. Психоанализ — это разновидность психотерапии, дитя XX в. Психотерапия — точно не наука, это искусство врачевания психических расстройств. Однако наряду с клиническим психоанализом — «лечением разговорами», как он первоначально назывался, — был еще теоретический психоанализ, или метапсихология

¹ Фрейд. 1990 [1901].

психоанализа. Эту часть психоанализа *можно* назвать наукой, но только в том смысле, в котором можно назвать наукой литературоведение или искусствознание.

По психоанализу написаны десятки тысяч книг. Но самые важные открытия делались на основе анализа конкретных клинических случаев. Фрейд наряду с блестящими теоретическими книгами и статьями обнародовал свои открытия, также и описывая так называемые большие случаи. Так в «Случае Доры» он открыл перенос, в «Случае Шребера» — механизмы действия паранойи, в «Случае маленького Ганса» он подробно описал эдипов комплекс и комплекс кастрации, в «Случае Человека-Крысы» — сложный случай невроза навязчивых состояний и, наконец, в «Случае Человека-Волка» сформулировал понятие первосцены.

Юрий Лотман когда-то сказал, что если бы Ньютон не открыл своих законов, то это вместо него сделал бы лет через пятьдесят кто-нибудь другой. Но если бы Пушкин не написал «Евгения Онегина», то этого вместо него не сделал бы никто. Эта максима вполне применима к психоанализу. Никто, кроме Фрейда, не описал бы случай маленького Ганса, никто, кроме Лакана, не придумал бы слова «синтон», никто, кроме Мелани Кляйн, не изобрел бы «шизоидно-параноидную позицию».

1. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ПСИХОАНАЛИЗА

В 1897 г. Йозеф Брейер и Зигмунд Фрейд публикуют «Исследования по истерии»². Самое главное здесь — отказ от гипноза и переход к методу свободных ассоциаций, к «лечению разговорами», которые одна из пациенток назвала «прочисткой дымоходов». В этой книге авторы изложили концепцию конверсионной истерии: полученная травма вытесняется (вытеснение — важнейший концепт раннего психоанализа) и затем вылезает наружу в виде симптома: это Фрейд и назвал конверсией. Простейший пример: пациенту когда-то дали пощечину, он забыл об этом — на языке психоанализа произошло вытеснение. У него появилась невралгия тройничного нерва, но не это было органическим заболеванием: это и была истерия, то есть конверсия вытесненной травмы в квазиорганический симптом. Когда под воздействием свободных ассоциаций и в результате инсайта (другой важнейший концепт классического психоанализа) истерик вспоминал вытесненный

² Брейер, Фрейд, 2005 [1897].

травматический эпизод, «невралгия» проходила. Такова была в двух словах техника первоначального психоанализа.

Еще одним важнейшим концептом является сопротивление — бессознательное пациента не хочет выздоравливать, оно сопротивляется лечению, так как психическое заболевание зачастую имеет рентный характер, то есть дает человеку «вторичную выгоду», например возможность не работать и получать пенсию. Поэтому анализ сопротивления — важнейший и труднейший аспект в каждодневном (стандартная частота проводимых сессий — 50 минут четыре раза в неделю) психоаналитическом сессинге.

Третий и также важнейший концепт, который был обнаружен и оценен Фрейдом далеко не сразу (лишь в 1905 г., когда он описал его в так называемом «Случае Доры»)³, — это перенос, или трансфер, когда пациент, вместо того чтобы анализировать прошлое, подменяет прошлое настоящим. Если у него, например, были конфликты с отцом и он ненавидел отца (предположим, на почве эдипова комплекса) и вытеснил эту ненависть в бессознательное, то в процессе анализа он мог начать ненавидеть аналитика, перенося на него свойства отца, то есть, попросту говоря, отождествив его с отцом, — так называемый негативный перенос. Или, наоборот, пациент мог влюбиться в психоаналитика — так называемый позитивный перенос. Вначале Фрейд считал, что перенос мешает анализу, но потом он понял, что именно перенос является наиболее важным его звеном, потому что именно в анализе переноса раскрывается возможность реального воспоминания вытесненной травмы и целебного инсайта⁴.

Официальное рождение психоанализа — публикация Фрейдом книги «Толкование сновидений» (1900)⁵. Сновидение — «царский путь в бессознательное». Оно трактуется Фрейдом как вытесненные в бессознательное вследствие своей нравственной недопустимости (например, та же эдипова инцестуозная любовь к матери) желания. Во сне оно исполняется, но только при этом у спящего действует цензура, и поэтому в сновидениях появляется нечто вроде метафоры и метонимии, сновидческая риторика — смещение и сгущение. Чтобы истолковать сновидение, нужно на основе его явного содержания, зачастую нелепого и абсурдного, вскрыть латентное содержание. В этой книге Фрейд также набросал кажущуюся шокирующей для читателей того времени (вообще с точки зрения истории

³ Фрейд, 1998 [1905]

⁴ Подробное и увлекательное изложение «Техники и практики психоанализа» и в первую очередь анализ понятий «сопротивление» и «перенос» см. в одноименной книге Ральфа Ромео Гринсона (*Гринсон, 2003 [1967]*).

⁵ Фрейд, 1991 [1900].

и теории культуры психоанализ был вызовом викторианской эпохе) классификацию символов сновидения, имеющих сексуальный характер. Все вытянутое, продолговатое трактовалось как субститут фаллоса: нога, сигара, нос, палец, столб, дерево; все выгнутое: шляпа, птичье гнездо, коробка, ящик, комод, кошелек — символ вагины, а полет, подъем или спуск по лестнице — символ коитуса. Сначала книгу просто не заметили, потом началась травля Фрейда, его обвиняли в безнравственности.

Очень важно, что в этой книге (фрагмент «Царь Эдип и Гамлет») была впервые сформулирована идея эдипова комплекса: 3—5-летний мальчик хочет убить своего отца и переспать со своей матерью (для девочек Юнг позднее предложил название «комплекс Электры», но оно не прижилось). Наиболее интересное истолкование эдипова комплекса (к тому же это был образец детского психоанализа, чрезвычайно важного в дальнейшем развитии психоанализа в целом) — это история маленького Ганса (большая статья 1909 г. «Анализ фобии пятилетнего мальчика»)⁶.

С 1897 г. Фрейд пять раз проходил самоанализ (по мнению его первого биографа Эрнста Джонса, этот самоанализ длился всю жизнь)⁷. С 1902 г. формируется первый отряд его непосредственных учеников, психоаналитиков первого поколения, которые проходили учебный анализ у самого Фрейда (с тех пор было принято условие, что психоаналитик только тогда может перейти к практике, когда сам пройдет дидактический психоанализ). Это условие неукоснительно выполняется до наших дней. И это самое трудное. Потому что каждый человек как минимум невротик, а максимум — шизофреник. Но тогда еще этого никто не знал, не было даже такого слова — «шизофрения», было понятие *dementia graecorum* (раннее слабоумие). Первоначально сторонники психоанализа считали, что шизофрения и депрессия не поддаются психоаналитическому воздействию, и лечили только истерию, обсеессию (невроз навязчивых состояний) и фобию (истерию страха).

Фрейд сформулировал за 25 лет работы три теории психического аппарата. Первая «топика» — противопоставление бессознательного, предсознательного и сознательного — была наиболее очевидна.

Вторая топика — противопоставление Эго, Супер-Эго и Ид (книга «Я и Оно», 1923)⁸ — была одним из важнейших теоретических открытий Фрейда. Отныне вся теория неврозов описывалась через эти три понятия (см. статью 1923 г. «Невроз и психоз»)⁹.

⁶ Фрейд, 1990 [1909].

⁷ Джонс, 1997 [1945].

⁸ Фрейд, 1990 [1923].

⁹ Freud, 1979 [1923a].

Потихоньку Фрейд приближался к психоаналитическому пониманию психоза как утраты реальности (статья «Потеря реальности при неврозе и психозе», 1923)¹⁰, но отказывался лечить психотиков.

В статье «По ту сторону принципа удовольствия» (1920)¹¹ Фрейд сформулировал третью топику — противопоставление инстинкта жизни влечению к смерти; правда, кое-кто считал, что Фрейд не слишком красиво воспользовался сформулированными за восемь лет до этого идеями своей ученицы Сабин Шпильрейн, которая сформулировала их в 1912 г. в статье «Деструкция как причина становления»¹².

Эта третья теория психического аппарата была наиболее сомнительной и не получила всеобщего одобрения, хотя ее поддержала психоаналитик второго поколения гениальная Мелани Кляйн, основательница английской психоаналитической школы и одна из подлинных основателей детского психоанализа.

2. УЧЕНИКИ И ПРОДОЛЖАТЕЛИ

К первому поколению учеников Фрейда принадлежали Карл Густав Юнг — в Швейцарии, Отто Ранк, Альфред Адлер, Карл Абрахам и Ханс Закс — в Вене, Макс Эйтингон — в Берлине, Эрнст Джонс — в Лондоне, Абрахам Брилл — в США, Шандор Ференци — в Будапеште¹³. Из них сформировался так называемый Комитет. Каждый из названных первых учеников Фрейда сделал какое-то важное открытие в психоанализе, после чего, как правило, Фрейд отлучал его от ортодоксального психоанализа.

Первым откололся Юнг, который в книге «Метаморфозы и символы либидо» сформировал концепцию коллективного бессознательного и архетипов, из которой родилась аналитическая пси-

¹⁰ Freud, 1979 [1923b].

¹¹ Фрейд, 1990 [1920].

¹² Шпильрейн, 1994 [1912].

¹³ Надо сказать, что Россия была одной из первых стран, которая восприняла идеи психоанализа. «Толкование сновидений» в первую очередь было переведено именно на русский. Благодаря деятельности профессора Ивана Ермакова была организована психоаналитическая библиотека, занимавшаяся публикацией и собиранием текстов Фрейда. Образовалось особое направление в СССР — фрейдомарксизм. Однако в конце 1920-х годов все это было прикрито, и официально психоанализ был возрожден только в 1999 г. указом Ельцина «О развитии психоанализа в России». Вскоре после этого были организованы Московский институт психоанализа и Европейский институт психоанализа в Петербурге. В России стала формироваться команда психоаналитиков, проходивших учебный анализ в Европе.

хология. Фрейд с тяжелым сердцем изгнал молодого Юнга из психоаналитического сообщества. А он был надеждой и чуть ли не преемником Фрейда.

Различия между Юнгом и Фрейдом были связаны, во-первых, с анализом сновидений. Для Фрейда сновидение идет из прошлого и является исполнением вытесненных желаний. Для Юнга, который был мистиком (Фрейд был рационалистом), сновидение шло из будущего и подсказывало сновидцу, как ему вести себя в дальнейшем¹⁴. Во-вторых, для Юнга бессознательное имело коллективный характер (для Фрейда — сугубо индивидуальный), поэтому учение Юнга тесно связано с мифологией (он является одним из создателей оригинальной концепции мифологии в XX в.¹⁵ В-третьих, Юнг считал, «что односторонний сексуальный уклон Фрейда является его субъективным предрассудком¹⁶. Взамен Юнг предложил теорию архетипов (Персона, Анима и т. д.), то есть субличностей, которые бессознательно управляют поведением и волей человека.

Альфред Адлер был не согласен с Фрейдом, что всем управляет либидо, и считал, что самое важное — это власть. Он сформировал свое ответвление психоанализа — индивидуальную психологию¹⁷ — и также с проклятиями был изгнан. Отто Ранк, самый преданный ученик, чуть ли не приемный сын Фрейда, был изгнан за то, что придумал теорию травмы рождения, к которой сводил все остальные травмы¹⁸.

И даже самый верный и душевный Шандор Ференци подвергся жесткой критике за то, что придумал теорию активного психоанализа. По ортодоксальным правилам психоаналитики не имели права даже прикасаться к пациенту. Ференци это правило нарушил — он позволял себе пожимать руку пациенту, похлопывать его по плечу¹⁹.

Вильгельм Райх был подвергнут остракизму за книгу «Анализ характера»²⁰, где разработал так называемую оргонную теорию, которая, впрочем, действительно была довольно сомнительной. Зато Райх основал телесно-ориентированную психотерапию, которую развил его ученик Александр Лоуэн²¹.

¹⁴ Юнг, 1994 [1957].

¹⁵ Мелетинский, 1976.

¹⁶ Юнг, 2000 [1961]: 287.

¹⁷ См.: Адлер, 1995 [1920].

¹⁸ Ранк, 2004, [1929].

¹⁹ См.: Ференци, 2000 [1927].

²⁰ Райх, 2000 [1931].

²¹ Лоуэн, 1996; 1999.

Вот еще одна характерная история. Фредерик (Фриц) Перлз, в молодости горячий поклонник Фрейда, в конце 1940-х годов организовал институт психоанализа в Южной Африке. Он приехал в Вену и сказал Фрейду, что приехал специально из Южной Африки, чтобы познакомиться с ним. На что Фрейд равнодушно спросил: «А когда вы уезжаете?» Написав более или менее психоаналитическую книгу «Эго, голод и агрессия» (1945)²², Перлз отошел от психоанализа и обосновал свою школу гештальттерапии, которая во всем была противоположна психоанализу. Если психоанализ уповал на прошлое, то Фриц говорил: только здесь и теперь. Если в ортодоксальном психоанализе господствовало правило «абстиненции» — аналитик не мог вне сессинга общаться с пациентом, никак влиять на него помимо анализа, прикасаться нему, — то Перлз чуть ли не спал со своими пациентками. Когда такое случилось в психоанализе (например, Юнг и Сабина Шпильрейн)²³, это кончалось очень плохо.

Другой пример — когнитивная терапия Аарона Бека²⁴. Вместо свободных ассоциаций он предложил рационалистический анализ дезадаптивного поведения пациента и приспособления его к жизни путем изменения стереотипов поведения.

Психоанализ относится к длительной психотерапии, он продолжается несколько лет, может ничем не закончиться, отнимает много времени и очень дорог (средний современный московский аналитик, прошедший учебный анализ на Западе, берет где-то от 800 до 1600 евро в месяц). Но в начале 1960-х появилось нейролингвистическое программирование (НЛП), и его основатели Ричард Бэндлер и Джон Гриндер провозгласили, что могут вылечить тяжелого шизофреника за три минуты²⁵.

Впрочем, и в ортодоксальной среде психоаналитиков во второй половине XX в. некоторые специалисты стали относиться к наследию Фрейда высокомерно, говоря, что Фрейд — это просто «история психоанализа».

Современный психоанализ в лице Отто Кернберга заменил в работе с тяжелыми пациентами анализ прошлого так называемым поддерживающим психоанализом, то есть с пациентом анализировались актуальные проблемы сегодняшнего дня, не касаясь прошлого²⁶. Постепенно с кушетки пациент переходил в кресло²⁷. Важнейшим отличием современного психоанализа от традиционного

²² Перлз, 2000 [1945].

²³ Подробнее см.: Эткинд, 1994, гл. «Чистая игра с русской девушкой».

²⁴ Бек, 1979; Когнитивная психотерапия..., 2002 [1990].

²⁵ Бэндлер, Гриндер 1998 [1967].

²⁶ Кернберг, 2000 [1994].

²⁷ Маквилямс, 1998 [1993].

стало понимание контрпереноса, то есть отношения аналитика к пациенту, которое формируется как ответ на вызов переноса. В классическом психоанализе к контрпереносу относились как к чему-то, чего следовало избегать и что следовало подавлять. В современном психоанализе контрперенос стал таким же орудием самопознания аналитика и его воздействий на пациента, как и сам перенос²⁸.

Вместе с тем в 1930—1940-е годы у Фрейда появились горячие и талантливые поклонники, творчески продолжавшие его дело.

В первую очередь это Мелани Кляйн, которая построила учение о «шизоидно-параноидной и депрессивной позициях». Она реконструировала на основе анализа своих собственных детей динамику психической жизни младенца от полугода до одного года жизни. Шизоидно-параноидная позиция, на которой господствовало влечение к смерти, заключалась в том, что ребенок на довербальной стадии развития не знал еще целостных объектов и расщеплял «первичный объект» (материнскую грудь) на «хороший» и «плохой». По мысли Кляйн, если младенец не проходил шизоидно-параноидную позицию и фиксировался на ней, то он с большой вероятностью мог потом заболеть шизофренией.

Депрессивная позиция появляется в районе одного года и характеризуется важным шагом вперед: отныне ребенок (он уже может немножко говорить) воспринимает мать как целостный объект, но за это платит скорбью, когда она уходит, — он думает что она больше не вернется²⁹. Кляйн разработала новый тип аналитического сеттинга с детьми, когда в игровой комнате без всяких кушеток дети свободно играли с аналитиком в игрушки, а она попутно делала осторожные интерпретации с позиций классического психоанализа³⁰.

Однако Кляйн критиковали почти все за произвольность и даже надуманность ее гипотез. Все, кроме одного. Кроме человека, который назвал себя единственным верным последователем Фрейда. Это был Жак Лакан, который взошел (даже ворвался!) на психоаналитическую сцену в конце 1940-х годов.

Если Фрейд писал предельно прозрачно и увлекательно, то Лакан писал предельно запутанно и непонятно. Тем не менее он придумал большое число новых психоаналитических концептов и оказал огромное влияние на постструктуралистскую и постмодернистскую философию — прежде всего Барта, Кристеву, Делёза, Гваттари и Деррида, а также на главу люблянской школы теоретического психоанализа Славоя Жижека.

²⁸ См.: *Эра контрпереноса*, 2005.

²⁹ Кляйн и др., 2001 [1952].

³⁰ Кляйн, 2001 [1930].

В сущности, Лакан, психоаналитик-практик, написал не так много: один том «*Écrits*»³¹, который частично переведен на русский язык³². Но удивительное наследие Лакана представляют его семинары, которые он вел с начала 1950-х годов и почти до самой смерти в 1981 г. После его смерти его ученик и зять Жак-Ален Миллер опубликовал все 26 томов семинаров, четыре из которых уже переведены на русский язык³³.

Лакан в своих построениях опирался на структурную лингвистику де Соссюра, поэтому его психофилософия называется «структурным психоанализом».

Лакан навязчиво, через каждые три строки, подчеркивает, что он только развивает идеи Фрейда. Это и так, и не так. Возьмем, например, триаду Лакана Воображаемое — Символическое — Реальное.

Это можно назвать «четвертой топикой» психоанализа. Воображаемое во многом похоже на фрейдовское Я³⁴, ибо по Лакану человек живет в мире иллюзий и фантазий. Символическое — это языковые структуры, которые с детства определяют поведение и интеллектуальные ресурсы человека. В определенном смысле Символическое Лакана соответствует фрейдовскому Сверх-Я. Самое трудное понятие — это так называемое Реальное Субъекта. Это понятие ничего не имеет общего с понятием реальности и скорее противоположно ему — это невербализуемые, несимволизируемые тайные желания и влечения человека и, конечно, больше всего похожи на фрейдовское Оно.

Довольно нелегко понять и лакановский термин Имя Отца. Имя отца — это в каком-то смысле продолжение фрейдовской концепции «мёртвого отца» первобытной орды, которого убили сыновья, а потом начали испытывать чувство вины по этому поводу («Тотем и табу», 1913)³⁵. Почему Имя Отца, а не просто Отец? Потому что Имя — это мифологический символ³⁶ (отсюда в молитве «Отче наш» — «Да святится Имя Твое!»).

Лакан писал:

«Для возникновения психоза необходимо, чтобы исключенное (*verworfen*), т. е. никогда не приходившее в место Другого, Имя Отца было призвано в это место для символического противостояния субъекту.

³¹ *Lacan*. 1966.

³² В книге: Лакан, 1997.

³³ Лакан, 1998, 1999, 2002, 2004.

³⁴ Эту гипотезу высказал в частной беседе Александр Сосланд.

³⁵ Фрейд, 1998 [1913].

³⁶ Ср. классическую статью Юрия Лотмана и Бориса Успенского «Миф — имя — культура» (Лотман, Успенский, 1992 [1973]).

Именно отсутствие в этом месте Имени Отца, образуя в означаемом пустоту, и вызывает цепную реакцию перестройки означаемого, вызывающую, в свою очередь, лавинообразную катастрофу в сфере воображаемого — катастрофу, которая продолжается до тех пор, пока не будет достигнут уровень, где означаемое и означаемое уравниваются друг друга в найденной бредом метафоре.

Но каким образом может субъект призвать Имя Отца в то единственное место, откуда Оно могло явиться ему и где его никогда не было? Только с помощью реального отца, но необязательно отца этого субъекта, а скорее Не(коего) отца»³⁷.

«Именно в Имени Отца следует видеть носителя символической функции, которая уже на заре человеческой истории идентифицирует его лицо с образом закона»³⁸.

Если сделать попытку перевести все это на более или менее рационалистический язык и попытаться объяснить, каким образом Имя Отца связано с возникновением психоза, то, вероятно, можно сказать так. Поскольку Имя Отца — это символическая первооснова бытия, а при психозе страдает именно символическое, то для возникновения психоза необходимо, чтобы у человека что-то не ладилось с отцом, с Отцом: ну, например, он был атеистом и никогда не думал о Боге, то есть, как говорит Лакан, «Имя Отца было исключено из места Другого». И вот, реагируя на какую-то травму, субъект вдруг призывает Имя Отца, например начинает верить в Бога, но, поскольку он, мягко говоря, нездоров или, в терминах Лакана, в его сознании происходит «цепная реакция в сфере означающих», то есть все жизненные смыслы, установки и ценности путаются, то Имя Отца является в форме бреда, как символическая основа этого бреда. Ну, например, когда пушкинского Евгения преследует Медный всадник, то это как раз Имя Отца, но только в варианте бреда преследования. А возможно присвоение Имени Отца — тогда это будет мегаломания, как у Поприщина, который апроприировал себе звание испанского короля. А может быть и гораздо более обыденный вариант, например, психоз, который вырастает на почве нераздельной любви к двоюродному дяде у девушки, не знавшей по той или иной причине в детстве отцовской ласки.

Другим важным открытием Лакана, которое, как он настаивает, он тоже позаимствовал у Фрейда, было представление о том, что травма формируется задним числом, не из прошлого, а из будущего — любимое словечко Фрейда *nachträglich*. Как это понять? Рассмотрим знаменитую статью Фрейда «Из истории одного детского

³⁷ Лакан, 1997: 126—127.

³⁸ Лакан, 1995: 48.

невроза (случай Человека-Волка)» (1924)³⁹. Здесь Фрейд подробно анализирует так называемую первосцену, когда маленький ребенок видит коитус своих родителей и воспринимает его как насилие отца над матерью, что оставляет неизгладимый отпечаток в его жизни, в частности провоцирует эдипов комплекс в его мягкой форме — желание защитить мать и наказать насильника отца. Идея первосцены была с точки зрения традиционной модели времени довольно сомнительной: как может годовалый ребенок наблюдать за коитусом родителей, а главное, как он может через много лет этот эпизод вспомнить? И тут Фрейд говорит, что, возможно, в реальности никакой первосцены не было, но в процессе психоанализа появилось ложное воспоминание, вызванное бессознательным давлением аналитика. Но то, что Фрейд высказал в виде осторожной гипотезы, Лакан считает не подлежащим сомнению: травма формируется задним числом. Здесь, конечно, очень важна концепция времени, но мы не имеем возможности подробно говорить об этом в данной работе⁴⁰. Таким образом, можно сказать, в терминах Ричарда Рорти, что Лакан «переописывает» Фрейда⁴¹.

Особую роль в наследии Лакана играет понятие Другого. Другой — это не просто какой-то другой значимый для субъекта человек, это инкорпорированный в его психику «символический порядок», нечто вроде Сверх-Я, диктующий субъекту законы поведения и определяющий структуру его бессознательного (бессознательное — это дискурс Другого). И желание по Лакану — это желание Другого. Если пытаться объяснять это популярно, что применительно к Лакану почти невозможно, то Другой — это некая символическая структура, ведь мы живем не одни, общаемся с другими людьми, в частности, в детстве первые значимые объекты — мать и отец. И вот Большой Другой — это в сущности инкорпорированная фигура символического отца, Имени отца. Здесь произошла такая вещь, что постструктуралистская и постмодернистская мысль начала воспринимать Фрейда через Лакана, и теперь уже Лакан начал выступать как классик.

3. ПСИХОАНАЛИЗ И ДЕПРЕССИЯ

Проблемы, возникшие в XX в. с творческим наследием Фрейда и возможностями его использования в качестве «актуальной

³⁹ Фрейд, 1996 [1924].

⁴⁰ Отсылаю к своим статьям о времени: Руднев, 1987 (вошла в книгу Руднев, 2000); и глава «Характер и время» в: Руднев, 2004.

⁴¹ Рорти, 1996 [1989].

классики», можно продемонстрировать на примере изучения депрессии (меланхолии).

Первоначальный психоанализ практически не лечил депрессий. Фрейд за всю жизнь написал единственную статью, посвященную депрессии, правда, очень знаменитую — «Скорбь и меланхолия» (1917)⁴². Главная мысль этой статьи заключалась в том, что меланхолик интроецирует утраченный объект любви и отождествляет себя с ним и далее начинает ругать и обвинять себя, тем самым ругая и обвиняя этот утраченный объект любви за то, что тот его покинул.

Эта статья была написана за три года до «Я и Оно», то есть до формирования второй теории психического аппарата, поэтому в ней Фрейд еще не говорит о противопоставлении Я и Сверх-Я при меланхолии. Однако уже в статье 1923 г. «Невроз и психоз» он отчетливо формирует свое понимание отличия трех типов душевных заболеваний: трансферентных неврозов (в сущности, истерии, обсессии и фобии), нарциссических неврозов (прежде всего меланхолии) и психозов. Понимание это очень простое и ясное. Фрейд пишет: «Невроз перенесения соответствует конфликту между Я и Оно, нарциссический невроз — конфликту между Я и Сверх-Я, а психоз — конфликту между Я и внешним миром»⁴³.

Итак, место утраченного объекта любви занимает теперь более абстрактное понятие Сверх-Я. В сущности, в этом маленьком фрагменте содержится вся фрейдовская теории депрессии. Сверх-Я давит на Я: до тех пор пока Я сопротивляется и защищается, депрессия проходит в невротическом регистре, если же Сверх-Я одерживает победу над Я, то начинается психоз.

Однако прежде, чем обратиться к рассмотрению дальнейших психоаналитических текстов, посвященных изучению меланхолии, зададимся все-таки вопросом, почему депрессия в течении 20 лет практически не привлекала психоаналитиков (характерно, что в классическом психоаналитическом словаре ЛапLANша и Понталиса⁴⁴ вообще нет статьи «Депрессия» (или «Меланхолия»), а есть лишь статья «Невроз нарциссический»). В определенном смысле ответ содержится уже в вышеприведенной формулировке Фрейда. Депрессия — это «нарциссический невроз», то есть в нем либидо направлено на собственное Я и поэтому такой нарциссический объект не устанавливает переноса. А если он не устанавливает переноса, то его нельзя подвергать психоаналитическому лечению. Так считал Фрейд. Дальнейшее развитие психоаналитической те-

⁴² Фрейд, 1995 [1917].

⁴³ Freud, 1979 [1923a]: 138.

⁴⁴ См.: ЛапLANш, Понталис, 1996.

ории и практики показало, что он был не прав и что даже тяжелый пограничный нарциссизм образует перенос, но только перенос особого свойства (это показал венский аналитик второго поколения Хайнц Кохут)⁴⁵.

Вообще эта формулировка — «нарциссический невроз» — указывает только на интроекцию как основной механизм защиты, то есть если реконструировать то, что Фрейд хотел сказать этим различием между неврозом отношения и нарциссическим неврозом, то сущность отличия в том, что истерия и obsессия (любимые Фрейдом неврозы отношения, на которых строились весь его психоанализ и вся его психотерапия) образуют так называемые зрелые механизмы защиты, то есть механизмы, действующие между сознанием и бессознательным, а именно вытеснение и изоляцию, а меланхолия использует интроекцию, которая является более архаическим механизмом защиты, так как она действует между Я в целом и внешним миром (что в большей степени приближает депрессию к психозам, — там, как уже было процитировано, имеет место именно конфликт между Я и внешним миром).

Однако вернемся к фрейдовской статье 1917 г., в которой есть одно на первый взгляд малозаметное, но, в сущности, достаточно поразительное предложение, которое, может быть, прольет свет на то, почему депрессией так мало занимались, если занимались вообще на заре психоанализа.

«Наш материал, — пишет Фрейд после оговорки, что вообще непонятно, что можно обозначить под понятием меланхолии и что под этим понятием объединяют разнородные явления, — ограничивается *небольшим числом случаев*, психогенная природа которых не подлежит никакому сомнению. Таким образом, мы с самого начала отказываемся от притязаний на универсальность наших результатов и утешаем себя тем соображением, что с помощью современных исследовательских средств мы едва ли сможем обнаружить что-нибудь, что было бы не типично если не для целого класса поражений, то уж хотя бы для *маленькой их группы*»⁴⁶ (курсив мой. — В. Р.).

Что нас поражает в этом фрагменте? То, что из слов Фрейда явствует, что случаев меланхолии в его практике было совсем немного. То есть речь идет, конечно, не о тех случаях, когда люди лежат в больнице, не о маниакально-депрессивном психозе — их тогда психоанализ не лечил и не рассматривал. Речь идет именно

⁴⁵ Kohut, 1971.

⁴⁶ Фрейд, 1995 [1917]: 252.

о нарциссическом неврозе, о той депрессии, которой в современном мире страдает огромное количество людей и о которой, собственно, и идет речь в этом разделе.

Итак, по-видимому, невротическая депрессия была для начала века явлением нетипичным. Здесь мы вступаем в увлекательную область истории болезней: чем болели люди, чем они не болели и как эти болезни назывались. Как уже говорилось, да это и совершенно очевидно, главными неврозами классического психоанализа были истерия и Obsessia. Истерички охотно рассказывали о своих проблемах, образовывали бурный перенос и легко излечивались. Obsessивные невротики оказывали большее сопротивление, но перенос также устанавливали и также излечивались.

Почему истерия и Obsessia были так популярны и, по-видимому, реально распространены, а меланхолия нет? Мы можем только высказать гипотезу. Истерия и Obsessia — это «викторианские» неврозы. Они возникли и были отмечены вниманием психоанализа в эпоху больших сексуальных ограничений. Женщина любит женатого мужчину, возникает запрет, который ведет к невротическому симптомообразованию. В результате она не может ходить, или говорить, или спать, или с ней происходит масса других не менее интересных вещей. Мужчина любит замужнюю женщину, возникает запрет, который ведет к симптомообразованию. Женщина легче забывает — у нее происходит вытеснение и конверсия в псевдосоматический симптом. Мужчина забывает труднее, поэтому у него образуются навязчивые мысли или действия, в которых он избывает свою викторианскую травму. Или же, как это описано в случае Доры (1905)⁴⁷, мужчина прикоснулся к женщине своим эректированным членом, после чего у нее от ужаса начались истерические ощущения в области горла.

По всей видимости, главным событием, резко увеличившим количество депрессивных расстройств, была Первая мировая война (по-видимому, не случайно, что чуткий Фрейд пишет свою работу о меланхолии в разгар этого страшного для Европы события).

Если верно, что главное в этиологии депрессии — это «утрата любимого объекта», то в результате Первой мировой войны был утрачен чрезвычайно важный объект — уютная довоенная Европа, в которой самым страшным событием в жизни была не газовая атака и не оторванные ноги, а ситуация, когда слишком пылкий обожатель невзначай прикоснется к даме своим жезлом (отчего она потом долго и тяжело болеет!).

Но помимо утраты идеологической, которая породила целую когорту культурных деятелей, отразивших это ощущение — их

⁴⁷ Фрейд, 1998 [1905].

называли «потерянным поколением», — утраты были и в прямом смысле: на Первой мировой войне погибли миллионы людей — жены остались без мужей, дети без отцов и матери без сыновей. И вот на этом фоне уже вполне объяснимо и закономерно началось некое оживление в психоаналитическом изучении депрессии.

Но дополнительный ответ на вопрос, почему так трудно сложились отношения у депрессии с психоанализом, мы получим, если попытаемся понять, как идея невротизации относится к идее семиотики и языка (на примере истерии это давно проделано Томасом Сасом)⁴⁸. Истерия чрезвычайно семиотична. Тело истерика становится своего рода вывеской, картиной, на которой расположены его симптомы: невралгия лицевого нерва, вычурная, демонстративная поза и т. д. Истерик на иконическом языке коммуницирует со своими близкими и психотерапевтом. Обсессия также семиотична. Обсессивно-компульсивные люди могут разыгрывать целые сцены, как, например, делала пациентка Фрейда, о которой он рассказывает в своих лекциях, когда она выбегала в одно и то же время из комнаты и звала горничную⁴⁹. Фобии также семиотичны — объект фобии, как показал Фрейд, может символизировать, например, кастрирующего отца (как лошадь в работе о маленьком Гансе)⁵⁰. Так или иначе в классических невротизациях, с которыми любил иметь дело психоанализ, всегда имелись ясные симптомы отчетливо семиотического характера, поэтому с ними было легко работать. Более того, даже в таких вырожденных случаях семиозиса, как сновидения и шизофрения (я имею в виду прежде всего случай Шрёбера⁵¹, который Фрейд рассматривал как паранойю, но которая с современной точки зрения могла бы скорее быть описана как параноидная шизофрения), психоанализ доискивался различного рода символов. В данном случае мы говорим о вырожденном семиозисе, потому что, в противоположность депрессии, при которой мир существует как бы при наличии одних только означаемых без означающих, бессмысленных вещей, здесь в сновидениях и при психозах есть, наоборот, только одни означающие, чистые смыслы без денотатов, так как при шизофрении именно реальный, вещный мир оказывается потерянным вследствие отказа от реальности⁵².

В семиотическом смысле работа психоанализа с невротизациями и отчасти с психозами заключалась в том, что брались некоторые

⁴⁸ Szasz, 1974.

⁴⁹ Фрейд, 1989 [1917].

⁵⁰ Фрейд, 1990 [1909].

⁵¹ Freud, 1979 [1913].

⁵² Freud, 1979 [1923c].

знаковые образования — симптомы — и для них подыскивались скрытые значения, то есть как бы говорилось: данный симптом как будто означает это, но на самом деле он означает совсем другое. Например, на поверхности мы имеем невралгию лицевого нерва, но она скрывает вытесненное воспоминание о пощечине, является ее метонимической заменой (то есть знаком-индексом). Или же имеется нелепая навязчивая сцена с выбеганием из комнаты и бессмысленным призыванием горничной, но на самом деле эта сцена осмысленна и смысл ее состоит в том, что пациентка воспроизводит в ней сцену, при которой ее муж не смог выполнить свои супружеские обязанности. Или имеются большие белые лошади, которых маленький мальчик боится, а на самом деле эти лошади символизируют отца, чьего гнева и мести за символический инцест с матерью боится этот мальчик. Или в сновидении человек видит, что он поднимается по лестнице, но это, как выясняется, символическая замена полового акта (пример из «Толкования сновидений»).

Таким образом, получается, что главное отличие между трансферентными неврозами (истерией, obsessией и фобией) и депрессией (нарциссическим неврозом) заключается в том, что первые акцентуированно семиотичны, а вторая, наоборот, акцентуированно контрсемиотична. В этом плане трансферентными эти неврозы могут быть названы прежде всего потому, что они образуют семиотическое отношение между знаком и означаемым (трансфер ведь также имеет семиотический смысл как символическое разыгрывание каких-то других отношений).

Депрессия не образует никаких знаков. Можно сказать, что депрессивная мимика и жестикуляция, имеющая, как правило, весьма смазанный характер — опущенные скорбно веки, согбенная поза и т. д., — семиотизируется в том случае, когда депрессивный человек, извлекая вторичную выгоду из своей болезни, каким-то образом истерирует свою симптоматику. Застывая в скорбной позе, он молчаливо этим показывает, что ему плохо, и вызывает о помощи. Таким образом, эта процедура, которую психоаналитик проделывал с невротическим симптомом — снимая слой поверхностного «сознательного» означающего и подыскивая при помощи техники свободных ассоциаций скрытое глубинное бессознательное и подлинное означающее, — эта процедура не проходила в случае с депрессией, поскольку здесь просто не за что было ухватиться — этих означающих не было, симптома, который можно было бы «пощупать», не было. «Тоска», «вина», «тревога» — семиотически слишком сложные и расплывчатые понятия, чтобы с ними можно было так работать (чисто теоретически попытку проработки

этих понятий Фрейд предпринял в статье «Торможение, симптом и страх», 1924)⁵³.

Для того чтобы хоть как-то семиотизировать депрессию, психоаналитики ухватились за оральную фиксацию, процесс усвоения и поглощения пищи. В статье Карла Абрахама 1924 г.⁵⁴ была высказана гипотеза, что депрессия связана с ранним или болезненным отнятием от груди и является переживанием именно этой наиболее ранней и фундаментальной потери, и затем всякая другая потеря (разлука, смерть близкого человека) переживается как репродукция ранней травмы. Однако при тогдашней достаточно механистической идее, в соответствии с которой клиент должен вспомнить или хоть каким-то образом задним числом реконструировать травму, невозможно было представить, чтобы человек вспомнил, как он в младенчестве сосал материнскую грудь и какие перипетии этому соответствовали.

Говоря более обобщенно, неудача психоаналитической психотерапии депрессивных расстройств кроется в том, что депрессивного человека нужно вывести вперед из его сузившегося десемiotизированного мира в новый, большой семиотический мир, в то время как психоанализ всегда тянул пациента назад, в прошлое. Депрессивного человека нужно было бы научить пользоваться экстравертированным языком мира, психоанализ же ему навязывал интроективный квазиязык бессознательного. В этом плане характерно, что наибольших успехов в лечении депрессии добилась противоположная психоанализу психотерапевтическая когнитивная стратегия Аарона Бека⁵⁵, который отказался от техники погружения в прошлое и все внимание обратил именно на коррекцию и обучение эпистемическому, то есть на семиотический взгляд на мир. Фактически в случае лечения депрессии это было не что иное, как обучение языку мира, поэтому оно и стало достаточно успешным.

Литература

Абрахам К. Влияние оральной эротики на формирование характера [1924] // Абрахам К., Гловер Э. Формирование характера на оральной, анальной и генитальной стадиях организации либидо. М.: Золотой теленок, 2004.

Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М.: Фонд «За экономическую грамотность», 1995 [1920].

Бек А. Когнитивная терапия // Эволюция психотерапии. М.: НФ «Класс», 1998. Т. 2.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Абрахам, 2004 [1924].

⁵⁵ Beck, 1979; Бек 1998; Вольпе, 1996.

Бек А., Фримен А. (ред.) Когнитивная психотерапия расстройств личности. СПб.: Питер-Трейд, 2002 [1990].

Брейер Й., Фрейд З. Исследования по истерии // Фрейд З. Собрание сочинений: В 26 т. М.: Восточно-европейский институт психоанализа, 2005 [1897]. Т. 1.

Бэндлер Р., Гриндер Дж. Из лягушек в принцы. Нейро-лингвистическое программирование. Екатеринбург: Баско, 1996 [1967].

Вольпе Дж. Анализ индивидуальной динамики при лечении депрессии // Эволюция психотерапии. М.: НФ «Класс», 1998. Т. 2.

Гринсон Р. Р. Практика и техника психоанализа. М.: Когито-Центр, 2003 [1967].

Джонс Э. Жизнь и творения Зигмунда Фрейда. М.: Гуманитарий, 1997 [1945].

Кернберг О. Тяжелые личностные расстройства: Стратегии психотерапии. М.: НФ «Класс», 2000 [1994].

Кляйн М. Значение формирования символа в развитии Эго [1930] // Топорова Л. В. Творчество Мелани Кляйн. СПб.: Бизнес-Пресса, 2001.

Кляйн М. и др. Развитие в психоанализе. М.: Академический проект, 2001 [1952].

Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или Судьба разума после Фрейда. М.: Рус. феноменол. о-во; Логос, 1997.

Лакан Ж. Семинары. Кн. 1. Работы Фрейда по технике психоанализа (1953/54). М.: Гнозис, Логос, 1998.

Лакан Ж. Семинары. Кн. 11. Четыре основных понятия психоанализа. М.: Гнозис, 2004.

Лакан Ж. Семинары. Кн. 2. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/1955) М.: Гнозис, Логос, 1999.

Лакан Ж. Семинары. Кн. 5. Образования бессознательного (1957/1958). М.: Гнозис, 2002.

Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М.: Гнозис, 1995.

Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. М.: Высшая школа, 1996.

Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф — имя — культура [1973] // Лотман Ю. М. Избр. статьи: В 3 т. Т. 1. Таллин: Александра, 1992.

Лоуэн А. Предательство тела. Екатеринбург: Деловая книга, 1999.

Лоуэн А. Физическая динамика структуры характера. М.: Компания «ПАНИ», 1996.

Маквильямс Н. Психоаналитическая диагностика. М.: НФ «Класс», 1998 [1993].

Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: Наука, 1976.

Перлз Ф. Эго, голод и агрессия. М.: Смысл, 2000 [1945].

Райх В. Анализ характера. М: Апрель Пресс; ЭКСМО-Пресс, 2000 [1931].

Ранк О. Травма рождения. М.: Аграф, 2004 [1929].

Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М.: Рус. феноменол. о-во, 1996 [1989].

Руднев В. Прочь от реальности: Исследования по философии текста. II. М.: Аграф, 2000.

Руднев В. Тайна курочки Рябы: Безумие и успех в культуре. М.: НФ «Класс», 2004.

Руднев В. Текст и реальность: Направление времени в культуре // Wiener slawistcher Almanach, 16, 1987.

Ференци Ш. Теория и практика психоанализа. М.: ПЕР СЭ, 2000 [1927].

Фрейд З. Анализ фобии пятилетнего мальчика [1909] // Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений. М.: Просвещение, 1990.

Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. М.: Наука, 1989 [1917].

Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия [1920] // Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений. М.: Просвещение, 1990.

Фрейд З. Психопатология обывденной жизни [1901] // Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений. М.: Просвещение, 1990.

Фрейд З. Скорбь и меланхолия [1917] // Фрейд З. Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995.

Фрейд З. Случай Человека-Волка (Из истории одного детского невроза) [1924] // Человек-Волк и Зигмунд Фрейд. Киев: Port-Royal, 1996.

Фрейд З. Толкование сновидений. Ереван: Камар, 1991 [1900].

Фрейд З. Тотем и табу: Психология первобытной культуры и религии. М.: Канон+, 1998 [1913].

Фрейд З. Фрагмент анализа истерии (История болезни Доры) [1905] // Фрейд З. Интерес к психоанализу. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

Фрейд З. Я и Оно [1923] // Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений. М.: Просвещение, 1990.

Шпильерин С. Деструкция как причина становления [1912] // Логос. 1994. № 5.

Эра контрпереноса: Антология психоаналитических исследований (1949—1999 гг.). М.: Академический проект, 2005.

Эткинд А. Эрос невозможного: История психоанализа в России. СПб.: Медуза, 1993.

Юнг К.-Г. Воспоминания. Размышления. Сновидения. Киев: Air Land, 1994 [1957].

Юнг К.-Г. Критика психоанализа. М.: Академический проект, 2000 [1961].

Юнг К.-Г. Работы по психиатрии. Психогенез умственных расстройств. СПб.: Академический проект, 2000.

Beck A. T. Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. London: Plume, 1979.

Freud S. Inhibitions, Symptom and Anxiety [1913] // Freud S. On Psychopathology. Harmondsworth: Penguin Books, 1979.

Freud S. Neurosis and Psychosis [1923a] // Freud S. On Psychopathology. Harmondsworth: Penguin Books, 1979.

Freud S. Psychoanalytic Notes on an Autobiographical Account of a Case of Paranoia (Dementia Paranoides) [1923c] // Freud S. Case Histories II. Harmondsworth: Penguin Books, 1979.

Freud S. The Loss of Reality in Neurosis and Psychosis [1923b] // Freud S. On Psychopathology. Harmondsworth: Penguin Books, 1979.

Kohut H. The Analysis of Self: A Systematic Approach to the Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personality Disorders. New York: International Universities Press, 1971.

Lacan J. Ecrits. Paris: Seuil, 1966.

Szasz Th. The Myth of Mental Illness. New York: Harper Collins, 1974.

Ревекка Фрумкина

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ВЫГОТСКОГО—ЛУРИЯ

УЧЕНЫЙ КАК ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

В течение многих лет я сталкиваюсь с тем, что не только для студентов — лингвистов и психологов, но даже для аспирантов тексты Льва Выготского остаются как бы зашифрованными. Их скорее заучивают и воспроизводят, чем понимают. Адресованный будущим исследователям вопрос — что именно сделал Выготский в науках о человеке? — воспринимается как провокационный. Я же стремлюсь получить пусть предельно схематичный, но тем не менее рационально обоснованный ответ наподобие следующего: «До работ Выготского мы не отдавали себе отчета в том, что...»; «Выготский способствовал тому, что мы поняли, что...» и т. п.

Когда мне говорят о «культурно-исторической теории Выготского», то я не могу добиться хотя бы краткой формулировки того, в чем эта теория заключается. Упоминают среди прочего так называемые кубики Выготского—Сахарова, имея в виду экспериментальное изучение процесса образования понятий *в онтогенезе*, но ни Леонид Сахаров, ни сам Выготский в эксперименте онтогенеза понятий не изучали, да и вообще не занимались лонгитюдными исследованиями (о работе Сахарова см. ниже).

Указывают также на «эгоцентрическую речь» ребенка, но при этом не могут объяснить, почему пальму первенства в ее описании следует отдать именно Выготскому, а не Жану Пиаже, хотя именно Пиаже первым описал данный феномен — его исследования были обобщены в монографии «Речь и мышление ребенка» (1923)¹.

¹ Piaget, 1923. Рус. пер.: Пиаже, 1932.

Есть, кроме того, магические слова «зона ближайшего развития» — имеется в виду все то, чему на данном этапе ребенок способен научиться при условии помощи взрослого или педагога; но мне кажется, что, кроме удачной формулировки, здесь не прослеживается особого новшества на фоне многочисленных педагогических трудов первой четверти прошлого века.

И хотя современные гуманитарии, несомненно, считают Выготского классиком, забытым (а нередко неизвестным) остается то обстоятельство, что между 1931 и 1956 гг. его имя упоминалось почти исключительно в качестве объекта критики, а ныне признанная классической книга «Мышление и речь» (1934)², до публикации которой автор не дожил нескольких месяцев, не переиздавалась до 1956 г., как и прочие опубликованные и не опубликованные при жизни Выготского труды. Мало кто из исследователей, кроме непосредственно связанных с психокоррекционными учреждениями, помнит, что Выготский умер фактически безработным, а главное — ошельмованным³.

В канон советской гуманитарии Выготский вошел только в 1960-е годы. В 1956 г. были изданы его «Избранные психологические исследования»⁴ (в том числе «Мышление и речь»). Именно благодаря переводу книги «Мышление и речь» в 1962 г. на английский язык⁵ Выготский стал известен на Западе, хотя подлинно мировая рецепция его идей относится к более поздним временам.

В 1965 г. в СССР впервые была опубликована написанная Выготским за сорок лет до этого «Психология искусства»⁶. С этого момента в нашей гуманитарной культуре Выготский окончательно оказался в ряду центральных фигур. В немалой степени это произошло благодаря докладам и лекциям Вячеслава Вс. Иванова⁷ и тому интеллектуальному движению, которое впоследствии будет названо московско-тартуской школой семиотики.

В последующее десятилетие признание значимости Выготского было столь поспешным, что рецепция его идей не могла не быть

² *Выготский, 1934.*

³ Кампания против «культурно-исторической теории Выготского» началась в 1931 г.; параллельно множилось нападки на всю совокупность исследований, называемых тогда педологией, которые завершились известным Постановлением ЦК ВКП(б) от 1 июля 1936 г. Но задолго до того сначала Лев Выготский, а потом и Александр Лурия вынуждены были уйти из Института психологии. Мучительные для тяжелобольного Выготского поездки в Харьков в надежде устроиться там на работу были безуспешными.

⁴ *Выготский, 1956.*

⁵ *Vygotsky, 1962.*

⁶ *Выготский, 1965.*

⁷ См., в частности, его книгу: *Иванов, 1976.*

поверхностной. Много было усвоено, если обыграть термины известной оппозиции Клода Леви-Строса, скорее «сырым», нежели «вареным». Избыточное цитирование Выготского достаточно быстро сменилось авторитарными ссылками — преимущественно на «Мышление и речь» и «Психологию искусства». Шеститомное Собрание сочинений Выготского вышло лишь в 1982—1984 гг.⁸ Естественно, что спустя полвека после их создания не только пафос большинства работ Выготского, но и сама их проблематика уже не могли быть поняты без обстоятельных комментариев.

Однако комментарии в шеститомнике носят скорее комплиментарный характер, мало что разъясняя по существу. Собственно, *комментируются* только персоналии, а также дата и обстоятельства первой публикации того или иного сочинения; содержательные соображения в каждом из шести томов имеют вид послесловия к тому в целом. Нередко авторы послесловия озабочены не столько тем, чтобы раскрыть контекст эпохи, когда писал Выготский, и напомнить сегодняшнему читателю об особенностях тогдашних адресатов его сочинений, сколько тем, чтобы непременно обрядить автора в «белые одежды». Так, в послесловии к тому 5 говорится, что психологические исследования Выготского, касавшиеся ребенка, «носили название педологических»⁹.

Столь же комплиментарный характер имеет предисловие Александра Асмолова к переизданию книги Льва Выготского и Александра Лурия «Этюды по истории поведения. Обезьяна. Прimitив. Ребенок» (1930)¹⁰.

В «юбилейном» номере журнала «Известия Академии педагогических и социальных наук»¹¹, вышедшем к столетию со дня рождения Выготского, восемь докторов психологических наук попытались воздать должное ученому, которого они искренне считают отцом-основателем отечественной психологии. Но статьи, которые там помещены, отнюдь не проясняют суть вклада Выготского в современные науки о человеке и потому не способствуют рецепции его творчества.

В своих текстах Выготский молчаливо предполагает, что его читатели — тоже *люди культуры*, и потому опускает многие звенья рассуждений — как избыточные. Уже поэтому для нас Выготский — откровенно «трудный» автор. Это, конечно, лишь одна из причин трудности понимания его текстов и отнюдь не главная.

⁸ Выготский, 1982—1984.

⁹ Указ. соч., т. 5: 339.

¹⁰ Выготский, Лурия А., 1993.

¹¹ Известия Академии педагогических и социальных наук, 1996.

Как мы знаем, в психологию Выготский пришел уже состоявшимся литератором, автором эссе и рецензий на труды Мережковского и Андрея Белого, а также работы о «Гамлете» Шекспира, которая потом стала частью «Психологии искусства», защищенной в качестве кандидатской диссертации¹².

Разумеется, Выготский писал на языке *своего времени*, но что это, собственно, значит для нас сегодня?

Во-первых, этот язык отражает способ рассуждать на психологические и философские темы, который был общим для его современников в разных странах, даже если Выготский не разделял те или иные конкретные научные концепции, будь то идеи вюрцбургской школы или генетическая психология Пиаже. Тогдашние споры (например, рефлексология против реактологии; роль орудия в психической жизни и т. п.) для нас настолько не актуальны, что даже детальные комментарии не могут вывести соответствующие тексты из рубрики «История науки».

Во-вторых, Выготский был искренним гражданином своей страны, а потому пафос его трудов отражает общую атмосферу советского социума 1920-х — начала 1930-х годов с доминирующей установкой на *переплавку* человека. Именно эти экспектации питали его страсть к педагогике, которой он отдал столько сил не только как глашатай определенных идей, но и как организатор конкретных инициатив.

В-третьих, те идеи Выготского, которые постепенно вошли в мировую науку, в *текстах* Выготского представлены лишь эскизно. Процесс рецепции Выготского базировался не столько непосредственно на его текстах, сколько на тех гипотезах и интерпретациях, которые в процессе общения с Выготским были сформулированы прежде всего его учеником, крупнейшим советским психологом Александром Лурия.

Еще в 1930-е годы Лурия успел реализовать некоторые из замыслов Выготского в экспериментальных исследованиях, проведенных Лурия с группой сотрудников его лаборатории в экспедиционных условиях в Узбекистане. Затем, уже в 1960-е годы, Лурия рассказывал о полученных тогда результатах своим ученикам, в частности американским аспирантам и стажерам. И только в 1970-е годы он смог изложить все это в своих книгах, в том числе изданных на английском языке¹³, а также рассказать о своих данных в многочисленных мемориальных лекциях¹⁴. Тем самым

¹² Эткинд, 1996.

¹³ Лурия А., 1974. Англ. пер.: Luria, 1976.

¹⁴ См.: Лурия Е., 1994.

без усилий Лурия мы едва ли могли бы оценить вклад Выготского в психологию XX века.

Мне представляется, что беспредпосылочное чтение текстов Выготского сегодня малорезультативно. Тем более уместно обратиться к истории рецепции его идей у нас и на Западе.

УЧЕНЫЙ КАК ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Как известно, часто те или иные научные подходы делаются особенно популярными неожиданно, но причины этого не удается уяснить «изнутри» самой науки. Так, в 1920-е годы в России наблюдался огромный интерес к учению Фрейда¹⁵. В науке и в широкой печати оживленно дискутировались проблемы полового воспитания и просвещения; переводы Фрейда издавались огромными тиражами и раскупались, пока фрейдизм не запретили «сверху».

Причины подобных «вспышек» — а они происходят достаточно часто и в разных научных областях — многообразны. Иногда их можно объяснить напряжениями внутри самой науки. Научное сообщество как бы «устает» от накопленных нерешенных вопросов и счастливо, что явился тот или те, кто предложил решение или хотя бы разумным образом сформулировал суть проблемы. Именно так можно было бы объяснить огромную популярность идей Томаса Куна в 1960—1970-е годы по обе стороны океана. Но это лишь один из возможных случаев.

Другой случай: когда внутри науки возникает направление, успешное развитие которого обусловлено не столько внутринаучными потребностями, сколько *социальными* причинами — в частности, тупиками или конфликтами в сфере ценностей. Ученый (я отвлекаюсь от масштаба той или иной личности) откликается на формирующиеся в этом горизонте запросы и предлагает социуму некий набор идей или построений, угадывающих и разрешающих (часто — невыявленные) напряжения в сфере умственной и культурной жизни. В подобных случаях собратья по науке могут быть нейтральны и даже оппозиционны по отношению к тем или иным идеям, зато, вне зависимости от весомости этих идей и их оправданности, к ним раньше или позже обращается «широкая публика». Таковы, в частности, споры 1970—1980-х годов вокруг вполне дилетантских идей Льва Гумилева.

Если же ученый идет иной дорогой, чем его собратья, и «видит» не то, что его коллеги, то у него, как правило, не слишком много

¹⁵ См.: Эткинд, 1994.

шансов быть понятым даже ближайшим окружением и еще меньше шансов иметь социальный успех. Таковы судьбы многих первопроходцев, оцененных по заслугам лишь следующими поколениями, — примеры здесь излишни.

Но случаются периоды, когда состояние науки и одновременно состояние социума складываются в особую конфигурацию, которую трудно описать как заведомо благоприятную или неблагоприятную для будущего науки. Для такой конфигурации характерны философские и социальные метания; размывание привычных структур социальной и культурной жизни, в том числе и структуры самой науки.

Важная особенность подобной конфигурации — в том, что *контрастные культурные стереотипы* сосуществуют даже внутри сравнительно узкого круга «лидеров», «генераторов идей». Это их позднее назовут «культовыми фигурами», «знаковыми персонажами», после чего соответствующие стереотипы, часто несовместимые друг с другом, уже в сниженном, вульгаризированном виде будут транслированы «вниз» и станут общим достоянием. Так возникают культурные конфликты, суть которых туманна уже для ближайших потомков. Их анализ важен для понимания дальнейших путей бытования научных направлений и причин столкновения умов. Поучительный пример упомянутой выше особой конфигурации идей и социальных запросов являет собой научная жизнь России в 1920—1930-е годы¹⁶.

На 1920-е и первую половину 1930-х годов приходится расцвет (а также не только разгром, но и исчерпание внутренних ресурсов) «формального метода» в науке о литературе, расцвет (и разгром) попыток создания исторической психологии, расцвет — и опять-таки разгром — русской психоаналитической школы, расцвет и разгром мощной области прикладной педагогической психологии, известной под именем *педологии*¹⁷.

Поучительна позднейшая рецепция как «сходных» — концепций, в то время репрезентировавших, как стало понятно много позже, *разные* типы идейных пристрастий и ценностных ориентаций. Для Михаила Бахтина русские формалисты как бы вообще не

¹⁶ Только ретроспективно конфигурация идей и позиций в советской гуманитарии между 1956 г. и концом 1970-х тоже стала представляться как проблема. Об этом писали преимущественно в связи с отечественным структурализмом и семиотикой тартуско-московской школы, но это не исчерпывает тему, поскольку, например, не затрагивает всплеск интереса к античности, Византии и медиевистике.

¹⁷ В частности, 4 июля 1936 г. ЦК партии издал специальное постановление «О педологических извращениях в системе наркомпросов».

существовали, не говоря уже о «диалогических» отношениях; вызывающе независимая Ольга Фрейденберг до поры была зачарована Марром. Московский лингвистический кружок, а позднее — Московская фонологическая школа с непреклонной ориентацией на Соссюра, Гуссерля и Шпета имела своим постоянным идейным оппонентом Ленинградскую фонетическую школу, наследовавшую через Льва Щербу психологизм Потебни. Нам нужны немалые усилия, чтобы понять, почему Виктор Виноградов был в такой мере «чужим» для ОПОЯЗа или почему Григорий Винокур по духу был много ближе Пражскому лингвистическому кружку, а не москвичам, с которыми его связывала тесная личная дружба.

Если задуматься о том, каков был культурный фон, чем жили, во что верили, что читали и о чем спорили выдающиеся умы того или иного времени, то придется отказаться от понимания *bona fide* многих известных текстов. Так, если не знать о некогда яростных, а ныне забытых спорах вокруг идей Льва Гумилева, то от слова *пассионарный* останется лишь оболочка, свидетельствующая о латинской этимологии.

Примером удачного освещения «жизни идей», основанного на анализе общекультурного контекста эпохи, мне представляется книга Илоны Светликовой, посвященная изучению влияния психологической науки второй половины XIX — начала XX в. на русских формалистов¹⁸. Как показано Светликовой, для русских формалистов самоочевидными были — *тогда* — многие ныне забытые или отброшенные представления и термины психологии, которая на карте науки XIX — начала XX в. занимала особое место.

Впрочем, более существенно, что по мере эволюции наук о человеке и обществе место психологии среди них менялось. И подобно тому, как уже на моей памяти, в 1960-е годы, все гуманитарии прочитали (во всяком случае, *думали*, что прочитали) Выготского и Бахтина, а сегодня то же можно сказать о Фуко и Бурдьё, современники Тынянова и Шкловского читали Гербарта, Вундта, Бюлера и Гуссерля.

Подчеркнем, что доминирующая тональность марксистского официоза по отношению к психологии как к области знания может быть охарактеризована как *подозрительность*. Психологи-теоретики были подозрительны уже тем, что искали имманентные закономерности *сознания*, не зависящие напрямую от *бытия* в максимально примитивизированном советским марксизмом понимании последнего. Само занятие психологией оказывалось посягательством на сакральные идеологические сферы.

¹⁸ Светликова, 2005.

Это хорошо видно на примере судьбы Московского института психологии, созданного еще в 1912 г. профессором Московского университета Георгием Челпановым на средства Сергея Шукина и оборудованного по образцу вундтовских лабораторий. После изгнания в 1923 г. Челпанова как «идеалиста» и прихода на его место достаточно примитивного психолога-«марксиста» Константина Корнилова этот институт по существу перестал быть исследовательским учреждением. То, что удалось сделать работавшему там Александру Лурия или Льву Выготскому, в 1924 г. зачисленному туда аспирантом, осуществлялось вопреки официальным установкам.

Но без практической психологии, пусть существующей под разными «особыми именами», невозможно ни воспитывать, ни учить, ни лечить. Отсюда — успешность практических инициатив Льва Выготского, Ивана Соколянского, Павла Блонского, Александра Лурия, Блюмы Зейгарник. В частности, благодаря этим инициативам еще в 1960-е годы в полной мере работал фактически основанный еще Выготским Институт дефектологии Академии педагогических наук, где в образцовых детских клиниках продолжали сотрудничать непосредственные ученики Выготского. Но отсюда же — *отсутствие* до 1966 г. факультета психологии в Московском государственном университете, равно как и отсутствие в Академии наук СССР вплоть до начала 1970-х годов (!) специализированного психологического института. (Последнее особенно любопытно в свете наличия многочисленных академических институтов по другим гуманитарным специальностям, как, например, Институт этнографии, Институт языкознания, Институт русского языка, Институт востоковедения и т. д.)

Изменение интеллектуального климата в СССР в «оттепельные» годы, успехи новой лингвистики и становление московско-тартуской школы привлекли внимание к наследию Выготского, но, как уже отмечалось выше, те же факторы обусловили и неизбежно поверхностную рецепцию его идей. Ведь чтобы новое «открытие» Выготского стало возможным *без кардинального пересмотра советской психологии как таковой*, надо было канонизировать ученого как культуротворческую фигуру мирового масштаба: только так в 1960—1970-е годы можно было вывести наследие Выготского из сферы влияния официальных психологических и педагогических институций.

Однако «присвоение» Выготского в качестве знаковой фигуры само по себе отнюдь не гарантировало адекватной рецепции его идейного наследия.

СУБЪЕКТЫ РЕЦЕПЦИИ НАУЧНЫХ ИДЕЙ И ЕЕ ГАРАНТЫ

Отметим, что в русской культурной традиции механизмы рецепции идей очень редко являлись объектом специального внимания. И еще меньше интереса вызывали герои интеллектуальной истории в качестве субъектов или гарантов подобной рецепции. В результате ученый, будучи рассматриваем позднейшими исследователями как культурный герой *нашего* времени (что нередко ведет к презентизму), остается не понят как герой *своего* времени. Это объяснимо, если вспомнить о полной закрытости советского общества до начала 1960-х годов. Да и позже творчество ученого долго оценивалось с точки зрения того, в какой мере, выражаясь словами известного в те времена анекдота, он «колебался вместе с линией» (анекдот обыгрывает вопрос анкеты 1930-х годов об «отношении к генеральной линии ВКП(б)»).

Но еще до конца 1980-х годов дверь в мир иных воззрений и ценностей для нашего социума оставалась лишь слегка приоткрытой, что также приходится учитывать, оценивая фон, на котором происходила рецепция научных идей. Применительно к Выготскому вопрос о субъектах рецепции его идей, о гарантах и агентах этой рецепции заслуживает особого внимания. Дело в том, что в истории науки эти роли не обязательно совпадают.

Субъектами рецепции *педагогических* идей Выготского (а педагогика, несомненно, была его страстью) были преимущественно те его непосредственные ученики, которые уцелели после разгрома *педологии*. До 1936 г., когда произошел официальный разгром этой области научной практики, педологией называлась совокупность подходов в сфере практической педагогики и психологии развития, где анализ уровня психологического и социального развития ребенка и его интеллектуальные достижения на данный момент измерялись и оценивались с помощью тестов¹⁹. В Институте дефектологии АПН еще в 1965—1975 гг. я застала тех, кто начинал свою деятельность под непосредственным руководством Выготского. Однако эти замечательные методисты и педагоги-эмпирики (Наталья Морозова, Жозефина Шиф, Роза Лесвина) сохраняли общие научные представления, сложившиеся еще во времена их ученичества, а достигнутый к середине 1960-х — началу 1970-х годов уровень американской экспериментальной

¹⁹ Интересные данные о масштабе педологических штудий и об охвате массовой школы педологической службой см. в: *Известия Академии педагогических и социальных наук*, 1996.

психологии — а он был тогда и в самом деле впечатляющим — их вообще не занимал.

Субъектами рецепции *психологических и культур-антропологических* идей Выготского должны были бы быть прежде всего психологи, этнографы и языковеды. При том что основные труды Выготского входят в соответствующие вузовские программы, а ссылки на него стали почти столь же обязательными, как в свое время это было с трудами «основоположников», продуктивная рецепция этих идей состоялась в большей мере в США, чем на родине Выготского. В этой связи отмечу, что *интуиции* Выготского всегда существенно опережали уровень экспериментальных методик, достигнутый в сфере наук о человеке, причем сказанное верно не только для психологии и лингвистики 1920—1930-х годов, но и для времени куда более позднего. Отсюда *разрыв* между несомненными прозрениями, культурно-важным «посылом», который мы находим в трудах Выготского, и относительно скромной возможностью *реализации* этого посыла «в материале», то есть в эксперименте или в контролируемом наблюдении.

Отсвет лихорадочного темпа и страстного стремления высказаться лежит на всех крупных трудах Выготского. Сила Выготского была в способности к полету и абстракции: невозможно представить себе Выготского, который бы год за годом фиксировал свои детальные наблюдения над поведением ребенка, как это делал Жан Пиаже, а его ученики собирали бы, накапливали и статистически обрабатывали соответствующие материалы. Тексты Выготского не отжаты и не вполне структурированы, поэтому в труды Выготского можно «вчитать» противоречащие одна другой установки. То, что некогда, в пределах многостраничной рукописи, было набросками, попав позже под твердый переплет, стало источником ригоризма и авторитарного цитирования, столь типичного для истории нашей науки. Эти обстоятельства в очередной раз заставляют задуматься о социальном бытии науки, ее месте в социальном пространстве.

Выготский по складу ума, несомненно, был прирожденным теоретиком. Как можно заключить из анализа его сочинений, свою жизненную задачу он видел прежде всего в перестройке психологии как науки и, разумеется, в перестройке общества: недаром такое место в его короткой жизни занимают педагогические исследования и конкретные организационные инициативы.

Как теоретик Выготский выдвигал глобальные задачи, оставляя ученикам их дальнейшую разработку и, если это было возможно, экспериментальную проверку своих гипотез. Следует, однако, отметить, что эти гипотезы в большинстве случаев носили доста-

точно умозрительный характер, как если бы сам автор не был особо озабочен перспективами их верификации. Если внимательно читать теоретические труды Выготского и последовательно сравнивать с ними те работы его учеников, которые посвящены экспериментальным воплощениям его интуиций, то регулярно обнаруживаются существенные *зазоры*:

(а) между исходной гипотезой и экспериментом, который должен ее проверить;

(б) между результатами наблюдений и экспериментов и той интерпретацией, которую им дал сам Выготский.

Гипотезы и выводы Выготского, как правило, глобальны, а фактическая база выводов локальна и подчас недостаточна. Зная, что он обречен, Выготский, как можно думать, спешил зафиксировать свои интуиции, работая «крупными мазками» и оставляя ученикам детали и конкретику. В частности, именно так написана самая известная и постоянно цитируемая глава 5 в «Мышлении и речи», где интуиции Выготского о детском мышлении в «синкретах», «комплексах», «псевдопонятиях» и понятиях представлены как экспериментально подтвержденные опытами ученика Выготского Леонида Сахарова. При всей удивительности этих интуиций приходится признать, что они не вытекают напрямую из опытов Сахарова, а пребывают с ними как бы в «параллельной плоскости». Проницательность Выготского в данном случае в ином: он настаивал на *эффективности* мышления в «комплексах» (то есть мышления не формально-логического, а ситуативно обусловленного) для обыденных, вненаучных ситуаций. Для его времени это был несомненный прорыв — по существу, это и был первый кирпич, положенный в основание того, что тридцать лет спустя станет известно как «культурно-историческая теория Выготского—Лурия».

Кроме опытов Сахарова (эту методику обычно называют «кубики Выготского—Сахарова»)²⁰ до нас дошел еще один цикл экспериментальных исследований, осуществленных под прямым руководством Выготского. Это серия экспериментов Лурия, осуществленных им в Узбекистане в 1931—1932 гг., описание которых было опубликовано спустя много лет, и притом частично²¹.

Рано ушедший из жизни Сахаров оставил только отчет о своих экспериментах, увидевший свет в виде статьи уже после его смерти²², но Выготский продолжил этот эксперимент с другими свои-

²⁰ Подробный анализ см. в: Мухеев, 1989; Фрумкина, Микхежев, 1996.

²¹ Лурия А., 1974.

²² Сахаров, 1930.

ми учениками, так что результаты Сахарова (правда, в своеобразном преломлении)²³ сразу же были отражены в книге 1934 г. «Мышление и речь», ставшей широко известной, как уже упоминалось, лишь после переиздания в 1956 г.

Экспериментальные результаты Лурия ожидала иная судьба. Кампания против «культурно-исторической теории» Выготского, начатая еще 1931 г., не просто исключала возможность публикации результатов опытов Лурия в качестве экспериментального подтверждения этой теории, но вынудила Лурия вообще оставить ту тематику, которой он занимался вместе с Выготским. Ему пришлось уйти из Института психологии и уехать из Москвы в Харьков. В дальнейшем он получил диплом врача и сосредоточился на занятиях нейропсихологией — именно достижения в этой области принесли ему в послевоенные годы подлинно мировую славу.

Но как только политическая обстановка в СССР сделала это возможным, Лурия приложил все усилия, чтобы донести до самых широких кругов исследователей ту совокупность идей и экспериментальных данных, которая впоследствии составила ядро «культурно-исторической теории» Выготского—Лурия.

Автор этих строк имеет некоторые личные наблюдения, касающиеся развития данного сюжета во времени. С уверенностью можно сказать, что если жизнь Выготского, его научные и педагогические начинания можно описать и без привлечения фактов биографии Лурия, то *судьба идей и теорий* Выготского во многом определена тем, как в дальнейшем сложились жизнь и научная судьба Лурия.

Как известно, «главным» советским психологом считался Алексей Леонтьев с его «теорией деятельности». Однако за рубежом Советский Союз начиная с 1956 г. представлял по преимуществу не он, а Лурия, завоевавший мировое имя прежде всего как специалист по исследованию афазии и крупнейший нейропсихолог, наследовавший в мировом общественном мнении идеи Курта Гольдштейна, но считавший себя прежде всего именно учеником Выготского. Лурия не только непосредственно воплотил «в материале» идеи учителя, но выступил как *авторитет, обеспечивший дальнейшую рецепцию этих идей*. Лурия, таким образом, сыграл роль *гаранта рецепции* «культурно-исторической теории» Выготского.

Александр Романович Лурия, бесед с которым автор этих строк удостоился в конце 1960-х — начале 1970-х годов, был ярким, жадным к жизни и любопытствующим человеком. Его науч-

²³ См. об этом в: *Frumkina, Mikhejev, 1996.*

ная биография, если постараться читать не только тексты, но и вникнуть в то, что осталось между строк, одновременно типична и исключительна²⁴.

При всей неординарности личности Лурия ранний период его жизни и творчества был вполне характерен для той эпохи. Его главный интерес изначально лежал в области социальной психологии как источника объяснения мотивов поведения реального человека в реальном мире. Но образцом *научной* психологии того времени была не социальная психология, а *экспериментальная психология*, как ее понимали отцы-основатели — Вундт и Титченер. Очевидными альтернативами весьма механистичным представлениям ранней экспериментальной психологии были, с одной стороны, психоаналитический подход, а с другой стороны — так называемая понимающая психология Дильтея.

Психоаналитический подход, будучи инструментальным, предлагал и определенную философскую антропологию, т. е. свое видение человека как объекта возможной коррекции извне. По сравнению с психоаналитической понимающая психология была лишена пафоса прямого воздействия на человека. Лурия углубленно читал всю доступную ему психологическую литературу и уже в 1922 г. (то есть в год окончания университета) написал книгу «Основы реальной психологии». Я упоминаю этот неизданный труд, поскольку он демонстрирует уровень притязаний совсем еще молодого человека, — впрочем, не столь редкий в то бурное время.

Особая энергетика, свойственная Лурия, проявилась среди прочего в том, что тогда же в Казани он организовал кружок по изучению психоанализа, о чем написал непосредственно Фрейдю. Фрейд откликнулся *личным* письмом, и в результате казанский кружок был признан Международной психоаналитической ассоциацией²⁵.

Именно Лурия, уже работавший в Психологическом институте, способствовал переезду Выготского из Гомеля в Москву, после того как услышал его выступление на II Психоневрологическом съезде в Ленинграде. Через много лет Лурия писал, что эта встреча была решающей для его жизни и что всю свою жизнь он делит на два периода, где встреча с Выготским открывает второй, безусловно главный. За этим высказыванием стоит помимо человеческой

²⁴ Заметим, что при всей сложности жизненного пути Александра Лурия он был единственным советским психологом, кто с конца 1920-х годов имел постоянного читателя за границей, а после 1956 г. систематически общался лично со своими зарубежными коллегами.

²⁵ Лурия Е., 1994.

привязанности Лурия к Выготскому очень многое. И прежде всего — совместная работа Выготского и Лурия над проблематикой, которая позже будет положена в основу «культурно-исторической теории». Некоторые аспекты этой работы отражены в упомянутой выше их совместной книге «Этюды по истории поведения. Обезьяна. Примитив. Ребенок» (1930). Уже там мы находим тезис о том, что «примитив мыслит не в понятиях, а в комплексах»²⁶.

А через год, в 1931 г., Лурия отправится в первую из двух экспедиций в Узбекистан, чтобы исследовать в эксперименте характер мышления и способность к обобщению у лиц традиционной культуры и у тех, кто, принадлежа к той же культуре по рождению, прошел школьное обучение.

Полученные Лурия экспериментальные результаты ждали своей публикации сорок лет. Они увидели свет (в лаконичном изложении) в книге Лурия «Об историческом развитии познавательных процессов», вышедшей только в 1974 г.²⁷ К счастью для историков науки, публикуя эту книгу в совсем иные времена, Лурия ограничился тем, что снабдил старинную картину подобающей «рамой», но не стал осовременивать интерпретацию полученных им некогда экспериментальных данных.

В предисловии он сделал замечание о «своеобразной судьбе» книги, но умолчал о причинах, по которым протоколы с результатами узбекской экспедиции 1931—1932 гг. столько лет пролежали в его личных архивах, — хотя к началу 1970-х имя Выготского уже стало символом идейно безгрешной, марксистской (!) психологии.

В действительности же трагическую судьбу книги, а точнее сказать — самого продуктивного из экспериментальных исследований, проведенных при жизни Выготского, определила политическая кампания, направленная против школы Выготского. Эта кампания началась в 1931 г. и в полной мере разразилась как раз после второй экспедиции в Узбекистан 1932 г. В Психологическом институте стала работать комиссия рабоче-крестьянской инспекции; результаты ее деятельности в последующие годы были преданы широкой огласке в разгромных статьях против «культурно-исторической теории Выготского и Лурия» — их опубликовали разные издания, в том числе печально знаменитый журнал «Под знаменем марксизма».

Лурия к тому времени был знаком с Куртом Левином, Вольфгангом Келером (он даже приглашал Келера присоединиться к экспедиции в Узбекистан) и вообще хорошо известен в западном

²⁶ Выготский, Лурия А., 1993: 99.

²⁷ Лурия А., 1974.

научном мире — еще в 1929 г. Лурия принимал участие в IX Международном конгрессе психологов в США. Он был готов бороться за свое право быть исследователем и с этой целью написал письмо тогдашнему «наркому по просвещению» Бубнову, где подчеркивал, что экспедиция в Среднюю Азию была *«предпринята, чтобы проследить пути той огромной перестройки мышления, которой сопровождается культурная реконструкция окраины...»*²⁸. Однако на основании отчетов об экспедициях, которые Лурия регулярно предоставлял институту, московская контрольная комиссия рабоче-крестьянской инспекции объявила работы Лурия и Выготского в Средней Азии колонизаторскими, показывающими неполноценность мышления окраинных народов и политически вредными²⁹.

Немалая часть полевых данных так и осталась в архивах другого участника узбекской экспедиции, ученика и современника Выготского Федора Шемякина, которого Лурия неоднократно упоминает в своих письмах Выготскому. Занимаясь проблемой классификации цветообозначений, я встречалась с Шемякиным в конце 1970-х годов, когда он еще надеялся обобщить свои неопубликованные материалы по восприятию цветообразцов и классификации слов-цветообозначений. Об экспедиции он, однако, никогда не упоминал.

ГАРАНТЫ РЕЦЕПЦИИ И ЕЕ АГЕНТЫ

В качестве главной заслуги Выготского Лурия называл создание культурно-исторической психологии как направления, которому было суждено определить многое в психологии XX в. Однако смысл термина «культурно-историческая» применительно к советской психологической науке никогда не уточнялся. Пожалуй, только книга Лурия «Об историческом развитии познавательных процессов» (а еще лучше — ее английский вариант) действительно позволяет понять на конкретных примерах, что именно Выготский мыслил как историческое развитие и как он представлял себе экспериментальное изучение процессов мышления и познания.

Отсылая заинтересованного читателя к обширному фактическому материалу книги Лурия, я ограничусь в качестве иллюстрации кратким описанием двух типов экспериментов, совместно спланированных Выготским и Лурия. Первый эксперимент касается

²⁸ Цит. по: Лурия Е., 1994: 67.

²⁹ Там же.

идентификации геометрических форм, второй — категоризации объектов. Принципиальная схема экспериментов в обоих случаях была одинакова: вначале испытуемыми были лица, не получившие школьного образования; затем их ответы и самоотчеты сравнивались с ответами и самоотчетами испытуемых, выполнявших в точности то же экспериментальное задание, но имевших определенное образование.

Лурия показал, что не получившие школьного образования узбекские крестьяне воспринимали абстрактные геометрические фигуры — треугольник, круг, дугу и проч. — как конкретные предметы, отвечая «это гора, колесо, месяц» и т. п.³⁰ В задаче на категоризацию объектов большинство этих испытуемых исходили из практической ситуации, в которой эти объекты встречались или функционировали вместе. Объекты объединялись как «нужные», «полезные», «подходящие», но даже при подсказке не удавалось получить категориальную классификацию типа «это животные», «это растения» и т. п.

Совсем иную картину Лурия удалось наблюдать у тех испытуемых, которые хотя бы недолго учились в школе или на каких-либо курсах. Они обнаруживали знакомство с геометрическими фигурами, предлагали категориальную классификацию, основанную на использовании обобщающих понятий. В целом ценность книги Лурия прежде всего в том, что в ней приведены подробные самоотчеты испытуемых при выполнении разных экспериментальных заданий.

Эти данные Лурия *как таковые* и сегодня не устарели. Однако для нашего изложения важно то, что *благодаря авторитету Лурия* мысли Выготского могли быть восприняты на современном научном фоне, что обеспечило возможность рецепции идей Выготского новым поколением исследователей, владевшим иным научным багажом.

Научный и социальный контекст рецепции идей Выготского в США (а для его понимания нам придется переместиться в 1960-е годы) имел качественную специфику. Английский перевод книги Выготского «Мышление и речь» (1962) по времени совпал с началом активной деятельности американских учеников Лурия, которые ранее были его аспирантами и стажерами в Москве.

Как известно, в течение многих лет решающее слово в американской психологии принадлежало бихевиоризму. Соответственно, в 1960-е годы ментальность рядового американского психолога (а в США психология давно уже была массовой профессией) — это

³⁰ Ср. данные Алексея Михеева, полученные в полевых исследованиях в Горном Карабахе: *Мухеев*, 1985; *Frumkina, Mikhejev*, 1996.

прежде всего *ментальность экспериментатора-естествоиспытателя*. Попытки изучать личность, социум и культуру, соответствуя рамкам этой «естествоиспытательской» парадигмы и этой ментальности, выглядели достаточно бесперспективным занятием. Актуальные для американских реалий и традиций межкультурные исследования, например в духе школы Франца Боаса и Бронислава Малиновского, отнюдь не предполагали экспериментального подхода.

Но в той мере, в какой ученые, изучавшие мышление с позиций культурной антропологии, пользовались только описательными методами, «настоящие» психологи, то есть экспериментаторы, не считали такие труды «научными». Даже такой крупный психолог-экспериментатор, как Джером Брунер (не говоря уже о молодых, начинающих, какими были в 1960-е годы учившиеся у Лурия Майкл Коул и Джеймс Верч), был счастлив найти понимание и авторитетную поддержку у Лурия. Именно Лурия познакомил своих американских учеников и коллег с еще не опубликованными к тому моменту концепциями Выготского и данными своих экспериментов.

Как мы знаем, огромный экспериментальный материал, накопленный Пиаже и его школой, остался до сих пор не полностью интерпретированным. Положение вещей с наследием Выготского в известной мере можно было бы назвать противоположным: мы знакомы с его теоретическими интуициями, но они не были подвергнуты последовательной экспериментальной проверке. Опыты Лурия в Узбекистане, опубликованные через сорок лет после того, как этот материал был получен, по существу являются единственным исключением.

Если Брунер, Коул и Верч были *агентами рецепции* идей Выготского на Западе, то на родине самым сильным агентом рецепции культурно-исторических интуиций Выготского был эстонский психолог Пеэтер Тульвисте. Свои многолетние теоретические и экспериментальные исследования он резюмировал в книге «Культурно-историческое развитие вербального мышления»³¹. Можно сказать, что Тульвисте, Коул и Верч составляли часть «невидимого колледжа», где наставниками были Лурия и Брунер. Именно Тульвисте еще в 1977 г. перевел на русский язык известную книгу Майкла Коула и Сильвии Скрибнер «Культура и мышление»³².

В своей книге Тульвисте справедливо отметил, что рецепция центрального теоретического тезиса Выготского — т. е. понимание того, что именно следует называть «культурно-исторической

³¹ Тульвисте, 1988.

³² Коул, Скрибнер, 1977.

концепцией развития мышления» — в течение многих лет была поверхностной и скорее декларативной.

Соглашаясь с автором, я нахожу уместным обосновать этот тезис Тульвисте несколько иначе, чем это сделал он сам. С этой целью разделим проблему на два аспекта.

1) Действительно ли Выготский разработал концепцию, которая могла послужить не только декларацией, но и основанием для экспериментальных исследований?

2) В какой мере концепция Выготского была уникальной или хотя бы кардинально отличалась от прочих концепций, целью которых были ответы на те же вопросы?

У Тульвисте мы находим следующее соображение. Как пишет автор, современная Выготскому экспериментальная психология преуспела потому, что она ограничивалась изучением «психических процессов, общих у крысы и у человека, а те процессы, которых у крысы нет, до сих пор плохо поддаются объяснению. Эти последние обязаны своим появлением культуре и истории (которых у крыс тоже нет). Следовательно, они и должны быть объяснены через культуру и историю, через факты не биологии и физиологии, а истории, социологии, культурологии, семиотики, этнографии, культурной антропологии. Основанием для обращения к этим данным служит не неприменимость при изучении высших процессов эксперимента, как полагал Вундт, а то простое обстоятельство, что всякое явление должно было быть объяснено через причины, его породившие»³³.

Этот остроумный пассаж не должен внушить читателю, что во времена Выготского вся «прочая» психология игнорировала фактор культуры и объясняла психику человека исключительно через природу. Да и *интерпретация* позиций самого Выготского не оставалась одной и той же, а была разной в зависимости от времени и места.

В нашей стране при жизни Выготского, т. е. между 1925 и 1934 гг., содержание слов «культурно-историческое развитие» понималось в контексте примитивизированного марксизма. Именно это обеспечивало тогдашнюю популярность идей Выготского и вдохновляло его соратников. Совсем иной характер имела рецепция идей Выготского в американской психологии в 1960-е гг. и последующие десятилетия, когда эти идеи были усвоены благодаря Лурия.

Возвращаясь в 1920-е годы, зададимся вопросом: нужно ли было для понимания роли культуры и истории в развитии мышления быть непременно марксистом?

³³ Тульвисте, 1988: 10.

Сам Выготский — если судить по его текстам — вполне разделял марксистские подходы, а вовсе не «прикрывался» нужными цитатами, как могут сегодня подумать молодые читатели. По мнению Выготского, если роль социальной среды определяет человеческую психику исчерпывающим образом, то необходимо, во-первых, детально исследовать сам этот процесс, а во-вторых — создать психологию и педагогику, которая решала бы задачу активного формирования *нового* человека с помощью этой новой среды.

Как уже упоминалось выше, не случайно именно педагогике Выготский посвятил значительную часть своей недолгой жизни в науке; именно онтогенез речи и онтогенетический аспект эволюции мышления были излюбленным предметом его штудий. Понятен и его особый интерес к работам Жана Пиаже, хотя Выготский отнюдь не видел себя именно «детским психологом». Его педагогические идеи имели «сокрытым двигателем» характерные для того времени достаточно спрямленные представления о влиянии социокультурных условий на развитие и формирование личности.

Однако признание решающей роли *культуры* в развитии интеллекта и формировании сложных мыслительных операций вовсе не было достижением самого Выготского или других ученых-марксистов. Еще Эмиль Дюркгейм настаивал на том, что психику исторического человека надо объяснять исходя из того, что он является членом социума и субъектом культуры. Люсьен Леви-Брюль, изучавший мышление народов архаических сообществ, также предложил социокультурное объяснение особенностей их мышления: он показал, что мышление адекватно тем практическим задачам, которые решает индивид — представитель определенной культуры. Если в культуре нет форм деятельности, требующих абстрактного мышления, то последнее не формируется, но на уровне повседневной жизни логическое мышление и возможности делать умозаключения равно эффективны у жителя Экваториальной Африки и у европейца.

Пьер Жане — другой представитель французской школы — полагал, что развитие умственной деятельности и усложнение форм мышления происходят под влиянием практических задач, которые решает индивид в процессе своего сотрудничества с другими индивидами. Пиаже, учившийся у Жане, акцентировал роль общения и языка, полагая, что развитие речи идет от диалога с другими и с самим собой (так называемая *эгоцентрическая речь*) к интериоризации, перемещению этого диалога вовнутрь. Выготский, таким образом, думал и писал вполне в русле главных идей определенной части своих современников и непосредственных предшественников. У него были великие собратья по науке, что отнюдь не умаляет его собственных заслуг.

Итак, многие современники Выготского логично объясняли «те процессы, которых у крысы нет». Важно другое: не все психологи были готовы принять сказанное выше *в качестве объяснения*. Для американской школы и во многом немецкой школы (в частности, для представителей гештальтпсихологии) основой научных выводов мог быть только эксперимент. Очевидно, однако, что крайне трудно найти экспериментальную парадигму, позволяющую достоверно изучать именно мышление, а не, допустим, запоминание или восприятие сигнала. Отсюда характерные как раз для американской психологии попытки экспериментального моделирования *высших* психических функций с помощью более *элементарных*. Это и дало Тульвисте основания для остроумной фразы о том, что, в отличие от человека, у крыс нет ни культуры, ни истории.

ВЫГОТСКИЙ СЕГОДНЯ

Я думаю, что главным в концепции Выготского было не просто осознание роли культуры и истории в развитии психики — это понимали и другие. Но именно Выготский сумел придать *исключительное значение развитию операций со знаками*. Особый мир — мир знаков — вот материал, которым, по Выготскому, оперирует мышление. В осознании важности мира знаков Выготский стоит рядом с членами Московского лингвистического кружка и ранним Якобсоном. Из марксизма Выготский «взял» формулировку, согласно которой *знак аналогичен орудью*, — для его времени такой ход мысли был закономерен.

Замечательным свойством Выготского было не одно лишь желание внедрить в исследование операций со знаками экспериментальные методики, но еще и стремление сделать это так, чтобы *методы были адекватными объекту*. Выготский оставался членом научного сообщества, которое в 1920-е годы и даже в начале 1930-х еще было разомкнуто в мир. Этот контекст сегодня трудно реконструировать — мы либо преуменьшаем степень изоляции русских ученых от общесвропейских культурных процессов, либо преувеличиваем ее.

Как мы видели, в начале 1920-х годов неизвестный молодой человек из Казани мог написать лично Фрейду, получить ответ и в результате оказаться лидером кружка, признанного Международной психоаналитической ассоциацией. (После 1934 г. аналогичный поступок, если бы он был личной инициативой, привел бы автора письма только в застенки.) Таким образом 1920-е годы в России —

это годы активной рецепции разных идей западной психологии; еще существовал живой обмен результатами, мнениями и научной литературой с немецкими психологами и философами. Блюма Зейгарник, позднее — глава советской патопсихологии, работала в Германии в лаборатории «самого» Курта Левина. Побывал в этой лаборатории и Лурия — в 1925 и 1929 гг. Выготский черпал свои идеи из общего для своей эпохи багажа. Неудивительно, что Выготский предложил своему ученику Леониду Сахарову воспользоваться методикой Аха, а для опытов в Узбекистане Лурия модифицировал классификационную методику, следуя разработкам немецкого психолога и психиатра Курта Гольдштейна.

Сама идея отправиться в Узбекистан опиралась на накопленный к тому времени в мире опыт изучения традиционных культур в полевых условиях. Леви-Брюль еще в 1930 г. резюмировал описательные данные, которые ранее получили другие исследователи³⁴; складывалась школа культурной антропологии Малиновского. Уровень западной культурной антропологии был весьма высок, но тем заманчивее была попытка подойти к решению культурно-антропологических проблем, используя экспериментальные методики.

Перспектива увидеть своими глазами и показать в эксперименте, как *меняется мышление* людей в социуме, где, выражаясь языком того времени, совершался грандиозный скачок в другую *историческую формацию*, — это была задача, достойная теоретического кругозора Выготского и сокрушительной энергии Лурия.

Чтобы понять, что значили результаты Лурия для Выготского, достаточно прочесть несколько восторженных писем, которые Выготский послал Лурия в Среднюю Азию в ответ на его очередной отчет о полученных данных. Например: «Первостепенное значение опытов для меня вне сомнения, наш новый путь теперь завоеван (тобой) не в идее только, а на деле — в эксперименте»³⁵. И далее: «Экспериментально доказано (на фактическом материале более богатом, чем в любом этнопсихологическом исследовании, <...> филогенетическое наличие пласта комплексного мышления...»³⁶

Результаты первой узбекской экспедиции лета 1931 г. были столь впечатляющи, что уже зимой 1931 г. Лурия обратился к Вольфгангу Келеру с предложением принять участие в следующей экспедиции в Среднюю Азию, запланированной на лето 1932 г.³⁷ И

³⁴ Леви-Брюль, 1930.

³⁵ Цит. по: Лурия Е., 1994: 65.

³⁶ Указ. соч.: 66

³⁷ Указ. соч.: 22.

это несмотря на уже начавшуюся «дискуссию» о концепции Выготского, которая, как и прочие организованные «сверху» «научные» дискуссии советской эпохи, быстро переросла в травлю.

Экспедиция лета 1932 г. все же состоялась, но отныне о культурно-исторической теории Выготского писали только в кавычках. В Москве ни Выготскому, ни Лурия не было места. Лурия был тогда молод и полон сил, Выготский же стоял на краю могилы. Весной 1934 г. видный русский невропатолог Николай Гращенко предложил Выготскому заведовать отделом в руководимом им Всесоюзном институте экспериментальной медицины (ВИЭМ). Как пишет в своих воспоминаниях дочь Александра Лурия, Елена, Выготский встретил свою последнюю весну полным надежд. Он умер в начале лета 1934 г.

* * *

После публикации «Психологии искусства» в 1965 г. Выготского окончательно канонизировали, но в то же время подлинный пафос его работ был забыт или не понят. Мировая известность Лурия как нейропсихолога дала ему возможность рассказывать о Выготском в Европе и Америке, но сами результаты узбекской экспедиции пребывали невостребованными в его личном архиве вплоть до 1967 г. Лурия снял эти архивные папки с полок, будучи уже совершенно другим человеком, нежели во времена содружества с Выготским, — теперь это был маститый ученый, который обращался к Брунеру «My dear Jerry» и знал, в какой ряд теперь попадет его книга — к тому времени Брунер с учениками уже издали фундаментальную работу на близкую тему³⁸. Через два года (т. е. в 1969 г.) новая книга была готова, о чем Лурия напишет своему ученику Майклу Коулу.

Английская версия книги Лурия под заглавием «Cognitive Development: Its Cultural and Social Foundations» — кстати, куда более тщательно исполненная, чем русское издание, — увидит свет лишь в 1976 г.³⁹ Я думаю, что именно из этой книги мы лучше всего можем понять, что потеряла наша наука в результате разгрома школы Выготского и чем на самом деле была замечательна его теория.

Несомненно, что потомки тем ближе к пониманию «величия замысла» классика, чем дальше они от попыток судить его в соответствии со стандартами современной науки. *Быть классиком* — это не имманентное свойство ученого; это его *функция*. При этом, в

³⁸ Bruner, Goodnow, Austin, 1956.

³⁹ Ср.: Luria, 1976; Лурия А., 1974.

отличие от классиков наук точных и естественных, классики гуманитарии уходят как бы в «подсознание» культуры: именно по законам культуры, а не по законам собственно науки продолжают жить их мысли и страсти, реализуются рецепция и трансляция их идей. Классики — гиганты гуманитарной мысли — не подставляют нам свои плечи; скорее они протягивают нам руку и щедро делятся теплом зажженного ими огня.

Литература

Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 1965.

Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1956.

Выготский Л. С. Мышление и речь. Психологические исследования. М.: Л.: Гос. социально-экономическое изд-во, 1934.

Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. М.: Педагогика, 1982—1984.

Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории поведения. Обезьяна. Прimitив. Ребенок. М.: Педагогика-Пресс, 1993.

Иванов В. В. Очерки по истории семиотики в СССР. М.: Наука, 1976.

Известия Академии педагогических и социальных наук. Вып. 1: Проблемы современной психологии. (Посвящается 100-летию со дня рождения Л. С. Выготского.) М.: Воронеж: Изд-во «Институт практической психологии». НПО «МОДЭК». 1996.

Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. Психологический очерк / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1977.

Леви-Брюль Л. Первобытное мышление / Пер. с франц. М.: Атеист, 1930.

Лурия А. Р. Об историческом развитии познавательных процессов: Экспериментально-психологическое исследование. М.: Изд-во Московского ун-та, 1974.

Лурия Е. А. Мой отец А. Р. Лурия. М.: Гнозис, 1994.

Михеев А. В. Исследование процесса образования понятий и методики Выготского—Сахарова // Язык и когнитивная деятельность / Под ред. Р. М. Фрумкиной. М.: Наука, 1989. С. 72—86.

Михеев А. В. Свободная классификация набора предметов // Лингвистические и психолингвистические структуры речи / Под ред. Р. М. Фрумкиной. М.: Ин-т языкознания АН СССР, 1985. С. 78—93.

Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Пер. с франц., ред. и вступит. ст. Л. С. Выготского. М.; Л.: ОГИЗ, 1932 [1923].

Сахаров Л. С. О методах исследования понятий // *Психология*. 1930. Т. 3. Вып. I. С. 3—33.

Светликова И. Ю. Истоки русского формализма. Традиция психологизма и формальная школа. М.: Новое литературное обозрение, 2005.

Тулвисте П. Культурно-историческое развитие вербального мышления: Психологическое исследование. Таллин: Валгус, 1988.

Эткинд А. М. Содом и Психея: Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М.: ИЦ-Гарант, 1996.

Эткинд А. М. Эрос невозможного. Развитие психоанализа в России. М.: Гнозис, 1994.

Bruner J. S., Goodnow J. J., Austin G. A. A Study of Thinking. New York: John Wiley & Sons, 1956.

Frumkina R. M., Mikhejev A. V. Meaning and Categorization. New York: Nova Science Publishers, 1996.

Luria A. R. Cognitive Development: Its Cultural and Social Foundations. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1976.

Piaget J. Le langage et la pensée chez l'enfant. Neuchâtel: Delachaux et Niestlé, 1923.

Vygotsky L. S. Thought and Language. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1962.

II. HUMANITIES

Сергей Зенкин

ГУМАНИТАРНАЯ КЛАССИКА: МЕЖДУ НАУКОЙ И ЛИТЕРАТУРОЙ

«Классика» — не чисто научное понятие. Им описывается статус, которым человек, произведение, учение обладают не только в узко академических рамках, но и в более широкой социокультурной среде: в школе, в свете, в массмедиа, в общественном мнении. Соответственно, это понятие применимо не только к научным, но и к художественным и бытовым фактам, вовлеченным в культурную традицию, в процесс канонизации: отсюда выражения «классическая литература», «классическая мода» и т. д. Другое дело, что разные культурные дискурсы и, в частности, разные научные дисциплины бывают затронуты этим процессом в разной степени и в разных формах; специфическое место среди них занимают гуманитарные науки (humanities).

«Классика» — понятие, неразрывно связанное с культурным наследием, с традицией: при отсутствии непосредственной традиции даже самый знаменитый писатель, художник или мыслитель прошлого, от которого по каким-то причинам не сохранилось значительных текстов или произведений, не может считаться «классиком» (Сократ — не классик, классиком является лишь Платон); то же относится к великим государственным, военным и т. п. деятелям, поскольку они лишь совершали поступки, а не создавали произведения культуры. Обязанность изучать классиков мотивируется не просто тем, что это люди, добившиеся высших достижений в той или иной области знания или творчества, но и тем, что их наследие потенциально неисчерпаемо, что каждое поколение может найти в нем что-то новое и важное для своего собственного творчества. Классический канон образует устойчивое и в принципе неизменное ядро культурной памяти, по отношению к которо-

му все вновь создаваемые тексты культуры являются пояснениями и вариациями. Культура функционирует на двух уровнях — повторяемого канона и обновляемых комментариев к нему¹. Классики — это не самые известные и не самые читаемые, а самые *комментируемые* авторы.

Такова была господствующая ситуация в европейской культуре до наступления Нового времени; начиная с XVI—XVII вв. она изменилась благодаря возникновению новоевропейской науки. Характерные для этой науки экспериментальные методы, формализуемые результаты, процедуры воспроизведения и проверки сделали ее независимой от традиции; ей больше не требовались постоянные обращения к классикам — например, к Аристотелю или Галену, — типичные для средневекового научного дискурса. Новоевропейская наука исповедует принцип безличного знания, отделенного от своих первооткрывателей и полноценно передаваемого от одного ученого к другому. Личность первооткрывателя может символически увековечиваться в названиях научных достижений (теорема Пифагора, законы Ньютона, опыт Майкельсона—Морли, Лоренцевы уравнения и т. д.), но при этом предполагается, что любой современный ученый способен вполне адекватно воспроизвести эти достижения, а хороший современный учебник даже излагает их еще лучше первооткрывателей, потому что учитывает и те достижения, которые были еще неизвестны последним, то есть вводит старые знания в новые дисциплинарные рамки. Новоевропейская наука смотрит не назад, а вперед, в ее глазах открытия и технические изобретения, сделанные великими учеными прошлого, совершенствуются и тем самым диалектически преодолеваются. Вольтер писал об этом так:

«Любой покупатель скажет вам: я признаю, что изобретатель челонока был гениальнее, нежели мануфактурищик, изготовивший мое сукно, но мое сукно лучше, чем сукно изобретателя. Каждый маломальски разбирающийся человек признает, что мы чтим гениев, создавших первый набросок искусства, однако ближе нам умы, усовершенствовавшие эти искусства»².

Именно таков статус классиков в новоевропейских естественных науках: это «гении», которых «чтят», но издавека, без непосредственного контакта с их творчеством. Современный физик,

¹ См.: Ассман. 2004 [1992].

² Вольтер, 1974: 264. Слово «искусства» употребляется здесь, разумеется, в широком значении, унаследованном от средневековой культуры. — это любые умения, как промышленные (в примере, приведенном у Вольтера), так и собственно художественные («изящные искусства»).

если только он не историк физики, больше не читает Ньютона, да, пожалуй, и Эйнштейна, их идеи доходят до него через чужие изложения. В естественных науках нет «учебы у классиков» и нет представления о неисчерпаемости их наследия; собственно, в этих науках сегодня нет и канонических текстов как таковых, их заменяет набор общедоступных, всеми опознаваемых «цитат»: теорем, формул, численных показателей, экспериментальных процедур и т. д.; в терминах Нельсона Гудмена¹, научные данные аллографичны, не привязаны к исходному авторскому тексту («автографу»), где они были когда-то изложены.

«Уайтхед хорошо уловил неисторический дух научного сообщества, когда писал: “Наука, которая не решается забыть своих основателей, обречена”. Тем не менее он был не совсем прав, ибо наука, подобно другим предприятиям, нуждается в своих героях и хранит их имена. К счастью, вместо того, чтобы забывать своих героев, ученые всегда имеют возможность забыть (или пересмотреть) их работы»⁴.

Вместе с тем современная культура по-прежнему располагает альтернативной системой знания, которая охватывает знание традиционное, иерархизированное в соответствии с принципом «канон — комментарии», и которая понимает «классику» в старинном значении слова. Эта система включает в себя религиозное знание, художественную литературу, гуманитарные науки и философию. (Впрочем, последняя сегодня сама содержит в себе склонную к экспансии подсистему, ориентирующуюся на естественнонаучные принципы безличного знания, — это аналитическая философия.) Гуманитарные науки представляют собой самую молодую из перечисленных форм знания, и их классика занимает промежуточное место между классикой естественнонаучного знания и художественной словесностью.

«Гуманитарные науки» понимаются здесь в узком значении термина, как *науки о культуре*, по определению связанные с традицией (культура — это и есть совершенствуемая, обновляемая, порой революционизируемая традиция). Гуманитарные науки образуют сложное переплетение с науками «общественными», так что даже внутри тех или иных конкретных разделов знания (истории, философии) выделяются более и менее связанные с традицией течения и дисциплины. Как известно, эта сложность имеет историческое происхождение: в XIX в. возник проект современных общественных наук, направленный на сближение традиционных

¹ См.: Goodman, 1968.

⁴ Кун. 1977 [1970/1962]: 184.

humanities с науками о природе. Факторы такого сближения — «позитивистский» культ фактов, точность которых может проверить любой исследователь, все чаще применяемые статистико-количественные методы, попытки формализации результатов, представления их в виде формул, таблиц, баз данных. Знание, добываемое и структурируемое с помощью таких методов, в тенденции безлично. Тем не менее в составе научной культуры по-прежнему существенное место занимает знание личностно-наследственного характера; это и есть новые, современные гуманитарные науки, науки о культуре (само понятие культуры, как известно, сложилось лишь в эпоху романтизма), сосуществующие с науками общественными и уже этим отличные от старинных humanities, не имевших такого соседства. Изучая традицию, они одновременно и поддерживают ее, опираясь на авторитет своей специфической «гуманитарной классики» и делая это в иных формах, нежели те, в которых функционирует классика точных, естественных и даже общественных наук.

Во-первых, — если начать с чисто социальных аспектов проблемы, — некоторые влиятельные школы общественнонаучного знания, возникшие еще в конце XIX в., целенаправленно строятся как инициатические сообщества, в которых основоположники занимают исключительное место, порой сближающееся со статусом религиозных лидеров. Примером может служить психоанализ — профессиональное сообщество, комплектуемое посредством наследования харизмы основоположника: каждый кандидат в психоаналитики должен сам пройти процедуру психоанализа, приобщаясь к абсолютному авторитету Зигмунда Фрейда — первого психоаналитика, который анализировал себя сам. Еще более сильным, но не столь однозначным примером является марксизм — сложносоставная философская, экономическая, социальная и политическая доктрина, у последователей которой чрезвычайно сильна воля к ортодоксии, к отмежеванию, размежеванию и борьбе за наследство классиков-основоположников.

Во-вторых, даже в более традиционных гуманитарных дисциплинах некоторые школы и направления прочно связаны с традицией и с наследием основателя. Например, в идейном становлении женеvской школы лингвистики исключительную роль сыграли устное предание и личная преданность учеников Фердинанда де Соссюра Шарля Балли и Альбера Сеше, после смерти учителя издавших на основе студенческих конспектов «Курс общей лингвистики» (1916) — книгу, которую так и не написал сам Соссюр, но которая стала основополагающим текстом современной науки; в 1960-е гг. сходный жест по отношению к тому же классику был повторен Жаном Старобинским — не будучи сам учеником Соссю-

ра, он опубликовал лежавшие под спудом соссюрговские рукописи об анаграммах, и они сразу вызвали лавину теоретических комментариев (у Юлии Кристевой, Жана Бодрийяра и многих других авторов). Знание, основывающееся на недоступных публике классических первоисточниках, фигурирует и в других науках: так, Морис Хальбвакс в «Социальных рамках памяти» (1925) опирается на не изданные на тот момент (как, впрочем, и позднее) тексты своего учителя Эмиля Дюркгейма; многие, особенно зарубежные, исследователи Михаила Бахтина сетуют на закрытость его архива, которым по сей день пользуется узкий круг российских теоретиков⁵.

В-третьих, — и это важнейшее и интереснейшее обстоятельство, так как оно относится уже не только к социальной, но и к культурной сфере, — тексты классиков гуманитарных наук вообще постоянно читаются, перечитываются и перетолковываются, остаются «живой» классикой. Студент-гуманитарий обязан хотя бы в сокращении знать первоисточники — отсюда богатая культура антологий, reader'ов, учебных изданий научной классики. Но первоисточники требуются не только при обучении науке, они привлекаются и для ее теоретического развития и самоосмысления. Выше уже сказано, что «Курс общей лингвистики» Соссюра стал основополагающим текстом современной науки; и действительно, существует развитая традиция изучения и интерпретации этой книги (сопоставляемой с не опубликованными вплоть до недавнего времени заметками ученого по той же тематике), задача которой не исчерпывается филологическими заботами об установлении точного текста и смысла исторического памятника: перечитывая заново Соссюра, современная лингвистическая мысль стремится выяснить собственные основы. Более того, этим занимаются не только профессиональные лингвисты: широко известен, например, разбор соссюрговской теории языка, выполненный Жаком Деррида⁶, который через деконструкцию этой теории доискивается до глубинных проблем и противоречий всей европейской культуры. Подобному разбору можно подвергать тексты философов, писателей, ученых-гуманитариев, но не работы физиков, математиков, биологов, и сама эта возможность и продуктивность деконструкции гуманитарной классики показательна для статуса последней в культуре. Ситуация с наследием Соссюра не уникальна. Исторические и/или деконструкционистские прочтения широко практикуются и применительно к трудам других великих ученых-гуманитариев XIX—XX вв., таких, как Чарльз Сандерс Пирс, Марсель Мосс, Вальтер Беньямин, Клод Леви-Строс, теоретики русского ОПОЯЗа, Ми-

⁵ См. об этом, например: *Zbinden*, 2006.

⁶ См.: *Деррида*, 2000 [1967].

хаил Бахтин... В связи с последним мыслителем уже не первое десятилетие говорят о существовании целой «бахтинской индустрии»⁷, объем продукции которой многократно превысил объем полного собрания сочинений Бахтина; да и в самом этом собрании сочинений (пока не законченном) научные комментарии занимают больше места, чем авторские тексты. Ситуация раздела культуры на канон и комментарии, описанная Яном Ассманом на примере древнееврейских толкований Торы, с образцовой наглядностью воспроизводится при научной интерпретации наследия классиков гуманитарных наук. Сверх того, биография некоторых из них содержит драматические и даже трагические эпизоды; для этого особенно «постарались» тоталитарные государства XX в., сажавшие в лагеря Алексея Лосева и Льва Гумилева, ссылавшие и не допускавшие в столичный академический круг Бахтина, преследовавшие и в конце концов доведшие до гибели Бенямина, и т. д. Ученые-мученики естественно становятся легендой, предметом почтительно-бережного изучения, их судьба придает им харизматическое обаяние, распространяющееся и на их сочинения. Авторитет, завоевываемый ценой гонений и изоляции, — нередкий сюжет в развитии всех наук, но в гуманитарных науках эта ситуация особенно типичная, порой даже искусственно формируемая самими учеными. Если для структуралистов тартуской школы сознательная самоизоляция от советского научного сообщества (с помощью эзотерического языка, который парадоксальным образом подражал естественнонаучному) была вынужденной, связанной с цензурно-идеологическим гнетом в нашей стране, то для их современников — французских (пост)структуралистов — демонстративный разрыв с научным истеблишментом и обращение к традициям марксистской идеологии могли служить прагматическим приемом в борьбе за символический капитал — стратегия, сходная с типичной стратегией писателей и художников-авангардистов⁸, со становлением «культовых» фигур в литературе и искусстве⁹.

Итак, при канонизации ученых-гуманитариев и их идей действует тенденция, нестандартная для научной классики в целом и сближающая их с классикой литературы, искусства, философии. Разумеется, нельзя утверждать, что она носит всеохватывающий характер; в современных гуманитарных науках немало признанных классиков (особенно эрудитов-историков, филологов и т. д.), к которым сделанные выше наблюдения не относятся или относятся

⁷ Недавний критический обзор ее методов и результатов см. в: *Zbinden*, 2006.

⁸ См.: *Bourdieu*, 1992.

⁹ О феномене «культовой» литературы см.: *Классик, современный классик, культовый автор, модный писатель...*, 2007.

лишь в малой мере. Но она затрагивает крупнейших теоретиков, властителей дум, чье влияние выходит за академические рамки и распространяется на широкую образованную публику. Эти люди неочевидным образом сочетают в себе убедительность абстрактного мышления и обаяние традиции.

Можно ли считать, что перед нами сугубо социальный феномен — интерференция научной и литературной моделей поведения, что ученый, завоевывая массовую популярность, вступает на другое социокультурное поле и начинает играть по его правилам, утрачивая себя (хотя бы временно) как собственно ученого и превращаясь в «писателя» или «публичного интеллектуала»? Думается, это не совсем так; тенденция, о которой идет речь, имеет не только внешне-социологическую, но и внутренне-эпистемологическую сторону: она отражает некоторые глубинные особенности гуманитарного знания как такового.

Естественно предположить, что повышенная ценность традиции в гуманитарных науках связана с «заразительным» влиянием их материала: как уже сказано, материал этих наук в значительной части, а иногда и полностью наследуется от прошлого: для историка это свидетельства современников, для лингвиста — тексты, в которых проявляется бывшее состояние языка, для литературо- или искусствоведа — художественные произведения прежних эпох. В такой ситуации может происходить своего рода перенос по смежности: материал влияет на институциональную форму своего описания, интерпретация включается в интерпретируемое, наука, изучающая традицию, сама становится ее частью и усваивает ее законы. В таком случае характерный для исторических наук (собственно истории, филологии, искусствознания) культ сносок и ссылок обусловлен чем-то большим, чем моральный императив добросовестности, уважение к заслугам предшественников и коллег: эти предшественники, даже вполне современные, сразу же включаются в состав традиции и требуют столь же пристального внимания, как тексты последней; некоторые из них — которые именно и называются классиками — заслуживают внимания особенно благоговейного, наряду с основополагающими сакральными текстами изучаемой культуры¹⁰. В историко-культурных исследованиях «первичная» и «вторичная» библиографии имеют тен-

¹⁰ В Советском Союзе, в значительной мере оторванном от современной зарубежной культуры и от своей собственной дореволюционной культуры, фигура классика-гуманитария (иногда любопытным образом коррелировавшая с *классической древностью*, которую изучали эти люди — Алексей Лосев, Сергей Аверинцев) выполняла особую сакральную функцию посредника между настоящим и прошлым, хранителя прерванной традиции. См.: *Берelowич*, 2005.

денцию к сближению. Но разница между общественными и гуманитарными науками сказывается и здесь: у специалистов по гражданской, политической или экономической истории специфика «живой» классики проявляется в небольшой степени, хотя они тоже пользуются преимущественно материалом традиции и сами служат ее передаче. Великих историографов прошлого, от Геродота до Соловьева, конечно, переиздают и перечитывают, но не столько ради их собственной мысли, сколько ради фактических сведений, которые собраны в их трудах; для современного исследователя эти тексты функционируют подобно другим историческим документам, требуя не столько концептуальной интерпретации, сколько *критики* источника. Историк-классик занимает в культуре иное место, чем теоретик-классик.

Итак, связь наук о культуре с преданием как материалом изучения хоть и влияет на их эпистемологическую конфигурацию, но не образует определяющую причину особого статуса гуманитарной классики. Более фундаментальным обстоятельством является то, что эти науки имеют дело со *смыслом*, сколь бы трудноопределимым ни было это последнее понятие. Введенная еще Вильгельмом Дильтеем оппозиция «объяснение—понимание», разделявшая «науки о природе» и «науки о духе», сохраняет свою ценность и ныне, после всех перемен, происшедших как в теории науки, так и в самих науках. Практика «понимания», уяснения смысла распространяется на тексты не только религиозной или литературно-художественной, но и научной традиции, в которых видят памятники культуры, требующие не просто инструментального использования, а герменевтического диалога. Соответственно, если для «объясняющих» наук личность автора отделена от их содержания, то в науках «понимающих» она внедрена в него как источник смысла, подлежащего бесконечному истолкованию и/или обогащению.

Приведем два симптоматичных факта, иллюстрирующих эту связь между гуманитарной классикой и герменевтикой смысла.

Выше уже упоминалось о такой форме почитания классиков естественных наук, как «именные» законы, теоремы или опыты; вместе с тем имена этих ученых практически никогда не связываются с *понятиями и терминами* — очевидно, потому, что в естественных науках понятия формализованы, а термины часто взяты из чужих (особенно мертвых) языков. В гуманитарных науках, где мало общих законов и почти совсем нет экспериментов, зато терминология в значительной части опирается на лексику живого языка, аналогом таких личностно-памятных обозначений являются «именные» понятия и понятийные системы: в гуманитарном дискурсе постоянно употребляются уточняющие выражения типа «на-

радика в смысле Соссюра», «знак в смысле Пирса», «фрейдистская оговорка», «беньяминовская аура», «остранение в смысле русских формалистов», «потлач в смысле Мосса», «карнавал в смысле Бахтина», «письмо в постструктуралистском смысле» и т. д.; исключения не составляет и только что упомянутая паронимическая пара «объяснение/понимание в смысле Дильтея». Эти выражения внешне похожи на «закон Ома» или «теорему Ферма»: в них историческое имя (фамилия ученого, название научной школы) соединяется с общей идеей, элементом научно-теоретического знания. Вместе с тем очевидна содержательная разница: в случае гуманитарного знания связь имени с идеей более плотная, более сущностная, наподобие «жесткой десигнации», которой, согласно Солу Крипке, характеризуются имена собственные¹¹. Закон Ома мог открыть и какой-то другой физик (историкам науки известно много таких параллельных открытий), гипотеза Пуанкаре была сформулирована французским математиком в начале XX в., а доказана лишь сто лет спустя его русским коллегой, фактически она принадлежит огромному коллективу ученых, которые занимались ею на протяжении десятилетий. С некоторым приближением можно сказать, что наименования такого рода образуются по типу произвольного знака, мотивированного лишь случайными историческими обстоятельствами, благодаря которым кому-то довелось первым добыть или опубликовать то или иное знание. Напротив того, в наименованиях типа «знак в смысле Пирса» мотивировка более глубокая: они обозначают не только конкретно-эмпирическое авторство, но и общую систему идей, созданную данным ученым и включающую в себя данный термин; пользуясь понятиями только что упомянутого Чарльза Пирса, можно сказать, что имя служит здесь «интерпретантом» термина. Встреченное в научном тексте название «теорема Ферма» требует опознания, это факт семиотики; встреченное в таком же тексте выражение «знак в смысле Пирса» требует понимания, это факт семантики; компетентный специалист-гуманитарий должен отличать не просто определение знака по Пирсу от определения знака по Соссюру или Фреге, но и всю систему мысли данного теоретика, сообщившую этому понятию его неповторимую форму. Таким образом, «авторская функция» (Мишель Фуко)¹² по-разному действует применительно к естественнонаучным теоремам или законам и применительно к гуманитарным концептам.

Второе симптоматичное обстоятельство, показывающее связь проблемы гуманитарной классики с герменевтикой смысла, смыкается с первым. Ситуация «персональных» понятий-концептов,

¹¹ См.: Крипке, 1980 [1972].

¹² См.: Фуко, 1994.

принимающих у создавшего их автора уникальную конфигурацию и в дальнейшем подлежащих не просто опознанию и операциональному использованию, но углубленному анализу, трансформации, созданию альтернативных концептов, свойственна не естественным наукам, а скорее философии¹³. И в самом деле, классики гуманитарных наук часто вызывают к себе не узконаучный, а «мировоззренческий» интерес. Их труды анализируют профессиональные философы (деконструкция лингвистики Соссюра и этнологии Леви-Строса Жаком Деррида — лишь один из многих примеров), в их сочинениях ищут не просто теорию конкретной научной дисциплины, но более общие идеи, применимые в других науках и в априорной рефлексии о культуре¹⁴. Нередко бывает, что сами ученые-теоретики скептически относятся к спекулятивным построениям, избегают ссылаться на какие-либо философские учения и настаивают на позитивно-эмпирическом характере своих теорий, но в дальнейшем их комментаторы и интерпретаторы применяют для анализа этих теорий именно философский метаязык, ищут и находят в них абстрактно-умозрительные пресуппозиции, а не только конкретно-научное содержание. Так происходит, в частности, при изучении наследия классиков русской литературной теории XX в. — теоретиков ОПОЯЗа или Юрия Лотмана. При интерпретации таких классиков их как бы переэквалифицируют, из «ученых» превращают в «философов»; советский идеологический режим, подавлявший развитие оригинальной философской мысли, дает удобный повод объяснять их недоверие к философии «цензурными причинами», предоставляет конъюнктурно-политическое оправдание для их посмертной переэквалификации, хотя на самом деле последняя осуществляется по иным, более универсальным причинам. При отсутствии цензуры Шкловский или Лотман, вероятно, все равно работали бы в рамках литературоведения или позитивно-научной культурологии¹⁵, но их статус классиков побуждает выявлять в их работах «философскую подкладку», выдвигать

¹³ См.: Делёз, Гваттари, 1998 [1991], гл. 1.

¹⁴ В некоторых национальных научных сообществах, в частности в США, где слово «философия» обозначает преимущественно аналитическую философию, такого рода междисциплинарную рефлекссию называют не философией, а «теорией» — термином, изначально отсылавшим к «теории литературы», но ныне получившим абсолютное употребление, без пояснения, теория «чего» (см.: Каллер, 2006: 7–23).

¹⁵ Болсее сложен случай Михаила Бахтина — литературоведа и философа, который в разное время и в разных обстоятельствах неоднозначно формулировал дисциплинарную принадлежность своих трудов, причем эти колебания в самохарактеристике можно объяснять как внешними (цензурно-политическими), так и внутренними (эпистемологическими) причинами.

на первый план не операциональные идеи и методы, а умозрительный *смысл*. Такая интерпретация вопреки сознательным интенциям толкуемого классика может опасно сближаться с извращением самой природы его мысли и дискурса.

Возможен и несколько иной эпистемологический сдвиг, когда ученый-классик в восприятии современников или потомков превращается — вопреки собственному желанию или же в согласии с ним — в мыслителя-мистика, открывающего высшие истины бытия благодаря сочетанию научного знания с внутренним опытом. При таком толковании классики профессиональный авторитет ученого служит оправданием, алиби для недоказуемых иррациональных прозрений; в дискурсе культуры соотношение между этими двумя сторонами его знания является произвольно-знаковым, «мифическим» в смысле Ролана Барта:

«...Совмещая в себе мага и машину, неутомимого исследователя и неудовлетворенного открывателя, Эйнштейн воплощает в своем образе самые противоречивые грезы — в нем мифически примиряются беспредельная власть человека над природой и “роковая” сила сакрального, от которой человек еще не в состоянии избавиться»¹⁶.

У Барта речь идет о великом ученом-естественнике, но не о его собственной мысли, а о том употреблении, которое делается из нее в массовой культуре; впрочем, и сами представители естественных или социальных наук нередко испытывают соблазн выйти за рамки научности и соединить ее с мистической мудростью. В качестве примеров можно назвать палеонтолога Пьера Тейяр де Шардена, этнолога Льва Гумилева или же «экономиста» Жоржа Батая — любопытный случай обратного движения, от собственно философской рефлексии, мистического «внутреннего опыта» и авангардной литературно-политической эссеистики к весьма смелым, но в принципе научно проверяемым гипотезам в конкретно-позитивных исследованиях.

В отличие от естественных и общественных наук, гуманитарная рефлексия постоянно имеет дело с культурной традицией и знает, что на самом деле трансцендентное знание не возникает из запредельной области, а систематически вырабатывается самой этой традицией; в наше время в ней практически не встречается «мистический поворот». Ее статус сближается не столько со статусом религиозной мысли, сколько со статусом *литературы*, которая в XIX в., примерно в одну эпоху с образованием современных гу-

¹⁶ Барт, 1995 [1957]: 136.

манитарных наук, отказалась от прежних представлений о классике и создала ее новую, романтическую модель¹⁷. В рамках этой модели классика остается предметом изучения и даже подражания, но подражания-спора, попыток не просто сравняться с образцом или превзойти его, но создать на его основе принципиально новое произведение, соответствующее новым историческим задачам и несущее новый, по-новому понятый смысл¹⁸. Так и для гуманитарных наук их классика служит не абсолютным образцом, как в старинной словесности, следовавшей риторическим традициям, но и не чисто утилитарным репертуаром знаний, как в новоевропейских науках о природе. Как и все гуманитарное знание, она занимает двойственное, промежуточное место между объяснением и пониманием, и в отношении к ней соседствуют (разумеется, наряду с почтением, составляющим минимальную базовую черту всякой классики вообще) такие взаимодополнительные аспекты, как прагматика и герменевтика, семиотика и семантика, утилитарное применение объективных сведений, сообщаемых классикой, и внимательное, нередко оспаривающее и деконструирующее постижение заключенного в ней смысла.

Литература

Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Пер. с нем. М.: Языки славянской культуры, 2004 [1992].

Барт Р. Мифологии / Пер. с франц. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1995 [1957].

Берелович А. О культе личности и его последствиях // *Новое литературное обозрение*. 2005. № 76. С. 39–44.

Вольтер. Эстетика / Пер. с франц. М.: Искусство, 1974.

Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Пер. с франц. М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998 [1991].

Деррида Ж. О грамματοлогии / Пер. с франц. М.: Ad Marginem, 2000 [1967].

Зенкин С. Н. «Классика» и «современность» // Зенкин С. Н. Французский романтизм и идея культуры. М.: РГГУ, 2002.

¹⁷ См.: Зенкин, 2002.

¹⁸ Ян Ассман в уже упомянутой монографии (Ассман, 2004 [1992]) выделяет такую бесконечную дискуссию между прошлым и настоящим культуры как особый вид культурной памяти — «гиполепис», составивший специфическую черту древнегреческой, а за нею и всей европейской культуры. Впрочем, он имеет в виду главным образом взаимодействие *содержаний*, тогда как современная художественная литература и искусство выработали другую разновидность «гиполеписа», определяемую взаимодействием *форм* творчества: новые формы спорят с классическими, спор идет между целостными системами, которые одни только и могут обладать завершенной формой.

Каллер Дж. Теория литературы: Краткое введение / Пер. с англ. М.: АСТ, Астрель, 2006.

Классик, современный классик, культовый автор, модный писатель....: Материалы круглого стола «Литературный культ как феномен современной культуры. К постановке проблемы» (Москва, ИМЛИ) / Под ред. А. П. Ураковой // *Иностранная литература*. 2007. № 5.

Кун Т. Структура научных революций / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1977 [1970/1962].

Bourdieu P. Les règles de l'art. Paris: Seuil, 1992.

Foucault M. Qu'est-ce qu'un auteur? // Foucault M. Dits et écrits 1954—1988. Paris: Gallimard, 1994. Т. 1. P. 789—820.

Goodman N. Languages of Art. Indianapolis. New York: Bobbs-Merril, 1968.

Kripke S. Naming and Necessity. Cambridge (Mass.): Harvard UP, 1980 [1972].

Zbinden K. Bakhtin Between East And West: Cross-Cultural Transmission. London: Legenda, 2006.

История

Ирина Савельева

КЛАССИКА В ИСТОРИОГРАФИИ: ФОРМЫ ПРИСУТСТВИЯ

Никто не читает Ньютона или Лавуазье; для славы Ньютона или Лавуазье достаточно, что их научные открытия послужили точкою отправления для огромной массы других работ... И публика прекрасно это понимает: никому не пришло бы на ум изучать естественную историю по Бюффону, каковы бы ни были достоинства этого стилиста, но та же публика охотно изучает историю по Огюстену Тьерри, Маколю, Карлейлю и Мишле... хотя очевидно, они не стоят уже на уровне добытых наукой знаний.

*Шарль-Виктор Ланглуа
и Шарль Сеньобос.*

Введение в изучение истории, 1898

...Великие свершения наук о духе практически не устаревают. Современный читатель легко абстрагируется от того обстоятельства, что историк, живший сто лет назад, располагал меньшей суммой знаний и потому в частностях выносил ошибочные суждения. Что же касается целого, то он охотнее читает Дройзена или Моммзена, чем самое свежее изложение тех же фактов, вышедшее из-под пера современного историка.

Ханс-Георг Гадамер. Истина и метод, 1960

В данной статье мы предлагаем модель статуса классики и классиков в исторической науке. Насколько мы можем судить, внимательно изучив литературу, интересующий нас вопрос не занимал ни

историков, ни других ученых, обращавшихся к проблеме классики в социальных науках в целом. Это само по себе странно, поскольку историки в принципе очень внимательны к своему *patrimoine*: существует даже отдельная субдисциплина историография — знание о развитии исторических знаний или история изучения какой-либо проблемы. Историографический обзор по сложившемуся в профессии канону должен быть предпослан любой исторической работе, и от автора требуется показать максимум осведомленности, то есть упомянуть всех, кто до него занимался избранной им темой, да еще и отметить, какие аспекты темы исследовались в разных работах, какие выводы и результаты они содержат. Историк (может быть, в отличие от других гуманитариев) обязан стартовать с той черты, у которой остановились его предшественники.

Тем не менее, несмотря на постоянное внимание к трудам предшественников, у историков сегодня не так легко обнаружить фигуры классиков. Если исходить из тавтологии «классики — это те, кого считают классиками», то классиками для нас, конечно, остаются античные историки. Однако их работы давно перешли в разряд «источников», тем самым по отношению к ним значение понятия «классика» оказывается сугубо *историческим*.

Если же говорить о *социологическом* подходе, то ситуация с историками в явном виде не напоминает ни ту, что сложилась в общественных науках («Классическими являются те более ранние исследования, которым придается привилегированный статус по сравнению с более поздними трудами в той же области» — Джеффри Александер¹), ни ту, что существует в искусстве (создание канона, сохраняющего свою эстетическую ценность). Хотя, имея в виду античные исторические сочинения как род литературы и их риторические качества, можно именно в этом смысле тоже говорить о них как о *классических*.

Как же «выглядит» классика в современной исторической науке?

Очень приблизительный, но впечатляющий ответ на этот вопрос можно получить, посмотрев на Список Гарфилда² (составлен на основе Arts & Humanities Citation Index), который включает 250 представителей гуманитарных наук, на работы которых чаще всего ссылались авторы статей в гуманитарных журналах за 1976—1983 гг. Мы приводим извлеченные из него имена историков (табл. 1), сразу обращая внимание читателя на «узость круга»: если брать только «чистых» историков (всего 9 из 250 гуманитариев!), то

¹ Alexander, 1987: 11—12.

² Garfield, 1986. Анализ первого варианта этого списка с данными за 1978—1979 гг. (опубликован в: Garfield, 1981 [1979]) см. в: Megill, 1987.

Таблица 1

**Историки с наибольшим индексом ссылок
в гуманитарных журналах, 1976—1983 гг.**

«Чистые» историки	А	В	«Условные» историки	А	В	Античные историки	А	В
Ле Руа Ладжори,			Фуко, Мишель	1926	1783	Тацит	55	729
Эммануэль	1929	497	Кун, Томас	1922	1275	Плутарх	46	1558
Томпсон, Эдвард	1924	786	Гомбрих, Эрнст	1909	871	Иосиф Флавий	с37	552
Дюби, Жорж	1919	494	Элиаде, Мирча	1907	1405	Ливий	59 BC	482
Стоун, Лоуренс	1919	743	Йейтс, Фрэнсис	1899	628	Ксенофонт	с430 BC	578
Хобсбоум, Эрик	1917	588	Панофски, Эрвин	1892	1113	Геродот	с484 BC	670
Хофстедтер, Ричард	1916	456	Лавджой, Артур	1873	464			
Арьес, Филипп	1914	457	Хейзинга, Йохан	1872	535			
Хилл, Кристофер	1912	668	Вольтер	1694	689			
Бродель, Фернан	1902	559						

А — дата рождения. В — число статей, содержащих ссылки на работы данного автора.

Источник: *Garfield*, 1986.

даже и круга не образуется — скорее одинокие фигуры, с трудом различимые на групповом «гуманитарном портрете».

К тому же сами историки не очень охотно оперируют термином «классик» в интересующем нас смысле. При огромном числе исследований, посвященных творчеству известных историков, определение «классик» применительно к авторам эпохи современности (модерности), когда, собственно, и сложилась историческая наука, используется достаточно редко. Вклад историков чаще всего определяется словами «великий», «выдающийся», «основоположник». Именно историки, наделенные такими эпитетами, более других привлекают внимание своих собратьев по цеху. Но их крайне редко называют классиками, и по существу они ими не являются. Профессора их почитают и включают в списки рекомендованной студентам литературы, но реально они «не участвуют в дискуссии». Для «практикующего» историка на самом деле важны прежде всего работы, отражающие современное состояние исследований в его области.

Как и в других статьях данного сборника, анализ статуса классики в истории выводит нас на более общие проблемы. Это модели развития науки и структура научного знания, включая различия между естественными, общественными и гуманитарными науками. По существу со времен Вильгельма Дильтея, Генриха Риккерта и Вильгельма Виндельбанда, которые обосновали противопоставление наук *объясняющих* и наук *понимающих*, на территории историков тоже продолжается старая дискуссия о характере наук о человеке (они же — науки о духе, о культуре и т. д.).

В 1967 г. американский специалист по социологии науки Норман Сторер на основе анализа формальных характеристик статей в научных журналах ввел разделение наук на «твердые» и «мягкие», а также использовал понятие «не-наука» (*hard science, soft science, and non-science*)³. (В качестве критериев он использовал два, прямо скажем, одиозных показателя — долю журнальных статей, в которых есть таблицы, и долю статей, в которых в ссылках указывается только инициал первого имени, а не имя полностью.) Спустя несколько лет эта классификация была популяризована Дерекком де Солла Прайсом в получившей широкую известность статье 1970 г.⁴ (к ней мы еще вернемся). Вспомнив в этой связи известную шутку Льва Ландау о делении наук на естественные, неестественные и противоестественные, мы попробуем на примере статуса классики в историографии доказать достаточно провокаци-

³ *Storer*, 1967.

⁴ *Price*, 1970.

онную гипотезу, состоящую из трех тезисов, в которых история последовательно выступает как естественная, неестественная и противоестественная наука.

1. Эмпирическая история больше других социальных наук похожа на естественную науку — во всяком случае, она намного более «точная», чем большинство социальных и гуманитарных дисциплин. Кроме того, историки, как правило, строят свои теоретические объяснения на базе тех новых источников, которые сами же и обрабатывают. Тем самым фактор новизны или, наоборот, устаревания оказывается, возможно, более важным, чем в других науках о человеке.

2. Теоретическая история, как и другие социальные (неестественные) науки, признает классическими работы, предлагающие сильные объяснительные модели, и опирается на них. Но собственно исторических теорий в XX в. произведено было совсем немного, а созданные в XIX в. в основном безнадежно устарели. Проблема в том, чтобы определить, какие работы и по каким основаниям могут претендовать сегодня на статус актуальной классики.

3. Теоретическая история находится в весьма специфических отношениях с другими социальными и гуманитарными науками. Специализируясь на прошлом, историческое знание представляет собой не одну науку, а систему наук, точнее, даже множество систем, каждая из которых соответствует какому-либо типу общества из существовавших в прошлом. Поэтому историки постоянно обращаются к теоретическому аппарату разных социальных дисциплин, что влечет за собой и позитивные, и негативные последствия для развития самой исторической науки и ее классического наследия (противоестественная наука).

Далее мы попытаемся развить и обосновать эти предположения о разных статусах классики в исторической дисциплине (естественной, неестественной и противоестественной), в том числе подвергнув эмпирической проверке как идиографическую, так и теоретическую составляющие.

1. ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИСТОРИЯ КАК ЕСТЕСТВЕННАЯ НАУКА

Очевидно, что общественные и гуманитарные науки, включая историю, представляют собой *качественно* иной тип знания, чем науки о природе. Тем не менее между всеми науками имеется некое родовое сходство, отражающееся в том числе и в некоторых *количественных* показателях, характеризующих процесс развития и формирования научного знания. По ряду таких параметров исто-

рия, как ни странно, оказывается гораздо ближе к естествознанию, чем многие общественные дисциплины, не говоря уже о гуманитарных.

В упомянутой выше статье Дерека де Солла Прайса в качестве критерия для дифференциации наук использовалась доля ссылок на издания последних пяти лет в общем объеме цитирования (он сам назвал этот показатель «индекс Прайса»)⁵. Исходя из наблюдаемых в XX в. средних темпов прироста общего числа научных публикаций (5—10% в год по разным областям) «нормальная» доля ссылок на работы последних пяти лет должна составлять 20—40%. Проведенный Прайсом анализ временной структуры ссылок в 154 журналах по разным дисциплинам показал, что в половине из них «индекс Прайса» укладывается в данный интервал. В то же время примерно в ¼ журналов этот индекс превышает «нормальный» уровень (т. е. составляет более 40%) и еще в ¼ журналов оказывается ниже «нормального» уровня (т. е. составляет менее 20%). В группу с высоким «индексом Прайса» в основном попали периодические издания по естественным наукам и некоторые журналы по социологии и экономике, в группу с низким «индексом Прайса» — в первую очередь гуманитарные журналы.

По мнению Прайса, журналы с высокой долей ссылок на статьи последних пяти лет представляют «твердую науку», где знание быстро прогрессирует и существуют активно продвигающиеся вперед «исследовательские фронты». Журналы с «индексом Прайса» в «нормальном» диапазоне — 20—40% — репрезентируют «мягкую» науку. Наконец, журналы с низким значением этого показателя представляют «ненауку», а точнее — научные направления, в которых мал прирост нового знания. По существу, речь идет, таким образом, о делении научных дисциплин на «передовые», «нормальные» и «отсталые».

Надо сказать, что «индекс Прайса» очень понравился «физикам», которых по-прежнему нервирует то обстоятельство, что существует нечто, именуемое наукой, но совершенно не похожее на «науку» в их понимании. В свою очередь, среди «лириков» эта статья вызвала переполох и спровоцировала обострение неизжитого по сей день «комплекса неполноценности» по отношению к «естественным наукам» (достаточно сказать, что статья Прайса менее чем через год после ее выхода была переведена на русский язык и напечатана, хотя и без таблицы с эмпирическими результатами, в журнале «Вопросы философии»)⁶.

⁵ Ibid.

⁶ Прайс, 1971 [1970].

За этой публикацией последовало множество библиометрических работ с подсчетами доли ссылок на исследования последних лет в социальных и гуманитарных науках, и результаты этих исследований в целом подтвердили наблюдения Прайса. В частности, для исторических журналов показатели временной структуры ссылок (доля ссылок на работы последних пяти или десяти лет) очень сильно варьируются, но в целом оказываются ниже, чем в естественных науках (не уступая в среднем общественным наукам)⁷.

Разница в количественных характеристиках (в частности, временной структуре ссылок в публикациях), конечно, может объясняться качественными различиями между естественными и общественными/гуманитарными науками⁸. Однако, как показали более корректные исследования, в случае с историей такие результаты обусловлены чисто техническими причинами, в частности некомпетентностью многих «библиометриков», имеющих, как правило, естественнонаучное или библиотечарское образование.

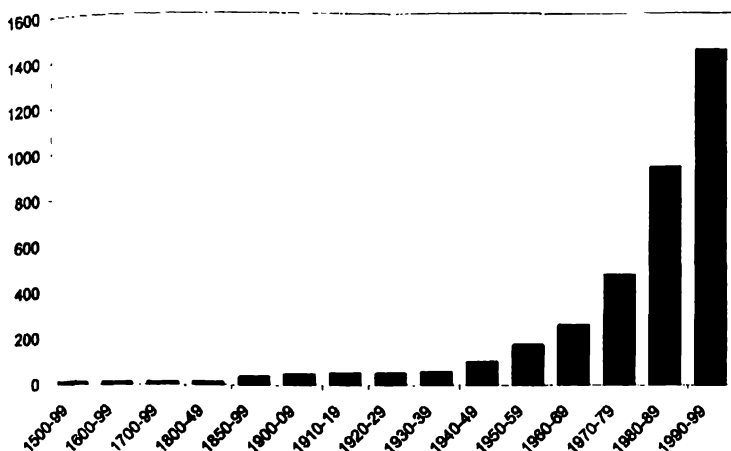
Посмотрим более детально на типичное распределение ссылок по времени в исторических работах, используя результаты, содержащиеся в статье «Библиометрическое исследование истории Испании раннего Нового времени, основанное на анализе библиографий в национальных научных журналах и материалах конференций», в которой проанализирована временная структура ссылок в статьях из 14 журналов и 14 сборников материалов конференций, опубликованных в 2000—2001 гг. (см. рис. 1).

В целом график распределения ссылок по времени публикации похож на аналогичные графики для естественных наук, но его отличает наличие длинного «хвоста» слева (ссылки на давнюю литературу). Таким образом, первое отличие, которое надо объяснить, — использование литературы за очень длительный период времени.

Главный ответ лежит на поверхности. Легко догадаться, что в исторических работах большую долю составляют ссылки на источники. По разным оценкам, доля ссылок на первичные источники в исторических работах в среднем составляет 40—50%, но иногда

⁷ См., например: *Jones et al.*, 1972 (7 журналов, 1968—1969 гг., доля ссылок на работы последних 10 лет = 14—23%); *Fernández-Izquierdo et al.*, 2007 (15 журналов и 14 сборников с материалами конференций, 2000—2001 гг., средняя доля ссылок на работы последних 10 лет = 34%); *Buchanan, Hérubel*, 1994 (1 журнал, 1970—1992 гг., средняя доля ссылок на работы последних 5 лет = 37%); *Lowe*, 2003 (1 журнал, 1950, 1970, 1990, 2002 гг., средняя доля ссылок на работы последних 5 лет = 35%).

⁸ См.: *Hargens*, 2000: 846—847.



Рассчитано по: *Fernández-Izquierdo et al.*, 2007.

Рисунок 1. Распределение ссылок в работах по истории Испании раннего Нового времени, 2000–2001 гг. (по времени публикации упоминаемых работ, среднегодовые показатели по периодам)

достигает даже 65%⁹. При исключении из расчетов первичных источников временная структура ссылок существенно меняется и доля ссылок на работы последних пяти или десяти лет заметно возрастает. О том, что «индекс Прайса» нельзя использовать в тех областях знания, в которых тексты (в том числе печатные публикации) являются источником данных или выступают в качестве объекта анализа, писал сам Прайс: «Следует, однако, помнить, что для целого ряда наук имеются особые причины для ссылки на старую литературу, которая является, собственно, областью их исследований»¹⁰.

Следует учесть еще одно обстоятельство, объясняющее различия во временной структуре ссылок между естественными науками и историей. Большинство исследований по библиометрии естественных наук проводятся на материалах отдельных (прежде всего новых) узких специальностей или исследовательских областей (например, молекулярная биология, физика высоких энергий, биохимия и проч.), в которых вообще нет публикаций более чем

⁹ *Jones et al.*, 1972 (40%); *McCain*, 1987 (46%); *Dalton, Charnigo*, 2004 (53–65%); *Mendez, Chapman*, 2006 (40%); *Fernández-Izquierdo et al.*, 2007 (47%). Сходная ситуация существует и в литературоведении — там тоже примерно 40% ссылок составляют первичные источники (*Budd*, 1986).

¹⁰ *Prais*, 1971 [1970]: 154.

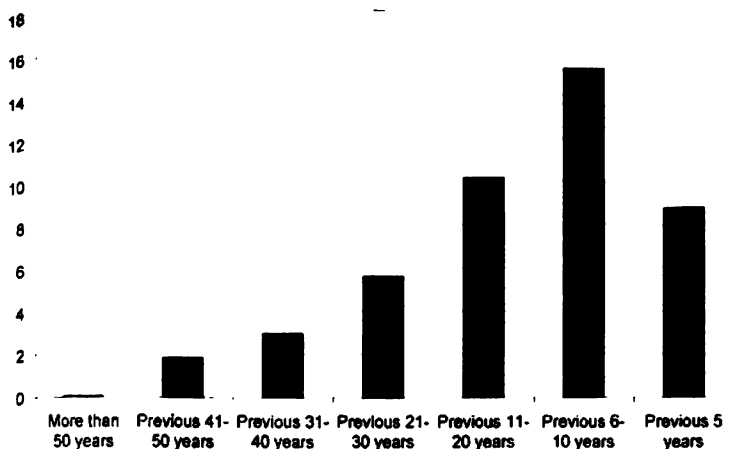
40—50-летней давности. Понятно, что «возраст» исторической науки несопоставим со столь молодыми областями исследований.

Далее мы приводим график с распределением ссылок на вторичную литературу (только монографии) по истории Латинской Америки (рис. 2). Как видим, левый хвост практически ликвидируется, т. е. никакого смещения в прошлое за счет более активного цитирования старых авторов нет. Однако здесь выявляется спад в числе ссылок, приходящихся на работы самых последних лет, т. е. в этом распределении возникает проблема правого «хвоста».

«Недоиспользование» публикаций самых последних лет также объясняется во многих работах, анализирующих информационные структуры естественных и неестественных наук¹¹. Цикл публикаций исторических работ длиннее, чем в естественных науках, т. е. самые новые результаты (работы, формально вышедшие до публикации исследования, но фактически — после его написания) просто не могут быть учтены. Основываясь на углубленных исследованиях типов коммуникации в естествознании и обществоведении, ученые пришли к выводу, что в социальных науках системы информации предполагают большие затраты времени. При этом цикл публикации в социально-гуманитарных научных журналах длиннее не потому, что гуманитарии работают медленнее, а потому, что там длительнее процедура внутреннего рецензирования и в целом на публикацию принятых статей требуется больше времени. Кроме того, в общественных науках гораздо выше доля отклоняемых статей — получив отказ, автор начинает предлагать текст в другие журналы.

Историкам намного сложнее отслеживать новейшую литературу — как было выявлено, социальные и гуманитарные науки по сравнению с естественными менее эффективно распространяют новое знание. Структура журналов по общественным дисциплинам является более дисперсной. Если по многим областям естественно-научного знания существуют предельно специализированные журналы, то в гуманитаристике достаточно велико количество журналов, куда могут предложить свои статьи самые разные специалисты, а узкоспециализированных журналов как раз мало, что обостряет проблему выбора материалов для публикации и, соответственно, затрудняет процесс принятия статей. То есть обществоведы и гуманитарии публикуются в большем количестве журналов и тематически гораздо менее концентрированно. Соответственно, для поиска и освоения новейшего материала нужно проглядывать гораздо больше периодических изданий.

¹¹ Обзор см. в: *Hargens*, 2000: 861.



Рассчитано по: *Mendez, Chapman, 2006*.

Рисунок 2. Распределение ссылок на монографии в журнале «Hispanic American Historical Review», 1985, 1995 и 2005 гг.

(по времени публикации упоминаемых работ, среднегодовые показатели по периодам)

Наконец, существенную долю ссылок в исторических работах (по разным оценкам — 50—70%) составляют индивидуальные и коллективные монографии. Процесс выявления нужных монографий и, конечно же, их чтение намного более трудоемки, чем знакомство с журнальными статьями (особенно учитывая появление различных журнальных баз данных). Поэтому ясно, что монографии самого последнего времени особенно плохо учитываются в исторических работах.

Суммируя, можно сказать, что на самом деле в истории, так же как в естественных науках, основная доля ссылок приходится на относительно недавние работы (правда, с некоторым временным лагом, в силу рассмотренных выше причин). Отсюда можно сделать вывод, что в истории, как и в естествознании, бесспорную важность имеет последовательное накопление научных результатов во времени. Это обусловлено тем, что в исторической науке очень высоки роль и статус эмпирических исследований (это не работа вспомогательного персонала или агентств по сбору и анализу данных, а «нормальная наука»). Масса эмпирических исследований производится ради получения/накопления новых сведений (свидетельств). Самые очевидные случаи: археологические открытия, где каждый новый черепок, не говоря уже о новом поселении, пусть и невели-

кое, но открытие, или бесчисленные источниковедческие штудии, вводящие в оборот новые документы.

Правда, из-за недостатка ресурсов история как кумулятивное знание складывается не путем инкорпорации предшествующего в последующее, а путем наслаивания. Именно поэтому исторические дисциплины (в отличие от экономических, социологических, политологических и др.) вообще не следовало бы осваивать по учебникам, и в западных университетах такой практики в целом нет. К сожалению, в российских университетах даже на исторических факультетах в распоряжении студентов есть учебники по всем базовым и многим специальным курсам, их издание поощряется, и до сих пор к экзаменам большинство наших студентов готовится по учебникам.

Высокий удельный вес ссылок на работы последних лет и обратная зависимость числа ссылок от времени публикации работ часто интерпретируются как свидетельство отсутствия классики в естественных науках. Как было показано выше, временная структура распределения ссылок в исторических работах в целом почти не отличается от естествознания. Отсюда можно сделать вывод, что в истории, как и в естествознании, нет классических работ. Однако в обоих случаях это не так.

В ряде библиометрических исследований было показано, что в естественных науках число ссылок на подавляющее большинство статей, опубликованных в том или ином году, действительно быстро убывает во времени, но на некоторые «классические» работы (в том числе написанные в конце XIX — начале XX в.) в течение многих лет продолжают ссылаться с практически неизменной или очень медленно убывающей частотой¹².

«В 1974 г. в ссылках на литературу более ранних лет, например 1966 г., будет относительно небольшое число статей, “выдержавших проверку временем”, остальные окажутся забытыми. Сегодняшние ссылки на литературу по актуальной теме будут включать работы, “выдержавшие проверку временем”, и новые работы, некоторые из которых в дальнейшем выживут, а другие — “умрут”»¹³.

Переходя к результатам эмпирических исследований в этой области, прежде всего отметим, что любая научная дисциплина не является единым целым, которое можно анализировать как однородный объект. В современных науковедческих исследованиях в

¹² *Burton, Kebler*, 1960; *Пауэс*, 1966 [1965]; *Cawkell*, 1976; *Garfield*, 1976; *Oppenheim, Renn*, 1978.

¹³ *Cawkell*, 1976: 53.

рамках дисциплин (наук) обычно выделяются более узкие «специальности»; кроме того, наряду со специальностями в каждой дисциплине существуют и более мелкие структуры — «исследовательские области»¹⁴. Поиски классики бессмысленно вести на уровне дисциплин в целом, например физики или истории, — в каждом научном направлении внутри этих дисциплин есть свои собственные классические исследования.

Библиометрические результаты показывают, что классические работы, сохраняющие «непреодолимое» значение для современных исследований, можно обнаружить в любой специальности или исследовательской области, хотя доля ссылок на эти работы в общем числе ссылок, конечно, невелика. Более того, как правило, классические работы за редкими исключениями, по показателям числа ссылок на них уступают многим работам последнего времени. Однако «текущие лидеры» — работы с наибольшим числом ссылок — обычно очень быстро уходят в небытие, и на смену им приходят новые, а на классические работы продолжают ссылаться с неизменной частотой.

Иногда в число классических попадают «основополагающие» работы, которые положили начало исследованиям в данной специальности или исследовательской области, но это характерно в первую очередь для общественных наук¹⁵ — в естествознании классическими обычно становятся некоторые последующие исследования¹⁶.

Понятно, что с помощью библиометрического анализа классические работы можно выделить не только в естественных, но и в общественных и гуманитарных науках. Однако нам известно лишь несколько исследований такого рода¹⁷, и только одно из них от-

¹⁴ *Small, Griffith, 1974; Griffith et al., 1974; Whitley, 1974; Gieryn, 1978; Small, Crane, 1979* (сокр. пер.: *Смолл, Крейн, 1981 [1979]*). «Исследовательская область» обычно уже, чем «специальность». Например, социологическая специальность «формальные организации» включает несколько исследовательских областей... В то время как специальности обычно имеют собственные журналы и научные общества, исследовательские области представлены, как правило, менее чем 50 активными участниками, членство их непостоянно, и они редко являются единственной областью интересов даже для своих представителей. Иногда исследовательские области служат точкой пересечения разных специальностей и со временем сами могут превращаться в специальности» (*Hargens, 2000: 848–849, fn. 4*).

¹⁵ *Hargens, 2000: 854.*

¹⁶ См. распределение ссылок по строкам в диаграммах, приведенных в: *Прайс. 1966 [1965]: 357; Hargens, 2000: 853.*

¹⁷ *Downing, Stafford, 1981; Anderson et al., 1989; Durden, Ellis, 1993; Lindholm-Romanschuk, Warner, 1996; Hargens, 2000.*

носится к истории, причем речь идет о такой специфической области, как история техники¹⁸.

История по ряду формальных параметров, характеризующих процесс развития науки и накопления знаний, очень похожа на естественные науки. Как и в естествознании, в исторической науке тоже есть классические работы, в течение долгого времени сохраняющие относительно «непреходящее» значение и продолжающие «участвовать» в современном исследовательском процессе.

2. СВОИ КЛАССИКИ: ИСТОРИЯ КАК «НЕЕСТЕСТВЕННАЯ» НАУКА

Дальнейшее рассуждение концентрируется вокруг двух основных вопросов: какова роль классики в теоретической историографии и каков механизм воздействия работ классиков на современные исторические исследования?

Конечно, история принадлежит гуманитаристике и делит с дисциплинами этого блока многие принципы производства научного знания и формирования его социального запаса. Так же как и в других гуманитарных науках, в истории отсутствуют унифицированные смыслы отдельных понятий, терминов или высказываний. «Сложное переплетение прозрений и догадок, часто разделяемых очень немногими, в лучшем случае формирует образцы смыслов, убедительно систематизированные суждения о данных, которые... хорошо если хотя бы в основных положениях соответствуют друг другу»¹⁹. В естественных науках достаточно опознать то или иное понятие, суждение или заключение (первая теорема Коши), а в «неестественных» — нужно знать, о каком смысле идет речь («долгое Средневековье» по Ле Гоффу, «человек играющий» по Хёйзинге, «места памяти» по Нора)²⁰.

Кроме того, многие признанные классическими теоретические работы (Алексиса де Токвиля, Йохана Хёйзинги, Фернана Броделя, Яна Ассмана) представляют собой неопределенные туманные теории (*vague theories*), пригодные в силу этого недостатка (или достоинства) к неограниченному употреблению. Сказанное, конечно, в полной мере относится не только к историкам, но и к широчайшему кругу социальных и гуманитарных классиков из сопредельных областей (понятно, например, каков диапазон исполь-

¹⁸ MacCain, 1987.

¹⁹ Weintraub, 1980: 30—31; цит. по: Thompson J., 2002: 126.

²⁰ Ле Гофф, 2001 [1983]; Хёйзинга, 1992 [1938]; *Les lieux de mémoire*, 1984—1987.

зования идей и прозрений 250 «классиков» из упомянутого нами Списка Гарфилда, среди которых: Макс Вебер, Клод Леви-Строс, Клиффорд Гирц, Юрген Хабермас, Вальтер Беньямин, Михаил Бахтин и др., не говоря уже об античных авторах).

Напомним и то, что уже отмечалось в предшествующих статьях: гуманитарные компендиумы знания редко — в отличие от естественнонаучных — упорядочены согласно временной последовательности. В естественнонаучных дисциплинах даже незначительные новые результаты предполагают более полное познание объекта изучения и в этом смысле превосходят предшествующее знание об объекте. В гуманитарных науках новейшие исследования ни в коем случае автоматически не превосходят предыдущие²¹, хотя любая научная работа может определять задачи и перспективу для последующих исследований.

а) Научные направления

Разговор о статусе классики в истории мы считаем правильным начать с проблемы дисциплинарной специализации. Применительно к современной исторической науке бессмысленно говорить о роли классики в целом, точно так же, как непродуктивно рассуждать в таком ключе о физике, биологии, психологии или языкознании. Современное научное знание высокодиверсифицировано: у специалиста по молекулярной биологии — одни классические работы, у генетика — другие. Естественно предположить, что и у историков, специализирующихся в разных субдисциплинах, будут *разные* классические исследования, созданные основоположниками различных направлений или наиболее яркими их представителями.

Важность этого момента очевидна для историка, но не всегда — для неспециалиста, который по-прежнему мыслит историю как единую науку. Между тем в последние десятилетия прошлого века на наших глазах произошла лавинообразная фрагментация историографии. Появились десятки субдисциплинарных направлений, основанных на предметном принципе. Если когда-то Люсьен Февр сетовал: «Подумать только — у нас нет истории Любви! Нет истории Смерти. Нет ни истории Жалости, ни истории Жестокости. Нет истории Радости»²², то по прошествии чуть более 50 лет наряду с привычными всеобщей, страновой, экономической, социальной, политической, культурной, военной, аграрной историей и историей международных отношений мы имеем историю повседневности, включая историю еды и историю запахов, рабочую ис-

²¹ Weintraub, 1980: 27; цит. по: Thompson J., 2002: 125.

²² Февр, 1991 [1941]: 123.

торию, историю города, демографическую историю и отдельно историю детства и историю старости, историю женщин и гендерную историю, экои историю, психоисторию, историю ментальности и многое другое.

Впрочем, разнообразием предметных интересов история вряд ли выделяется в ряду других социальных наук. Однако в отличие от них история к тому же специализируется по периодам, и для специалистов по новейшей истории классическими являются одни работы, а для медиевистов — другие. Наконец, историки часто очень тесно привязаны к страновой традиции (причем это относится и к стране изучения, и к стране проживания). Национальные историографические границы, конечно, условны и прозрачны, тем не менее они существуют и довольно прочно инкорпорированы в систему исторического образования и институциональные структуры. Хотя основателями социальной истории по праву считаются Марк Блок и Люсьен Февр, для английских историков большим классиком в этой области, возможно, будет Джордж Маколей Тревелльян. Мы с еще большими основаниями можем говорить о классических работах по национальным (страновым, государственным) историям. «Государственная» концепция Карамзина — классическая только для тех, кто писал историю России, а концепция социальной истории Германии, представленная работами Ханса-Ульриха Велера или Юргена Кокки, вряд ли инспирировала аналогичные исторические штудии по другим странам. (При этом «хорошо информированный историк» знает всех перечисленных авторов.)

Осмысленно даже говорить о классических работах применительно к конкретным предметным областям в страновом ракурсе: экои история средневековой Франции, история промышленной революции в Англии, аграрная история России и т. д.

Последний аспект, о котором необходимо упомянуть в связи с проблемой дифференциации классики внутри исторической дисциплины, — это деление на идейно-политические направления. Набор наименований для обозначения (самоназвания) историографии по политическому критерию почти дословно отражает спектр политических течений и партий: либеральная (республиканская, демократическая) со всеми градациями (умеренно-либеральная, леволиберальная, праволиберальная, неолиберальная и т. д.). Те же нехитрые приемы словообразования используются применительно к консервативным и социалистическим направлениям. С середины XIX в. и вплоть до 1970-х годов идеологическая ориентация историков очень часто определяла выбор классических работ. У либералов были свои классики, у консерваторов — свои, у марксистов — свои (в частности, Карл Маркс практически игнорировал самую передовую для его времени немецкую историческую

школу, возглавляемую Леопольдом фон Ранке, и предпочитал опираться на труды французских историков — создателей теории классовой борьбы).

В качестве известного примера можно привести противостояние исторических школ (консервативной, республиканской и социалистической) в изучении Французской революции, которое началось в 1820-е годы и продолжалось по меньшей мере до конца XX в. Кто станет отрицать, что Алексис де Токвиль, Ипполит Тэн, Франсуа Минье, Луи-Адольф Тьер, Альфонс Олар, Альбер Матьез, Жорж Лефевр создали классические труды по истории Французской революции? Но эти труды заложили и развивали разные и непримиримые историографические традиции, в русле которых работали их последователи.

Противоречивость трактовок важнейших исторических событий и процессов привела к тому, что для «объективной» оценки прошлого историки уже в XIX в. стали практиковать стереоскопический подход к историческим сочинениям, представлявшим разные идейно-политические направления. (Подобно тому как для оценки политической конъюнктуры мы используем данные, почерпнутые из средств информации разной политической ориентации.) Еще лорд Актон замечательно сказал, что никто не осознает до конца величия революции, не прочитав Мишле, или ее ужаса, не прочитав Тэна²³ (два несомненных классика, о которых у нас еще будет повод поговорить).

Конечно, в последние десятилетия принадлежность к той или иной идейной платформе уже не играет столь заметной роли в выборе научных кумиров. И все-таки историческое знание в странах, занимавших на протяжении последних двух веков лидирующие позиции в историографии, сложно репрезентировать, игнорируя идейно-политические границы.

Обозначив столько водоразделов внутри исторического знания, влияющих на отбор ключевых сочинений и авторов, мы выборочно приведем лишь несколько примеров работ, ставших основополагающими в современных субдисциплинарных направлениях.

В современной макросоциальной истории, конструирующей прошлое громадных пространств, или массовых социальных движений и насилия в истории, или социальных процессов исторической трансформации и кризисов, к классическому блоку с полным правом можно отнести исследования Фернана Броделя, Питера Стирнза, Чарльза Тилли, Эрика Хобсбаума²⁴. Эти работы до

²³ Цит. по: *Goach*, 1928 [1913]: 238.

²⁴ См.: *Stearns*, 1967; *Tilly*, 1984; *Tilly et al.*, 1975; *Хобсбаум*, 1999 [1972. 1975. 1987]; *Hobsbawm*, 1994; *Бродель*, 1986—1992 [1979].

сих пор на слуху (на виду), и без их упоминания исследование аналогичных сюжетов будет выглядеть некорректно.

Точно так же обращение к микроанализу в социальной истории, связанное с возникшими в 1970-е годы сомнениями по поводу известных макроисторических моделей, тоже четко маркировано работами основоположников: Джованни Леви, Карло Гинзбурга, Ханса Медика²⁵.

Появление культурологической интерпретации повседневного поведения в 1970—1980-е годы было отмечено поистине культовыми историческими книгами — «Монтайю, окситанская деревня (1294—1324)» Эммануэля Ле Руа Ладюри, «Сыр и черви. Картина жизни одного мельника, жившего в XVI в.» Карло Гинзбурга и «Возвращение Мартена Герра» Натали Зсмон Дэвис²⁶, — которые стали эталоном исследования повседневной жизни в контексте культуры прошлого. Вслед за ними многочисленные адепты этого направления пытаются «прочитать» (и, соответственно, рассказать) историю карнавалов и праздников, торжественных церемоний и посиделок с той же продуктивностью, что и дневник, политический трактат, проповедь или свод законов.

Начало исследованиям плебейской культуры, создаваемой и распространяющейся в народе, положили работы Питера Бёрка о народной культуре Европы начала Нового времени и Эдварда Томпсона о формировании рабочей культуры в Англии²⁷. До появления этих работ такие исследования велись преимущественно в рамках фольклористики и тесно увязывались с формированием национального сознания (и там были свои классики еще из XIX в.). Бёрк и Томпсон показали, как можно представить эту проблему в ракурсе новой социальной истории и исторической антропологии. Множество последующих исследований по народной культуре отсылают читателя к этим работам.

В этом же ряду классических работ мы поместили бы известную книгу французского историка Филиппа Арьеса «Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке»²⁸, в которой впервые в полемической форме поставлен вопрос об историчности детства. Согласно Арьесу, средневековое общество не признавало детство как особую стадию человеческого развития, наделенную собственными характеристиками и потребностями, и фактически лишало

²⁵ *Levi*, 1985; *Гинзбург*, 2000 [1976]; *Medick*, 1996.

²⁶ *Ле Руа Ладюри*, 2001 [1975]; *Гинзбург*, 2000 [1976]; *Дэвис*, 1990 [1983]. Все эти книги неоднократно переиздавались, переводились на разные языки и достигали немислимых для научных изданий тиражей.

²⁷ *Burke*, 1978; *Thompson E.*, 1980.

²⁸ *Арьес*, 1999 [1960].

детей социального статуса. Дети участвовали в той же самой работе, что и взрослые, носили одежду тех же фасонов и довольствовались теми же развлечениями. Только в XVII в., по его мнению, появляется концепция детей как существ не просто меньших, чем взрослые, но и существенно отличных от них. Надо заметить, что тезис, выдвинутый Арьесом, впоследствии неоднократно оспаривался. Но независимо от доказательной силы он оказался плодотворным в том смысле, что спровоцировал целую волну исследований по истории детства, и, на каких бы позициях ни стояли представители этого направления, они начинают «от Арьеса».

У истоков психоистории стоит книга американского психоаналитика Эрика Эриксона «Молодой Лютер: психоаналитическое историческое исследование»²⁹. Бесспорно выдающийся талант автора обеспечил его опыту успех — реакция на книгу была столь бурной, что даже тогдашний президент Ассоциации американских историков, вполне «традиционный» ученый Уильям Лангер, удивил своих коллег, определив первоочередную задачу историков как более внимательное отношение к возможностям психологии³⁰. И хотя направление не оправдало столь больших надежд, психоисторики связывают рождение своего направления с книгой Эриксона.

Одна из последних инициаций в классики произошла совсем недавно в области «исторической памяти». Мы имеем в виду известные исследования Пьера Нора (вышедшее под его редакцией многотомное издание «Места памяти») и книгу Яна Ассмана «Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности»³¹. Вся современная «индустрия производства исторической памяти» перерабатывает в меру сил и потребностей эти фундаментальные работы.

Эти примеры ни в коей мере не исчерпывают данной темы. Исследования, которые, собственно, «создают» направление, определяя предметные и временные рамки, круг источников и способы их обработки, методологический инструментарий, есть не только в выбранных нами, но и во многих других новых направлениях историографии.

Так сложилось, что историки, ставшие основоположниками разных исторических субдисциплин, воспринимали себя и в качестве «хранителей» основ исторической науки. Питер Бёрк, Поль Вейн, Карло Гинзбург, Роберт Дарнтон, Натали Земон Дэвис, Жак Ле Гофф, Юрген Кокка, Жак Ревель, Лоуренс Стоун, Чарльз Тил-

²⁹ Эриксон, 1995 [1958].

³⁰ Langer, 1958.

³¹ *Les lieux de mémoire*, 1984—1987; Ассман, 2004 [1992].

ли, Роберт Фогель, Франсуа Фюре, Эрик Хобсбоум и др. в годы, когда историография оказалась перед лицом «постмодернистской угрозы», выступили с работами, в которых вновь пытались объяснить специфику предмета исторической науки, особенности исторического сознания и познания, а также четче обозначить нормы и конвенции, которыми руководствуются профессиональные историки. Эти сочинения, продиктованные во многом пониманием профессионального долга, немало способствовали развитию рефлексий по поводу исторического знания и, безусловно, укрепили авторитет и влияние историков-теоретиков в нашей науке.

б) Научные школы

Проблему историографической классики плодотворно также рассматривать в контексте научных школ. Сотни историков-эмпириков могут вести исследования в духе той или иной школы, не ссылаясь на работы ее основателей, но они знают, к какой школе принадлежат.

Научная школа, как и специализированное направление, может задавать тематику исследований, правда, обычно намного более широкую. Главная же ее характеристика — манифестация исследовательского подхода и задание модуса исследования. Можно говорить о «духе школы» примерно в том же смысле, в каком мы говорим о «духе времени».

Научные школы в историографии возникают в период формирования исторической науки и по сей день определяют институциональное лицо дисциплины. Надо сказать, что общепризнанных среди них было немного. Для XIX в. это гейдельбергская школа Фридриха Шлоссера и историческая (берлинская) школа Леопольда фон Ранке со множеством его учеников (самые известные из них — Георг Вайц, Вильгельм Гизебрехт, Генрих фон Зибель). Школа Ранке возникла в Германии в 1830—1840-е годы и впоследствии заняла ведущее положение в европейской историографии, надолго став эталоном культуры исторического исследования (свидетельство, между прочим, того, что историческая наука возникала именно в Германии, что неудивительно, так как немецкие историки XIX в. уже работали в университетах). Как удачно суммировал английский историк Джордж Гуч, заслуги Ранке состояли в том, что он отделил изучение прошлого от страстей настоящего; был не первым, кто использовал архивы, но первым, кто использовал их хорошо; развил критический метод применительно к анализу государственных источников. «И все это сделало немецкую историческую школу лучшей в Европе»³².

³² Gooch, 1928 [1913]: 102.

В XX в. происходит смена лидера, и в историографии доминирует французская школа «Анналов», которая сформировалась в конце 1920-х годов. Создание новой школы было вполне сознательной попыткой группы французских историков занять господствующие позиции в европейской историографии в связи с ослаблением немецкой исторической школы после Первой мировой войны³³. Попытка эта оказалась, безусловно, успешной. Основатели школы «Анналов» Марк Блок и Люсьен Февр работали в Страсбургском университете, где одновременно с ними преподавали ведущие ученые того времени: знаток Древнего Рима Андре Пиганьоль, медиевист Шарль-Эдмон Перрен, виднейший представитель социалистической историографии Жорж Лефевр, основоположник французской истории религии Габриэль Ле Бра, географ Анри Болиг, филолог Эрнест Хепфнер, врач и психолог Шарль Блондель, социолог и социальный психолог Морис Хальбвакс. Такая концентрация интеллекта вкупе с лидерскими качествами французских историков способствовала созданию уникального междисциплинарного сообщества и радикальному обновлению исторической науки. Программу этой школы предельно кратко можно определить двумя понятиями — «синтез» и «макро»; ее теоретические конструкции — феодальное общество, большая длительность, исторические пространства, кризисы, структуры и конъюнктуры, ментальность. Отличительной чертой школы «Анналов» на всех этапах её существования была ориентация на теоретические достижения социальных наук, а также внедрение в историографию методов, очень далеких от традиционной критики источников, а одно время — максимально приближенных к методам точных наук (квантитативные техники и серийный метод, методы дендрохронологии и иконографический анализ, аэрофотосъемка и анализ пыльцы, климатологические процедуры).

Конечно, в историческом сообществе были и есть школы меньшего масштаба, представляющие национальные историографии. Такова, например, американская школа «новой истории», включающая виднейших американских историков начала XX в. (Чарльза Бирда, Вернона Паррингтона и Карла Беккера). К этому же разряду относятся школы, появившиеся в Германии во второй половине прошлого века: очередная гейдельбергская (на этот раз она называлась «гейдельбергская школа Вернера Конце») и социально-

³³ Известный журнал «Анналы экономической и социальной истории», созданный в 1929 г., задумывался Марком Блоком еще в начале 1920-х годов как издание, которое заменит пустоту, возникшую в связи с приостановкой немецкого журнала «*Vierteljahrschrift für Sozial und Wirtschaftsgeschichte*», игравшего ведущую роль в исторической науке с момента его учреждения в 1904 г.

критическая школа Билефельдского университета (Юрген Кокка, Вольфганг Моммзен, Ханс-Ульрих Велер), восстановившая престиж немецкой историографии, потерявшей лидирующие позиции в период фашизма. Можно назвать и британскую школу новой локальной истории, представители которой (Уильям Хоскинс, Герберт Финберг), отвергнув традиционный принцип предзаданной локализации объекта в историческом пространстве, сделали задачей исследования определение территориальных границ того или иного социального явления. По существу они предложили метод создания тотальной истории, прямо противоположный тому, что инициировал классик школы «Анналов» Фернан Бродель в книге «Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II» (*histoire totale* в варианте Броделя).

Существуют и неявные национальные школы без манифестов, деклараций, сообществ и журналов — например, национальная школа политической истории России, все проблемное поле которой со времен Николая Михайловича Карамзина формировалось вокруг особой роли русского государства и идеи государственности.

С национального можно спуститься на уровень локальных школ, связанных с работой тех или иных университетских кафедр или исторических обществ (например, в России — историко-экономическая школа Ивана Дмитриевича Ковальченко, томская школа, основанная Александром Ивановичем Даниловым и продолженная Борисом Георгиевичем Могильницким). Однако в силу локального влияния нет смысла рассматривать их в исследовании по классике (хотя для представителей этих школ основатели являются классиками, что хорошо прослеживается не только на содержательном уровне, но и по обзорам и ссылкам).

Школы в исторической науке, по крайней мере до сих пор, предполагали единство места (возможно, развитие коммуникационных и информационных средств что-то изменит в механизме формирования научных школ). В определенном смысле для школ характерно и единство времени — они недолговечны. Обычно научные школы формируются вокруг одной-двух личностей, дело которых продолжают непосредственные ученики. Если даже название сохраняется дольше, то это вовсе не означает сохранения духа и буквы. Одна из самых долголетних школ — «Анналы», как показано в ряде исследований (одно из последних удачных — работа Карлоса Агирре Рохаса), за годы, прошедшие со времени возникновения, на самом деле четырежды радикально меняла тематику, подходы, и на базе одноименного журнала не только последовательно, но и одновременно объединялись самые разные интеллектуальные проекты¹⁴.

¹⁴ Агирре Рохас, 2006: 6–7.

Тем не менее идентификация с той или иной влиятельной школой может быть очень устойчивой и выходить за реальные временные границы её существования. Так школа Ранке, давно перестав быть школой в собственном смысле слова, до сих пор маркирует стиль исторического исследования. Установленные немцами критерии научности, связанные с отношением к источнику, требованиями к научному аппарату исследования, стали признаком профессиональной культуры любого ученого-историка.

Точно так же благодаря долголетию созданного Блоком и Февром журнала³⁵ это название закрепилось за новаторским, поисковым направлением французской исторической науки. «Звучит удобно, а потому продолжает существовать», несмотря на то что, начиная с Люсьена Февра (дискуссия с Марком Блоком, начатая в 1941 г.) и кончая Бернаром Лепти, те, кого относили к этой школе (в том числе Фернан Бродель, Марк Ферро, Жак Ле Гофф), множество раз говорили о своем неприятии термина «школа», который предполагает внутреннее единство учения.

3. «ЧУЖИЕ» КЛАССИКИ: ИСТОРИЯ КАК «ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННАЯ» НАУКА

В социальных науках классика часто представляет собой «все-народное достояние», она принадлежит всем, кто работает в области социальной мысли, хотя прежде всего — своей дисциплине. В общественном сознании сложилась даже практика своеобразной моды на теории и имена, которая тоже нередко ведет к классикализации того или иного автора. Существует междисциплинарное сообщество *cognoscenti*, которые в каждый период разделяют приверженность общему набору властителей «научных дум».

Как справедливо отметил Питер Бёрк,

«мы живем в век расплывчатых линий и открытых интеллектуальных границ, век одновременно волнующий и приводящий в замешательство. Ссылки на Михаила Бахтина, Пьера Бурдьё, Ферна-

³⁵ С 1929 по 1941 г. журнал выходил в Страсбурге под названием «Анналы экономической и социальной истории» («Annales d'histoire économique et sociale»). В годы фашистской оккупации регулярное издание журнала было прервано. С 1944 г. он стал выходить в Париже под названием «Анналы социальной истории» («Annales d'histoire sociale»), с 1946 г. — «Анналы: Экономика. Общество. Цивилизация» (Annales: Économies. Sociétés. Civilisations), с 1989 г. — «Анналы: история, социальные науки» («Annales: histoire, sciences sociales»).

на Броделя, Норберта Элиаса, Мишеля Фуко, Клиффорда Гирша можно найти в работах археологов, географов и литературных критиков, так же как и в работах социологов и историков»³⁶.

Вряд ли можно оспорить, что перечисленные Бёрком ученые сегодня могут числиться по разряду классиков. Показательно, что историк Бёрк назвал только одного коллегу по цеху — историка Броделя. Как мы уже упомянули, ссылаясь на Список Гарфилда³⁷, среди чаще всего цитируемых (в том числе и самими историками) гуманитариев историки составляют малую толику, большинство же — исследователи, представляющие другие социальные и гуманитарные науки.

Для каждого периода развития социально-гуманитарного знания существует некий набор авторов, из работ которых ученые-гуманитарии черпают идеи, методы, цитаты, в крайнем случае — просто ссылаются на имена. Это свидетельство и проявление междисциплинарного характера современных наук о человеке. Однако в историографии к концу прошлого века сложилась ситуация доминирования, условно говоря, «чужих» классиков, что и позволяет определить историю в этом смысле как науку «противоестественную». Если роль больших философских теорий (жизненных циклов, прогресса, регресса, Эроса и Танатоса) в исторических построениях, к счастью, явно уменьшилась, то значение концепций и моделей из практически всех социальных и гуманитарных наук в небывалой степени возросло, сведя почти на нет роль собственно исторических теорий.

В последние десятилетия междисциплинарное взаимодействие в теоретических сочинениях по истории почти всегда происходит в форме соединения теории из неисторической дисциплины и исторических методов исследования. Историки практически не производят «исторических» теорий. Примеры важных исключений, появившихся, впрочем, уже довольно давно: «Два тела короля» Эрнста Канторовича (1957), положившая начало «церемониалистскому» направлению в историографии; теория трех уровней социального времени и социальных изменений Фернана Броделя (1958); упомянутая теория отсутствующего детства Филиппа Арьеса (1960); из относительно недавних — «долгое Средневековье» Жака Ле Гоффа (1983). В основном же историки, создавая концептуальные работы, решали проблему методологического обновления, обращаясь к теориям разных социальных и гуманитарных наук и, соответственно, к «чужим» классикам и классическим трудам.

³⁶ *Burke*, 1993: 21.

³⁷ *Garfield*, 1986.

Эта практика получила название «стратегии присвоения», и в основе её имплицитно заложена идея, что история, которую можно рассматривать как социальную науку, анализирующую прошлые, уже несуществующие общества, естественным образом должна опираться на теоретический аппарат социальных наук, занимающихся современностью. Начиная с 1960-х годов обновление историографии происходит в высоком темпе и повсеместно в ней складывается следующая модель взаимодействия: социальная дисциплина — соответствующая историческая субдисциплина — выбор макро- (позднее и микро-) теории — ее применение к историческому материалу.

Эта модель перевернула те отношения истории с социальными науками, которые существовали в позитивистской парадигме. В исходной схеме, предложенной основоположником позитивизма Огюстом Контom в работе «Курс позитивной философии» (1830), к общественным наукам относились две обобщенные дисциплины: объясняющая («теоретическая») наука об обществе — социология — и описательная («фактографическая») наука об обществе — история. При этом Конт обозначал социологию как «историю, в которой нет имен индивидов и даже имен народов», считая, что эта новая наука должна начинаться с открытия фактов о жизни человека (решение этой задачи он отводил историкам), а затем переходить к поиску причинных связей между этими фактами. Социолог тем самым как бы поднимал историю до ранга науки, осмысливая научно те факты, о которых историк мыслит только эмпирически.

У Блока и Февра в середине прошлого века идея междисциплинарного синтеза, напротив, предполагала создание «империалистической истории», которая захватит (или охватит) все другие дисциплины. Этот замысел, однако, не реализовался, социальные науки стали развиваться и формализоваться намного быстрее, чем история. В результате во второй половине прошлого века социальные науки превращаются в «поставщиков» теоретических концепций для истории. В 1974 г. Эммануэль Ле Руа Ладюри писал:

«Представителей более сложных дисциплин мы пропускаем вперед, в разведку, часто с угрозой для жизни, через минные поля, лежащие на общем пути. Что же касается нас, историков, то мы широко пользуемся богатствами, накопленными отраслями знания, обладающими количественными характеристиками, а именно: демографией, экономикой, даже эконометрикой. Мы без стыда заимствуем — хотя и возвращаем сторицей... из кладовой этнологии»³⁸.

³⁸ Ле Руа Ладюри, 1993 [1974]: 157—158.

Надо сказать, что «стратегия присвоения» обнаружила совершенно иные возможности для анализа исторического материала и оказалась чрезвычайно плодотворной для развития исторического знания. В итоге достаточно тесного союза истории с социальными дисциплинами, который реализовали ведущие западные историки, в 1960-е годы экономическая и социальная истории завоевывали передовые позиции в историографии, опираясь на экономические и социологические макротории (экономических циклов, экономического роста, социальной стратификации, модернизации, мир-системный анализ, теории символической власти, конфликта) и структурный анализ. В исторической науке появляются такие классики, как экономисты Йозеф Шумпетер, Саймон Кузнец, Уолт Ростоу; социологи Макс Вебер, Толкотт Парсонс, Шмуэль Айзенштадт, Иммануэль Уоллерстайн, да и по-новому прочитанный Карл Маркс.

Вслед за становлением экономической, социальной и демографической историй, ориентированных в то время на возможности применения математических и статистических методов, начинается использование историками достижений других социальных и гуманитарных наук. Одной из самых востребованных историками областей знания становится культурная антропология, на ее теориях и во многом методах строятся историческая антропология, история ментальности, история повседневности и даже «новая» политическая история. Ведущие антропологи (Марсель Мосс, Клиффорд Гирц, Клод Леви-Строс, Арнольд ван Геннеп, Эдмунд Лич, Маршал Салинз и др.) выполняют функции классиков в исторических исследованиях. В немалой степени популярность антропологов среди историков можно объяснить тем, что антропологи, как и историки, повествуют о Других. К тому же ведущие современные антропологи, говоря словами Лоуренса Стоуна, «писали и пишут словно ангелы»³⁹, то есть их труды служат образцом научного исследования. (Известен и противоположный пример: антрополог Леви-Строс, перед тем как начать писать очередную работу, перечитывал блестящую социологическую статью Карла Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта».)

Осмысливая использование историками концепций других наук о человеке и обществе, Андре Бюргьер привел несколько характерных вариантов обращения к классикам, реализованных в известных работах по исторической антропологии (см. *Вставку 1*). Бюргьер обращается к новаторским работам известных историков, работающих в области исторической антропологии, и буквально в трех абзацах, выделяя типы «междисциплинарных обра-

³⁹ Stone, 1987: 9.

Вставка 1. Варианты «стратегии присвоения»

«В зависимости от темперамента историка можно выделить несколько стилей заимствования, несколько типов междисциплинарных обращений к этнологии, например модель Дюби, который стремится акклиматизировать экзотический концепт, заимствованный у этнологии, что придает историческому анализу необычный колорит. Само заимствование необходимо при этом лишь для решения одной проблемы или создания одной книги... В «Обществе Макконэ в XI—XII вв.» используются структуры родства Леви-Строса, согласно которым появление родовых связей и родового сознания можно считать основой складывающейся системы господства. В исследовании «Воины и крестьяне» Дюби заимствует у Мосса понятие дара и показной щедрости. В книге «Тройственное устройство общества, или Мир воображаемого в эпоху феодализма» он, как об этом говорит уже заголовок, применил к своему историческому материалу сетку анализа трехчастного деления Дюмезиля.

Модель Ле Руа Ладюри, в том виде, в каком она представлена в «Монтайю», книге-эмблеме, покоровившей широкую публику, наоборот, носит эклектический и энциклопедический характер. Книга не только предлагает перечень тем, которые будет включать в себя историческая антропология, но и без всякого предубеждения черпает необходимый материал из классической и новейшей литературы по этнологии. Документальный материал монографии — исторический, тема уже менее исторична (анализ проводится не на региональном уровне, а на материале жизни деревни). Сетка анализа — полностью этнологическая: Рэдклифф-Браун, а также Ван Геннеп, Лич, Эванс-Притчард. Для интерпретации привлекаются такие авторитеты, как Мосс, Поланьи, Чаянов, Бурдьё, Леви-Строс.

Недавно в результате развития микроистории появилась третья модель заимствований, которую я назвал бы имитационной, поскольку она заимствует у этнологии как концепты, так и способ изложения. Ограничимся лишь одним наиболее удачным примером модели третьего типа взаимоотношений между историей и этнологией — оригинальным экзотичным описанием одного происшествия в Париже XVIII в. в работе «Великая кошачья резня» Роберта Дарнтонa, где до полного подражания имитируется техника анализа Клиффорда Гирца в его «Петушином бою в Байи»⁴⁰.

щений к этнологии», перечисляет 12 ученых (мы выделили их имена), в основном антропологов, но не только, чьи теории легли в основание знаменитых ныне исторических исследований:

⁴⁰ Бюргер, 2000: 8—9.

«Общество Макконэ в XI—XII вв.», «Воины и крестьяне» и «Тройственное устройство общества, или Мир воображаемого в эпоху феодализма» Жоржа Дюби; «Монтаю: окситанская деревня (1294—1324)» Эммануэля Ле Руа Ладюри и «Великая кошачья резня» Роберта Дарнтон.

В последние десятилетия в историографии резко усилилась функция классики, которую Артур Стинчкомб именует «разменной монетой», — когда интеллектуальные опознавательные знаки присутствуют в виде сносок на первых страницах. Возрос престиж исторических работ, апеллирующих к той или иной социальной теории. Если до второй половины XX в. историки четко делились на теоретизирующее меньшинство и эмпирическое большинство (и принадлежать к большинству вовсе не было зазорным), то сейчас чуть ли не каждый автор исторической работы навешивает для начала какую-нибудь теорию, маркированную именем классика (или даже просто задает список имен), а уже затем описывает что-нибудь вроде истории гимнастики.

«Лексика исторических исследований кишит знаками показного коленопреклонения перед загадочными письменами полубогов. Ныне эти ученые цитируются в предисловиях ко многим книгам или статьям, как будто само упоминание их священных имен придаст ореол и смысл тому, что авторы подобных работ довольно помпезно предпочитают сейчас называть своим «дискурсом». Среди западных историков ссылки на авторитеты сегодня почти в такой же моде, как в свое время в России при Сталине. Например, автор статьи, опубликованной недавно в одном из британских исторических журналов, умудрился враз упомянуть следующие имена: Соссюр, Барт, Лиотар, Деррида, Альтюссер и Лакан из Франции; Ницше и Хайдеггер из Германии; Стэнли Фиш, Хейден Уайт и ЛаКапра из Америки»⁴¹.

Подобной «легкости мыслей» способствует институциональный механизм «стратегии присвоения» в историографии, который чаще всего выглядит следующим образом: один-два историка действительно осваивают какую-то теорию и начинают использовать ее в своих работах, а все остальные отталкиваются уже от этого вторичного изложения. Поэтому формально множество авторов исторических трудов в наши дни отсылаются к тем или иным неисторическим исследованиям, что и ведет к их классикализации, однако далеко не все историки используют «чужие» теории по существу, не говоря уже об их творческом развитии.

⁴¹ Стоун, 1994: 168.

Повышение популярности теоретического знания и степени знакомства историков с современными социальными концепциями (сколь бы поверхностным иногда оно ни было) объясняется целым комплексом очевидных предпосылок. Сами социальные и гуманитарные науки должны были не только установиться, но и достаточно развиться, чтобы из них можно было с большей страстью и разбором выбирать теории, обещающие новые перспективы в изучении прошлого. Кроме того, разработанные в обществоведении теории и их авторы должны были стать хорошо известными.

Процесс обращения историков к признанным социальным теориям не всегда легко объяснить, если обращать внимание только на познавательные задачи, отрефлексированные научным сообществом. Здесь действует и такой фактор, как научная мода, в данном случае — мода на ту или иную школу, концепцию, автора. На волне моды могут возникать как устойчивые направления, так и фантомы. Так, знакомство историков с классиками постмодернистской социальной философии, которое по времени почти совпало с социологизацией истории, дало скорее внешние, чем реальные результаты (отсутствие четкости мысли и изложения, использование модных словечек: «текст», «контекст», «интертекст», «гипертекст», «дискурс», «различение», «тело» и т. д.).

Бывает, что в центре внимания историков оказываются «классики», утратившие актуальность в контексте своей дисциплины. Там могут царить уже совсем другие кумиры, историки же часто и охотно оперируют устаревшими теориями. Не говоря уже о непреходящей популярности Карла Маркса, современные исторические работы насыщены отсылками к классическим сочинениям Зигмунда Фрейда, Эмиля Дюркгейма, Макса Вебера, Люсьена Леви-Брюля, ранним работам Норберта Элиаса и т. д. Причины для подобного временного лага разные: информационный отрыв; трудности, естественным образом связанные с ориентацией в «чужой» дисциплине и возможностями оценки потенциала новых теорий; профессиональная неготовность к усвоению сложных современных концепций и др.

4. КАК ЭТО БЫВАЕТ «НА САМОМ ДЕЛЕ», ИЛИ «ДЕЛО ШАРТЬЕ»

Рассуждение о том, что в теоретических работах по истории обнаруживается присутствие классиков, предполагает не только предъявление этих классиков (набор имен и исследований), но и обоснование роли, а точнее, выявление функций, в которых выс-

тупает классика. В качестве примера функций классики в исторических трудах, претендующих на статус теоретических, мы решили предложить анализ известного исследования Роже Шартье «Культурные истоки Французской революции»⁴². Предмет этой работы — революция 1789 г. — хорошо известен историкам независимо от их конкретной специализации, и он без преувеличения давно обрел статус *классического* в процессе исторического образования.

Искомое слово «классический» мы находим на первой странице первой главы книги Шартье применительно к работе Даниэля Морне «Интеллектуальные истоки Французской революции» (1933). Анализируя связь между распространением просветительских идей на протяжении всего XVIII в. и свершившейся в конце этого столетия революцией, Морне сформулировал главный тезис своего исследования: «Французскую революцию во многом предопределили идеи»⁴³. Из этой концепции, по словам Шартье, полвека исходили все исследователи, занимавшиеся историей мысли и социологией культуры XVIII в., то есть она, безусловно, приобрела статус классической⁴⁴.

Вопрос, который Шартье предвидит: «Если уже есть одна всеми признанная работа, зачем браться за другую»? Естественно, у него есть ответ на этот вопрос, и не один. Главное основание для пересмотра концепции Морне в том, что за 50 лет, прошедших со времени написания «Интеллектуальных истоков...», историческая наука изменилась, историки стали очень осторожны в установлении причинно-следственных связей, и в целом их стали занимать вопросы, которые были вне поля зрения Морне.

Шартье волнует проблема ретроспективного «предвидения», когда событие уже совершилось и мы выстраиваем цепь событий, ведущих к нему, не замечая помех и вытягивая из потока событий все пригодное. «Не путает ли *классическая* (снова ключевое для нас слово. — И. С.) традиция причины и следствия, когда утверждает, что Просвещение породило революцию? Не вероятнее ли другое: что революция придумала Просвещение, желая доказать свое законное происхождение и ища свои корни в основополагающих текстах философов, для чего примирила их авторов, несмотря на бросающиеся в глаза различия?»⁴⁵ (Здесь Шартье ссылается на целый ряд недавних на момент написания книги работ.)

Вслед за Морне на страницах книги появляются два других классика: Мишель Фуко и Фридрих Ницше. Точнее, Фуко, кото-

⁴² Шартье, 2001 [1990].

⁴³ Morne, 1967 [1933]: 3; цит. по: Шартье, 2001 [1990]: 11.

⁴⁴ Шартье, 2001 [1990]: 12.

⁴⁵ Указ. соч.: 13–14.

рый опирался на Ницше с его понятием «действительная история» (*wirkliche Historie*), отвергающим представление о линейности исторического развития, согласно которому в основе истории лежит преемственность, а события взаимосвязаны и порождают друг друга. Фуко предложил, обосновал, а затем и применил в своих работах по истории (клиники, безумия, насилия и дисциплинирования) метод «генеалогического» или «археологического» анализа, отказавшись от *классических* понятий: «целостность», «преемственность», «причинность»⁴⁶, т. е. от идеи поиска истоков.

Удастся ли избежать ретроспективной иллюзии, если на место «интеллектуальных» истоков поставить «культурные»? Шартье уверен, что такая замена как минимум облегчит понимание сути дела. Во-первых, потому, что культурные институты являются не просто фоном, оттеняющим идеи. Это средства общения, способы распространения информации, процессы воспитания, имеющие собственную динамику, выводящую далеко за пределы идеологии, основополагающей для анализа Морне. Кроме того, подход с позиций социологии культуры

«открывает доступ к обширному спектру явлений, которые следует принимать в расчет: сюда относятся не только четкие, выношенные идеи, но также случайные и произвольные мысли, не только добровольная и обдуманная принадлежность к какой-нибудь партии, но также невольная, вынужденная причастность к тем или иным деяниям»⁴⁷.

Да и вообще следует ли в процессе исследования делать вид, будто мы не знаем, что произошло в конце XVIII в., и рассуждать так, словно революции вовсе не было? Отказавшись от гипотезы, позволяющей упорядочить факты, не подвергаемся ли мы опасности хаоса? Предваряя исследование (формально, потому что введения обычно пишутся *a posteriori*), Шартье говорит, что с учетом всех этих обстоятельств он и соглашается с гипотезой Морне, и намеревается ее опровергнуть.

Совершая поворот от истории идей к социологии культуры (важно, что к социологии, а не истории), Шартье обращается к другим классикам: Ипполиту Тэню, Алексису де Токвилю, Юргену Хабермасу и Норберту Элиасу. Первые два — Токвиль и Тэн с их хрестоматийными работами о Великой французской революции, — соответственно, «Старый порядок и Революция» (1856) и «Происхождение современной Франции» (1876—1893), — были классиками и для Морне.

⁴⁶ Foucault, 1971.

⁴⁷ Шартье, 2001 [1990]: 14.

Однако Шартье прочитывает обе работы иначе, чем Морне. У Тэна он считает наиболее парадоксальным и оригинальным обойденный вниманием Морне тезис о том, что происхождение революционного духа восходит к французскому классицизму, к идее о торжестве *классического* рассуждающего разума. «Тем самым Тэн предложил рассматривать культурный процесс, в том числе и революцию, в более широких временных рамках, нежели те», в которых их рассматривали сами революционеры, а вслед за ними историки, как до, так и после Морне. Обосновывая свой выбор «истоков», Тэн писал:

«Во имя разума, представителем и толкователем которого является только государство, будут отринуты и созданы заново, в согласии с разумом и одним только разумом, все обычаи, праздники, церемонии, одежда, летоисчисление, календарь, меры длины и веса, названия времен года, месяцев, недель, дней, населенных пунктов и памятников, имена и фамилии, формулы вежливости, манера изъясняться... — так, чтобы француз, как некогда пуританин или квакер, полностью переродившись, выражал всем своим видом и всеми своими поведками торжество всемогущего принципа, который делает его новым человеком, и несокрушимой логики, которая лежит в основе его поступков. В этом и будут заключаться итог и полная победа классического разума»⁴⁸.

Противоречие между абстрактным миром идей и миром реальных вещей за 20 лет до Тэна обнаружил Токвиль и использовал его для объяснения как причин революции, так и ее в конечном счете несоответствия идеалам Просвещения и проектам самих революционеров. Только он выбрал другую оппозицию: «литературную политику» и «деловую практику». Центральным для Токвиля было противоречие между управлением страной, которое осуществляется через королевских служащих, и «политикой, носившей литературный и отвлеченный характер». Политики, лишенные возможности участвовать в государственных делах, были вынуждены заниматься литературой — «политическая жизнь оказалась вытесненной в литературу». В результате политизация литературы означала в то же время литературизацию политики, стремление свести всю сложность окружающей действительности к «простым и ясным правилам, рожденным разумом и естественным законом»⁴⁹.

Вторая глава книги Шартье посвящена появлению общественно-политической (общественно-буржуазной) сферы социальной

⁴⁸ Тэн, 1907 [1876—1893], т. I; цит. по: Шартье, 2001 [1990]: 17—18.

⁴⁹ Токвиль, 1997 [1856]; цит. по: Шартье, 2001 [1990]: 20—21.

жизни, образующей пространство дискуссий, не испытывающих давления со стороны государства, пространство, где частные люди публично пользуются собственным разумом. Шартье начинает ее словами: «Чтобы подойти к тому, из чего складывалось в XVIII в. понятие общественного мнения, мы обратимся к *классической* книге Хабермаса “*Strukturwandel der Öffentlichkeit*” (“Изменения в структуре общественности”))»⁵⁰ (курсив наш. — И. С.). Чтение очередной классической книги приводит Шартье к проблеме частного и публичного: эти понятия впервые были соотнесены еще одним не забытым им классиком — Иммануилом Кантом — в статье «Ответ на вопрос: что такое просвещение?» (1784).

В целом классики в постановочной части работы Шартье, цель которого — пересмотреть одну классическую книгу о происхождении Французской революции, представлены многообразно и обильно. Среди них и философы, и историки, и социологи. Однако если прочесть основную часть исследования, то мы увидим, что на самом деле Шартье, не очень опираясь на всех указанных классиков, полемизирует в основном с одним своим современником — историком Робертом Дарнтоном, который опубликовал целую серию статей о роли чтения в предреволюционную эпоху, полагая, что если французы читали книги философов (а они их читали), значит, они и верили в их идеи. Шартье же справедливо полагает, что читать — не обязательно значит верить, тем более действовать в соответствии с прочитанным. Книги тех, кого впоследствии называли просветителями, читали все, как до, так и во время и после революции (даже заключенные в Консьержери и роялисты в эмиграции), но не все участвовали в революции и принимали ее.

Заключение книги Шартье симметрично введению. Мы видим тот же набор имен, маркирующих ключевые идеи о происхождении Французской революции.

Так нужны ли были классики? Ответ, безусловно, будет утвердительный, как минимум в том смысле, что они нужны были автору. Хотя в основной части книги Шартье уходит от классических работ и вроде бы в них не нуждается, классические теории, рассмотренные в первых главах книги, выполняют в его исследовании самые разные функции. Шартье выстраивает концепцию, альтернативную *классической* интерпретации Морне, при этом относясь к предшественнику с подобающим пиететом. Хотя в начале Шартье, кажется, собирался развенчать иллюзию ретроспективного предвидения (тогда-то ему и понадобилось понятие *wirkliche Historie* Нише и ссылка на Фуко), в итоге он тоже пишет об *истоках* Французской революции, только о более опосредованных и неоднознач-

⁵⁰ Шартье, 2001 [1990]: 30 (см.: *Habermas*, 1962).

ных, о связях между идеями и революцией через сложные механизмы рецепции в пространстве культуры. Он даже выносит слово «истоки» в заглавие своей книги⁵¹. Можно сказать, что классическая работа Морне выполняет для Шартье функцию источника гипотезы (в данном случае полуальтернативной, что вообще с классическими трудами случается довольно редко).

Обращаясь далее к классическим историям Французской революции Токвиля и Тэна, Шартье черпает в них идеи, несущественные для его предшественника, но ключевые для его собственной интерпретации, т. е. использует указанные работы как резервуар уникальных и одновременно фундаментальных идей. В той же функции выступают далее работы Хабермаса и Канта, а параллельно и они, и Тэн с Токвилем используются для легитимации авторского подхода к проблеме истоков революции. Ведь Шартье не просто предлагает новую теорию, он замахнулся на опровержение всеми признанного классика с полувековым стажем — Морне, и ему нужны авторитеты. А вот отсылка к «психической экономике» Элиаса или цитата из Эриха Ауэрбаха, «как бы воспроизводящая ход мысли Тэна», скорее выполняют функцию «интеллектуальных опознавательных знаков» — во всяком случае, мы нигде не обнаружили, как еще «работают» концепции этих классиков.

* * *

Задача данной статьи состояла в том, чтобы выявить классику в современной исторической науке и в какой-то степени систематизировать формы ее присутствия. Разные модусы существования актуальной классики в историографии, как нам кажется, во многом обусловлены разнообразием функций, которые выполняют классические произведения в трудах историков⁵². Кратким анализом функций классики мы и завершим свое исследование.

Прежде всего, классические сочинения могут являть собой «образцы совершенства», в которых важны не столько сами теории, методы или аналитические процедуры, сколько эстетика интеллектуального продукта. Существует ряд оснований для признания работы совершенной: литературный дар автора, способность увлечь блистательными прорывами в исследовании, элегантность теоретических построений. Выбор образцов — дело сугубо индиви-

⁵¹ Интересно, что Шартье не только сохраняет идею истоков *революции*, он тщательно прослеживает и обосновывает истоки *собственных идей*, отсылаясь к великим предшественникам, которых прямо называет классиками.

⁵² В социологии проблеме функций классики посвящен целый ряд работ, предлагающих разные классификации (Мёртон, 2006 [1968]; Stinchcombe, 1982; Alexander, 1987), хотя по сути они довольно близки.

дуальное, однако у историков, безусловно, присутствует широкое согласие по поводу таких работ, хотя они вполне могут быть устаревшими с научной точки зрения. Достаточно обратить внимание на авторов, упомянутых в эпиграфах к данной статье. Сегодня мы привели бы имена новой когорты классиков, но историки в целом всегда согласятся с тем, что кумиры Ланглуа, Сеньобоса и Гадамера, утратившие способность быть «совершенными» для нас, остались таковыми многие десятилетия.

Классические работы могут служить и образцами выхода за рамки привычного, будь то тематика, гипотеза, формулировка проблемы или ее решение, — назовем хотя бы «Осень Средневековья» Йохана Хёйзинги или «Американцев» Дэниела Бурстина.

Важнейший эвристический ресурс классики заключен в работах, предлагающих фундаментальные идеи и решения. Число исторических работ такого рода невелико, но благодаря пресловутой «стратегии присвоения» эту функцию для современных историков выполняет несчетное количество классиков XX в. из других социальных и гуманитарных дисциплин. Важной особенностью фундаментальных работ является возможность использовать сформулированные в них теории как источник гипотез для проведения эмпирических исследований и разработки более узких историографических концепций. Укажем хотя бы на Броделя — на базе его уникального подхода к предмету исследования через структурирование времени впоследствии возникло несколько направлений: модель стационарных периодов (Эммануэль Ле Руа Ладюри), концепция долговременных циклов (Иммануэль Уоллерстайн) и версии равномерных изменений (Франсуа Фюре и Дени Рише)⁵³.

И наконец, классики служат ритуальными фигурами самоидентификации для корпорации. Артур Стинкомб поясняет суть этой функции предельно кратко: «Мы все читали этих классиков или по меньшей мере отвечали на вопросы о них на экзаменах, и это объединяет нас в интеллектуальное сообщество»⁵⁴. Такой список у историков, конечно, будет включать только «своих», он окажется самым длинным и начнется с Геродота.

Литература

Агирре Рохас К. А. Критический подход к истории французских «Анналов» / Пер. с исп. М.: Кругъ, 2006.

Арбес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке / Пер. с франц. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999 [1960].

⁵³ Подробнее см.: Савельева, Полетаев, 2003—2006. Т. 1, гл. 10.

⁵⁴ Stinchcombe, 1982: 9.

Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Пер. с нем. М.: Языки славянской культуры, 2004 [1992].

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв.: В 3 т. / Пер. с франц. М.: Прогресс, 1986—1992 [1979].

Бюргер А. Историческая антропология и школа «Анналов» // Антропологическая история: подходы и проблемы. Материалы российско-французского научного семинара. М.: РГГУ, 2000. С. 4—22.

Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XV в. / Пер. с итал. М.: РОССПЭН, 2000 [1976].

Дэвис (Земон Дэвис) Н. Возвращение Мартена Герра / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1990 [1983].

Ле Гофф Ж. В поддержку долгого Средневековья [1983] // Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого / Пер. с франц. М.: Прогресс, 2001. С. 31—38.

Ле Руа Ладюри Э. Застывшая история [1974] // *THESIS*. 1993. Вып. 2. С. 153—173.

Ле Руа Ладюри Э. Монтанью, окситанская деревня (1294—1324) / Пер. с франц. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2001.

Мёртон Р. К. Об истории и систематике социологической теории [1968] // Мёртон Р. К. Социальная теория и социальная структура / Пер. с англ. М.: АСТ, 2006 [1968]. С. 19—63.

Прайс (де Солла Прайс) Д. Дж. Квоты цитирования в точных и неточных науках, технике и не-науке (сокр. пер.) [1970] // *Вопросы философии*. 1971. № 3. С. 149—155.

Савельева И. М., Полежаев А. В. Знание о прошлом: Теория и история: В 2 т. Т. 1: Конструирование прошлого. Т. 2: Образы прошлого. СПб.: Наука, 2003—2006.

Смолл Г. Дж., Крейн Д. Специальности и дисциплины в естественных и социальных науках: исследование их цитирования посредством цитирования [1979] // Научная информация и система научных коммуникаций. Сборник рефератов. М.: ИНИОН АН СССР, 1981. С. 160—179.

Стоун Л. Будущее истории // *THESIS*. 1994. Вып. 4. С. 160—176.

Токвиль А., де. Старый порядок и Революция / Пер. с франц. М.: Московский философский фонд, 1997 [1856].

Тэн И. Происхождение современной Франции: В 5 т. / Пер. с франц. СПб.: Тип. Пантелеева, 1907 [1876—1893].

Февр Л. Чувствительность и история [1941] // Февр Л. Бои за историю / Пер. с франц. М.: Наука, 1991. С. 109—125.

Хёйзинга Й. Homo ludens [1938] // Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня / Пер. с голл. М.: Прогресс—Академия, 1992. С. 5—240.

Хобсбаум Э. Век Революций [1972]. Век капитала [1975]. Век империй [1987]: В 3 т. / Пер. с англ. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.

Шартве Р. Культурные истоки Французской революции / Пер. с франц. М.: Искусство, 2001 [1990].

Эрикссон Э. Г. Молодой Лютер: психоаналитическое историческое исследование / Пер. с англ. М.: Медиум, 1995 [1958].

Alexander J. C. The Centrality of the Classics // *Social Theory Today* / Eds. A. Giddens and J. Turner. Cambridge: Polity Press, 1987. P. 11–57.

Anderson G. M., Levy D. M., Tollison R. D. The Half-Life of Dead Economists // *The Canadian Journal of Economics*. February 1989. Vol. 22. No. 1. P. 174–183.

Buchanan A. L., Hérubel J.-P. V. M. Interdisciplinarity in Historical Studies: Citation Analysis of the «Journal of Interdisciplinary History» // *LIBRES: Library and Information Science Research Electronic Journal*. August 1994. Vol. 4. No. 2/3. <http://dhs.wsl.humanities.curtin.edu.au/libres/LIBRES4N2/BUCHANAN.txt>

Budd J. Characteristics of Written Scholarship in American Literature: A Citation Study // *Library and Information Science Research*. April–June 1986. Vol. 8. No. 2. P. 189–211.

Burke P. History and Social Theory. Ithaca (NY): Cornell Univ. Press, 1993.

Burke P. Popular Culture in Early Modern Europe. London: Temple Smith, 1978.

Cawkell A. E. Citations, Obsolescence, Enduring Articles, and Multiple Authorships // *Journal of Documentation*. January 1976. Vol. 32. No. 1. P. 53–58.

Cole S. The Hierarchy of the Sciences? // *The American Journal of Sociology*. July 1983. Vol. 89. No. 1. P. 111–139.

Dalton M. S., Charnigo L. Historians and Their Information Sources // *College & Research Libraries News*. September 2004. Vol. 65. No. 5. P. 400–425.

Downing P. B., Stafford E. A. Citations as an Indicator of Classic Works and Major Contributors in Social Choice // *Public Choice*. January 1981. Vol. 37. No. 2. P. 219–230.

Durden G. C., Ellis L. V. A Method for Identifying the Most Influential Articles in an Academic Discipline // *Atlantic Economic Journal*. December 1993. Vol. 21. No. 4. P. 1–10.

Fernández-Izquierdo F., Román-Román A., Rubio-Liniens C., Moreno-Díaz-del-Campo F.-J., Martín-Moreno C., García-Zorita C., Lascrain-Sánchez M. L., García P.-E., Povedano E., Sanz-Casado E. Bibliometric Study of Early Modern History in Spain Based on Bibliographic References in National Scientific Journals and Conference Proceedings // Proceedings of ISSI 2007 11th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics. CSIC Madrid, Spain 27–27. June 2007 / Eds. D. Torres-Salinas and H. F. Moed. Madrid: CSIC, 2007. Vol. 1. P. 266–271.

Foucault M. Nietzsche, la généalogie, l'histoire // *Hommage à Jean Hippolyte*. Paris, PUF, 1971. P. 145–172.

Garfield E. Most-Cited Authors in the Arts and Humanities, 1977–1978 // *Essays of an Information Scientist*. Philadelphia: ISI Press, 1981. Vol. 4. P. 238–243. (Reprinted from: *Current Contents*. August 6, 1979. No. 32. P. 5–10).

Garfield E. Highly Cited Articles XXVI. Some Classic Papers of the Late 19th and Early 20th Centuries // *Essays of an Information Scientist*. Philadelphia:

ISI Press, 1974–1976. Vol. 2. P. 491–495 (Reprinted from: *Current Contents*. May 24, 1976. No. 21. P. 5–9).

Garfield E. The 250 Most-Cited Authors in the Arts & Humanities Citation Index, 1976–1983 // *Essays of an Information Scientist*. Philadelphia: ISI Press, 1986. Vol. 9. P. 381–388 (Reprinted from: *Current Contents*. December 1, 1986. No. 48. P. 3–10).

Gieryn Th. F. Problem Retention and Problem Choice in Science // *The Sociology of Science: Problems, Approaches, and Research* / Ed. J. Gaston. San Francisco, CA: Jossey Bass, 1978. P. 96–115.

Gooch G. P. *History and Historians in the Nineteenth Century*. London, etc.: Longmans, Green and Co., 1928 [1913].

Griffith B. C., Small H. G., Stonehill J. A., Dey S. The Structure of Scientific Literatures II: Toward a Macro- and Microstructure for Science // *Science Studies*. October 1974. Vol. 4. No. 4. P. 339–365.

Habermas J. *Strukturwandel der Öffentlichkeit*. Neuwied: Hermann Luchterhand Verlag, 1962.

Hargens L. L. Using the Literature: Reference Networks, Reference Contexts, and the Social Structure of Scholarship // *American Sociological Review*. December 2000. Vol. 65. No. 6. P. 148–163.

Hobsbawm E. J. *The Age of Extremes*. L.: Michael Joseph & Pelham Books, 1994.

Jones C., Chapman M., Woods P. C. The Characteristics of the Literature Used by Historians // *Journal of Librarianship and Information Science*. 1972. Vol. 4. No. 3. P. 137–156.

Langer W. L. The Next Assignment // *American Historical Review*. January 1958. Vol. 63. No. 1. P. 283–304.

Les lieux de mémoire / Ed. P. Nora 7 t. Paris: Gallimard, 1984–1993.

Levi G. *L'eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento*. Torino: Einaudi, 1985.

Lindholm-Romantschuk Y., Warner J. The Role of Monographs in Scholarly Communication: An Empirical Study of Philosophy, Sociology, and Economics // *Journal of Documentation*. December 1996. Vol. 52. No. 4. P. 389–404.

Lowe M. S. Reference Analysis of the «American Historical Review» // *Collection Building*. 2003. Vol. 22. No. 1. P. 13–20.

McCain K. W. Citation Patterns in the History of Technology // *Library and Information Science Research*. January–March 1987. Vol. 9. No. 1. P. 41–59.

Medick H. *Weben und Überleben in Laichingen, 1650–1900. Lokalgeschichte als Allgemeine Geschichte*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996.

Megill A. The Reception of Foucault by Historians // *Journal of the History of Ideas*. January–March 1987. Vol. 48. No. 1. P. 117–141.

Mendez M., Chapman K. The Use of Scholarly Monographs in the Journal Literature of Latin American History // *Electronic Journal of Academic and Special Librarianship*. Winter 2006. Vol. 7. No. 3. http://southernlibrarian.ship.icaap.org/content/v07n03/mendez_m01.htm

Mornet D. Les origines intellectuelles de la Révolution française 1715—1787. Paris: Colin, 1967 [1933].

Oppenheim Ch., Renn S. P. Highly Cited Old Papers and the Reasons Why They Continue to be Cited // *Journal of the American Society for Information Science*. September 1978. Vol. 29. No. 5. P. 225—231.

Price (de Solla Price) D. J. Citation Measures of Hard Science, Soft Science, Technology, and Nonscience // *Communication Among Scientists and Engineers* / Eds. C. E. Nelson and D. K. Pollock. Lexington, MA: D.C. Heath and Company. 1970. P. 3—22.

Small H. G., Crane D. Specialties and Disciplines in Science and Social Science: An Examination of Their Structure Using Citation Indexes // *Scientometrics*. August 1979. Vol. 1. No. 5/6. P. 445—461.

Small H. G., Griffith B. C. The Structure of Scientific Literatures. 1. Identifying and Graphing Specialties // *Science Studies*. January 1974. Vol. 4. No. 1. P. 17—40.

Stearns P. N. European Society in Upheaval. Social History Since 1800. New York: Macmillan, 1967.

Stinchcombe A. L. Should Sociologists Forget Their Mothers and Fathers? // *The American Sociologist*. February 1982. Vol. 17. No. 1. P. 2—11.

Stone L. The Past and the Present Revisited. L.: Routledge, 1987.

Storer N. W. The Hard Sciences and the Soft: Some Sociological Observations // *Bulletin of the Medical Library Association*. January 1967. Vol. 55. No. 1. P. 75—84.

Thompson E. P. Plebeian Culture and Moral Economy. London: Methuen, 1980.

Thompson J. W. The Death of the Scholarly Monograph in the Humanities? Citation Patterns in Literary Scholarship // *Libri*. September 2002. Vol. 52. No. 3. P. 121—136.

Tilly Ch. Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. New York: Russell Sage Foundations, 1984.

Tilly Ch., Tilly L., Tilly R. The Rebellious Century, 1830—1930. Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1975.

Weintraub K. J. The Humanistic Scholar and the Library // *Library Quarterly*. January 1980. Vol. 50. No. 1. P. 22—39.

Whitley R. Cognitive and Social Institutionalization of Scientific Specialties and Research Areas // *Social Processes of Scientific Development* / Ed. R. Whitley. London: Routledge and Kegan Paul, 1974. P. 69—95.

Антон Свешников, Борис Степанов

ИСТОРИЯ ОДНОГО КЛАССИКА: ЛЕВ ПЛАТОНОВИЧ КАРСАВИН В ПОСТСОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Обсуждение темы классики и классиков в науке побуждает говорить о самых разных факторах конструирования научного авторитета и механизмах трансляции научной традиции, их значении применительно к наследию интеллектуалов и научных сообществ прошлого¹. Проблему классики как совокупности авторитетных для данной области знания образцов, а соответственно, и восприятия творчества того или иного ученого, символизирующего эту совокупность, мы будем рассматривать, интерпретируя науку как пространство конкуренции научных позиций и групп. Классика будет выступать в качестве «основы группового контроля над разнообразными в содержательном плане процессами изменения и дифференциации социальной системы»² — в данном случае института исторической науки. В новых условиях научного самоопределения — как интеллектуального, так и социального — вместе с образом науки меняются и представления о научной традиции, связанные преимущественно с набором авторитетных — классических — текстов и фигур. Появление новых научных направлений сопровождается и складыванием новых, подчас весьма неожиданных научных генеалогий³.

¹ См., например: *Baehr, O'Brien*, 1994: 86—88.

² *Гудков, Дубин*, 1994: 30.

³ Критику «ложных генеалогий» в отечественных версиях исторической антропологии и микроистории см., например, в: *Кром*, 2003: 197.

Исследуя рецепцию творчества выдающегося русского историка Льва Карсавина, мы будем исходить не столько из наукометрических подходов и историко-научных моделей, сколько из культурного контекста постсоветской историографии. Случай Карсавина в этой перспективе представляет особый интерес. Несомненна значимость этой фигуры для нового постсоветского историографического пантеона. Столь же очевидна и ее неоднозначность. Как известно, профессиональная и житейская биография Карсавина была полна резких поворотов. В отличие от многих других «несоветских» классиков он проявил себя не только как историк-медиевист и теоретизирующий историк, но также как философ, богослов, «евразиец». Поэтому наследие мыслителя востребовано сегодня самыми разными интеллектуальными традициями. Вместе с тем положение Карсавина — сначала в медиевистике, а затем в богословии или евразийстве — было весьма неоднозначным. Его признание в самых различных интеллектуальных сообществах всегда сопровождалось опасениями, связанными с его склонностью к радикальным заявлениям и поступкам. Эта противоречивость создает дополнительную интригу в изучении того, как представляют творчество Карсавина современные его интерпретаторы.

Изучение восприятия наследия историка позволяет проследить процесс трансформации и внутренней дифференциации дисциплины, проанализировать факт появления конфликтующих трактовок фундаментальных для науки проблем: соотношения теории и эмпирического исследования, профессиональной преемственности и отношения истории к другим областям знания, социальной функции исторического знания и социальной роли историка, языка и жанров исторического высказывания и т. д. Решением этих проблем, имплицитно присутствующим в рассуждениях современного исследователя о творчестве классика, определяется стратегия его представления, выражающаяся в степени обобщенности образа, его дисциплинарном и научном статусе (например, основатель направления, символ дисциплины в целом, образец междисциплинарного творчества или — теоретик, эмпирик, методолог и т. д.), выборе контекста (научный, культурный или общен исторический), символических партнеров и, наконец, жанра высказывания⁴. Все это позволит нам в конечном счете определить то значение, сквозь призму которого читателю предлагают сегодня рассматривать наследие ученого.

Одной из полезных категориальных схем для анализа классики в науке является оппозиция «презентизма—антикваризма»⁵. Ее

⁴ В формулировке аналитических переменных мы ориентировались на подход, представленный в: *Дубин, Рейтблат*, 1990; 2003.

⁵ Подробнее см.: *Полежаев*, наст. изд.

значимость заключается в том, что она описывает полярные позиции по отношению к наследию мыслителей прошлого, напряжением между которыми и определяется продуктивность обращения ученого к классике. На каждом из этих полюсов классика стремится к исчезновению: в одном случае имя мыслителя «растворяется» в кумулятивном движении науки, в другом — становится самодостаточным безотносительно к современному состоянию научного знания. При этом очевидно, что полярность этих категорий, как и многообразие параметров идентификации позиций историков науки, придает им идеально-типический характер. Соответственно, нашей задачей будет анализ конкретных приемов идентификации классика дисциплины, установления прерывности и непрерывности развития науки в работах историков, писавших о Карсавине в последние десятилетия⁶. В связи с этим нельзя не оговорить некоторой двусмысленности нашей собственной позиции как людей, которые имели и имеют самое непосредственное отношение к исследованию творчества этого историка и философа. Хотелось бы подчеркнуть, что нашей задачей не являлись содержательный анализ аргументации и критика позиций тех или иных конкретных исследователей, хотя определенной имплицитной оценочности в такого рода рассуждении избежать невозможно. Оттолкнувшись от характеристики историографической ситуации в отношении Карсавина, мы хотели бы сформулировать критерии адекватности рецепции творчества классика, которые могут быть применимы ко всем работам — включая и наши собственные.

Значимым контекстом для решения поставленной задачи стало изучение символической структуры и коммуникативных стратегий постсоветских исторических альманахов. Упоминание об альманахах важно для нас не только потому, что их участниками во многом и было инициировано историографическое возвращение Карсавина, а на их страницах разворачивались полемические интерпретации наследия ученого. На фоне консервативности традиционных периодических изданий по истории (таких, как «Вопросы истории» или «Отечественная история») именно новые альманахи — «Одиссей», «Казус» и «Диалог со временем» — стали в 1990-е — начале 2000-х годов локусом формирования не только новых для отечественной историографии направлений (историческая

⁶ Из нашего рассмотрения мы исключаем как работы философов (напр., *Неретина, Огурцов*, 2000: 125—159), хотя бы и характеризующие теорию истории Карсавина, так и публикации историков, где концепция Карсавина растворяется в характеристиках философских и идеологических направлений, в частности евразийства (см., напр.: *Вандалковская*, 1997; *Очерки истории отечественной исторической науки XX века*, 2005).

антропология, микроистория, интеллектуальная история), но и стратегий самоопределения историка, новых образов дисциплины и моделей научного авторитета. Программный характер этих изданий, а значит, и публикуемых в них материалов, повышает значимость ссылок на те или иные имена, придает им смысл не только в связи декларацией той или иной научной программы, но также и в связи с определенным видением дисциплины и ее прошлого и адресацией к (научному) сообществу⁷. Соответственно, тексты, появляющиеся в этих изданиях, не могут быть случайными: они создаются/подбираются в соответствии с определенными критериями, а появляясь на страницах издания, начинают определять его лицо. В пространстве журнальной полемики позиции ее участников приобретают более заостренный, экспериментальный и часто даже провокационный характер. Таким образом, рассмотрение политики изданий позволяет соотнести ту или иную интерпретацию творчества классика с процессом дифференциации дисциплины.

С точки зрения организации своего рода символического обмена между авторитетными фигурами прошлого и настоящего важен и другой аспект деятельности периодических изданий. Их функция заключается в том, чтобы обозначать «передний край» современной науки, осуществлять отбор, оценку и первичную интерпретацию фактов научного и культурного процесса⁸. Издатели альманахов вынуждены быть более требовательными к мотивам актуализации того или иного сюжета или персонажа. В связи с этим Лев Гудков и Борис Дубин пишут о «классикализирующих» переизданиях текстов из культурного и, в частности, научного архива, в которых «отсутствует коллективное усилие воли к наделению смыслом именно этого текста вопреки обстоятельствам и инициаторам его забвения», зато «используется в иных условиях и иными людьми, по иным поводам и с иным смыслом созданный неоспоримый авторитет сочинения, перепечатываемого ныне лишь в качестве самоподдержки и для самоодобрения»⁹. Таким образом, проблемати-

⁷ В качестве возможного направления исследований проблемы «классика в историографии» можно указать также на отношение тех или иных сообществ и изданий к классическому — античному наследию в культуре. Некоторые наблюдения на этот счет в отношении упомянутых альманахов см. в: Свешников, Степанов (в печати).

⁸ Будучи одной из форм журнальной коммуникации, альманахи осуществляют опосредование между фундаментальными ценностями и уровнями социальной памяти, которые закрепляются главным образом в форме книги, и актуальной и оперативной информацией, транслируемой газетой и другими СМИ. См. об этом: Гудков, Дубин, 1994: 300—305; ср. также: Бурдье, 2005: 245—247.

⁹ Гудков, Дубин, 1994: 303. Таким образом, значимым является не только факт публикации, но и ее контекст.

зация классики позволяет говорить о соотношении культурного и научного авторитета в работе тех или иных научных институций, в данном случае журналов, в формируемых ими репрезентациях дисциплины. Сказанное кажется нам убедительным основанием для того, чтобы сопоставлять трактовки карсавинского творчества с политикой указанных изданий, избегая, разумеется, излишней категоричности и однозначности в поиске такого рода связей.

* * *

Анализ рецепции Карсавина в постсоветской исторической литературе нельзя не предварить краткой характеристикой судеб его наследия в советской историографии. В советский период имя Карсавина, крупнейшего русского медиевиста и философа начала XX в., высланного из России на «философском пароходе» вместе с другими видными представителями российской интеллигенции, было попросту неизвестно большинству профессиональных историков, хотя дореволюционные издания основных его работ были вполне доступны. Для специалистов по истории отечественной медиевистики творчество Карсавина ассоциировалось с «кризисом реакционно-идеалистического направления буржуазной историографии» и в этом плане представлялось недостойным внимания. Так, например, Осип Вайнштейн, автор одной из наиболее известных советских работ по историографии истории Средних веков, упоминает Карсавина один раз, мимоходом, в сноске, как «белоэмигранта», работы которого «по своим материалам могут представлять научный интерес»¹⁰. Подобное отношение к Карсавину транслируют и послевоенные историографические компендиумы советской эпохи — Советская историческая энциклопедия (1961—1967) и «Очерки по истории исторической науки в СССР» (1955—1985).

Отношение к Карсавину начинает меняться в 1970—1980-е годы. В свете интересующей нас проблемы рождения образа Карсавина как классика исторической науки мы можем обозначить это время как «эмбриональный период». Имя историка в трудах тех же самых специалистов начинает упоминаться гораздо чаще, хотя оценки в принципе остаются теми же. Лев Хмылёв посвящает отдельную главу своей монографии анализу теории исторического познания Карсавина, называя его «крупнейшим теоретиком неорелигиозного направления»¹¹. Несколько страниц Карсавину уделяет Евгения Гутнова в своем выдержавшем в 1970—1980-е годы два издания учебном пособии. При этом, в частности, она пишет,

¹⁰ Вайнштейн, 1940: 327.

¹¹ См.: Хмылев, 1978: 146—158.

что Карсавин «с первых лет научной деятельности <...> находился под влиянием реакционной религиозной философии Н. Бердяева»¹² (что, естественно, нельзя воспринимать сейчас иначе как курьез) и потому «синтез его никак нельзя признать удачным в силу крайних, окрашенных в религиозные тона идеализма исходных позиций автора и его откровенного субъективизма...»¹³. Гутнова признает, что в работах Карсавина содержится «интересный материал», «однако Карсавин, интерпретируя этот материал, дает в целом извращенную картину духовной и, в частности, религиозной жизни Средневековья»¹⁴.

Особое место в историографическом изучении творчества Карсавина в этот период занимают труды Бориса Кагановича, посвященные петербургской школе медиевистики, созданной Иваном Гревсом. Основываясь на опубликованных работах ученого и неопубликованных архивных материалах, Каганович достаточно обстоятельно реконструирует теоретические и конкретно-исторические взгляды Карсавина как представителя этой школы и, в частности, анализирует полемику вокруг его работ в дореволюционной историографии. Важным основанием для оценки творчества и жизненного пути историка становится контекст школы и воспроизводства научной традиции. Каганович дает Карсавину — возмутителю спокойствия и нарушителю научной преемственности, противопоставившему себя не только школе, но и научному сообществу в целом, что в конечном итоге привело к его уходу из дисциплины, — достаточно негативную характеристику. Вместе с тем итоговые оценки, предложенные исследователем, в некотором отношении оказываются вполне обычными для советской историографической традиции. Исходя из выделения двух этапов творчества Карсавина, исторического и философского, Каганович пишет о том, что если

«в первый период своей деятельности Л. П. Карсавин при всех своих недостатках был крупным и интересным историком, <...> то позднее, отойдя от истории, занимаясь малооригинальной метафизикой, он сильно дискредитировал свое имя»¹⁵.

¹² Гутнова, 1974: 315.

¹³ Указ соч.: 315.

¹⁴ Указ соч.: 316.

¹⁵ Каганович, 1986: 11. Кстати, Борис Каганович, вошедший в состав редколлегии «Одиссея» в 1996 г., не изменил своего «сдержанного» отношения к теоретическим взглядам Карсавина и в последующие годы. Показательно, что раздел диссертации Кагановича, посвященный Карсавину, так и не был опубликован в полном объеме.

Параллельно ссылки на работы Карсавина появляются в трудах представителей «неофициальной медиевистики»¹⁶. Как отмечает Михаил Бойцов, в 1970-е годы

«исторические работы Карсавина характеризуются подробнее и внимательней, хотя оценки их по-прежнему критические. Первым из историков, осмелившимся признать в печати свое “историческое родство” с Карсавиным, был, кажется, А. Я. Гуревич. Впрочем, он не только с почтением упомянул “труды видного русского медиевиста Л. П. Карсавина, незаслуженно забытые в последующей историографии”, но и продолжил в собственных исследованиях заложенную Карсавиным традицию»¹⁷.

В 1972 г. в диссертации Инги Розовской, посвященной методологии школы «Анналов» и защищенной под руководством Арона Гуревича, отдельный параграф был посвящен русским медиевистам Льву Карсавину и Петру Бицилли. Последние характеризовались как почти забытые (в сравнении с Василием Ключевским, Николаем Рожковым, Николаем Кареевым и Карлом Лампрехтом) предшественники школы «Анналов»¹⁸.

* * *

Полная реабилитация Карсавина, ставшая одновременно и сигналом к началу его «канонизации», произошла только в конце 1980-х годов. Она происходила одновременно в истории и в философии — в контексте возвращения русской мысли Серебряного века и наследия эмиграции¹⁹.

¹⁶ Гуревич, 1981: 10. См. об этом также: Markwick, 2006: 292—293. Здесь и далее мы — за неимением лучшего — употребляем спорный термин «неофициальная медиевистика» как обозначение направления, с которым было связано развитие истории ментальности и других новых подходов в советской историографии 1960—1980-х годов. Деятельность представителей этого направления, в числе которых были Арон Гуревич, Юрий Бессмертный, Леонид Баткин и др., неоднократно подвергалась критике со стороны представителей историографического официоза — достаточно вспомнить о печально известном докладе Александра Данилова на Всесоюзной историографической конференции 1969 г. См.: Копосов, Бессмертная, 2003.

¹⁷ Бойцов, 1992: 5

¹⁸ Розовская, 1972: 14—15. Благодарим Павла Уварова, обратившего наше внимание на эту работу.

¹⁹ Здесь нельзя не упомянуть о существовании «эмигрантской традиции» философской атрибуции Карсавина (в рамках «философии всеединства»), воспроизводимой, например, в трудах Николая Лосского и Василия Зеньковского. переизданных в начале 1990-х годов в России.

В исторической науке она напрямую была связана с выходом в 1989 г. первого номера альманаха «Одиссей. Человек в истории». Порывая с марксистской идеологией, это издание выдвинуло программу создания «гуманистической истории» как истории культуры и истории ментальностей. Истоки этой научной программы виделись в революционном разрыве между «новой исторической наукой» и «старой» позитивистской историографией XIX в.

В программной статье Арона Гуревича, опубликованной в первом выпуске «Одиссея», Карсавин — вслед за Михаилом Бахтиным и вместе с Петром Бицилли — был назван в числе отцов-основателей «гуманистической истории» и предшественников в изучении исторической психологии, и в следующих номерах альманаха предполагалось напечатать статьи, посвященные творчеству этих ученых²⁰. Впрочем, эта заявка была реализована только в отношении Бицилли, которому посвящен биографический очерк Бориса Кагановича²¹, и это не случайно. Появление в первых выпусках альманаха мемориально-биографического материала можно считать скорее исключением, чем правилом: доминирующим историографическим жанром в «Одиссее» конца 1980-х — начала 1990-х годов был жанр очерка, представляющего то или иное актуальное направление в современном гуманитарном знании. Именно в таком ракурсе освещалась концепция Карсавина в очерке Аллы Ястребицкой, посвященном российской традиции изучения повседневности и материальной культуры²². По мнению автора, подход Карсавина объединил две установки, которые были, несомненно, значимы и для программы «Одиссея». Речь идет, с одной стороны, об установке на социально-психологическое изучение истории, с другой — о признании человека субъектом истории и «личностью»²³, которая первична по отношению к любым вещным объектам и воздействиям²⁴.

Хотя Ястребицкая отмечает здесь и принципы карсавинской теории истории, все же историк представлен в этой статье как один из основателей традиции изучения повседневности. Его творчество

²⁰ Гуревич, 1989: 9. О значимости исторической психологии для гуманитарного знания конца 1980-х — начала 1990-х годов см.: Markwick, 2006: 292—293, Степанов, 2007.

²¹ Каганович, 1994.

²² Ястребицкая, 1991b. Ястребицкая подчеркивала, что ее статья не имеет собственно историографического характера, а скорее связана с реабилитацией невостремованного советской историографией научного направления.

²³ Используя это важнейшее для самоопределения гуманистической историографии понятие, Ястребицкая апеллирует к Бахтину, но никак не к персоналистической философии самого Карсавина.

²⁴ Ястребицкая, 1991b: 87—90.

символизирует для автора чуткость медиевистов — в отличие от представителей других разделов историографии — к новым направлениям в гуманитарном знании. Среди них исследовательница называет, с одной стороны, школу «Анналов», а с другой — отечественную семиотику и филологию. Соответственно, главными символическими партнерами Карсавина выступают, с одной стороны, Марк Блок, с другой — Михаил Бахтин²⁵. Хотя Ястребицкая и определяет Карсавина как «историка-медиевиста, теоретика и философа истории», тем не менее в данном случае важно, что как интеллектуальный предшественник он является дважды «своим» — как в национальном (в отличие от Блока), так и в дисциплинарном (в отличие от Бахтина) смысле.

* * *

Ястребицкая сыграла в постсоветский период ключевую роль в реабилитации карсавинского наследия. Дальнейшие ее публикации, посвященные уже персонально Карсавину²⁶, сформировали своего рода парадигму рецепции его творчества. Уже в статье, опубликованной в 1991 г., Карсавин возводится в ранг российского основателя «новой исторической науки» и отстаивается сугубо историографическая «прописка» ученого. В связи с этим Ястребицкая упоминает о негласном бытовании работ Карсавина в обиходе советских историков начиная с 1950-х годов²⁷. Это можно рассматривать как своего рода реакцию на лидерство философов в конце 1980-х — начале 1990-х годов в процессе возвращения карсавинского наследия. Главным адресатом полемики здесь выступал наиболее авторитетный среди историков русской философии исследователь творчества мыслителя Сергей Хоружий, по мнению которого Карсавин среди других философов Серебряного века может претендовать на первенство «по степени своего забвения и неизвестности на родине»²⁸. В его трактовке творчества мыслителя центральное место занимал сюжет о превращении Карсавина из историка в философа. Отмечая, что в исторических трудах Карса-

²⁵ Из российских историков начала века называются также Александр Пресняков и Николай Оттокар, упоминаемые Карсавиным в предисловии к его книге «Основы средневековой религиозности XII—XIII вв.».

²⁶ Ястребицкая 1991а; 1994; 1998 и др. При ее участии были вновь опубликованы такие работы Карсавина, как «Введение в историю» (1920), «Восток. Запад и русская идея» (1922), а также переписка Карсавина с его учителем Иваном Гревсом (1906—1916).

²⁷ Однако при этом совершенно игнорирует историографическую традицию. Исключение составляет лишь статья Сергея Сказкина в Советской исторической энциклопедии. См.: Ястребицкая, 1991а: 6—7.

²⁸ Хоружий, 1989.

вина предвосхищены «выводы будущей культурологии», Хоружий трактует их только лишь как промежуточный этап творческой эволюции Карсавина²⁹.

В свою очередь Ястребицкая стремилась представить эволюцию Карсавина исключительно в рамках исторической науки и показать, как

«развертываемая в разных ракурсах, история пронизывает и его работы по средневековой религиозности и культуре в целом, и истории православия и католичества, публицистические статьи, в частности, и те, что относятся к периоду его «евразийской» деятельности, и цикл его малых философских сочинений, не говоря уже о фундаментальной монографии «Философия истории»»³⁰.

Таким образом, исторические труды предстают здесь не просто прелюдией — пусть и новаторской, что признавал и Хоружий, — к трудам философским. Все аспекты и этапы творчества Карсавина, по мнению Ястребицкой, должны быть рассмотрены в рамках его деятельности как профессионального историка. При этом, разумеется, подвергаются редукции философские аспекты карсавинского учения. Вот характерный пример: если в историко-философском анализе Хоружего разработанная Карсавиным концепция всеединства определяется как социоцентричная и умаляющая индивидуальное бытие и творчество, то Ястребицкая придает этой идее исключительно методологический смысл, рассматривая ее как предвосхищение концепции «тотальной истории»³¹. Неудивительно, что проблематика личности, центральная как для историографической полемики вокруг трудов Карсавина, так и для его философских построений, не входит в интеллектуальный горизонт становящейся исторической антропологии.

Исследовательницу сравнительно мало интересует роль ученого в разработке конкретных исследовательских областей — таких, как историография средневековой религиозности, история повседневности и материальной культуры и т. д. В центре ее внима-

²⁹ См. там же. При этом Хоружий неоднократно ссылается на историографические корни карсавинской философии. Объяснение экстравагантной творческой манеры и извилистого жизненного пути мыслителя он ищет главным образом в культуре Серебряного века. Эта версия была в дальнейшем развернута в многочисленных публикациях 1990—2000-х годов. См. напр.: Хоружий, 1994.

³⁰ Ястребицкая, 1996b.

³¹ Соответственно, она видится исключительно позитивной в свете задач изучения коллективных представлений и психического инструментария — вне связи с проблемой индивидуальной свободы. Ср.: Ястребицкая, 1991a: 20.

ния — карсавинская концепция исторического синтеза. Это сказывается и в подборе корпуса текстов, с которыми работает исследовательница³², и в подборе инстанций («официальная наука», «позитивизм» и т. д.) и фигур (Генрих Риккерт, Освальд Шпенглер, Николай Кареев и др.), выступавших для ученого в качестве адресатов полемики. В основе такого типа рецепции лежит практически исключительно имманентный анализ текстов. Отвлекаясь от метафизических, богословских и политических горизонтов используемых Карсавиным понятий, Ястребицкая стремится сблизить их с языком истории ментальностей. Так, например, комментируя статью «Восток, Запад и русская идея», Ястребицкая пишет: «Понятие “русской идеи” в этом контексте тождественно понятию “идеи культуры” как господствующей системы мировоззренческих представлений, ценностных ориентаций, неотрефлексированных форм сознания»³³. Историческая антропология представляется как содержание, которое скрывается в подчас неорганичной для себя форме³⁴. Вместе с тем весьма значимыми для языка описания оказываются и заимствования из карсавинского словаря³⁵.

Обращение к фигуре Карсавина как таковой несколько повышает значение биографического контекста, при этом речь идет только о его научной биографии. Характеристика ее в контексте школы Гревса призвана показать противоречивость отношений историка с современной ему историографией: она свидетельствует как о связи с профессиональной традицией, так и о непонимании его новаторских идей подавляющим большинством историков и, в частности, его учителем³⁶. В этом смысле Карсавин трактуется

³² Это главным образом «Введение в историю» (1920), «Философия истории» (1923) и методологические рассуждения во введениях к его историческим и культурологическим работам. Если говорить об аргументации, то упомянутая «Философия истории» хронологически оказывается фактически последним трудом Карсавина, на который опирается Ястребицкая.

³³ Ср.: «Какая бы то ни было иррациональность чужда Карсавину — остро и трезво мыслящему ученому», «Карсавин опустил историка с метафизических высот на землю — к деятельному человеку и его социокультурной практике» (Ястребицкая, 1996b: 66—67).

³⁴ «Язык современной науки стал иным, и теперь уже подчас карсавинская терминология затрудняет понимание его идей, в действительности поразительно созвучное нашим сегодняшним» (Указ соч.: 50).

³⁵ Ср., например: «Творчество Карсавина можно обозначить, пользуясь его же излюбленным термином, как “всеединство”, своеобразно реализующееся в каждом его исследовании, будь то конкретно-исторические или теоретические труды» (Указ. соч.: 37).

³⁶ Указ. соч.: 41—49.

как классик, опередивший время³⁷. Вместе с тем Ястребицкая специально останавливается на парижском периоде жизни Карсавина, высказывая гипотезу о возможных контактах Карсавина с Блоком и Февром. Наряду с Тейяр де Шарденом основатели школы «Анналов» оказываются практически единственными равновеликими Карсавину фигурами³⁸. Всех их объединяет как собственно научное новаторство, причастность к созданию новой историографической парадигмы, так и общность исторического опыта, способность адекватно оценить свою собственную историческую эпоху, выразить суть исторических катаклизмов начала XX в.³⁹

* * *

К концу 1990-х — началу 2000-х годов ситуация в «карсавиноведении» стала принципиально иной: к этому моменту уже переизданы сочинения Карсавина — сначала философские, а потом и исторические, существенно вырос корпус литературы, включавший в себя не только статьи, но и диссертации⁴⁰, появляются первые монографии, посвященные творчеству мыслителя⁴¹. Изменяется и ситуация в историографии: пространство науки становится более дифференцированным, возникают новые формы научной кооперации и коммуникации⁴². Наряду с «Одиссеем» появляются и другие издания по всеобщей истории, реализующие новые программные установки и коммуникативные стратегии: в 1996 г. выходит первый выпуск альманаха «Казус», в 1999 г. — первый выпуск альманаха по интеллектуальной истории «Диалог со временем». В каждом из этих изданий появляются публикации, посвященные Карсавину, однако характер публикаций весьма разнится. В то время как в «Казусе» фигура Карсавина находится в центре дискуссии,

³⁷ Стоит ли говорить, что реабилитация Карсавина как ученого является и моральной реабилитацией, производимой вне оценок его политической позиции. Аналогичные попытки подкрепить авторитет представителя науки иммунитетом в отношении политической рефлексии предпринимались в ряде публикаций конца 1980-х — 1990-х годов также и в отношении другого славянина — Николая Трубецкого. Ср. напр.: *Топоров*, 1990—1991.

³⁸ Михаил Бахтин в статье 1996 г. уже не упоминается, хотя сопоставление с концепцией диалога остается. Интересно, что понятие «диалог» фигурирует в контексте «диалога культур», но не проблематики исторического познания.

³⁹ *Указ соч.*: 35, 65.

⁴⁰ *Попов*, 1996; *Николаев*, 1996; *Бейлин*, 1997; *Свешников*, 1997; *Степанов*, 1998; *Повылайтис*, 1998; *Митько*, 1998; *Брусенцова*, 2000; *Дегтева*, 2000; *Мелих*, 2001; *Морозов*, 2001; *Рудман*, 2002; *Кравцова*, 2005.

⁴¹ См., например: *Мелих*, 2003.

⁴² Подробнее см.: *Свешников, Степанов*, в печати.

связанной с обсуждением современного состояния исторического знания⁴³, в «Диалоге со временем» материалы, посвященные историку, уже не имеют сколько-нибудь программного характера и не связаны с определением направления развития современной историографии⁴⁴. Впрочем, это соответствовало программе альманаха, одной из целей которого стала реабилитация историографических штудий и биографического подхода⁴⁵. Публикация о Карсавине планировалась также и в «Одиссее-2005»⁴⁶, однако материал был снят, поскольку к этому моменту он уже появился в сборнике «Портреты историков».

Многие из этих публикаций принадлежали опять-таки перу Ястребицкой. Помимо указанных альманахов они выходили и в ряде других изданий — от реферативных сборников и словарей до журнала «Вопросы истории» и упомянутого многотомного академического издания «Портреты историков». Жанр их вполне отвечал тому авторитетному статусу, который приписывается русскому историку. Большинство представляют собой систематический очерк учения, основанный на имманентном анализе текстов мыслителя. Фигура Карсавина приобретает в этих публикациях все более обобщенный характер: его имя репрезентирует уже не раздел дисциплины (история материальной культуры, медиевистика) или направление (культурная антропология, историческая антропология), но дисциплину в целом. При том что историографическая рамка, связывающая Карсавина с «новой исторической наукой», в целом сохраняется, структура историографического контекста претерпевает ряд изменений. Теряет свое значение контекст советской рецепции наследия Карсавина и неофициальной гуманитарной науки, и, в частности, сравнение с Бахтиным. Это можно считать симптомом того, что отношения с советской историографией становятся менее конфликтными, а базовые для заложенной «Одис-

⁴³ Проблематике позиционирования Карсавина в историко-антропологической традиции было посвящено также заседание историко-антропологического семинара РГГУ под руководством Юрия Бессмертного и Игоря Данилевского в марте 1999 г.

⁴⁴ Публикации статьи Аллы Ястребицкой в шестом выпуске альманаха предшествовала публикация ее же статьи в сборнике «Диалог со временем. Историки в меняющемся мире» (1996), который, по свидетельству Лорины Репиной, может считаться нулевым номером альманаха. Примечательно, что новая традиция истории исторической науки, связанная с «Одиссеем», встречается на страницах этого сборника с традицией советской историографии, представленной Евгенией Гутновой.

⁴⁵ Интервью с Лориной Репиной 01.06.2007 (архив Бориса Степанова).

⁴⁶ Это представляется показательным в плане классикалистских тенденций, характеризующих «Одиссей» конца 1990-х — начала 2000-х годов.

сеем» традиции постсоветской историографии понятия — такие, например, как «диалог культур», — теряют свой смысл как обозначение научного фронта и становятся общепринятыми. Показательно, что в отличие от публикации в «Одиссее» в статье Ястребицкой середины 1990-х понятие «диалог» получает уже обобщенную трактовку в контексте идей восстановления преемственности, «связи времен» и единства мировой науки, особенно актуальных для посттоталитарных обществ⁴⁷.

Думается, не будет ошибкой утверждать, что эти работы институционально, как, впрочем, и интеллектуально, принадлежат пространству интеллектуальной истории — как она была представлена на страницах альманахов и сборников, опубликованных по результатам проводимых Российским обществом интеллектуальной истории (РОИИ) конференций⁴⁸. Ориентируясь на проект интеллектуальной истории, Ястребицкая ставит в центр внимания тему саморефлексии историка в творчестве Карсавина. При этом показательно, что «диалогизм» используется ею для описания «интеллектуального механизма» исторического познания, а «диалог культур» интерпретируется через понятие «историческая память»⁴⁹. Наконец, в контексте интеллектуальной истории появляется возможность признать внеисториографический контекст концепции русского историка: «творчество Карсавина вобрало в себя интеллектуальные обретения символизма, западноевропейской экзистенциальной культур-философии»⁵⁰.

Наиболее явным свидетельством причастности этих текстов к полю интеллектуальной истории можно считать введение постмодернизма в горизонт историографической рефлексии и включение в язык историографического описания ряда топосов гуманитарной теории, что предполагает переопределение границы между наукой, с одной стороны, и философией (культурой) — с другой. Характерно, что и постмодернизм, и гуманитарные топосы вводятся как «общие места». Так, например, базовую метафору своего полемического отклика на статью Павла Уварова «Апокатастасис, или Основной инстинкт историка» Ястребицкая берет у Жака Деррида⁵¹. Не менее существенно и появление философских идентифи-

⁴⁷ Ястребицкая, 1996b: 68.

⁴⁸ См. Ястребицкая, 2000b; 2001; 2004.

⁴⁹ Ястребицкая, 2000b: 205.

⁵⁰ Ястребицкая, 2001: 205; философские квалификации карсавинского творчества см. также в: Немцов, 2002: 362.

⁵¹ Отклик имеет заглавие «Приспособление к себе», или «Эффект Бобчинского». Фраза Деррида («Рецепция — это всегда приспособление к себе»), правда, приводится без комментария и ссылки на источник. Не менее интересно и то, что оно вводится через цитату из Карсавина — «Объективного изложения

каций Карсавина, что свидетельствует об изменениях в понимании научности истории. Так, в статье, опубликованной в альманахе «Диалог со временем», концепция ученого характеризуется как «экзистенциалистская»⁵². Это определение, неорганичное для Карсавина, призвано придать научную респектабельность символистским и религиозно-философским импульсам в творчестве мыслителя. Вместе с тем оно становится и обозначением новизны концепции, которую, как отмечает автор, профессиональное сообщество отвергло раньше, чем новая власть⁵³.

Симптоматично и появление термина «феноменология культуры»⁵⁴, который используется для характеристики имманентного подхода к анализу эпохи⁵⁵. В конце 1990-х — начале 2000-х годов появляется целый ряд концепций, порожденных с разработкой исторической феноменологии как новой, связанной с источниковедением концепции обоснования гуманитарного знания, с большей или меньшей определенностью позиционирующей себя в качестве альтернативы исторической антропологии⁵⁶. Характерно, что, описывая поворот к исторической феноменологии в широкой перспективе становления современного гуманитарного знания, Ольга Медушевская и Марина Румянцева выдвигают на роль классика и главного теоретического авторитета Александра Лаппо-Данилевского, который, как и Карсавин, принадлежит и к дисциплине, и к отечественной интеллектуальной традиции. Более того, Лаппо-Данилевский в определенном смысле приходит на смену последнему. Так, Румянцева в статье, опубликованной в 2001 г., пишет:

чужих взглядов на самом деле не существует», которому французский мыслитель «вторит». См.: *Ястребицкая* 2000a: 117. О постмодернизме в связи с Карсавиным Ястребицкая писала еще в статье 1996 г. Она отмечает необходимость критической переоценки «обретенного в ходе исканий 1960—1980-х годов исследовательского багажа», однако, в чем должна заключаться эта критическая переоценка, не уточняет.

⁵² Это определение должно объяснить расхождение концепции Карсавина не только с марксизмом и с позитивизмом, но и с христианской философией истории. См.: *Ястребицкая*, 1996b: 110.

⁵³ *Указ. соч.*: 117. Соответственно, причиной расхождения Карсавина со школой Гревса является не «коллизия межличностных отношений», но «ментальный конфликт».

⁵⁴ Ср. *Ястребицкая*, 2000a: 116.

⁵⁵ В связи с этим Ястребицкая пишет об интересе Карсавина к «религиозным качеством» как «естественному языку культуры».

⁵⁶ См. *Каравашкин, Юрганов*, 2003; *Медушевская* 2001. В работах А. Л. Юрганова проект исторической феноменологии будет полемически обращен против концепции исторической антропологии, связанной с «Одиссеем» и прежде всего трудами Гуревича. Критику исторической феноменологии см., например, в: *Крам*, 2004.

«Несомненно, самое большое внимание современных гуманитариев привлекает творчество Л. П. Карсавина. Это чрезвычайно любопытно, поскольку Карсавину свойственны масштабные исторические построения, сочетающиеся с гораздо менее строгим отношением к методу исторического исследования. В настоящее время начинает активизироваться интерес к историкам-методологам, в частности к А. С. Лаппо-Данилевскому»⁵⁷.

Несмотря на отмеченные недостатки, которые не позволяют Карсавину выбиться в настоящие классики, он все же не получает полной отставки. Теперь его высказывания актуализируются уже не столько в связи с «Анналами», сколько с Лаппо-Данилевским, по отношению к которому Карсавин выступает как своего рода *alter ego*⁵⁸. Отдельные положения исторической феноменологии оказываются возможным подтвердить цитатами из его работ по теории истории⁵⁹.

* * *

Еще одна новая линия интерпретации творчества историка, хотя и не оказавшаяся столь влиятельной, как описанная выше, наиболее ярко была представлена и стала предметом обсуждения на страницах альманаха «Казус». Ее истоки мы можем обнаружить уже в предисловии, написанном Михаилом Бойцовым к переизданию книги Карсавина «Монашество в Средние века», вышедшей в 1992 г. Сопоставление подхода Карсавина с генеральной линией развития мировой историографии уходит здесь на второй план перед интересом к личности и духовной эволюции мыслителя, к формам интеллектуального самовыражения и их культурному контексту. Учитывая, в отличие от Ястребицкой, рецепцию Карсавина в советской историографии⁶⁰, Бойцов считает нужным дистанцироваться от моды на Карсавина и начавшейся его классикализации.

«...Вряд ли стоит... пускаться во все тяжкие, чтобы превознести до небес Карсавина-историка и окурить его образ непроницаемыми клубами фимиама... Нет нужды делать из него "самого крупного"

⁵⁷ Румянцева, 2001: 171.

⁵⁸ Здесь авторы — так же как и Ястребицкая в рассуждениях о парижском периоде жизни Карсавина — прибегают к квазиисторическим гипотезам, называя Карсавина «учеником и последователем Лаппо-Данилевского». См. *Медушевская, Румянцева*, 1997: 56.

⁵⁹ Такие, например, как утверждение значения источника как реального остатка своей эпохи, интерпретативной активности историка и т. д.

⁶⁰ Показательна его готовность принять с оговорками связь карсавинской концепции с «кризисом буржуазной историографии».

или же, более того, “гениального” историка, хотя в постановке ряда проблем он действительно обогнал и нашу, и зарубежную историческую науку на несколько десятилетий. Среди современников Карсавина было много прекрасных историков, в том числе и медиевистов. Но в одном хотелось бы подчеркнуть исключительность Карсавина. Он как никто другой из историков воплотил дух времени, дух русского Серебряного века, дух “fin de siècle”⁶¹.

Таким образом, Бойцов совпадает с Хоружим в признании значения культурного контекста как карсавинского *differentia specifica* как, впрочем, и в демонстрации конфликтов, вызванных неуживчивостью Карсавина.

Приведенная цитата примечательна и тем, что значение Карсавина у Бойцова определяется вовсе не ролью отца-основателя. Биография ученого приобретает здесь другой смысл: подробное освещение научной карьеры служит попытке осмыслить эволюцию Карсавина от истории к философии и, значит, увидеть научную работу как одну из ипостасей его духовного поиска⁶². Показательно, что, описывая складывание теории истории Карсавина в ответ на кризис историографии на рубеже XIX — XX вв., Бойцов подчеркивает значение как его собственного исследовательского опыта ученого, так и склада его личности⁶³. Стремление раскрыть экзистенциальный смысл профессиональной работы сопровождается у Бойцова признанием «несерьезности», игрового характера ряда произведений Карсавина. Исследователь отмечает не только трудность однозначной систематизации его взглядов, но и то, что за этой интеллектуальной игрой сквозит трагизм мироощущения⁶⁴. Между тем представляемая им книга получает обстоятельную историографическую характеристику. Она, как отмечает Бойцов, оказывается самой свежей и самой новой работой на русском языке по истории западного монашества, что является симптомом многолетнего отрыва отечественной науки от западной историографии. По этой причине большое внимание в предисловии к книге уде-

⁶¹ Бойцов, 1992: 25—26.

⁶² Указ. соч.: 10, 30. Показательно, что, довольно подробно обсуждая перипетии отношений Карсавина с советской властью, Бойцов дистанцируется от официальных квалификаций. Ср., например: «Только в 1989 г. Лев Платонович Карсавин был реабилитирован литовской прокуратурой. Впрочем, много ли значит сей формальный акт для нашего отношения к этому философу, исторiku, богослову?» (Указ. соч.: 25).

⁶³ Указ. соч.: 28—29.

⁶⁴ Ср.: «Впрочем, как и у Германа Гессе, “игра в бисер” Карсавина — занятие, при котором не чувствуется радости играющего. Скорее одиночество и спрятанный в глубине души трагизм мироощущения» (Указ. соч.: 15).

ляется комментарием относительно обстоятельств целей и адресата переиздания.

Предложенная Бойцовым трактовка карсавинского наследия была актуализирована и вместе с тем радикализирована в рамках профессиональных дискуссий, связанных с проблемой микроистории. В докладе Павла Уварова «Апокатастасис, или Основной инстинкт историка», впервые представленном в 1998 г. на конференции, посвященной соотношению микро- и макроподходов, а затем опубликованном в третьем выпуске «Казуса»⁶⁵, Карсавин становится символом иной профессиональной саморефлексии. Обращаясь к творчеству Карсавина, Уваров, как в свое время и Бойцов, делал акцент на опыте историка и экзистенциальной стороне научной работы. Именно опыт работы с источниками, а не методологическая подкованность оказываются критерием профессионализма: «Мастерство историка и его интуиция рождаются от того, что он уже “кончиками пальцев” знает материал, погружен в него»⁶⁶. В этом рассуждении Уваров опирается на карсавинскую идею вживания, в которой видел выражение основополагающего для профессионального историка личностного опыта. Смысл этого опыта был заключен в очевидности непосредственного контакта с изучаемыми историком людьми прошлого, переживания их *само*-бытности и неповторимой индивидуальности. Карсавинская идея всеединства трактовалась здесь не в теоретико-методологическом ключе, через идею культуры, тотальной истории и т. п., как это было у Ястребицкой, но в этическом и даже эсхатологическом смысле — через идею апокатастасиса, «воскрешения всех»⁶⁷. Традиционная для самоописания истории метафора воскрешения получила здесь радикальную онтологическую интерпретацию⁶⁸. В противовес как Ястребицкой, так и Хоружему, Уваров выделяет персоналистический и индивидуалистический характер концепции Карсавина, что позволяло связать ее с полемикой о микроистории⁶⁹.

⁶⁵ В «Казусе» состоялась, по сути, единственная на протяжении 1990—2000-х годов историографическая дискуссия о наследии Карсавина. Примечательно, что четыре из шести ее участников в то время или ранее (как Юрий Бессмертный) входили в редколлегия «Одиссея».

⁶⁶ Уваров, 2000: 18.

⁶⁷ Интересно, что этому предшествовала попытка использовать карсавинское понятие стяженного всеединства в более позитивном ключе — как аналог «исключительного нормального» микроисториков. См.: Уваров, 1996: 289.

⁶⁸ Вскрывая бытийственный смысл, который метафора «воскрешения» приобрела в карсавинской концепции апокатастасиса, Уваров говорил о возможности осмыслить строгость исторического знания не в когнитивном, но в этическом и философско-историческом горизонте.

⁶⁹ Тема познания индивидуального была программной для проекта микроистории, обсуждавшегося в «Казусе». Характеристику ее см. в: Савельева, Полетаев, 2003—2006, 2: 650—666.

и подчеркнуть ее возможности обращаться к изучению отдельных случаев без последующей генерализации, вписывания в культурный контекст и проч. Научность истории получает уже не методологическое, но отсылающее к опыту историка и вместе с тем этическое обоснование. Возможности и пределы науки обозначаются введением ее в предельный горизонт всеобщей истории и соотношением с памятью как антропологическим основанием исторической науки.

В этом контексте совершенно иначе выглядят и творческая эволюция Карсавина, и горизонт осмысления его творчества. Его уход из историографии и обращение к философии предстает своего рода казусом, проявляющим антропологические предпосылки самой исторической науки, вытесненные на периферию профессиональной саморефлексии. Таким образом, трактовка Уварова в духе авангардистской стратегии «Казуса»⁷⁰ представляет Карсавина как своего рода культовую фигуру, балансирующую на грани общезначимого и группового. Показательно, что в творчестве Карсавина подчеркиваются несистемные моменты⁷¹, невозможность систематизировать его наследие становится метафорой невозможности присвоить прошлое, воспринимаемое историком в его уникальности. Творчество ученого оказывается внутренне гетерогенным, но именно эта гетерогенность позволяет указать на специфику опыта историка.

Намечая интеллектуальную биографию ученого, Уваров пишет об условности сравнения его с анналистами и сопоставляет его с Эрнстом Канторовичем, который, по определению Отто-Герхарда Эксле, «не в ладах с современностью»⁷². Противоположный смысл приобретает у него и сравнение с Пьером Тейяр де Шарденом. С французским философом Карсавина сближает не научность, но сходство религиозно-философских установок и еретическая позиция по отношению к философскому мейнстриму. Остальные персонажи статьи Уварова — Гоголь, Николай Федоров и его последователи, Горький, Лев Толстой и Достоевский — принадлежат преимущественно к отечественной, но не историографической, а литературной традиции. Как и у Бойцова, значимым контекстом оказывается культурный контекст Серебряного века, научный же контекст, связанный со школой Гревса, упомянут совершенно походя.

Не менее важно то, что начиная с названия статья Уварова пестрит отсылками к современной научной и культурной повсе-

⁷⁰ См. об этом: *Свешников, Степанов*, в печати.

⁷¹ Ср. об этом: *Дубин*, наст. изд.

⁷² *Уваров*, 2000: 18

дневности. Речь идет не только об отсылках к дискуссиям вокруг альманаха «Казус» и тенденциям развития современной историографии (развитие персональной истории, разочарование в глобалистских моделях и проч.). В связи с микроисторией и Карсавиным упоминаются, например, мормонский проект и спектакль «Песня о Волге», Секо Асахара и доктор Збарский. Обратной стороной всемирно-исторической перспективы становится акцентирование группового и ситуационного контекста высказывания, подчеркиваемого и личностной тональностью текста. Обсуждение проблем историзма и самоидентификации историка на материале литературы, философии и даже магии обозначает напряжение между научностью истории и другими формами воскрешения прошлого, слитыми в базовой для историографии метафоре воскрешения. Таким образом, здесь тема истории как (вечной) памяти представлена уже не в апроприированной наукой, но в провокативной по отношению к «нормальной» историографической рефлексии форме⁷³. Ставя вопрос об антропологических константах опыта историка, статья осуществляет рационализацию мотивов («инстинктов») исторического познания.

Нарушение границы между общезначимым и групповым, научным и экзистенциальным было зафиксировано и откликами оппонентов Уварова. Так, Леонид Баткин отмечал двойственность впечатления, производимого статьей, сложность идентификации ее как научного текста:

«...Статья, все время ведя речь “не о том”, достигает цели в качестве искреннего крика души... Будучи привержен американскому принципу *privasy*, я не считаю возможным возражать против “сокровенных чувств” П. Ю. Уварова относительно “Философии общего дела”. Но бредни Федорова... к теме исторической исследовательской реконструкции, во всяком случае, ни малейшего отношения, кроме разве что метафорического, по-моему, не имеют»⁷⁴.

⁷³ Наш материал позволяет откликнуться на рассуждения Виктора Вахштайна о революционизировании («постановка под сомнение прежде достигнутого теоретического консенсуса») и ассимиляции («запоздалое восстановление связи с той или иной традицией») как стратегиях прочтения классики (см.: *Вахштайн*, наст. изд.). Позиции Уварова и Ястребицкой выглядят с точки зрения этой классификации достаточно неоднозначно. В то время как Ястребицкая, создавая образ историка, опередившего время, стремится сформировать конвенциональную интерпретацию карсавинского творчества, Уваров, утверждая принадлежность Карсавина своему времени, своей интерпретацией бросает вызов современному профессиональному сообществу.

⁷⁴ *Баткин*, 2000: 83

В свою очередь, Ястребицкая увидела в тексте Уварова личный выпад, а подход автора оценила как балансирующий на грани популяризации и вместе с тем как форму элитарной интеллектуальной игры («завуалированные аллюзии», «привкус “скандальчика” для особо посвященных»)⁷⁵. Более того, она задает вопрос о том, что есть та «наша наука», к которой апеллирует Уваров. Таким образом, для критиков Уварова оказываются проблематичными сами основания предъявления им своей позиции, а значит, и интерпретации образа классика⁷⁶.

* * *

Подытоживая наш анализ стратегий конструирования образа классика в текстах, посвященных Льву Карсавину, попытаемся поместить его в некоторую более общую перспективу. Появившись как символ новой программы исторического знания, имя Карсавина оставалось на протяжении 1990—2000-х годов, значимым для общества историков, игравших ведущую роль в обновлении дисциплины. В течение 1990—2000-х годов творчество Карсавина востребовано уже в рамках разных эшелонов науки. Корпус работ, посвященных историку, включает тексты разных жанров — от тезисов до диссертаций, от предисловий до словарных статей. Карсавин становится авторитетной фигурой не только для всеобщих историков, но и для историков-русистов, формируется каноническая интерпретация его образа, связанная с новыми представлениями о дисциплине и ее истории.

Как мы видели, актуализация карсавинского наследия была во многом связана с проектами гуманитарного синтеза, однако в отличие, например, от Бахтина или формалистов русский историк не имел и, по всей видимости, не будет иметь ни международного, ни междисциплинарного статуса классика — ни в качестве историка, ни в качестве философа. Не может он претендовать и на роль национального классика, такого, например, как Михаил Грушевский на Украине. Пограничный статус Карсавина как по отношению к научной школе, так и в целом по отношению к институту исторической науки (речь идет как об интеллектуальной траектории, так и о его исторической концепции) не позволяет ему утвердиться в

⁷⁵ Ястребицкая, 2000а: 108. При этом в своих инвективах Ястребицкая апеллирует к «подлинному Карсавину», который не получил признания (хотя и по-разному) ни у современников, ни у представителей советской историографии и продолжает оставаться вытесненным на дисциплинарную периферию, а то и вовсе — за пределы профессии. Таким образом, по ее мнению, интерпретация Уварова содержательно возрождает «старую» (т. е. философскую) интерпретацию карсавинского творчества (Указ. соч.: 114, 116).

⁷⁶ Оценку статьи Уварова см. также в: Степанов, 2000: 102—106.

качестве безусловно авторитетной фигуры⁷⁷. Возможно, отсутствие монографий, посвященных Карсавину, в отличие, например, от Лаппо-Данилевского⁷⁸, определяется не только пристрастиями и личными обстоятельствами исследователей его творчества.

Даже в отечественной медиевистике Карсавин до сих пор не является по-настоящему классической фигурой. Показательно, что в отличие от Сергея Сказкина, Евгения Косминского и других представителей советской медиевистики первый мемориальный материал о Карсавине в альманахе «Средние века» появился лишь в 2006 г.⁷⁹, а рецензия на переиздание его книги о средневековой религиозности была опубликована лишь через пять лет после её выхода⁸⁰. Не упоминается он (в отличие от Ивана Гревса и Ольги Добиаш-Рожественской) и среди медиевистов Санкт-Петербургского университета и представителей петербургской исторической школы⁸¹. Несмотря на то что количество ссылок на работы Карсавина увеличилось, как медиевист он востребован все же достаточно мало⁸². Его «медиевистические работы», особенно ранние, практически не упоминаются (или упоминаются мимоходом). Можно заниматься медиевистикой, даже историей религиозности XII—XIII вв. и не ссылаться на Карсавина (тогда как историей России XVI—XVII вв., не упоминая Василия Ключевского или Сергея Платонова, заниматься нельзя). Даже в близких по методике и объекту работах, посвященных анализу религиозных практик, Карсавин упоминается редко⁸³. Показательно, что переиздания трудов Карсавина, в том числе и исторических, были инициированы философами в не меньшей степени, чем историками⁸⁴. Так или иначе в

⁷⁷ Этому препятствует и отсутствие у историка обширного научного архива.

⁷⁸ См. об этом: *Гусман*, 2005: 166—167.

⁷⁹ *Клементьева*, 2006.

⁸⁰ *Немилов*, 2002.

⁸¹ См.: *Радаева*, 2001. Не всегда упоминается Карсавин и в пособиях по истории исторической науки последних лет. См. например: *Репина*, *Зверева*, *Парамонова*, 2004.

⁸² См., например: *Усков*, 2001; *Гуревич*, 2002; *Бойцов*, 2004.

⁸³ Исключением можно считать востребованность в изучении народной религиозности. См. об этом: *Кром*, 2003: 192. Симптоматично также и то, что одно из первых — за исключением характеристики Бойцова в его предисловии к переизданию книги Карсавина о монашестве — указаний на место работ Карсавина в историографии средневековой религиозности принадлежит не медиевисту, но историкам философии. См.: *Клементьева*, *Клементьев*, 1997: 415—416.

⁸⁴ Справедливости ради надо сказать, что последнее по времени переиздание фундаментального труда Карсавина «История европейской культуры» вышло в серии «Библиотека Средних веков».

философскую традицию Карсавин оказался вписан гораздо лучше, хотя, конечно, соперничать по востребованности с Николаем Бердяевым, Павлом Флоренским или Василием Розановым ему сложно.

Если говорить о характере актуализации Карсавина, то нужно отметить, что она имела преимущественно символический характер. Его образ был актуализирован в контексте обозначения разрыва между «новой исторической наукой» и старой (позитивистской?) историей. Утрата этим разрывом революционного характера в глазах научного сообщества привела к определенной девальвации научного статуса Карсавина. Этому способствовал целый ряд факторов: релятивизация представлений о научности, связанная с воздействием новейших западных интеллектуальных тенденций, крушение советских научных иерархий — как официальных, так и неофициальных, дифференциация научного сообщества и рост публикационных возможностей⁸⁵. Постепенно Карсавин утрачивает статус отца-основателя новой историографии, его фигура несколько теряется на фоне других классиков и современников. Сформировавшись в связи с новой программой исторического синтеза, образ Карсавина классикализировался и вместе с тем оказался восприимчивым к разного рода мутациям и поворотам, которые эта программа претерпела на протяжении 1990—2000-х годов, к смене историографического контекста. Однако, как показал наш анализ, обращение к Карсавину в контексте проектов нового теоретического обоснования историографии не было единственной реакцией на процессы релятивизации научности, традиционно осмысляемой как постмодернизм. Альтернативная стратегия актуализации творчества историка была обращена против тривиализации теоретического дискурса в историографии⁸⁶. В рамках этой стратегии акцент делался на специфике профессионального опыта и проблематичности соотношения ролей историка и теоретика. В отличие от первой стратегии, где влияние постмодернизма заметно главным образом в освоении ряда топосов современного теоре-

⁸⁵ См. об этом напр.: *Берелович*, 2005; *Бойцов*, 1999.

⁸⁶ Ср. суждения Петра Уварова: «...Историки много, и они разные. Одни изучают, как работают историки, как они работали или как им следует работать. Мы их классифицируем как эпистемологов, историографов и методологов. Эта группа становится все более многочисленной и все более успешной... Но существует и другая группа историков, которые по старинке пытаются писать историю по источникам, делают они это без особого успеха (как показывают исследования их означенных выше коллег), положение их, прямо скажем, не блестящее, да и численность их все убывает за счет разрастания первой группы» (*Уваров*, 2003: 303); «...Мы и так потеряли достаточно своих коллег, эмигрировавших в область чистой эпистемологии» (*Уваров*, 2000: 31).

тического языка, здесь постмодернизм явлен в иронической манере письма и экспериментировании с различными ресурсами историографической рефлексии. При этом сам образ профессии оставался вполне традиционным. Таким образом, наследие Карсавина — возможно, в этом его отличие и в определенном смысле преимущество по отношению к другим историографическим авторитетам — позволило сформулировать достаточно разнообразные версии профессиональной идентичности.

Различие стратегий интерпретации и разных стадий их бытования связано не только с изменениями историографического контекста. Здесь оказываются важны и жанры публикаций (очерк научного направления, систематизация концепции, научное предисловие, биографическое эссе и т. д.), разнообразие которых указывает на дифференциацию пространства дисциплины, но также и контекст публикаций. В связи с этим меняется и характер авторитета ученого: в «Одиссее» — основатель направления, в «Казусе» — культовая фигура, в «Диалоге со временем» — один из (выдающихся) историков.

Наряду с явными следами изменения и внутренней дифференциации дисциплины наш анализ свидетельствует и о том, что доминирующий дискурс о Карсавине в целом нельзя считать в достаточной степени рефлексивным. Его недостаточность выражается в доминировании ассимилирующих стратегий и имманентного анализа, отрыве от историографической традиции и наличии квазиисторических допущений, дисциплинарной недифференцированности и обобщенности (если не практически полном отсутствии) культурного контекста. Симптомом закрытости в отношении к современной историографической рефлексии можно считать то, что фигура Карсавина в очень незначительной степени стала инструментом критики и самокритики исторической психологии и исторической антропологии. Это значит, что вокруг Карсавина пока не сформировалось рефлексивное пространство истории науки, или, иначе, интеллектуальной истории. Возможно, исследование творчества классиков, и, в частности, классиков неоднозначных, в рамках интеллектуальной истории имеет мало шансов претендовать на место во фронтире историографии⁸⁷. Однако такое исследование, чуткое к вопросу о том, как делается наука, где она обретает и где теряет свой смысл, является необходимым условием формирования более изощренной и дифференцированной дисциплинарной саморефлексии. Такого рода работу можно считать

⁸⁷ См.: *Савельева*, наст. изд.; *Полетаев*, наст. изд. — в частности, в связи с различием презентистского и историцистского подхода и характеристикой организационно-сетевых моделей.

важнейшей функцией интеллектуальной истории⁸⁸. Без ее развертывания инновационный потенциал истории, как и любой другой науки, очевидно, будет слабее.

Литература

Алиева Д. Я. Историографическая саморефлексия в современной социологии // *Социологический журнал*. 1995. № 4. С. 50—68.

Баткин Л. М. Заметки о современном историческом разуме // *Казус: Индивидуальное и уникальное в истории*. Вып. 3. М.: РГГУ, 2000. С. 62—96.

Бейлин Б. А. Метафизика культурно-исторического бытия в философии Л. П. Карсавина: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 1997.

Берелович А. О культе личности и его последствиях (заметки о позднесоветском интеллектуальном сообществе) // *Новое литературное обозрение*. 2005. № 76. С. 39—44.

Бойцов М. А. Вперед, к Геродоту! // *Казус: Индивидуальное и уникальное в истории*. Вып. 2. М.: РГГУ, 1999. С. 17—41.

Бойцов М. А. Не до конца забытый медиевист из эпохи русского модерна... // Карсавин Л. П. Монашество в Средние века. М.: Высшая школа, 1992. С. 3—33.

Бойцов М. А. Папский зонтик, бог Гелиос и судьбы России. // *Казус: Индивидуальное и уникальное в истории*. Вып. 6. М.: ОГИ, 2005. С. 99—154.

Брусенцова Н. В. Концепция «культуро-личности» Л. П. Карсавина: Автореф. дис. ... канд. культурологических наук. М., 2000.

Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / Пер. с франц. СПб.: Алетейя, 2005.

Вайнштейн О. Л. Историография истории средних веков в связи с развитием исторической мысли от начала средних веков до наших дней. М.; Л.: Госсозэкгиз, 1940.

Вандалковская М. Г. Историческая наука российской эмиграции: «евразийский соблазн». М.: Памятники исторической мысли, 1997.

Гудков Л. Г., Дубин Б. В. Литература как социальный институт. М.: Новое литературное обозрение, 1994.

Гуревич А. Я. К читателю // *Одиссей: Человек в истории*. 1989. М.: Наука, 1989. С. 5—10.

Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М.: Искусство, 1981.

Гуревич А. Я. «Феодалное Средневековье»: что это такое? Размышление медиевиста на грани веков // *Одиссей: Человек в истории*. 2002. М.: Наука, 2002. С. 261—293.

Гусман Л. Ю. [Рец. на кн.: Малинов А. В., Погодин С. Н. Александр Лаппо-Данилевский: историк и философ. СПб.: Искусство, 2001; Истори-

⁸⁸ Ср. обзор ситуации в социологии: Алиева, 1995. Образец такой рефлексии в лингвистике: Серий, 2001.

ческая наука и методология истории в России XX века: к 140-летию со дня рождения академика А. С. Лаппо-Данилевского. СПб.: Северная звезда, 2003; Ростовцев Е. А. А. С. Лаппо-Данилевский и Петербургская историческая школа. Рязань: НРИИ, 2004] // *Вопросы истории*. 2005. № 7. С. 166—167.

Гутнова Е. В. Историография истории Средних веков. М.: Высшая школа, 1974.

Дегтева Л. В. Антропологическая концепция в философии истории Л. П. Карсавина: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 2000.

Дубин Б. В., Рейтблат А. И. Литературные ориентиры современных журнальных рецензентов // *Новое литературное обозрение*. 2003. № 59. С. 557—570.

Дубин Б. В., Рейтблат А. И. О структуре и динамике системы литературных ориентаций журнальных рецензентов (1820—1978) // Книга и чтение в зеркале социологии. М.: Книжная палата, 1990. С. 150—176.

Каганович Б. С. Петербургская школа медиевистики в конце XIX — начале XX веков: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л., 1986.

Каганович Б. С. П. М. Бицилли как историк культуры // *Одиссей: Человек в истории*. 1993. М.: Наука, 1994. С. 256—271.

Каравашкин А. В., Юрганов А. Л. Опыт исторической феноменологии: Трудный путь к очевидности. М.: РГГУ, 2003.

Карсавин Л. П. Основы средневековой религиозности в XII—XIII вв. // Карсавин Л. П. Сочинения / Под ред. А. К. Клементьева, С. Ю. Клементьевой. СПб.: Алетейя, 1997. Т. 2.

Клементьева В. А. Вспоминая Льва Платоновича Карсавина (Санкт-Петербург, декабрь 2002 г.) // *Средние века*. М.: Наука, 2006. Вып. 67. С. 152—154.

Клементьева С. Ю., Клементьев А. К. Примечания // Карсавин Л. П. Основы средневековой религиозности в XII—XIII вв. СПб.: Алетейя, 1997. Т. 2. С. 395—418.

Копосов Н. Е., Бессмертная О. Ю. Ю. Л. Бессмертный и «новая историческая наука» в России // *Номо Historicus: К 80-летию со дня рождения Ю. Л. Бессмертного*. М.: Наука, 2003. Кн. 1. С. 122—160.

Кравцова О. Б. Научные и метафизические основания философии истории Л. П. Карсавина. Автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 2005.

Кром М. М. «Зрячий миф», или Парадоксы «исторической феноменологии» [Рец. на кн.: Каравашкин А. В., Юрганов А. Л. Опыт исторической феноменологии: Трудный путь к очевидности. М.: РГГУ, 2003] // *Новое литературное обозрение*. 2004. № 68. С. 309—319.

Кром М. М. Отечественная история в антропологической перспективе // Исторические исследования в России — II. Семь лет спустя. М.: АИРО—XX, 2003. С. 179—202.

Медушевская О. М. Историческая антропология и антропологически ориентированная история: общность источников познания в науках о человеке. 2001. <http://cmb.rsuh.ru/article.html?id=57957>

Медушевская О. М., Румянцева М. Ф. Методология истории. М.: РГГУ, 1997.

Мелих Ю. Б. Персонализм Карсавина и европейская философия. М.: Прогресс-Традиция, 2003.

Мелих Ю. Б. Персоналистское содержание философии Л. П. Карсавина: Автореф. дис. ... д-ра филос. наук. М., 2001.

Митько А. Е. Место этики в философии всеединства Л. П. Карсавина: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 1998.

Морозов А. А. Русская медиевистика в эмиграции: Л. П. Карсавин, П. М. Бицилли, Н. П. Оттокар: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2001.

Немилов А. Н. [Рец. на кн.: Карсавин Л. П. Основы средневековой религиозности в XII—XIII вв. / Подгот. текста, примеч. и послесл. А. К. Клементьева, С. Ю. Клементьевой. СПб., 1997. Т. 2] // *Средние века*. М: Наука, 2004. Вып. 65. С. 361—362.

Неретина С. С., Огуцков А. П. Время культуры. СПб.: Изд-во РХГИ, 2000.

Николаев А. Е. Проблема взаимосвязи истории и политики в философии Л. П. Карсавина: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 1996.

Очерки истории отечественной исторической науки XX века / Ред. В. П. Корзун. Омск: Изд-во ОМГУ, 2005.

Повилайтис В. И. Учение Л. П. Карсавина о «симфонической личности» как субъекте исторического процесса: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. СПб., 1998.

Попов Н. А. Труды русских историков второй половины XIX века как источники по истории формирования исторической психологии: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1996.

Радаева А. Петербургская историческая школа в Санкт-Петербургском государственном университете: история и современность. 2001. <http://history.pu.ru/general/about/online/2001/12/14.htm>.

Репина Л. П., Зверева В. В., Парамонова М. Ю. История исторического знания. М.: Дрофа, 2004.

Розовская И. И. Методологические проблемы социально-исторической психологии (на материале французской исторической школы «Анналов»): Автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 1972.

Рудман М. Н. Концепция исторического синтеза в творчестве Л. П. Карсавина и П. М. Бицилли: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Уфа, 2002.

Румянцева М. Ф. «Чужое Я» в историческом познании: И. И. Лапшин и А. С. Лаппо-Данилевский // *История и историки. 2001. Историографический вестник*. М.: Наука, 2001. С. 161—174.

Румянцева М. Ф. Метод источниковедения: от герменевтики сознания к герменевтике бытия // Материалы научной конференции «Межкультурный диалог в историческом контексте» (ИВИ РАН, Москва, 30—31 октября 2003 г.). М.: ИВИ РАН, 2003. С. 178—181.

Савельева И. М., Полетаев А. В. Знание о прошлом: теория и история: В 2 т. СПб.: Наука, 2003—2006.

Свешников А. В. Историческая концепция Л. П. Карсавина и поиски нового языка исторической науки: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск, 1997.

Свешников А. В., Степанов Б. Е. Коммуникативные стратегии постсоветских исторических альманахов (в печати).

Степанов Б. Е. Становление теоретической культурологии в трудах Л. П. Карсавина: Автореф. дис. ... канд. культурол. М., 1998.

Серио П. Структура и целостность: Об интеллектуальных истоках структурализма в Центральной и Восточной Европе, 1920—1930-е годы / Пер. с франц. М.: Языки славянской культуры, 2001.

Степанов Б. Е. «...Всех поименно назвать» // *Казус: Индивидуальное и уникальное в истории*. М.: РГГУ, 2000. Вып. 3. С. 97—107.

Степанов Б. Е. Тонкая красная нить: споры о личности и индивидуальности как зачин историографии 90-х // *Новое литературное обозрение*. 2007. № 83/84 (на CD).

Топоров В. Н. Николай Сергеевич Трубецкой — ученый, мыслитель, человек // *Советское славяноведение*. 1990. № 6. С. 54—81; 1991. № 1. С. 78—95.

Уваров П. Ю. Апокатастасис, или Основной инстинкт историка // *Казус: Индивидуальное и уникальное в истории*. М.: РГГУ, 2000. Вып. 3. С. 15—32.

Уваров П. Ю. Думают ли историки? А если думают, то зачем? // *Одиссей: Человек в истории*. 2003. М.: Наука, 2003. С. 303—332.

Уваров П. Ю. Старость и немощность в сознании француза XVI века // *Человек в кругу семьи*. М.: РГГУ, 1996. С. 261—289.

Усков Н. Ф. Христианство и монашество в Западной Европе раннего Средневековья. СПб.: Алетейя, 2001.

Хмылев Л. Н. Проблемы методологии истории в русской буржуазной историографии конца XIX — начала XX веков. Томск: ТГУ, 1978.

Хоружий С. С. Жизнь и учение Льва Карсавина // *Хоружий С. С. После перерыва. Пути русской философии*. СПб.: Алетейя, 1994. С. 131—184.

Хоружий С. С. Лев Платонович Карсавин // *Литературная газета*. 22 февраля 1989. С. 5.

Ястребицкая А. Л. Историк-медиевист Л. П. Карсавин (1882—1952): Аналит. обзор. М.: ИНИОН, 1991a

Ястребицкая А. Л. Повседневность и материальная культура Средневековья в отечественной медиевистике // *Одиссей: Человек в истории*. 1991. М.: Наука, 1991b. С. 87—102.

Ястребицкая А. Л. У истоков культурно-антропологической мысли в России // *Российская историческая мысль: Из эпистолярного наследия Л. П. Карсавина: Письма И. М. Гревсу (1906—1916)*. М.: ИНИОН, 1994. С. 8—23.

Ястребицкая А. Л. «Введение в историю» Л. П. Карсавина. Предисловие к публикации // *Вопросы истории*. 1996а. № 8. С. 101—109.

Ястребицкая А. Л. Историк культуры Лев Платонович Карсавин: у истоков исторической антропологии в России // *Диалог со временем*. Историки в меняющемся мире. М.: ИВИ РАН, 1996b. С. 35—68.

Ястребицкая А. Л. Карсавин Лев Платонович // *Культурология XX век: Энциклопедия: В 2 т.* СПб.; М., 1998. Т. 1. С. 298—300.

Ястребицкая А. Л. «Приспособление к себе», или «Эффект Бобчинского»? // *Казус: Индивидуальное и уникальное в истории*. М.: РГГУ, 2000а. Вып. 3. С. 108—117.

Ястребицкая А. Л. Индивидуальное творчество историка и историографический процесс: Лев Платонович Карсавин // *Преемственность и разрывы в интеллектуальной истории*. Мат. науч. конф. М.: ИВИ РАН, 2000b. С. 202—206.

Ястребицкая А. Л. Лев Платонович Карсавин: творчество историка и историографический процесс // *Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории*. М.: УРСС, 2001. Вып. 6. С. 80—117.

Ястребицкая А. Л. Лев Платонович Карсавин (1882—1952) // *Портреты историков. Время и судьбы*. Т. 3. Древний мир и Средние века. М.: Наука, 2004. С. 441—473.

Baehr P., O'Brien M. Founders, Classics and the Concept of Canon // *Current Sociology*. Spring 1994. Vol. 42.

Markwick R. D. Cultural History under Khrushchev and Brezhnev: From Social Psychology to Mentalités // *The Russian Review*. April 2006. Vol. 65. P. 283—301.

Александр Дмитриев

ПРИСВОЕНИЕ КАК КОНСТИТУИРОВАНИЕ, ИЛИ О РУССКОМ ФОРМАЛИЗМЕ И «НЕКЛАССИЧЕСКОЙ» ГУМАНИТАРНОЙ КЛАССИКЕ

Чем определяется классический статус тех или иных концепций в гуманитарных науках? Связан ли он с принадлежностью к условному классическому временному этапу развития знания (например, до начала XX в.) или является некоторым смещением общепризнанности и востребованности, что содержательно повышает значимость того или иного комплекса идей? По последнему признаку — в смысле культурного рефлекса, авторитетности самого названия и узнаваемости имен — русский формализм этим классическим статусом вполне обладает; эта общая слава вполне может быть исчислена и по индексу цитирования, количеству статей и монографий (особенно за пределами славистики), упоминанию в самых общих энциклопедиях и справочниках и т. д. Сам феномен отложенного признания, когда вклад и научный вес той или иной школы признаются классическими десятилетия спустя после прекращения ее существования, не является чем-то сугубо исключительным, с одной важной поправкой в случае формализма. Ведь речь идет о литературоведческой школе, тесно связанной с анализом и развитием именно русской словесности и обстоятельствами идейного развития России в XX в. Именно поэтому российский и зарубежный контексты признания формализма существенно различались с самого начала появления этой теории. Если уже первые

выступления Виктора Шкловского с тезисами об остранении и природе поэтического вызвали бурную реакцию в отечественной печати, то упоминания формалистов в иноязычных обзорах филологической жизни России появляются лишь к концу 1920-х годов на страницах специализированных *филологических* журналов по *славистике*, сами же переводы текстов формалистов печатаются в Западной Европе лишь с середины 1960-х¹.

Школой, сделавшей русский формализм классикой, были структурная лингвистика и структурализм; без этого контекста на Западе формализм наверняка остался бы полузабытым авангардно-новаторским течением революционных и нэповских лет. Стратегия забвения была как раз последовательно реализована в официальном советском литературоведении с начала 1930-х до конца 1980-х годов. После недобровольного прекращения существования формализма (реорганизация-заккрытие Государственного института истории искусств, публичное отречение Шкловского от своей «научной ошибки») в 1930 г. формализм существовал на страницах учебников как пример модернистского заблуждения и небезопасного теоретического уклона первых советских десятилетий. Однако в самый пик погромных кампаний 1936 и 1949—1952 гг. атаковали либо сам ярлык, либо личности уклонистов (Виктора Шкловского и отчасти Бориса Эйхенбаума), не вдаваясь в суть или детали формалистского исповедания. Внимание к вопросам композиции произведения, отход от линейно-идеологического противопоставления разных течений русской литературы XVIII—XIX вв. были — без указания на первоисточник в силу указанных причин — восприняты лучшими учеными тех лет: стилиевой анализ и внимание к языку литературы развивал будущий академик Виктор Виноградов, принцип историзма — Григорий Гуковский; и тот и другой работали вместе с формалистами в ГИИИ и в глазах критиков еще в 1920-е годы к формализму, безусловно, причислялись.

Принципиально важным был вопрос о целостности произведения и литературного процесса и о завершенности анализа: если у формалистов ведущим принципом было раскрытие внутренней организованности и историко-культурной уникальности произведения, которые не нуждались ни в каком внешнем, с точки зрения формалистов, достраивании до философской эстетики и историко-софской схемы, то в советском литературоведении такая нормативная эстетика сразу была постулирована — как марксистско-ленин-

¹ См. подробнее о стадиях признания формалистов на Западе: *Дмитриев*, 2002.

ская. Сама эта эстетика также встраивалась в общую марксистскую доктрину о литературе как части надстройки, в учение об отражении действительности и гегелевские по сути представления о закономерном, поступательном и обогащающем движении литературного процесса. Именно против этого насильственного восполнения якобы несамодостаточной науки о литературе той или иной философской эстетикой или социологической доктриной последовательно выступали сами формалисты еще при жизни этого течения, в середине 1920-х годов. Тем более любопытно выглядят разные сегодняшние попытки «скрестить» формалистское наследие с той или иной персоналистской философией искусства (особенно в случае сегодняшних адептов Михаила Бахтина).

Отмеченное выше «служебное» использование в составе советской науки ряда существенных формалистских принципов — у Виноградова, Гуковского или Николая Гудзия — помогло последующей эмансипации филологии от наиболее грубых и спрямленных элементов марксистской доктрины в эпоху «оттепели». Даже в самых общих курсах введения в литературоведение 1930—1940-х годов представления о специфике словесного искусства, заданные формалистами, без упоминания их имен уже присутствовали. Следует отметить отказ от необходимости «эстетических» и истматовских пролегомен к литературоведению в двух важных курсах, читавшихся в самые первые послевоенные годы на филологических факультетах МГУ, МГПИ и ЛГУ Григорием Винокуром и Виктором Жирмунским соответственно² (эти ученые были близки к формализму в начале 1920-х, но уже к 1923—1924 гг. отошли от основной опоязовской группы именно в силу их нацеленности на общеполитическое толкование литературы). Теперь же в имплицитном противостоянии вульгарно-марксистским упрощениям и обобщающей схоластике официальных учебников в их руководствах возобладал предметно-профессиональный подход — от библиографии, текстологии и «творческой лаборатории писателя» (у Жирмунского) до истории филологических дисциплин, их античных и антиковедческих истоков (у Винокура). Официальные учебники того времени — Григория Абрамовича, Геннадия Пospelова или Леонида Тимофеева — отводили вопросам внутренней организации литературного текста минимальную и сугубо техническую роль, растворяя их в мировоззренческих или общих идейно-художественных принципах той или иной эпохи, класса или писателя. Поразительно, что, вышедшие первыми изданиями еще в 1930—1940-е годы, эти книги в качестве учебников для филологических факультетов педвузов или университетов фактически дожили до пе-

² См.: Винокур, 2000; Жирмунский, 1996.

рестройки. Естественно, никакого упоминания о формальной школе, кроме общих критических выпадов против теории «искусства для искусства», они не содержали.

Дело в том, что формализм уже в начале 1930-х годов считался скорее «преодоленным», чем «разгромленным», — никто из трех главных его представителей (Виктор Шкловский, Юрий Тынянов, Борис Эйхенбаум) не был расстрелян или даже репрессирован. Напротив, в качестве «спецов», знатоков литературной техники и истории словесного искусства они подвизались во вполне востребованных областях научного издания русских классиков, популяризации и изучения «передовой» культуры XVIII—XIX вв., на ниве сочинения биографических работ и сценариев советской киноиндустрии (особенно Шкловский). В 1930-е более опасными для становящегося официозного канона *нашей великой* (русской в первую очередь) *литературы* как зеркала народного самосознания были неистовые ревнители — социологи школы Валерьяна Переверзева или их еще более рьяные разоблачители времен недолгой «культурной революции» начала 1930-х годов (как ее трактует Шейла Фицпатрик и ее последователи³); именно по этим кадрам был нанесен главный удар уже несколькими годами позднее. И решительным образом ситуация с признанием заслуг формальной школы изменилась лишь с начала 1960-х годов, когда между молодыми неофитами структурализма в Москве и Тарту сложились интенсивные научные связи и взаимное общение — основа для будущей знаменитой школы, значение которой вышло за границы чистого литературоведения.

В середине 1960-х годов одновременно появились три издания, во многом предопределившие рецепцию формальной школы в будущей науке о литературе по обе стороны железного занавеса: это трехтомная «Теория литературы», выпущенная в ИМЛИ, тартуские «Лекции по структуральной поэтике» Юрия Лотмана и подготовленная Цветаном Тодоровым (живущим в Париже молодым болгарским ученым) в серии публикаций радикально-структуралистского журнала «*Tel Quel*» антология «Теория литературы».

Главным пропагандистом формальной школы на Западе был, безусловно, Роман Якобсон, который познакомил Яна Мукаржовского и участников Пражского лингвистического кружка в конце 1920-х годов с достижениями Шкловского и до последних лет научной деятельности прилежно выполнял свою посредническую миссию (см., например, его позднюю содержательную заметку о Московском лингвистическом кружке⁴). Именно благодаря Якоб-

³ *Cultural Revolution in Russia*, 1978; иная точка зрения изложена в: David-Fox, 1999.

⁴ Якобсон, 1996.

сону о формализме узнали и те, кто профессионально был далек от изучения русской литературы и славистики вообще. Можно уверенно сказать, что без него история рецепции формализма и его репутация были бы иными⁵. Ученик Якобсона Виктор Эрлих еще в 1955 г. написал детальную книгу о формализме⁶, а выходец из Праги, ученик Вилема Матезиуса и активный член Пражского лингвистического кружка Рене Уэллек (1903—1995)⁷ упоминал о русском формализме на страницах популярной обобщающей «Теории литературы» (1949, рус. пер. 1978), написанной им в соавторстве с Остином Уорреном. Именно Якобсон, уже всемирно известный лингвист, друг и соавтор Леви-Строса, был ближайшим консультантом Цветана Тодорова при составлении антологии русских формалистов в середине 1960-х годов и автором содержательного предисловия к этой книге; другим консультантом Тодорова была Нина Гурфинкель — специалист по Чехову и русскому театру, знавшая Жирмунского и формалистов по петроградскому Институту истории искусств начала 1920-х годов⁸.

Московская «Теория литературы», предлагавшая новое, «органическое» толкование для традиционной, немарксистской номенклатуры теоретических понятий в рамках гегельянской идеи *содержательности форм*, осталась скорее памятником послесталинских интеллектуальных исканий 1960-х годов⁹. «Формальная школа» интересовала авторов этого труда только как некая небесполезная односторонность в противовес вульгарной социологии, объект преодоления в искомом эстетическо-историсофском синтезе. Не случайно авторы «Теории литературы» (Сергей Бочаров, Георгий Гачев, Вадим Кожин) уже вскоре закономерно стали проводниками и пропагандистами творчества практически никому тогда не известного Бахтина¹⁰.

⁵ Самая детальная книга о формализме написана практически вне влияния последующих переакцентировок Якобсона: *Hansen-Loeve*, 1978 (русский перевод: Хансен-Лёве, 2001).

⁶ *Erlich*, 1955 (позднее эта книга была переведена на ряд европейских языков). О формализме по-английски писала и жена Якобсона — Кристина Поморска: *Pomorska*, 1968.

⁷ См. один из последних томов его монументального труда: *Wellek*, 1991.

⁸ Интервью с Цветаном Тодоровым (Париж, 30 апреля 2000 г.). Гурфинкель была автором одного из первых на Западе обзоров деятельности формальной школы: *Gourfinkel*, 1929.

⁹ Некоторые детали см. в мемуарном тексте, посвященном памяти Вадима Кожина: *Урнов*, 2006.

¹⁰ Со временем эта позиция станет весьма критической и отчасти идеологически заданной: *Кожин*, 1972. См. тогдашние дневниковые заметки Давида Самойлова: «Фашист — это националист, презирующий культуру. Кожин, написавший подлую статью об ОПОЯЗе, — фашист» (*Самойлов*, 1995: 431).

В лекциях Лотмана по поэтике достижения формальной школы признаются, но с существенной оговоркой, что современный структуралистский подход *значительно* дополнил и обогатил важные в последующей перспективе, но все же противоречивые и неоднозначные положения отечественных ученых 1920-х годов¹¹. Такую оговорку в предисловии к первой книге — манифестации нового метода, пусть и изданной в окраинном университете небольшим «служебным» тиражом, — на наш взгляд, не стоит считать лишь необходимой риторической маскировкой для отвода глаз бдительных редакторов и цензоров (хотя эта функция у нее, безусловно, тоже была). При всем уважении, которое Лотман как научный «потомок» питал к предшественникам и научным «дедам» (будучи учеником Григория Гуковского, на протяжении 1920-х годов — младшего современника, последователя и одновременно жесткого критика формалистов), открытия 1920-х годов для него были в некоторой степени уроком уже усвоенным и с точки зрения его видения искусства — несамодостаточным. Обогащенный московско-тартускими теоретиками понятийный лексикон структурализма: противоположение языка и речи, понятие знака и кода, различение первичных и вторичных моделирующих систем и т. д. — давал исследователю, как тогда казалось, инструмент гораздо более точный, выверенный, а главное — более *универсальный*, чем все новации формалистов (например, разграничение поэтического и практического языков, нелинейность литературной преемственности, релятивность литературного факта). Казалось, что идеи формалистов суть первоначальные (и даже в чем-то наивные) историко-литературные наблюдения *частных случаев* более общих и существенных закономерностей искусства как такового, адекватно раскрытых и описанных только структурализмом, с опорой на достижения передовой, строгой и математизированной лингвистики¹².

Интерес к формальной школе у тартуанцев, безусловно, присутствовал; не зря многие малодоступные тексты опоязовцев были перепечатаны в специальной «Хрестоматии по теоретическому литературоведению» начала 1970-х годов¹³. И все-таки попытки Александра Жолковского и Юрия Щеглова построить в конце 1960-х го-

¹¹ См.: Лотман. 1994: 22—23.

¹² Справедливости ради нужно упомянуть и нашу давнюю книгу Аркадия Белинкова о Тынянов-писателе (но не ученом), которая вышла двумя изданиями в первой половине 1960-х: Белинков, 1965.

¹³ *Хрестоматия по теоретическому литературоведению*, 1976. В хрестоматию были включены статьи Эйхенбаума, Брика, Винокура, Томашевского и библиография литературы о формальной школе, подготовленная в конце 1920-х годов учеником Владимира Перетца по Киевскому университету Александром Багрином.

дов на основе формалистских идей систематизированную поэтику повествования были фактически отвергнуты на страницах «Вопросов литературы» и Лотманом, и Вяч. Вс. Ивановым как недостаточно отрефлексированные и возвращающие новую науку о художественной действительности в «допражский» этап ее развития¹⁴. В 1970-е годы на страницах «Трудов по знаковым системам» публикуются материалы Ольги Фрейденберг (с предисловием самого Лотмана), Бориса Томашевского или Петра Богатырёва, но печатаются они все-таки в рубрике, близкой разделу «Архив», как важная и интересная, но все-таки *предыстория* сегодняшнего состояния науки. Особенно важными в этом смысле были работы Вяч. Вс. Иванова: статья о значении идей Бахтина о знаке (1973), книга о российских истоках семиотики, главными героями которой были Флоренский, Выготский и Эйзенштейн (1976), наконец, статья о становлении структуралистских идей в славянском языкознании (1984)¹⁵. Такая богатая и широкая панорама идей и представлений 1920-х годов в итоге как бы втягивалась — задним числом! — в мыслительную воронку структуралистского метода, а главным героем становился Якобсон. В итоге, согласно *mot* Якобсона, формализм понимался как «детская болезнь» структурализма, который был слишком ориентирован на словесную выразительность, без опоры на лингвистику с ее научной строгостью и всеобщностью подхода.

Источником канонизации Шкловского и его соратников в отечественной филологии и культуре последних советских десятилетий стала даже не столько деятельность Якобсона и Лотмана, сколько усилия Мариэтты Чудаковой, Александра Чудакова и Евгения Тоддеса по републикации наследия формалистов, их организационная работа в рамках Тыняновских чтений (с 1982 г.), поддержанная многочисленными мемуарными публикациями и хлопотами Вениамина Каверина, связанного с Тыняновым литературными и семейными связями еще с 1920-х годов. В 1977 г. довольно большим тиражом (50 тыс. экземпляров) выходит долго готовившийся том главных литературоведческих работ Тынянова «Поэтика. История литературы. Кино». Огромный справочный аппарат к этому тому, который не только раскрывал историко-идейный или биографический контекст тех или иных положений одного из вождей формализма, но и соотносил его принципы с наукой современной (и со структурализмом, в частности), на десятилетия вперед задал весьма высокий стандарт для исследований по истории отечественной филологии. Отчасти комментарий заменил в той ситуации возможность развернутых

¹⁴ Жолковский, Щеглов, 1967; Лотман, 1967.

¹⁵ Иванов, 1998.

историко-научных исследований; во второй половине 1980-х годов книга Тынянова была дополнена томами ранних работ Эйхенбаума (1987) и Шкловского (1990)¹⁶. За это время на проходящих на родине Тынянова, в городе Резекне, регулярных Тыняновских чтениях была сформулирована новая коллективная парадигма присвоения формалистского прошлого — в контекстуализирующем и одновременно актуальном измерении. В отличие от «расплывающейся» в 1980-е годы структуралистской парадигмы новый подход участников Тыняновских чтений был ориентирован на проблемную постановку привычных филологических тем — например, при обсуждении таких неклассических сюжетов, как литературная культура, массовая словесность, образы истории (силами активных участников Тыняновских чтений — Бориса Дубина, Льва Гудкова, Михаила Ямпольского и др.). Плюрализм, относительная и вполне осознанная нестрогость методов и объектов изучения участников Тыняновских чтений (в разбросе от петровских времен до обэриутов) обернулись преимуществом в условиях явной эклектизации исходной семиотической парадигмы на страницах тартуских сборников. В этих условиях, особенно после того, как существование московско-тартуской школы прекратилось, именно историко-научные проекции оказались важным ресурсом теоретического развития филологии.

Одновременно 1980-е годы оказались временем активной глобификации Михаила Бахтина и перевода его идей в новый канон отечественного литературоведения — в условиях ослабления идеологического пресса¹⁷. Творчество Бахтина, его неканонические термины и сама глубина и нестандартность подходов — всё, что несколько десятилетий спустя станет активно присваиваться новоявленной постсоветской культурологией, — становится уже в 1970-е годы для «широкой» гуманитарной публики одной из площадок разрешенной гуманитарно-теоретической рефлексии. К Бахтину тяготели те, кому был чужд и достаточно «партийный» структурализм Лотмана и его единомышленников, и выдыхающийся оттепельный «творческий» советский марксизм образца Михаила Лифшица и Эвальда Ильенкова (не говоря про казенную догматику)¹⁸. Более того, Бахтин в 1980-е годы стал — для немногих,

¹⁶ Книга Шкловского начала готовиться к изданию еще в начале 1980-х, в последние годы жизни автора.

¹⁷ Помимо книг о Достоевском и Рабле корпус доступных читателям текстов Бахтина существенно пополняется сборниками «Вопросы литературы и эстетики» (Бахтин, 1975) и особенно — уже посмертно изданной — «Эстетикой словесного творчества» (Бахтин, 1979).

¹⁸ См. например, довольно типичный сборник статей уральских философов с участием Геннадия Бурбулиса: *Социальные функции философии*, 1981. Число ссылок на Бахтина на его страницах уступает только «классикам

правда, «околоакадемических» гуманитариев — своего рода «противоядием» от структурализма и нарождающегося постмодернизма как *наш* (в самом широком спектре позитивных коннотаций) теоретик культуры¹⁹. Как раз в очень схожем контексте аттестовал Бахтина в многочисленных публикациях 1990-х Виталий Махлин; именно Бахтин с его актуализированной «архитектоникой ответственности» оказывался важнейшим противовесом политически левого постмодернизма в рамках американской академии и для авторитетных славистов — Кэрил Эмерсон и Гэри Сола Морсона. Впрочем, хотя этот важный регистр прочтения Бахтина и не воспринимался в 1990-е годы как всеобщий, но именно сама возможность разнонаправленных и порой прямо противоположных интерпретаций Бахтина — то как наследника амбивалентно-революционных 1920-х, то как философского свидетеля «Большого террора», то как последнего философа Серебряного века — свидетельствовала о превращении его в безоговорочного классика для постсоветских гуманитариев.

Эти три ориентира и оставались для них важнейшими и все 1990-е: формалисты (в изводе Тыняновских чтений), а также Бахтин и Лотман (шире — Московско-тартуская школа) и составили сложный канон — некий *общий круг* личностных проекций и теоретических идентификаций, который выходил далеко за пределы наследования в рамках какого-то течения, ученической преемственности и прямого продолжения того или иного теоретического задела. Для переломного гуманитарного сознания 1990-х в формализме важнейшим компонентом оказалась пластичность, подвижность и открытость теоретического содержания при сохранении общего «спецификаторского» вектора. Показательно, что из списка общеобязательных референций выпали ссылки на наследие Алексея Лосева, когда на волне перестроечных републикаций давних текстов явно обнаружился монологичный и старомодно-ригидный характер и стиля, и содержания его мысли, некогда весьма популярной в неофициальном интеллектуальном каноне позднесоветских лет²⁰.

В середине 1990-х Андрей Немзер категорично заметил: «Без формальной школы никакого современного русского литературоведения (такого, каким оно является, вызывая раздражение у одних и удовлетворенность у других) попросту бы не было. Именно она

марксизма-ленинизма», и можно ручаться, что еще несколькими годами раньше на этом же самом месте стояли «Диалектическая логика» Эвальда Ильенкова (Ильенков, 1974), труды Генриха Батищева, Олега Дробницкого рубежа 1960—1970-х годов и т. д.

¹⁹ См.: Гаспиров, Седакова, 1992.

²⁰ См. отчасти об этом: Гусейнов, 2005.

определила пути движения научной мысли в последнее тридцатилетие». Называя формальную школу «той печкой, от которой мы пляшем», он предположил даже, что, «выйдя из смыслового поля формализма (в самом широком смысле), литературоведение исчезнет»²¹. Характерно, что это были слова не только историка литературы первых десятилетий XIX в., но и видного газетного критика, обзорающего современную словесность; тем более акцентированной оказалась у него эта идентифицирующая роль русского формализма. Свидетельством роста формализма вширь стало менее заметное по публикациям обращение к этому наследию со второй половины 1980-х годов целого ряда ведущих филологов-преподавателей в Москве, Ленинграде и регионах, когда «пристальному чтению» работ опоязовцев посвящали специальные курсы и семинары²². Это прежде эзотерическое знание стало достоянием новых поколений студентов (выросших вскоре в полноценных исследователей с уже формалистским бэкграундом на уровне, который Майкла Поланьи назвал «неявным знанием»). Перевод на русский язык во второй половине 1990-х годов работ Виктора Эрлиха и Оге Ханзена-Лёве о формализме довершил процесс канонизации этого течения именно через его западные исследования (стоит, однако, заметить, что «классическая» книга Эрлиха оказалась для русского издания предпочтительней «метапоэтической» монографии Петера Штайнера²³ и компаративной работы Юрия Штридтера²⁴).

Потому попытки канонизации менее «ярких» фигур из общеформалистического движения — в плане обобщающего и осознанного *претворения/завершения* оставленного «нам» в 1920-е годы проекта — остались на рубеже 1980—1990-х годов героическими и безуспешными, на наш взгляд, начинаниями. (Мы имеем в виду стремление Максима Шапира утвердить наследие Григория Винокура, Максима Кенигсберга и вообще «московского формализма» в противовес более известным опоязовцам; похоже, то же самое случилось и с недавним изданием работ Бориса Ярхо²⁵.) Отмечен-

²¹ Немзер, 1995—1996: 31.

²² В этом духе написана совместная с Вениамином Кавериним монография профессора МГУ Владимира Новикова: *Каверин, Новиков*, 1988.

²³ Steiner, 1984.

²⁴ Striedter, 1989.

²⁵ Невозможно не заметить разницы этого возвращения к истокам сравнительно со стратегией академической републикации, например наследия Виноградова в 1970—2000-е годы Чудаковым; у Шапира речь шла явно — и даже с нажимом — о переоценке а) значимости и основных принципов филологии как таковой и б) о всемерном возвеличивании героя комментария. Сказанное, безусловно, не отменяет несомненной важности и значимости проделанной Шапиром и его коллегами творческой работы по воссозданию прошлого отечественной филологии и по переосмыслению вклада несправедливо забытых ее подвижников.

ная выше «разноречивость» Бахтина оказалась важной для сохранения за его идеями актуальности и в постсоветские десятилетия, тогда как масштабные усилия по подготовке и переизданию работ Алексея Лосева, Владимира Проппа и Ольги Фрейденберг скорее способствовали «антикваризации» их наследия — по сравнению с прежним горячим интересом 1960—1970-х годов. Разумеется, эти оценки по определению не могут быть беспристрастными, но разность прежних, доперестроечных и нынешних репутаций тех или иных «великих гуманитариев» достаточно очевидна и при желании может быть измерена по внешним наукометрическим показателям.

Что же касается Московско-тартуской семиотической школы, то обсуждение в широкой отечественной печати в начале 1990-х статьи Бориса Гаспарова о специфически кружковых явлениях в деятельности тартуской части школы, наряду с публикацией мемуарных и — намного более редких! — аналитических очерков о ней, фактически подвели итог актуального ее существования²⁶. Гораздо чаще сейчас принято вспоминать Лотмана скорее как личность, ученого и организатора науки, чем всерьез критически анализировать наследие всей Московско-тартуской школы, хотя время для этих дебатов непременно наступит²⁷. Разумеется, близость активной работы Московско-тартуской школы к нашему времени не позволяют пока говорить о ее наследии как *классическом* в привычном смысле слова (когда классичность предполагает нечто не просто завершенное, но и устоявшееся — отстоящее от «нас» на обязательной хронологической дистанции).

Кроме того, в деле канонизации (или классикализации) той или иной научной школы или фигуры важнейшую роль играет фактор институциональный. В описываемых случаях научное одиночество и маргинальность фигуры Бахтина 1940—1950-х годов контрастирует с довольно прочными организационными основами МТШ (сектор структурной типологии в Институте славяноведения и кафедра русской литературы в Тартуском университете). Ныне же основными площадками бахтиноведческих исследований можно считать ИМЛИ (место работы почивших Вадима Кожинова и Георгия Гачева и ныне здравствующего Сергея Бочарова) и историко-филологический факультет РГГУ; в то время как широкий спектр занятий участников тартуской школы представлен в работе Института высших гуманитарных исследований РГГУ и Института мировой куль-

²⁶ Наиболее репрезентативная подборка материалов: *Московско-тартуская семиотическая школа*.... 1998. Работы Успенского и Иванова 1990-х и последующих годов воспринимаются прежними и новыми читателями уже самостоятельно, вне прямой связи с семиотическими подходами МТШ.

²⁷ Свидетельство тому — недавно вышедшая книга: *Lotman and Cultural Studies*..., 2006; см. также: *Waldstein*, 2007.

туры МГУ. При этом ничего подобного для «сохранения огня» формализма не существует ни в Петербурге, ни в Москве, в то время как британский «неоформалистический кружок» не только заседает в Кильском университете с первой половины 1970-х годов, но и регулярно выпускает авторитетный журнал «Essays in Poetics: The Journal of the British Neo-Formalist Circle»²⁸. Тем самым влияние формализма на современную гуманитарную мысль остается институционально не опосредованным: коллектив авторов «Тыняновских сборников» может рассматриваться скорее как своеобразный «невидимый колледж» исследователей, не соединенных взаимными обязательствами или единством методологических подходов. В плане издательского и комментаторского интереса стоит отметить, что по сравнению с многочисленными републикациями трудов Лотмана (начиная с напечатанного еще при жизни ученого таллинского трехтомника) и подготовкой собрания сочинений Бахтина работа над наследием лидеров ОПОЯЗа в 1990-е годы развивалась крайне медленно — наряду с переизданиями исследований Эйхенбаума, Тынянова и Шкловского лишь нечастые, но неизменно содержательные публикации Александра Галушкина и Евгения Тоддеса свидетельствуют о том, что работа по текстологии формализма не прекратилась вовсе.

В современных отечественных учебных пособиях по теории литературы, предназначенных для студентов-филологов, принцип обращения с формалистским наследием живо напоминает времена Абрамовича или Тимофеева; кроме того, эти книги часто и сегодня делаются по лекалам, всерьез не менявшимся с 1970-х годов. Так, учебник Валентина Хализева, рекомендованный Министерством образования для нынешних студентов-филологов, не только повторяет структуру учебника Тимофеева (образность — анализ литературного произведения — характер литературного процесса), но и начинается с *художественности* как ключевой и исходной категории в анализе литературы, а не с литературности формалистов. Приоритет красноречиво отдается вневременной эстетической категории, а не взятому у формализма понятию — исторически релятивному и культурно изменчивому.

²⁸ Следует, однако, упомянуть действующий в последние годы исследовательский семинар под руководством Аркадия Блюмбаума, Илоны Светлковой и Станислава Савицкого в Институте истории искусств в Петербурге. О неоформальном кружке «Неопояз», где молодые филологи начала 1990-х читали и обсуждали тексты формалистов и их современников, включая Льва Пумпянского, рассказывал недавно в выступлении на круглом столе «Ученые в поисках своей традиции: Russian Studies на распутье» (39-е собрание АААСС, 16 ноября 2007 г., Новый Орлеан) один из участников этих заседаний — Илья Виницкий; другими членами кружка, были, в частности, Олег Лекманов и Александр Кобринский.

Весьма нехарактерным для жанра учебника является, например, такой пассаж: «Литературовед, коль скоро он отваживается на интерпретацию, оказывается призванным на свой страх и риск, а вместе с тем осторожно и бережно приближаться к тому, что в составе художественного произведения является тайной» (в сноске отмечено: «Эта мысль в разговоре со мной была высказана С. Г. Бочаровым»)²⁹. Подобная сомнительная лирика удачно сочетается с декларированным нежеланием видеть произведение в формалистском духе как «совокупность приемов» и ориентацией на понятие художественной целостности, где подход формалистов должен быть *дополнен* идеями Бахтина и Александра Скафтымова. Крайне скупо упомянуты формалисты и в учебнике «Введение в литературоведение» (1999, 2-е изд.: 2000) под редакцией ученицы Пospelова Лилии Чернец (кафедра теории литературы МГУ); гораздо более сочувственно, чем Тынянов и Шкловский, в тексте цитируются авторы эклектической «Литературной энциклопедии» середины 1920-х годов³⁰. Теоретическая пестрота подобных текстов, где материалы Пospelовских чтений соседствуют со ссылками на Гадамера, не имеет ничего общего с продуманным плюрализмом обобщающих работ по современной литературной теории (достаточно взять для примера переведенную на русский книгу Антуана Компаньона «Демон теории» или даже «послеструктуралистскую» работу Ежи Фарыно «Введение в литературоведение»).

Схожий матрёшечный принцип — отведение формализму подчиненного места соответственно его *сугубо частичному* подходу, только внутри перекрывающей его главной бахтинской матрёшки — реализован и в учебнике Натана Тamarченко по теоретической поэтике, подготовленном в РГГУ. Заявленная автором системность теории призвана отражать единство художественного произведения, которое понимается как «реализация сущности искусства и законов его функционирования»³¹. В связи с изложением основ теории литературы трудно представить что-то более чуждое формалистам, чем указанная точка зрения, — достаточно вспомнить замечания Тынянова об альманахе «Литературная мысль»³². Никким образом речь не может идти о каком-то невежестве, незнании исто-

²⁹ Хализев, 2000: 271.

³⁰ *Литературная энциклопедия*, 1925. Кстати, эта политика противопоставления новейшим увлечениям добротных и нестандартных работ по теории, написанных в 1920-е годы («вот, мол, не невежи и обскуранты с вами спорят»), была в ходу и в 1970-е у того же Юрия Барабаша, который «ставил на место» структурализм Лотмана цитатами из харьковского профессора 1920-х и будущего академика Александра Белецкого, — см.: *Барабаш*, 1973.

³¹ *Тамарченко*, 2006: 19.

³² Тынянов, 1977: 139–141 (в связи со статьей Александра Смирнова).

рико-научного материала или недомыслии: переиздание формалистического учебника Бориса Томашевского «Теория литературы. Поэтика» с содержательной статьей Натана Тamarченко и комментариями Самсона Бройтмана, напротив, свидетельствует о глубоком знании истории науки 1920-х годов, когда этот учебник был переиздан шесть раз (с 1925 по 1931 г.)³³. Примат эстетики над поэтикой, разработка категорий художественного образа, эстетического объекта и т. д., сочувственные отсылки к немецкому «деструктуралистскому» литературоведению 1950-х (Вольфганг Кайзер) — все это характерные черты «бахтиноцентричной» теории литературы, ориентированной, наряду с изучением текста, также на раскрытие художественной действительности и мира героя того или иного произведения. Важнейший формалистский спецификаторский и исторически релятивный принцип выделенности литературы из других рядов заменен своего рода онтологией художественных миров, а поэтика, спасенная от структуралистского поглощения лингвистикой, становится специфическим подотделом философии искусства³⁴. Схожая редукция формализма к технической реализации общеэстетических принципов представлена и в учебнике Хализева, где идеи литературной эволюции Тынянова без остатка растворяются в проекте построения исторической поэтики в духе Веселовского³⁵. В том же принципиально «мимомформалистском» духе написаны и главы новой многотомной «Теории литературы», выходящей под редакцией Юрия Борева в ИМЛИ уже в 2000-е годы (в число ее авторов также входят Тamarченко и известный сторонник «целостного» подхода к анализу литературных произведений, профессор Донецкого университета Михаил Гиршман). Другое дело, что подобно ладно пригнанным параграфам из учебников Пospelова, Тимофеева и Абрамовича эти системно отстроенные идеи, как правило, не выходят за пределы «своего круга» дипломников-аспирантов, а также коллег из прежней разветвленной сети филфаковско-пединститутских связей³⁶.

³³ *Тмарченко*, 1996: 7—8. Книга Томашевского была переиздана издательством «Аспект-пресс» в серии «Классический учебник» в 1996 г., как и «История русской литературы XVIII века» близкого формалистам Гуковского.

³⁴ Здесь Тмарченко как раз сочувственно цитирует Эйхенбаума — против «лингвистического империализма» Якобсона: см. *Тмарченко*, 2006: 137—138.

³⁵ *Хализев*, 2000: 372—373.

³⁶ Достаточно сравнить с этой обширной продукцией краткое и суммирующее «рабочее» пособие Сергея Зенкина (*Зенкин*, 2000), где русский формализм наряду со структурализмом и рецептивной поэтикой задает основу необычайно концентрированного повествования — в противоположность обильному цитированию самых разных авторов — от Аристотеля до Непомнящего — в учебных книгах Хализева, Тмарченко и их коллег.

Что же позволило остаться классическими (и прочнее в этом статусе утвердиться) исследованиям послереволюционного десятилетия, которые были достоянием оппозиционной филологии в советские годы, но не подкреплялись в постперестроечный период ни авторитетными ссылками в учебниках, ни особой институциональной базой, ни наличием прямой цепочки учеников? (Например, Мариэтту и Александра Чудаковых при всем желании нельзя причислить к числу неких нео- или постформалистов!) Сложной линии преемственности Тынянов—Гуковский—Лотман или одних заслуг «Тыняновских сборников» для воспроизводства прежнего статуса едва ли было достаточно. Почему образ формализма благополучно пережил закат и конец структурализма, столь важного для становления международной — но и не только — репутации собственно формальной школы?

В 2000-е годы новый всплеск интереса к формалистам оказался связан и с новыми идейными и методологическими размежеваниями в лагере гуманитариев. Творчество формалистов стали рассматривать в перспективе науковедения или истории гуманитарной мысли (Александр Дмитриев, Денис Устинов), философских или методологических истоков их идей (Михаил Ямпольский, Илона Светликова), особой метафизической природы их творчества — между наукой, литературой и историей (Аркадий Блюмбаум, Илья Калинин, Ян Левченко). Такое переосмысление формализма — в первую очередь на страницах «Нового литературного обозрения» — вместе с попыткой рассмотрения «других историй литературы» вызвало, как известно, крайне неприязненный отклик Игоря Шайтанова в «Вопросах литературы» (он утверждал глубинное родство построений Веселовского, Бахтина и Тынянова как звеньев отечественной традиции, которая противостоит безудержному социологизаторству адептов «нового историзма») ³⁷. Несостоявшаяся полемика двух научных журналов тем отчетливее выявила место формализма как постоянно переопределяемого, важного и поныне (а тем самым и классического в смысле востребованности) общего наследия современной российской филологии в самых разных ее течениях. Именно Тынянов и Эйхенбаум, а не, например, Лотман, Бахтин или Жирмунский оказываются тут главными объектами символической реапроприации.

Так или иначе споры вокруг формализма (например, о месте категории «литературный быт» и ее исследовательских перспективах) касаются и вопроса об основании и границах знания о литературе. Достаточно ли *сегодня* идеи автономного литературного

³⁷ Шайтанов, 2002; 2003.

(шире — эстетического) ряда в качестве основы профессиональной самоидентификации? Ведь важнейшая роль русского формализма несколько десятилетий определялась именно по этому критерию. От кого нужно защищать *теперь* самодостаточность высокой литературной культуры и благородных занятий ее историей? От большевиков? «Читателей газет»? Зрителей телевизионных шоу? Вообще, насколько именно защитная стратегия является в данном случае и общепринятой, и, если угодно, верной формалистскому духу? Тут мы снова возвращаемся к той отмеченной выше специфической открытости, к тому духу *pop-finito*, что так выразительно отличают важнейшие для постсоветских гуманитариев научные школы и фигуры прошлого.

Именно специфическое сочетание завершенности и открытости составляет необходимый, на наш взгляд, элемент классической теории или школы. И повышенная чувствительность к современности, представления Шкловского о важности «второй профессии» и релятивности социальной роли литературоведения, принципиальная обращенность к фикциональным жанрам — все это делает опозовцев, а не их талантливых современников, вроде Бориса Ярхо, Виктора Виноградова или Густава Шпета, актуальными, «горячими» неклассическими классиками. Кроме того, ситуация доминирования «нечистой» филологии над «чистой»³⁸ в условиях трансформации гуманитарного канона 1990-х также сместила в рецепции формализма центральный фокус с фигуры Jakobsona на наследие Тынянова и Эйхенбаума (с его теорией литературного быта).

Итак, подводя итоги, в качестве важнейших составляющих неканонического статуса гуманитарной классики, которая смогла сохраниться в этом качестве и после перелома рубежа 1980—1990-х годов, отметим следующие особенности.

1. Остаться классиками формалистам позволила сложная (несимметрично-двойственная) стратегия, с одной стороны — верно-сти принципу автономии искусства, с другой — разомкнутости теоретической работы, куда также входит порождаемый установкой на «специфику» искусства и аналитическую точность своеобразный иронический академизм, постоянно остраиваемый искусством же и переживанием себя в истории. Формалисты оставались филологами не столько в силу союза с лингвистикой или из-за детализации категорий исторической и теоретической поэтики «на материале», но за счет гибкости и релятивности своих

³⁸ Используя терминологию Сергея Козлова из известной дискуссии между философами и филологами, организованной «Новым литературным обозрением»: *Философия филологии...*, 1996.

принципов, где генерализация была неотделима от открытий и констатаций *ad hoc*.

2. Последовательная историзация метода и материала самими формалистами, в частности, делает несбыточными и современные «спасительные» рецепты прямого возвращения к установкам ОПОЯЗа или Тынянова (в духе недавних советов Владимира Новикова, удрученного состоянием теории в современном литературоведении³⁹).

3. Когда литература явно переживает кризис самоидентичности, установка на «литературность» сама начинает работать во встречном режиме — на проблематизацию границ и на рефлекссию культурных оснований литературного качества, читательского восприятия разных эпох и т. д. (не случайно столь резонантными формализму оказываются теоретические новации Карло Гинзбурга, будь то «уликовая парадигма», обращение к феномену дистанцирования, законам остранинного видения и правилам метода семейных сходств).

4. Открытость истории и чувство культурных границ подразумевают и возможность соединения формалистских принципов с началами социологического сознания, столь востребованного нынешней ситуацией гуманитарного знания. Интерес к творчеству младоформалистов, на наших глазах утверждающаяся канонизация Лидии Гинзбург как одной из самых значимых фигур интеллектуальной истории России минувшего века также диктуются этим спросом на изучение общности, персональности и механизмов их опосредования. (Даже намечающийся интерес к Шпету или, например, работам Волошинова или участников Пражского кружка возрастает под знаком этого «неформатного», непривычного социологизма.)

5. В отличие от теорий XIX в., в формализме востребованным и важным становится уже не исходный принцип эстетической автономии («искусства для искусства»), но особая *рефлексивность* его ведущих представителей. Перефразируя известные положения Эйхенбаума середины 1920-х годов о том, что на первый план выдвигается вопрос «как быть писателем», вслед за Андреем Зориным можно отметить, что актуальный ныне вопрос о том, «как быть филологом» не столько переводит научные истины в режим прагматической социальной коммуникации, но обостряет спрос на традицию и близкие по стилю и строю мысли течения, вроде формализма.

³⁹ См.: Новиков, 2005 (и материалы последующей полемики, особенно реплику Марка Липовецкого).

Все указанные выше исторически исходные и приобретенные уже «в потомстве» качества характеризует особый химический состав, который не только очищает и закрепляет исследовательский инструментарий, но и по-прежнему повышает скорость интеллектуального обмена и степень расщепления прошлого и актуального культурного материала. Соединение продуктивного сомнения с авангардной форсировкой, неприятием оговорок (вплоть до нетерпимости) и задают ту особую «текучесть» неклассической классичности формализма, каковая, собственно, и не позволяет редуцировать наследие ОПОЯЗа только к перечню методических принципов. Ибо при этом может потеряться главное — повторное переживание сделанной вещи. Классическим формализм делает именно эта повышенная ферментность, поскольку уже состоявшееся вхождение его в русло мировой науки подразумевает и дальнейшее самостоятельное теоретическое приключение, а не просто «нашу» потенциальную возможность посодействовать экспорту Russian Theory внутри очередной матрёшки, выточенной по структуралистскому, бахтинянскому или деконструктивистскому шаблону.

Литература

Барабаш Ю. А. Алгебра и гармония // Контекст-1972. Литературно-теоретические исследования. М.: Наука, 1973.

Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М.: Худож. лит., 1975.

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.

Винокур Г. О. Введение в изучение филологических наук. М.: Лабиринт, 2000.

Гаспаров М. Л., Седакова О. А. Диалоги о Бахтине // *Новый круг*. 1992. № 1. С. 113—117.

Гусейнов Г. Ч. Личность мистическая и академическая: А. Ф. Лосев о «личности» // *Новое литературное обозрение*. 2005. № 76 (6). С. 14—38.

Дмитриев А. Европейский (французский и немецкий) контекст русского формализма // Отношения между Россией и Францией в европейском контексте (в XVIII—XX вв.). История науки и международные связи. М.: ИНИОН РАН, 2002. С. 126—145.

Жирмунский В. М. Введение в литературоведение: Курс лекций / Под ред. З. И. Плавскина, В. В. Жирмунской. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1996.

Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Структурная поэтика — порождающая поэтика // *Вопросы литературы*. 1967. № 1. С. 74—89.

Зенкин С. Н. Введение в литературоведение. Теория литературы: Учебное пособие. М.: Изд-во РГГУ, 2000.

Иванов В. В. Из истории ранних этапов становления структурного метода в гуманитарных науках славянских стран // Московско-тартуская

семиотическая школа. История, воспоминания, размышления. / Сост. и ред. С. Ю. Неклюдов. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. С. 13—33.

Ильенков Э. В. Диалектическая логика. М.: Политиздат, 1974.

Каверин В., Новиков Вл. Новое зрение: Книга о Юрии Тынянове. М., 1988.

Кожин В. В. История литературы в работах ОПояЗа // *Вопросы литературы*. 1972. № 7.

Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2 т. / Под ред. Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина, В. Львова-Рогачевского, М. Розанова, В. Чехихина-Ветринского. М.; Л.: Изд-во Л. Д. Френкель, 1925.

Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994.

Лотман Ю. М. Литературоведение должно быть наукой // *Вопросы литературы*. 1967. № 1. С. 90—100.

Московско-тартуская семиотическая школа. История, воспоминания, размышления / Сост. и ред. С. Ю. Неклюдов. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998.

Немзер А. С. [Ответы на анкету к 100-летию со дня рождения Ю. Н. Тынянова] // Седьмые Тыняновские чтения. Материалы для обсуждения. Рига; Москва: Зинатне, 1995—1996. С. 31.

Новиков В. И. Мне скучно без... (Филология: кризис идей?) // *Знамя*. 2005. № 1. С. 187—190.

Самойлов Д. С. Памятные записи. М.: Международные отношения, 1995.

Социальные функции философии. Свердловск: УрГУ, 1981.

Тамарченко Н. Д. «Поэтика» Б. В. Томашевского и ее судьба // Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 3—21.

Тамарченко Н. Д. Теоретическая поэтика: Введение в курс. М.: Изд-во РГГУ, 2006.

Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино / Отв. ред. В. А. Каверин и А. С. Мясников; Изд. подгот. Е. А. Тоддес, А. П. Чудаков, М. О. Чудакова. М.: Наука, 1977.

Урнов Д. М. Вадим и Бахтин // *Наш современник*. 2006. № 2. С. 242—252.

Философия филологии: Круглый стол. // *Новое литературное обозрение*. 1996. № 17 (2). С. 45—93.

Хализев В. Е. Теория литературы. 2-е изд. М.: Высшая школа, 2000.

Ханзен-Лёве О. А. Русский формализм: Методологическая реконструкция развития на основе принципа острашения / Пер. с нем. С. А. Ромашко. М.: Языки русской культуры, 2001.

Хрестоматия по теоретическому литературоведению. Вып. 1 / Сост. И. А. Чернов, отв. ред. З. Г. Минц. Тарту: [б. и.], 1976.

Шайтанов И. О. Дело № 59: НЛО против основ литературоведения // *Вопросы литературы*. 2003. № 5. С. 135—151.

Шайтанов И. О. «Бытовая» история // *Вопросы литературы*. 2002. № 2. С. 3—24.

Шкловский В. Б. Гамбургский счет: статьи — воспоминания — эссе (1914—1933). М.: Советский писатель, 1990.

Эйхенбаум Б. М. О литературе. М.: Советский писатель, 1990.

Якобсон Р. О. Московский лингвистический кружок / Вступ. статья, подгот. текста и примеч. М. И. Шапира // *Philologica*. 1996. Т. 3. № 5/7. С. 61—80.

Cultural Revolution in Russia, 1928—1931 / Ed. S. Fitzpatrick. Bloomington: Indiana University Press, 1978.

David-Fox M. What is Cultural Revolution? // *Russian Review*. April 1999. Vol. 58. No. 2. P. 181—201.

Erlich V. The Russian Formalism. History — Doctrine. Gravenhage: Mouton, 1955.

Gourfinkel N. Les nouvelles methodes d'histoire litteraire en Russie // *Le Monde slave*. 1929. No. 6. P. 234—263.

Hansen-Loeve A. A. Der russische Formalismus. Methodologische Rekonstruktion seiner Entwicklung aus dem Prinzip der Verfremdung. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1978.

Lotman and Cultural Studies: Encounters and Extensions / Ed. A. Schönl. Madison: University of Wisconsin Press, 2006.

Pomorska K. Russian Formalism Theory and its Poetic Ambiance. The Hague; Paris: Mouton, 1968.

Steiner P. Russian Formalism: A Metapoetics. London; Atnens: Cornell University Press, 1984.

Striedter J. Literary Structure, Evolution and Value: Russian Formalism and Czech Structuralism Reconsidered. Cambridge: Harvard UP, 1989.

Waldstein M. Russifying Estonia? Iurii Lotman and the Politics of Language and Culture in Soviet Estonia // *Kritika. Explorations in Russian and Eurasian History*. Summer 2007. Vol. 8. No. 3. P. 561—596.

Wellek R. A History of Modern Criticism 1750—1950. Vol. 7: German, Russian and Eastern European Criticism, 1900—1950. New Haven: Yale University Press, 1991.

Ревекка Фрумкина

РЕЦЕПЦИЯ КЛАССИКИ В ЛИНГВИСТИКЕ

КРИТИКА ОСНОВАНИЙ В ЛИНГВИСТИКЕ И ВОКРУГ

Лингвистика причисляется к гуманитарным наукам; в западной терминологии ее относят к *social sciences*. Тем самым лингвистика оказывается рядом с историей, социологией, психологией, культурной антропологией, филологией и философией.

Этот комплекс дисциплин нередко рассматривают как единое целое, о чем говорит множество его самоназваний: в разные времена *social sciences* именовались «моральными науками», «науками о духе», «о культуре», «науками о человеке», «социальными науками». Как и комплексы прочих наук, социальные науки периодически переживают периоды активной ревизии своих построений, то есть подвергаются процедурам, которые в кантианской традиции назывались критикой или анализом оснований. Критика оснований становится особо актуальной в периоды смены парадигм — не обязательно в узкой области знаний, но непременно в области, важной для культуры в целом.

Современниками ситуация смены парадигмы переживается как «сотрясение основ». В гуманитарных науках «сотрясение основ» происходило за последние 100 лет дважды: в те времена, когда появилось противопоставление наук *объясняющих* и наук *понимающих* (т. е. в конце XIX в.), и в середине прошлого века, когда появилась кибернетика, а вместе с ней попытки «устроить» лингвистику как математику, а психологию — как естественную науку (условно говоря, как «физику»).

К третьему по счету «сотрясению основ» надо было бы отнести начавшиеся несколько раньше изменения в исторической науке.

связанные прежде всего со школой «Анналов», и, разумеется, новый взгляд на историю науки как социального института, ассоциированный с именем Томаса Куна и понятием парадигмы.

Каждое «сотрясение основ» для активно работающих исследователей сопровождается попытками представить историю своей науки в *новой перспективе*. Сознательно или не очень, но мы так или иначе осуществляем реконтекстуализацию и реинтерпретацию наличного корпуса знаний — и носителей их классического извода. В случае удачи возникает живой диалог с новообретенными или реконтекстуализированными классиками. Примером может служить массовый интерес к трудам русских формалистов, впервые воплощенный в томе, широко известном среди филологов под аббревиатурой ПИЛК¹. Как писал Роберт Мёртон,

«лишь немногим отличаются от таких ссылок на классические труды те заметки, которые делает читатель, переполненный своими собственными идеями, когда обнаруживает в ранней книге именно то, к чему пришел сам. Идею, пока незаметную другим читателям, отмечают именно потому, что она близка разработавшему ее самостоятельно»².

В иных случаях взаимодействие с классиками происходит по типу «музей» vs. «чулан», описанному мною в другом месте³. В музей попадают классики, применительно к которым *почитание* затмило необходимость их *реинтерпретации*, — например, Выготский, Фрейденоберг, Бахтин, Лотман. В пределах музея *знание имен* лишается всякого контекста — как внутринаучного, так и жизненного. Кстати, не зная жизненного контекста, вообще нельзя по-настоящему оценить ни Выготского, ни Лотмана, ни даже недавно ушедшего от нас Аверинцева, не говоря уже о Фрейденоберге: ее мемуары, до сих пор у нас не изданные, по моему глубокому убеждению, несравненно значительнее, чем ее научные работы.

Но раз уж в музейной витрине лежат именно научные труды Фрейденоберг, то на эти тексты и положено ссылаться, не утруждая себя размышлениями об их сути и понимая их чисто аподиктически.

В чулане тоже не пусто. Там пребывают такие незаурядные мыслители, как лингвист Сергей Карцевский, психолог Сергей Рубинштейн (предложивший среди прочего замечательную концепцию речи ребенка), писатель и философ Фёдор Степун, разно-

¹ Тынянов, 1977.

² Мёртон, 2006 [1968]: 60—61.

³ Фрумкина, 2000.

сторонний гуманитарий и мыслитель Сергей Дурылин, а также философы-марксисты разного толка — например, Матвей Каган и Михаил Лифшиц. И если вместо аналитических процедур реинтерпретации и реконтекстуализации мы наблюдаем всего лишь перемещение героев из чулана в музей, то есть только классикализацию, не сопровождаемую необходимыми аналитическими процедурами, то наука из живой деятельности превращается не просто в музей — как мы знаем, в современном музее совершается весьма почтенная работа, — а скорее уж в музей восковых фигур.

Рассказ о том, как в тот или иной период функционирования науки предметом интереса и научного спора были речь ребенка, структура слова или модель глагольного управления, довольно трудно представить в виде линейной последовательности событий. История любого исследования — это «драма идей», т. е. что-то наподобие пьесы со многими героями, их столкновениями, репликами в сторону, монологами и диалогами.

Участники этого многоактного действия с открытым финалом и без очевидного пролога могут и вовсе не слышать друг друга, не говоря уже о взаимопонимании. Но когда мы пытаемся *рассказать* об истории изучения какого-либо феномена, то вне зависимости от сложности и запутанности подлинной драматургии событий прошлого, вне зависимости от темы и числа действующих лиц, наш рассказ мы стремимся выстроить как некую непрерывную линию — в крайнем случае линию с зигзагами. Ибо таково свойство повествования, «истории»: жанр повествования *навязывает нам свою логику*.

Но ведь эта логика практически никогда не отражает подлинного положения дел, потому что в науке, а в науках о человеке в особенности, процесс постижения не представляет собой непрерывной линии. Более того, этот процесс даже не стоило бы пытаться изобразить в виде ветвящегося дерева — все-таки дерево имеет один корень. В науке же никто не начинает с чистого листа. Так что корней, как правило, несколько, а то и много, и большей частью мы знаем лишь о некоторых из них.

Впрочем, любые подобные аналогии — сильные упрощения, которые осмыслены скорее в дидактических целях. Но они позволяют поставить некоторые проблемы более заостренно.

Что позволяет нам считать науку о языке, речи, тексте — *научной*, а не «свободными искусствами»?

Насколько в пределах отдельных наук о духе / о человеке разработана эпистемология, то есть зафиксированы допустимые способы конструирования предмета исследования и общепринятые методы работы с ним (наблюдение, эксперимент, убеждение, доказательство)?

Социальные науки, в том числе и современная лингвистика, образуют разнородный ансамбль в том смысле, что каждая из этих наук имеет свою «теорию среднего радиуса действия» (в смысле Мёртона)⁴. Более того — в пределах одной науки можно увидеть комплексы разработок, подчиняющиеся (явно или неявно) *разным* теориям среднего радиуса действия⁵.

Например, историческая наука, как ее понимал Леопольд фон Ранке, и историческая наука школы «Анналов», безусловно, имеют разные «теории среднего радиуса действия». То же можно сказать о социологическом «театре жизни» Ирвина Гофмана⁶, который в пределах единой «теории среднего радиуса действия» не сопрягается с веберизмом. Подобным же образом стиховедение, где «теснота стихового ряда» считается *термином*, а не метафорой, не удастся сочетать со стиховедением Михаила Гаспарова — у них, несомненно, хоть и не выраженные в явной форме, но, безусловно, разные «теории среднего радиуса действия». Семиотика Соссюра и семиотика Лотмана располагаются в слабо пересекающихся мирах.

Лингвистика, как ее понимал Игорь Мельчук в рамках модели «Смысл—Текст»⁷, и современные социолингвистические разыскания также не складываются в эпистемологическое единство. Именно в силу того, что ситуации, подобные описанным выше, перестали быть уникальными, особый методологический интерес представляют разработки и исследования, возникшие как попытки преодоления привычных границ между филологией и другими гуманитарными дисциплинами, и критика (в кантианском смысле) возможных перспектив дальнейших взаимодействий.

ВБЛИЗИ КЛАССИКОВ

Излагаемые ниже позиции отражают личный опыт автора, который за время своей работы в науке был свидетелем существенных изменений в репертуаре классических трудов в тех научных областях, которыми сам с большей или меньшей долей успешности занимался.

Пребывая на университетской скамье, я застала низвержение Марра и марризма и возвращение в список классиков Соссюра. В качестве начинающей собственную научную работу (это 1956 г.) я впервые услышала имена Гуссерля и Бюлера — мой учитель Алек-

⁴ Мёртон, 2006 [1968]: 64—104.

⁵ Фрумкина, 1996.

⁶ Гофман, 2003 [1974].

⁷ Мельчук, 1974.

сандр Реформатский считал их классиками гуманитарной методологии. Соответственно, его ученики не могли обойтись без «Logische Untersuchungen» и «Sprachtheorie». Замечу, что классиком был сам Реформатский — именно он вместе с другим моим учителем, Владимиром Сидоровым, принадлежит к числу основателей Московской фонологической школы. До того Реформатский был членом Московского лингвистического кружка — вместе с еще одним классиком — Романом Якобсоном.

Гуссерля я прочитала, но лишь через двадцать лет, а «доросла» до понимания того, что именно, по мнению Реформатского, должна была бы оттуда извлечь, еще лет через десять. Труд Бюлера «Sprachtheorie» я открыла лишь после выхода «Теории языка» порусски, то есть после 1993 г., — и он оказался мне совершенно не нужен.

Игорь Мельчук (самый яркий из учеников Реформатского), чьи идеи оказали сильнейшее влияние на весь круг наших ровесников и на следующее за нами поколение лингвистов, «обошелся» и без Гуссерля и без феноменологии: никто из нас не был еще приучен к рефлексии по поводу познавательных процедур, а Мельчук и по натуре был не склонен к рефлексии как таковой. Зато Мельчук испытал на редкость плодотворное влияние крупнейшего французского лингвиста Люсьена Теньера, которого тогда у нас никто не знал. Чтобы оценить потенциал его теории, Мельчуку хватило брошюры в 30 страниц, изданной в 1953 г.⁸, т. е. за год до смерти ее автора (основной труд Теньера, вышедший в 1959 г., у нас издали лишь в 1988 г.)⁹.

Мне представляется удачной формулировка Андрея Полетаева, в соответствии с которой к классическим предлагается относить

«работы, которые *одновременно* удовлетворяют трем условиям:

- 1) считаются/называются классическими в научном сообществе;
- 2) изучаются в процессе обучения, т. е. в классах; 3) в явном виде используются в исследованиях современных авторов»¹⁰.

Я бы лишь уточнила, что подлинная классика нередко используется именно в *неявном* виде — механизм ее апроприации похож, упрощенно говоря, на превращение частных высказываний в «кры-

⁸ Tesnière, 1953.

⁹ Теньер, 1988 [1959 посм.]. Теньер считается классиком французского языкознания; но как основатель *грамматики зависимостей* и родоначальник операционального использования понятия *валентности* он, по моему убеждению, мог бы считаться классиком лингвистики в целом.

¹⁰ Полетаев, наст. изд.

латые слова». Вначале некие тезисы или понятия используются со ссылками на их авторство как *новаторские* или по крайней мере как особо удачные. Затем они же воспринимаются с почтением — как *фундаментальные*, далее — принимаются как обладающие *уникальной* объяснительной силой и в этом смысле — *классические*, а потом становятся общим местом.

Так, постепенно забылось, что именно Теньер ввел в свой синтаксис понятия первого, второго и т. д. *актантов* и термин *валентность*. Поэтому, встречая в лингвистическом тексте эти термины, современный читатель, узнавший про *актанты*, *валентность* и т. п. из работ Московской семантической школы¹¹, не интересуется, кто их впервые ввел и в рамках какой более общей теории.

Вместе с тем общеизвестно, что многие работы, некогда бывшие *классическими* в смысле приведенной выше формулировки, со временем утрачивают этот статус — иногда для большинства исследователей, иногда для принадлежащих к наиболее «современной», новаторской школе. Применительно ко многим работам/тезисам/понятиям принято считать, что они устарели, поскольку наука пошла дальше заведомо другим путем. При этом не отрицается важность соответствующих построений для науки своего времени — ведь мы не исключаем Леопольда фон Ранке из числа классиков исторической науки, хотя современные историки ссылаются на него скорее в контексте преодоления его наивной веры в возможность описывать прошлое по принципу «как это было на самом деле».

Аналогично, если сегодняшний исследовательский аппарат лингвистики и тем более сегодняшнюю актуальную для нее проблематику можно без особых усилий возвести «к истокам», то корпус работ, используемых в качестве «истоков», естественно считать классикой. Таков, с моей точки зрения, статус работ нашей современницы Анны Вежбицкой, поглощающих ее главные идеи¹², хотя еще тридцать лет назад подобные позиции воспринимались как новаторские.

С другой стороны, со временем в качестве классического стал осознаваться именно *весь корпус* трудов Виктора Виноградова — ученого, методы которого в 1960—1970-е годы представлялись моему поколению слишком традиционными (честнее было бы сказать — устаревшими).

Признание тех или иных исследователей классиками не стоило бы сводить только к признанию выдающегося вклада в науку тезисов их сочинений. Я склонна считать, что в гуманитарной науке

¹¹ См., например: Апресян, 1974.

¹² Русский перевод важнейших ее работ см. в: Вежбицкая, 1999.

классик — это *социальная функция* ученого, а не имманентная оценка его трудов как таковых. Ведь нередко особенно продуктивным оказывается сомнение в тезисах, которые до поры представлялись неколебимыми, — таковы споры *классиков между собой* и позднейшие споры *с классиками*.

Поэтому обращение к пантеону классиков лингвистики и соотнесенных с лингвистикой гуманитарных исследований, считающихся классическими, может оказаться весьма поучительным.

«ВОЛОШИНОВ, БАХТИН И ЛИНГВИСТИКА»

Продуктивное отношение к классике и кандидатам в классики не должно быть, выражаясь словами Лидии Гинзбург, ни оплевыванием, ни облизыванием. Достойной альтернативой, видимо, является реконтекстуализация и реинтерпретация текстов, претендовавших на то, чтобы считаться классическими, — нередко независимо от позиции их авторов, но благодаря их адептам.

В качестве примера далее приводится реинтерпретация ситуации в советском языкознании 1920—1930-х годов, предложенная Владимиром Алпатовым в работе «Волошинов, Бахтин и лингвистика» (2005)¹³. Почему выбран именно этот эпизод? Ответу словами замечательного историка идей Артура Лавджоя:

«...Число действительно оригинальных философских идей или диалектических ходов, как и число действительно оригинальных шуток, вне всякого сомнения, ограничено, хотя понятно, что число оригинальных идей значительно больше числа оригинальных шуток. Кажущаяся новизна многих систем достигается исключительно за счет новых сфер их приложения и новой аранжировки составляющих их элементов. Если это уяснено, история в целом приобретет гораздо более удобный для изучения вид. Конечно, я вовсе не имею в виду, что по-настоящему новых концепций, новых проблем и новых способов их решения никогда не возникало в истории мысли. Но такая новизна, на мой взгляд, вещь гораздо более редкая, чем это принято обычно считать»¹⁴.

Труд Владимира Алпатова посвящен анализу книги Валентина Волошинова «Марксизм и философия языка» (1929)¹⁵ и ее последующей рецепции — по преимуществу в качестве принадлежа-

¹³ Алпатов, 2005.

¹⁴ Лавджой, 2001 [1936]: 10.

¹⁵ Волошинов, 1929.

шей Михаилу Бахтину или по крайней мере выражающей его идеи. Алпатовым также весьма подробно рассматриваются те более поздние работы и высказывания Бахтина, которые автор считает важными именно для лингвистики.

Судьба книги Волошинова «Марксизм и философия языка» (далее — МФЯ) своеобразна. В течение многих лет она была совершенно забыта. Могу, в частности, засвидетельствовать, что такие «хранители огня», как Александр Реформатский, Петр Кузнецов и Владимир Сидоров, никогда МФЯ не упоминали. Условием взаимопонимания между нами и нашими учителями было знакомство с Соссюром, с классическими работами Бодуэна де Куртене, Фортунатова, Трубецкого (позднее изданного с комментариями Реформатского), марксизм же существовал разве что *ad usu externum*. «Воскресла» книга Волошинова во многом благодаря Роману Якобсону, который высоко оценил книгу Волошинова и способствовал ее переводам на английский и французский языки в 1970-е годы.

Особое внимание к МФЯ в 1970-е годы на Западе, как сегодня представляется, было обусловлено несколькими причинами. Это, во-первых, обостренный интерес западных исследователей к Бахтину. Ведь МФЯ и другие работы, вышедшие под «масками» Бахтина, т. е. под именами Валентина Волошинова и Павла Медведева, наряду с книгами Бахтина о Достоевском и Рабле воспринимались как труды ученого, возвращенного из социального небытия. Во-вторых, еще не вполне угас интерес западных левых интеллектуалов к *марксистским* подходам или ко всему тому, что они таковыми считали. Уже в силу этого в «поле» гуманитарных наук книга, озаглавленная «Марксизм и философия языка», должна была быть особо отмечена. В-третьих — и, быть может, это главное — на Западе в 1960—1970-е годы интеллектуальная продукция советских ученых 1920-х — начала 1930-х годов *в целом* оставалась предметом пристального внимания.

Так, «Русский формализм» Виктора Эрлиха, известный еще по изданию 1955 г., был переиздан в 1965 г.; тогда же были переведены и изданы сборники классических работ русских формалистов. К моменту выхода английского перевода МФЯ уже были переведены и книга Бахтина о Рабле, и его книга о Достоевском. Любопытно, что для самого Эрлиха Бахтин был *продолжателем классиков формализма*, крупнейшей фигурой «в рамках структурно-семиотического направления», а вовсе не *антиподом* формального метода, соссюрианства и структурализма, каковым он на самом деле являлся (см. авторское предисловие Эрлиха к англоязычному переизданию его книги в 1981 г.¹⁶, где он сожалел, что уже не мог переработать свою книгу так, чтобы воздать Бахтину должное).

¹⁶ Эрлих, 1996 [1955/1981].

Бахтин не избежал упомянутого выше «облизывания», которое превратило часть обширнейшей бахтинистики — во всяком случае, советской и российской — в обоснование канонизации крупного ученого, который меж тем был все-таки человеком своего времени, даже обгоняя его. Бахтин был причислен к классикам и продолжает им оставаться, несмотря на принципиальные возражения такого авторитета, как Арон Гуревич, касающиеся не *отдельных бахтинских тезисов*, а важнейших для его концепции конструкций: «народной культуры», «карнавала», «смехового тела»¹⁷.

Тем больше заслуга Владимира Алпатова, который в вопросах, касающихся Бахтина и его круга, всегда придерживался позиции *audiat et altera pars*. В частности, эта позиция позволила Алпатову отнести вопрос об авторстве МФЯ к числу *неразрешимых* на основе наличествующей документальной базы. В силу этого МФЯ он считает книгой, созданной *двумя* авторами — Бахтиным и Волошиновым.

Труды Алпатова выделяются своим вниманием к вкладу Бахтина именно в лингвистику, а не в философию, историю культуры или историю литературы. Отметим, что уже в первом издании своего известного учебника для вузов¹⁸ Алпатов уделил МФЯ существенно больше места, чем всей Московской фонологической школе, и детально описал антисоссюровский пафос этой книги.

Внимательный анализ текста МФЯ¹⁹ убеждает в том, что большинство работ, отстоящих от нас на 50—70 лет, для адекватного понимания требуют «перевода» на язык современной гуманитарной науки — что как раз и предполагает необходимость постоянной *критики оснований*. Исключения редки и, как правило, касаются трудов, принадлежащих не просто классикам, но ученым экстраординарного масштаба, — таковы, например, «Протестантская этика и дух капитализма» (1904—1905) Макса Вебера²⁰ или «Общая психопатология» (1913) Карла Ясперса²¹. Значительно чаще действительно классические, а не просто авторитетные труды без подобного «перевода» в указанном выше смысле и подробнейшего комментария могут быть вовсе непонятны или поняты превратно. Владимир Алпатов как раз и предложил убедительный «перевод», в силу чего его книга содержит *критику оснований* не только применительно к МФЯ, но и к позднейшим высказываниям Бахтина на близкие темы.

¹⁷ См., например: Гуревич, 2004: 189—194.

¹⁸ Алпатов, 1998.

¹⁹ По изданию: Волошинов, 1995.

²⁰ Русский перевод: Вебер, 1990 [1904—1905].

²¹ Русский перевод: Ясперс, 1995 [1913/1959].

Для нашей темы особенно важно, что объектом анализа у Алпатова являются не только тексты Волошинова и Бахтина, но научные направления, биографии и стили жизни их современников, также анализируемые (как было принято выражаться во времена Юрия Лотмана) *как тексты*.

Поэтому, будучи в первую очередь трудом по истории лингвистики, книга «Волошинов, Бахтин и лингвистика» важна для гуманитариев с самыми разными интересами. Например, свойственный кругу Бахтина специфический вариант рецепции Соссюра заставляет еще раз задуматься о том, что неизбежная участь классических концепций — многократные их трансформации *временем и во времени*. Ведь реальное бытие соссюровской лингвистики — не внутри переплета известного всем нашим лингвистам «красного Соссюра» с комментариями Александра Холодовича²², а в менталитете его читателей.

Теории живут и обновляются, выражаясь словами Лавджоя, исключительно за счет новых сфер их приложения и новой аранжировки составляющих их элементов. И потому иногда даже не так важно, как в точности в тот или иной момент интерпретировали ту или иную теорию. Более важно, что концепция была «на слуху», что о ней спорили и что делались попытки расширения или ограничения ее приложений, а уж выяснить, относились ли к ней скептически или апологетически, — конкретная задача для историков науки.

«Марксистская лингвистика в 1930—1970-е годы» (так назван один из разделов книги Алпатова) являла собой достаточно запутанную констелляцию идей, лиц и социальных обстоятельств, причем именно социальные обстоятельства нередко превращали сколь угодно спорные тезисы, которые тем не менее можно было числить «по ведомству» науки, в совершенно бессмысленные камлания, а нередко — в открытые политические обвинения.

Тривиальный тезис — что наука всегда существует в историческом времени и в исторических обстоятельствах — перестает быть тривиальным тогда, когда удастся посмотреть на эти обстоятельства, что называется, «в лупу». Исследование Алпатова отнюдь не сводимо ни к анализу МФЯ, ни к анализу других лингвистических работ, входящих в так называемый «волошиновский» цикл, ни к разновременным и довольно-таки эскизным высказываниям Бахтина на лингвистические темы, ни даже к анализу широко понимаемой рецепции идей, впервые высказанных в МФЯ.

Разумеется, все это у Алпатова присутствует. Но сверх того — и мне это представляется самым значительным — автором раз-

²² Соссюр, 1977 [1906—1911].

вернута картина существования лингвистики в СССР и современной России «в лицах» и концепциях начиная с 1920-х годов и до наших дней (последние по времени работы, рассматриваемые Алпатовым, датируются началом нынешнего века). Соответственно, экскурсы, где автор сравнивает типы самореализации, воплощенные в личностях Михаила Бахтина и Виктора Виноградова, вовсе не являются «виньетками» по отношению к основному содержанию книги.

При изложении любой научной концепции Алпатов исходит из представлений о кумулятивном характере науки как об основном ее тренде, хотя, как мы знаем, этот тренд выявляется лишь при охвате больших временных интервалов. Поэтому Алпатов всегда ищет то направление, в котором анализируемый исследователь продвинулся дальше своих предшественников или современников или, напротив того, вольно или невольно воспроизвел уже сказанное другими. При этом существенный аспект его *критики* — это искусное и убедительное разделение марксистской «упаковки» от вовсе не соотнесенной с марксизмом сути. Сказанное справедливо не только для МФЯ, но и для текстов других ученых, для которых «марксистская» терминология была в 1920—1930-е годы не более чем общепринятым способом изъясняться.

Научные идеи выдвигаются, оспариваются, поддерживаются и опровергаются в некотором общем для данной эпохи социальном и интеллектуальном пространстве. Язык, на котором эти идеи формулируются, неизбежно отражает наличные мыслительные горизонты и общий для эпохи интеллектуальный климат — как характерные увлечения, так и отталкивания. Интересным материалом для характеристики этого интеллектуального пространства служит анализ употребления слова *идеология* в МФЯ и более поздних работах самого Бахтина. «Идеологией» нередко именовался любой общий взгляд на предмет анализа; совокупность воззрений и позиций, позволяющих личности осмыслить мир и свое место в нем. В сегодняшних терминах можно было бы сказать, что здесь, пожалуй, больше от Клиффорда Гирца, чем от привычного советского штампа, согласно которому существовала одна «правильная идеология» — марксистская.

О том, что «основоположники» — *классики марксизма* — некогда называли *идеологией* не вообще некую систему убеждений или представлений, а именно *ложное сознание*, в советские времена почему-то не вспоминали.

Реконструкция истории идей невозможна вне понимания взаимодействия научных школ и кружков, где эти идеи выдвигались, обсуждались и «обкатывались». В терминах Бурдьё, это и есть «поле науки» — во всяком случае, его важнейший сектор. В качестве

одного из поучительных примеров взаимодействия единомышленников Алпатов рассказывает об отношениях между членами кружка, который вошел в историю языкознания как Московская фонологическая школа: это Алексей Сухотин, Рубен Аванесов, Петр Кузнецов, Владимир Сидоров и Александр Реформатский. И здесь Алпатов, несомненно, прав, говоря о том, что идейный вклад Сидорова в теорию Московской фонологической школы был решающим, хотя принадлежащие ему *тексты* напрямую об этом не свидетельствуют²³. Можно спорить о том, следует ли считать Владимира Сидорова классиком, но несомненно, что он оставил нам несколько классических текстов.

Поучительно предложенное Алпатовым сопоставление личностей Михаила Бахтина и Виктора Виноградова как *типов* ученых-гуманитариев. То, что Бахтин жил гонимым и умер нецензурированным, входит в «бахтинскую легенду». Виноградов еще в 1946 г. получил Сталинскую премию за книгу «Русский язык» и, несмотря на проработочную кампанию 1949 г., когда он «угодил» в *космополиты*, занимал самые высокие ступени в советской академической иерархии.

Казалось бы, жизнь больного и одинокого саранского затворника складывалась совсем иначе. Но при всем том многие годы жизни (а не только самые последние!) Михаил Михайлович был окружен такой теплой заботой более молодых друзей и почитателей, которая и не снилась академику Виноградову. Благодаря их хлопотам (упомяну хотя бы Вадима Кожина) книга о Достоевском была переиздана, а «Рабле» был доведен до уровня монографии. Бахтин всегда был ориентирован на *процесс* познания, но не на оформление своих мыслей в виде, доступном широкой аудитории.

Виноградов работал везде и всегда, неизменно доводя *каждый* труд до книги, статьи или раздела в монографии: даже находясь в ссылке, он упорно хлопотал об *издании* своих трудов²⁴. Большая часть изданного им — несомненная классика русистики; и именно благодаря *классичности* его работы будут питать не одно поколение ученых.

Отмечу, что стили жизни и особенности научных биографий Виноградова и Бахтина вовсе не являются чем-то посторонним по

²³ С грустью отмечу, что в еще меньшей степени достоянием бумаги стали его идеи в области лексикологии, стилистики и истории русского литературного языка, возникавшие в период его работы над Словарем языка Пушкина, — а ведь они в значительной мере опережали свое время и отличались поистине классической отточенностью мысли и прозрачностью формы.

²⁴ Ср., например: Чудаков, 1998.

отношению к рецепции их творчества. Более того, если подходить к науке как к *культурной практике*, то именно понимание описанных различий делает понятным, почему многое у Бахтина принимается апологетически и используется гуманитариями самых разных специальностей, в то время как бесценные для русской культуры труды Виноградова в *качестве классики* остаются преимущественно в поле зрения славистов.

При этом Бахтин, для которого *реплика* имеет больше оснований рассматриваться как единица языка, нежели *слово*, для которого модусом бытия языка являются прежде всего его выразительные возможности и диалогичность как таковая, — этот исследователь вообще занимался *другой лингвистикой*, нежели Московская фонологическая школа или, казалось бы, столь далекий от нее ранний Хомский. И если Бахтин — классик, то *классик другой науки*, чем та наука о языке и о литературе, на ниве которой работали формалисты 1920-х и структуралисты 1950—1960-х.

Более близкие Бахтину идеалы воплощала лингвистика раннего Виктора Виноградова и Григория Винокура, а также позиции большинства представителей Пражского кружка. И только Роману Якобсону удалось в своей длительной и разнообразной работе в науке гармонично совместить русский формализм, структурализм Московской фонологической школы и даже американский структурализм, расцветавший в стенах Массачусетского технологического института (MIT). Предложенная Владимиром Алпатовым *историческая критика* оснований столь разных лингвистик убедительно подводит нас к подобному умозаключению.

КАНОНИЗАЦИЯ «ЧУЖОЙ» КЛАССИКИ: ХОМСКИЙ И ХОМСКИЙ

Необходимым условием для канонизации некоторой гуманитарной теории является наличие в структуре этой теории определенного и легко обнаруживаемого потенциала — это удобные концептуальные модели, яркие метафоры, удачные своей очевидностью классификации (пусть даже впоследствии эта очевидность окажется мнимой). Это позволяет последователям воспроизводить именно данную теорию, применяя ее ко все большему числу объектов и конструируя ее расширения.

В частности, хотя культурная практика «вокруг Бахтина» — это, увы, прежде всего канонизация, но без *диалога*, *смеховой культуры* и *карнавала* не было бы и многих плодотворных споров в разных областях гуманитарных исследований.

Как удачно заметил Михаил Гронас, без «грубых мазков» и эссеистичности гуманитарная теория вообще не достигает «власти над умами»²⁵. Если «грубых мазков» не доставало в оригинале — их привнесут туда последователи и эпигоны.

В этой связи заслуживает внимания наследие Ноама Хомского. Поскольку неизбежная участь «больших концепций» — канонизация их создателей, сопровождаемая многократными трансформациями во времени самих концепций, именно такие концепции и заслуживают *критики оснований*. В частности, необходимо осмыслить то обстоятельство, что книга Хомского «Язык и мышление» (1968)²⁶ написана совсем «не тем» человеком, труды которого некогда положили начало «хомскианской революции» и который продолжает изменять и усложнять свои построения (быть может, совершенствовать их).

По существу, в гуманитарных науках есть «два Хомских».

Один — это классик лингвистики, основоположник генеративной грамматики — быть может, самой влиятельной лингвистической теории второй половины XX в. Его работы «Синтаксические структуры» (1957) и «Аспекты теории синтаксиса» (1965)²⁷ оказали сильнейшее влияние на мировую науку. Именно там были впервые эксплицитно предложены новые для того времени формальные методы описания языка, понимаемого как «порождающее устройство». Практически вся американская лингвистика с конца 1950-х годов и по сей день *состоялась как наука* именно «под знаком» Хомского²⁸.

Замысел Хомского заключался в том, чтобы создать *исчисление*, которое позволяло бы порождать (to generate) любые правильные и только правильные предложения английского языка. Всякое исчисление задается алфавитом символов, начальными «словами» и правилами, позволяющими выводить новые «слова» из уже имеющихся «слов». Проверка истинности утверждений, сделанных в теории, построенной как исчисление, осуществляется в соответствии с правилами логического вывода. Никакие иные инструменты проверки здесь просто не нужны.

Теория, построенная как исчисление, *может* иметь содержательную интерпретацию: «словам» исчисления могут быть сопоставлены объекты из мира, «внешнего» по отношению к данной теории, а логическим операциям с символами могут быть сопоставлены операции с объектами. Это, однако, не обязательно: наличие

²⁵ Гронас, 2002.

²⁶ Хомский, 1972 [1968].

²⁷ Хомский Н, 1972 [1965].

²⁸ См.: Кибрик, Плузган, 1997.

или отсутствие содержательной интерпретации не соотносится с проверкой истинности исчисления как формальной теории — формальная теория может быть истинной или ложной независимо от существования содержательных интерпретаций.

Таким образом, отношение ««формальная теория» — ее содержательная интерпретация» имеет другой смысл, нежели отношение между теорией, сформулированной как набор проверяемых (testable) гипотез, и процедурами проверки этих гипотез в эксперименте.

Хомский никогда не претендовал на то, что его теория предполагает экспериментальную проверку; соответствующие примеры — преимущественно из английского языка, но не только — всегда были именно *иллюстрациями* и не более того. Внимательное чтение работ Хомского показывает, что в трудах по генеративной грамматике он не отводил слову *порождающая* даже роль метафоры. Термин этот у Хомского всего лишь подчеркивает динамический (а не статический) способ задания исходных объектов, с которыми работает его теория. Поэтому попытки *проверки* валидности разных аспектов генеративной грамматики в психолингвистических экспериментах — это попытки с заведомо негодными средствами. Ни один из многочисленных вариантов основной теории, которую Хомский не переставал совершенствовать в продолжение десятков лет, не мыслился им как подлежащий экспериментальной проверке.

Но есть и «другой» Хомский — гуманитарный философ, автор книги «Язык и мышление», где он поставил задачи, *принципиально не решаемые той лингвистикой, основателем и лидером которой сам он был* — и во многом остался! Именно *этого* Хомского обильно цитируют представители смежных профессий — филологи, психологи.

В «Языке и мышлении» пафос Хомского ближе всего к Гумбольдту и Бенвенисту, если вспомнить девиз последнего — изучать «человека в языке». Как замечательно выразился Раймон Арон, «за неимением такой исторической науки, существование которой было бы неоспоримо, мы исследование основ заменили исследованием границ»²⁹.

В не меньшей мере сказанное справедливо и для лингвистики. В самом деле. Можно описывать *langue*, т. е. *систему* языка, следуя Хомскому — с учетом того, что в его терминах следует говорить о *языковой компетенции (competence)*. Можно ставить ту же цель, следуя структурным разработкам Теньера. Самая влиятельная советская и российская лингвистическая школа — Московская се-

²⁹ Арон, 2000: 216.

мантическая — пошла по пути Теньера, но отнюдь не без учета подхода Хомского. Все влиятельные западные лингвисты (за исключением Анны Вежбицкой) пошли по пути генеративной грамматики Хомского. Можно в пределах примерно той же парадигмы ставить и другие цели: например, изучать речь — сосюрговскую *parole*, приблизительно эквивалентную понятию *performance* в терминологии Хомского, что лучше всего перевести как *речевая деятельность*, подчеркнув тем самым *процессуальность говорения* как объекта исследования.

Так или иначе спустя почти полвека после выхода прославившего Хомского труда «Синтаксические структуры» генеративная грамматика — во всяком случае, в США — все еще выглядела, по выражению Александра Кибрика и Владимира Плунгяна, *небоскребом* рядом с малоэтажными зданиями, репрезентирующими другие, вполне продуктивные теоретические разработки и школы современной американской лингвистики³⁰.

Впрочем, в контексте нашего изложения более важно иное. Действительно *классическая* книга Хомского «Язык и мышление» так и осталась лишь *манифестом*. Сформулировав проблемы, важнейшие для познания *функционирования* языка как средства общения и средства познания мира, Хомский оставил в сфере *desiderata* методы и методики, допускающие, выражаясь юридическим языком, «прямое применение» к *сформулированным им самим задачам*.

Здесь я усматриваю своего рода загадку. Как известно, немало научных манифестов сигнализируют о возникновении определенной культурной практики или легитимируют ее (такова, например, была роль статьи Лотмана «Литературоведение должно стать наукой»³¹). Книга Хомского «Язык и мышление» такой роли не сыграла — в большой мере потому, что в гуманитарных науках связь между «нижними» этажами (т. е. позволяющими эксперименты и формализацию) и высшими («чистой» теорией) как была, так и осталась очень слабой.

Осознание этого обстоятельства и продуктивные выводы из него стоит рассматривать как вызов историкам науки.

«ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ» КАК СЮЖЕТ

Между популярностью некоторой научной теории, реноме ее апологетов или противников и шансами ее автора на дальнейшее

³⁰ Кибрик, Плунгян, 1997: 329.

³¹ Лотман, 1967.

полузабвение или, напротив того, вхождение в «пантеон» существуют сложные отношения. Разумеется, это утверждение было бы тривиально, если бы мы взялись писать не о науке, а о музыке или живописи. Однако именно применительно к науке здесь возможны самые разнообразные варианты, в том числе довольно-таки экзотические.

Лингвистический поворот — это именно *сюжет*, а не школа и не какое-либо определенное научное направление; сюжет хоть и экзотический, но весьма типичный. У сюжета есть главный герой — автор книги «Метаистория»³² историк Хейден Уайт, должность которого некогда называлась «профессор истории сознания». Выход этой работы (1973) со временем породил обширную (хотя довольно неопределенную по своим границам) совокупность исследований, притом не столько в сфере самой исторической науки³³, сколько в области филологии, теории и истории литературы и смежных дисциплин. Идеи Уайта получили легитимацию не только *после*, но в немалой мере *вследствие* того тупика, в который зашел западный постструктурализм, понимаемый как интеллектуальное движение (я бы предпочла говорить об интеллектуальной моде), захватившее *разные* гуманитарные науки. Именно поэтому рассмотрение «лингвистического поворота», интерпретируемого как альтернатива «прочим» теориям (без четкого определения, каким именно), остается поучительным для истории/социологии гуманитарных наук — полагаю, что в большей степени, чем для историков *sensu stricto*, которые в теориях Уайта не очень нуждались.

Подчеркнем, что для многих авторов «лингвистический поворот» — это герменевтика особого рода. Гуманитарии увидели здесь возможность сочетать исследования языка как феномена культуры и одновременно языка как инструмента познания себя; языка как средства описания мира и языка как средства *воздействия* на мир.

Результат нам видится как слабоструктурированная область разнохарактерных идей и построений, лишь *ассоциативно* соотнесенных с упомянутым трудом Уайта. «Лингвистический поворот» не стал ядром, вокруг которого могла бы сложиться самостоятельная парадигма. Но он не остался и увлечением отдельных авторов или групп авторов, так что термин *парадигма* используется нами в расширенном смысле (в близком значении иногда используется слово *дискурс*).

Язык в этой парадигме — это прежде всего *орудие*, инструмент мысли. Одним из путей осуществления этой «орудийности» яв-

³² Уайт, 2002 [1973].

³³ Недаром работа историка Хейдена Уайта обсуждается в содержательном обзоре филолога Сергея Зенкина и в рецензии культуролога Оксаны Гавришиной (см.: Зенкин, 2003; Гавришина, 2003).

ляется не только возможность отсылки к уже известному, но прежде всего категоризация неизвестного, нового. В этой своей функции язык выступает:

(а) как главный инструмент «упорядочения» мира путем использования *имен категорий*, без которых мир предстает как неструктурированный хаос³⁴;

(б) как инструмент выделения, освоения и присвоения нового, поскольку язык является неограниченным источником *тропов*³⁵.

Одновременно язык — это высказывания и воздействия, «зеркало» человека, его внешнего и внутреннего мира, психологический феномен, часть сферы сознания, но также и отражение под-сознания. И разумеется, язык — инструмент самовыражения, самореализации и борьбы. В таком случае как ответить на вопрос о том, какое видение сущности языка *отрицается* этой парадигмой? И отрицается ли?

Все-таки *отрицается* — в той мере, в какой отвергается подход к языку как к сосюрровскому *langue* — структуре, изучение которой замкнуто на нее саму как на отдельность и самоценность.

В самом общем виде «лингвистический поворот» как сюжет манифестирует глубокий кризис гуманитарных наук. Стремления к инновациям, обусловленные необходимостью по-новому взглянуть на известные объекты, проявились в данном случае в попытках объединить изучение языка и литературы с изучением истории идей, а также истории социальных и ментальных структур. Вместе с тем, будучи осознан именно как проявление кризиса, «лингвистический поворот» — если его рассматривать герменевтически, а не ученически буквально, — позволяет лучше понять, в чем именно проявляется современная «проблемность» гуманитарных наук.

Эклектичность подходов и методов, которая выражается в размывании границ между исследовательскими «жанрами» не только в пределах изучения, например, языка и литературы, но также «языка литературы» и литературного языка, порождает запрос на нечто всеохватное и не слишком «техническое». Уже у таких идейно противоположных и даже несовместимых, казалось бы, авторов, как Вежицкая и Лакофф, мы найдем способы *говорения о языке*, находящиеся *между* наукой и эссеистикой, между метанаучной рефлексией и жанром философского фрагмента³⁶. Даже те исследователи, которые отправной точкой имели в свое время формальные модели наподобие модели «Смысл—Текст» Мельчука—Жолковского, переформулируют свои умозаключения в направлении их

³⁴ Копосов, 2001; Уваров, 2004; Фрумкина, 2005.

³⁵ Лакофф, Джонсон, 2004 [1980]; Гири, 2004.

³⁶ Ср., например: Wierzbicka, 1996. и Лакофф, 2004 [1987].

меньшей формализации, обнаруживая неполноту подобных моделей³⁷.

Таким образом, нашего внимания заслуживает не столько сам факт популярности идей (а нередко лишь имени Уайта!) среди широких кругов гуманитариев, сколько анализ причин влиятельности этого подхода (см. выше пп. (а) и (б)) — прежде всего в контексте бытования лингвистики и комплекса наук о литературе. Очевидно, что остались в прошлом иллюзии о возможностях «переустройства» лингвистики по аналогии с математикой и совершенствовании наук о человеке в духе построений Куайна, фон Вригта и то ли раннего, то ли позднего Витгенштейна. Но все же в науке принято придерживаться традиции «доказательной интерпретации», где при всей сложности предмета исследования утверждается необходимость — и возможность — отличать *мнение* (вне зависимости от того, кто его высказал) от *знания*. Однако как раз на примере *сюжеттики* «лингвистического поворота» хорошо видно, что помимо определенного стимулирующего эффекта массовая апелляция к терминологии Уайта привела к тривиализации его позиций и способствовала размыванию границ между *мнениями* и *знаниями*.

И все-таки: насколько уместно в словосочетании «лингвистический поворот» слово «лингвистический»?

Думаю, не слишком, потому что *поворот* (которого, в сущности, не было) касался не науки *лингвистики*, а *отношения* к использованию *языка и его инструментов*. Во введении, не случайно названном Уайтом «Поэтика истории», автор сформулировал, как он видит свои задачи *историографа*, и подробно объяснил, чьи теории были для него особенно значимы: это Якобсон, Эйхенбаум, Томашевский и Шкловский — еще одно свидетельство упомянутой выше расширенной рецепции русского формализма на Западе. Однако главные *герои* Уайта — четыре историка XIX в. — Мишле, Ранке, Токвиль и Буркхардт — и четыре философа — Гегель, Маркс, Ницше и Кроче — различаются вовсе не тем, что в своей метафорике и сюжетике следовали канонам разных литературных стилей и направлений, а тем, что по-разному понимали «смысл и назначение истории».

Так состоялся ли вообще «лингвистический поворот»? Представляется, что да — в качестве поучительного *эпизода* в истории гуманитарных наук. Но не более того.

Закончу словами Артура Лавджоя:

«И более значима в данном отношении не та догма, которая провозглашается, — как бы ни было однозначно или же богато ее

³⁷ Урысон, 2003.

содержание, — а те мотивы или резоны, которые привели к ее утверждению. Но ведь сходные мотивы и основания могут приводить к очень разным выводам, а одни и те же выводы в разные эпохи или в разных головах возникают вследствие совершенно различных логических и не только логических посылок»³⁸.

Литература

Алпатов В. М. Волошинов, Бахтин и лингвистика. М.: Языки славянской культуры, 2005.

Алпатов В. М. История лингвистических учений. М.: Языки русской культуры, 1998.

Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М.: Наука, 1974.

Арон Р. Избранное. Введение в философию истории / Пер. с франц. М.; СПб.: Университетская книга, 2000.

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма [1904—1905] // Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. С. 61—208.

Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / Пер. с англ. М.: Языки русской культуры, 1999.

Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Л.: Прибой, 1929.

Волошинов В. Н. Философия и социология гуманитарных наук. СПб.: АСТА-ПРЕСС Ltd, 1995.

Гавришина О. В. История как текст // *Новое литературное обозрение*. 2003. № 59. С. 535—539.

Гирц К. Идеология как культурная система [1964] // Гирц К. Интерпретация культур / Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2004. С. 225—267.

Гофман И. Анализ фреймов / Пер. с англ. М., 2003 [1974].

Гронас М. Актуальность Лотмана // *Новая русская книга*. 2002. № 1.

Гуревич А. Я. История историка. М.: РОССПЭН, 2004.

Зенкин С. Н. Критика нарративного разума // *Новое литературное обозрение*. 2003. № 59. С. 524—534.

Кибрик А. А., Паунган В. А. Функционализм // *Фундаментальные направления современной американской лингвистики: Сборник обзоров*. М.: МГУ, 1997. С. 276—339.

Копосов Н. Е. Как думают историки. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

Лавджой А. Великая цепь бытия: История идеи / Пер. с англ. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001 [1936].

Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении / Пер. с англ. М.: Языки славянской культуры, 2004 [1987].

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / Пер. с англ. М.: Едиториал УРСС, 2004 [1980].

³⁸ Лавджой, 2001 [1936]: 11.

Лотман Ю. М. Литературоведение должно быть наукой // *Вопросы литературы*. 1967. № 1. С. 90—100.

Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл—Текст». М.: Наука, 1974.

Мёртон Р. К. Социальная теория и социальная структура / Пер. с англ. М.: АСТ, 2006 [1968].

Соссюр Ф., де. Курс общей лингвистики / Пер. с франц. М.: Прогресс, 1977 [1906—1911].

Теньер Л. Основы структурного синтаксиса / Пер. с франц. М.: Прогресс, 1988 [1959 посм.].

Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.

Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века / Пер. с англ. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002 [1973].

Уваров П. Ю. Франция XVI века: Опыт реконструкции по нотариальным актам. М.: Наука, 2004.

Урысон Е. В. Проблемы исследования языковой картины мира: Аналогия в семантике. М.: Языки славянской культуры, 2003.

Фрумкина Р. М. Размышления о самосознании лингвистов и филологов (этические аспекты) // *Интеллектуальный форум*. 2000. № 3. С. 152—171.

Фрумкина Р. М. Теории среднего уровня в современной лингвистике // *Вопросы языкознания*. 1996. № 2. С. 55—67.

Фрумкина Р. М. Категоризация как познавательная процедура: сословия и социальные группы // *Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории*. М.: КомКнига, 2005. Вып. 14. С. 132—149.

Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса / Пер. с англ. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. [1965].

Хомский Н. Синтаксические структуры [1957] // *Новое в лингвистике*. М.: Прогресс, 1962. Вып. 2. С. 412—527.

Хомский Н. Язык и мышление / Пер. с англ. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972 [1968].

Чудаков А. П. Учусь у Виноградова // Тыняновский сборник. Вып. 10: Шестые — Седьмые — Восьмые Тыняновские чтения. М. [Улан-Батор: Издательский дом «Агийма»], 1998.

Эрлих В. Русский формализм: история и теория / Пер. с англ. СПб.: Академический проект, 1996 [1955/1981].

Ясперс К. Общая психопатология / Пер. с нем. М.: Практика, 1997 [1913/1959].

Tesnière L. Esquisse d'une syntaxe structurale. Paris: Klincksieck, 1953.

Wierzbicka A. Semantics. Primes and universals. New York, Oxford: Oxford University Press, 1996.

Философия

Алексей Руткевич

К ВОПРОСУ О КЛАССИКЕ В ФИЛОСОФИИ

Хотя философы достаточно часто пользуются словами «классика», «классики», «классический», употребляют они их чаще всего не применительно к философским учениям. Конечно, всем нам знакома «немецкая классическая философия», но этот термин получил широкое распространение только потому, что Кант и Гегель сделали одним из «источников» марксизма, — в самой Германии этим словосочетанием пользуются сравнительно редко¹. Историками философии слово «классика» почти не употребляется по отношению к основоположникам тех или иных учений. Иногда его используют для великих систем XVII в., применяют по отношению к учениям Платона и Аристотеля. Однако если мы уберем это слово, то ничего не изменится, оно является лишним. Можно сказать, что философы нехотя отдают должное своим коллегам-филологам, но на деле оно им вовсе не требуется.

Если принимать во внимание только сферу культуры («духа»), то классиками мы именуем тех, кто оставил образцы для потомства: накопленным классиками символическим капиталом пользуются доньше все те, кто считает созданные в прошлом произведения образцовыми. Слово «классика» живет в современных европейских языках прежде всего в этом значении — чего-то положительного, проверенного временем, образцового, первоклассного. Философы, как и все ученые мужи, его в этом значении, конечно, употребляют (скажем, «классический аргумент»), но оно не имеет почти никакого отношения к проблеме классики в научных дисциплинах.

Второе значение слова «классика» указывает на античность (даже классическая борьба связана с греками). Словосочетания

¹ Подробнее см.: *Резных*, наст. изд.

«классическая филология», «классическое наследие» восходят к оппозиции античности и «темных веков», свойственной для эпох Возрождения и Просвещения. Мы далеко ушли от времен гуманистов XVI в. и Винкельмана, сама античность давно не воспринимается как единый блок, отделенный некоей стеной от Средневековья. Стоит заметить, что уже философы Нового времени крайне редко прибегали к этой оппозиции: особого пиетета по отношению к античности они не испытывали, у Бэкона и Декарта мы можем найти весьма едкие характеристики не только схоластики, но и эллинов. Они хорошо понимали то, что порывают с «классическим наследием» и в теории познания, ориентированной на математику и экспериментальное естествознание, и в политической теории (Гоббс). За исключением Лейбница, все остальные видные мыслители XVII в. не искали образцов в античной философии. То же самое можно сказать и о философах последующих столетий. Знакомство с трудами античных авторов входит в обязательную программу обучения философов, но Платону или Аристотелю уделяется не больше времени, чем Декарту или Гегелю.

Более частым и более точным является применение термина «классика» не по отношению к античности в целом, а к одному периоду, а именно к V—IV вв. до н. э., прежде всего — к Афинам «века Перикла», иногда расширяемого до 150 лет (от Саламина и до Херонеи). Об этом периоде написано столько, что нельзя не привести слова классика историко-филологической учености:

«Вся совокупность человеческого бытия — от тривиальной низости повседневного вплоть до вершин в общественной жизни, искусстве и мысли — раскрывается перед нами во всем своем многоцветье. Первое впечатление — необычайное богатство и никогда более не достижимая жизненная сила, как физическая, так и творческая»².

Любой непредвзятый наблюдатель истории понимает значимость этого периода для всех последующих этапов развития философии и театра, математики и медицины, архитектуры и скульптуры. Уже в античный период появляются разновидности того, что получило впоследствии наименование «классицизм» («аттицизм», «неоаттицизм»). Сама историческая наука видит в Геродоте и Фукидиде основоположников. Этот период противопоставляется, с одной стороны, архаике, с другой — эллинизму.

Оппозиция с архаикой оказалась плодотворной при рассмотрении и других культур. Если классическим называется период

² Йегер, 2001: 386.

выработки канонов, достижения культурой наиболее зрелых и совершенных форм в искусстве и литературе, то своя архаика и своя классика без труда отыскиваются и в Китае, и в Средних веках («высокая готика» тогда будет классикой).

«Классические периоды обычно продолжаются недолго: едва культура, искусство, поэзия достигают своего апогея, как уже начинают приходить в упадок; на вершинах трудно удержаться»³.

Искусство в эти периоды обладает некоторыми характерными чертами: гармонией, уравновешенностью, соразмерностью человеку, которую можно назвать и своего рода гуманизмом, поскольку пропорции классической эпохи устанавливаются по мерке человека.

«В определенные эпохи своего культурного развития человек воспринимает как самые прекрасные свои собственные пропорции и сообщает их своим произведениям; именно так обстояло дело в классические периоды, для которых характерно это стремление к естественным, человеческим пропорциям, к формированию мира вокруг себя по человеческой мерке»⁴.

Классике поэтому противопоставляется не только архаика, не только декаданс, но также и барокко. Иногда сама классика обособленно отличается от классицизма (и тем более от псевдоклассицизма). И в литературе, и в музыке, и в изобразительных искусствах классицизм часто сопоставляется с барокко и с романтизмом, но эти сопоставления имеют четкие временные границы (XVII в., конец XVIII — первая треть XIX в.) и прямо никак не связаны с проблемой классики в мире науки. Правда, историки иногда именуют классическим время расцвета *ancien regime*, несмотря на то что в искусстве той эпохи господствовало барокко⁵. Классическое в мире искусства определяется отношением между формой и содержанием⁶, в области науки трудно найти аналогию этой эстетической оппозиции. Классицизм в искусстве иной раз неплохо соче-

³ Татаркевич, 1977: 44.

⁴ Указ. соч.: 63.

⁵ См. работу Пьера Шоню «Цивилизация классической Европы (Шоню, 2005). Впрочем, это прилагательное с большими или меньшими основаниями употребляется и по отношению к некоторым периодам в истории Китая, Индии, арабского мира и т. п.

⁶ Как писал во славу классическому относимый к романтикам поэт, «выражения “классический” и “романтический” относятся, следовательно, исключительно к духу изображения. Способ изображения будет классическим, если форма и идея того, что подлежит изображению, совершенно тождественны, как

тается с политическим консерватизмом (примером может служить Шарль Моррас).

«Старая регламентация искусств держалась на идее, что всякий порядок, всякая форма вне истории, только беспорядок может иметь историю. Для классического мирозерцания вся святость и красота порядка в том, что он не меняется. Этих верований держались и в эстетике, и в политике. Абсолютистское государство притязало на вечность... Суть формы — в ее бедности, богат, разнообразен только беспорядок, только смута играет всеми цветами. В форме видели нечто по необходимости насильственное — государство ли это, законодательство ли, наука ли»⁷.

Однако подобные воззрения характерны только для классицизма определенного — и довольно краткого — периода. Уже такие классики и противники романтизма, как Гегель и Гёте, понимали отношение содержания и формы совсем иначе.

Все эти разграничения уместны в истории литературы и искусства, но они чаще всего непригодны для историка философии или историка науки. Разумеется, оппозиция «архаика — классика» может преобразоваться в противопоставление «дионисийского и аполлоновского начал», помочь разграничению «досократиков» и следующих за ними «классических» учений Платона и Аристотеля, а затем эта «классика» сопоставляется с системами эпохи эллинизма. Однако чем более историк философии следует таким схемам, тем чаще он утрачивает предмет собственных исследований. Еще более натянутыми являются сопоставления философских систем XVII в. то с барокко, то с классицизмом. Литературные и художественные стили, как и *Zeitgeist* вообще, сказываются на философских учениях, но ни логика, ни эпистемология, ни этика не могут прямо характеризоваться как «классицистские» или «барочные».

Чем больше связь философии с литературой и искусством, тем осмысленнее подобные параллели (скажем, они хорошо «работают» в случае эстетики), но в остальном философия входит в такие схемы ничуть не лучше, чем математика и физика. Встречающееся иной раз родство терминов не должно вводить нас в соблазн: символизм в искусстве и символизм в науке обозначают различные явления. Правда, имеется и другая сторона проблемы, о которой не должен забывать историк философии: философские — а затем и

оно наблюдается в созданиях греческого искусства, где в этом тождестве заключена наивысшая гармония формы и идеи. Способ изображения будет романтическим, если форма раскрывает идею не посредством тождественности, но позволяет угадывать ее в параболе» (*Гейне*, 1994: 72).

⁷ Берковский, 2001: 67.

богословские — сочинения способствовали выработке тех канонов, которыми пользовались художники. В пифагорейском союзе размышления о музыке и скульптуре сочетались с занятиями астрономией, медициной и политикой. Историк философии может не без пользы для своих занятий познакомиться с книжкой о флорентийских гуманистах, но попытки сведения к общим местам «итальянского гуманизма» системы Николая Кузанского сразу обнаруживают порочность подобных методов, чем-то напоминающих неудобозабываемые социально-экономические формации или нынешние социологические нелепицы, вроде громадного тома Рэндалла Коллинза.

Умение смотреть на прошлое глазами представителя *Kulturwissenschaften* столь же полезно для историка философии, как знание социологии или психологии, но предметом для него являются не институты и переживания, а мысли, высказанные сравнительно небольшим числом людей, которых в каждую эпоху было крайне мало. Все они, конечно, принадлежали своему времени, были им сформированы, принадлежали тому или иному сословию и т. д. Можно проводить интересные параллели между музыкой Бетховена и философией Фихте, готикой и схоластическими суммами теологии и т. п. Однако чаще всего такие аналогии малоубедительны. Три «Критики» Канта столь же неверно объяснять какими-то внешними философии обстоятельствами (от невнимания к прелестям прекрасного пола до революции во Франции), как выводить геометрию Лобачевского из социальной структуры николаевской России.

Короче говоря, слово «классика» в том его значении, в каком оно употребляется для характеристики литературы и искусства, чаще всего просто не подходит к философии. Поскольку философия существует не в безвоздушном пространстве, так как она множеством нитей связана с другими явлениями культуры, то на нее переносятся черты этих феноменов. В свою очередь, преобладающие в ту или иную эпоху способы философствования воздействуют на прочие проявления человеческого духа. Когда Георгий Адамович пишет о «классической эпохе» в литературе, то он указывает и на некоторые черты последующей эпохи, выражавшиеся, конечно, и в философии:

«Классическая, то есть хранящая какое-то равновесие, еще не скатившаяся к всесмешению, безразличию и безрассудству, еще не заигрывающая с откровенным и явным безумием, не поглядывающая на него с блудливо-растерянно-заискивающей улыбкой»^{*}.

^{*} Адамович, 2006: 86.

Поскольку философия, словами Гегеля, есть «эпоха, схваченная в мысли», то есть наиболее отчетливое выражение некоторых черт *Zeitgeist*, то мы можем вслед за литераторами и культурологами пользоваться словом «классика» в указанных значениях. Но к сути дела, к тем вопросам, которые ставили мыслители прошлого, это чаще всего не имеет ни малейшего отношения. Для философа, рассматривающего трансцендентальный идеализм и натурфилософию Шеллинга, не так уж важно то, что его причисляют к «немецкой классической философии», хотя сам он был видным представителем немецкого романтизма.

Конечно, любой философ согласится с тем, что в каком-то смысле классиками можно назвать примерно 150—200 мыслителей, которые на протяжении 2500 лет ставили проблемы и находили им решения, причем делали это так, что все последующие мыслители вынуждены были с их аргументацией считаться. «Классики» — это учителя всех философов, первоклассные мыслители. Хотя у каждого из философов будет свой список, Платон и Аристотель, Декарт и Лейбниц, Кант и Гегель в него наверняка войдут. Так понятие, значение слова «классика» роднит философию с другими науками, в которых небольшое число выдающихся умов прошлого считаются основоположниками дисциплин, направлений, школ. В этом смысле экономисты говорят о Смите и Рикардо как о классиках, социологи продолжают учиться по трудам Вебера и Дюркгейма, лингвисты обязательно читают Соссюра и т. д. Философия с античных времен существует в форме школ, а потому у приверженцев той или иной доктрины, конечно, имеются свои классики. Такими наследниками совсем не обязательно являются жалкие эпигоны — неокантианство или неогегельянство были серьезными философскими школами (можно вспомнить о неоплатонизме, неоконфуцианстве и т. д.).

К классикам философских школ применимо суждение Жозефа де Местра о книгах:

«Есть верное правило, по которому о книгах можно судить так же, как и о людях (даже не будучи с ними знакомым): достаточно знать, *кто их любит и кто ненавидит*»⁹.

Авторитетом пользуются мнения тех, кого правомерно (или без достаточных оснований) считают своими предшественниками и единомышленниками. Школа устанавливает канон из отобранных для изучения текстов, освоение которых обязательно для будущего адепта. Однако даже самые близкие теологии или идеологии

⁹ Местр, 1998: 325.

философские школы не требовали принимать на веру мнения авторитетных мыслителей — в таком случае они порывали бы с философской традицией, которая требует обоснования даже для до-рефлексивно принятых верований.

Иногда следование «школьной философии» называют догматизмом, но оппозиция «догматизм — скептицизм» обладает иным основным значением; у скептиков всегда имелись свои авторитетные фигуры. В любой школе такого рода круг обсуждаемых проблем, а иногда и круг чтения определяется имеющимся в распоряжении каноном. Научиться чему бы то ни было люди могут только посредством освоения накопленных ранее знаний и умений, а потому «ходят в школу». До тех пор пока «школьные» теории дают удовлетворительные решения, никто их и не пересматривает¹⁰. Вопреки расхожим мнениям, характерным для нашей эпохи, полагающей всякое нововведение чем-то «оригинальным», даже наиболее радикальные философы-ниспровергатели сначала проходили выучку в той или иной школе, а уж потом, натолкнувшись на пределы, предлагали свои собственные решения.

Это роднит философию со всеми науками. Дух критического исследования, объективность, «взятие в скобки» собственных предпочтений и устремлений, нацеленность на предмет (*zur Sache selbst*), системность мышления требуют умений и навыков, которые не без труда вырабатываются в «школе», в научном сообществе. а собственное суждение здесь признается за всеми теми, кто такую выучку прошел. В науке демократическая конвенция *one man, one vote* не действует; наука демократична в том смысле, что отсутствуют «привилегированные» лица и сословия, но она аристократична, поскольку даже самому блестящему дилетанту здесь указывают на дверь. Наука скептична, поскольку не принимает на веру ни один постулат, наука догматична, поскольку опирается на недоказанные предпосылки (аксиомы, правила вывода). Поэтому классиками в этой области человеческой деятельности считаются немногочисленные ученые, сформулировавшие эти аксиомы, заложившие основания той или иной дисциплины, выдвинувшие теории, которые доныне считаются истинными, вошедшие в школьные и вузовские учебники.

¹⁰ Это признают и те мыслители, для которых философская истина радикально отличается от научной. «И кто лучший последователь великих философов — тот, кто повторяет то, что они говорили, или же тот, кто *делает то, что они делали*, то есть создает концепты для необходимо меняющихся проблем?» (Делёз, 1998: 40—41). Это верно с единственной оговоркой: великие мыслители прошлого за редкими исключениями не занимались «творчеством концептов» (теоретическое отличается от поэтического по смыслополагающей интенции).

Роль такого рода классики велика в формировании будущих ученых. В любой сфере человеческой деятельности нам необходимы образцы для подражания, но мир науки требует долгой подготовки особого субъекта познания. Обыденное знание, ремесло, сегодняшние skills могут предполагать наличие довольно большого объема знаний, однако ученому нужна особая познавательная установка, нейтрализующая все его прочие потребности и устремления. Он должен органично войти в научное сообщество, т. е. стать частью системы референции: независимость предмета исследования от исследователя

«можно выразить как форму инвариантности относительно различных систем референции, образуемых различными субъектами... Возможность повторения экспериментов и проверки утверждений показывают, что объективное утверждение в принципе должен разделять всякий субъект, выполняющий операции, на основании которых данное утверждение было сделано в рамках данной науки»¹¹.

Каждая наука «вырезает» некоторую предметную область по установленным правилам, причем операции, посредством которых наука задает объект исследования, выступают и как условия познания этих объектов. Поэтому классиками в науке оказываются те, кто не просто выдвинул гениальные гипотезы, но способствовал одновременному созданию и науки, и ее объекта.

Используя терминологию Имре Лакатоса, можно сказать, что классиками было создано «ядро» научной программы. Система принципов научной программы имеет универсальный характер, утверждает нечто о действительности в целом. Такого рода утверждения свойственны для философов, а потому формулировка научной программы чаще всего осуществлялась либо хорошо знающими науки философами, либо философствующими учеными. Это хорошо заметно по истории естественных наук, но и в гуманитарных ситуациях является сходной. Например, немецкий историзм («историцизм») и французская школа «Анналов» создавались философствующими историками, смело выходящими за пределы своей предметной области к универсальным обобщениям. Понятно, что научная программа отличается от философской системы.

«Далеко не все философские учения послужили базой для формирования научных программ. Научная программа должна содержать в себе не только характеристику предмета исследования, но и тес-

¹¹ Агацци, 1998: 16.

но связанную с этой характеристикой возможность разработки соответствующего метода исследования. Тем самым научная программа как бы задает самые общие предпосылки для построения научной теории, давая средство для перехода от общемировоззренческого принципа, заявленного в философской системе, к раскрытию связи явлений эмпирического мира»¹².

Возникновение науки Нового времени связано со своеобразным сочетанием математической платоновско-пифагорейской программы с атомизмом, уходом прежнего (аристотелевского) космоса¹³. Классиками науки Нового времени не случайно стали либо профессиональные философы (Декарт, Лейбниц), либо философствующие естествоиспытатели (Галилей, Ньютон) — ими была сформирована новая научная программа. Однако отношение к этой классике различно у философов и у естествоиспытателей. Первые доныне читают тексты мыслителей XVII в. и часто спорят с ними; вторые чаще всего игнорируют их труды, но никак их не оспаривают.

Естествоиспытатели чаще всего не читают своих «основоположников», это сфера интересов историков науки. Физик почитает Ньютона и Эйнштейна, но читать их ему нет ни малейшей нужды; биолог станет листать Ламарка и Дарвина разве что в свободное от работы время. Чаще всего естественники просто некомпетентны в истории своей науки — написанные на непонятном языке архаичные тексты их не интересуют ровно до тех пор, пока они заняты своим делом. Теории этих мыслителей прошлого вошли в учебники, изложены современным языком и с помощью более совершенного категориального (или математического) аппарата. В социальных и гуманитарных науках ситуация несколько иная. Не в том смысле, что теории здесь редуцируемы к личной жизни или к политическим воззрениям их творцов. Нет разницы и в основных установках — любая наука стремится к четкости и ясности понятий, доказательности, системности и т. п. Но сопоставимого с науками о природе уровня согласия по поводу аксиом в этих дисциплинах не наблюдается. Слово «научная школа» в физике или биологии сегодня означает наличие сравнительно небольших отличий от прочих «школ» в методах, иногда в обучении аспирантов и

¹² Гайдено, 1980: 11.

¹³ «Распад Космоса означал крушение идеи иерархически упорядоченного, наделенного конечной структурой мира — мира, качественно дифференцированного с онтологической точки зрения; она была заменена идеей открытой, безграничной и даже бесконечной Вселенной, объединенной и управляемой одними и теми же законами» (Koupe, 1985: 130).

докторантов, но не затрагивает основоположений, «стандартной» науки. Уже в психологии, которая по своим методам близка к естествознанию, мы наблюдаем совсем иную ситуацию: бихевиорист, представитель когнитивной психологии и психоаналитик описывают наблюдаемые явления, используя разные теоретические языки.

В науках о человеке номологическое объяснение всегда находится в зависимости от герменевтического (интенционального, телеологического) понимания; из того, что ныне люди чаще всего ведут себя определенным образом, совсем не следует то, что они так действовали в прошлом или будут действовать в будущем. Те же самые «причины» вызывают в разных обществах различные «следствия». Целые когорты экспертов, обслуживающих правительства, партии и корпорации, столь часто ошибаются в своих прогнозах не потому, что не обладают должной квалификацией или идеологически «зашорены», но потому, что объект их наблюдений и воздействий мало похож на нейтрино, молекулы или биоценозы. Так как речь идет именно об ученых, а не об идеологах или дилетантах, все гипотезы в социальных науках открыты для критики, но ни одна из них не может претендовать на то, что она лучше подкрепляется опытом, чем конкурирующая теория. Они убедительны потому, что дают когерентное видение индивидов и групп, позволяют нам лучше ориентироваться в социальном мире. В таком случае чрезвычайно велика роль тех аксиом, которые принимаются данной школой. В этих науках классиками оказываются основоположники различных школ, т. е. те лица, с коими приходится считаться доньше как их последователям, так и их противникам. Вебер и Дюркгейм, Зиммель и Тённис, Маркс и Парето являются классиками социологии не только потому, что заложили основания этой дисциплины, но и потому, что спор их наследников продолжается доньше. Ту же картину мы обнаруживаем в психологии, экономике, лингвистике, истории. Число классиков сравнительно невелико, но они всегда выступают во множественном числе (в единственном числе «классик» остается только у не желающего или неспособного вести спор доктринера).

В естественных науках мы можем говорить о прогрессе познания (одна из тех немногих областей, где речи о прогрессе не всегда бессмысленны), поскольку кумуляция знаний здесь не вызывает сомнений. Вернее, эти сомнения возникают у философов науки, вроде Фейерабенда, но никак не затрагивают научное сообщество. В случае социальных наук такая кумуляция далеко не столь очевидна: мы не можем сказать, что лучше понимаем общество времен Ришелье с помощью понятийного аппарата *economics* и структурно-функционального анализа, чем понимал его сам Ришелье или, скажем, такой его противник, как Ларошфуко. Анатомия челове-

ка не является ключом к анатомии обезьяны, перенесение «законов», обнаруживаемых в современных обществах, на седую древность (либо на общества будущего) представляет собой наивную телеологию. Люди прошлого не хуже нас ориентировались в собственном мире. Тем не менее об известном прогрессе мы можем говорить и в случае социальных наук. Всем нам понятно, что экономическая мысль далеко ушла от физиократов, а современный психоанализ избавился от поспешных обобщений Фрейда, многое позаимствовал в академической психологии различных направлений и обладает куда более разработанным понятийным аппаратом. В спорах между представителями разных школ истина, скорее всего, не рождается, но совместные усилия спорящих ведут к накоплению знаний. Роль «классиков» в этой кумуляции весьма значительна, ведь спор идет по поводу тех оснований, которые были ими заложены. Подавляющее большинство ученых принимают выученные в университете аксиомы и заняты «нормальной наукой», т. е. решением многообразных прикладных проблем.

В философии мы имеем дело с иной ситуацией уже потому, что ее вообще трудно назвать «наукой». Конечно, немцы именуют ее *Wissenschaft*, но у них и богословие называется тем же словом. В принципе, русское слово «ученый» (однокоренное «научности») передается немецким *Gelehrter* — философ может быть ученым ничуть не меньше астронома, демографа и филолога. Однако «ученость» характеризует огромное множество людей, которые не ведут исследований, но применяют свои познания на практике, — судью, врача, педагога, инженера. Философствовать могут и не слишком хорошо обученные люди, не имеющие ничего общего с университетом или академией. Достаточно вспомнить некоторых политиков XIX—XX вв., которые создавали доктрины, не имея даже полного среднего образования. Творцы «мировоззрений» имели поверхностное представление о науках своего времени, но они, вне всякого сомнения, «философствовали». То же самое можно сказать о немалом числе писателей и художников. «Толстовство» и «вагнерианство» принадлежат истории мировоззрений с не меньшими основаниями, чем дарвинизм.

Уже по этим примерам мы видим, что философия сочетается с искусством и религией ничуть не хуже, чем с наукой. Историческим фактом остается то, что почти все науки произросли в рамках философствования, а возникшие помимо философии (медицина, история) испытали серьезное воздействие со стороны «любомудрия». Некоторые науки обособились от философии совсем недавно — социология или психология обрели эту самостоятельность чуть больше века тому назад. Однако греческая трагедия, римское право, богословие Отцов Церкви, «Божественная комедия» или

«Братья Карамазовы» связаны с философией ничуть не меньше, чем научные теории. Если писатель, поэт или проповедник высказывают суждения с квантором всеобщности о смысле существования, об универсальных целях человека и человечества, то они обращаются к философии. Слова «Мы пришли в этот мир на битву, а не на праздник» (Гоголь) соотносятся с аналогичными суждениями философов («Война — отец всего, царь всего...») и должны рассматриваться как философские обобщения по поводу человеческого удела. Они могут быть очевидным образом ненаучными, но методы науки вообще едва ли применимы там, где ставятся вопросы о счастье, судьбе или добродетели. Когда самый строгий в своих исследованиях натуралист задает себе подобный вопрос (а это случается и с натуралистами), то он обнаруживает, что вся его подготовленность к выпытыванию тайн у природы непригодна для выяснения причин того, что он несчастлив, а окружающие его коллеги безнравственны. Владимир Соловьев однажды удачно подшутил над попытками вывести нравственные императивы из естественнонаучных теорий: «Человек произошел от обезьяны, и, следовательно, мы должны любить друг друга». Из знания о сущем не следует знание о должном («принцип Юма»); наука имеет дело только с первым, тогда как человеческая жизнь значительно чаще ставит перед нами вопросы о добре и зле, прекрасном и безобразном, нежели о методах научного исследования.

Более того, к важнейшим философским вопросам относится вопрос о познающем, действующем, переживающем субъекте. Взгляд философа обращен не только к внешнему миру, но и к миру внутреннему. Пока психология была интроспективной, она оставалась частью философии. Сознание, самосознание «я», мышление, воля — вот предмет философских рассуждений. Безусловно, философов всегда интересовало и познание действительности, но эпистемология является лишь одной из сторон философии (или дисциплин наряду с этикой, эстетикой, политической философией и т. д.). Наука становится самостоятельной и зрелой, когда четко ограничивает предмет своих исследований, философское знание во многом интуитивно именно потому, что направлено на целостности, вплоть до Абсолюта, Всего (Allheit), всеединства и т. п.

В одной из своих статей Анри Бергсон заметил, что в основании каждого оригинального философского учения лежит интуитивное схватывание целого, из которого выводятся все следствия. Это верно, даже если не придерживаться интуитивизма самого Бергсона. Это целое всякий раз включает в себя два полюса: субъект и объект, имманентное и трансцендентное, сознание и бытие и т. д. Можно сказать, что предметом философии оказывается взаимоотношение человека и мира. Кант называл представления о таких

целостностях, как субъект или природа, «трансцендентальными идеями», которые играют огромную роль в познании, будучи его предельными целями, — только сами они лежат за пределами науки.

Познавательное отношение к миру есть лишь одна составляющая, поскольку наши эмоции, волевые акты, эстетические и религиозные представления ничуть не менее значимы для философа, чем акты познания. Философы бывали крупными естествоиспытателями и математиками, но даже среди тех мыслителей, которые внесли немалый вклад в развитие науки, находились такие, кто не считал их особо важными (примером может служить Паскаль, придававший большее значение «логике сердца», чем своим математическим и физическим теориям). Одни философы с почтением относятся к науке и даже считают философию «служанкой науки»; другие видят в науке противника или считают ее низшей в сравнении с философией сферой познания¹⁴.

Проблемы, которые решали и решают философы, могут быть сходными с научными проблемами. Скажем, проблема причинности важна и для философа, и для физика, и для физиолога. Применительно к таким проблемам можно говорить даже о кумуляции знаний — мы лучше понимаем эту проблему, чем Демокрит, Юм или Кант именно потому, что происходило накопление знаний науками о природе. Однако мы не можем сказать, что скептическая позиция Юма по поводу детерминизма «устарела»: у нее доньше имеются сторонники. То же самое можно сказать о проблеме «первичных» и «вторичных» качеств, существующей со времен Парменида и Демокрита, получившей четкую формулировку в Новое время (Декарт, Локк) и активно обсуждаемой в сегодняшних американских университетах представителями аналитической философии. Однако кумуляция затронула только степень аргументированности разных позиций, сами они остаются прежними. Некоторые философы являются классиками других наук (Лейбниц в математике, Смит в экономике, Конт в социологии и т. д.), поскольку они формулировали аксиомы и постулаты этих дисциплин. Поле пересечения философских и научных проблем является достаточно обширным, хотя целиком они никогда не совпадали.

Но для философии ничуть не менее важны проблемы, где кумуляция знаний вообще отсутствует. Хельмут Плеснер предложил

¹⁴ Формам знания соответствуют человеческие типы, а потому не столь уж редкими являются извительные суждения об ученых вроде следующего: «Ученый — стадное животное в царстве познания. Он занимается исследованиями, потому что ему так велено и потому что он видел, что до него так поступали» (Ницше, 2003: 550).

называть их не «проблемами», а «загадками», на которые нет и не может быть научного ответа, но которые неизбежно встают перед любым мыслящим человеком. Иные из этих вопросов родственны теологии, другие (скажем, о «смысле истории») могут ставиться и откровенными атеистами. Не все философы признают право таких проблем на существование, но, как замечает Плеснер, уже запрет на подобные вопросы является ответом на них¹⁵. Но от решения этих вопросов зависит в том числе и то, станем ли мы вообще заниматься научными изысканиями или выберем иной жизненный путь.

Конечно, звания классиков заслуживают мыслители, которые предложили донныне значимые ответы на такого рода вопросы. В этом смысле верно суждение Гегеля о великих философских идеях, в которых находила свое выражение целая эпоха. Но в таком случае речь идет о тех философах, которые «вырабатывали» уже целые мировоззрения, значимые для больших общественных групп, народов, эпох. Однако для других периодов эти вопросы не относились к первостепенным, они вообще могут задаваться, а могут и не задаваться философами. Для Рассела все основные вопросы философии связаны с теорией познания и логикой, для Камю все эти вопросы даже не вторичны — для начала нужно решить вопрос о том, стоит ли вообще жить. Хотя в разные эпохи наблюдалось некое взаимопонимание философов по части проблем (стоики, скептики и эпикурейцы в эпоху эллинизма, рационалисты и эмпиристы в XVII в. и т. д.), ответы никогда не были совпадающими даже у представителей одной школы. Хотя философы проводят конгрессы и съезды наподобие всех ученых мужей, научного сообщества в строгом смысле слова у них нет. Неогегельянец и марксист понимают друг друга, поскольку Маркс был в каком-то смысле гегельянцем, но расходятся в решении большинства проблем; проблемы наследников Венского кружка для них вообще не являются проблемами. В неокантианской программе Кассирера для представителя аналитической философии хотя бы имеется нечто заслуживающее обсуждения, тогда как работы Фуко или Деррида просто не стоит обсуждать.

Социологи и историки разных школ спорят, имея общее предметное поле. Поэтому у них имеются классики, определившие это предметное поле посредством ряда аксиом. Тот, кто игнорирует эти постулаты и правила вывода, не будет считаться представителем данной науки. У философов в этом смысле вообще нет общей для всех классики, каждая школа обладает своими либо отвергает всех

¹⁵ Plessner, 1979: 127.

предшественников, «философствует молотом», желая «разбить старые скрижали» (Ницше). Ученики и последователи могут назвать основателя школы классиком, но это вызовет только насмешку у представителей других школ. Для наследника Карнапа или Поппера ни Хайдеггер, ни Адорно никакими классиками не являются.

В каком-то смысле каждый философ является «сам себе классиком» (хотя с наивной непосредственностью это высказывают лишь страдающие от мегаломании субъекты); интуитивное постижение Космоса и места в нем человека доступно всем, а кому удалось это убедительнее других сделать, определяют не только критичные коллеги, но и образованная публика. Отсюда искушение со стороны массмедиа для многих нынешних философов: они обращаются через головы университетских коллег к зрителям в talk shows, пишут яркие, литературно блестящие, но пустые по содержанию книги и статьи, чтобы на короткое время сделаться «владельцами дум». Нечто подобное происходило и ранее (античные софисты были родоначальниками такой торговли и саморекламы), изменились лишь средства и платежеспособный спрос публики. Разумеется, нечто подобное можно заметить и у представителей других дисциплин, но физики или историки более или менее четко отличают ученых от дилетантов и шарлатанов. В философии это также возможно, но затруднено тем, что подобный дилетант может оказаться выразителем умонастроений эпохи. Немалое число философов считали и считают Ницше и Фрейда именно наглыми дилетантами, но это не меняет того, что публика видела в них даже не классиков, а пророков.

Имеется несколько философских дисциплин, в которых понимание классики родственно другим наукам. Современная логика настолько сблизилась с математикой, что есть авторы, которых именуют классиками на тех же, что и математиков, основаниях (Рассел и Уайтхед являются таковыми наряду с Кантором, Фреге и Гильбертом). Историки философии всегда «сидели на двух стульях», они являются ничуть не меньше историками, чем философами, а потому некоторые исследования считаются классическими (например, труд Дильса или исследования Дильтея о Шлейермахере и молодом Гегеле). Наконец, преподавая ту или иную философскую дисциплину, профессора нередко называют классическими труды тех, кто поставил проблемы, которые составляют специфику этой дисциплины — Аристотель, Сенека и Кант в этом смысле на равных правах будут классиками на семинаре по этике. Это роднит философию с другими гуманитарными науками. Противник формальной этики Канта (будь то Шелер или Соловьев) вынужден считаться с аргументами ее основоположника. Но на

этом сходство с прочими науками заканчивается. Каждый волен сам себе искать классиков или даже считать таковым самого себя.

Правда, между философами разных школ есть согласие хотя бы по одному поводу. Так как угроза нашествия дилетантов всех мастей, шарлатанов от идеологии и массмедиа у них больше, чем у всех прочих, то сравнительно давно выработалось противоядие. Философами как минимум признают тех, кто понимает, каковы философские проблемы, обладает навыками их решения. Гениальные самоучки, вроде Бёме или Сквороды (да и Сократа!), сравнительно редки, философии нужно довольно долго учиться. Хотя скоропелые гении также встречались в истории мысли (Беркли, Шеллинг), чаще всего значимые труды философы создавали где-то на пятом десятке. Связано это в первую очередь с тем, что профессиональным философом считается только тот, кто знаком с проблемами и «загадками», с теми аргументами, которые предлагались ранее. История философии играет столь важную роль в обучении философов именно потому, что без такого рода выучки философами становятся крайне редко¹⁶. Учатся философы по трудам великих мыслителей — история философии остается историей великих личностей, хотя специальные исследования могут выполняться относительно множества забытых трактатов и диссертаций.

В отличие от естествоиспытателей, вообще не читающих своих классиков, и от представителей социальных наук, читающих небольшое число важнейших трудов, философы обязаны читать значительное число текстов, созданных на протяжении 2500 лет существования философии. Подбор этих текстов зависит от университета, «школы», предпочтений профессора, но имеются 40—50 авторов, без которых никогда не обходятся ни один факультет и ни одна серьезная дискуссия. Всем ясно, что труды Платона, Аристотеля, Декарта и Канта нужно хорошо знать. Аналитический философ и феноменолог добавляют к ним ряд других фигур, которые никак не будут совпадать, но согласие относительно сравнительно небольшого числа великих роднит всех философов и имеет прагматический характер. Сторонник Поппера готов включить в этот список Гегеля, а неомарксист — Милля, но с той оговоркой, что эти «классики» практически во всем заблуждались и являются просто хорошим примером заблуждений и даже лжеучений, на которые так падок человеческий род. С этой оговоркой классики в философии признаются, почитаются и изучаются.

¹⁶ В англосаксонских странах роль историко-философских курсов сравнительно мала, но и там до трети таких курсов имеют отношение к истории мысли; в Германии и во Франции почти половина лекционных курсов и семинаров посвящается разбору воззрений предшественников.

Литература

Агацци Э. Моральное измерение науки и техники / Пер. с англ. М.: Моск. филос. фонд, 1998.

Адамович Г. Одиночество и свобода. СПб.: Азбука-классика, 2006.

Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. СПб.: Азбука-классика, 2001.

Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. М.: Наука, 1980

Гейне Г. К истории религии и философии в Германии / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1994.

Делёз Ж. Что такое философия? / Пер. с франц. СПб.: Алетейя, 1998.

Йегер В. Пайдейя / Пер. с нем. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2001. Т. 1.

Койре А. Очерки истории философской мысли / Пер. с франц. М.: Прогресс, 1985.

Местр Ж., де. Санкт-Петербургские вечера / Пер. с франц. СПб.: Алетейя, 1998.

Ницше Ф. Воля к власти / Пер. с нем. М.: ЭКСМО, 2003.

Татаркевич В. Античная эстетика / Пер. с польск. М.: Искусство, 1977.

Шою П. Цивилизация классической Европы / Пер. с франц. Екатеринбург: У-Фактория, 2005.

Plessner H. Zwischen Philosophie und Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979.

Пётр Резвых

ФАНТОМ «НЕМЕЦКОЙ КЛАССИКИ»

Хотя выражение «немецкая классическая философия» закрепилось как устойчивый термин преимущественно в русскоязычном культурном пространстве (в других европейских странах предпочитают говорить о «немецком идеализме») и не в последнюю очередь благодаря известной формуле о трех источниках и трех составных частях марксизма, отсюда вовсе не следует, что особый, привилегированный статус немецкой философии первой половины XIX в. прочно связан с каким-то конкретным идеологическим наполнением. В той или иной форме он признается как историками философии, так и представителями практически всех гуманитарных дисциплин в разных странах. Однако полезно задаться вопросом, насколько это молчаливое согласие в отношении немецких спекулятивных философских систем действительно способствует прояснению значения этого феномена. Для того чтобы ответить на него, прежде всего нужно попробовать разобраться в том, что побуждает людей с разными мировоззренческими и дисциплинарными установками к подобному единодушию? Что образует общий знаменатель их суждений о немецкой философии как заслуживающей наименования «классической»?

ЧТО ДЕЛАЕТ НЕМЕЦКУЮ ФИЛОСОФИЮ КЛАССИЧЕСКОЙ?

Придание немецкой философской систематике большого стиля своеобразного нормативного значения связано с различными мотивами. Однако, сопоставляя различные изложения истории философии, можно четко выделить два преобладающих. С одной сторо-

ны, большую роль здесь играет оценка немецкого идеализма как нового расцвета философии, равновеликого по своему значению афинскому периоду развития античной философии. Образцовые формулировки на этот счет можно найти почти во всех изложениях истории философии конца XIX — начала XX в.¹, а в несколько видоизмененной форме этот мотив сохраняет свое значение и в историях философии более позднего времени². Примечательно, что это сопоставление древнегреческой философии V в. до н. э. и немецкой XIX в. остается значимым вне зависимости от того, как оцениваются та и другая с содержательной стороны. Очевидно, что неокантианец Виндельбанд видит в античной философии нечто совершенно иное, нежели, скажем, Карл Ясперс или Мартин Хайдеггер, но это вовсе не мешает им с одинаковым успехом видеть именно в аналогии с ней ключ к пониманию эпохи расцвета спекулятивной философии в Германии. С другой стороны, существенным для общей оценки философии немецкого идеализма оказывается убеждение в том, что она представляет собою телеологический итог предшествующего развития. Толковать это итоговое значение тоже можно сколь угодно широко, в зависимости от философской ангажированности интерпретатора. Однако видеть ли в немецком идеализме последнюю попытку объяснить мир, вместо того чтобы его изменить (Маркс), или кульминационный пункт развития рационалистической философии Нового времени (Фишер), или первую и парадигмальную проблематизацию самого феномена модерна (Хабермас), или предельную точку в истории забвения бытия (Хайдеггер) — от этого, в сущности, мало что меняется. В любом случае синтетические притязания идеалистических систем рассматриваются как закономерное завершение некоего телеологически организованного, направленного процесса развития, обладающего своей имманентной логикой³.

¹ Например, в образцовом «Учебнике истории философии» Вильгельма Виндельбанда, впервые изданном в 1892 г., начало соответствующего раздела звучит так: «Счастливое содинение многообразных духовных движений произвело в конце XVIII — начале XIX в. в Германии расцвет философии, сравнимый в истории европейского мышления только с великим развитием греческой философии от Сократа до Аристотеля» (*Windelband*, 1912: 444).

² К примеру, Иоганнес Хиршбергер в двухтомной «Истории философии», впервые увидевшей свет в 1948 г., так оценивает феномен немецкого идеализма: «Этот период вновь присоединяется к великой метафизической традиции Запада, идущей от Гераклита и Платона и донесенной до наших философов, через посредство Николая Кузанского и Лейбница, школьной метафизикой XVII и XVIII столетия» (*Hirschberger*, 1991: 267).

³ У того же Виндельбанда эта оценка звучит так: «В них (идеалистических системах. — П. Р.) все мысли предшествующей философии собраны в узел.

Стоит лишь немного внимательнее присмотреться к обоим мотивам, и мы увидим, что в обоих указанных отношениях канонизация немецкой классики напрямую восходит к автоинтерпретациям самих создателей обсуждаемых систем. Представление о Германии рубежа XVIII—XIX вв. как о новой Греции было, как известно, одним из центральных культурных мифов романтической эпохи, имевшим значение не только для философии, но и для смежных областей, прежде всего литературы и литературной критики. Именно оно вдохновляло Гёте и Шиллера накануне начала выпуска «Ор», Шеллинга, Гегеля и Гёльдерлина — в годы тюбингенского студенчества, братьев Шлегель — в период формирования йенского романтического кружка. О том, каким образом оно сложилось и какие культурные ожидания в себя вместило, здесь не место говорить подробно⁴. Для нас важнее тот факт, что, будучи порожден особенностями конкретного исторического момента, миф этот оказался настолько притягательным, что надолго пережил породивший его контекст и превратился в устойчивый топос, усердно воспроизводимый популярными учебниками истории философии. Аналогично обстоит дело и с претензией на универсальный исторический синтез, которая, как известно, лежит в основе всех послекантовских идеалистических концепций — прежде всего, конечно, гегелевской, где принцип снятия всех предшествующих философских учений в позднейшем открыто прокламируется как базовый методический принцип, но также и фихтевской, где вся предшествующая философия рассматривается как подготовка к наукоучению, и шеллинговской, где история философии интерпретируется как процесс постепенного исчерпания возможных односторонностей в понимании безусловного принципа. Эта фигура нейтрализации всех возможных альтернатив, всех частных позиций посредством вбирания их в себя⁵, фигура утверждения содержательной тотальности является ключевой в обосновании самой возмож-

чтобы образовать своеобразное и впечатляющее создание. В своей совокупности они предстают как зрелый плод длительного роста...» (*Windelband*, 1912: 444).

⁴ Сложность такого описания заключается в том, что в формировании этого мифа сыграли роль не только масштабные историко-культурные изменения, но и вполне контингентные факторы, например, вдохновившее Винкельмана открытие памятников античной архитектуры и зодчества в ходе раскопок Геркуланума и Помпей, последовавший за ним археологический бум в Германии и Австрии, а также сложные перипетии эволюции гимназического образования в немецких землях.

⁵ Программную формулировку и обоснование этой стратегии можно найти в ранней статье Гегеля «О сущности философской критики», написанной для «Критического журнала философии» (см.: *Hegel*, 1972: 387—394).

ности важной для немецкого идеализма идеи философии как системы. Вместе с тем она выступает и как знак принципиального отличия этого типа философии от всех предшествующих: она не только на деле есть итог и снятие всего предшествующего пути развития западной мысли, но и знает себя в качестве такового.

Это наблюдение, как мне кажется, заслуживает того, чтобы над ним поразмыслить. Дело в том, что здесь оба мотива, в контексте самого немецкого идеализма выполнявшие роль императивов, проективных принципов, в ретроспективной оценке итогов его развития приобретают характер конститутивных характеристик описываемого исторического феномена, рассматриваемого как уже состоявшееся прошлое. При этом происходит любопытная перекодировка значений: то, что для самих создателей идеалистических систем было знаком разрыва со сложившимся культурным канон, превращается в свидетельство непреходящей ценности, нормативной значимости совершенного ими для последующих поколений. Сами отцы-основатели немецкого идеализма, говоря о новой античности и о достижении духом совершенного знания о самом себе, обозначали одновременно завершение того, что развернулось в предшествующей истории, и начало чего-то принципиально иного, основание чему и кладут новые философские системы. Историк же с помощью тех же топосов характеризует мышление, которое в его глазах не только завершило нечто ему предшествующее и положило начало чему-то новому, но также завершило начатое и тем самым завершилось само. Таким образом, немецкая философия оказывается классической именно в том, в чем сама мыслила себя наиболее радикальной, наименее совместимой с конвенциями.

Тот факт, что решающую роль в обосновании исторической значимости немецкого идеализма играют важнейшие структурные элементы языка его самоописания, тем более поразителен, что выраженные в этом самоописании претензии ни одним современным гуманитарием не рассматриваются как правомерные. Никто не станет сегодня всерьез утверждать не только необходимость, но даже возможность осуществления «новой античности» или защищать спекулятивную идею единого историко-философского процесса, направляемого имманентной логикой саморазвития духа. Поэтому утверждение классического, то есть нормативно значимого характера немецкой философии первой половины XIX в. носит парадоксальный характер: ее парадигматическое значение состоит именно в том, что в ней в наибольшей чистоте, с максимальной полнотой и силой выражены установки, через отторжение которых современный гуманитарий существенным образом определяет собственное мышление.

В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕЛОСТНОСТЬ НЕМЕЦКОЙ КЛАССИКИ?

Ориентация на представление о цельности и внутренней завершенности немецкой классической философии и установка на усмотрение в ее становлении и развитии некоей имманентной логики во многом влияет на то, как формируется ее образ в историческом повествовании. Определяющими здесь оказываются два стереотипа, которые благодаря их дидактической убедительности и мощному эффекту экономизации изложения прочно укоренились не только в среде гуманитариев-нефилософов, но и в философском сообществе.

Первый — устойчивое представление о создателях спекулятивных систем как «гигантах мысли», своего рода гегелевских «исторических личностях», фигурах, аккумулирующих в себе все мыслительное содержание, значимое для своей эпохи. В большинстве популярных изложений истории философии становление немецкой классики выглядит примерно так. Два полюса или, если угодно, две вершины немецкого идеализма образуют Кант и Гегель как создатели, соответственно, критического и спекулятивного идеализма. Фихте и Шеллингу отводится в лучшем случае роль переходных фигур, своего рода передаточных звеньев между тем и другим. Другие мыслители, ничуть не менее значимые для своего времени, но не породившие впоследствии столь устойчивой рецепции (к примеру, такие, как Карл Леонгард Рейнгольд, Фридрих Генрих Якоби, Иоганн Георг Гаман, Франц Ксавьер фон Баадер, Якоб Фриз и даже Иоганн Готфрид Гердер), оказываются решительно отодвинутыми на второй план и образуют в лучшем случае слабо структурированный фон, совокупность занятых примеров, отражающих «дух эпохи». При изображении этого фона наибольшее внимание уделяется, как правило, политическим реалиям (реакция на Великую французскую революцию и Наполеоновские войны, Венская система и Священный союз и т. п.) и явлениям эстетического порядка («Буря и натиск», веймарский классицизм, творчество йенских и гейдельбергских романтиков), в то время как историко-научный контекст (как в отношении естествознания, так и в отношении гуманитарных дисциплин) привлекается лишь факультативно и в очень скромном объеме.

Другой стереотип — настойчиво воспроизводимая учебниками схема прямой преемственности между ключевыми фигурами немецкой классики по принципу «Кант родил Фихте, Фихте родил Шеллинга, Шеллинг родил Гегеля». Концептуальное наполнение этой схемы может быть разным в зависимости от того, что интер-

претируется как центральная проблема всей немецкой классики в целом, однако сам формальный принцип генеалогии систем остается незатронутым этими различиями.

Между тем непредвзятый взгляд на исторический материал дает совсем другую картину. Во-первых, сам отбор фигур, выдвигаемых на первый план как ключевые, несомненно, идеологичен. Он связан с идущим главным образом от неокантианцев представлением, будто центральным ориентиром всей немецкой философии этого периода была идея завершенной целостной системы. В соответствии с этим идеалом систематического единства даже наследие Фихте и Шеллинга чаще всего оценивается как совокупность гениальных набросков, из которых так и не сложилось четко очерченного целого, выстроенного по единообразным методическим принципам, а уж о сколько-нибудь серьезном философском значении таких фигур, как Фридрих Шлегель, Новалис или Якоби, при такой установке вообще говорить не приходится. В действительности же, как убедительно показали исследования последних лет, в частности работы Манфреда Франка⁶, проект систематического завершения философии — лишь одно из магистральных направлений развития немецкой мысли этого периода, рядом с которым на равных развивались по крайней мере два альтернативных ему: романтический проект иронической фрагментаризации философского дискурса и герменевтическая переориентация философии в творчестве Гамана и Шлейермахера. Кроме того, само распределение материала на «фигуры» и «фон» при ближайшем рассмотрении оказывается очень искусственным. Недаром в исследованиях последних десятилетий, посвященных генезису раннего немецкого идеализма, все настойчивее подчеркивается, что для адекватного понимания этого феномена необходимо отказаться от сосредоточения на достижениях отдельных действующих лиц и перейти к рассмотрению «констелляций», в которых определяющее значение имеют не персональные заслуги отцов-основателей, а сложные эффекты сетевых связей внутри довольно обширного творчески активного сообщества⁷.

Во-вторых, ни один серьезный специалист не воспримет всерьез дидактически удобную, но совершенно ложную даже с точки зрения хронологии схему прямой преемственности, ведущей от

⁶ См., например: *Frank, 1997*.

⁷ Термин «констелляции» ввел Дитер Хенрих, чьи работы о становлении раннего идеализма произвели переворот в представлениях о логике развития немецкой философии. Итоги многолетней работы Хенриха по реконструкции культурной среды, в которой сформировались основные новации послекантовской немецкой мысли, представлены в двухтомной монографии *Henrich, 2004*.

Канта через Фихте и Шеллинга к Гегелю. Учитывая то обстоятельство, что идеалистические реакции на Канта формировались не только одновременно, но и в постоянном диалоге друг с другом (который, кстати, часто развивался на почве слабой информированности и ложных ожиданий с обеих сторон⁸), демонстрация такой преемственности совершенно невозможна без систематического насилия над материалом. Если бы кто-то попробовал выстроить относительную хронологию сочинений четырех авторов, основываясь на сконструированной преемственности между ними, то с изумлением обнаружил бы, что в ней шеллинговские «Философские исследования о сущности человеческой свободы» никак не должны были быть созданы позже «Феноменологии духа», а фихтевское «Наукоучение 1804 г.» — раньше «Науки логики» (что уж говорить об Артуре Шопенгауэре, которому в логическом отношении обычно отводится место после всех немецких классиков, так что возникает впечатление, будто он творил примерно в третьей четверти XIX в, в то время как в действительности трактат «Мир как воля и представление» был написан уже в 1818 г!). В ряде отношений представление о прямой преемственности оказывается неубедительным и содержательно-философски (например, благодаря публикации в 1994 г. ранней рукописи Шеллинга «Тимей»⁹ стало ясно, что расхожее мнение, будто его обращение к натурфилософским проблемам было мотивировано полемикой с Фихте, неверно и что формирование натурфилософии в гораздо большей степени связано с рецепцией Платона, нежели с дискуссиями вокруг наукоучения).

«НЕМЕЦКАЯ КЛАССИКА» — НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ПРОЕКТ?

Не менее поучительно и то, насколько изменчивыми были в течение XX в. канонические образы самих титанов-классиков. Трансформация представлений о них образует собой сюжет не менее захватывающий, чем иные исторические авантюры. В нем

⁸ Красноречивым примером может послужить переписка Фихте и Шеллинга, приведшая к решительному идейному и личному разрыву между ними. В ней с необыкновенным драматизмом разворачивается диалог двух мыслителей, каждый из которых считает другого своим единомышленником, но руководствуется при этом превратным представлением о позиции собеседника. Постепенное прояснение этого недоразумения и образует основной сюжет переписки. См.: *Fichte, Schelling*, 1968.

⁹ *Schelling*, 1994.

причудливо переплетается множество взаимосвязанных факторов. Наряду с различными формами идеологического присвоения наследия немецкого идеализма (самый известный пример — марксистская и национал-социалистическая стилизации образов Фихте и Гегеля) большую роль в изменении этих образов сыграли два феномена, казалось бы, затрагивающие только специалистов.

Во-первых, при изучении любого автора возникает потребность в построении иерархии текстов, составляющих его наследие: одни рассматриваются как принципиальные и ключевые, другие — как эпизодические, маргинальные, более или менее случайные. Хотя такие иерархизации осуществляются, как правило, явочным порядком, без специального обоснования, они во многом определяют концептуальные рамки интерпретации. Стереотипы, порожденные такими иерархизациями, проникают в популярную и дидактическую литературу и формируют набор общих мест, с которым увязывается представление широкой публики о том или ином авторе (в частности, именно к таким иерархиям предпочтений восходят стандартные наборы репрезентативных «крылатых цитат»; к примеру, каждому, кто интересуется философией, знакомы цитаты из кантовских «Критик», гегелевских «Науки логики» и «Философии права», шеллинговских «Системы трансцендентального идеализма» и «Философии искусства», но едва ли найдется среди неспециалистов много таких, кто смог бы с ходу процитировать что-нибудь из «Метафизических начал естествознания», «Лекций по эстетике» или «Философии откровения»). Соответственно, смена иерархии текстов означает и новый формат интерпретации. В отношении немецких классиков, оставивших довольно обширный корпус сочинений, такое переформатирование осуществлялось неоднократно. Самыми показательными примерами могут послужить знаменитая провокационная переоценка значения «Феноменологии духа», предложенная Александром Кожевом, который противопоставил Гегеля «Феноменологии» Гегелю «Науки логики» и «Энциклопедии», и хайдеггеровская интерпретация «Философских исследований о сущности человеческой свободы» Шеллинга как одного из ключевых текстов в истории всей европейской метафизики. Безотносительно к научной релевантности подобных переоценок, которая в обоих названных случаях весьма сомнительна¹⁰, они ясно обнаружили предпосылочность историко-философского канона.

¹⁰ Аргументы, направленные против интерпретации Кожева, см., напр., у Ханса Дитриха Фулды: *Fulda*, 1966. Текстологическую и историко-философскую слабость хайдеггеровского прочтения трактата о свободе убедительно показал Томас Бухайм: *Buchheim*, 2000.

Во-вторых, и это куда существеннее, при исследовании наследия любого автора неизбежно возникает вопрос о происхождении и статусе того корпуса текстов, на который оно опирается как на базу источников. В течение XX в. по мере увеличения временной дистанции становилось все более ясным, что знакомый нескольким поколениям облик сочинений философов немецкого идеализма является результатом многообразной внутренней и внешней цензуры. Издание кантовского «*Opus postum*», критическое исследование гегелевских текстов с целью отделить созданное непосредственно самим философом от того, что является результатом усилий его учеников, выявление степени и характера редакторского вмешательства Карла Фридриха Августа Шеллинга¹¹ и Иммануэля Германа Фихте¹² в рукописное наследие при издании ими собраний сочинений своих отцов, публикация архивных материалов (рукописей, слушательских записей университетских лекций, переписки, дневников¹³) — все это радикально изменило современные представления и о намерениях создателей «классических» систем, и о принципах связи различных их сочинений друг с другом.

Под напором этих новых данных привычный образ немецкого идеализма буквально трещит по швам. Сегодня он предстает перед нами в пестром многообразии конкурирующих версий развертывания философского дискурса, от дедуктивного «геометрического метода» до изошренных герменевтических штудий, во всем богатстве литературных жанров, от сухого трактата до эпического визионерского повествования, а главное — в единстве осуществленного и неосуществленного. Состоящее из множества текстов разной степени законченности и самостоятельности, наследие немецких классиков, взятое в полном объеме, больше всего похоже на недостроенное здание, покрытое лесами и со всех сторон окруженное заготовленными строительными блоками, причем о назначении

¹¹ Сенсационным стало открытие в 2005 г. Анной Леной Мюллер-Берген переписки сыновей Шеллинга, которая окончательно доказывает, что тексты «Философии мифологии» и «Философии откровения», на которые опираются историко-философские изложения при оценке позднего творчества Шеллинга, были скомпилированы Карлом Шеллингом из фрагментов рукописей разного времени и дополнены многочисленными собственными вставками, так что они не могут рассматриваться как полноценное выражение авторской воли. См. об этом: Müller-Bergien, 2007.

¹² Благодаря издательской работе Рейнхарда Лаута и Эриха Фукса в издании Фихте-младшего были обнаружены значительные лакуны и многочисленные отклонения от авторских рукописей.

¹³ В отношении творчества Фихте революционное значение имело открытие Эрихом Фуксом текста «Наукоучение *pocha methodo*», а также публикация дневников философа. Сведения об архивных находках и публикациях из наследия Шеллинга см. в моей статье: Резвых, 2003.

некоторых из них сегодня можно только гадать. В таком виде оно вряд ли пригодно для канонизации. Однако гипнотическое воздействие представления о его классическом характере настолько велико, что все это многообразие упорно вытесняется на периферию гуманитарного знания, в область специальных исследований, интересных только узким профессионалам. Тем самым все наше восприятие немецкой философии XIX в. оказывается во власти фантома. Впрочем, в этом как раз и заключается парадоксальное свидетельство незавершенности проекта немецкого идеализма: его подлинное значение остается нераспознанным, пока за ним сохраняется статус классического.

РУССКИЙ СИНДРОМ

Надо сказать, что на русской почве ситуация выглядит еще более сложной. Переоценка наследия немецких классиков становится здесь особенно трудным делом в силу той особой роли, которую немецкий идеализм сыграл в формировании российской философской традиции. Как бы ни старались историки русской философии отодвинуть момент ее возникновения во все более отдаленное прошлое, отыскивая элементы «философской мысли» в древнерусской книжности, ни один из них не станет отрицать, что технический философский лексикон, с помощью которого можно было бы не только формулировать, но и аргументировать, все же сформировался в русском языке только в начале XIX в. и произошло это при прямом и определяющем воздействии немецкого идеализма. История этого процесса до сих пор толком не описана, но, если это когда-нибудь будет сделано, обнаружится, что значительный массив философских терминов с русскими корнями обязан своим происхождением именно переводам и пересказам размышлений Гердера, Канта, Шеллинга, Гегеля и др.¹⁴ Естественно, вместе со стремительным лексическим расширением в первой четверти XIX в. шло и освоение специфической именно для немецкого иде-

¹⁴ На это обстоятельство еще в 1929 г. обратил внимание Александр Койре: «Русские термины “всеединство”, “целостность”, “самосведение”, которыми полнится русский философский язык, чрезвычайно трудны для перевода. На самом деле это лишь термины, употреблявшиеся немецкими философами-идеалистами: *Alleinheit*, *Allheit*, *Ganzheit*, *Selbstwissen*, *Selbstentfaltung*, *Selbstverwirklichung* и т. д. Русский философский язык формировался как калька немецких терминов... Общее правило: для того чтобы понять эти термины, нужно перевести их обратно на немецкий» (Койре, 2003: 168—169). Неоценимый материал для изучения процесса формирования русской философской терминологии могло бы дать изучение философских кружков 1820-х годов, в особенности «любомудров». См.: *Каменский*. 1980а; 1980б.

ализма философской проблематики, определившей характер философских и идейно-политических дискуссий в России на десятилетия вперед. Тем самым немецкий идеализм *de facto* приобрел своеобразное нормативное значение уже потому, что самоопределение по отношению к нему имело решающее значение для каждого представителя русской философии¹⁵. При этом степень реального знакомства с текстами немецких классиков, по отношению к которым требовалось определиться, у разных мыслителей была очень разной, а потому и содержательная рецепция немецкой философии приобретала в российском контексте самые что ни на есть причудливые формы¹⁶.

Сочетание этих двух факторов породило весьма своеобразную ситуацию: с одной стороны, немецкий идеализм получил значение масштаба, с которым волей-неволей должно было соотноситься всякое вообще философское содержание, формулируемое на русском языке, а с другой — представление о нем с самого начала было куда более стилизованным и приблизительным, нежели в Европе, где языковой и культурный барьер был не так велик. Именно поэтому в русском контексте мифологизирующий эффект в восприятии немецкой классики с самого начала был неизмеримо более сильным. Историко-философская канонизация немецкой классики, о которой говорилось выше, в России с самого начала поддерживалась и подкреплялась не только дидактическими соображениями, но и специфической потребностью национальной философской традиции в масштабе, легитимирующем ее относительно позднее происхождение. В этой ситуации два главных структурных элемента самоописания немецкой классики, легшие в основу ее канонизации, топос «новой античности» и фигура постигающего завершения истории европейского духа, оказываются как нельзя кстати. Весьма симптоматично, что в философии так называемого Серебряного века оба эти топоса обретают новую жизнь, теперь уже как смысловые ориентиры, конституирующие в ином контексте саму русскую философию. Поэтому предпринимаемые ныне в цеховых рамках истории отечественной мысли попытки сконструировать «русскую классическую философию»¹⁷ — вовсе не курьез, а вполне естественное продолжение довольно устойчивой традиции.

¹⁵ Ленинская характеристика немецкой классической философии как одного из трех источников марксизма прекрасно вписалась в эту традицию: благодаря позиционированию марксизма в качестве легитимного правопреемника немецкой классики требование самоопределения (философского и политического) по отношению к нему приобрело особую убедительность.

¹⁶ Наиболее показательно в этом отношении восприятие русскими философами Канта, проанализированное в блестящей статье Анатолия Ахутина: Ахутин, 1990.

¹⁷ См., например: Иванова, 1999.

О том, что действие этого стереотипа простирается далеко за рамки дидактики и оказывает колоссальное давление на исследовательскую ситуацию, наглядно свидетельствуют характерные особенности современных исследований, посвященных русской рецепции наследия немецких классиков. С одной стороны, в них прилагается много усилий к тому, чтобы придать весьма диффузной совокупности крайне разнородных форм преимущественно косвенной рецепции вид содержательно и (что особенно важно) институционально структурированного целого, так что оказывается возможным говорить о «русском гегельянстве» или «русском шеллингянстве» как о самостоятельных и значительных явлениях. При этом смысл самих «гегельянства» или «шеллингянства» предполагается по умолчанию ясным, то есть представление о них явочным порядком заимствуется именно из того канонизирующего изложения, проблематичность которого мы показали выше. С другой стороны, вопросы о том, что именно было предметом рецепции в каждом конкретном случае, насколько она была адекватной и дифференцированной и т. п., в подобных исследованиях даже не ставятся, а оценка и интерпретация философии, скажем, Канта, Фихте или Шеллинга осуществляется исключительно через призму той самой рецепции, которая по идее должна была бы стать предметом исследования. В результате сложная картина истории воздействия немецкого идеализма за пределами Западной Европы редуцируется к схеме преемственности «школ» и «направлений», а нормативный характер самой немецкой классической философии обосновывается с помощью историософской терминологии, в основе которой лежат даже не концепции самих немецких классиков, а их стилизованные макеты¹⁸.

На мой взгляд, в силу этой неразрывной связи канонического образа «немецкой классики» с нормативными представлениями, на которые ориентируется (в позитивном или негативном ключе) канон отечественной философской и, шире, культурной традиции, разрыв между устоявшимися стереотипными представлениями о немецкой классической философии и реальностью приобретает в российском контексте гораздо более широкое значение, нежели просто различие между перспективой профессионала и перспективой популяризатора. Более или менее очевидно, что никакая область знания не выглядит в реальности так, как она презентуется в учебнике или научно-популярной книжке. Любой специалист прекрасно знает, что классификации и схемы, удобные для упаковки материала в лекционный формат, по большому счету не отражают сложности предмета. Однако в нашем случае речь идет о

¹⁸ Самым ярким примером подобной редукции является монография *Философия Шеллинга в России XIX века*, 1998.

ситуации, когда схемы, созданные для дидактических целей, оказывают прямое воздействие на поддержание определенных исследовательских и ценностных приоритетов, причем не только в данной дисциплине, но и в довольно широком спектре смежных областей гуманитарного знания. Фантом «немецкой классики» постоянно дает о себе знать в исторических, филологических, искусствоведческих штудиях как на уровне широкоформатных обобщающих теорий, так и на уровне конкретных прикладных исследований. Чтобы в этом убедиться, достаточно открыть любое русскоязычное исследование о романтизме, любую монографию по истории русской культуры XIX в. Поэтому преодоление стереотипов в этом отношении — не узкоспециальная проблема, касающаяся только историков философии или вообще представителей философского цеха. Оно затрагивает интересы отечественного гуманитарного сообщества в целом.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Закономерен вопрос: насколько возможна такая переориентация и как ее осуществить? Ответ столь же легко дать в теории, сколь трудно реализовать на практике. Дело в том, что, как и всякий набор общих мест, стереотипное представление о немецкой классике функционирует в поле гуманитарного знания как своеобразный оператор упрощения, обеспечивающий видимость отсутствующего в реальности диалога между различными методологическими и дисциплинарными установками. Каждой из гуманитарных дисциплин, участвующих в этом многостороннем обмене информацией, такого рода «общие места» берутся в готовом виде, изымаются из породившего их контекста и используются как средства концептуализации при решении собственных исследовательских задач, поставленных в рамках совершенно иных методов и ориентирующихся на иные ценностные приоритеты. Тем самым вместо того, чтобы развивать меж- и метадисциплинарные исследовательские стратегии, отвечающие реальной сложности предмета, отечественные гуманитарии планомерно и последовательно возводят между дисциплинами все более массивные стены, украшенные, впрочем, напоминающими рекламные плакаты изображениями классических творений, на которые можно с одинаковым почтением взирать как с той, так и с другой стороны.

Ближайшим образом это соображение касается прежде всего двух принципиально важных цеховых разграничений, обуславливающих сохранение и воспроизведение подобных схем. Я имею в виду, с одной стороны, традиционный конфликт между историко-филологическим и философским подходом к анализу текста, а с

другой — барьер, разделяющий гуманитариев, работающих на западноевропейском и на отечественном материале.

Как отмечено выше, определяющую роль в изменении представлений о нормативном значении немецкой классики сыграли аргументы из области книговедения, источниковедения и текстологии — историко-филологических дисциплин, не пользующихся особым авторитетом среди профессиональных философов, имеющих дело с тем же материалом. Несмотря на благонамеренные декларации с многократными ссылками на герменевтику, бесконечные контрверсы филологов и философов вращаются вокруг старого вопроса о соотношении «буквы» и «духа», причем каждая из сторон обвиняет другую в пренебрежении той из частей этой оппозиции, которую считает собственной прерогативой. Если в антиковедении и медиевистике, где эта проблема имеет более давнюю историю, реализован более или менее широкий спектр попыток преодоления этого противостояния¹⁹, то в исследованиях XVIII и XIX вв. подобные устремления воспринимаются обеими сторонами весьма настороженно.

Не менее существенное влияние на корректировку общепринятых представлений о немецком идеализме оказало, как мы видели, и радикальное расширение контекста интерпретации за счет исследования сетевых связей внутри обширных сообществ, объединяющих представителей весьма различных социальных и культурных миров. Большую роль здесь сыграло привлечение обширного восточноевропейского материала (эпистолярные и мемуарные свидетельства, слушательские записи лекций немецких мыслителей и т. п.). Учитывая масштаб и характер ранней рецепции немецкой идеалистической и романтической мысли в России, нетрудно представить себе, какой огромный интерес не только для отечественного, но и для международного исследовательского сообщества могло бы представлять введение в оборот аналогичного российского материала. Однако сбор, обработка и адекватное осмысление такого материала требуют систематического сотрудничества многих специалистов из разных областей: историков, философов, филологов, архивоведов и др. Между тем гуманитарии, специализирующиеся на истории русской культуры XIX в., в подавляющем большинстве своем не только не стремятся к такому сотрудничеству, но внутренне сопротивляются ему, предпочитая разумной междисциплинарной кооперации гуманитарный бриколаж²⁰.

¹⁹ Одна из последних успешных попыток такого рода: *Ахутин*, 2007. В этой книге свойственная философу автономия мысли органично сочетается с готовностью принять всерьез исторические и филологические аргументы и даже пойти на выучку к филологу-классику, то есть к архетипическому «буквоеду».

²⁰ Образчиками такого бриколажа изобилует, к примеру, уже упомянутая мною монография «Философия Шеллинга в России XIX века», в которой авто-

Таким образом, наличием мнимой самоочевидности «классики» питается и поддерживается неспособность российского гуманитарного сообщества к междисциплинарному сотрудничеству — не в форме претензий отдельных авторов на всеохватывающий мировоззренческий синтез, а в форме решения вполне конкретных исследовательских задач усилиями научных групп, объединяющих разнопрофильных специалистов. Пока эта самоочевидность не поставлена под вопрос, в изучении философии и культуры двух последних столетий едва ли можно ожидать серьезных сдвигов. Однако подобная проблематизация должна исходить от представителей разных дисциплин — не как претензия на владение приоритетной методологией, а как готовность принимать всерьез методы и аргументы, развитые в смежных и более отдаленных областях гуманитарного знания.

Понятно, что формирование такой установки возможно лишь при существенной корректировке форм дидактической обработки историко-философского материала. Принципиально важным в этом отношении является, на мой взгляд, смена самого формата преподнесения классики в процессе преподавания. В силу целого ряда причин в современной учебной и популярной литературе по философии и, соответственно, в лекционных курсах преобладает формат, основная задача которого — освободить читателя от непосредственного общения со сложно устроенным классическим текстом, снабдить его упрощающей интерпретаторской оптикой и дать более или менее компактный комплект оценочных суждений, разъясняющих, почему представленная в тексте концепция имеет нормативное значение и что именно в ней следует считать важным. Определяющей является здесь экономия внутренней согласованности интерпретации: чем она компактнее, тем в меньшем объеме требуется обращение к источнику. Понятно, что при таком преподнесении классического наследия проблемы инструментария, применяемого при чтении перед аудиторией, даже не ставятся. Откуда же взяться исследователям, способным на постановку междисциплинарных проблем? Думаю, иные результаты дала бы переориентация на формат дидактики, ставящий своей целью не освобождение читателя, будь то студент или просто заинтересованный дилетант, от методологического выбора, а демонстрацию многообразия методологических возможностей применительно к избранному материалу; не трансляцию мнений, а знакомство с приемами и методами исследования, выработанными в разных дисциплинах.

ры в своих попытках интерпретации собранного ими интереснейшего материала стараются компенсировать собственное незнание биографии и творчества Шеллинга именно ссылками на общие места и некритическим применением классификационных понятий, заимствованных из неокантианских и советских учебников истории философии.

Учебная литература такого рода могла бы стимулировать исследовательский интерес к классическим текстам и, возможно, способствовала бы постепенному изменению ситуации в отечественной гуманитаристике. Конечно, организационные рамки для применения таких преподавательских стратегий от этого еще не появятся. Но именно поэтому важно, чтобы опыт междисциплинарной работы среди ученых и смена дидактических ориентиров в преподавании развивались одновременно, взаимно поддерживая и обогащая друг друга. Старый гумбольдтовский принцип единства исследования и обучения остается здесь актуальным как никогда.

Литература

Ахутин А. В. Античные начала философии. СПб.: Наука, 2007.

Ахутин А. В. София и черт (Кант перед лицом русской религиозной метафизики) // *Вопросы философии*. 1990. № 1. С. 51—69.

Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет: В 2 т. М.: Мысль, 1972. Т. 1.

Иванова А. А. Русская классическая философия. От Ф. М. Достоевского к И. А. Ильину. М.: Диалог-МГУ, 1999.

Каменский З. А. Московский кружок Любомудров. М.: Наука, 1980b.

Каменский З. А. Русская философия XIX в. и Шеллинг. М.: Наука, 1980a.

Койре А. Философия и национальная проблема в России начала XIX в. / Пер. с франц. М.: Модест Колеров, 2003.

Резвых П. Шеллинг в свете новейших исследований // *Вестник РУДН*. (Серия «Философия».) 2003. № 4. С. 58—66.

Философия Шеллинга в России XIX века / Под общей ред. В. Ф. Пустарнакова. СПб.: РХГИ, 1998.

Buchheim Th. Schelling und die metaphysische Zelebration des Bösen // *Philosophisches Jahrbuch*, 2000. Jg. 107. Hbd. I. S. 47—60.

Fichte J. G., Schelling F. W. J. Briefwechsel / Einl. v. W. Schulz. Frankfurt a M.: Suhrkamp, 1968.

Frank M. Einführung in die frühromantische Ästhetik. Frankfurt a M.: Suhrkamp, 1989.

Frank M. Unendliche Annäherung. Frankfurt a M.: Suhrkamp, 1997.

Fulda H.-D. Zur Logik der Phänomenologie // *Hegel-Studien*. 1966. Beiheft 3. S. 75—104.

Henrich D. Grundlegung aus dem Ich. Untersuchungen zur Vorgeschichte des Idealismus: Tübingen—Jena 1790—1794. Frankfurt a M.: Suhrkamp, 2004.

Hirschberger J. Geschichte der Philosophie. 2 Bde. Freiburg i. Br.: Herde 1991. Bd. 2.

Müller-Berges A.-L. Karl Friedrich August Schelling und «die Feder des seligen Vaters». Editionsgeschichte und Systemarchitektur der zweiten Abteilung von F. W. J. Schellings Sämtlichen Werken. Editio 21. 2007.

Schelling F. W. J. Timaeus. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog. 1994.

III. ARTS & CULTURE

Борис Дубин

КЛАССИКА, ПОСЛЕ И ВМЕСТО: О ГРАНИЦАХ И ФОРМАХ КУЛЬТУРНОГО АВТОРИТЕТА

Только лучшее становится классикой.
Реклама пельменей «Классика жанра»

Я понимаю свою задачу как социологическую. Иными словами, в текстах, признанных, распространяемых и принимаемых в качестве литературы, я буду видеть смысловую конструкцию более или менее устойчивого социального взаимодействия по определенным правилам. Роли участников, нормы их поведения, механизмы поддержания складывающихся при этом социальных форм и, наконец, выражение всех этих обстоятельств в семантике и поэтике тех или иных текстов, в стратегиях их восприятия/неприятия различными группами публики — вот те стороны бытования словесности, которые в первую очередь интересуют социолога. Можно сказать короче: литература для социолога — это институционализированная словесность, а его профессиональный предмет — институт литературы, литература как институт. О структуре, исторических пределах и трансформациях подобного социального образования далее и пойдет речь.

1.

Общую концептуальную рамку для меня в данном случае составляет формирование «классики» как конструирование собственной традиции «литературы» в качестве символа ее автономности, то есть в таком состоянии, когда она (или, точнее, носители ее идеи и ценности) декларирует и поддерживает социальную дистанцию и культурную независимость от основных источников власти и

авторитета на тот момент — двора, аристократии, церкви (поставленные выше кавычки обозначают, что оба института — классика и литература — возникают, фигурируют и должны пониматься именно в таком контексте). Усложнение социокультурной структуры общества, обособление в ней зон концентрированного многообразия и динамики, связываемых с ценностью нового, актуального, современного (город, центр, столица), выражаются как умножение пространственных и временных параметров действия. Это делает проблемой для новых, нетрадиционных элит модернизирующегося социума динамическую и вместе с тем регулярную связь между центрами общества и другими его дифференцирующимися уровнями, группами, институтами¹. Названные элитные группы выдвигают задачу создания обобщенных коммуникативных средств (таких культурных форм, как, например, газета и журнал), универсальных «языков»-посредников (от искусства до дорожных знаков), институтов всеобщего образования, где усваивают значения коллективных образцов и инструментально обучаются «языкам» и проч. В таком проблемном контексте и возникает необходимость в «изобретении» литературы — с использованием, разумеется, гораздо более старых механизмов письменной культуры, норм вкуса и оценочного суждения, выработанных в академиях, салонах, кружках и т. д.²

Литература возникает как общее достояние и возникает в обществе, но уже за предписанными сословными рамками, за пределами «хорошего общества» (высшего и проч.), вместе с духом и формами «общественности» (*Oeffentlichkeit*, по Хабермасу), то есть так или иначе массовости. Различия между разными группами и группировками письменно образованной элиты в их системах самосоотнесения и адресации, в ценностных ориентациях, нормах взаимодействия со значимыми другими определяют разницу в стратегиях узаконения и массовизации авторитета, формах утверждения и поддержания своих ценностей, формирования групповой идентичности с учетом партнеров, соратников, соперников, врагов — настоящих, прошлых и будущих. Эти многосоставные и взаимопереплетенные процессы становления нового социального порядка и его смыслового обоснования средствами «национальной культуры» разворачиваются в Европе (прежде всего — в Великобритании и Франции) со второй половины XVIII в. и на протяжении XIX столетия вплоть до *fin de siècle* с тогдашней радикальной

¹ См., например: *Heinich*, 2005, и другие работы этого автора о статусе художника и механизмах его удостоверения, признания, славы в современных обществах.

² *Дубин*, *Зоркая*, 1983; *Дубин*, 2002b; 2005a.

ревизией всех ценностей, которая — как метафора конца, заката, краха, катастрофы и т. п. — позднее становится одним из внутренних механизмов культурной и литературной динамики, дальнейшей дифференциации литературного сообщества и кругов его публики.

Формирование классики одними группами практически немедленно вызывает противодействие со стороны других, «антиклассицистских», то есть порождает литературную борьбу как еще один механизм динамики литературы. Эти последние группы ищут ресурсы альтернативных определений значимости литературы и искусства. Например, это делается через апелляцию к «жизни» («реализм», «натурализм»), к «современности» и лежащему вообще за пределами времени (трансцендентному), к смысловому озарению и прорыву («модернизм»). Можно сказать, что классика, канон как принцип и основа культуры — это проблема и программа модерна. Процессы классикализации в этих рамках, когда новыми и наиболее значимыми авторитетами в литературе и искусствах признаются собственно антиклассики, нарушители эстетических, социальных и даже этических норм, приобретают парадоксальный характер. Впрочем, парадоксальность вообще неотделима от «литературы» в ее новом, современном понимании, заданном немецкими и английскими романтиками, Эдгаром По, Шарлем Бодлером (последний наиболее активно и последовательно разрабатывал идею о двойном измерении прекрасного³). Основу современной литературы составляют жанры «парвеню», не узаконенные классическими и классицистскими поэтиками от Аристотеля до Буало, — лирика как «парадигма модерна» (по позднейшей концептуализации этого момента констанцской школой рецептивной эстетики), роман (по Георгу Лукачу или Михаилу Бахтину), драма (в концепции Петера Сонди).

2.

Для меня в данном случае достаточно аналитически выделить два режима существования классического образца: его учреждение (признание, удостоверение, награждение) и поддержание (репродукция, передача через пространство и время, через социальные и культурные границы — поколения, языки). И учреждение, и поддержание образцов в больших масштабах, «для всех» может до определенного времени, до возникновения собственно массовых об-

³ «...Прекрасное всегда и с неизбежностью двойственно... Одна составная часть прекрасного — вечна и неизменна, <...> другая относительна и зависит от обстоятельств, которыми, если угодно, могут служить, поочередно или разом, эпоха, мода, мораль, страсть» (*Baudelaire*, 1999: 791). Цитируемое эссе — основополагающий документ и манифест культуры модерна.

ществ и техник массовой коммуникации в XX в., обеспечить только государство, светское государство. Роль национального государства, государства национальной культуры, состоит среди прочего в присвоении и функциональном переосмыслении классики. Теперь это уже «классики нашего народа», «нашего языка», и они выступают символами достижения национальной зрелости, самостоятельности и проч. Дух и стратегия модерна, модернизм (он, с одной стороны, как правило, интернационален, а с другой — самодостаточен, как бы опирается сам на себя и не отсылает к «предкам»⁴) не отодвигается при этом в прошлое, а, напротив, становится еще одним собственным, «внутренним» механизмом динамики культуры. «Классика», равно как и «история», — феномены XIX в., буржуазного общества. Их фундаментальная ревизия происходит в том же самом «конце века», разворачиваясь далее в «войну богов» с характерным педалированием символики «конца», «заката», «кризиса», «краха» (симптоматика ценностного политеизма, по Макс Веберу). Еще более поздние изменения роли канона в интеграции общества и, в частности, литературного сообщества соответственно влияют и на формы протестного самоопределения авангардных художников. Так возникает проблематика «технической воспроизводимости» и «негативной эстетики» у Вальтера Бенямина, Зигфрида Кракауэра, Теодора Адорно, так констатируется «конец романа» у Андре Жида и Вирджинии Вулф, так Морис Бланшо, Мишель Фуко, Ролан Барт разрабатывают метафорику «смерти автора».

Фактически на протяжении XX в., с самого его начала и далее, после Первой мировой войны и выхода на сцену «потерянного поколения», мы имеем дело уже с перерождением культа классики в условиях массового общества, разных его типов. Различия здесь связаны с исторически сложившимися особенностями элитных групп, взаимоотношениями между ними, а также между ними и центрами общества, власти⁵. В этих условиях исследователь все

⁴ Не случайно именно романтики начинают разговор о литературных поколениях — сообществе как бы самостоятельных «детей без отцов». Позднее, уже на стадии кризиса модернизма, Виктор Шкловский усложняет метафору, вводя различие «современников и синхронистов», идею о боковых линиях «литературного родства» (через делов или дядей).

⁵ Особый случай составляет неотрадиционализм закрытого общества — скажем, СССР — и централизованно-организаторская роль государства и государственных репродуктивных систем в этих условиях, функции дефицита и дефицитарного распределения. Связь между национальным, наднациональным (советским) и всемирным (Институт мировой литературы, журнал «Интернациональная литература» и т. д.) приобретает здесь, начиная уже с 1930-х годов, дополнительный интерес, как и проблематика перевода, его «советской школы», так же настойчиво вводимая в государственные рамки.

вероятнее имеет дело не собственно с элитными группировками, а с работой больших анонимных систем. Это всеобщее школьное преподавание⁶ и университетская наука⁷; рынок, реклама и продвижение продукта (promotion); система массовых коммуникаций (радио, кино, ТВ). Литература не только включается в их деятельность, но становится производной от этой деятельности. Литература теперь — многоуровневая динамическая конструкция, и классика как механизм консервации и воспроизводства — лишь один из ее уровней. Он проецируется на другие «этажи» общества, так что для исследователя-историка или социолога возникает возможность фиксировать группы ввода образцов, механизмы их укоренения и распространения, временные рамки соответствующих смысловых трансформаций образца, внутренние и внешние связи тех или иных фигур авторитета. Здесь открывается поле вполне эмпирической работы. Например, используются науковедческие процедуры об-счета упоминаний старых и новых писательских имен в рецензиях на литературные новинки (пространственные и временные границы признания, его социальная «география», объем аудитории, символический «возраст» писателя, со-упоминания его имени — кого с кем)⁸. Исследуются — характерно, что они уже складываются, — роли кандидата в классики, «малых» классиков, «забытого» и «возвращенного» классика.

Классика (будь то словесная, живописная или музыкальная) входит теперь в индустрию досуга и развлечений. Скажем, сюжеты классической живописи фигурируют в дизайне, в уличной или телевизионной рекламе, под классическую музыку танцуют на льду фигуристы, исполнение музыки отрывается от концертного зала (появление грамзаписи и т. д.), восприятие картины — от музея и галереи (книжная репродукция, фото, открытка, а теперь и Интернет). Удостоверение значимости образца осуществляется здесь через единение потребителя с другими такими же — приравнивание

⁶ См. об этом, например, на французском материале: *Jey*, 1998.

⁷ В таком постисторическом, уже ценностно охлажденном виде проблема классики фигурирует в американских академических дискуссиях 1980—1990-х годов о литературном и поэтическом каноне. Показательно, что они разворачиваются именно в США, массовом (гражданском), супранациональном обществе, где проблем перехода от традиционного социума к современному, формирования и утверждения новых, внесловных элит, символической роли национального центра (столицы) и т. п. феноменов в сколько-нибудь развитой форме не существовало. См. об этом: *Дубин* 1996: 391—393; а также тематический блок статей *Литературный канон как проблема*, 2001.

⁸ См. наши с Абрамом Рейтблатом совместные разработки: *Дубин, Рейтблат*, 1990; 2003.

времени, синхронизацию, а значит, повторение. Символический авторитет выступает фокусом коллективной идентификации и интеграции, ритуалы которых воспроизводятся в репетитивном режиме. Но повторяются здесь, подчеркну, не только и не просто символ идентификации и акт единения — повторяется (тиражируется) его субъект. Это *он* становится воспроизводимым, в том числе сам для себя (дело не в манипулировании извне), воспроизводимым в серийном виде и массовом масштабе, и таким образом получает социальное удостоверение, добывается социального утверждения.

3.

Особую, повышенную и ценностно нагруженную роль фигуры национальных классиков и проблема культурных заимствований приобретают, как уже упоминалось, в так называемых запоздавших нациях, где строительство национального государства, формирование национальных элит осложнено социально-культурными обстоятельствами и традициями, сдвинуто во времени на более поздние периоды. Таковы Германия, Россия, Италия, Испания, еще позже — Латинская Америка⁹.

Я бы типологически выделил здесь две стратегии «конструирования традиции». Пример одной — эпигонская *учеба у классиков* как программа формирования корпорации советских писателей во второй половине 1920-х годов (горьковский журнал «Литературная учеба», выходявший с 1930 г., тома «Литературного наследия», издававшиеся с 1931 г., — вся симптоматика идеологического перенесения «центра мира» в Советскую Россию с соответствующими лозунгами типа «Мы — наследники» и проч.¹⁰). Нетрудно показать, что в корпус советской школьной и издательской классики назначаются эпигоны панорамного «русского романа» XIX в., прежде всего — поэтики Льва Толстого, а в определенной степени и его коллективистской антропологии (Алексей Н. Толстой, Александр Фадеев, Михаил Шолохов, Константин Федин и др.). Трансформации толстовской эпики в ходе подобной учебы, а далее — в процессах школьной индоктринации, театральных постановок, киноэкранизаций и проч. составляют в подобных случаях особый план исследовательского интереса. Перспективным предметом исследований ранней советской словесности может стать роль «фольклора», Пушкина и Толстого в представлениях о литературной норме — при вытесненной, но актуальной (скажем, для Леонида Леонова или Михаила Зощенко) криптиотрадиции Гоголя, Досто-

⁹ На российском материале см.: Brooks, 1981.

¹⁰ См. об этом: Добренко, 1999.

евского, Чехова¹¹. Не менее любопытен был бы анализ формирования и трансформаций канона в советской поэзии — имею в виду официально допущенную или, по выражению Ольги Седаковой, «другую поэзию», включая эстрадно-песенную¹².

Иной тип самосознания и поведения — продумывание и демонстрация *неуместности классицизма* на географической/хронологической периферии культуры, то есть европейской культуры в ее современной трактовке. Такова, например, индивидуалистическая и рефлексивная, самосознающая и самоподрывная словесность в программных выступлениях и творческой практике Борхеса (см., например, его эссе «Аргентинский писатель и традиция», «По поводу классиков», «Кафка и его предшественники»; в этом же контексте стоит рассматривать парадоксальные взгляды Борхеса на перевод и его собственную переводческую стратегию)¹³. Борхес деконтекстуализирует проблему традиции, выводя ее за рамки актуального времени и национальной литературы, в том числе испанской. Значимая традиция для Борхеса — всегда универсальная, а не национальная. Она не ограничена рамками пространства, времени, языка¹⁴, в этом смысле она задана на будущее и потому открыта, а не завершена как пройденное, почему и оставлена в прошлом. Отсюда, в частности, его вызывающие, подчеркнута антинационалистические — в расчете еще и позлить ла-латских патриотов — апелляции к Чосеру, Шекспиру и Расину, провокационные реплики о роли ирландцев в английской словесности и проч.

Борхес многократно называл имена писателей, заставляющих, по его мнению, принципиально иначе, нежели это общепринято, посмотреть на проблему традиции в литературе, усомниться в ее актуальности сегодня, задуматься о возможности иных точек отсчета для создания, соответственно, иной, не эпигонской словесности, в том числе для иного использования языка. Эти имена — Джойс и Кафка (впрочем, нетрудно было бы сократить их до одного — Шекспира). Оба писателя представляют окраины «больших» национальных культур и их национальных языков, оба строят в

¹¹ В этом контексте борьба за «своего» Пушкина и Толстого против Достоевского и Чернышевского входит в литературную стратегию Набокова, как Гомер и Данте, Шекспир и Сервантес — в литературную стратегию Борхеса.

¹² См.: Седакова, 2001: 705–724.

¹³ См. об этом последнем моменте: Дубин, 2005b. Писатель как переводчик, писатель как читатель — не просто новые ролевые определения автора: они свидетельствуют о принципиальном изменении места писателя в системе литературных коммуникаций.

¹⁴ Характерный поворот: эссеистические размышления Борхеса о переводе, как правило, построены на чужих переводах с языков, которых он сам не знает. — греческого, арабского, иврита.

своей прозе не социальную педагогику целостного, классического человеческого характера, а своего рода экспериментальную антропологию потерянной личности, которая в собственных действиях и их понимании не может и/или не хочет исходить из прошлого, реферироваться к наследию, опираться на родство, нереплексивно, с полным доверием использовать «материнский язык» и т. п. Беря слово «другой» в полноте значений, развитых уже на протяжении XX в., допустимо сказать, что это не просвещенческо-реалистическая репрезентация «базового характера», но «антропология другого» или, по позднейшему выражению Жоржа Батая и Мишеля де Серто, «гетерология»¹⁵.

Новый и куда более радикальный контекст для данной проблематики создают социальные процессы конца XX и начала XXI в. — явления глобализации, широкомасштабная миграция из стран третьего мира в США и развитые страны Европы, ставшая массовым и повседневным явлением. В этих условиях в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Швеции и других европейских странах (о Соединенных Штатах нечего и говорить) складывается литература и культура мигрантов, так называемая гастарбайтер-словесность (-культура), фактически носящая межнациональный или наднациональный характер. Здесь, вероятно, стоило бы говорить уже о транснациональных литературах, которые используют язык большой традиции как откровенно чужой и не имеют никаких намерений в эту традицию вписываться, адаптироваться к ней, «учиться у классиков». Напротив, автор может писать при этом на языке чужаков — таков, скажем, «канак шпрак», «речь чужака», социолект турков в Германии, которым пользуется, например, Феридун Заимоглу (он так и назвал свой первый сборник стихов). Переписыванию в подобной перспективе подвергается и сама «большая» традиция. Характерен в этом плане пример того же Заимоглу. Он сделал новый перевод шекспировского (опять Шекспир!) «Отелло», где безусловно центральным, определяющим социостилистику текста становится тот факт, что Отелло — мавр, пришелец, маргинал, изгой¹⁶.

Представляется, что в подобных условиях проблема классики, ее литературо- и культуростроительной роли, если не вовсе теряет смысл, то кардинальным образом его меняет. Упомяну лишь один момент: речь идет о словесности, которую не проходят в школе, и не просто «пока не проходят», но которая сама не ориентирована на подобную цель — быть эталонной и всеобщей. Еще очевиднее это в практике авторов, пишущих на заведомо не универсальных,

¹⁵ Любопытные наблюдения на этот счет см. в: *Кобрин*, 2006.

¹⁶ См., например: *Fachinger*, 2001.

не общедоступных языках, — таковы, например, сегодня стихи и проза Ивара Ш'Вавара, который пишет на пикардийском, используя также фонетическое письмо, близкое российскому «языку падонков», а переводит на пикардийский не только с английского и французского, но и с бретонского (точнее, он живет на нескольких «больших» и «малых» языках, но такова же многоязычная практика многих иммигрантов в Германии или Швеции). Характерно, что Ш'Вавар работает под несколькими десятками масок-гетеронимов, чаще всего, опять-таки, ино- или вненациональных, включая женские (от Конрада Шмитта до Мамара Абдельазиза и Сильвена Ауджи, от Матильды Бусмар до Мари-Элизабет Каффез), так что его литературные предприятия чаще всего принимают форму мнимой антологии, антологической мистификации¹⁷.

Понятно, насколько серьезные последствия эти обстоятельства имеют для теории и практики литературной интерпретации. И, прежде всего, такой интерпретации, которая основана на аксиоматике традиции и наследования, фигуре «национального гения» и понятии «авторского замысла» как проекциях ценностных устремлений национальной культуры и национального сообщества, его элит, на парадигмах предназначения нации и ее «избранных», «лучших» представителей. Собственно говоря, к таким же последствиям ведет необходимость учесть разнообразные гетерологии в других искусствах — скажем, так называемое искусство душевнобольных, «музыку аборигенов» и т. п.

4.

Можно подытожить сказанное совсем коротко. В развитом массовом обществе, тем более в глобальном сообществе, основополагающая роль классики в культуре (как и сама программа культуры), ценность литературы и нормы интерпретации этой ценности, отрефлексированные и манифестированные в эпоху модерна, перестают работать в прежнем масштабе, функциональном смысле и режиме усилиями прежних агентов. Сказанное не означает, что классики как принципа оценки и классики как корпуса образцовых авторов и текстов больше нет, а предполагает, что она уходит на другие уровни социума, меняет не только роль, но и облик, выдвигает иных носителей. Так или иначе искать ее (как и культуру, личность, историю, высокое — оборву перечень проблем и достижений модерна, который можно продолжать) приходится теперь в «другом». Уже доводилось писать, что глобализация не отменяет модернизации, а продолжает ее другими средствами и в принци-

¹⁷ См.: *Ch'Vavar*, 2005 (а также: <http://nouvellerevue moderne.free.fr/chvavar.htm>).

пиально другом контексте. Модернизационный процесс (надо ли добавлять, что имеется в виду аналитическая модель явления, а не реальное социальное движение, которое можно непосредственно наблюдать?) распределяется теперь между другими социальными институтами и системами. Причем в разных регионах и странах эти институты, системы, агенты могут быть разными, почему процесс уже не носит единого, однонаправленного и линейного характера, каким он представлялся исследователям еще 40—50 лет назад¹⁸.

Если вернуться к нашему материалу, то одну из таких принципиально других композиций авторитета по сравнению с классиком предлагается видеть, например, в типологической фигуре *звезды*¹⁹. «Звезда» — носитель и символ актуального успеха и признания. Характерна здесь потребность в узнаваемом и портретируемом «лице», в последовательно конструируемой «биографии», что чаще всего сочетается с авторским культом собственной личности, особенно заметным, скажем, у Маяковского, но также у Оскара Уайльда или Джека Лондона, Хемингуэя или молодого Василия Аксёнова. Значимой составляющей в образе звезды нередко становится среди прочего поведение на грани или за гранью общественных приличий, скандальная откровенность в интимных вопросах, опубликование скрытого, запретного, так же как важной чертой современной поэтики вообще делался эстетический шок (демонстративный разрыв коммуникации), обращение к «эстетике безобразного», отчетливое уже у Бодлера или Лотреамона и примерно тогда же теоретически осознанное как проблема культуры (трактат Карла Розенкранца «Эстетика безобразного». 1853). Наряду с этим в текстах упомянутых авторов стоит отметить повышенную значимость для них общих мест, стереотипов (крылатых словечек), подчеркнутой «вторичности» (романсовости, плакатности, журнализма, использования форм частушки, песни). Эти моменты можно трактовать как специфические механизмы связывания «индивидуального» и «массового»; аналогичным образом они связаны, например, в общедоступной и повсеместной рекламе: «Только для тебя», «Ты этого достойна» и т. п. Звёзды — от спортсменов до космонавтов, от политиков до эстрадных певцов — это фигуры новой элиты в условиях уже массового общества.

Тогда фигуру *модного автора* предлагается толковать как кандидата в звезды. Характерная формула общественного признания здесь — «проснулся знаменитым»: таковы Байрон, Эжен Сю, Баль-

¹⁸ См.: Дубин, 2002а, особенно — С. 58—59. Речь в том числе может идти о модернизации без вестернизации (по терминологии Юрия Левады. — см. Левада, 2002: 17—18) или, как в случае современной России, о массовизации культуры без модернизации основных институтов социума.

¹⁹ Более подробно обо всем сказанном ниже см.: Дубин, 2006.

зак, Диккенс, Леонид Андреев или Игорь Северянин. Явная и даже специально демонстрируемая связь модного автора с запросом и откликом общества в его наличном составе позволяет исследователю эмпирически фиксировать временные рамки признания (сезон), прослеживая обязательную конкуренцию и смену авторитетов, переход с уровня на уровень культуры (литературы), содержательные и модальные трансформации образца при подобных переходах — для социолога функция образца как коммуникативного средства, собственно, и состоит в том, чтобы связывать эти уровни. Звездность и модность имеют, среди прочего количественный аспект. Здесь «говорят цифры»: тиражи, количество копий фильма, время подготовки и самих съемок (большое или, напротив, малое), количество килограммов, на которые пришлось похудеть либо располнеть актерам. Звезда, как и модный автор, по определению рекордсмены, они невозможны без техник массового тиражирования, включая визуальные (сначала фото, затем кино и ТВ). Особую разновидность модного писателя можно видеть в писателе-моднике, который не просто «просыпается знаменитым», а сам последовательно и открыто ориентируется на спрос, движение конъюнктуры, массовый успех.

Еще одну перспективу в изучении различных стратегий утверждения и легитимации авторитета открывает такое понятие, как *культовая фигура*. В последние годы оно нередко используется исследователями культуры (например, Натальей Самутиной²⁰). Я бы предложил видеть в подобном «культе» символическую самозащиту локальных и маргинальных групп в исторической ситуации, когда любой культ всеобщего — например, после крушения тоталитаризма в Европе и СССР — выступает как неприемлемая культурная стратегия, популистская и демагогическая форма самоопределения, орудие манипулирования извне и проч. Малая группа, кружок отстаивают таким способом свою автономию от массовидного коллективного целого. Характерно здесь намеренное сужение рамок оценивания, миниатюризация ценного объекта. Не случайно у культовых авторов — уменьшительные имена (Лёничка /Леонид Губанов/, Веничка /Венедикт Ерофеев/, Эллик /Леон Богданов/, Женя /Евгений Харитонов/)²¹. Культовый автор — продукт конструирования и самоконструирования групп, не рассчитывающих на *расширение*, экспансию, массовость, но допускающих и практикующих *приобщение*, посвящение. Текст культового автора (в семиотическом смысле слова «текст») — не столько средство коммуникации, сколько ее символ, символ общности «нас», не таких, как

²⁰ См.: Самутина, 2002.

²¹ Седякови, 2001: 782. См. там же очерки о Викторе Кривулине и Венедикте Ерофееве (С. 684–704, 734–754).

«все другие». Культ в данном понимании — это среди прочего культ антиколичества. Показательно, что культовыми делаются авторы, написавшие или снявшие мало, а то и совсем ничего («авторы одной книги» или «одного фильма»). Закрытая культура — «подполье», андеграунд, «вторая культура» — в своем коллективном определении и поведении как бы возвращается к устности, отказу от тиражирования, почему она и обязательно продуцирует культовые имена. Здесь, собственно говоря, осуществляется не просто порождение текстов, а производство культурных границ и игра на двойной принадлежности образца — таково письменное, становящееся устным, популярное — элитарным. Отсюда и культовая роль неконвенциональных искусств: фото, кино, песни, научной фантастики и фэнтези. Тот факт, что одной из наиболее значимых проблем, если вообще не центральной, в данном случае выступает граница, указывает социологу на то, что в подобных случаях он имеет дело с реактивными формами самоопределения, предупредительной или защитной символической демаркацией собственной локальной «территории».

Такого рода «культы» фиксируют новое понимание личного как универсального и вместе с тем идиосинкратического, не редуцируемого к групповому, историческому, национальному; хороший пример тут — Набоков. В более широком смысле подобный сдвиг границ между частным, интимным и общим, публичным свидетельствует для социолога о глубоких изменениях в социуме и культуре: частное, интимное (дневник и письма, как у Леона Богданова или Якуба Демла, «внутренняя речь», «разговоры про себя», как в прозе Павла Улитина, личные и семейные фотографии, другие документы из индивидуального архива в книгах Винфрида Георга Зебальда) становится открытым, групповым, общим. Опять-таки показательна роль мелочи, случайного, нетипового, то есть антивеликого, антисистемного — в текстах и образе культовой фигуры. Сюда же относится подчеркнутая антижанровость текстов культового автора, его «неумелость», «грубость», «наивность» либо столь же абсолютная, «неуместная» изысканность. Примеры — Владимир Набоков или Саша Соколов в литературе, Золтан Хусарик, Сергей Параджанов или Владимир Кобрин в кино. Ускользящее определение и исчезающее лицо культовой фигуры я бы трактовал как демонстрацию и провокацию непринадлежности, уклонение и ускользание от «литературы» как области готового, общепризнанного и понятного «всем» (отсрочка достижения, его отодвигание как механизм производства желаний, переживания ценности неуловимого²²). Даже такой ритуал признания, как премия, здесь подчеркнуто элитарен, он символизирует отказ от всеобщего, от «рынка»,

²² См. об этом: *Каспэ*, 2005.

где «всё на продажу». Такова, например, не связанная ни с какими внешними знаками отличия и количественным выражением признания премия Андрея Белого, созданная именно в условиях закрытости, в подпольной культуре Ленинграда второй половины 1970-х годов²³. Продолжением подобной стратегии средствами Интернета мне представляется проект института публичной экспертизы и рекомендации, который недавно выдвинул Александр Долгин²⁴.

Отмечу, что метафорика круга (группы), а особенно поколения, нередко фигурирует при этом в негативном залоге (растратившее, погибшее, незамеченное...). Для групп, которые как бы отказываются от самореализации, культовые авторы становятся символом самопонимания и самоопределения и выдвигаются ими в качестве фигур подобного радикального отказа. Я бы отнес к культовым фигурам — с оговоркой, что это пограничный, или предельный, случай — и так называемых несъедобных или неудобоваримых, неусвояемых авторов (по выражению Сьюзен Зонтаг об Арто). Их роль — систематический подрыв авторитарных позиций всезнающего и всевидящего творца. Характерно здесь использование литературных масок-гетеронимов, которые представляют даже не отдельных писателей, а различные типы поэтик или целые философские системы — от стихов Пессоа, Антонио Мачадо и Леона де Грейффа до молодой польской поэтессы Агнешки Кутяк с ее антологией несуществующих поэтов «Дальние страны» (2005, премия Виленицы). Писатель выступает тут как саморазрушительный критик (Октавио Пас о «критической страсти» современного поэта), как переводчик или как «всего лишь» читатель — стратегия уже упоминавшегося Борхеса. Самосознательный, рефлексивный художник может играть со значениями собственного «я» как общественного образца, последовательно отстраняясь иронией от любой из подобных масок, — напомним не только знаменитую фотографию «I'm not a role model» Марселя Дюшана, но и его отказ от чего бы то ни было напоминающего творчество, кроме придумывания и решения шахматных головоломок.

Литература

Добренко Е. А. Формовка советского писателя: Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры. СПб: Академический проект, 1999.

Дубин Б. В. Другая история: культура как система воспроизводства // *Отечественные записки*. 2005а. № 4. С. 25—43.

²³ Премия Андрея Белого, 2005; 2007.

²⁴ См. блок статей *Потребление культуры: от маркетинга к сообществам рекомендателей*. 2007.

Дубин Б. В. Европа — «виртуальная» и «другая» // *Мониторинг общественного мнения*. 2002а, № 4(60). С. 49—59.

Дубин Б. В. Классик — звезда — модное имя — культовая фигура: О стратегиях легитимации культурного авторитета // *Синий диван*. 2006. № 8. С. 100—110.

Дубин Б. В. Классическое, элитарное, массовое: начала дифференциации и механизмы внутренней динамики в системе литературы // *Новое литературное обозрение*. 2002b. № 57. С. 6—23.

Дубин Б. В. Пополнение поэтического пантеона // *Новое литературное обозрение*. 1996. № 21. С. 391—393.

Дубин Б. В. Книга мира // Борхес Х. Л. Собр. соч.: В 4 т. СПб.: Амфора, 2005b. Т. 4. С. 20—25.

Дубин Б. В., Зоркая Н. А. Идея «классики» и ее социальные функции // Проблемы социологии литературы за рубежом: Сб. обзоров и рефератов. М.: ИНИОН АН СССР. 1983. С. 40—82.

Дубин Б. В., Рейтблат А. И. Литературные ориентиры современных журнальных рецензентов // *Новое литературное обозрение*. 2003. № 59. С. 557—570.

Дубин Б. В., Рейтблат А. И. О структуре и динамике системы литературных ориентаций журнальных рецензентов (1820—1978) // Книга и чтение в зеркале социологии. М.: Книжная палата, 1990. С. 150—176.

Каспэ И. М. Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2005.

Кобрин К. Р. Поиск национальной идентичности в Центральной Европе (случай Франца Кафки) // *Неприкосновенный запас*. 2006. № 1 (45). С. 141—154.

Левада Ю. А. Отложенный Армагеддон? Год после 11 сентября 2001 года в общественном мнении России и мира // *Мониторинг общественного мнения*. 2002. № 5. С. 7—18.

Литературный канон как проблема: Блок статей // *Новое литературное обозрение*. 2001. № 51. С. 5—88.

Потребление культуры: от маркетинга к сообществам рекомендаций: Блок статей // *Неприкосновенный запас*. 2007. № 4 (54).

Премия Андрея Белого (1978—2004): Антология. М.: Новое литературное обозрение, 2005.

Премия Андрея Белого (2005—2006): Альманах. СПб.: Амфора, 2007.

Самутина Н. В. Культовое кино: Даже зритель имеет право на свободу // *Логос*. 2002. № 5/6. С. 322—330.

Седакова О. Стихи. Проза. М.: Эн.Эф.Кью/Ту Принт, 2001.

Baudelaire Ch. Le Peintre de la vie moderne // Baudelaire Ch. Oeuvres complètes. P.: Robert Laffont, 1999. P. 790—815.

Brooks J. Russian Nationalism and Russian Literature: The Canonization of the Classics// Nation and Ideology: essays in honor of Wayne S. Vucinich /

Ed. I. Banac, J. G. Ackerman, R. Szporluk. Boulder: Columbia UP, 1981. P. 315—334.

Ch'Vavar I. Cadavre grand m'a raconté: Anthologie de la poésie des fous et des crétins dans le Nord de la France. Thonon-les-Bains: Le Corridor bleu, 2005.

Fachinger P. Rewriting Germany from the Margins: «Other» German Literature of the 1980s and 1990s. Montreal; Ithaca: McGill-Queen's UP, 2001.

Heinich N. L'élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique. Paris: Gallimard, 2005.

Jey M. La littérature au lycée: L'invention d'une discipline (1880—1925). Metz; Paris: Université de Metz; Klincksieck, 1998.

Ирина Каспэ

КЛАССИКА КАК КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОПЫТ: ЛИТЕРАТУРА И ТЕЛЕСЕРИАЛЫ¹

Для социолога литературы термин «классическая эпоха» в общем неоперационален. «Классика» — не подлежащее музеефикации прошлое, а воспроизводящийся социальный механизм; возможно, наиболее точно и нейтрально этот механизм можно описать как процесс формирования и поддержания канона, канонизацию. Но и понятие канона, востребованное англоязычным литературоведением и в его же рамках поставленное под сомнение, конечно, требует выбора определенной исследовательской позиции.

Не останавливаясь специально на теме бурных академических и околоакадемических «дебатов вокруг канона», развернувшихся в последней четверти XX в. (деконструкция стратегий *canon-making* как стратегий манипулятивных, стратегий подавления и доминирования², интерес к моделированию альтернативной истории канона, к «другому канону»³ и ответные апологии канона «западного»⁴), нельзя не оговорить, в каком режиме при этом преимущественно рассматривается проблема канона, что, собственно, признается проблематичным и требующим анализа. Теория символического капитала и в целом социология Бурдьё, на которую в значительной мере, с большим или меньшим количеством оговорок, опираются сторонники релятивистского подхода в исследовании канона, ка-

¹ Первый, журнальный вариант: Каспэ, 2006: 278—294.

² См. об этом, напр.: *Canon vs. Culture*, 2001; *The Popular and the Canonical*, 2004.

³ Об этом, напр.: *Battersby*, 1989; *Amuta*, 1989.

⁴ *Bloom*, 1994.

залось бы, предполагает непосредственное внимание к фигуре реципиента, читателя. Критерии суждения о литературе, критерии литературного вкуса исследуются в первую очередь. Однако же речь идет в основном о критериях *отбора*, о самой процедуре селекции, включения определенных персоналий и их текстов в канон или, напротив, исключения из него⁵. Иными словами, под каноном подразумевается свод имен и названий. Непосредственно событие чтения в этом ракурсе выносится за рамки разговора о каноне, актуализируется довольно сомнительный образ «простого читателя», полностью подверженного манипулятивному влиянию авторитетных (или даже авторитарных) интерпретативных институтов (школа, критика, издательство, библиотека), причем история рецепции здесь, как правило, подменяется историей репутаций — историей борьбы за канон как ресурс доминирования.

Тем не менее другое значение слова «канон» — не только «список», «свод», но и «мера», «образец» — подспудно продолжает транслироваться (ср., например: «Канон отсылает к тем литературным работам, суждение о которых может быть достойно академического исследования»⁶), но почти никогда не привлекает скольнибудь долгосрочного внимания. Обычно остается открытым вопрос: *образец чего*, какой именно практики имеется в виду при упоминании литературного канона?

В этом смысле кажется продуктивным различие двух типов канона: домодерного, основанного на воспроизводстве образцовых текстов и образцов письма, и модерного, который опирается на практики рецепции и интерпретации⁷. Современный, модерный взгляд на литературный канон подразумевает прежде всего тиражирование высоких образцов *чтения*, представлений о том, *что* следует читать каждому образованному члену общества и (пусть с меньшей категоричностью) *как* это следует делать. Итак, «каноническим», «классическим» можно назвать произведение, которое не только наделяется повышенной ценностью, но и предполагает наиболее жесткий режим социализации читательского опыта, поддержания воображаемой читательской общности — будь то общность политическая («национальная классика») или групповая. Такая исследовательская оптика позволяет избежать излишней демонизации интерпретативных институтов как таковых — безусловно, это

⁵ Hanp.: Guillory, 1993.

⁶ Johnson, 2004: 201.

⁷ См., например, противопоставление канона «риторической культуры», базировавшегося на «производстве» (production), и канона современной, «объективистской» культуры, базирующегося на «потреблении» (consumption): Ross, 1998: 6.

институты авторитета и социального контроля, но также и институты структурирования читательского опыта. В случае классики интерпретационные образцы настолько устойчивы, а принципы обращения с текстом настолько стандартны, что можно разделить с другими коллективный читательский опыт даже при отсутствии опыта индивидуального: не обязательно читать классическое произведение для того, чтобы овладеть канонами суждения о нем. Говоря иначе, каноны чтения здесь прочно и непосредственно связаны с канонами «почитания»⁸: далеко не всегда удастся с уверенностью отличить одно от другого.

В этой статье я постараюсь показать, что социологический подход к проблеме литературной классики может не ограничиваться узкими, «технологическими» рамками анализа разнообразных стратегий состязания за власть и канон. Мой предмет — не технологии формирования канона, а культурные смыслы, стоящие за воспроизводством тех или иных интерпретативных образцов. С этих позиций интересно рассмотреть одно из медийных событий последних лет — «экранизаторский бум», специфический симбиоз литературы и отечественного телевидения.

* * *

«Когда мы затрагиваем тему экранизации, то невольно начинаем рассуждать в терминах перевода»⁹, — отмечая этот факт, Олег Аронсон признает неуместность лингвистической терминологии (поскольку она подразумевает первичность литературного произведения по отношению к экранному, а значит, режим постоянной сверки «оригинала» и «копии», поиска соответствий и «отступлений от текста»), однако предлагает ее реабилитировать: использовать понятия перевода/непереводимости для описания специфической «свободы от языка», приобщения к до-знаковому опыту.

Меня будет интересовать прямо противоположный ракурс темы: я намереваюсь акцентировать прежде всего проблемы литературности, избегая при этом термина «перевод». Этот термин, слишком явно отсылающий к семиотической традиции, кажется мне неприемлемым не только потому, что он побуждает анализировать любую культурную практику по аналогии с практиками вербальными и, следовательно, метафоричен, но и потому, что метафора перевода (как и ее антоним — «непереводимость») пред-

⁸ Я признательна за этот термин Борису Владимировичу Дубину, оппониравшему мой доклад о классике и читательском опыте на семинаре ИГИТИ; также пользуюсь случаем поблагодарить всех участников обсуждения за вопросы и комментарии, которые помогли мне при работе над этой статьей.

⁹ Аронсон, 2003.

полагает жесткую оппозицию двух четко очерченных языков. Если не опираться на шаткое и не выдерживающее критики противопоставление «вербального» и «визуального», «слова» и «образа»¹⁰, то определить «язык», с которого «переводится» экранизация, окажется непросто. В самом деле, что именно воплощается на экране — уникальный читательский опыт создателей фильма? Стандартные модели восприятия данного текста, скажем, те интерпретационные стереотипы, которые воспроизводятся критиками и фиксируются в школьных учебниках? Будут ли эти модели исключительно «литературными» или их формируют в числе прочего книжная графика, театральные постановки, уже существующие традиции кино- и телепоказа, медиа как таковые?

Но, пожалуй, еще труднее охарактеризовать «язык», на который осуществляется «перевод». Слишком общие термины «язык кино» или «язык телевидения» мало что сообщат о разнообразных способах обращения с литературным текстом: от самых клишированных — «иллюстрация», «свежая трактовка», «свободная фантазия на тему» etc. — до гибридных и многозначных. Как представляется, это разнообразие не просто «жанровое» или «форматное» — оно прямо связано с проблемой литературности и является своего рода индикатором статуса литературы.

И убежденность в том, что литературный «оригинал» обладает более высокой ценностью, чем его кино- или теле-«копия» («версия», «интерпретация», etc.), и попытки опровергнуть этот приоритет, опротестовать «диктат литературы» в равной мере могут стать предметом исследования. Важно, что экранизация высвечивает символы литературности¹¹ (даже в тех случаях, когда демонстрирует разрыв с ними), что ей обязательно предшествует некий читательский опыт (даже если результат коллективной работы над фильмом существенно расходится с опытами первого, «непосредственного» прочтения текста). Так или иначе экранизация транслирует определенные представления о читательской практике, которые, вероятнее всего, будут приближаться к одному из двух полюсов: на одном полюсе область чтения помечается как приватная, индивидуальная зона — следовательно, поле спонтанных решений и персональных экспериментов, на другом — как коллективное, общее пространство, регламентированное системой норм и правил. В каком-то смысле этим полюсам соответствуют характерные стерео-

¹⁰ Об этимологии этого противопоставления, его связи с оппозицией «поэзия — живопись» и ушербности в случае разговора о литературе и кино: *McFarlane*, 1996; см. также: *Elliott*, 2003. О роли «визуального воображения» в структуре читательского опыта см., например: *Esrock*, 1994.

¹¹ *Sheen*, 2000: 8.

типы языка критики, которые упоминает в своей статье Олег Аронсон¹²: ближе к первому полюсу будет подчеркиваться и цениться нестандартность «интерпретации» («трактовки», собственно «прочтения»), ближе ко второму — «верность тексту»¹³ (иллюзия его объективного воспроизведения, «копирования»).

Здесь, однако, необходимо уточнить, что такой язык описания и оценки экранизации — в диапазоне от «нестандартного прочтения» до «верности тексту» — может актуализироваться и использоваться не во всех (хотя и, безусловно, в самых распространенных) случаях: только когда речь идет о литературном тексте с особым статусом, о «коллективном достоянии», скорее всего — о классике. Подобная риторика отсылает именно к коллективной, социальной стороне чтения, к воображаемому сообществу читателей, к утвердившимся образцам, к сложившимся канонам рецепции: они могут быть автоматически («верно») воспроизведены или сознательно («нестандартно») отвергнуты. Собственно, сами практики тиражирования этих образцов или их деконструкции (через негативные фигуры «присвоения», «осовременивания», «низвержения», «пародирования» текста) представляют собой те стандартные, устойчивые модели читательского поведения, из которых и складывается современная («модерная») система литературного канона¹⁴. Классика как наиболее тотальный режим структурирования индивидуального читательского опыта и тем самым превращения его в опыт коллективный остается своеобразным ядром индустрии экранизации: произнося слово «экранизация», пожалуй, в первую очередь имеют в виду работу с классическим, канонизированным текстом¹⁵ (хотя другие, не столь застывшие режимы коллективного чтения — «культовый роман», «модный роман» — разумеется, тоже весьма востребованы).

В любом случае исследование экранизации в связи с проблемой рецептивных практик позволяет говорить о различных форматах съемки и различных медийных средах — от «авторского кино» до «телесериала» — не как о языках, на которые переводится литературный текст, а как о несхожих типах реакции на тот или иной более или менее жесткий канон его восприятия и одновременно как о несхожих способах этот канон формировать, трансформировать или транслировать наряду с институтами академического

¹² Аронсон, 2003: 128.

¹³ О мифологии «верности тексту» см., напр.: *McFarlane*, 1996; *Stam*, 2000.

¹⁴ О режимах учреждения, поддержания и опровержения классических образцов, о парадоксальности «модерных» процессов классикализации: *Дубин*, 2006.

¹⁵ О «классике» как основном ресурсе экранизации: *Narimore*, 2000.

литературоведения, школы, СМИ или рекламы. Речь не о том, что экранизация непременно «возвращает читателя книге», а о том, что она, сохраняя и даже гиперболизируя символы литературности, выносит стереотипы читательской практики за рамки литературы, что она работает с ними за рамками собственно чтения. Здесь важно, каковы в том или ином случае способы этой работы и, главное, в каких целях она продлевается, какие *определения реальности* легитимирует (или вытесняет, или подменяет) отсылка к читательскому опыту.

До недавнего времени можно было говорить о безусловно доминирующем типе отечественной экранизации: этот тип сложился в середине 1990-х годов (хотя первые заявки были сделаны раньше — скажем, в фильме «Закат» Александра Зельдовича, 1990) и воспроизводился в формате «фестивального кино», в прокат практически не попадавшего. Способы обращения с литературным текстом здесь преимущественно определялись (и создателями фильмов, и их критиками) как «вольное переложение», «картина по мотивам»; своевольность ставилась в вину и «новым русским режиссерам», «представителям нового постмодернистского поколения», и опытным мастерам («Три сестры» Сергея Соловьева, 1994; «Первая любовь» Романа Балааяна, 1995), которым, по мнению критиков, вдруг перестало удаваться «тонкое проникновение в классику»¹⁶. Именно классика привлекала наибольшее внимание экранизаторов; ее «присвоение», «обыгрывание», «снижение» вплоть до деконструкции самих представлений о классическом («Подмосковные вечера» Валерия Тодоровского, 1994; «Ревизор» Сергея Газарова, 1996; «Му-Му» Юрия Грымова, 1998; «Даун-Хаус» Ивана Охлобыстина, 2001) дополнялось интересом к «возвращенной», «реабилитированной», «разрешенной» литературе с тоже высоким, почти классическим статусом — но прежде всего к той, которая описывается в терминах «гротеска», «экспрессии», «абсурда»: так, Александр Зельдович экранизирует Бабеля, Алексей Балабанов — Беккета («Счастливые дни», 1991) и Кафку («Замок», 1994), Василий Пичул — Ильфа и Петрова («Мечты идиота», 1993).

Отчасти ту же линию продолжает и телевизионная экранизация, вышедшая в 2005 г. — экспрессивное изобретательное «Дело о «Мертвых душах»» Павла Лунгина (НТВ)¹⁷. Однако несколько раньше на канале «Россия» появляется проект, который не только в эту линию не вписывается, но и демонстрирует во многих смыслах кардинально противоположные стратегии экранизации классики: «Идиот» Владимира Бортко (2003) и по масштабам рекламной

¹⁶ Рутковский, 1995.

¹⁷ См.: Левченко, 2005.

кампании. и по принципам показа распознается как массовое зрелище, призванное восстановить ценность высоких канонов. Если «новое кино» 1990-х нередко *играло* с идеей коммерциализации классического, всячески подчеркивая, делая максимально яркими те или иные ходы навстречу «массовой культуре» (эстетике детектива, мелодрамы, рекламы), то телевизионный проект Бортко не нуждается в дополнительном обозначении массовости, напротив — в нем акцентируется «высокая литературность» (ср. присуждение сериалу Солженицынской премии «за вдохновенное кинопрочтение романа Достоевского “Идиот”, вызвавшее живой народный отклик и воссоединившее современного читателя с русской классической литературой в ее нравственном служении»¹⁸). В тех экранизациях, которые в немалом числе вслед за «Идиотом» выходили на двух центральных, ведущих каналах в течение нескольких последних лет, без труда угадывается именно эта перемена: от «свободы интерпретации» к «верности тексту», от элитарных игр с понятием «массовой культуры» к массовости как таковой.

Уже в таком, самом поверхностном описании проблемы видны два ракурса, в которых она обычно рассматривается. Намеренно утрируя, их можно определить следующим образом. В первом ракурсе — условно говоря, «идеологическом» — восстановление безусловной ценности литературных канонов связывается с актуализацией структур национальной идентичности. Для сторонников подобной точки зрения будет немаловажно, что в конкурентной борьбе за литературу на телевидении участвуют преимущественно государственные каналы — «Первый» и «Второй» (хотя фактически государственным является и НТВ, он все же сохраняет, пусть довольно условную, маску независимости, с которой можно легко соотнести экспериментальность сериала Лунгина; на НТВ демонстрировался и «Доктор Живаго» Александра Прошкина по сценарию Юрия Арабова — создатели телепроекта противопоставляют его другим недавним экранизациям, охотно подчеркивая свободное обращение с «буквой» пастернаковского текста, но, впрочем, заявляют о верности его «духу»¹⁹). Итак, в «идеологическом» ракурсе интерес телевидения к литературе истолковывается как начало формирования нового национального пантеона, а способы показа литературных текстов — как косвенная или даже прямая трансляция норм, соответствующих новой национальной идеологии. Оценка этого процесса скорее окажется негативной; он воспринимается тем настороженнее, что на телевидение (то есть в потенциальный пантеон) попадают произведения, которые составляли круг

¹⁸ Официальная формулировка жюри цит. по: Немзер, 2004.

¹⁹ Прошкин, 2006.

если не массового, то, во всяком случае, безусловно *общего* чтения и/или перечитывания в середине 1980-х годов, с началом политических и, соответственно, публикаторских перемен: «В круге первом», «Мастер и Маргарита», «Доктор Живаго», «Дети Арбата» (в этом ряду достаточно органично смотрится «Московская сага» Василия Аксёнова, написанная и изданная уже в 1990-е, — роман «культового автора» о десятилетиях «культа личности»). Новое, телевизионное возвращение к этим текстам может трактоваться как намерение завуалировать, смягчить наиболее острые, травматические версии прошлого или, более радикально, — вывернуть их наизнанку, подменить негативные образы «советского» ностальгической апологией. В этом смысле под «новой национальной идеологией» нередко подразумевается регресс, «откат назад», а консервация канонов ассоциируется с позднесоветским официозом: само сочетание «стабильности», «телевидения» и «классики» способно вызвать в памяти годы почти непрерывных государственных трауров или даже неудавшуюся реставрацию 1991-го, одним из символов которой стал телепоказ «Лебединого озера».

Другой ракурс — назовем его «экономическим» — может и противопоставляться первому, и совмещаться с ним. Основную проблему, которая видится в этом ракурсе, исследователи экранизации могли бы определить (с явными или скрытыми отсылками к Бурдье) как проблему успешного вложения «символического капитала»: высокий статус литературного текста, более или менее длительная история его прочтений, возникновение и наложение устойчивых символов читательской общности превращают этот текст в товар иногда более выгодный, чем «книжный бестселлер сезона»²⁰. С такой точки зрения интересующие нас проекты принципиально отличаются от прежних отечественных экранизаций, в том числе и от самых консервативных, поскольку являются продуктами коммерциализированного телевидения. Любопытно, как в одной из статей, рассказывающей о рейтинговой схватке «Первого канала» и «России», фиксируется смещение традиционных иерархий, смещение представлений о важном телесобытии: по мнению автора статьи, «тузом» в битве титанов оказывается пресс-конференция с участием российского президента — на «Первом» ее «подают как важную»²¹ (то есть транслируют в незапланированное время) исключительно для того, чтобы сдвинуть показ очередной серии «Золотого тельца» и тем самым избежать пересечений с демонстрацией фильма по роману Солженицына на конкурентном канале. При подобном ракурсе литературные телефильмы послед-

²⁰ См.: Sheen, 2000; а также: Nartmore, 2000.

²¹ Красовский, 2006.

них лет будут вписаны в «сериальный» контекст — вне зависимости от того, какой формат фигурирует в титрах («экранизация», «многосерийный фильм», собственно «сериал»), вне зависимости от хронометража серий.

Оба ракурса представляются достаточно уязвимыми. Конечно, было бы сильным упрощением, опираясь на оппозиции «нестандартность трактовки» — «верность тексту», «эксперимент» — «консерватизм», «изменения» — «стабильность», выстроить некую цикличную модель восприятия «высокого», «классического», «канонизированного». Термин «сериал» позволяет избежать этой цикличности: он фиксирует то, что объединяет достаточно разные телепроекты 2000-х и одновременно отличает их от других типов экранизации. Прежде всего, литература, с которой работает сериал, должна быть *узнана*, опознана максимальным числом зрителей. Не важно, что именно опознается — персональный читательский опыт или готовые интерпретационные образцы, собственно текст или репутация его автора, — тут нет жестких границ, и провести их вряд ли удастся. Не случайно главный герой сериала легко отождествляется с автором экранизируемого текста: так, Евгений Миронов в роли князя Мышкина в некоторых ракурсах напоминает известный портрет Достоевского работы Перова; этот же актер в роли Глеба Нержина похож на хрестоматийную фотографию Солженицына с лагерным номером на груди; Александр Галибин, сыгравший Мастера, похож на Булгакова etc. В этом смысле интересные нас типы показа можно обнаружить и в сериале «Есенин» (режиссер Игорь Зайцев, «Первый канал»), хотя этот проект апеллирует не к классическому произведению, а к биографии классика (байопик по роману Виталия Безрукова). Достаточно увидеть рекламный кадр, в котором златовласый поэт (Сергей Безруков) шествует по переулку легкой походкой в окружении бродячих собак, чтобы не только предположить появление в следующем кадре задрипанной лошади, но и задуматься о том, из чего именно складывается наше чувство узнавания. Мы видим на экране не просто есенинское стихотворение, или песню группы «Альфа», гремевшую на дискотеках 1980-х, или стереотипный образ озорного гуляки (он же — почвенный поэт и невинная жертва коварных инородцев), а всё одновременно; иными словами, Игорь Зайцев экранизирует не что иное, как коллективные представления о Есенине, длительную историю его чтения и почитания.

Здесь мы сталкиваемся с еще одной особенностью литературного сериала, почти не различимой в узко «экономическом» ракурсе и именно этим интересной. Представления о «литературности» оказываются тесно переплетены с представлениями о «реальности», во-первых, и об «истории», о «прошлом» — во-вторых. Соглас-

но одному из общих мест телекритики. сериалы (не только литературные) опираются на консервативные, родовые, семейные ценности и одновременно отрабатывают новые, актуальные модели социального поведения. Если до недавнего времени на российском телевидении преобладали импортированные сериалы или их отечественные, произведенные по лицензии клоны, то в последние годы заметен поиск специфически «наших» сериальных ходов, адаптированных к «нашим» консервативным ценностям и «нашим» поведенческим моделям. В этом поиске «наша классика» составляет серьезную альтернативу «военным», «бандитским», «ментовским» сериалам. В отличие от новых книжных бестселлеров, написанных на русском языке, классику нельзя заподозрить в копировании «чужих» образцов и формул. Уже сам факт обращения к национальной «высокой литературе» отсылает к символам «родового», «своего» и вместе с тем «подлинного», «настоящего», «реального». Характерно, что выбираются при этом прежде всего произведения, которые могут так или иначе соответствовать образу «книги жизни»: востребованы «эпичность» (капитальный объем и/или широкий круг действующих лиц), внимание к биографии, к конструкциям «жизненного пути» или «скрещений судеб», к семейной истории (от «Идиота» до «Московской саги»). Повествования с ярко выраженными модусами условности, гротеска привлекают создателей сериалов, пожалуй, лишь в тех случаях, когда литературный текст «разобран на цитаты», то есть тесно переплетен с повседневными практиками, как «Мастер и Маргарита» (роман с отчетливым статусом «книги жизни», «учебника жизни») и, пусть в меньшей степени, «Золотой теленок» (ср. контраст между подчеркнуто иллюзорным, фиктивным, балаганным пространством фильма Пичула и зеленеющими лугами, полями, деревьями, кустами и прочими знаками «живой природы», «естественности», которые постоянно оказываются в кадре сериала 2005 г. — режиссер Ульяна Шилкина, «Первый канал»).

При такой апелляции к «высокой», «классической» литературе призмой, сквозь которую воспринимается «реальность», конечно, оказывается та или иная модель прошлого. XIX век, век «национальной классики» в узком смысле этого термина, — вполне традиционное для литературных сериалов время действия. На протяжении 1990-х годов отечественным телевидением покупалось и транслировалось значительное количество сериалов, следующих этой традиции, — от «Рабыни Изауры» по роману Бернардо Гимараэса (Бразилия, 1976) до «Гордости и предубеждения» по роману Джейн Остин (США, 1996). Собственно, граница между «литературным» фильмом и фильмом «историческим», «костюмным» здесь окажется весьма неустойчивой. «Литературность» почти

отождествляется с «историчностью»: под верностью классическому тексту будет подразумеваться также и верная реконструкция прошлого; наоборот, само появление на экране костюмов и декораций XIX в. привносит некий отблеск классики (как он видится, например, в названии российского сериала «Бедная Настя», 2003—2004). Экранизация канонизированного текста или авантюрного романа, написанного в том же XIX в. (фильм «Петербургские тайны», 1994—1997, по «Петербургским трущобам» Всеволода Крестовского), или современная стилизация будут соотноситься в общем с одним контекстом: динамичное и в то же время неторопливое разворачивание интриги, благонравие и бурные страсти, высокие чувства и низкие помыслы. Именно в этом контексте авантюрных и любовных историй, выдержанных в декорациях XIX в., был принят многими рецензентами и сериал «Идиот»²² — стилизованная орфография названия весьма показательна.

Однако среди литературных сериалов, сменяющих друг друга на «Первом канале» и на канале «Россия», количественное преимущество сегодня остается за теми, что декорированы совсем в другом стиле. Как замечает критик Наталья Иванова, «зрители привыкают жить по вечерам в интересах и нарядах конца 1920-х — начала 1950-х годов. “Сталинский” стиль в телесериалах преобладает»²³. То, что распознается нами как «большой стиль», — не просто воспроизведение повседневных примет 1920—1950-х, но также и устойчивые способы такого воспроизведения, сам режим постоянной апелляции к «сталинскому времени», канонизация литературы, которая была в это время написана. Иными словами, 1920—1950-е годы претендуют на статус новой эпохи «большой классики» — во всяком случае, на телеэкране. Существенная черта «большого стиля» — он заявляется в координатах национального центра, столицы: если представления о классике XIX в. так или иначе связаны с Петербургом, то литературные тексты «сталинского времени» и/или о «сталинском времени», которые были экранизированы за последние годы, подчеркнута, акцентированно «московские» (решение Владимира Бортко снять большинство эпизодов «Мастера и Маргариты» в Петербурге вызвало, пожалуй, наибольшее негодование зрителей²⁴).

Все это, разумеется, не означает, что речь идет об абсолютно идентичных — по своим целям, мотивациям и даже способам обращения с литературным текстом — проектах. Дальше я подробнее остановлюсь на нескольких из них. Выясняя, как воплощаются на

²² Напр.: *Боссарт*, 2003.

²³ *Иванова*, 2006.

²⁴ См., например, отзыв журналиста и книжного обозревателя Михаила Визеля: <http://viesel.livejournal.com/294696.html>

телеэкране разные типы читательской общности, разные представления о статусе писателя-классика, я так или иначе постараюсь учитывать три интересующих меня модуса: «литературность», «реальность» и «прошлое».

ЦЕНТР ПАНТЕОНА

Пантеон русской литературы жестко центрирован; телевизионный интерес к классике, столь заметный в последние годы, затронул «солнце русской поэзии», строго говоря, довольно специфическим образом. Экранизаций Пушкина вообще относительно немного; вышедших после распада СССР — две: мелодрама «Барышня-крестьянка» Алексея Сахарова (1995), имевшая скорее фестивальное резонанс, и «Русский бунт» Александра Прошкина по «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». Последний фильм был выпущен к юбилею 1999 г. и презентировался как «высокобюджетная историческая драма», гарантирующая «историческую достоверность» (см. аннотацию к DVD-диску), — историчность в данном случае в самом деле акцентирована в гораздо большей степени, чем литературность. При этом реконструированное прошлое подчеркнуто иллюстративно и даже декоративно: красочные, безупречно отглаженные костюмы, кипенно-белые парики, идеально прибранные интерьеры, чистый снег и яркие языки пламени. Столь же декоративны символы русской государственности, с которыми охотно играет «Русский бунт». Иными словами, создатели фильма предлагают фактурное зрелище, в котором позднебарочная пышность удачно совпадает с юбилейной.

Ритуал юбилея (ср. название известного стихотворения Маяковского о Пушкине) в данном случае играет особую роль. Центральное место в пантеоне, конечно, подразумевает повышенную публичность практик чтения и, соответственно, почитания классика — цикл сверки интерпретационных канонов в значительной степени задается здесь именно общенациональными юбилейными чествованиями. Пушкинские юбилеи последнего десятилетия в полной мере отразили и серьезную трансформацию социальных институтов, и произошедшую (как минимум в политическом смысле) перемену страны. Так, в «пушкинские дни» 1987 и 1989 гг. публично воспроизводятся те высокие, почти сакральные образы поэтического (и даже «больше, чем поэтического») солнца, которые являлись на протяжении финальных советских десятилетий достоянием различных групп, относящих себя к интеллигенции²⁵ (ср.

²⁵ Социологическое обоснование термина см. в: Гудков, Дубин, 1995.

своеобразную реакцию на эту риторику почитания — кинематографическую антиутопию Юрия Мамина «Бакенбарды» (1990), где фигура Пушкина оказывается центральным символом нового тоталитаризма). Отмеченное в 1999-м двухсотлетие со дня рождения поэта отличается не только широтой размаха, но и активным привлечением коммерческих технологий (в целом юбилейная ситуация оценивается в прессе этого времени скорее как сниженная и даже «китчевая»). К юбилейному 2007-му канал «Россия» предлагает своим зрителям полуторачасовой фильм Натальи Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль».

Показу предшествовала информация о другом, более масштабном проекте того же режиссера — о съемках 37-серийного (по числу прожитых Пушкиным лет) байопика. Стержневой сюжет, вокруг которого должна строиться эта телевизионная биография, был представлен как подчеркнуто частный: история любви Пушкина и Марии Волконской, в свое время оставшаяся за кадром «Звезды пленительного счастья», где в роли Волконской снялась Бондарчук. В «Последнюю дуэль» вошли сцены из готовящегося сериала, однако точка сборки принципиально отличалась от обещанной. Этот фильм, заявленный в жанре «политического детектива» и снабженный рекламным слоганом «Пришло время узнать правду», не был воспринят критиками сколько-нибудь серьезно (ср.: «...Некоторые журналисты, приглашенные на пресс-показ, даже кричали “браво”, давясь от смеха»²⁶). Практически во всех отзывах иронично цитировалось восклицание Вяземского (в исполнении Георгия Траугота): «Заговор против Пушкина — это заговор против всей России!», а также признание самого Пушкина (Сергей Безруков): «...Дело в том, что кому-то хочется окончательно поссорить меня с государем <...> Беда в том, что это не просто мои враги, а враги России и государя нашего»; и, наконец, финальное пророчество полковника Галахова (Виктор Сухоруков), расследующего дело о дуэли на Черной речке: «А дальше — истребление лучших российских умов, политическая измена и как результат — иностранная интервенция». «Последняя дуэль», в которой «...самые истинные русские патриоты — из охраны. <...> Сцена допроса звучит почти ностальгией о благородных “царских чекистах”»²⁷, а «Пушкин предстает настоящим славянином <...> с синими очами, почти былинный добрый молодец, только ростом не вышел»²⁸, охотно признается «трогательно-наивным», «простодушным» продолжением юбилейного китча²⁹.

²⁶ Тасбулатова, 2006.

²⁷ Кичин, 2007.

²⁸ Барабаш, 2006.

²⁹ Тасбулатова, 2006.

Между тем фильм Натальи Бондарчук, конечно, транслирует определенные интерпретативные каноны. Начало их формирования можно приблизительно датировать 1970-ми годами, когда возрастает интерес (далеко не только исследовательский) к писательским биографиям, прежде всего — к биографиям классиков и в значительной степени — к биографии Пушкина. Знание о «частной жизни», с ее «подробностями» и «загадками», направляет, дополняет, а нередко, разумеется, и заменяет чтение. Такой интерес к писательским тайнам активно обслуживается научно-популярной литературой особого типа, названной Лотманом «детективным литературоведением»: «Детективная задача имеет одно определенное решение, которое следует угадать. Загадки истории чаще всего однозначно не решаются, подразумевают множественность интерпретаций, неопределенность исходных данных. Поэтому «детективное литературоведение» всегда упрощает задачу. <...> Подлинная проблема подменяется примитивным суррогатом»³⁰. Напряженность детективной интриги придает конспирологическая оптика; к концу 1980-х годов практически все перипетии истории «последней дуэли», воспроизведенные в фильме Натальи Бондарчук, приобретают очертания устойчивого «патриотического» канона: Пушкин-государственник гибнет в результате «международного космополитического заговора»³¹. Интересно, что фильм, собственно говоря, и строится по модели «детективно-литературоведческой» монографии — включая процедуру развенчания ложных гипотез (так, предположение о любовном соперничестве Пушкина и Николая I, рассматривавшееся в пушкинистике, но давно и убедительно опровергнутое³², используется в фильме в качестве сюжетной обманки, приписывается самому поэту, который, впрочем, быстро обнаруживает свою ошибку и с облегчением расстается с ней в доверительном разговоре с царем).

В соответствии с теми же канонами конспирологического взгляда на национальную классику Есенин — прямой преемник Пушкина³³, наследующий главные характеристики верховного божества литературного пантеона: «народный» и «солнечный». В этом смысле не ускользнувшая от язвительного внимания рецензентов актерская востребованность Сергея Безрукова в недавних экранизациях действительно свидетельствует о специфическом, легко опознаваемом зрителями амплуа. Этому амплуа соответствуют не только роли Есенина и Пушкина (причем до участия в проектах

³⁰ Лотман, 2005 [1985]: 377.

³¹ Например: Зуев, 1989.

³² Абрамович, 1984.

³³ См., например: Васильев, 1985.

Наталья Бондарчук актер сыграл еще и заглавную роль в спектакле «Александр Пушкин», поставленном Виталием Безруковым в Московском театре им. Ермоловой), но и роль Иешуа в «Мастере и Маргарите» — ср. образ Пушкина, более чем характерный для юбилейной публицистики конца 1980-х: «...В Святогорском монастыре у заснеженной могилы я испытал странное чувство. Мне было трудно, почти невозможно представить, что здесь лежит Пушкин. <...> Куда естественней было думать, что он — божество, воскресшее после смерти, взятое на небеса. Он растворен в воздухе, которым мы дышим. Он в хлебе, который мы едим, в вине, которое мы пьем»³⁴.

Думается, что за настойчивым конспирологическим интересом к «тайне смерти» почитаемого классика стоит не только ритуал национального жертвоприношения («принял мученическую смерть от чужих», «пострадал за Россию»). Важно, что идея поэтической биографии как «ключа к творчеству» здесь сводится именно к метафорике конца, именно финал жизни приобретает повышенную семантическую нагруженность. Фактически при этом подчеркивается рубеж, отделяющий автора от его произведений, которые уже не могут быть изменены или дописаны, — момент, когда литературные тексты становятся «историей», «общим достоянием», «национальным наследием». Повествование о последней пушкинской дуэли задает здесь образцы, дублирующиеся разнообразными изысканиями причин гибели Лермонтова³⁵, Есенина, Маяковского. Фиксация на романтическом сюжете о преждевременной смерти поэта, регулярное возвращение к нему, его перетолковывание и переписывание, появление новых конспирологических версий в модусе окончательной правды — своеобразный механизм, позволяющий совместить мемориальные образы «литературного памятника» и «вечно живого классика», механизм интерпретационной закрытости, однозначности и вместе с тем «присвоения» канонизированной фигуры. Конспирология смерти — одновременно и лезвие в официальном каноне, и тоска по каноническому.

Итак, «Последняя дуэль», безусловно, имеет дело с устойчивыми моделями суждения о Пушкине, более того, эти модели до такой степени стерты, что опознаются как «китч». Как ни парадоксально, читательский опыт, будучи в случае «главного» классика

³⁴ Кушнер, 1987.

³⁵ Многие рецензенты «Последней дуэли» увидели в качестве ее предшественника «Лермонтова» Николая Бурляева. Биографический фильм о Лермонтове, в создании которого Наталья Бондарчук принимала непосредственное участие, вышел в 1987 г., обвинялся в радикальном национализме и не попал в широкий прокат.

национального пантеона предельно структурированным, в каком-то смысле перестает быть по-настоящему общим — с ним нельзя отождествиться (параллельно усиливается значимость персонального переоткрытия канонизированных текстов, ценность частного читательского опыта, который можно скорее *выразить*, чем с кем бы то ни было *разделить*, — ср. популярность цветаевской формулы «мой Пушкин»). Какие стратегии телевизионного обращения с классикой оказываются востребованными по мере удаления от центра, имеет смысл выяснить дальше — уже непосредственно на материале недавних литературных сериалов.

«ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ КЛАССИК»

«Какое бытует мнение об “Идиоте”? Это толстая и очень скучная книжка. Там деньги жгут и Рогожин убивает Настасью Филипповну. Вот, собственно, и все. Мне было интересно представить себя на месте зрителя и рассказывать ему, что все совершенно не так, не то, что он представлял себе раньше»³⁶, — поясняя задачи своего проекта, Владимир Бортко противопоставляет их коллективным представлениям о классическом тексте, «стереотипам»³⁷, за которыми, конечно, стоит длительная история канонизации.

В этом смысле интересно, с какого именно произведения начинается (в глазах подавляющего большинства критиков³⁸) новейший телевизионный экранизаторский бум. Стоит вспомнить, с одной стороны, неустойчивое место Достоевского в литературном пантеоне советских времен, его присутствие в постоттепельной школьной программе в амплу «противоречивого», «сложного» классика³⁹, с другой — богатую традицию сценических постановок романа «Идиот» и разнообразие его кинематографических версий — от немого фильма Петра Чардынина (1910) до деконструктивистского «Даун-Хауса». При этом референтными предшественниками сериала прежде всего признаются спектакль Георгия Товстоногова в БДТ (1957) и особенно экранизация Ивана Пырьева с Юрием Яковлевым в заглавной роли (1958), знакомая самому широкому кругу зрителей (в 2003 году она была вновь показана на канале «Культура» непосредственно перед премьерой

³⁶ Бортко, 2003б.

³⁷ Там же.

³⁸ Ср., например, название статьи об экранизациях последних лет: Долин, 2007.

³⁹ Ср. конструкцию «несудобного классика», которая анализируется применительно к пантеону гуманитарного знания в: Вахитайн, наст. изд.

нового «Идиота»). Иными словами, каноны восприятия и интерпретации Достоевского оформлялись и переоформлялись на границах официального литературоведения (и, соответственно, оказывались значимыми символами солидарности тех или иных сепаратных групп — будь то образ консервативного националистического мыслителя или образ автора полифонических романов), но в то же время — в центре «общего» зрительского опыта; впрочем, «Мышкин Яковлева» не доезжает до Павловска, а Рогожин в исполнении Леонида Пархоменко не убивает Настасью Филипповну, сыгранную Юлией Борисовой, — Пырьев экранизирует первую часть книги, ту, где «жгут деньги».

Так или иначе Владимир Бортко заявляет о намерении действовать вне любых интерпретационных канонов: «Я обращаюсь непосредственно к автору. <...> Возможно, прочти тот же текст другой человек, он увидел бы в романе что-то другое, даже противоположное. Но мне кажется, наш фильм наиболее соответствует написанному»⁴⁰. Эта декларация, равно как и успех более ранней режиссерской работы Бортко, фильма «Собачье сердце» (1988), позволяет критикам заключить: обе экранизации призваны «очистить тексты Булгакова и Достоевского от наслоений публичности. Вернуть книге ее изначальный смысл»⁴¹.

Итак, что имеет в виду режиссер, говоря о стереотипном восприятии романа Достоевского? Во-первых, Бортко предлагает своим потенциальным зрителям задуматься о покупательной способности брошенных в камин купюр: «По сложившимся стереотипам Достоевский — певец бедных людей, певец петербургских трущоб. А ведь это не так <...>. Это все из жизни богатых и очень богатых людей. Для ориентировки: тогдашний рубль примерно соответствует нынешним десяти долларам». Во-вторых, «в фильме много юмора, как ни странно <...>. И вовсе не потому, что мы хотели посмеяться почтенную публику, — все это заложено в самом романе»⁴². Таким образом, манипуляции с понятием стереотипа позволяют заявить, что «в самом романе» заложены важные черты сериального формата: развлекательность и аура «роскошной жизни» по принципу «богатые тоже плачут». Этот способ презентации телепроекта охотно подхватывается его рецензентами: «...Известная “мыльнооперность” присутствует в структуре романов Достоевского. (Так же как присутствуют в них иные, “низкие” — детективные, буффонадные, мелодраматические — начала)»⁴³. Или в более радикальной

⁴⁰ Бортко, 2003с.

⁴¹ Боссарт, 2003.

⁴² Бортко, 2003б.

⁴³ Волгин, 2003.

формулировке: «Конечно, для сериала этот писатель подходит больше, чем для школьной программы. <...> Как ни странно, русскому зрителю пришлось пройти через экзистенциальный опыт мексиканского сериала, чтобы с омытой страданиями душой прийти к родному Федору Михайловичу. Научиться следить за душевными волнениями, многочисленными предательствами, любовными перверсиями, схождениями с ума, глупыми, с отчаяния или гордости, поступками, появлениями каких-то никому не известных взрослых детей, отцами-подлецами, охочими до молодых красавиц, и прочими вензеями и кренделями метаний человеческих»⁴⁴.

Однако, подчеркивая «завлекательный сюжет»⁴⁵ и мелодраматическую интригу, Бортко в нескольких интервью настаивает на том, что это лишь поверхностный пласт и романа, и телепроекта, — отсылка к «многослойности» литературного текста помогает совместить статус сериала со статусом классики: «Романы Достоевского — слоеный пирожок, и мы пытались показать все слои, рассказать, заставить подумать»⁴⁶; «Пырьев снимал про любовь Настасьи Филипповны. Но роман не только про любовь. Роман про другое»⁴⁷. Что представляют собой глубокие слои, возможно, не уместившиеся в прежние театральные и кинематографические версии «Идиота», режиссер, разумеется, не раскрывает. Пожалуй, единственный намек, который Бортко готов себе в этом отношении позволить, связан с образом заглавного героя: «Он не убогий, он — *идиот*, в переводе с греческого — *человек, живущий своей жизнью*. Он *идиот* в полном соответствии с переводом этого слова, он *иной, другой*. Здесь мы стремились максимально следовать Достоевскому»⁴⁸; «И у Куросавы, и у Пырьева, и в БДТ князь — абстрактное нечто, вокруг чего кипят страсти и развивается действие. Нам хотелось сказать, что книга-то называется “Идиот”, а не “Вокруг идиота”»⁴⁹. Как видим, зрителям последовательно предлагается возвращение к «главному» (к конструкции центрального персонажа), к «нормальному» (протагонист воплощает не отклонение, а норму, пусть и иную) и в конечном счете — к «подлинному», к «изначальным смыслам», включая «подлинный» смысл слова «идиот».

Собственно, стратегия «подлинности» в данном случае и есть основной способ убедить максимально широкую зрительскую аудиторию в том, что все, даже самые глубокие слои романа в те-

⁴⁴ Котик, 2003.

⁴⁵ Бортко, 2003а.

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ Бортко, 2003d.

⁴⁸ Там же.

⁴⁹ Бортко, 2003а.

лепроекте наличествуют. Как сообщают прессе создатели сериала, в нем все «настоящее», включая реквизит: свежие цветы и небутафорские пирожные, более того — детали интерьера и костюма, собранные «по антикварным лавкам и музеям»⁵⁰. Камера фиксирует и акцентирует не только аутентичные купюры («у Пырьева сняли «неправильные деньги», а здесь удалось найти коллекционера, который подарил ксерокопию искомой сторублевки»), но и безусловно «старинные» чайные сервизы, кружева, перчатки и сумочки помпадур. Эти атрибуты «узнаваемого» — знакомого по музейным экспозициям — прошлого поддерживаются особыми принципами показа: ракурсы, мизансцены, схемы постановки света неявно заимствуются у передвижников и художников-бытописателей второй половины XIX в. Герои сериала периодически живописно застывают — в одиночестве либо выразительными группами — на фоне изразцовой печи, у стола, в дверном проеме, в кадр попадают то тусклая свеча, то солнечные блики с характерной игрой теней на светлой стене. Иначе говоря, «классические», музейные (а значит, наделенные семантикой подлинности) образы прошлого разыгрываются живыми актерами и украшаются свежими цветами — такая возведенная в квадрат подлинность, соединение знаков «реального» прошлого и «реального» настоящего, конечно, провоцирует доверие ко всему, что происходит в кадре.

Тот же эффект оживления узнаваемых образов в сериале создают сложные (и, вероятнее всего, непреднамеренные) отсылки к пырьевскому фильму. Из экранизации 1958 г. в сериал попадают не только клетчатый узелок князя или, скажем, длинная лестница в доме Настасьи Филипповны (а вместе с ней и мизансцена появления Льва Николаевича на званом вечере), но также мимика и грим некоторых персонажей. Мышкин Миронова со всей очевидностью не похож на Мышкина Яковлева, однако движение глаз генерала Епанчина (Олег Басилашвили) или заостренные черты Тоцкого (Андрей Смирнов) вполне могут вызвать чувство смутного припоминания. Речь ни в коем случае не идет о дублирующихся типах актерской игры — напротив, действующие лица сериала резко контрастируют с гротескными персонажами «Идиота» Пырьева. Именно этот контраст в сочетании с «узнаваемыми», «откуда-то известными» деталями производит эффект оживших масок — иными словами, приближения к подлинности.

Но главное поле, на котором реализуется стратегия подлинности, — разумеется, сам литературный текст. Как это ни невероятно на первый взгляд, в сериале можно обнаружить почти все сцены романа и практически всех (за исключением разве что капи-

⁵⁰ Молева, 2002; Одоевцева, 2003.

танши Терентьевой) действующих лиц. Средства, которые при этом используются, предельно (даже можно сказать — «вызывающе») рациональны: во-первых, как признается Бортко, «темп речи в фильме сумасшедший. Герои говорят в три раза быстрее, чем это принято в нашем кино»⁵¹; во-вторых, при написании сценария со всей очевидностью задействуются принципы конспекта — сокращение «повторяющегося», «избыточного» и вычленение «главного». «Заслуга Бортко в том, что он все лишнее отсек...»⁵² — восторженно замечает один из рецензентов.

Чтобы понять, как работают избранные техники сжатия семисотстраничного текста и почему они кажутся столь успешными и исчерпывающими, стоит обратить внимание на отзывы об одном из кульминационных эпизодов романа и сериала — об эпизоде приема у Епанчиных. Александр Дугин с удовлетворением находит в сериале «программный» монолог князя Мышкина о католицизме: «Триумфальный показ “Идиота” на канале “Россия” — это точка конца современного русского западничества. <...> Достоевский вкладывает в уста князя Мышкина свою собственную программу. Актер Миронов признался, что не понял смысла монолога. Может, и не понял, но прочитал его хорошо. Мы зато поняли»⁵³. Цитируя этот отзыв, публицист Борис Рогинский решает предположить, что «...Дугин не смотрел фильма. <...> Даже для тех, кто романа не читал, сказано Аглаей в предыдущей сцене совершенно определено: “Разбейте по крайней мере китайскую вазу в гостиной! Она дорого стоит; пожалуйста, разбейте; она дареная, мамаша с ума сойдет и при всех заплачет”. Сцена эта — классический пример саспенса. Герой говорит что-то чрезвычайно для него важное, а мы думаем только о том, как все ближе к роковой вазе, все опаснее он размахивает руками. <...> Про эту китайскую вазу много говорено, я даже доклады слышал на международной конференции. Но значение, первое и самое очевидное, и у Достоевского, и у Бортко, — взять речь князя в кавычки, не преподносить ее как последнюю правду»⁵⁴. Нельзя не заметить, что оба отзыва следуют интерпретационным канонам, хотя в первом случае неотрефлексированно воспроизводятся более массовые представления о наборе «программных», «ключевых» монологов (отсутствие в сериале другого монолога князя, произнесенного в той же гостиной — «Ведь вы вот не оскорбляетесь же тем, что я в глаза говорю вам, что вы смешны...» etc., — конечно, остается слепым пятном), тогда как в

⁵¹ Бортко, 2003d.

⁵² Быков, 2003.

⁵³ Дугин, 2003.

⁵⁴ Рогинский, 2003.

статье Рогинского отсылка к цеховому знанию, к общим местам достоевсковедения совершенно сознательна. Строго говоря, то, что «и у Достоевского, и у Бортко» китайская ваза выполняет одни и те же функции, — далеко не бесспорно: если читатели романа имеют все шансы увлечься монологом о католицизме, и тем более вовсе забыть о предостережении Аглаи, то взгляд телезрителей в самом деле неотрывно прикован к неустойчивой вазе и опасной жестикуляции Евгения Миронова. В сериале история разбитой вазы не столько завершает («закавычивает») пламенную речь князя, сколько полностью ее подменяет. Фактически *расслышать* этот сокращенный и произнесенный в ускоренном темпе монолог можно, лишь зная о его «программе» и самом факте «программности».

Иными словами, от пространных высказываний персонажей «Идиота» в сериале остаются скорее знаки, указывающие на место этих высказываний в структуре читательского опыта; а «для тех, кто романа не читал» — знаки «философствования», «спора», «скандала», с которыми ассоциируется «роман Достоевского» как таковой.

Своеобразной подсказкой, позволяющей зрителям распознавать эти знаки и, едва поспевая за репликами, испытывать адекватные моменту эмоции, становится не только музыкальное сопровождение (по остроумному наблюдению Бориса Рогинского, «будто что-то из Чайковского, а то покажется, что из Малера»⁵⁵), но в первую очередь — выразительные крупные планы, отмеченные многими рецензентами. Действительно, по лицам занятых в сериале актеров нередко удается «считывать» выпавший из сценария текст (разумеется, имея под рукой книгу), диалоги «доигрываются» при помощи мимики и взглядов. Пожалуй, именно взгляд оказывается здесь главным драматургическим ресурсом: следя за тем, как герои сериала реагируют на реплики друг друга, или наблюдая за многозначительными взглядами, которыми обмениваются персонажи, не принимающие активного участия в сцене, собственно, и можно составить представление об интриге действия. Такая вполне телевизионная игра взглядов здесь компенсирует непроясненность высказываний и немотивированность поступков, то есть фактически представляет собой иллюстрацию к теории полифонического романа: заняв зрительское место перед экраном, мы не можем увидеть сериальный «мир» с точки зрения разных действующих лиц, как того требовала бы концепция Бахтина, однако способны зафиксировать само многообразие «точек зрения», напряженность взглядов и их непосредственную связь с процедурой «диалога», общения.

⁵⁵ Рогинский, 2003.

Характерно, что создатели сериала дважды чувствуют себя вправе «вмешаться» в классический текст, не сокращая его, а дополняя. Один из прецедентов — заключительная фраза Елизаветы Прокофьевны «Князь, выздоравливай и возвращайся в Россию» — неоднократно упоминался в рецензиях, как правило, в сопровождении слова «патриотизм». Однако другой остался незамеченным: доктор Шнейдер, не слишком привлекательный персонаж романа, в сериале приобретает добрые глаза и пронзительную реплику, завершающую флэшбэк — воспоминания князя Мышкина о первом пребывании в Швейцарии: «Вам нравится пейзаж? Вам нравится. Но вы пока еще не можете выразить это». По сравнению с нейтральными, хотя и повторяющимися ремарками «от третьего лица», которые сопутствуют соответствующему эпизоду в литературном тексте — «Тогда он еще был совсем как идиот, даже говорить не умел»; «Он, конечно, не мог говорить тогда этими словами и высказать свой вопрос»⁵⁶, — реплика сериального Шнейдера усиливает бахтинскую тему диалога, взаимодействия, открытости чужому взгляду, постоянной зависимости от оценок других, а возможно, и собирает вокруг этой темы телепроект в целом.

Именно вокруг нее выстраивается в сериале образ Мышкина, представляющий для режиссера особый, наибольший интерес (ср.: «...Грубо говоря, ровно об этом — о взаимодействии Мышкина и всех прочих — написан роман Достоевского. Мышкиным пытаются спастись персонажи самые разные <...>, но спасаются лишь на то время, покуда они “в поле” князя <...>. Трагедия князя в том, что он не может быть разом при всех»; «Миронов—Мышкин столь же искренен, сколь пронизателен, а можно сказать, что и пронизаем: истинная болезнь его в том, что он чувствует себя каждым человеком, который оказывается в его орбите, и берет на себя его страдания (быть может, и не желая того)...»⁵⁷). В этом смысле важно, как демонстрируется на экране финальное погружение князя в болезнь: в кадре крупным планом глаза Евгения Миронова, с удивительным мастерством разыгрывающие трагическую развязку — от предельного эмоционального напряжения до пустого взгляда, внезапно переставшего быть пронизаемым.

Итак, телепроект, заявленный как противостояние «стереотипам» и «мифам», конечно, основывается на устойчивых моделях рецепции романа Достоевского. Стратегия «подлинности», «верности тексту» реализуется через воспроизводство узнаваемого. Десятисерийный «Идиот» не разочаровывает тех зрителей, которые ожидают увидеть апологию «загадочной русской души» («Сериал

⁵⁶ Достоевский, 1957: 480—481.

⁵⁷ Немзер, 2003; Рогинский, 2003.

будит давно и, казалось бы, навеки заснувшие чувства (простите за пафос!) национального самосознания и гордости. Оказывается, удивленно говорим мы, у нас великая культура, красивый язык и интересный менталитет»⁵⁸), и в то же время согласуется с каноническими литературоведческими интерпретациями книги.

Громкий успех проекта, открывший формулу классики, которая больше подходит для сериалов, чем для школьной программы, безусловно, способствовал вниманию экранизаторов к автору «Идиота»: в 2007 г. в сетке появилось восьмисерийное «Преступление и наказание», снятое Дмитрием Светозаровым, в ближайшее время ожидаются двенадцатисерийные «Братья Карамазовы». Режиссер последних, Юрий Мороз, отстаивает значимость собственной работы следующим образом: «Если кто-то начинает ко мне предъявлять какие-то претензии по “Братьям Карамазовым”, я отвечаю двумя контрольными вопросами: кто такой Смердяков и почему он повесился? <...> До сих пор на оба вопроса смог ответить только <...> Чхартишвили»⁵⁹. Риторика «возвращения к тексту» здесь доведена до предельного, грубого буквализма — создатели сериала оказываются хранителями тайного знания, а читательский опыт сводится к умению пересказать сюжет: «Трактовки, полутона, нюансы... телевизор их не предполагает. Я не могу делать высоколобое кино, но и книга таковой не является»⁶⁰.

«КУЛЬТОВЫЙ КЛАССИК»

Второй телепроект Владимира Бортко — сериал «Мастер и Маргарита», транслировавшийся на канале «Россия» в 2006 г., — тоже имел рекордные рейтинги, но получил крайне разноречивые отклики в прессе. Негативные отзывы (а их было достаточно) большей частью указывали на неудачный кастинг (перечень неподходящих актеров варьируется) и слишком скромные бюджетные затраты. Таким образом, экранизация последнего булгаковского романа признается провальной постольку, поскольку «не дотягивает» до предполагаемой нормы; претензии к ней высказываются с позиции зрителя, знающего (или по меньшей мере догадывающегося), как следовало бы снимать фильм по этому произведению. Здесь важно само появление подобной позиции, еще недавно проблематичной: она, безусловно, несовместима с известными мифа-

⁵⁸ Альяченко, 2003.

⁵⁹ Мороз, 2007. Режиссер, по всей видимости, имеет в виду главу «Сомнения Достоевского. Необходимое объяснение» в кн.: Чхартишвили, 1999.

⁶⁰ Мороз, 2007.

ми о романе, который всячески сопротивляется сценическим или кинематографическим манипуляциям, с мифами о тексте, который принципиально невозможно «воплотить» и «показать».

Такой миф был неотъемлемой частью «культа» — или, иными словами, коллективных практик восприятия — «Мастера и Маргариты». Значимо, что эти практики начали складываться лишь спустя несколько десятилетий после того, как в текст была внесена последняя авторская правка. Но разрыв между 1928—1940 гг., когда писался роман, и 1966—1967 гг., когда он был с сокращениями напечатан в журнале «Москва» (и, разумеется, более поздними годами дефицитных изданий и самиздатовских копий), усугублялся разрывом между областью «повседневного», «обычного» чтения и практиками «профессиональной», «экспертной» интерпретации. Коль скоро роман оставался полузапретным, его «культ», формируясь на пересечении множества сообществ — воображаемых и конкретных, размытых и четко очерченных, возникающих в процессе сверки впечатлений, обмена цитатами, уточнения трактовок, — фактически существовал вне каких-либо нормативных институтов, даже столь гибких, как институт критики. Одно из последствий такого режима восприятия текста — сверхценность персонального читательского опыта, приватизация и одновременно универсализация промелькнувших при чтении образов, закрепление за ними характеристик невыразимости. Именно поэтому, скажем, многочисленные и разнообразные театральные постановки в данном случае особенно часто признаются неудачными (или, как это произошло со знаменитым спектаклем театра на Таганке, становятся «символом культа», его знаком, предельно дистанцированным от читательских впечатлений, от непосредственной процедуры чтения): слишком очевидны дополнительные операции, которые потребовалось произвести с «непосредственным» читательским опытом, — а значит, слишком заметной, почти утрированной представляется стратегия «уникальной трактовки».

Параллельно «Мастер и Маргарита» наделяется статусом классики, «реабилитированной» в годы перестройки и позднее включенной в школьную программу. Владимир Бортко легко соединяет в своем проекте оба режима восприятия булгаковского романа, преимущественно работая все-таки с «культовостью».

Этот проект, начатый в 2001 г. и законченный лишь в 2005-м, изначально отмечен печатью авторитета и знаком качества — коль скоро предложен успешным экранизатором Булгакова, во-первых, и создателем нашумевшего «классического» телесериала, во-вторых. Однако главное тут — репутация добросовестного режиссера, который дословно снимает то, что читает. Бортко усиливает ее, объявляя журналистам, что не имеет никакой «концепции» ново-

го проекта, кроме полного отсутствия концепций⁶¹. Понятно, что это заявка на роль идеального, обобщенного читателя, чей универсальный опыт, воплощенный на экране, будет узан и признан, а значит, позволит соединить наконец образ полуподпольного «культурного романа» с образом «национального достояния», то есть окажется каноническим. Характерно, что, охотно включаясь в обозначенную Владимиром Бортко ситуацию сверки текста и фильма, критики (как, впрочем, и участники многочисленных дискуссий в интернет-блогах) подразумевают под «верностью тексту» именно правильный подбор актеров. Иначе говоря, главное, что должен предложить (и предлагает) этот сериал, — ожившие иллюстрации, портреты запомнившихся персонажей.

Сложно не заметить, что, продолжая отдавать очевидный приоритет «штучной» прорисовке роли, Бортко опирается на когорту актеров, чей пик популярности приходится на 1970-е — начало 1980-х — годы полуподпольного чтения романа Булгакова. Именно эта когорта (Кирилл Лавров, Олег Басилашвили, Валентин Гафт, Александр Филиппенко, Валерий Золотухин, Роман Карцев, Александр Абдулов, Александр Панкратов-Черный) в сериале задает образцы актерской игры, а среди звезд 1990—2000-х отображены те, кто способен подобным образцам следовать (Сергей Безруков, Дмитрий Нагиев, Владислав Галкин). Такой актерский состав, безусловно, усиливает вероятность «узнавания» интонаций, звучащих с экрана, их соответствия интонациям, которые считывались в свое время адептами культа, — речь, конечно, не столько о буквальных совпадениях, сколько о создании общего ощущения «подлинности», «правдоподобия».

Модус правдоподобия вообще чрезвычайно важен в этом сериале и контрастирует с не менее важным модусом условности; контраст создается при помощи довольно нехитрых средств. Документальная хроника (едва ли не самый стереотипный знак «реального» в кино) соседствует со всевозможными маркерами иллюзорного, фиктивного, бутафорского: бал Сатаны свершается в почти театральных декорациях, шабаш ведьм, как заметила Мариэтта Чудакова, похож на «синхронное плавание»⁶², московская панорама с крыши дома Пашкова — на открытку времен сталинского «большого стиля», полет на метле или костюм, в котором Ваню Мирошня играет кота Бегемота, вызывают ассоциации исключительно с детским фильмом-сказкой. На создание контраста работают и излюбленные Владимиром Бортко манипуляции со светом и с цветом. Цветовое решение кадра колеблется от черно-белой (псевдо-

⁶¹ Корнеев, 2005.

⁶² Чудакова, 2005.

документальной, «реалистичной») гаммы до болезненно-ярких или неестественно-контрастных тонов. Кадры переполнены либо радостно-обыденным солнечным светом (мягкие блики подсвечивают фактуру повседневности, ослепительные лучи вспыхивают вместе со счастьем и страстью), либо мистическим лунным. Ясно, к какому представлению о булгаковском романе отсылают все эти способы съемки: «мистический реализм» часто признавался почти неразрешимым парадоксом, оксюмороном для экранизаторов «Мастера и Маргариты», препятствием, в принципе не позволяющим «показать» этот роман⁶³. Можно предположить, что Бортко реагирует на это представление почти буквально: пытается разрешить парадокс, специально выделив, обозначив не только полюс «мистического», «фантастического», но и полюс «реального», «повседневного».

Таким образом, «отсутствие концепции» съемки в данном случае, конечно же, означает следование — почти буквальное — общим местам. Поручив роли Иуды и барона Майгеля одному актеру (Дмитрий Нагиев), доверив Сергею Безрукову, сыгравшему Иешуа, озвучить еще и Мастера, а Олегу Басилашвили, сыгравшему Воланда, — еще и Афрания, Владимир Бортко действительно не предлагает никаких «трактовок», он апеллирует к зрительскому чувству узнавания. Причем эта апелляция вовсе не рассчитана на читателей, помнящих Булгакова наизусть, — напротив, она предполагает смутные, размытые (и даже не обязательно читательские) представления о тексте (так эффектная заставка к телепроекту не позволяет увидеть, кто именно разбивает кувшин с кроваво-алым вином, — Понтий Пилат, как в романе, или его слуга, как в сериале, — в данном случае это не имеет значения). В соответствии с той же размытостью, несфокусированностью взгляда основное действие из 1929 г. (как у Булгакова) переносится в обобщенные 1930-е — то ли в самое их начало (судя по хронике партийных чисток), то ли в самый конец, судя по появлению в кадре персонажа, отчетливо напоминающего Берию (Валентин Гафт). Такой акцентированный, утрированный «сталинский тоталитаризм», не слишком противореча самым расплывчатым воспоминаниям о «Мастере и Маргарите», делает образ романа более однозначным, более комфортным и прозрачным для зрителей, наконец, более «благонадежным» (шаткая тема отношения Булгакова к Сталину снимается, отходит на второй план), то есть вполне соответствующим статусу школьной классики.

Но было бы неверно заключить, что проект Владимира Бортко «прост». Он сложен, как любая работа с механизмами коллек-

⁶³ Ср., например, название заметки: «Этот роман нельзя экранизировать» (Виноградов, 2005).

тивного опыта. Сама идея, что коллективному и в то же время приватному культу булгаковского романа должны соответствовать дробность коротких серий, неторопливое разворачивание интриги, домашняя ситуация просмотра и столь же «домашнее» обсуждение актерской игры, — далеко не очевидна, однако именно она позволяет сделать «невыразимое» выразимым, то есть разрушить представления о романе, который сопротивляется экранизации.

Будучи воплощенной, модель рецепции «Мастера и Маргариты» тут же и разрушается, стирается — или, точнее, сериал фиксирует ее исчезновение. Интересно, что из фильма практически исключены любые обертоны комического (от иронии до гэга), играющие столь значимую роль в романе. С одной стороны, Бортко, безусловно, нарушает ожидания тех зрителей, которые читали текст: знакомые мизансцены почему-то «не смешны», а шутейные выверты — заученные наизусть, использовавшиеся в ритуалах обмена цитатами и, собственно, являвшиеся символами читательской общности, — пропущены. С другой стороны, повторяемость, воспроизводимость лишь до какого-то момента усиливает комический эффект, а затем его притупляет. Проект Владимира Бортко в определенном смысле размещается за гранью «культа», и «серьезность», «буквальность» этого фильма — один из сигналов, сообщающих, что дальнейшее воспроизведение ритуальных практик невозможно⁶⁴.

Отсутствие социальных механизмов, некогда поддерживавших этот культ, исчезновение тех принципов разграничения «своих» и «чужих», тех типов общности, на которые он опирался (в первую очередь, конечно, тех, что выстраивались вокруг понятия «интеллигенция»), заметно проявляется в том, как пишутся рецензии и статьи о сериале. Нередко их авторы, вскользь оценив достоинства и недостатки телепроекта, переходят к главному — к роману Булгакова, который оказывается этически двусмысленным⁶⁵ или «пошловатым», «неумным», «для подростков» etc.⁶⁶ Такое желание «перечесать роман свежими глазами», артикулировать то, что раньше не замечалось, или то, о чем прежде умалчивалось, гораздо больше сообщает о прошлых и исчезающих практиках прочтения и

⁶⁴ Ср. аналогичное вытеснение комического в сериале Ульяны Шилкиной «Золотой теленок». Любопытно, что фильм Василия Пичула его немногочисленные зрители тоже признавали «несмешным», — Зара Абдуллаева объясняет это режиссерским поиском новых комических регистров, не соответствующих «рефлексам советской смеховой культуры»: Абдуллаева, 2004 [1993].

В сильном огрублении — если кино 1990-х экспериментирует с изношенными механизмами восприятия «культового» литературного текста и активно ищет другие ходы, то сериал 2000-х скорее стирает, нивелирует эти механизмы.

⁶⁵ Радзиховский, 2005; Быков, 2005.

⁶⁶ О меняющемся статусе романа: Алексеев, 2005.

восприятия «Мастера и Маргариты», чем о самом романе. Реплики этого типа — своеобразная история читательского вкуса, скрытый взгляд на «нас прежних» и, разумеется, индикатор перемен.

«Книга воспринималась как откровение, где в зашифрованном виде содержатся все ответы на роковые вопросы русской интеллигенции», — сообщает рекламный ролик к телепроекту Бортко. Однако сейчас такой универсальный энциклопедизм будет вызывать отторжение и ассоциироваться скорее с коммерческой литературой, с популярными эпигонами латиноамериканского «мистического реализма» — прежде всего с самым популярным из них Пауло Коэльо⁶⁷. Универсальному, «вневременному» статусу булгаковского текста иногда противопоставляются аналогии «с сегодняшним днем». «Сегодня “Мастер” особенно актуален — на дворе хоть и не 1938 год, но типологические сходства налицо»⁶⁸, — замечает Дмитрий Быков, имея в виду роман, но 1938-й год «вычитывая» из фильма. В этом случае сериал не только делает явным некогда почти тайный, полуподпольный культ, не только обнажает его неуместность, несоответствие «сегодняшнему дню», но и создает иллюзию, что разрыв, отделяющий нас от булгаковского романа, наконец-то преодолен.

«ЖИВОЙ КЛАССИК»

Если сериалы «Идиот» и особенно «Мастер и Маргарита» преподносятся как «проекты Владимира Бортко», то авторство экранизации «В круге первом», при общепризнанном авторитете ее режиссера, Глеба Панфилова, акцентируется не столь явно.

Наиболее известные экранизации, снятые Панфиловым, — «Васса» (1982) и «Мать» (1989) — мотивировались намерением предъявить «своего Горького», «непрочитанного», не соответствующего официальным канонам⁶⁹. Телепроект, демонстрировавшийся в 2006 г. на канале «Россия», на первый взгляд прямо противоположен этой стратегии — он ориентирован не столько на образ «своего Солженицына», сколько на образ «живого классика»*. Подчеркивается предельная осторожность в обращении с текстом, вплоть до реконструкции интерьера шарашки, в которой отбывал заключение Солженицын (характерное совмещение фикциональ-

⁶⁷ См. напр., реплику литературного критика Константина Мильчина: <http://www.livejournal.com/users/milkost/25935.html>.

⁶⁸ Быков, 2005.

⁶⁹ Об этом, напр.: Грачева, 2004 [1990].

* Статья была написана до смерти Александра Солженицына в 2008 г. — Прим. ред..

ного модуса с фактуальным, акцентирующее автобиографичность солженицынских романов). Финальные титры настойчиво сообщают, что произведения Нержина (прямое отождествление героя и автора) сегодня проходят в школе. Наконец, слоган «Солженицын написал сценарий» на рекламных щитах и закадровый голос, принадлежащий самому писателю, не оставляют сомнений в том, что о «присвоении» Солженицына не может быть речи — перед нами Солженицын «как он есть». Однако именно такой тип восприятия литературного произведения — иллюзия «проникновения в авторский замысел», считывания текста «как он есть» — может стоять и за стратегией «верности тексту», и за стратегией его «присвоения», при условии, что в обоих случаях текст наделяется высоким статусом. Образ «подлинного Солженицына» предполагает позицию, не столь уж радикально отличную от той, что стоит за образом «непрочитанного» (а значит, тоже «подлинного») Горького.

В масштабах, которые задаются конструкциями «классики» или «телевизионного сериала», роман «В круге первом» тоже можно считать «непрочитанным». Он не включен в школьную программу (в школе проходят «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор»). Круг его читателей существенно уже, чем круг читателей «Мастера и Маргариты». Более того, даже в этой достаточно узкой аудитории первая версия книги (1955—1958), на которую опирается экранизация, известна заметно меньше, чем вторая (1964), распространявшаяся в самиздатовских копиях.

В такой ситуации участие Солженицына в телепроекте — его сценарий, его голос за кадром, его лицо на рекламных щитах — не только легитимирует происходящее на экране, но и, как кажется, снимает вопрос о соответствии книги и фильма. Создается своеобразный режим «верности тексту» вне самого ритуала сверки: процедура сверки фактически объявляется излишней. Тем интереснее все же произвести эту процедуру (с позиций теории кино совершенно бессмысленную) и выяснить, как именно работает декларируемый режим «верности тексту», как производятся, маркируются или маскируются неизбежные отступления от него. Хотя анализ таких отступлений имеет отношение преимущественно к сценарной стадии работы над фильмом, речь пойдет о сериале в целом, реализованном как коллективный проект и показанном на канале с одной из самых широких зон покрытия.

В отзывах на экранизацию уже отмечался ее отчетливый «мелодраматизм», который, конечно, распознается как видовая черта телесериала⁷⁰. Действительно, истории любви, разлуки с семьей, лишений, которые претерпевают жены заключенных, здесь под-

⁷⁰ Чуприна, 2006; Клейн, 2006.

черкнуто «психологичны»; выразительная актерская игра оттеняется соответствующим звуковым сопровождением: в сценах с участием женщин, как правило, включено радио, звучит непременно музыка, чаще «классика», точно следующая за мимикой актеров и переживаниями героев.

Эта «психологическая» линия заметна постольку, поскольку все прочие кажутся схематичными. Создатели сериала стараются «показать» семисотстраничный текст Солженицына, почти с точностью воспроизводя основную сюжетную канву, — для этого потребовалось отсечь практически все ретроспективные отступления от нее, то есть ужать эпический роман судеб и биографий до романа идей. Подобная техника сжатия, редукции представляется весьма последовательной и, кажется, была применена к романной структуре в целом. Сложно устроенная, многоуровневая и многоярусная топика романа сжимается до двух основных точек, расположенных на одной плоскости: яркая, изобильная сталинская Москва и вынесенная за ее пределы аскетичная «шарашка» (другие задействованные в фильме локусы — деревянный дом в Твери и особенно сибирский лесоповал — призрчны и лишь ненадолго всплывают в воображении героев). В подчеркнутом уплощении пространства, как и в упрощении замысловатой системы двойников⁷¹, выражается определенный подход к тексту, во многом аналогичный структуралистскому и потому легко описывающийся в структуралистских терминах, — в его основе как раз и оказывается представление о возможности «перевода», «перекодировки», конвертации одной «системы» в другую.

Такое представление может проявляться в попытках если не показать, то хотя бы «обозначить» пространные куски текста, не вписавшиеся в сценарий: так, Сталин в исполнении Игоря Квашина, листая собственную биографию, «обозначает», «иллюстрирует» многостраничный и плотно насыщенный смыслами романский эпизод. Тонкость грани между «переводом» и «иллюстрацией» («прочсть» эту иллюстрацию фактически смогут только те, кто читал солженицынский роман) весьма показательна. Точно так же в фильме лишь обозначаются, лишь называются ключевые для Солженицына темы — скажем, вряд ли удастся расслышать беглое и невнятное упоминание о картине «Замок святого Грааля», если не знать, что в книге этот образ играет весьма существенную роль.

Однако более значимо другое. В вытянутой по горизонтали топографии сериала шарашка перестает восприниматься как ненадежное место, откуда легко соскользнуть в другие, более страшные «круги» — в лагерь. Эти круги обозначаются, называются, упоми-

⁷¹ О фигурах двойничества в романе и фильме: Немзер, 2006.

наются, но почти так же вскользь, как изображенный зека Кандрашовым «Замок».

Вместе с символами иерархически организованного, многоступенчатого пространства исчезает и чрезвычайно важная в романе, семантически нагруженная метафорика непроницаемых границ. Если в книге Сталин заперт в параноидальном мире, «за непробиваемыми стеклами», откуда «не было видно ни страны, ни Земли, ни Вселенной»⁷², то в сериале он не только не забывает осведомиться у министра госбезопасности Абакумова о секретной телефонии, над которой работают арестанты шарашки, но и оказывается в курсе основной интриги солженицынского романа и панфиловского сериала — узнает о тайном звонке дипломата Володина в американское посольство. Если в сериале министр госбезопасности Абакумов, едва заслышав, что заключенным не хватает по ночам кипятка, от своего имени отправляет в шарашку титан, то в книге фарсовая сцена просьбы о кипятке имеет столь же фарсовое продолжение — административный приказ ужесточает ситуацию, и кипяток оказывается недоступен сразу после ужина. В романе реплика «Пишите!», которую остающийся в шарашке Потапов обращает к уходящему на этап Нержину, сопровождается ремаркой: «И оба засмеялись... Между островами ГУЛАГа переписки не было»⁷³; в сериале эта реплика произносится абсолютно серьезно и, конечно, остается без пояснений. И примирение коммуниста Рубина с антикоммунистом Сологдиным, не состоявшееся в книге, но осуществившееся на экране, и Москва 2000-х, промелькнувшая в качестве галлюцинации в одной из серий, — вписываются в общую тенденцию устранения разрывов и преодоления границ.

Значения «границ» и «разорванных связей» для Солженицына во многом способ говорить о работающих и одновременно буксующих механизмах тоталитарной власти; метафора «закрытого общества» здесь указывает не только на «внешнюю» границу, но и на множество «внутренних»; «закрытое общество», которое моделируется в романе, — это и общество предельно атомизированное, перемолотое тоталитарной машиной до мельчайших частиц. Именно в этом контексте воспринимаются и секретная телефония (вообще отрасль связи, на которой специализируется шарашка), и прерванный, но записанный на пленку звонок в посольство, и слова Иннокентия Володина (в фильме, что неудивительно, воспроизведенные): «Тут заборы предрассудков. Тут даже — колючая проволока с пулеметами. Тут ни телом, ни сердцем почти нельзя прорваться. И выходит, что никакого человечества — нет. А толь-

⁷² Солженицын. 1990: 152.

⁷³ Указ. соч.: 711.

ко отечества, отечества, и разные у всех...»⁷⁴ В этом смысле особую роль в романе играют персонажи, способные пересекать границы, и прежде всего дворник Спиридон, чьи попытки сберечь собственную семью в среде, не предназначенной для семейных связей, складываются в историю «непрестанных переходов от одной борющейся стороны к другой»⁷⁵. Именно эта история (в фильм, что неудивительно, не вошедшая) мотивирует появление «критерия», «мерки, с которой мы должны понимать жизнь»: «Волкодав прав, а людоед — нет»⁷⁶. Как ни парадоксально, оценочность, утрированная резкость, отчетливость выбора делает роман Солженицына многозначным — сюжет выстраивается не через нейтральное сопоставление противоположных полюсов, равных перед оком «объективного», «всеведущего», дистанцированного автора, а через драматичное проявление новых и новых границ, различимых только с позиции «включенного» взгляда.

В сериале основные акценты, разумеется, сохранены, но существенно смягчены, заретушированы, а в некоторых случаях почти стерты. Эти операции компенсируются знаками авторского присутствия (голос за кадром) или символами авторитета («школьная классика»). Иными словами, все то, что в книге являлось ресурсом неоднозначности (авторская «включенность» в повествование, балансирование на грани автобиографичности, etc.), в фильме переносится в модус прямой трансляции норм. О том, как работает этот модус, позволяют судить публичные высказывания о сериале — они преимущественно сводятся к двум основным темам: совершил ли предательство Володин и не показали ли зрителям «другого Солженицына», полностью поменяв знаки, заставив воспринимать звонок Володина как предательство. Таким образом, сверка текста и фильма, конечно, все-таки производится, но в особом режиме: эта сверка предполагает ценность однозначных трактовок, причем интерпретационные механизмы буксуют вокруг одной, самой отчетливой из проведенных в романе границ — государственной. Апелляция к литературному тексту здесь начинает восприниматься как обращение к авторитетному свидетельству о прошлом, к некоему «уроку истории», который не должен быть искажен и в то же время неизбежно оказывается искажен.

Именно прошлое в данном случае становится основным ресурсом узнавания, приобщения к коллективному читательскому опыту. В качестве такого непроблематичного, знакомого всем потенциальным зрителям, общедоступного ресурса создатели сериала и

⁷⁴ Указ. соч.: 310.

⁷⁵ Указ. соч.: 499.

⁷⁶ Указ. соч.: 500—501.

используют изобильный московский «большой стиль». Сцена праздничного застолья — одна из самых заметных, визуально продуманных в фильме — со всей очевидностью имитирует «Книгу о вкусной и здоровой пище», почти обязательную в каждом советском доме, обеспечивавшую связь поколений и передававшуюся по наследству. Этот образ прошлого не только «ностальгический» — он, что немаловажно для сериала, «формульный». Собственно, подобные типы узнавания и эстетизации прошлого существуют исключительно в связке, образуя замкнутую, самовоспроизводящуюся модель: узнается то, что было эстетизировано, эстетизируется то, что узнается.

«Стертость», «нейтральность» проекта Глеба Панфилова нельзя назвать следствием недостаточно добросовестного «перевода» (создание сжатой копии литературного текста, его телевизионного аналога — задача, разумеется, заведомо невыполнимая) или итогом идеологической смены знаков, превращения резко антисталинского романа в фильм, пропагандирующий тоталитарные ценности. Напротив, перед зрителями оказывается результат специфической сериальной стратегии «верности тексту» — или, точнее, стратегии, которая декларируется через риторику «верности». Дело исключительно в том, что семантика «разрывов» и «непроницаемых границ» плохо соотносится с этой стратегией — с ожиданиями, которые должен воплотить литературный телесериал как таковой.

* * *

Экранизаторский бум последних лет в некотором отношении действительно повторяет публикаторский бум конца 1980-х: «культурные» и/или «канонизированные» литературные тексты, являвшиеся символами тех или иных групп, не просто становятся достоянием более широкой аудитории (в случае телевидения — массовой), но фактически побуждают переопределять границы и основания общности. Более того, недавние литературные телепроекты, как кажется на первый взгляд, воспроизводят смыслы, в значительной степени структурировавшие чтение времен «перестройки». Внимание привлекают почти те же авторы, которые в конце 1980-х оказывались в эпицентре публичных дискуссий, — от «возвращенных», «реабилитированных» литераторов до «противоречивого» Достоевского и юбилейного Пушкина. Такие дискуссии, полемик, обсуждения выстраивались в режиме «заполнения белых пятен», однако при этом сами десятилетия полуподпольных, институционально не оформленных, но, безусловно, коллективных читательских практик оказывались «слепыми пятнами»: хронологические провалы, отделявшие литературные тексты от их реабилити-

литации, если обозначались, то как напрасно потерянное время безнадежной борьбы и вынужденного умалчивания. В этом ракурсе «возвращенная литература» воспринималась как «новая», «современная», «актуальная».

Недавние телесериалы в значительной мере отсылают к позднесоветским «слепым десятилетиям» до публикаторского бума — к тем стереотипам чтения, рецепции, интерпретации, которые в полной мере так и не были до сих пор публично проявлены. Если в конце 1980-х «заполнение белых пятен» предпринималось в масштабах «большой истории» (под «белыми пятнами» подразумевались прежде всего известные персоналии, политические решения, миллионные жертвы), то в середине 2000-х тот же режим «заполнения белых пятен» переносится в область истории «частной», «приватной», «домашней». С этих позиций символы литературности, которые высвечивает сериал, будут подразумевать классический статус, консервативные ценности и — собственно «историю», авторитетное свидетельство о прошлом. В каком-то смысле сериал одинаковым образом работает с произведениями, которые были допущены в литературный пантеон советского времени, и с текстами, «возвращенными» и канонизированными уже после распада советских институтов. Возможность такого сближения связана с двойственным восприятием классического в позднесоветские годы: классика признавалась выражением государственной идеологии и одновременно одной из лазеек, позволявшей противопоставить официальной политической общности символы более узких и более частных групп, — иными словами, приобретала характеристики «культового», а в крайних случаях и почти протестного чтения.

Итак, символы весьма разных сообществ, разные режиссерские школы, разные способы обращения с литературным текстом могут в конечном счете конвертироваться в одну — сериальную — стратегию. Демонстрируя, транслируя коллективный читательский опыт, сериал адресуется в значительной степени тем, кто об этом опыте только слышал, но готов пережить иллюзию приобщения. Если в конце 1980-х годов читательский опыт регулировался регистрами «открытия новой информации» и «разоблачения старых мифов», то недавние телесериалы ориентированы на «узнавание», «преодоление разрывов», «нормализацию». В стабилизации представлений о прошлом в общем нет ничего неожиданного или отталкивающего. Однако в более или менее связных версиях прошлого намечается очередной разрыв: фактически в них нет места 1990-м, десятилетию *после* «публикаторского бума» (десятилетию, которое в последние годы все чаще назначается «временем национального позора», подлежащим забвению и вытеснению). Обрати-

мый механизм «заполнения белых пятен»/«разрывов в ткани истории» продолжает работать — и представляется, что мы здесь имеем дело не с неким «естественным циклом», а с серьезным сбоем в структурах воспроизводства знания («памяти») о прошлом.

Литература

Абдуллаева З. Премьера фильма Василия Пичула «Мечты идиота» [06.06.1993. Хроника: Отечественное кино] // Новейшая история отечественного кино. 1986—2000: В 7 т. Ч. 2: Кино и контекст. Т. 6: 1992—1996. СПб.: Сеанс, 2004. С. 264.

Абрамович С. Л. Пушкин в 1836 году (Предыстория последней дуэли.) Л.: Наука, 1984.

Алексеев Н. Новогодняя ночь, конкретная яма и МаМ // *Русский журнал*. 2005. 31 декабря; http://www.russ.ru/layout/set/print/lyudi/novogodnyaya_noch_konkretnaya_yama_i_m_m

Альченко Е. Как один «идиот» победил целую бригаду // *Трибуна-РТ*. 2003. № 88. 23 мая.

Аронсон О. В. Экранизация: перевод и опыт // *Синий диван*. 2003. № 3. С. 128—142.

Барабаш Е. Пупсик Всея Руси // *Независимая газета*. 2006. 4 декабря.

Бортко В. «Идиот» состоялся. Следующий — «Сталин» [Беседа с Ю. Кантор] // *Известия*. 2003а. 9 июня.

Бортко В. «Слава Богу, сам идиотом не стал» [Беседа с Г. Белостоцким] // *Культура*. 2003б. № 17—18. 8—14 мая.

Бортко В. Искусство принадлежать народу [Беседа с Ю. Чуприниной] // *Итоги*. 2003с. № 30.

Бортко В. Князь Мышкин не был идиотом [Беседа с З. Лобановой] // *Комсомольская правда*. 2003д. 27 мая.

Боссарт А. В сухом остатке — Достоевский // *Новая газета*. 2003. № 33. 12 мая.

Булгаков М. А. Мастер и Маргарита: Роман. // Булгаков М. А. Избранное. М.: Худож. лит., 1983.

Быков Д. Машков и Миронов сыграли как по нотам... // *Огонек*. 2003. № 20.

Быков Д. Эх, люди, люди! Сильно же вас испортил квартирный вопрос // *Вечерняя Москва*. 2005. 22 декабря.

Васильев В. Поэтическое сердце России. К 90-летию со дня рождения Сергея Есенина // *Наш современник*. 1985. № 10. С. 175—192.

Виноградов И. Этот роман нельзя экранизировать // *Российская газета*. 2005. 27 декабря.

Волгин И. Остановите Парфена // *Литературная газета*. 2003. № 23—24. 11—17 июня.

Грачева Е. Глеб Панфилов как автор фильма «Мать» получает приз «за вклад в киноискусство» на МКФ в Канне [21.05.1990. Хроника: Отече-

ственное кино // Новейшая история отечественного кино. 1986—2000: В 7 т. Ч. 2: Кино и контекст. Т. 5: 1989—1991. СПб.: Сеанс, 2004. С. 382.

Гудков Л. Д., Дубин Б. В. Интеллигенция: Заметки о литературно-политических иллюзиях. М.: Эпицентр; Харьков: Фолио, 1995.

Долин А. Наследники «Идиота» // *Московские новости*. 2007. 16 марта.

Достоевский Ф. М. Идиот // Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 10 т. М.: ГИХЛ, 1957. Т. 6.

Дубин Б. В. Классик — звезда — модное имя — культовая фигура: О стратегиях легитимации культурного авторитета // *Синий диван*. 2006. № 8. С. 100—110.

Дугин А. «Идиот» — это вам не Саня Белый // *Комсомольская правда*. 2003. 6 июня.

Зуев Н. Кто виновен в гибели поэта? // *Наш современник*. 1989. № 6. С. 138—139.

Иванова Н. Сморкающийся день, или Литературу на мыло: Об эстетической реабилитации прошлого // *Полит.ру*. 2006. 6 февраля; <http://www.polit.ru/culture/2006/02/06/ivanova.html>

Каспэ И. М. Рукописи хранятся вечно: телесериалы и литература // *Новое литературное обозрение*. 2006. № 78. С. 278—294.

Кичин В. На столбе корона: Фильм о том, как вороги изничтожают русских гениев // *Российская газета*. 2007. 15 декабря.

Клейн Л. «Покаяние»-2: РТР показало первую серию фильма Глеба Панфилова «В круге первом» // *Полит.ру*. 2006. 30 января; <http://www.polit.ru/culture/2006/01/30/vkruge.html>.

Корнеев Р. Мастер и Маргарита ушли, а осадок остался // *КиноКадр*. 2005. 30 декабря; <http://www.kinokadr.ru/articles/2005/12/30/master.shtml>

Котик В. Идиот в вашем доме // *Газета.ру*. 2003. 10 мая. <http://www.gazeta.ru/2003/05/13/idiotjvvasem.shtml>.

Красовский А. Не стучите лысиной по паркету // *Газета.ру*. 2006. 6 февраля; http://gazeta.ru/2006/02/06/oa_187493.shtml

Кушнер А. «Иные, лучшие мне дороги права...»: Заметки // *Новый мир*. 1987. № 1. С. 225—235.

Левченко Я. Записки мертвого ревизора: Об экранизации «Мертвых душ» // *Критическая масса*. 2005. № 3/4. С. 104—109.

Лотман Ю. М. О дуэли Пушкина без «тайн» и «загадок»: Исследование, а не расследование [1985] // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки 1960—1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб.: Искусство, 2005. С. 375—388.

Молева А. Достоевский без накипи. «Идиот» // *ТВ-Парк*. 2002. 8 июля.

Мороз Ю. [Интервью для рубрики «Досье МН»] // *Московские новости*. 2007. 16 марта.

Немзер А. С. В круге Солженицына // *Время новостей*. 2006. 13 февраля.

Немзер А. С. Мышкины и другие. // *Время новостей*. 2003. 2 июня.

Немзер А. С. Торжество Читателей // *Время новостей*. 2004. 2 марта.

Одоевцева С. РТР: Идиотство в Питере // *Московский комсомолец*. 2003. 6 июня.

Прошкин А. «...С текстом романа мы обошлись варварски» [Беседа с Л. Клейном] // *Полит.ру*. 2006. 10 мая. <http://www.polit.ru/culture/2006/05/10/jivago.html>

Радзиховский Л. Булгаков: сатанинские стихи // *Еженедельный журнал*. 2005. 23 декабря.

Рогинский Б. Нечто об еже // *Звезда*. 2003. № 9. С. 219—228.

Рутковский А. Проникновение в классику [Рец. на фильм Р. Балаяна «Первая любовь»] // *Зеркало недели*. 1995. № 26 (39).

Солженицын А. И. В круге первом: Роман. М.: Современник, 1990.

Тасбулатова Д. Ай да сукин сын! // *Итоги*. 2006. № 48.

Чудакова М. О. Почему шабаш напоминает синхронное плавание?: Интервью // *Известия*. 2005. 29 декабря.

Чупринина Ю. В аду брода нет // *Итоги*. 2006. № 6.

Чхартишвили Г. Ш. Писатель и самоубийство. М.: Новое литературное обозрение, 1999.

Amuta Ch. The Theory of African Literature. London: Zed Books, 1989.

Battersby Chr. Gender and Genius: Towards a Feminist Aesthetics. London: The Women's Press, 1989.

Bloom H. The Western Canon: The Books and School of the Ages. New York: Harcourt, 1994.

Canon vs. Culture: Reflections on the Current Debate / Ed. J. Gorak. London; New York: Garland, 2001.

Elliott K. Rethinking the Novel/Film Debate. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Esrock E. J. The Reader's Eye: Visual Imaging As Reader Response. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1994.

Guillory J. Cultural Capital: The Problem of Literary Canon Formation. Chicago: University of Chicago Press, 1993.

Johnson D. [Introduction to Part 2] // The Popular and the Canonical: Debating Twentieth-Century Literature, 1940—2000. (Twentieth-Century Literature: Texts and Debates) / Ed. D. Johnson. London: Routledge, 2004. P. 199—209.

McFarlane B. Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. Oxford: Clarendon Press, 1996.

Nartmore J. Introduction: Film and the Reign of Adaptation // Film Adaptation / Ed. by J. Nartmore. New Brunswick: Rutgers University Press, 2000. P. 1—16.

Rass T. The Making of the English Literary Canon: From the Middle Ages to the Late Eighteenth Century. Montreal; Buffalo: McGill-Queen's Press — MQUP, 1998.

Sheen E. Introduction // *The Classic Novel: From Page to Screen* / Ed. R. Giddings, E. Sheen. Manchester: Manchester University Press, 2000. P. 1—13.

Stam R. Beyond Fidelity: The Dialogics of Adaptation // *Film Adaptation* / Ed. J. Naremore. New Brunswick: Rutgers University Press, 2000. P. 54—76.

The Popular and the Canonical: Debating Twentieth-Century Literature, 1940—2000. (*Twentieth-Century Literature: Texts and Debates*) / Ed. D. Johnson. London: Routledge, 2004.

Наталья Самутина

«CULT CAMP CLASSICS»: СПЕЦИФИКА НОРМАТИВНОСТИ И СТРАТЕГИИ ЗРИТЕЛЬСКОГО ВОСПРИЯТИЯ В КИНЕМАТОГРАФЕ*

1.

Исследователь, желающий поставить проблему классического применительно к кинематографу, с самого начала сталкивается с сетью парадоксов и культурных противоречий. Классического и классики в кинематографе в каком-то смысле нет и не может быть вовсе — но есть и такие области, которые сплошь заполнены отсылками к понятию классики и рассуждениями о «классическом кино» (и, прежде всего, такова одна из самых симптоматичных областей область обыденного употребления слов). Теоретические киноисследования, насколько мы можем судить, напрямую почти не обращаются к этой проблеме, а история кино охотно занимается тем, что в других культурных практиках называется «авангарды», «каноны» или «стили», но опять же не «классикой» как таковой. Хотя определенные области современных киноисследований, сделавшие предметом своего внимания зрительские сообщества и альтернативные стратегии зрительского восприятия, подходят очень близко в том числе к проблеме классического, в основном через похожую на нее типологическую проблему культового.

Поэтому разговор о возможности выделения и анализа классического в кино требует, на наш взгляд, разбора всей конструкции

* Исследование выполнено при поддержке научного фонда ГУ—ВШЭ. Индивидуальный исследовательский проект 07-01-148 «Киноантропология современности: раннее кино как теоретическая проблема».

нормативности в кинематографе — ведь ядро значений слова «классика» в применении к какой-либо из культурных практик предполагает обязательное использование таких понятий, как «образец», «пример», задействование таких значений, как «высокое» или хотя бы «упорядоченное», «положенное в основание» в противопоставлении если не обязательно «низкому», то по крайней мере ненормативному, случайному, несистемному, странному — и, кроме того, предполагает непереносное обращение к измерению истории. Невозможно говорить о классике, не обозначая специфику отношения к прошлому, а обозначая отношение к прошлому, не избегать разговора об отношении к традиции, о самом характере традиционности в данной сфере культурного производства (средстве коммуникации, культурной практике).

«Запутывающая» исследователя, почти комичная ситуация с употреблением слова «классика» применительно к кино в нашем случае служит дополнительным вызовом. Исследовательское употребление понятия «классический» в качестве прилагательного в значении, отличном от обыденного, то есть хоть как-то мало-мальски проясненном, встречается очень редко: пожалуй, можно сослаться только на влиятельную (саму давно ставшую классической) книгу Дэвида Бордуэлла, Дженет Стейджер и Кристин Томпсон «Классическое голливудское кино: стиль и способ производства до 1960 г.»¹. Употребление авторами слова «классическое» призвано в данном случае указать на исторический разрыв, на переход голливудского кино с начала 1950-х к другой производственной форме (изменение функционирования студийной системы в результате действия антимонопольного законодательства), что одновременно означало давно назревший стилистический взрыв, снятие ряда цензурных ограничений, определявших художественную специфику голливудской продукции, распространение на кино действия Первой и Четырнадцатой поправок к Конституции США с формулировкой «выражение идей посредством художественного фильма» и так далее. Классической оказывается одна система организации кино по сравнению с другой, последующей системой организации — как производственной и технологической, так и художественной, — и это можно считать хоть каким-то внятным образцом употребления термина, даже вне проблематизации его значения.

В других случаях дело обстоит куда запутаннее: классической назначается какая-либо из зон кино, интуитивно ощущаемая как нечто целое, нечто, обладающее общими признаками, и нечто «давнее». При этом как в научных статьях, так и в огромном пространстве обыденного употребления слов «классика» и «классический»

¹ Bordwell, Staiger, Thompson, 1985.

мы можем сталкиваться с объединением в этом понятии очень разных значений: то с указанием на давность, то на влияние, то на авторскую изобретательность режиссеров Арт-синема, то на базовую образность, связанную со становлением какого-либо из киножанров. Фактически нужно признать, что в обыденном словоупотреблении прилагательным *classic* может описываться фильм любого жанра, что образует своеобразный перечень часто упоминающихся жанровых канонов: *horror classics*, *classic melodrama*, *classics of science fiction cinema* и т. д. Классическим может оказаться фильм любого качества и типа: таково поразительное словосочетание, вынесенное в название этой статьи и содержащее в себе на первый взгляд слова, абсолютно противоречащие друг другу, — *cult camp classics* (встречено на одном из интернет-сайтов, торгующих DVD)². Или — на многих других сайтах — такое сочетание, как *trash classics*. В зрительских дискуссиях в Интернете или в анонсах телепередач классику кино «ищут», «ловят», бесконечно произвольно переопределяют, назначая ей какие-то принципы работы, например способность фильма не стареть, быть актуальным долгое время — или его способность влиять на современное кино, «про-

² Понятие *camp*, вероятно, требует пояснения в русскоязычном контексте, хотя в современном английском языке оно уже давно переросло границы сленгового употребления. *Camp* как прилагательное, обозначающее специфическую манерность гомосексуальной саморепрезентации, аффектированность, изломанность, вычурность поведения, речи и одежды, встречается уже в конце XIX в. в субкультурной среде викторианской Англии. Сегодня практически в этом же значении оно присутствует в британском и реже американском словоупотреблении, обозначая не обязательно гомосексуальность, но характерную аффектированность, нарочитое подчеркивание избыточности в стиле поведения и одежды. В академический дискурс понятие «кэмп» ввела Сьюзен Зонтаг в своей авторитетной статье 1964 г. «Заметки о кэмпе» (на русском языке см.: Зонтаг, 1997: 48—64). Зонтаг описывает кэмп как одну из разновидностей вкуса — в первую очередь вкуса применительно к произведениям искусства, но также и как один из способов эстетизации действительности, перечисляя характерные для этой специфической чувственности признаки: искусственность, декоративность, «цветистая манерность», экстравагантность, предпочтение «самого плохого», «дурновкусыцы» с точки зрения традиционной эстетики, избыточность и преувеличенность, театральность и трагедия, двусмысленность всех сортов и вместе с тем предельная серьезность, «серьезность вплоть до полного провала». Из статьи Зонтаг почти явно следует то, что на кэмп всегда легче указать, чем определить его: что это подвижное, трудноуловимое измерение категории вкуса, «дополнительный набор стандартов». В гендерных исследованиях и исследованиях современной культуры это понятие используется в различных значениях, обсуждается как таковое (см., например: *Camp Grounds*, 1993, или *The Politics and Poetics of Camp*, 1994), но одно из характера его употребления и всей его истории следует, казалось бы, недвусмысленно: полная противоположность понятию «классика».

читываться» стилистически в произведениях современных кинематографистов — такому кино посвящается, например, сайт с названием *Catching the classics*. Серии книг и DVD также охотно апеллируют к понятию классики, вводя в оборот маркетинговые ходы вроде «*Forgotten Classics*» (рекламная подборка на сайте www.amazon.co.uk), объединяя таким образом с целью продажи книги о не самых известных фильмах прошлого — но ведь если классика «забыта», то она явно не может быть актуальна и влиятельна; или «*Modern Classics*» (авторитетная серия книг об отдельных фильмах от *British Film Institute*), что уже почти совпадает с канонем выдающихся кинособытий XX в., включая достаточно современные фильмы.

Какие вопросы мы можем задать этому обширному полю зрительского восприятия? Возможно ли просто отмахнуться от «неправильного», неопределенного термина или стоит попытаться понять, почему столь неопределенный термин продолжает так активно употребляться и служить средством организации зрительских ожиданий, оказывается важным словом, которое понимается носителями культуры контекстуально, интуитивно и используется для называния чего-то, что стоит, наверное, определять на не совсем привычных для исследователя основаниях? Совершенно очевидно, что никакие общие черты формы или содержания не объединяют эти произведения, выделенные массовым восприятием как классические, и в этом отношении феномен киноклассики подобен феномену культового кино, чрезвычайно важному и ставшему предметом активного изучения в последние годы. Классика в кино, множественная, протейная и определяемая каждый раз ситуативно, должна изучаться как одна из стратегий зрительского восприятия, исходя из общей специфики кино как культурной практики и средства массовой коммуникации, из характера функционирования зрительских сообществ и из особенностей организации знания о кино, в том числе знания, транслируемого через научные и образовательные институции.

Итак, мы попробуем проанализировать характер кинематографической нормативности, обратим внимание на соответствующие ей зрительские ожидания и стратегии восприятия и попытаемся понять, какие культурные механизмы стоят за этой распространенностью «стихийной классикализации», за потребностью зрителя провести в пространстве кино какие-то значимые границы по принципу классика/современность. Сразу же стоит уточнить, что в соответствии со спецификой кино как средства массовой коммуникации, как медиума, предполагающего коллективное производство и коллективное же потребление массового продукта, образность нас будет интересовать в той же мере, что и образцы.

Классическими в кино оказываются не только какие-то фильмы или работы определенных режиссеров, не просто фигуры «классиков жанра», вроде классика трэш-хоррора Роджера Кормана или классика вестерна Джона Форда, но и сами типы образности, воспринимаемые зрителями комплексно, как характерные для того или иного периода киноистории или жанра. Таков, например, образ черно-белого голливудского кино 1930—1950-х, для современного зрителя — основной образ старого голливудского фильма, с константным набором формальных характеристик, как-то: отсутствие цвета; незаметный монтаж без какого-либо нарушения правил (*continuity editing*); тщательно выстроенные мизансцены (преимущественно городских улиц и комнат); качественная глубинная съемка, нередко с использованием углубляющих пространство нижних и верхних диагональных ракурсов; большой процент диалогов, снятых преимущественно с помощью монтажной фигуры *short-reverse shot* (порой занимающей, по мнению исследователей классического Голливуда, около 50% фильма); определенный расклад характеров, предполагающий наличие сильного, мужественного амбивалентного героя, коварной женщины-вамп и ее антагонистки, добропорядочной домохозяйки, а также обаятельных персонажей второго плана, оттеняющих и комментирующих историю; развитие сюжета таким образом, чтобы концовка выглядела одновременно логичной и неожиданной; нередко — большая роль музыки в повествовании, как закадровой, так и диегетической, часто в форме вокальных номеров, исполняемых актрисами-певицами; наконец, способы съемки звезд, включающие в себя «лестницу планов» с доминирующим крупным планом лица в конце, контровый свет, особенно удачно выглядящий в черно-белом изображении, эффектно-нереалистичные костюмы³.

Этот образ равно создают новаторская драма «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса, мрачный детектив «Мальтийский сокол» Джона Хьюстона, драма характеров «Гильда» Чарльза Видора, экзо-

³ Разумеется, киноисследователи, историки, да и зрители, специально интересующиеся именно классическим голливудским кино, видят это кино в динамике, различают его множественные варианты, как жанровые, так и технико-стилистические (например, размытое изображение на более плоском фоне в конце 1920-х серьезно отличается для киноисследователя от четкого глубинного изображения начала 1940-х, о чем пишет Дэвид Бордуэлл в «Классическом голливудском кино», в главе «Глубокофокусная кинематография» (*Bordwell, Staiger, Thompson*, 1985)). Но общему восприятию образа как цельного это не противоречит. Какие бы варианты ни допускали конвенции классического Голливуда, эти варианты все равно незначительны по сравнению с отличием от других типов кинематографии: Голливуда современного или, например, советского монтажного кино.

тическая антифашистская мелодрама «Касабланка» Майкла Кёртица, комедии «Ниночка» Эрнста Любича и «Некоторые любят погорячее» Билли Уайлдера и сотни «каких-угодно» фильмов этой или более низкой категории (в прямом смысле, в терминах того времени, «категории Б»). Главное, что, будучи процитирован в современном кино или случайно обнаружен в процессе ТВ-заппинга, этот образ однозначно идентифицируется как «классический Голливуд», даже если сам фильм, как это чаще всего и бывает, зрителями не узнан. Так же работает образ цветного голливудского кино 1950—1960-х, чаще всего связанный с жанром исторической драмы, чем-то вроде «Спартака» или «Клеопатры», предполагающий цвета пленки «Техниколор», легко отличимые от современных «кодаковских» цветов, широкий формат, аисторичные грим и костюмы, так удачно высмеянные в «Сладкой жизни» Федерико Феллини («Что это вообще за тога? Какая-то пошлая смесь римского и финикийского»), и т. д. Эти коллективные образы распознаются как классические с первого взгляда (например, на обложку DVD или фрагмент фильма в телепрограмме) и несут в себе представление о «другом кино»: о кино, которое было когда-то, о его истории, воплотившейся не только в именах и названиях, но и в разных способах организации кинематографического материала. Еще раз заметим, что распознавание этих классических образов зрителем происходит как при его непосредственном столкновении со старыми фильмами, так и в ситуации цитирования или частичного воспроизводства этих образов в современном кино.

2.

Говоря в самом начале статьи о том, что в каком-то смысле в кино нет и не может быть классики, мы имели в виду не аморфность этого понятия, а специфику кино как социокультурного института, как средства массовой коммуникации XX в., обретающего жизнь уже в рамках модерного общества, в условиях существования массовой культуры. Идея и культурные функции классики в литературе и традиционном искусстве претерпевают ряд изменений на протяжении столетий⁴, но с конца XVIII в. они фактически вписаны в конструкцию этих культурных институтов — во-первых, в значении, своеобразно противопоставленном «современности», во-вторых, в значении «национального достояния» и, в-третьих, в значении «высокого» и «элитарного» в противовес нарождающемуся «массовому». Это находит свое выражение в кон-

⁴ Зенкин, 1999; Дубин, 2004; Гудков, Дубин, Страда, 1998 (особ. глава «Идея и функции "классического"»).

струкции «классической национальной литературы» и в становлении канонов общезначимых (изучаемых в школе, составляющих базу художественной «образованности», то есть вкуса, и вообще национальной культурной идентичности) классических произведений. Борис Дубин в нескольких работах последовательно просматривает на примере института литературы этот сюжет выработки значений классического начиная с романтиков и, как и ряд других авторов, подчеркивает прежде всего, что ««классика», равно как и «история», — феномены XIX века, буржуазного общества»⁵. В процессе автономизации литературы как культурного института и в процессе возникновения массовой литературы как определенной альтернативы высоким образцам (альтернативы с точки зрения адресации и устройства, но, на что многократно указывает Дубин, не с точки зрения решаемых антропологических задач, аналогичных в каждом из модусов литературного существования) первоначально складываются достаточно внятные культурные оппозиции, в том числе оппозиции восприятия: так, восприятие, или понимание, классики предполагает и образованность, и хороший вкус, во многом на этой же классике воспитанный. Наконец, «к середине XX века противопоставление авангарда и классики, гения и рынка, элитарного и массового в Европе и США окончательно теряет принципиальную остроту и культуротворческий смысл»⁶. Отчасти похожей будет и культурная история изобразительного искусства, на всех стадиях его перехода от традиционного искусства «мастеров» к концептуальному «современному искусству», в само название которого понятие «современность» вписано неудалимым образом.

В данном контексте кино принципиально отличается от традиционных медиа. Кино молодо, из него по определению исключено такое значение «классики» как «давность»: оно рождается на рубеже XIX и XX вв., а как институциональная система складывается начиная с 1910-х годов. С этим обретением кинематографом институциональной конструкции, соответствующей культуре развитых демократий, связан весь сюжет выработки как приемлемой формы потребления фильмов, так и самой формы фильма — выработки через мощный запрос, посылаемый посредством кино «никельдеонов» в первую очередь эмигрантскими зрительскими аудиториями в Америке в начале 1910-х годов⁷. Кино изначально

⁵ Дубин, 2006: 102.

⁶ Дубин, 2004: 27.

⁷ О сюжете рождения современного кино из формы кино раннего и об особенностях культурной антропологии модерна см.: *Cinema and the Invention of Modern Life*, 1995; Hansen, 1991; Doane, 2002; Самутина, 2005b.

возникает в ситуации существования массовой культуры, возникает и как ответ на потребность развивающихся массовых обществ в динамичной, емкой, демократичной и универсальной форме трансляции информации, — и как по-другому, в сравнении с литературой, организованное средство удовлетворения эмоциональных потребностей человека нового времени, человека мегаполиса, как форма чувственности, соответствующая условиям непрерывно развивающейся массовой культуры.

Об этом, среди прочих, пишет Том Ганнинг в своих влиятельных статьях «Кино аттракционов: раннее кино, его зритель и авангард» и «Эстетика изумления: раннее кино и (не)вероятный зритель»⁸:

«Колоссальное развитие индустрии развлечений начиная с 1910-х годов и растущее признание ее со стороны культуры среднего класса (а также привыкание, сделавшее это признание возможным) с трудом позволяют нам осознать, какое освобождение популярное развлечение принесло в начале столетия»⁹. «Поезд, “бросающийся” на зрителей, производил не просто негативный опыт страха, но специфически модернистскую форму развлечения-ужаса, воплощенную повсюду в недавно построенных аттракционах парков развлечений, таких, как американские горки, сочетающие чувство взлета и падения с ощущением безопасности, гарантированной индустриальными технологиями модерна»¹⁰.

Соединять эту «обнаженную» визуальность опыта с более традиционной повествовательностью и переводить «экспозиционистскую» позицию зрителя раннего кино в «вуайеристскую» позицию зрителя кино нарративного массовая культура научилась очень быстро, в соответствии с существующими запросами и потребностями растущих аудиторий, но сам момент микрошока, своеобразного аттракциона, воплощенный в киномонтаже, в развитии «мобилизованного виртуального взгляда» (Энн Фридберг), во фрагментированном восприятии реальности через смену кинематографических планов, видеоискатель кино- и фотокамеры, фиксируется исследователями, начиная с Вальтера Бенямина, как один из существенных моментов антропологического изменения, связанного с появлением кино в качестве визуального режима современности. Изменения, предполагающего освобождение во многих смыслах, и в особенности освобождение от специфической формы

⁸ Gunning, 1990; Gunning, 1995.

⁹ Gunning, 1990: 232.

¹⁰ Gunning, 1995: 59. Также см. об этом подробно: Бьюкатман, 2006.

труда на благо развлечения — труда, требующего в более традиционных культурных формах серьезного образования и «воспитания вкуса», для получения небольшой группой избранных умственно-го и эстетического удовольствия от сложной и хорошо написанной книги или от изящного произведения искусства.

С самого своего рождения кино предполагает предельную массовость, универсальность и доступность «нового зрелища», популярного развлечения, предполагает изменение самой развлекательной формы и параллельно решение ряда адаптационных задач, предоставление человеку большого города, человеку толпы, рабочему «нового зрения» для адекватного существования в складывающейся на рубеже веков среде мегаполиса. «Современность» — вот ключевое слово для этого медиума, и все значения и ценности этой конструкции, та антропологическая модель, на которую кино ориентировано, те функции, которые оно в целом как культурный институт выполняет, изначально прямо противоположны конструкциям и значениям классического или даже шире, «традиции», как они сложились к тому времени в литературе и изобразительном искусстве. Это, кстати, приводит к впечатляющему парадоксу восприятия, на который со свойственной ему пронизательностью указывает Вальтер Беньямин в «Произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости»:

«Техническая воспроизводимость произведения искусства изменяет отношение масс к искусству. Из наиболее консервативного, например по отношению к Пикассо, оно превращается в самое прогрессивное, например по отношению к Чаплину. Для прогрессивного отношения характерно при этом тесное сплетение зрительского удовольствия, сопереживания с позицией экспертной оценки»¹¹. И далее: «Массы — это матрица, из которой в настоящий момент всякое привычное отношение к произведениям искусства выходит перерожденным»¹².

И масса, и кино оказываются такой матрицей современности, культурным условием происходящих изменений — и сами они одновременно изменениями обусловлены, они есть причина и следствие становления культурных режимов модерна в его наиболее реализованной форме — форме аудиовизуальной культуры.

Поэтому изначально кино никаких традиционалистских значений не несет, и все возможности «быть искусством», адресоваться элитам, отсекают кого-то, не способного к восприятию по причи-

¹¹ Беньямин. 1996: 49.

¹² Указ. соч.: 59.

не недостаточной образованности или квалификации, оно вырабатывает постепенно и довольно трудно и выделяет в конце концов в отдельные модели, такие, как модель авторского интеллектуального кино и модель авангардного кино. Кино современно, молодо, кино «другое» — техническая воспроизводимость и коллективный характер производства, а также массовый характер потребления очень замедляют его вхождение в консервативные институты «высокой культуры», национальных ценностей и образования. Последние два пункта особенно принципиальны для сравнения с литературной классикой, одной из основных форм которой начиная с XIX в., как известно, становятся каноны произведений на национальных языках, обязательных к изучению в образовательной системе, в первую очередь — в школе. Произведений, формирующих влиятельный корпус «национальной классики», служащих до определенной степени образцами литературного письма, наделенных повышенной культурной ценностью и подлежащих исследованию средствами филологической науки, а также определенной «защите» от «дурного влияния» и «неверного использования» другими медиа (в связи с этим характерно, что даже сегодня, в начале XXI в., во многих странах возможно зафиксировать чрезвычайно трепетные и пристрастные общественные реакции на экранизации национальной классики, требования точного соответствия «духу и букве» оригинала — на самом же деле точного соответствия школьно-ориентированным массовым ожиданиям)¹³. У кино же «возникают проблемы» и с образовательными канонами, и с понятием «национального».

Изучаться как предмет науки, систематически преподаваться в университетах и колледжах (что влечет за собой формирование канонов исследовательски значимых фильмов и вообще создание некоторой верифицируемой историко-теоретической карты развития кинематографа) кино начинает только с 1970-х гг., с формированием парадигмы структурно-семиотического анализа фильма, гендерных киноисследований, теории кинематографического аппарата, всего того, что получило название *screen theory*, по имени влиятельного британского журнала «Screen». Это совпадает с — и даже прямо провоцируется — процессом демократизации университетского образования после политических событий конца 1960-х гг., это связано с рождением новых междисциплинарных программ, таких, как *cultural studies*, визуальные исследования или теория медиа — на стыке социологии, философии, филологии, культурной антропологии, теории искусства. В относительно консервативный

¹³ См. об этом на примере современных российских телеэкранизаций классики: *Кастэ*, наст. изд.

образовательный институт кино попадает именно в контексте трансформации гуманитарных наук, под лозунгами современности, и пройдет несколько десятилетий, прежде чем образовательные каноны *cinema studies* обвинят в традиционности и подвергнут пересмотру. В то же время относительно литературных и арт-канонов эти кинематографические каноны в любом случае выглядят как нестабильные, допускающие куда большую вариативность, подверженные значительному различию интерпретации — и выделяющие образцы для изучения по целому комплексу признаков, порой совершенно далеких от того, что мы привыкли соотносить с понятием «классического» (например, канон, сформированный феминистскими исследованиями).

И более того, здесь необходимо обозначить существенное в случае с кино различие между понятиями «канон» и «классика». Понимание — и изучение — кинематографа как канона авторитетных имен и неизбежных в любых списках произведений (десять или двести великих фильмов «всех времен и народов» по версии такого-то журнала, критика, учебной программы) свойственно в первую очередь модели Арт-синема, модели режиссерски ориентированной¹⁴, высоко ставящей новаторство формы, стилистическую и смысловую оригинальность, нашедшей в кино возможности для выражения идеологии высокой культуры, неотделимой в том числе от потребности в идеальных образцах и в лидерах художественных движений. Впрочем, на эту модель, с учетом всех достижений *auteur theory*, ориентируется и массовое восприятие жанрового кино в тех случаях, когда оно конструирует каноны, превознося неповторимый авторский почерк мастеров трэша Эда Вуда, Роджера Кормана или ранних фильмов Питера Джексона (подобно тому, как в 1950-е основоположники *auteur theory* из круга журнала «Кайе дю синема» возвели в ранг «авторского письма» фильмы Ховарда Хоукса и Дугласа Сёрка, не говоря уже об особом случае Альфреда Хичкока). Модель Арт-синема, столь влиятельная в критическом и образовательном дискурсе, предполагает, вполне в духе традиционной классикализации, производство, определение и изучение ценностных образцов, а также различных способов удержания этих образцов в зоне внимания — таков не только центральный канон лучших режиссеров-авторов «всех времен и народов», но и множество более мелких канонов, порожденных современной культурной ситуацией: пресловутый феминистский канон женщин-режиссеров, канон режиссеров, выработанный *queer studies*, каноны «третьего кино» (самые парадоксальные, ибо они чаще всего состоят из

¹⁴ Подробно об истории и характеристиках модели Арт-синема см.: *Elsaesser*, 2005b; *Нил*, 2002; *Самутина*, 2002a; 2005c.

описаний фильмов, малодоступных для просмотра, вроде авторских фильмов режиссеров Бразилии или малобюджетных экспериментов режиссеров Африки).

Основное и радикальное отличие конструкции канонов авторского кино от любой конструкции классики заключается в том, что в рамках Арт-синема определяются — и получают высокий статус — образцы (имена), но не транслируется образность. Для авторского кино в целом важен максимально высокий статус новаторства, индивидуального творчества, оно ориентировано на постоянное обновление формы, поиск оригинальных решений в области киноязыка — и режиссеры, не соответствующие этим требованиям, из актуальных канонов авторского кино рано или поздно выпадают, получая обвинения в самоповторах или вторичности своего творчества в целом («вспыхнувшие» и не оправдавшие ожиданий звезды режиссуры). Институт классики, одной из главных составляющих которого в культуре является подражание высоким образцам (их воспроизводство, цитирование и т. д.), по определению несовместим с системой, в которой подражание образцам осуждается. Каждый режиссер-автор, до тех пор пока его помнят в этом качестве, остается единственным, а выражение «классика авторского кино» лишено смысла более, чем любое другое выражение с прилагательным «классика», ибо в авторском кино классик, наверное, каждый, от Жана Ренуара или Карла Теодора Дрейера до Бернардо Бертолуччи, Ларса фон Триера, Михаэля Ханеке и того неизвестного нам режиссера, который в следующем году проснется знаменитым, получив главный приз Каннского кинофестиваля. Авторское кино как система аисторично, для него не существует государственных или культурных границ — это постоянно длящийся здесь и сейчас «фестиваль фестивалей», соревнование «всех со всеми» на самое оригинальное индивидуальное видение, самую обоснованную художественную и политическую позицию, самое осмысленное употребление кинематографических средств. Не случайно в исследовательском дискурсе понятие «классика авторства» не употребляется вовсе, а примеры его обыденного или рекламного употребления сравнительно редки и не несут другой смысловой нагрузки, кроме подчеркивания величины фигуры режиссера-автора¹⁵. Несмотря на всю его культурную нагру-

¹⁵ Рекламные стратегии продавцов фильмов в данном случае обычно выглядят более осмысленным образом. Например, Стэнли Кубрик, признанный режиссер-автор, не называется классиком на обложке DVD, если этот диск входит в комплект из любых четырех фильмов Кубрика, — скорее Кубрик наделяется какими-нибудь пресловутыми эпитетами вроде «величайшего режиссера американского кино». Другое дело, если бокс из четырех фильмов

женность и кажущуюся близость к литературе, к «затрудненному чтению» компетентным зрителем сложного кинопроизведения, авторское интеллектуальное кино необходимо полностью выводить за рамки вопроса о киноклассике.

Не менее оригинальная ситуация складывается в кино с «национальным вопросом». Такие понятия, как «национальная кино-классика» и «режиссеры — классики национального кино», являются (в отличие от положения дел с признанной национальной классикой в литературе, где один из принципиальных моментов классикализации — это привязка литературы к национальному языку и национальной образовательной системе) в основном понятиями обыденного языка, точно такими же, в сущности, как «классика хоррора» или «классика трэша». «Национальное» в этом случае прилагается к «классическому» в равно нерелексивном качестве. Социологически и медиа-ориентированная теория кино не признает непроблемного разговора о национальном кинематографе, многообразно указывает на условность и ограниченность применения этого понятия. Этот подход суммирован уже в 1989 г. в получившей большую известность статье Эндрю Хигсона «Понятие национального кино» в журнале «Screen»¹⁶, опирающейся и на работы Томаса Эльзессера о немецком кино, и на статью Стива Нила «Арт-синема как институция», и на весь корпус современных текстов, отказывающих кино в прямой аналогии с более традиционными практиками национальных культур. Первоначальное мощное требование универсальности языка, которое предъявляется к кинематографу массовой культурой и массовыми обществами, впоследствии дополняется и претензией кино на глобальность, стремлением наиболее успешной кинематографической формы, т. е. голливудского жанрового кино, к максимальной экспансии¹⁷. Причем эта экспансия распространяется не только на поставку готовых продуктов (фильмов, которые с минимальной степенью сопротивления востребуются любыми национальными аудиториями), но и на стили и языки художественной выразительности. жанровые конвенции, способы организации (в каком-то смысле

подобран по принципу «классика интеллектуальной фантастики» — тогда «Космическая одиссея 2001» включается туда наряду с «Солярисом» и «Аль-фавилем» в качестве классического образца фантастического кино, а Стэнли Кубрик, Андрей Тарковский и Жан-Люк Годар именуются классиками определенного жанра, фигурами, произведшими на свет значимые жанровые образцы.

¹⁶ Higson, 1989: 36—46.

¹⁷ Примечательно, что именно голливудское кино чаще всего служит наряду с «Макдоналдсом» основным негативным аргументом в устах противников глобализации, защищающих культурное разнообразие.

воспитания) зрительских реакций и ожиданий. «Голливуд — это не просто самый интернационально влиятельный кинематограф, но он был и остается в течение многих лет интегрированной и натурализованной частью национальной культуры, или массового воображения, в большинстве стран, в которых кино существует как устоявшаяся форма развлечения», — пишет Эндрю Хигсон и затем цитирует Томаса Эльзессера: «Голливуд едва ли может быть осмыслен как тотальное другое, с учетом того, какая большая часть каждой национальной кинокультуры есть имплицитный “Голливуд”»¹⁸.

Как «тотальное другое» Голливуд всегда готов осмыслять авторское интеллектуальное кино, но оно никак не может быть признано национальным продуктом, несмотря на всю ту финансовую и символическую поддержку, которой пользуются в национальных государствах успешные режиссеры-авторы, добывающие для этих государств призы на международных фестивалях. Ибо авторское интеллектуальное кино, как уже говорилось выше, рассчитано на интернациональную аудиторию «квалифицированных зрителей» и имеет своей основной задачей не только постановку общезначимых культурных, социальных, философских проблем, но и развитие самого кинематографа как искусства, как одного из универсальных языков современной «высокой культуры». Авторское интеллектуальное кино выделяется в отдельную модель со своими задачами и соотносится с голливудским кино примерно так же, как в описаниях социологов культуры соотносятся высокая и массовая литература XX в.: и то, и другое кино универсально и интернационально, и то и другое говорит на языке современности о проблемах современности, и основное различие проходит по критерию открытой артикуляции этих проблем или их непрямого выражения в развлекательной форме.

А вот кинематографам национальных государств, то есть кинематографам, работающим на деньги, на территории, на языке национальных государств и рассчитанным преимущественно на внутреннее потребление, приходится вести постоянную трудную работу по освоению и репрезентации меняющейся в исторических обстоятельствах национальной культуры (во всей сложности и противоречивости этого понятия в век культуры массовой, когда даже изображение в фильме культурных и социальных проблем конкретного узнаваемого общества не предполагает никакой обязательной отсылки к национальной истории или национальному культурному содержанию, допуская при этом вполне конвенциональные голливудские средства выражения). Говорить о стабильной, образцовой, влиятельной и общепризнанной национальной классике в кине-

¹⁸ Higson, 1989: 39.

матографах различных государств практически не приходится. Подчеркнем еще раз, что фильмы Сергея Эйзенштейна или Андрея Тарковского (Роберто Росселлини, Марселя Карне, Ингмара Бергмана), порой относимые к таковой классике в обыденном словоупотреблении, особенно там, где задействован националистический дискурс в принципе — например, в перечислении «доблестных заслуг» национальной культуры перед мировым сообществом, — в научной литературе о кино будут описаны в первую очередь как произведения режиссеров-авторов, виднейших представителей авторского интеллектуального кино, в каждом случае в контексте, во-первых, задач этого самого авторского кино и во-вторых, в контексте кинематографических стилей и направлений соответствующей эпохи — советского революционного авангарда, итальянского неореализма, французского поэтического реализма и т. д.¹⁹ А внутренняя продукция национальных кинематографий будет квалифицироваться как типичная для своего места и времени — например, французское кино 1950-х или итальянская комедия 1970—1980-х годов, — но не как образцовая или «классическая» для такого конструкта, как «национальный кинематограф» в целом (каковому конструкту в принципе мало кто из исследователей позволяет состояться, с учетом того, что уже было сказано о характере голливудского универсализма). Пожалуй, единственным убедительным пространством одновременной национализации и классикализации кинематографа как медиа окажется только зона экранизаций национальной литературной классики: можно сказать, что в этом случае традиция восприятия литературы одерживает верх над силами кинематографа, и процедура классикализации будет тем более настойчивой, чем большую роль в данной национальной культуре играет литература. То есть эта ситуация опять же не создает всеобщих правил, позволяя исторически выделять как кинематографические культуры, имеющие образцы классических экра-

¹⁹ Пожалуй, как особый в этом ряду может быть рассмотрен только случай Сергея Эйзенштейна, чье влияние на советское кино — благодаря определенной «закуленности» последнего, ориентации в основном на свои сильные традиции киноязыка, в первую очередь монтажные традиции (а они восходят как раз к изобретениям Эйзенштейна), а также из-за отсутствия в СССР коммерческого кинопроката и доступа зрительских масс к голливудской кинопродукции, следовательно, отсутствия прямого зрительского давления на производителей — оказалось едва ли не формообразующим, выходящим за рамки любого возможного влияния авторского режиссерского видения на массовое кинопроизводство. Как нам представляется, такое влияние может быть в некоторой степени признано формирующим язык «национального кино» — советской кинематографии 1930-х — начала 1950-х годов. Однако более пристальное рассмотрение этого уникального «случая Эйзенштейна» не входит в задачи нашей статьи.

низаций — самым ярким примером будет советское кино, с его внутренне образцовыми экранизациями классических литературных произведений XIX в., — так и кинематографии, не уделяющие значительного внимания подобному опыту.

Итак, подведем промежуточные итоги. В кино как культурном институте развитого модерна, как средстве массовой коммуникации и массовой культурной практике нет и не может быть института классики в том значении, в каком это слово употребляется применительно к более традиционным культурным сферам. Основные оппозиции в поле значений «классическое—элитарное—массовое» (см. одноименную статью Бориса Дубина), с которыми связано современное существование понятия «классика», применительно к кинематографу не работают или работают неузнаваемым образом. Массовое не выстраивается как оппозиция классическому: кино массово все, никакой единственно влиятельной и образцовой культурной формы в нем не существует, а впоследствии классическими признаются как раз самые массовые образцы. Среди тех образцов, которые обыденное употребление фиксирует как классические, равно наличествуют и самые элитарные, из области авторского интеллектуального кино, и самые «низкие», не соответствующие зачастую даже критериям приемлемого технического качества («классика трэша»), — то есть оппозиция «высокого—низкого» в отношении понятия «классика» в данном случае тоже несостоятельна. Пытаться разбираться с актуальным функционированием понятия «классика» и искать возможности его теоретизации применительно к кино необходимо с учетом уже другого, измененного значения термина — с четким пониманием того, что речь идет больше об аналогии, о необходимости закрепить и обозначить нечто в современном состоянии культуры, что может быть удобно закрепить и обозначить в том числе с помощью этого старого понятия, позаимствованного у языка культуры более раннего времени. Классика в кино, даже если мы попытаемся ее обнаружить, по определению будет переизобретенной, в очередной раз заново для чего-то назначенной классикой, подобно тому как регулярно изобретается или заново назначается традиция в современной культуре в целом (нельзя не упомянуть в этом контексте известную концепцию Эрика Хобсбоума)²⁰. Изобретенная классика, как в свое время изобретенная традиция, отвечает ряду существенных потребностей современности, современных обществ и современных кинозрителей. Два возможных пути работы с этой изобретенной классикой мы попытаемся указать.

²⁰ *The Invention of Tradition*, 1983.

3.

Первый путь связан с основной кинематографической системой нормативности, то есть системой жанров. Для кино (и это сближает его с массовой литературой, позволяя и то, и другое частично описывать через понятие «формульности», «формульных повествований»²¹) именно жанр достаточно рано становится основным, неудаляемым из системы конвенций способом деления фильмов на типы и одновременно способом организации зрительских ожиданий²². Система жанровых кодов и конвенций голливудского кино, сложившись очень рано, уже где-то в районе 1910—1920-х годов, определяет на уровне обыденного знания и производство, и циркуляцию, и восприятие фильмов как продуктов массовой индустрии, предусматривает возможность трансляции идеологических посланий, в первую очередь вписанных в саму «идеологию жанров»²³, и, кроме того, на уровне всей системы жанров предполагает то же, что в жанровом кино регулярно осуществляется на уровне отдельного фильма, а именно: динамику и напряжение формулы и ее наполнения, постоянного каркаса и исторически изменяемого содержания.

Так, например, определенные конвенции остаются обязательными для кино фантастического жанра на протяжении всей его истории: сюжеты о покорении космоса или невероятных возможностях человеческого тела; соответствующая технологическая/биотехнологическая образность и общее внимание фантастического кино к технологии, в том числе его склонность к использованию спецэффектов; сравнительно меньшее, чем в других жанрах, приглашение актеров-звезд даже на главные роли; сравнительно меньшее значение открытых эротических сцен, внешнее целомудрие и сублимация любовных историй до предельно общей нормативной ситуации влюбленности — обретения законного партнера, не мешающего общему исследовательскому делу²⁴; адресация в первую очередь подростковым аудиториям и т. д. Однако фантастический жанр, сохраняя эту основу, переживает тем не менее различные исторические периоды, времена расцвета и относительного забвения, он сигнализирует о различных общественных проблемах и идеологических состояниях, как самим своим наличием или отсутствием в доминирующем в конкретный период репертуаре жанров, так и изменением отдельных элементов собственной жанровой

²¹ Кавелли, 1996.

²² А если жанровые конвенции и ожидания отсутствуют, как в авторском кино, не предполагающем обязательной жанровой привязки, то это прочитывается именно как значимое отсутствие, свойственное модели в целом.

²³ См. об этом, например: Самутина, 2005а

²⁴ Собчак, 2006.

структуры. Приведем в пример взлет фантастического жанра в 1950-е годы в Америке, на фоне холодной войны, и особый, почти не повторяющийся расклад сил внутри самих фантастических фильмов 1950-х, предполагающий чаще всего противостояние слаженных, идеально работающих команд военных/астронавтов и абсолютного, нечеловеческого зла, воплощенного в фигурах инопланетных Чужих. По сравнению с этим Чужие, произведенные в постмодернистские (критика классических концепций субъективности) и политкорректные 1980-е, кажутся почти очеловеченными — и их угрожающее присутствие используется не в последнюю очередь для того, чтобы вскрыть внутреннюю нестабильность самого человека и монструозность человеческого социума. Не говоря уже о том, что с конца 1970-х фантастическое кино развивается по пути наращивания воздействия спецэффектов и постепенно оказывается в авангарде кино измененной чувственности, кино, все более жертвующего осмысленной нарративностью ради аттракциона, сюжетом ради зрелища — что, оставляя это кино в рамках фантастического жанра, довольно далеко уводит его от тематически, но не технологически сопоставимых образцов 1930-х или 1950-х годов.

Жанровая формула переживает ряд трансформаций, целые циклы изменений, затрагивающих то один, то другой, то несколько сразу из четырех принципиальных жанровых компонентов (технология, нарратив, иконография и звезды)²⁵. Всегда говоря на каком-то общем уровне об одном и том же — например, о принципиальном идеологическом послы фантастического зрелища — нашем желании и невозможности увидеть *иное*, преодолеть пределы собственного воображения и, соответственно, указывая на эти пределы²⁶, — с помощью изменений формулы фильма одного и того же жанра порой говорят об очень разных вещах, указывают на разные проблемы и состояния, как общества, так и самой кинематографической индустрии, ибо жанр есть всегда в некотором смысле «кино о кино», это память фильмов обо всех предыдущих фильмах аналогичного типа. Жанр, одна из, казалось бы, самых устойчивых нормативных систем кинематографа, рассматривается в современных киноисследованиях преимущественно в состоянии динамики, жанровые ожидания описываются как пластичные, поддающиеся изменению и тесному взаимопроникновению, взаимобмену — с учетом, кроме всего прочего, большой доли автопародийности в устройстве жанрового кино в принципе. Фильмы-пародии, такие, как «Марс атакует» Тима Бертон или «Пятый

²⁵ См. статью «Жанр» в кн.: Hayward, 2000.

²⁶ Джеймисон, 2006; Самутина, 2006.

элемент» Люка Бессона, пародируют не просто определенный жанр, как можно было бы подумать по их фантастическим сюжетам и антуражу, а сам жанровый механизм кино в целом, все жанровые штампы по очереди, как будто указывая нам на общность этой материи, в которой перемешаны штампы фантастики, боевиков, военных фильмов, комедий, мелодрам, фильмов ужасов и т. д. И в то же время жанровые формулы никуда не исчезают, их взаимопроникновение и обмен не лишают нас умения различать на уровне произведений устойчивые жанры, пусть более дифференцированно (специалисты пользуются понятием «поджанры») и осмысленно выделяемые.

Жанровый механизм кино нуждается в понятии классики, потому что именно оно может содержательно обозначить специфику механизма преемственности-изменения в кинематографе — медиуме, который с самого начала своего существования стал зависим от этого достаточно жесткого нормативно-регулирующего средства²⁷. Понятие классики жанра, так прижившееся в обыденном словоупотреблении, — «классический вестерн» (в противовес современному, пародийному или цитатному вестерну или, например, «спагетти-вестерну»), «классическая мелодрама» (не только мелодрама классического голливудского кино, но мелодрама, образцово отвечающая всем канонам мелодраматического повествования), «классика фантастики» (фантастическое кино, самым своим возникновением установившее базовые законы фантастического на экране, выступившее авторитетным образцом и повлиявшее на развитие жанра в целом) и т. д. — оказывается очень удобным способом указать одновременно на нормативность образца, на многократную его реализацию в последующих образцах и на наличие некоторого разрыва между «классическим» и «современным» состоянием жанровой конвенции.

Этот обязательный разрыв между классикой и современностью жанра — один из самых существенных и интересных моментов всего процесса кинематографической классикализации. Он интересен не только своей основной функцией — предоставлением зрительскому восприятию (равно как и производству фильма) возможности отбрасывать ступени своеобразной жанровой ракеты, пародировать и преодолевать полностью устоявшиеся, «отработанные до

²⁷ Возможные пространственные аналогии с жанрами литературы на протяжении ее тысячелетней истории выходят за пределы нашей компетенции — напомним лишь в очередной раз, что киножанры не делятся на «высокие» и «низкие», не порождают серьезных структурных различий (уровня поэзии/прозы), взаимодополнительны идеологически и в некотором смысле говорят одно и то же различным социальным группам (прежде всего имеет значение возрастная и гендерная адресация отдельных жанров).

автоматизма»²⁸ и в конце концов переставшие соответствовать своей задаче (социальной, идеологической) жанровые элементы. Но и момент неравномерности, различной глубины этого разрыва оказывается значим и указывает на некоторые важные обстоятельства. Разрыв между классикой жанра и современным его состоянием может быть минимален в наименее кинематографичных, наиболее универсальных (с точки зрения медиа) жанрах: классическая мелодрама регулярно воспроизводится в неизменном виде, во всей полноте своих рожденных еще популярным театром и массовой литературой XIX в. конвенций и компенсаторных механизмов (хотя все равно, конечно, в области социальных значений изменения заметны — меняется роль женщины в обществе, и границы возможных для женщины действий и ситуаций все время сдвигаются). В случае мелодрамы понятие классики менее выражено и фактически останавливается на значении типичности. Но жанры, рожденные непосредственно кинематографом, жанры, сформированные иконографией, звездами и технологией не меньше, а больше, чем сюжетом, ведут себя не так. В этих жанрах разрыв между классическим и современным проходит гораздо глубже, вплоть до возможности рассуждать о смерти жанра в момент истечения его «исторических полномочий» и о новом прочтении, о цитатной или пародийной интерпретации этого, давно почившего, жанра в современном кино. Одним из самых очевидных примеров такого жанра, пережившего стадию классики, гибель и возвращение на уровне цитатного разыгрывания, пародирования, воспроизведения всей формулы в модусе «оммажа» (характерно, что лучшие «первообразцы» жанра в этом случае наделяются чем-то вроде статуса «высоких», непревзойденных, требующих почтительного отношения), или переосмысления, «выворачивания» наизнанку жанровых конвенций (традиционно «плохие» становятся «хорошими», решения принимаются не в пользу привычного победителя и т. д.), конечно же, является вестерн. Здесь разрыв обоснован уходом социального содержания жанра, утратой культурной актуальности проблематики фронта и типа героя, стоящего на границе цивилизации и дикости (wilderness)²⁹, а также, вследствие этого, потерей жанром своей аудитории — мужской аудитории, с определенного времени находящей больше удовольствия в актуальных городских и военных боевиках.

Другим примером может послужить *film noir*, не жанр, а фактически поджанр криминального триллера 1930-х — середины 1940-х годов, и иконография, и идеология которого были сформиро-

²⁸ Определение жанровой формулы, см.: Кавелли, 1996.

²⁹ См. об этом в статье «Вестерны» в кн.: Hayward, 2000.

рованы достаточно очевидными историческими и экономическими обстоятельствами (Великая депрессия, Вторая мировая война). Исследователи указывают как на существенный факт в становлении этого сумрачного, тревожного детективного жанра на то обстоятельство, что среди его авторов оказалось немало режиссеров, эмигрировавших из Германии и Австрии (некоторые из них буквально бежали в Америку с приходом к власти нацистов), — режиссеров, не только особенно чутких к социально-политической ситуации времени, но и хорошо знакомых со стилистическими и смысловыми решениями немецкого экспрессионизма (Фриц Ланг, Отто Преминджер, Дуглас Сирк, Билли Уайлдер, Фред Циннеман и другие). Классический нуар был жанром малобюджетным (что хорошо согласовывалось с экономической системой кино того времени, с введением в кинопроизводство понятия «категория Б»), жанром с минималистской запоминающейся иконографией (снаружи — темные, часто ночные улицы, пустыри, подворотни; в помещении — интерьеры детективных агентств или бюро, гангстерских квартир, задних комнат ресторанов и биллиардных; пробивающийся сквозь жалюзи свет, колышущиеся занавески на окнах), с четко обозначенным гендерным конфликтом (активное использование амплуа женщины-вамп, социально, или даже асоциально, активной, сильной, раскованно сексуальной, вступающей в борьбу с главным героем), жанром с опять же классическими приемами по созданию напряжения, характерными именно для голливудского жанрового кино (детективный сюжет, убийства или угрозы убийств, полный сюжетный переворот и раскрытие тайны не раньше последней сцены, использование штампов-обманок, когда красавица-блондинка, просящая о помощи, оказывается главным преступником — как в «Леди из Шанхая» Орсона Уэллса или «Мальтийском соколе» Джона Хьюстона).

С начала 1950-х этот жанр, эта узнаваемая иконография исчезают, или уходят в репертуар случайных решений, цитат (как в «Бегущем по лезвию» Ридли Скотта или «На последнем дыхании» Жана-Люка Годара), или украшают собой индивидуальную стилистику, например, Жана-Пьера Мельвиля, режиссера французских полицейских детективов. Но в современном кино наблюдается невероятный взлет этого жанра, или, точнее, активное обращение к этому жанру как к классическому образцу. Жанр воспроизводится как стиль, жанр обыгрывается и цитируется, отдельные его формульные элементы (такие, как костюмы 1940-х годов и даже целиком образы кинозвезд того времени — как в «Тайнах Лос-Анджелеса», где Ким Бесингер изображает двойника Вероники Лейк) проникают в современные фильмы. Фильм «Черная орхидея» Брайана де Пальмы (2006) сделан с учетом максимального числа

конвенций жанра *film noir* — и, можно сказать, сделан вопреки современному восприятию, вопреки учету потребностей сегодняшнего зрителя, что не могло не сказаться на рецензиях и сборах. Зрители и критики отдавали должное любви режиссера к жанру, знатоки радостно смаковали мельчайшие формульные детали, от интерьеров отдела расследований до деталей противостояния блондинки и брюнетки, их образов, костюмов, характера реплик. Но все это не отменяет того факта, что перипетии сюжета слишком запутанны и сложны для запоминания, что современный зритель, привыкший к зрелищному кино «прямого воздействия», уже почти не в состоянии следить за последовательным развитием детективного расследования на протяжении двух часов, чтобы только в последние десять минут (это требование жанра в фильме соблюдено) получить разгадку. И содержательный посыл, «смысл» фильма ускользает от современного восприятия, ограничиваясь в первую очередь, а может, и исключительно той самой исторической отсылкой к *film noir*, идеей добросовестной реконструкции формы.

Современный образец, сделанный по лекалам классического жанра, воспринимается совсем не так, как сам образец классического жанра. С одной стороны, работа с классикой жанра приветствуется, ожидается, свидетельствует о потребности кино в воспроизведении и сохранении своей истории (а можно сказать, и о нашей зрительской потребности в исчезающем чувстве исторического, о нашем желании видеть в кино не только механизм перевода всего на свете в измерение тотального настоящего, идеально реконструированный и вновь погибающий на наших глазах «Титаник», но и обратный механизм сохранения исторического в самой кинематографической ткани, в разнообразно проявленной памяти жанра). С другой стороны, именно в силу указанной потребности эта работа должна производиться с пониманием того, что время вернуть нельзя, с ощущением исторического разрыва, и успех, глубину содержания, оригинальность формы в данном случае может гарантировать только переосмысление классического образца, только рефлексивное отношение к нему как к отправной точке для размышлений. Содержание, художественное и идеологическое, должно быть новым — это одно из условий, позволяющих нам указать на востребованность и ценность понятия «классика». Соблюдение этого условия — чрезвычайно трудная культурная задача, выводящая жанровое кино на очередной виток творческого развития, и потенциал этой задачи ощущается современными кинематографистами. Ряд фильмов задействует жанр *film noir* более оригинально — можно назвать хотя бы «Город грехов» Роберта Родригеса, где атмосфера и образы, характерные для нуара, воссоздаются средствами новейшей кинематографии, а сам классический жанр ци-

тируется, обыгрывается для производства определенного эффекта, но не существует вне столкновения с новыми возможностями компьютерных технологий и принципами повествования, пришедшими из популярных комиксов (задающими небывалый для нуара уровень условности). «Ночь и город» Ирвина Уинклера (1992, римейк одноименного нуара 1950 г.), «Антенна» Эстебана Сапира (2007, аргентинский фильм, соединяющий иконографию нуара с сюжетными и изобразительными элементами фантастической антиутопии), «Кирпич» Райана Джонсона (2005), где формула нуара воспроизводится усилиями персонажей-школьников, и многие другие фильмы так или иначе работают с этим классическим жанром и обозначаются в современном восприятии понятием «неонуар».

Третий яркий пример — все то же фантастическое кино, пережившее с конца 1970-х принципиальный технологический переворот. Увеличение доли и характера спецэффектов в этом жанре привело к изменению всей структуры зрелища, к тому, что фантастическое кино, будь то в варианте блокбастеров («Война миров» Спилберга) или в варианте почти комиксового характера, в варианте игр с кинематографическими стилями («Небесный капитан и мир будущего», реж. Кэрри Конран), становится кинематографом прямого воздействия, оно атакует зрительское восприятие, вовлекая зрителя в захватывающий аттракцион, в гораздо большей степени, чем рассказывает историю или побуждает к размышлениям, — а его нарратив перестает отвечать старым (хочется сказать классическим) голливудским требованиям к связному динамичному повествованию. Теперь повествование скорее строится по принципу американских горок, многократно переходя от напряженных сцен катастрофы или угрозы к относительно спокойным лирическим эпизодам «для переведения духа». Интенсификация спецэффектов, переход их количества в совершенно новое качество не только ставит фантастику в авангард изменений кинематографической технологии (она была на этом месте всегда), но и проводит видимую черту между классическими образцами жанра, будь то «Потерянный горизонт» Фрэнка Капры или «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика, и любыми, пусть даже ни в коей мере не сопоставимыми по уровню примерами современного применения компьютерных технологий. Разрыв между классикой и современностью, не очень заметный в области иконографии или сюжета, совсем не маркированный в области звезд, оказывается достаточно глубоким по критерию технологии. Сохраняя серьезную, неотменимую преемственность с классикой жанра, фантастическое кино нового типа тем не менее делает эту классику историей и таким образом, надо заметить, создает живое ощущение историчес-

кого, самой истории на уровне жанровой формулы — и одновременно реализует необходимость изменения.

Более того, этот последний пример побуждает нас думать о том, что, поскольку фантастическое кино располагается в авангарде технологического развития кинематографа, мы можем и должны предполагать подобную метаморфозу и проведение такой границы в целом между старым пленочным кино с его трюками и комбинированными съемками — и новым кинематографом компьютерных и цифровых технологий, кинематографом спецэффекта, атаки зрительского восприятия, кинематографом аттракционов, как любят о нем говорить исследователи, вспоминая об институциональном и эстетическом устройстве раннего кино. Может быть, совсем скоро значение понятия «классика» распространится на весь кинематограф XX в., отделяя его от в чем-то сходной, какие-то базовые принципы воспроизводящей, но бесконечно ушедшей вперед технологически кинематографической формы. Такой выход на более высокие уровни нормативности, чем даже жанр, но сопоставимые с жанром, возвращает нас к книге Бордуэлла, Стейджер и Томпсон о классическом голливудском кино — к тому смыслу, в котором они употребили понятие «классический», обозначив им, в сущности, институциональную систему: не только стиль, но и способ производства, не только какой-то из отдельных жанров, но всю (относительно устойчивую в этой форме) жанровую систему и т. д. В таких контекстах, на самом глобальном уровне размышления о кино как индустрии, форме массовой культуры, режиме визуальности, и при наличии безусловного разрыва между двумя крупными формами, вероятно, можно будет говорить и о каких-то еще вариантах классичности — к примеру, если авторское интеллектуальное кино в его современном виде прекратит свое существование. Но пока это, разумеется, только гипотезы.

Таким образом, через понятие жанра возможно выйти на содержательное использование понятия «классика» в кинематографе, отметив попутно и зрительскую готовность принимать логику такого суждения (дискуссии в синефильских чатах о неонуаре, например, повторяют всю приведенную нами логическую процедуру: описание первичного, исторического состояния жанра нуар, фиксация в современности образцов, так или иначе апеллирующих к историческому жанру, выделение типов этой апелляции и оценка их по критериям осмысленности и удачности, рассуждения о сходстве и различии исторического и актуального состояния жанра), и соответствие ее условиям высказывания о кино в рамках современной кинотеории. Фигура жанровой классики позволяет обозначить ряд сущностных механизмов устройства кинематографа: относительно жесткая, несмотря на все современные изменения и «рас-

качивания», нормативная система, организующая зрительское восприятие; наличие возможности серьезной смены идеологического (или даже антропологического — как в случае с фантастикой) содержания конкретных жанров, влекущее их временную «смерть» или уход в тень, а затем образование разрыва и вероятное «воскрешение» с рядом новых условий. С работой этого механизма связана «внутренняя», передающаяся по жанровой цепочке из фильма в фильм историчность кино. И кроме того, относительные, но все же наличествующие значения «первого» и «высокого», или хотя бы «авторитетного», и образцовость, лежащая в основе существующих жанровых канонов, тоже входят в условие восприятия «классики жанра».

4.

Второе, не менее значимое место изобретения классики в кинематографе мы склонны обнаруживать неподалеку от той сферы активности зрительских сообществ, которая стала предметом изучения сравнительно недавно, под условными названиями «синефилия» и «культовое кино». Этот ход возвращает нас к началу статьи — во-первых, к разнообразию зрительской апелляции к понятию классики — вне деления на высокие и низкие, выдающиеся и типичные, давние и более близкие по времени образцы — словом, к такому словоупотреблению, как «cult camp classics», во всей его противоречивости и нелогичности. И во-вторых, к образности «классического Голливуда», к тем неопределенно-размытым, но тем не менее моментально узнаваемым визуальным пространствам, которые для рядового зрителя могут служить объектом почтительной и одновременно снисходительной реакции (стереотип «наивности» старого кино сопровождает его восприятие почти неизбежно), а для современного режиссера, такого, например, как Квентин Тарантино, — бездонным колодезем для черпания цитат, стилистических решений, для оформления целых сцен как «оммаж» тому или иному воспоминанию или жанру³⁰. Обращаясь в данном случае к области «обыденного восприятия», пытаюсь разобраться с тем, что стоит за определенными зрительскими предпочтениями и описаниями, за зрительской оценкой, мы имеем возможность опереть-

³⁰ Тарантино не ограничивает свое цитирование только фильмами и жанрами классического Голливуда, он продуктивно работает и с восточным кино, особенно с фильмами про восточные единоборства. Но для большинства зрителей образ классического кино — это, конечно, именно описанный в самом начале нашей статьи образ старого Голливуда, не имеющий аналогов по сочетанию общедоступности, жанровости, неизменности на протяжении десятилетий и вместе с тем удаленности во времени, представленности в сознании как абсолютное прошлое.

ся на одну из влиятельных традиций современных киноисследований — традицию, решительно выводящую вперед фигуру зрителя. И не просто зрителя, но зрительские сообщества, по-разному организованные, иногда ограниченные субкультурно, иногда реализующие себя через движения фанатов, иногда просто возникающие в случайной констелляции обстоятельств, в момент непредсказуемого, а порой и необъяснимого успеха какого-либо фильма.

И активность зрительских сообществ, и их способность создавать свои собственные влиятельные описания, свои когнитивные и исторические карты кинематографического пространства никогда не были для исследователей секретом, и даже в определениях феномена жанра зрительское восприятие и его умение изменять конвенции всегда занимало почетное место. Но, как справедливо замечает в одной из самых содержательных на сегодняшний день статей о понятии синефилии Томас Эльзессер³¹, «психосемиотика» 1970-х (еще известная под условным названием *screen theory*), возникнув как наука в том числе на волне разочарования первого поколения синефилов в современном кино, сконцентрировалась более всего на анализе текста, его символической экономии и «объективных» значениях, если и зависящих от внешних факторов, то исключительно в смысле контекста³². Наличие в самой природе кино как медиа и аудиовизуальной практики больших возможностей для воздействия «за пределами репрезентации», на что в известном диалоге о синефилии указывает даже Пол Уиллемен³³, один из ведущих авторов журнала «Screen» в 1970-е годы; феномен переописания зрительскими сообществами «базовых значений» фильма, или просто игнорирования их в процессе восприятия, направленного более на самопрезентацию, на делание видимыми посредством кино своих желаний и фантазий; феномен ярко манифестированной зрительской любви к фильмам, *beyond all reason*, — все это стало предметом исследования, как одна из неотъемлемых составляющих устройства кино, с момента появления в 1991 г. первого теоретического издания о культовом кино — сборника «The cult film experience. Beyond all reason» под редакцией Джея Телотта,

³¹ Elsaesser, 2005a.

³² Эльзессер не останавливается подробно на факторах, позволяющих нам считать возникновение киноисследований в их научном варианте объективным явлением (прежде всего, параллельность подобных процессов во всех областях исследований современной культуры, претензии семиотики на универсальность, усилившаяся потребность во введении знаний о современной культуре в научную и образовательную среду и т. д.), — ему важно прописать сюжет отталкивания «психосемиотики» от синефилии, сюжет борьбы разных типов отношения к знанию о кино.

³³ Willemen, 1994: 240—241.

с программной статьей Тимоти Корригана «Фильм и культура культа»³⁴.

С тех пор проблематизированное понятие «культовое кино» вошло в обиход кинематографических исследований в качестве одной из возможностей описания зрительского восприятия и зрительской активности (в более традиционном социокультурном дискурсе подобные виды активности скорее изучались как культурные практики различных групп фанатов, с определенного момента в этом контексте стали применять и придуманный Джеффри Скунсом термин *ragasinema*³⁵, и еще более расширительное *ragaschematic fan activity* — отличие и сходство культового и фанатского отношения до сих пор дискутируются). С большей или меньшей степенью успешности ряд изданий и авторов пытались прояснить общие принципы работы «культового механизма» и описать те возможности, которые он открывает и для кино (как почти отдельная культурная форма, некоторое дополнительное измерение в смысле действий и влияний, производимых фильмом), и для понимания нас самих и тех способов, которые мы выбираем для культурной рефлексии или выражения аффекта (а также характеристик этой рефлексии и причин этого аффекта)³⁶. Примечательно, что предметом отдельной дискуссии стали способы выражения и специфика культового отношения к кино в среде самих киноисследователей. Наконец, с появлением сперва нарочито публицистичной статьи Сьюзен Зонтаг³⁷, а затем поднимающей дискуссию на новый уровень книги «Cinephilia: Movies, Love and Memoir» с емкой статьей Томаса Эльзессера, к проблематизации культового отношения прибавилось еще и осмысление синефилии аналогичным образом — как особого взгляда, особой зрительской позиции (сложно объединяющей, по мнению Эльзессера, возможности критического метода, коллективной идентификации в практиках зрительских сообществ и организации индивидуального зрительского опыта). С нашей точки зрения, эти явления так близко расположены друг к другу, что заслуживают быть рассмотренными из общей перспективы — различаясь, в сущности, лишь в деталях употребления понятий (понятие синефилии более принято относить к зрительским группам повышенной компетентности, в соответствии с его историческим проис-

³⁴ Corrigan, 1991.

³⁵ Sconce, 1995.

³⁶ Среди заметных изданий о культовом кино, кроме книги под редакцией Телотта, можно назвать сборники *Defining Cult Movies*, 2003. и *Unruly Pleasures...*, 2000; кроме того, см. об этом подробно в статье: Самутина, 2002b.

³⁷ Sontag, 1996.

хождением — из самоназвания французских синефилов 1950—1960-х, объединившихся вокруг журнала «Кайе дю синема»).

Подобно тому как Ролан Барт³⁸ сделал предметом дискуссии в разговоре о фотографии не *studium*, а *punctum*, не знание, а восприятие и отношение, не общее, а уникальное — и показал, что фотография как медиум предоставляет этой уникальности возможность быть «проявленной», — точно так же теоретики культового кино «вернули» зрителю свободу восприятия и право на самостоятельное наделение любого фильма уникальностью, а кинематографу в целом — одну из его важнейших антропологических задач. Культовое кино не только «проявляет» зрительскую любовь как культурный механизм, но и делает очевидной зрительскую общность в ее активной функции, не особо предполагавшейся традиционными интерпретациями позиции зрителя. Наконец, культовое кино — именно «культовое», оно вскрывает в кинематографе ту связь с ритуалом и своеобразной сакрализацией объекта, которую он, как казалось, долго не проявлял или затушевывал, выступая в своем очевидном качестве экономического механизма и медиума больших идеологий, средства предельно политизированного и потому окончательно «расколдованного» (на чем очень настаивал Вальтер Беньямин в «Произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости»). Первый серьезный теоретик культового кино Тимоти Корриган начинает свою статью «Фильм и культура культа» с дискуссии с Умберто Эко, утверждавшим в ряде работ, что есть фильмы, которые «рождаются, чтобы стать культовыми объектами»³⁹. Корриган возражает: «Ни один фильм, осмелюсь утверждать, не есть культовый фильм изначально; все культовые фильмы — это приемные дети»⁴⁰. Случайным или не случайным образом сложившиеся зрительские сообщества (произвольное объединение именно вокруг данного фильма или отчасти предзаданная субкультурная маргинальность) избирают какие-то из фильмов для проявления самых разных видов *paracinematic activity*, они объединяются вокруг фильмов, делают фильмы как местом инвестиции эмоций и времени, так и зеркалом, показывающим им самих себя, их готовность любить кино (а также его готовность и способность быть любимым — не только прочитанным или понятым, но зачастую и вовсе не прочитанным, не понятым, но переосмысленным по-своему, ответившим на какие-то запросы аудиторий и неотменимо ценным).

Корриган лучше всех осознал эту принципиальную «непрочитанность» культовых фильмов их аудиториями:

³⁸ Барт, 1997.

³⁹ Corrigan, 1991: 26.

⁴⁰ Ibid.

«О чем более всего свидетельствует это уникальное отношение между аудиторией и экраном и почему я думаю, что оно так важно (важно настолько, что преодолевает часто сомнительное качество самих фильмов), — это о нетипичном равнодушии к авторитету текста и системной связности. Иными словами, оно выводит на первый план сравнительно редкую инстанцию доминирующего восприятия и семиотическую практику, отказывающуюся соблюдать правила традиционной киноигры... Культовые фильмы, таковые “изначально” или “избранные”, неминуемо сопротивляются неподвижности и пассивности, характеризующей стандартные практики чтения и просмотра. Если они провоцируют некий тип идентификации, то это совсем не привычная о-внутренняя идентификация фантазии, но скорее идентификация с материальностью образа, о-внешненными воображаемыми означающими как маркеры значения образа: отдельные фразы диалога, жест, образец одежды. Эти образы и маркеры лишены какой-либо сущностной стабильности или собственного баланса, и без этих составляющих не может organizоваться та бинарная структура, которая поддерживает само понятие чтения (читатель — текст, зритель — идентификация, знак — отношения интерпретации). Вместо этого всегда представлены «перечитывания», поскольку аудитория в этих случаях неизменно приходит подготовленной и вооруженной собственным текстом, делающим текст фильма фактически вторичным. Для культовых фильмов не существует первых просмотров, эти фильмы по определению предлагают себя сразу для бесконечного пересматривания: их полностью сношенные приемы становятся проводниками не оригинального означивания, но потенциально бесконечного возобновления значений и коннотаций, посредством чего аудитория читает и перечитывает себя в большей степени, чем фильм»⁴¹.

Это «перечитывание себя» аудиторией в процессе культовой активности, эта повышенная «забота о себе» и своим праве пере-описывать, «переснимать» фильмы⁴², та произвольность, с которой

⁴¹ *Ibid.*: 29.

⁴² К интерпретационным стратегиям сегодняшних зрителей-синефилов Томас Эльзессер применяет термин *reframing* — не только как альтернативное прочтение фильма, но и как постоянные реконфигурации воспринимающим собственным опытом, своей позиции активного зрителя, требующей сложного обращения со временем и пространством. Эльзессер подчеркивает, что существование активного синефила сегодня довольно насыщено: ему необходимо держать в уме разные экономические режимы (добывание фильмов на DVD, в Интернете и т. д.), разные темпоральности, справляться с мобильностью объектов и нестабильностью образов, вброшенных в обращение, с множествен-

избираются культовые объекты (как многократно показано в различных текстах о культовом кино, объектом культового отношения могут быть и трогательная нелепость голливудских мелодрам вроде «Касабланки» Майкла Кёртица, и завораживающие фантастические образы «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта, и гипертрофированность хоррор-приемов «Техасской резни бензопилой» Тоба Хупера, и пародийная субкультурная вампука «The Rocky Horror Picture Show» Джима Шермана, и постмодернистская изощренность работы с кинематографическими клише вкупе с детальной проработанностью фактуры декораций и костюмов «Криминального чтива» Квентина Тарантино), — все это сопровождается рядом очевидных культурных следствий. Перечислим эти следствия, одновременно держа в поле своего зрения все сказанное выше применительно к понятию классики в кино.

Итак, в культовом отношении к кино не работает оппозиция «дурного—хорошего» вкуса, и вообще в кино, взятом в данном аспекте, не работает понятие вкуса, потому что «дурной вкус» по-своему канонизирован, переведен в режим положительной оценки, а выделение того, что будет считаться стильным, талантливым, имеющим ценность, происходит почти произвольно, с соблюдением только одного обязательного условия — сопротивления мейнстриму. Содержание понятия «мейнстрим» при этом, разумеется, тоже далеко не константно и каждый раз определяется заново, самим фактом выстраивания оппозиции, а также регулярно размывается с появлением все новых и новых «спорных случаев» (чего стоит хотя бы случай Питера Джексона, культового режиссера сначала культовых же трэш-ужастиков, затем загадочного — и тоже культового — фильма «Небесные создания» и, наконец, максимально коммерческого блокбастера «Властелин колец», снятого притом по культовой книге Джона Толкиена и имеющего заведомую аудиторию книжных фанатов, тоже стремящихся к определению своего отношения как культового)⁴³. И размывается содержание тем больше, чем сильнее коммерциализируется само культовое поведение, давно включенное в маркетинговые стратегии кинопроизводителей в качестве необходимого элемента. Культовая стратегия зрительского восприятия, то есть зрительской активности, — ибо культ все же предполагает ритуалы почитания, пересматривание, разыгрыва-

ностью их значений. «Технология сегодня позволяет синефилу воссоздавать посредством технологических манипуляций, — но также и с помощью выбора форматов медиа и хранения — это чувство уникального, чувство места, причины и момента, столь существенное для всех форм синефилии» (Elsaesser, 2005a: 40).

⁴³ См. об этом: *Ии*, 2003.

ние (образов актеров, сцен из фильма), тематическую интернет-коммуникацию, сбор или публикацию информации о ценных для «культового» зрителя фрагментах фильмов, проведение просмотров и даже фестивалей и т. д. — обрекает зрителя на постоянную борьбу с мейнстримом (в первую очередь с современной конвенциональной голливудской кинопродукцией) и с коммерциализацией за чистоту любви к кинематографу и за право свободно «качать и миловать», давать имена, выбирать образцы и создавать из них каноны⁴⁴.

Культовым, как и классическим, может быть фильм любого «культурного ранга», главное, чтобы он отзывался на требования активной зрительской любви — требования достаточно неопределенные в области причин (так же и с классикой — то ли образцы классического кино должны быть нормативно-актуальными, то ли совершенно вынесенными в область истории, а то и вовсе первыми; то ли типичными и рекомендованными к применению, то ли оригинальными и неповторимыми). Но эти требования весьма определены в том, что касается самого факта утверждения коллективным зрителем своей интерпретации объекта как культового, а также в задании своих правил восприятия этого объекта, каковые правила чаще всего не очень согласуются с культурно-исторической нормой, предполагающейся для этого восприятия всей формой фильма. Наиболее наглядным примером здесь может служить даже не Голливуд, хотя и там примеров множество, но восприятие современными российскими зрителями образцов советского кино как любимых и ценностно нагруженных, известных наизусть до каждого кадра, до каждой «крылатой» реплики, но при этом чаще всего полностью лишенных своего первоначального идеологического содержания⁴⁵. И кроме того, есть еще один общий принцип, одна черта в отношении зрителей к фильмам, которая кажется неудаляемой из самой конструкции культового кино и которая, на наш

⁴⁴ Содержательно и ярко эти стратегии борьбы с мейнстримом описаны в статье: Hunt, 2003. Автор на основании изучения множества периодических изданий по направлению science-fiction прослеживает линию борьбы с коммерческим присвоением в том, как воспринимаются фанатами отдельные персонажи сиквелов «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Среди персонажей «Звездных войн» определяются «аутентичные» и «коммерциализированные», последних зрители активно не любят и даже, пока сага не была завершена, регулярно требовали сокращения их ролей.

⁴⁵ То что это достаточно яркое соединение культовой реакции с ностальгией уже давно всюду эксплуатируют государственные идеологические каналы (и каналы влияния, и каналы телевизионные), совершенно неудивительно — но, разумеется, они только транслируют и развивают выгодную им культурную реакцию, однако не являются ее изначальными производителями.

взгляд, иным, но в чем-то похожим образом просматривается в конструировании зрительским восприятием киноклассики. Именно эта черта, рассмотренная несколькими исследователями применительно к культовому кино, может стать завершающим штрихом в определении специфики и функций «стихийной классикализации» киноматериала зрительскими сообществами.

Эту черту мы хотели бы назвать уже использовавшимся выше словом «разрыв» или словом «дистанция» — напомним, именно как дистанцию Вальтер Беньямин понимает ауру («уникальное ощущение дали, как бы близок при этом предмет ни был»⁴⁶). Беньямин отказывает в способности создавать ауру кинематографу и искусствам технической воспроизводимости в целом, объясняя это тем, что при массовом тиражировании происходит удаление этой — он называет ее «традиционной» — составляющей из восприятия предмета, ликвидируется это «уникальное ощущение дали» в условиях отсутствия оригинала и предельного омащовления каждой «копии копии». Но теория культового кино опровергает это предположение, показывая, что аура и сакрализация, вытесненные, на первый взгляд чуждые этому средству массовой коммуникации, возвращаются в него окольными путями. Культовые аудитории вступают с объектами своей страсти в сложные игры с соблюдением/нарушением дистанции, с попытками проникнуть за запретную черту по ту сторону экрана, но эти попытки всегда ими же самими страхуются от успешности с помощью множественности ступеней отдаленности образа. Возможно, именно в этом смысле был прав Умберто Эко, говоря, что есть фильмы, имеющие больше шансов на культовую реакцию, чем другие, — это те фильмы, в которых многообразно представлены маргиналии: экзотические страны и просто необычные, пугающие, влекущие пространства, субкультурные группы и редкие, загадочные персонажи, избыточные детали, множество непонятного и удивляющего, будь то в образах или фактуре реквизита, костюмов, декораций; где сакрализующая сила концентрируется вокруг недоступных и привлекательных актеров-звезд, звезд особого типа, представляющих влиятельные киномифы (например, в «Касабланке» Хамфри Богарт — «Двойной Искатель приключений», Ингрид Бергман — «Таинственная или Роковая женщина» и т. д.)⁴⁷.

Но определения Тимоти Корригана все равно точнее: «приемные дети», всегда сохраняющие в себе элемент чуждости, недоступности, несмотря на любовь и возникающее родство, — и еще «зрение туриста», превращение фильма в туристский сувенир, в добычу,

⁴⁶ Беньямин, 1996: 24.

⁴⁷ Эко, 2000: 53—56.

приобретенную или даже украденную на чужой территории. Корриган многократно подчеркивает странность (включающую и иностранность) большого количества известных культовых образов — порой предзаданную, очевидную в тексте (хотя бы самим фактом использования в этом качестве иностранного фильма)⁴⁸, порой же возникающую именно в результате культового присвоения и перечитывания фильма, «усыновления» этого «ребенка». В случае, когда дистанция не пространственна, а исторична, когда культовое отношение охватывает образцы классического Голливуда, Корриган считает нужным говорить об «историческом культовом фильме», а составители сборника даже, подхватывая это на уровне структуры, используют такой оборот, как «культовая классика», относя к этому разряду все фильмы классического Голливуда, любимые культовыми аудиториями, и прежде всего, разумеется, «Касабланку». Впоследствии эту линию продолжает и Томас Эльзессер в своей концептуализации синефилии, утверждая, что синефилия всегда сразу поймана в несколько видов отсрочки (мы бы сказали — дистанции): отдаленность в пространстве, сдвиг в регистре (интонации или идеологии) и отложенность во времени. В основе синефилии он видит не только любовь или страсть, но вечное недовольство современностью, вечное предпочтение далекого близкому и, в сущности, еще более глубоко, симптом «кризиса памяти» — не только кинематографической памяти, но нашей модернистской идеи памяти и истории в целом.

В потоке медиаобразов, где утрачивается историческое измерение, где все прошлое развернуто как на ладони в убедительности настоящего момента, а ловушки присвоения расставляются все глубже (синефил, как справедливо указывает Эльзессер, догадывается о том, что его реакция заранее является частью пакета продаж, и это тревожит его так же, как «культовых» зрителей тревожит перспектива оказаться частью мейнстрима), где от нас постоянно ускользают возможности «рефрейминга» смыслов, образов, ситуаций восприятия, синефил вынужден выстраивать все более сложные стратегии организации собственного зрительского опыта, бороться за уникальность неповторимого — хотя всегда разделенного с другими зрителями, предполагающего эту разделенность, ведь мы говорим о кино — переживания, воспоминания, чувства пространства и времени, сотворенного из кинообразов, ухваченных его активным зрением. Там, где все может быть коммерциализировано, присвоено и приближено, во многих смыслах, от доступности кинопродукции на DVD и в Интернете до неоспоримой тенденции медиапространства к уничтожению чувства истории, борьба сине-

⁴⁸ См. об этом, например: *Hutchings*, 2003.

фила за дистанцию, за сохранение уникальности приобретает особый смысл. И в этой борьбе за дистанцию — о чем не пишет ни один из исследователей — понятию классики может принадлежать отдельное место. Понятие классического в кинематографе оказывается одним из постоянных инструментов обозначения и сохранения дистанции, в первую очередь — дистанции временной, дистанции, отвечающей за механизм историчности.

Как бы ни походили по многим параметрам стратегии зрительского восприятия классики в кино на стратегии культовой активности, все же нам видится тут важное различие, позволяющее подвести классическое в данном контексте довольно близко к культовому, но не заменить одно другим. Напомню, что под классическим в данном случае имеется в виду прежде всего обобщенный образ старого голливудского кино, описанный нами выше, или другие комплексные образы «классического старого кино», если их комплексность и историчность в зрительском восприятии будет достаточно убедительно доказана. И та, и другая стратегия обыденного восприятия — то есть культ и классикализация — «сметают» на своем пути все преграды более традиционной нормативности (высокое/низкое, простое/сложное, авторское интеллектуальное/жанровое, дорогое/малобюджетное, глобальное/локальное и т. д.), реализуя таким образом активную зрительскую позицию, зрительское видение или даже «картографирование» зрителем всего пространства имеющихся фильмов. Так, по стратегиям позиционирования DVD-дисков на рынках продаж можно легко нарисовать «карту классикализации» кино, и старый Голливуд окажется на ней весь, от интеллектуальных драм Элиа Казана и психологических мелодрам с Бетт Дэвис до мюзиклов и вестернов первого, второго и десятого ряда. Невозможно усомниться в том, что отношение к классике в данном случае строится именно исходя из ощущения разрыва (дистанции), из неспособности зрителя принять этот образ как свой и необходимости поместить его в опознаваемое прошлое. Массовое сознание порой даже может оперировать классикой Голливуда как синонимом кинематографической истории в принципе, потому что этот «приемный ребенок» легко делается своим, «усыновляется» через существующую систему жанров и практик восприятия популярного кино — хотя он всегда чужой в смысле четкого понимания того, что у него есть свое настоящее, полностью расположенное в прошлом.

Что еще отличает при этом классику от культового кино и позволяет выделять ее в отдельный тип, кроме самого факта наличия исторической дистанции, — это цельность, нерасчлененность в массовом сознании общего образа классического, с одной стороны, в купе с готовностью содержательно реагировать на центральные

значения и идеологические послылы отдельных фильмов с учетом их исторического качества — с другой. В то время как культовое кино пестует маргинальность и аисторичность интерпретации, выступает в индивидуальном качестве (культовый фильм всегда «один в своем роде»), классика оказывается прямым выражением своеобразного зрительского чувства истории, что позволяет массовому зрителю, не интересуясь аналитическими процедурами, создавать и хранить образы групп фильмов — таково, например, хорошо понятное любому зрителю различие между черно-белой и цветной голливудской классикой — и в то же время на удивление грамотно интерпретировать действия героев, сюжетные конфликты и стилистический выбор режиссеров в старом, классическом кино как детерминированные своим временем, культурно-историческим контекстом. Восприятие классического кино не предполагает его модернизации. А борьба за дистанцию, которая в культовом кино выглядит как страсть ко всему (ино)странному, непреодолимо и влекуще другому, в случае с классикой предстает более привычной нам по другим культурным практикам борьбой за распознаваемость прошлого в этом качестве, за его дистанцированность — в данном случае и как прошлого всего медиума кино вообще, и как прошлого голливудского кино в частности. Разрыв между классическим и современным образом кино, выраженный в понятии классики, если мы рассматриваем его как стратегию зрительского восприятия, оказывается безусловным, историзирующим и продуктивным. В остальном культовое кино и классика кино имеют больше черт сходства, чем различия.

В заключение, чтобы подтвердить свою конструкцию более развернутым примером, обратимся к тому самому фильму, без которого не обходится ни одно серьезное рассуждение о культовом кино, — к «Касабланке» Майкла Кёртица (1942)⁴⁹. Надо ли говорить также, что «Касабланка» — один из фильмов, наиболее часто упоминающихся вместе с интересующим нас прилагательным «классический»? Даже видеокассета с фильмом, лежащая сейчас перед нами, имеет торговый лейбл «Мировая классика». Действительно, особый статус этого фильма в зрительском восприятии, зафиксированный в десятках, а может быть, и сотнях культурных источников, позволяет последовательно рассмотреть его с одной и с другой точки зрения, то есть и как фильм классический, и как фильм культовый.

⁴⁹ В разделе «Культовая классика» сборника «The Cult Film Experience. Beyond All Reason» четыре статьи из имеющихся пяти посвящены именно «Касабланке». Ученые вообще практически не отказывают себе в реализации своих культовых эмоций: так, одна из статей попросту называется «Признания слушателя кulta “Касабланки”».

В первом случае объектом внимания должна стать типичность этого фильма с точки зрения конвенционального представления о классическом голливудском кино. Эту типичность легко подтвердить анализом какой угодно степени подробности, и даже до любого анализа на память придет запоминающаяся черно-белая образность фильма, качественная глубинная кинематография, легко узнаваемая павильонная съемка, мягкая световая гамма, позволяющая говорить о комфортности изображения для зрения, и в то же время наличие «затемненных сцен», как уличных, так и в интерьере, совпадающих с моментами наивысшего драматизма⁵⁰. Исследователи сразу обратили бы внимание на то, на что зритель внимания не обращает, просто автоматически «плюсуя» это к норме «голливудского реализма», не мешающей беспрепятственно следить за историей — на абсолютную конвенциональность фильма с точки зрения киноязыка, неукоснительное соблюдение всех основных правил непрерывного монтажа (правило линии взгляда, классические восьмерки в диалогах, лестницы планов, постановка и движение камеры в массовых сценах и т. д.). И точно так же — на использование весьма штампованных жанровых монтажных приемов: например, сопровождение неожиданности громким тревожным музыкальным аккордом, или показ персонажа сначала через деталь (так, мы впервые видим Рика через данные крупным планом руки, выписывающие чек), или флэшбэк, обозначенный плавным наездом на лицо Рика. Далее, «Касабланка» довольно традиционно устроена композиционно, в ней соединились легко выделяемые формульные схемы военного приключения и мелодрамы, при пересечении которых конфликт нередко определяется вмешательством долга в любовную интригу — и победой в ней, как происходит и здесь.

В фильме снимаются крупнейшие голливудские звезды того времени, Хамфри Богарт и Ингрид Бергман, амплуа которых, равно как и способы представления на экране (новые платья в каждой сцене, мягкие фильтры при съемке лица и контровый свет на затемненных крупных планах для звезды-актрисы, безупречные дорогие костюмы актера, высокий общий процент крупных планов в фильме), не менее нормативны, чем лирическая музыка в сценах объяснения персонажей в любви и регламентация действующим производственным кодексом продолжительности их поцелуя, во-

⁵⁰ Этот момент иконографии «Касабланки» даже побуждает зрителей спорить о том, не принадлежит ли «Касабланка» к жанру *film noir*, а многие из них достаточно безапелляционны в этом утверждении (характерный диалог с одного из кинофорумов: «Мне “Касабланка” мелодрамой показалась» — «Касабланка — нуар! Точно. Не в чистом виде, но нуар»; www.kino-govno.com/forums/index.php?showtopic=174140&st=20).

обще предельного целомудрия любовной линии. Сюда же можно добавить динамичность развития малоправдоподобного сюжета, яркость образов второстепенных персонажей, написанные как по учебнику сценариста юмористические диалоги-перебрасывания репликами, выделенную в отдельный сюжет роль заглавной песни, предельную ясность и моралистичность концовки. Разбирать «Касабланку» по элементам можно бесконечно долго, но специфичных, уникальных среди них действительно окажется немного, и значительная часть сконцентрируется даже не «внутри», а в контекстуальном пласте фильма — в том, что фильм снимался в середине войны, но уверенность главных героев в победе над нацистами безусловна, победный дух фильма в целом силен и восприятие его без мысли об этом почти невозможно; в том, что актерам, по довольно распространенной версии, до конца не было известно, с кем и при каких обстоятельствах останется Ильза, и потому их, и особенно ее, игра чуть более амбивалентна, чем это принято; в конкретном «шлейфе» ролей ряда второстепенных героев (например, Питера Лорре, легендарного убийцы из «М» Фрица Ланга), хотя в самом факте наличия у героев шлейфа предыдущих актерских ролей ничего особенного нет. Но в целом фильм может быть увиден глазами обычного зрителя как жанрово качественное и увлекательное, исторически интересное кино, в чем-то захватывающее эмоциональным и даже идеологическим драйвом, в чем-то отталкивающее или смешашее характерной наивностью, обычным для классического Голливуда набором допущений. Кино, полностью принадлежащее своему времени, о нем свидетельствующее, его репрезентирующее. Не полностью чужое сегодняшнему зрителю, более чем понятное, но и не совсем свое, сделанное не по тем образцам, по которым кино делается в современном Голливуде. То есть типичный, популярный, в каком-то смысле даже обязательный к просмотру классический образец.

Если же мы попробуем поговорить о «Касабланке» как о фильме культовом, в первую очередь нам надо заручиться поддержкой как можно большего числа других «культовых» зрителей — в данном случае их парад возглавит сам Умберто Эко, а продолжат не только сотни рядовых поклонников, чья активность сегодня может быть легко зафиксирована в Интернете, но и десятки поклонников-исследователей, и к ним еще присоединятся самые разные режиссеры, наделившие в различное время своих героев страстной любовью к этому фильму, его атмосфере и героям. «Касабланку» пересматривает герой Вуди Аллена в «Сыграй это снова, Сэм», мечтая стать похожим на Богарта, в конце концов выходящего к нему с экрана и дающего советы по устройству личной жизни. На

финальной сцене с репликой «Это начало великой дружбы» помещан цыган из фильма «Черная кошка, белый кот» Эмира Кустурицы. Фильм так или иначе цитируют, пародируют, вспоминают, случайно обнаруживают на экране режиссеры или герои мелодрам («Когда Гарри встретил Салли») и комедий («Ночь в Касабланке» братьев Маркс), авторского кино («Бразилия» Терри Гиллиама) и приключенческого детектива («Кабобланко» Джона Ли Томпсона с Чарльзом Бронсоном в главной роли), ему равно преданы персонажи фильмов и даже мультфильмов (в одной из серий мультсериала «Симпсоны» находят альтернативный финал «Касабланки», в «Короле-льве» и «Рататуйе» ее упоминают, а в «Маппет-шоу» на нее делают пародию — через несколько десятилетий после ее выхода на экраны). Это цитирование и упоминание носит между тем особый характер — не просто характер цитаты, но характер цитаты, которую уже все цитируют («всегда уже пересматривание», по Корригану), — упоминание слишком демонстративно, слишком рассчитано на ожидаемую реакцию вроде радостного свиста в зрительном зале. Далее, «Касабланка» максимально растащена на словесные цитаты: фильм «Обычные подозреваемые»; бесконечно произносимое всеми вокруг, даже не в англоязычном контексте, «начало великой дружбы»; и весь список, который приводит по этому случаю Умберто Эко в уже упомянутой статье «“Касабланка”, или Воскрешение богов». Множество фраз из «Касабланки» стали крылатыми, подтверждая в своем повторении не что иное, как ритуально-культовую основу коммуникации посредством кинообраза.

Для «культового» зрителя нелепая, пестрая, фрагментированная атмосфера «Касабланки», будь то на улицах или в кафе Рика, гораздо важнее, в сущности, чем общий сюжет; отдельные сцены важнее неправдоподобной композиции. Именно финальная сцена «Касабланки», сцена в тумане, сцена, где тревожное напряжение разряжается резкой переменой участи персонажей, где бросаются самые запоминающиеся взгляды и звучат самые благородные слова, разумеется, не случайно стала рекордсменом по зрительской симпатии-вовлеченности в магию кинообраза. Но и сцены с «сумасшедшим русским» в баре, и упоминание комических сходок подпольщиков, и, разумеется, совершенно невероятная, граничащая с интонацией кэмп-сцена, в которой Виктор Ласло в присутствии нацистов дирижирует «Марсельезой», а нетрезвая барышня легкого поведения проникается духом патриотизма и поет ее со слезами на глазах, — все эти фрагменты встречаются при просмотрах аплодисментами, помнятся в малейших подробностях. Здесь же и незапятнанная белизна костюмов и платьев Ильзы, и все гротеск, которые зрителям удастся высмотреть на экране в бесконечной

перемотке, и пространственное измерение этого «полностью обустроенного мира» (так Умберто Эко определяет одно из требований к культовым фильмам), может быть, и обязанного своим качеством обычному голливудскому студийному дизайну, но ценимого зрителем за возможность, в сотый раз пересматривая фильм, все равно находить в углу кадра что-нибудь новенькое. И сам факт экзотики, пространственной и временной удаленности фильма: в «Касабланку» можно погрузиться как в экзотическую вселенную, далекую и давнюю, но погрузиться с твердым намерением там не теряться, вести себя активно и выбирать все, что может понравиться.

Наконец, «культовый» зритель не может не обнаружить в «Касабланке» пространство скрытых желаний, бушующие подводные течения, которые на поверхности дают некоторую неловкость, небольшие нарративные сбои — и, соответственно, могут быть пересмыслены в том или ином маргинальном ключе, могут стать предметом альтернативных повествований или игры. Например, такова широко распространенная версия о симпатии-соперничестве двух главных героев фильма. Есть видимое противоречие в том, что Виктор Ласло так мягок и неловок, что и его, и героиню спасает гораздо более мужественный Рик — при том, что о доблести Ласло мы все время слышим, но почти не видим ее, если не считать серии полукомических эпизодов подпольной деятельности в совершенно для этого непригодной Касабланке. Такого колебания, микроразрыва уже достаточно для того, чтобы психоаналитические объяснения и маргинальные версии ринулись в эту щель. Культовое кино не отбрасывает ни одну из них — в значительной степени оно для этого и существует, этим и отличается от других возможных видов прочтения, в том числе от прочтения фильма как классики. Классика не терпит произвола, она требует понимания всех обстоятельств действия и считывания всех «центральных значений» повествования — культ же приветствует произвол, во многом реализуется через него, используя эту возможность для проявления потенциала активности зрительских сообществ.

5.

Итак, по мере разворачивания системы аргументов и примеров мы последовательно зафиксировали ограничения и сложности, возникающие с употреблением понятия «классика» применительно к кино, а также наметили ряд возможностей, открывающихся в результате проблематизации этого понятия, выявления его теоретического потенциала и связанных с ним культурных значений. Говорить о классике в кино с точки зрения обыденного словоупотребления в научном тексте не представляется возможным, но использовать это словоупотребление как указание на работу опре-

деленных культурных механизмов не только возможно, но и необходимо. Мы постарались показать, что употребление понятия «классика» в кино всегда так или иначе связано с проблемой истории, с тем очевидным кризисом исторического восприятия, одна из причин которого, собственно, и усматривается многими в работе кинематографа. И тем не менее, как показывает наличие механизмов производства классики в этом молодом средстве массовой коммуникации, к выражению чувства истории, казалось бы, совсем не приспособленном, кино несет в себе самом ряд возможностей для фиксации прошлого в этом, историческом, качестве, для сохранения разрыва и осмысленной дистанции по отношению к своим историческим состояниям. Одна из этих возможностей отчетливо просматривается в историческом измерении жанров, вторую мы постарались проявить в классикализации как стратегии активного зрительского восприятия, направленной на сохранение различия между историческими образами кино. Вновь, в подтверждение уже цитировавшейся гипотезы Вальтера Беньямина, самый массовый зритель и самое массовое кино оказываются в некотором смысле более прогрессивны, чем традиционные историки, сокрушающиеся по поводу аисторичности отдельных кинопроизведений, или чем философы, указывающие на временную тотальность кинематографического образа, его необратимую захваченность настоящим. Остается выразить надежду, что понятие классики применительно к кино отныне ждут более рефлексивное использование, содержательное развитие и дальнейшая проблематизация, с учетом возможностей современной теории кино и с учетом всей институциональной, медийной и технологической специфики кинематографа.

Литература

Барт Р. Camera Lucida: Комментарий к фотографиям. М.: Ad Marginem, 1997.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: Медиум, 1996.

Бьюкатман С. Искусственная бесконечность. О спецэффектах и вышедшем // Фантастическое кино. Эпизод первый / Сост. и науч. ред. Н. В. Самутина. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 233—256.

Гудков Л. Д., Дубин Б. В., Страда В. Литература и общество: введение в социологию литературы. М.: РГГУ, 1998.

Джеймисон Ф. Прогресс versus утопия, или Можем ли мы вообразить будущее? // Фантастическое кино. Эпизод первый / Сост. и науч. ред. Н. В. Самутина. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 32—49.

Дубин Б. В. Классик — звезда — модное имя — культовая фигура. О стратегиях легитимации культурного авторитета // Синий диван. 2006. № 8. С. 110—112.

Дубин Б. В. Классическое, элитарное, массовое. Начала дифференциации и механизмы внутренней динамики в системе литературы // Дубин Б. В. Интеллектуальные группы и символические формы. М.: Новое издательство, 2004. С. 13—30.

Зенкин С. Н. «Классика» и «современность» // Литературный пантеон: Материалы российско-французского colloquium. М.: Наследие, 1999. С. 32—44.

Зонтаг С. Заметки о кэмпе // Зонтаг С. Мысль как страсть. М.: Русское феноменологическое общество, 1997. С. 48—64.

Кавелли Д. Г. Изучение литературных формул // *Новое литературное обозрение*. 1996. № 22. С. 33—65.

Нил С. Арт-синема как институция // *Логос*. 2002. № 5/6. С. 292—321.

Самутина Н. В. «Бумер»: приключения жанра на российских дорогах // *Историк и художник: Ежеквартальный журнал*. 2005а. № 1 (3). С. 98—104.

Самутина Н. В. Авторский интеллектуальный кинематограф как европейская идея // *Киноведческие записки*. 2002а. № 60. С. 25—42.

Самутина Н. В. Культовое кино: даже зритель имеет право на свободу // *Логос*. 2002б. № 5/6. С. 322—330.

Самутина Н. В. Мельес жив, или Магия перевода // *Синий диван*. 2005б. № 7. С. 97—119.

Самутина Н. В. Современное европейское кино и идея культуры («прошлого») // *Феномен прошлого* / Ред. И. М. Савельева, А. В. Полетаев. М.: Изд-во ГУ—ВШЭ, 2005. С. 337—366.

Самутина Н. В. Фантастическое кино и проблема *иного* // *Фантастическое кино. Эпизод первый* / Сост. и науч. ред. Н. В. Самутина. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 66—80.

Собчак В. Девственность астронавтов: секс и фантастическое кино // *Фантастическое кино. Эпизод первый* / Сост. и науч. ред. Н. В. Самутина. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 167—182.

Эко У. «Касабланка», или Воскрешение богов // *Киноведческие записки*. 2000. № 45. С. 53—56.

Bordwell D., Staiger J., Thompson K. The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960. New York: Columbia University Press, 1985.

Camp Grounds: Style and Homosexuality / Ed. D. Bergman. Amherst: University of Massachusetts Press, 1993.

Cinema and the Invention of Modern Life / Eds. L. Charney, V. Schwartz. Berkeley: University of California Press, 1995.

Corrigan T. Film and the Culture of Cult // *The Cult Film Experience: Beyond all Reason* / Ed. J. P. Telotte. Austin: University of Texas Press, 1991. P. 26—37.

Defining Cult Movies: The Cultural Politics of Oppositional Taste / Eds. M. Jancovich, A. L. Reboll, J. Stringer, A. Willis. Manchester and New York: Manchester University Press, 2003.

Doane M. A. The Emergence of Cinematic Time: Modernity, Contingency, the Archive. Cambridge (Mass.) and London: Harvard University Press, 2002.

Elsaesser T. Cinephilia or the Uses of Disenchantment // *Cinephilia: Movies, Love and Memory* / Eds. M. de Valck, M. Hagener. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005a. P. 27—43.

Elsaesser T. European cinema: Face to Face with Hollywood. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005b.

Gunning T. An Aesthetic of Astonishment: Early Film and the (In)Credulous Spectator // *Viewing Positions: Ways of Seeing Film* / Ed. L. Williams. New Brunswick.: Rutgers University Press, 1995. P. 114—133.

Gunning T. The Cinema of Attraction: Early Film. Its Spectator, and the Avant-Garde // *Early Cinema: Space, Frame, Narrative* / Ed. T. Elsaesser. London: British Film Institute, 1990. P. 56—62.

Hansen M. Babel and Babylon: Spectatorship in American Silent Film. Cambridge (Mass.) and London: Harvard University Press, 1991.

Hayward S. Cinema Studies: The Key Concepts. London: Routledge, 2000.

Higson A. The Concept of National Cinema // *Screen*. 1989. Vol. 50. No. 4. P. 36—46.

Hunt N. The Importance of Trivia: Ownership, Exclusion and Authority in Science Fiction Fandom // *Defining Cult Movies: The Cultural Politics of Oppositional Taste*. Manchester and New York: Manchester University Press, 2003. P. 185—201.

Hutchings P. The Argento Effect// *Defining Cult Movies: The Cultural Politics of Oppositional Taste*. Manchester and New York: Manchester University Press, 2003. P. 127—141.

The Invention of Tradition / Eds. E. J. Hobsbawm, T. O. Ranger. New York: Cambridge University Press, 1983.

The Politics and Poetics of Camp / Ed. M. Meyer. London and New York: Routledge, 1994.

Sconce J. «Trashing» the Academy: Taste, Excess and an Emerging Politics of Cinematic Style // *Screen*. 1995. Vol. 36. No. 4. P. 371—393.

Sontag S. The Decay of Cinema // *New York Times*, February 25, 1996.

Unruly Pleasures: The Cult Film and its Critics / Eds. X. Mendik, G. Harper. Guildford: FAB Press, 2000.

Willemsen P. Through the Glass Darkly: Cinephilia Reconsidered // *Willemsen P. Looks and Frictions: Essays in Cultural Studies and Film Theory*. London: British Film Institute, 1994. P. 240—241.

Wu H. Trading in Horror, Cult and Matricide: Peter Jackson's Phenomenal Bad Taste and New Zealand Fantasies of Inter/National Cinematic Success // *Defining Cult Movies: The Cultural Politics of Oppositional Taste*. Manchester and New York: Manchester University Press, 2003. P. 84—108.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Ирина Савельева, Андрей Полетаев. Введение. Должны ли ученые общаться с призраками?</i>	5
--	---

I. SOCIAL SCIENCES

<i>Андрей Полетаев. Классика в общественных науках</i>	11
--	----

Социология

<i>Александр Ф. Филиппов. Понятие и проблема социологической классики. Георг Зиммель как классик социологии</i>	50
<i>Виктор Вахштайн. «Неудобная» классика: творческое наследие Ирвинга Гофмана</i>	64

Экономическая теория

<i>Светлана Авдашева, Леонид Тутов, Андрей Шаститко. Классика экономической теории и экономика классики</i>	102
<i>Ростислав Капелюшников. Деконструируя «классика» (заметки на полях «Великой трансформации»)</i>	121

Политическая теория

<i>Тимофей Дмитриев. Классика и история политической философии: случай Лео Штрауса</i>	155
<i>Александр Ф. Филиппов. Политическая социология: проблема классики</i>	181

Психология

<i>Андрей Юревич. Парадигмы и классики в психологии</i>	210
<i>Вадим Руднев. Фрейд и эволюция психоанализа</i>	235
<i>Ревекка Фрумкина. Культурно-историческая психология Вygотского—Лурия</i>	255

II. HUMANITIES

<i>Сергей Зенкин. Гуманитарная классика: между наукой и литературой</i>	281
---	-----

История

<i>Ирина Савельева.</i> Классика в историографии: формы присутствия	294
<i>Антон Свешников, Борис Степанов.</i> История одного классика: Лев Платонович Карсавин в постсоветской историографии ...	332

Филология и лингвистика

<i>Александр Дмитриев.</i> Присвоение как конституирование, или О русском формализме и «неклассической» гуманитарной классике	361
<i>Ревекка Фрумкина.</i> Рецепция классики в лингвистике	381

Философия

<i>Алексей Руткевич.</i> К вопросу о классике в философии	402
<i>Пётр Резвых.</i> Фантом «немецкой классики»	419

III. ARTS & CULTURE

<i>Борис Дубин.</i> Классика, после и вместо: о границах и формах культурного авторитета	437
<i>Ирина Каспэ.</i> Классика как коллективный опыт: литература и телесериалы	452
<i>Наталья Самутина.</i> «Cult camp classics»: специфика нормативности и стратегии зрительского восприятия в кинематографе	490

КЛАССИКА И КЛАССИКИ В СОЦИАЛЬНОМ И ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ

Дизайнер обложки

Е. Поликашин

Редактор

Е. Воробьева

Корректор

Т. Озерская

Компьютерная верстка

С. Пчелинцев

**Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры**

ООО «НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Адрес издательства:

129626, Москва,

абонентский ящик 55

Тел.: (495) 976-47-88

факс: 977-08-28

e-mail: real@nlo.magazine.ru

Интернет: <http://www.nlobooks.ru>

Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная № 1.

Печ. л. 33,5. Тираж 1000. Заказ № 2698

**Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати», 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14**

Издания

«Нового литературного обозрения»

(журналы и книги)

можно приобрести в следующих магазинах:

в Москве:

«Политкнига» — ул. Малая Дмитровка, 3/10. Тел.: (495)200-36-94

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7. Тел.: (495)951-93-60

«Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6. Тел.: (495)924-46-80

«Гилея» — Нахимовский просп., 51/21. Тел.: (495)332-47-28

«Гнозис» — Zubовский проезд, 2, стр. 1. Тел.: (495)247-17-57

«Книжная лавка писателей» — ул. Кузнецкий Мост, 18.

Тел.: (495)924-46-45

«Молодая гвардия» — ул. Большая Полянка, 8. Тел.: (495)238-50-01

«Москва ТД» — ул. Тверская, 8. Тел.: (495)797-87-17

Московский Дом книги — Новый Арбат, 8 (а также во всех остальных магазинах сети).

Тел.: (495)203-82-42.

«Старый свет» (книжная лавка при Литинституте) —

Тверской бульвар, 25 Тел.: (495)202-86-08.

«Фаланстер» — Малый Гнезниковский пер., 12/27.

Тел.: (495)749-57-21

«У Кентавра» — Миусская пл., 6. Тел.: (495)250-65-46

«Букбери» — Никитский б-р, 17. Тел.: (495)291-83-03

«Русское зарубежье» — ул. Нижняя Радищевская, 8

(м. Таганская-кольцевая) Тел.: (495)915-11-45

«Primus Versus» — ул. Покровка, 27, стр. 1. Тел.: (495)951-93-60

Магазины сети «Книжный клуб 36°6». Тел.: (495)223-58-20

«Топ-книга». Тел.: (495)166-06-02

в Санкт-Петербурге:

«Академкнига» — Литейный пр., 57. Тел.: (812)230-13-28

«Александрйская Библиотека» — Наб. реки Фонтанки, 15.

Тел.: (812) 310-50-36

«Вита Нова» — Менделеевская линия, 5. Тел.: (812)328-96-91

Книжная лавка писателей — Невский пр., 66. Тел.: (812)314-47-59

Книжные салоны при Российской национальной библиотеке

Садовая ул., 20; Московский пр., 165 . Тел.: (812)310-44-87

Книжный салон — Университетская наб., 11

(магазин в фойе филологического факультета СПбГУ).

Тел.: (812)328-95-11

Книжный магазин-клуб «Квилт» — Каменноостровский пр., 13.

Тел.: (812)232-33-07

«Культпросвет» — Пушкинская ул., 10 или Лиговский пр., 53.

Тел.: (812)572-11-30

«Перемещенные ценности» — ул. Колокольная, 1.

Тел.: (812)713-21-74

Подписные издания. Литейный пр., 57. Тел.: (812)273-50-53

ОАО «Санкт-Петербургский Дом Книги» — Невский пр., 62.

Тел.: (812)570-65-46, 314-58-88

ООО «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Дом Зингера)

Невский пр., 28. Тел.: (812) 448-23-57

«Фонотека». Ул. Марата, 28. Тел.: (812)712-30-13

в Екатеринбурге:

Дом книги — ул. А. Валека, 12. Тел.: (343)358-12-00

в Нижнем Новгороде:

«Дирижабль» — Б. Покровская, 46. Тел.: (8312)31-64-71

в Ярославле:

ул. Свердлова, 9. В здании ЦСИ «АРС-ФОРУМ». Тел.: (4852)72-57-96

в Интернете:

www.ozon.ru

www.bolero.ru